Владимир Солоухин

1

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1983

ВЛАДИМИР СОЛОУХИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1983

ВЛАДИМИР СОЛОУХИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ
ПЕРВЫЙ

СТИХОТВОРЕНИЯ
ЛИРИЧЕСКИЕ ПОВЕСТИ

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1983

Р2
С60

Оформление художника

Д. ШИМИЛИСА

С $\frac{4702010200-145}{028(01)-83}$ подписное

Я ШЕЛ ПО РОДНОЙ ЗЕМЛЕ, Я ШЕЛ ПО СВОЕЙ ТРОПЕ...

Подробной биографии здесь не будет, хотя жанр предисловия сам по себе и требует некоторых биографических данных, и, ежели предисловие писал бы другой человек, они, естественно, были бы. Ну так вот основные данные. Родился в 1924 году в июне, в селе Алепине в сорока верстах от Владимира, на берегу маленькой речки Ворщи, в крестьянской и, как бы написали чуть раньше, патриархальной семье. Деревенское детство, начальная школа в родном Алепине (сто четырнадцать ребятишек из десятка окрестных деревенек), семилетка в соседнем селе Черкутине, затем Владимирский механический техникум (бывшее Мальцевское училище) и диплом технолога по инструментальному производству.

Никто не знает, почему из ста четырнадцати сверстников и сверстниц в начальной школе одного обуяла страсть сочинять стихи.

Из дополнительных, вспомогательных обстоятельств надо отметить два. Моя мать, Степанида Ивановна, знала наизусть довольно много стихов Некрасова, Сурикова, А. К. Толстого. Возможно, все это было в пределах школьной хрестоматии ее собственного детства (а она родилась в 1883 году), но все же «Не ветер бушует над бором...», «Поздняя осень, грачи улетели...», «Влас», «Где гнутся над омутом лозы...», «Колокольчики мои — цветики степные...», «Вечер был, сверкали звезды...», «Вот моя деревня, вот мой дом родной...» и многое другое в том же роде было мной схвачено и запомнено наизусть с материнского голоса в четырехлетнем возрасте.

К четырехлетнему же возрасту (если не раньше) относится и другое похожее обстоятельство. Моя старшая сестра Екатерина (по-домашнему, нашему, Катюша) повредила тогда позвоночник, упав с лошади, и, будучи целую зиму малоподвижной, много занималась со мной, читая вслух. А книги ее были — большие с картинками однотомники Пушкина и Лермонтова. Тамара, лежащая в гробу (врубелевская, надо полагать), и ангел, летящий по небу полуночи были первыми отпечатками на детской душе

Так что когда в школе пришлось учить по требованию тогдашней школьной программы стихи, то приоритета они не имели. Я был уже, как сказали бы ученые люди,— иммунен. Оспа была привита.

В два последние предвоенные года (1939—1940) во Владимирской газете «Призыв» появилось несколько стихотворений студента механического техникума, но, к счастью, в моих бумагах они не сохранились, а достать газеты того времени теперь не просто.

Дальнейшая судьба молодого человека сложилась так, что он с 1942 года (сразу же после окончания техникума) стал жить в Москве (служил в воинской части) и в 1945 году забрел на занятия самого большого и интересного тогда Литературного объединения. Проводящими занятия там можно было видеть Луговского, Тихонова, Сельвинского, Антокольского, Щипачева, Коваленкова, а участвующими в занятиях Луконина, Межирова, Гудзенко, Михаила Львова, Юлию Друнину, Недогонова, Наровчатова, Павла Шубина, ну и более молодую поросль.

Удивительно не то, что я чему-то научился на занятиях этого Литобъединения, что-то узнал там и понял,— удивительна та быстрота, с которой произошли психологические и прочие перемены. От стихов, о которых мне теперь как-то не хотелось бы и вспоминать, за несколько недель я проскочил путь к стихам, которые мечтал бы написать теперь; приблизившись к шестидесятилетнему возрасту, приходится признаться, что в юности поэту как бы шутя, как бы сами собой удаются такие вещи, достичь которых он стремится потом всю жизнь, обогащаясь знаниями и накапливая опыт. Обращаясь к самой ранней лирике, я вижу, что, конечно, тогда я не смог бы написать «Венок сонетов», как и многие более поздние стихи (скажем, «Лозунги Жанны д'Арк»), но зато никогда и не возвратить уже той печати непосредственности (пусть граничащей с наивностью), которая лежит на первых стихотворениях и которая, может быть, дороже в поэзии благоприобретенного опыта и умения.

Но в целом стихи — самое радостное и дорогое, что было и есть у меня в жизни, поэтому они и поставлены в начале этого издания. Что касается расположения их по разделам, то в этом тоже есть свой смысл и своя закономерность. В первый раздел мне захотелось включить стихи того далекого для меня времени, когда я впервые почувствовал их как свою профессию от Литературного

объединения 1945 года до окончания Литературного института в 1951 году.

«Дождь в степи» — фактически мое первое стихотворение, опубликованное в «центральной» печати в июне 1946 года. С этим стихотворением я поступал в Литературный институт, оно было моим первым публичным выступлением на большом вечере поэзии в Центральном Доме литераторов в 1947 году. «Дождь в степи» — называлась моя первая стихотворная книжица в 1953 году. Это мой дебют и мое, так сказать, крещение. Поэтому стихотворение «Дождь в степи» открывает четырехтомник. «Как выпить солнце» — особый раздел не только в этом издании, но и в биографии поэта. В 1960 году неожиданно написались четыре стихотворения («Яблоко», «Не прячьтесь от дождя», «Как выпить солнце», «Полеты»), которые и положили начало этому разделу, а в жизни — целой особенной полосе. Так называемый «верлибр», или, по-русски говоря, свободный стих, когда отказываются от стихотворного размера, от рифмы, от строфы и вообще от всех признаков привычного традиционного стихосложения. Но ведь стихи есть высшая форма организации человеческой речи. Может ли дезорганизованная речь претендовать на звание поэзии? Дело в том, что до определенной степени речь в свободном стихе вовсе не дезорганизованна. Отсутствие привычных атрибутов восполняется иными средствами: интонацией, внутренними конструкциями поэтической фразы, ритмичными повторами, наконец, смыслом, заключенным в своеобразные, но четкие формулы.

Не надо представлять себе дело так, что поэт писал, писал «нормальные» стихи, а потом решил с понедельника писать по-новому. Видимо, какая-то внутренняя логика привела к этому. Стало казаться необходимым и естественным то, что еще вчера могло казаться искусственным и вообще невозможным.

Правда, путь свободного стиха полон соблазнов и, в случае, если изменит чувство меры или при желании злоупотребить, чреват самыми тяжелыми последствиями. Но в пределах разумного свободный стих не только допустим, но и интересен новыми возможностями и новой степенью выразительности. Так или иначе, дань была отдана.

При возвращении на «стезю» амплитуда колебания потребовала своей жертвы, я бы даже сказал, искупления в виде «Венка сонетов» — формы самой строгой и самой сложной, какая только существует в поэзии, но подробнее

об этом — в маленьком предисловии, предпосланном «Венку» на соответствующих страницах этого тома.

Не имея возможности похвастаться широтой и прямизной поэтического проспекта, на который вывели бы меня мои стихи, я могу сказать только, что я шел по земной, вьющейся меж деревьев и трав незамысловатой, но — хочется верить — своей тропе.

...Рано или поздно наступает момент, когда пишущий стихи садится за прозу. Тому, как мне кажется, есть две основные причины.

Стихотворение всегда есть неожиданность и событие. Его нельзя не только запланировать, но и предугадать. Утром еще кажется, что все кончено, что никогда больше не будет ни одного стихотворения, как вдруг оно появляется, и потом, оглядываясь, недоумеваешь, откуда оно взялось, и опять кажется, что оно последнее, и все кончено, и никогда больше не будет ни одного стихотворения.

В самом деле, если человек умеет писать стихи, почему же он их пишет единицами и десятками, а не сотнями и не тысячами? Пиши их беспрерывно, если умеешь. Но нет, надо ждать, когда стихотворение придет. От стихотворения до стихотворения проходят дни, недели, а быть может, и месяцы. Конечно, какая-то внутренняя работа беспрерывна, но внешне «станок» простаивает, и простаивание это мучительно, возникает желание заполнить его другой работой.

Вторая, более объективная, причина состоит в том, что накапливается жизненный материал, который (и литератор-профессионал это чувствует, знает) может лечь только в повесть, в рассказ, а отнюдь не в стихотворение. На языке некоторых читателей это называется «перейти на прозу». «Такой-то,— говорят,— перешел на прозу». Иногда это определение бывает правильным, но иногда является грубой ошибкой. Дело тут гораздо сложнее. Как человек, знающий в совершенстве несколько языков, думает все же на каком-нибудь одном, а именно на родном языке, так и поэт, если даже он пишет статьи, очерки, повести и рассказы, должен сохранить способность думать стихами. Только в том случае, если он лишится поэтического мышления, про него можно будет сказать, что он «перешел на прозу». Такие случаи отнюдь не редки, но не исключительны.

Разница же между поэзией и прозой общеизвестна: в прозе можно больше **рассказать,** но **сказать** одним стихотворением можно больше, чем целым романом.

Подробнее о «Владимирских проселках». Незадолго до них я написал прозаическую книгу об одной заморской стране. Обе книги писались, как иногда говорят, при прочих равных условиях, тем не менее получилась между ними большая разница.

Прежде всего, каковы условия, которые нужно считать равными? Обе книги — о путешествиях. Первое путешествие по маленькой адриатической стране, второе — по Владимирской области. И то и другое путешествие длилось по сорок дней. Написание той и другой книги заняло примерно одинаковое время. Литературные способности, если они есть,— одни и те же. Как автор могу добавить: обе книги писал с одинаковым старанием. Даже при писании книги «За синь-морями» было употреблено больше усилий. «Владимирские проселки» писались легче, беззаботнее, веселее.

У первой книги, казалось бы, должно быть преимущество перед второй: необыкновенная экзотичность материала. Много ли мы знаем, как там, на берегах Адриатики. А тут что же? Какая-нибудь районная чайная, какой-нибудь председатель колхоза, болото, луг с ромашками, мост через речку. Все знакомое, все виденное читателем. Один интерес может вызвать описание оливковой рощи, другой интерес — к сосновому бору. Там уж если город, то Скутари, а у нас и всего-то — Вязники.

Так или иначе, обе книги были написаны, изданы, разошлись. Первая вызвала два читательских письма, вторая — несколько тысяч. Я задумался. Какие же дополнительные условия присовокупились тут? Благодаря чему вторая книга нашла более прямой и короткий путь к сердцам читателей? Почему она острее, больнее (или радостней?) задела за читательский нерв?

Конечно, думал я, имеет значение, что во второй книге я затрагивал социальные вопросы. Русская литература всегда была социальной.

Конечно, думал я дальше, есть интерес и есть заинтересованность. Вернее сказать, есть любопытство и есть интерес. У наших читателей к этой самой адриатической экзотике большое любопытство, к делам же, творящимся на своей земле, заинтересованность и интерес.

Кроме того, имеет значение и еще одно обстоятельство. Чтобы объяснить его, воспользуюсь притчей, которая мне пришла в голову, когда я думал о судьбах двух этих книг.

Допустим, что у вас, дорогой читатель, в другом городе происходит важное событие. Ну, скажем, в Киеве должны

сделать операцию близкому человеку. И вот вы получаете из Киева письмо от приятеля (приятельницы). Вам пишут, что в Киеве наступила весна, на каштанах распускаются листья, в опере дают «Наталку-Полтавку», гастролирует югославская эстрада, завод «Арсенал» перевыполнил план.

Можно ли сказать, что вам написали неправду? Нет, этого сказать никак нельзя. Все так и есть на самом деле: весна, каштаны, опера, югославская эстрада... Но в письме нет одного — как прошла операция, и если этого нет, то письмо утрачивает для вас 90% своего интереса. Вообще-то любопытно, конечно, прочитать про Киев... Но как прошла операция??? Значит, в книге должно быть что-то такое, в чем читатель кровно заинтересован, чего он страстно, с нетерпением ждет. В писательской работе, а тем более на протяжении многих лет, должна быть своя тактика и своя стратегия. Читательские письма толкали меня на продолжение «Владимирских проселков». Как будто и логика вела туда же. Книга получилась, а, между тем, пройдена только одна половина Владимирской области. Почему бы не пройти вторую половину и не написать еще одну книгу?

Но я спросил сам себя: что же получится в этом случае? Новые «Владимирские проселки»? Нет. Просто старых «проселков» будет в два раза больше.

Но разве важно при создании вина или выведении сорта яблок, цветов, сколько получилось этого нового сорта — литр или тысяча бочек, яблоня или сто?

Осознав все это, я взялся за написание новой книги, а именно «Капли росы».

Между прочим, похожее положение возникло после публикации «Писем из Русского музея». Почему бы (спрашивали читатели, а вместе с ними мог бы спросить себя и автор) не быть теперь письмам из Третьяковской галереи, из Эрмитажа, из какого-нибудь хорошего областного музея? Однако продолжением книги явились не новые «письма», а «Черные доски». А потом «Время собирать камни», а потом «Продолжение времени».

Так или иначе, «Владимирские проселки» и «Капля росы» были написаны, опубликованы и прочитаны определенным количеством людей.

По объему написанные вещи больше всего подходили под повести, но все же они не были повестями в привычном понимании этого слова. По сути, их проще всего было бы назвать очерками, но к тем (пятидесятым) годам сложился

у нас жанр очерка как газетно-журнального злободневного (вернее было бы сказать, сиюдневного) произведения. В конце концов критикой был рожден термин: лирические повести, вообще — лирическая проза. Так и утвердилось это название и за «Владимирскими проселками» и за «Каплей росы», перейдя в последующие годы на «Дневные звезды» Ольги Берггольц, «Ледовую книгу» Ю. Смуула, «Вишневый омут» и «Хлеб — имя существительное» Михаила Алексеева, на «Липяги» Сергея Крутилина...

Что касается литературного метода, то он четко выражен в эпиграфе из Аксакова, предпосланном «Капле росы»: «...Передавать другим свои впечатления с точностию и ясностью очевидности, так, чтобы слушатели получили такое же понятие об описываемых предметах, какое я сам имел о них».

Один том в этом издании занимают рассказы.

Лично у меня путь к рассказу начался в тех «огоньковских» очерках, которые мне пришлось писать по долгу службы в течение семи лет. После окончания Литературного института волею судеб я работал разъездным очеркистом в журнале «Огонек». Именно тогда я научился, приехав на место (будь то высокогорное пастбище в Киргизии, будь то украинское село, будь то Коунрадский медный рудник, будь то трубопрокатный завод), во что бы то ни стало найти такое событие и такого человека, которые сами по себе уже представляли бы готовый (полуготовый) литературный сюжет. Конечно, журнал устанавливал рамки, внутри которых приходилось крутиться (производство, достижения, трудовые подвиги, новаторство и т. д. и т. п.), но со временем рамки отпали, а метóда осталась. Как курьез можно отметить, что один интимно-лирический эпизод, привезенный из «огоньковской» командировки с озера Иссык-Куль, привел бы в ужас заведующего отделом, если бы я предложил его тогда как результат поездки, но несколько лет спустя, когда автор был уже не огоньковцем, а просто писателем, рассказ, основанный на этом эпизоде («И звезда с звездою говорит»), был с удовольствием принят «Огоньком» же и опубликован на страницах журнала.

Манеру писать рассказы от первого лица можно воспринимать как литературный прием, который имеет свои «за» и свои «против». Возникает у читателя дополнительное ощущение достоверности, рассказ обладает дополнительной силой убедительности, что, конечно, немаловажно. Но вместе с тем этот прием ограничивает автора в изобрази-

тельных средствах. Ведь читатель уверен, что тут действует сам автор, сознание этого лишает автора свободы в обрисовке рассказчика как персонажа: бумага и вообще-то и без того терпит лишь определенную степень откровенности.

Происходит то, что можно, быть может, назвать самотипизацией, когда персонаж, от имени которого ведется повествование, тоже несет момент обобщения, становится литературным образом, так что нельзя поставить полноценного знака равенства между ним и автором, хотя читатель этот знак равенства все равно ставит.

Одни писатели оставляют после себя героев, персонажей, действующих лиц: Дубровского и Анну Каренину, Печорина и Обломова, Чичикова и Базарова, Наташу Ростову и Пьера Безухова (подставьте сюда десятки и сотни имен), от других писателей остается в конце концов самотипизированный, обобщенный образ самих писателей, как, скажем, от Радищева и Бунина, Пришвина и Аксакова...

Генри Девид Торо в замечательной книге «Уолден, или Жизнь в лесу» возгласил: «Я не говорил бы так много о себе, если бы знал кого-нибудь так же хорошо, как себя».

«Письма из Русского музея», «Черные доски», «Время собирать камни» (а так же и «Продолжение времени» — работа, которая не успевает в это издание) составляют особую линию в литературных устремлениях автора.

Хотя мы и условились, что продолжение уже состоявшейся книги — дело едва ли нужное и полезное, тем не менее и в то же время каждая новая книга писателя в чем-то и чем-то продолжает предыдущие книги, одно в работе писателя порождает другое, одно вытекает из другого. Поэтому каждого последовательного ученого, публициста, писателя всегда можно упрекнуть в том, что он время от времени повторяется. Не текстологически, конечно, но в материале, в главной мысли или, как еще иногда принято называть,— в главном пафосе. Трудно ли было бы упрекнуть, скажем, М. М. Пришвина: «Ах, опять он со своим лесом и со своими временами года!» Или Абрамова — Астафьева — Белова — Распутина: «Ах, опять они с этой своей российской деревней!»

Дело здесь еще и в том, что в наше бурное и ответственное время самым большим и тонким художникам (кабы таковые существовали) приходится решать в первую очередь не какие-либо художественные задачи, но задачи, лежащие вне пределов чистого искусства и творчества, задачи, лежащие в самой современной действительности, задачи

социального, общественного порядка. Значит, причины последовательности, постоянства надо искать не в маниакальной одержимости литератора своей темой, а в том, что проблемы, которые его волнуют, продолжают существовать, они не решены, не сдвигаются с места и, может быть, даже с течением времени обостряются и усугубляются.

Обо всем не напишешь. Если бы автор преследовал цель привлекать читательское, общественное внимание конкретно к тому или иному памятнику русской культуры ради его спасения и восстановления, то можно вообразить, какого объема были бы те или иные записки. Велика и обширна наша земля. В таком случае автор один должен был бы заменить целое Общество по охране исторических и культурных памятников, а он этого сделать не в состоянии. Да и нет нужды. Важно пробудить в людях вообще интерес к этому предмету. Национальное самосознание, пробудившись, само подскажет, что делать дальше.

Надо выделить и еще одну линию в работе, тем более что она и без того выделяется в издании в отдельный том,— это очерки о природе. Здесь можно было бы порассуждать о значении природы для человека как среды обитания, как эстетической и духовной категории, о значении любви к родной природе как составного чувства патриотизма, чувства родины, о значении культивирования этого чувства в сознании людей. Может быть, в конечном счете книги о природе и приобретают такое значение и выполняют эту задачу. Ведь для нас всех восприятие родной природы неотделимо от описания ее, от воспевания ее всеми предшествовавшими поэтами и писателями. Разве кто-нибудь из нас, увидев колокольчики хотя бы, не вспомнит «Колокольчики мои — цветики степные», а оказавшись в поле в лунную зимнюю ночь, не прошепчет: «Сквозь волнистые туманы пробирается луна», а в яркое зимнее утро не воскликнет: «Мороз и солнце — день чудесный!» Все это так. Но уж если что-нибудь и пишется без дополнительной «задней» мысли и цели, то, конечно, страницы о природе. Боже мой, какое наслаждение было писать книжицу о грибах «Третью охоту», или заметки о зимнем уженье рыбы «Григоровы острова», или книгу о нашем растительном царстве — «Траву». Словно заново находил каждый гриб, словно заново вдыхал аромат каждой травки и любовался каждым цветком. Человек создан жить среди природы, как птица летать. Естественное состояние человека — находиться среди природы. Но если во времена Пушкина и А. К. Толстого, Тургенева

и Аксакова, Тютчева и Некрасова можно было просто восхищаться природой и воспевать ее, то в наше время, увы, за каждым обращением к природе невольно подразумевается, что ее надо охранять, защищать и даже спасать.

Каждый раз, когда оказывался созерцающим великую одухотворенную красоту природы (будь то закат над полем, тихая речка в свете зари, листопад или иней, дерево или цветок), говорил про себя: но ведь не должно же быть, что мне это дается одному, должны и другие видеть то же и чувствовать то же, нужны сопереживатели, сосозерцатели, тогда и природа сама будет еще ярче, еще духовнее и богаче.

...Издание подобного рода заставляет перечитывать прежние вещи. Кое-что изменилось в тебе и в твоем отношении к миру, кое-что изменилось и в самом мире.

Значит ли это, что прежнюю книгу нужно приспосабливать путем переработки и правки к твоему новому психологическому состоянию и к новому состоянию окружающей нас быстротекущей действительности?

Этот вопрос решается по-разному. Пушкин категорически заявил, что никогда не мог изменить раз им написанного. Горький мечтал переписать ранние романтические рассказы. Все горьковеды, литературоведы и просто читатели сходятся сейчас на одном: «Как хорошо, что он этого не сделал». Леонид Леонов переписал недавно свое раннее произведение «Вор». Значит, в литературе бывают разные случаи. Но все же переделывать несколько лет спустя написанное и изданное (если не иметь в виду очевидных ошибок) не равноценно ли тому, как если бы время от времени ретушировать и перретушировать фотографию (а если угодно — подписывать живописный портрет), по мере того как внешность оригинала изменяется под воздействием событий и времени?

На мой взгляд, это в равной степени касается и художественной прозы, где живут, действуют вымышленные герои, обращающиеся в вымышленной обстановке, и прозы документальной, когда не изменены даже имена героев и персонажей, не говоря уж о названиях городов, деревень, музеев и вообще всех, так сказать, имен собственных.

Время идет вперед. Меняется человек, меняется и действительность. Меняются взаимоотношения между ними. Фотографии (равно как и живописные портреты) говорят о вчерашнем дне. Но поэтому-то их и хранят.

В. Солоухин

СТИХОТВОРЕНИЯ

ДОЖДЬ В СТЕПИ

ДОЖДЬ В СТЕПИ

С жадностью всосаны
В травы и злаки
Последние капельки
Почвенной влаги.

Полдень за полднем
Проходят над степью,
А влаге тянуться
В горячие стебли.

Ветер за ветром
Туч не приносят,
А ей не добраться
До тощих колосьев.

Горячее солнце
Палит все упорней,
В горячей пыли
Задыхаются корни.

Сохнут поля,
Стонут поля,
Ливнями бредит
Сухая земля.

Я проходил
Этой выжженной степью,
Трогал руками
Бескровные стебли.

И были колючие
Листья растений
Рады моей
Кратковременной тени.

О, если б дождем
Мне пролиться на жито,
Я жизнь не считал бы
Бесцельно прожитой!

Дождем отсверкать
Благодатным и плавным —
Я гибель такую
Не счел бы бесславной!

Но стали бы плотью
И кровью моей
Тяжелые зерна
Пшеничных полей!

А ночью однажды
Сквозь сон я услышу:
Тяжелые капли
Ударили в крышу.

О нет, то не капли
Стучатся упорно,
То бьют о железо
Спелые зерна.

И мне в эту ночь
До утра будут сниться
Зерна пшеницы...
Зерна пшеницы...

1946

РОДНИК

Я тех мест святыми не считаю,
Я от тех лесов почти отвык.
Там по мне, наверно, не скучает
Очень звонкий маленький родник.

Он пропах землей, травой и хвоей,
В жаркий полдень холоден всегда.
А опустишь руку в голубое,
Заласкает светлая вода.

У его задумчивого пенья
Я большой учился чистоте,
Первым, самым робким вдохновеньям,
Первой, самой маленькой мечте.

Я тех мест святыми не считаю,
Только я не так еще отвык,
Только пусть пока не высыхает
Очень звонкий маленький родник.

Пусть вдали от низенького дома
Я, мужая, сделаюсь седым.
Я еще приду к нему, живому,
И еще напьюсь его воды!

1945

НАПОЛЕОНОВСКИЕ ПУШКИ В КРЕМЛЕ

После первых крещений в Тулоне
Через реки, болота и рвы
Их тянули поджарые кони
По Европе до нашей Москвы.
Их сорвали с лафетов в двенадцатом
И в кремлевской святой тишине
По калибрам, по странам и нациям
К опаленной сложили стене.
Знать, сюда непременно сводило
Все начала и все концы.
Сквозь дремоту холодные рыла
Тупо смотрят на наши дворцы.
Итальянские, польские, прусские
И двунадесять прочих держав.
Рядом с шведскими пушки французские
Поравнялись судьбой и лежат.
Сверху звезды на башнях старинных,
Башням памятна славная быль.
И лежит на тяжелых стволинах
Безразличная русская пыль.

1946

ЛОСЬ

Тем утром, радостным и вешним,
В лесу гудело и тряслось.
Свои рога через орешник
Нес молодой тяжелый лось.

Он трогал пристально и жадно
Струю холодного ключа,
Играли солнечные пятна
На полированных плечах,

Когда любовный зов подруги,
Вдруг прилетев издалека,
Его заставил стать упругим
И бросить на спину рога.

Но в миг, когда он шел долиной,
Одним желаньем увлечен,
Зрачок стального карабина
Всмотрелся в левое плечо.

Неверно дрогнули колена.
И раскатился скорбный звук.
И кровь, слабея постепенно,
Лилась толчками на траву.

А за кустом, шагах в полсотни,
Куда он чуть дойти не смог,
Привесил к поясу охотник
Умело сделанный манок.

1946—1956

НАД РУЧЬЕМ

Спугнув неведомую птицу,
Раздвинув заросли плечом,
Я подошел к ручью напиться
И наклонился над ручьем.

Иль ты была со мною рядом,
Иль с солнцем ты была одно:
Твоим запомнившимся взглядом
Горело искристое дно.

Или, за мною вслед приехав,
Ты близ меня была тогда!
Твоим запомнившимся смехом
Смеялась светлая вода.

И, угадав в волне нестрогой
Улыбку чистую твою,
Я не посмел губами трогать
Затрепетавшую струю.

1946

НА БАЗАРЕ

На базаре квохчут куры,
На базаре хруст овса,
Дремлют лошади понуро,
Каплет деготь с колеса.

На базаре пахнет мясом,
Туши жирные лежат.
А торговки точат лясы,
Зазывают горожан.

Сало топится на солнце,
Просо сыплется с руки,
И хрустящие червонцы
Покидают кошельки.

— Эй, студент, чего скупиться?
По рукам — да водку пить!.. —
Ко всему мне прицениться,
Ничего мне не купить.

А кругом такая свалка,
А кругом такой содом!
Чернобровая гадалка
Мне сулит казенный дом.

Солнце выше, воздух суше,
Растревоженней базар,
Заглянули в мою душу
Сербиянские глаза.

Из-под шали черный локон,
А глаза под стать ножу:
— Дай-ка руку, ясный сокол,
Дай на руку погляжу!

Будет тайная тревога,
А из милых отчих мест
Будет дальняя дорога
И червонный интерес!

Ту девицу-голубицу
Будешь холить да любить...—
Ко всему мне прицениться,
Ничего мне не купить.

1946

* * *

Как растают морозные
Голубые снега,
Воды вешние, грозные
Принимает река.

Воды талые, мутные
Из окрестных лугов,
И становится трудно им
В тесноте берегов.

Выливаются в поймы,
Размывают стога...
А моя река поймана,
Высоки берега.

Половодью быть где же тут,
Как же паводку быть?
Только льдины со скрежетом
Вдруг встают на дыбы.

И, сшибаясь, сломаются,
И звереет волна,—
Не звереть и не маяться
В эти дни не вольна!

1945—1956

СНИМАЮ ТРУБКУ...

Молчать, молчать, ревнуя и страдая.
Нет, все как есть простить,
Вернуть ее назад!
Снимаю трубку, словно поднимаю
Тяжелый камень, словно виноват.

Я не хотел... Но поздно или рано...
Я это знал все время наизусть...
Сухой щелчок как выстрел из нагана.
Я трубку снял.
Ты слышишь — я сдаюсь!

1945

* * *

Наверное, дождик прийти помешал,
А я у пустого сквера
Тебя до двенадцати ночи ждал
И ждал терпеливо в первом.
Я все оправданий тебе искал:
«Вот если бы дождик не был!..»
И если была какая тоска —
Тоска по чистому небу.

Сегодня тебе никто не мешал.
А я у того же сквера
Опять до двенадцати ночи ждал,
Но с горечью понял в первом:
Теперь оправданий нельзя искать —
И звезды и небо чисто.
И если крепка по тебе тоска,
Тоска по дождю — неистова!

1945

* * *

Постой. Еще не все меж нами!
Я горечь первых чувств моих
В стих превращу тебе на память,
Чтоб ты читала этот стих.

Прочтешь. Но толку много ль в том,
Стихи не нравятся, бывает,
Ты вложишь их в тяжелый том —
Подарок чей-то, я не знаю.
А через год не вспомнишь снова
(Позабывают и не то!),
В котором томе замурован
Мой вдвое сложенный листок.

Но все равно ты будешь слышать,
Но будешь ясно различать,
Как кто-то трудно-трудно дышит
В твоей квартире по ночам,
Как кто-то просится на волю
И, задыхаясь и скорбя,
Ревнует, ждет, пощады молит,
Клянет тебя!.. Зовет тебя!..

1945—1956

ЯБЛОНЬКА, РАСТУЩАЯ ПРИ ДОРОГЕ

Она полна задорных соков,
Она еще из молодых,
И у нее всегда до срока
Срывают жесткие плоды.

Они растут как будто наспех
И полны вязкой кислотой.
Она безропотно отдаст их
И остается сиротой.

Я раз тряхнул ее, да слабо.
А ветки будто говорят:
«Оставьте яблоко хотя бы
На мне висеть до сентября.

Узнайте, люди, как бывают
Прекрасны яблоки мои,
Когда не силой их срывают,
А я сама роняю их».

1947

* * *

Дуют метели, дуют,
А он от тебя ушел...
И я не спеша колдую
Над детской твоей душой.

Нет, я не буду спорить,
Делать тебе больней.
Горе, большое горе
Скрылось в душе твоей.

В его задекабрьском царстве
Птицам петь не дано...
Но моего знахарства
Вряд ли сильней оно.

Мне не унять метели,
Не растопить снега...
Но чтобы птицы пели —
Это в моих руках.

Прежнего, с кем рассталась,
Мне не вернуть никак...
Но чтобы ты смеялась —
Это в моих руках!

1947

ЧАЙКА

Тут и полдень безмолвен, и полночь глуха,
Густо спутаны прочные сучья.
Желтоглазые совы живут по верхам,
А внизу — муравьиные кучи.

До замшелой земли достают не всегда
Золотые и тонкие спицы.
И неведомо как залетела сюда
Океанская вольная птица.

И спешила спастись. Все металась, крича,
И угрюмые сосны скрипели.
И на черную воду лесного ручья
Тихо падали белые перья.

Я простор тебе дам. Только ты не спеши
О тяжелые ветви разбиться,
Залетевшая в дебри таежной тиши
Легкокрылая милая птица.

1947

ЗДЕСЬ ГУЩЕ ДРЕВЕСНЫЕ ТЕНИ...

Здесь гуще древесные тени,
Отчетливей волчьи следы,
Свисают сухие коренья
До самой холодной воды.

Ручья захолустное пенье
Да посвисты птичьи слышны,
И пахнут лесным запустеньем
Поросшие мхом валуны.

Наверно, у этого дуба,
На этих глухих берегах
Точила железные зубы
Угрюмая баба-яга.

На дне буерака, тоскуя,
Цветок-недотрога растет,
И папортник в ночь колдовскую,
Наверное, здесь расцветет...

Сюда вот, откуда дорогу
Не сразу обратно найдешь,
Забрел я, не верящий в бога,
И вынул охотничий нож.

Без страха руками своими
(Ветрам и годам не стереть)
Нездешнее яркое имя
Я высек на крепкой коре...

И кто им сказал про разлуку,
Что ты уж давно не со мной:
Однажды заплакали буквы
Горячей янтарной смолой.

С тех пор как уходят морозы,
Как только весна настает,
Роняет дремучие слезы
Забытое имя твое.

1947

* * *

На потухающий костер
Пушистый белый пепел лег,
Но ветер этот пепел стер,
Раздув последний уголек.
Он чуть живой в золе лежал,
Где было холодно давно.
От ветра зябкого дрожа
И покрываясь пеплом вновь,
Он тихо звал из темноты,
Но ночь была свежа, сыра,
Лесные, влажные цветы
Смотрели, как он умирал...

И всколыхнулось все во мне:
Спасти, не дать ему остыть,
И снова в трепетном огне,
Струясь, закружатся листы.
И я сухой травы нарвал,
Я смоляной коры насек.
Не занялась моя трава,
Угас последний уголек...
Был тих и чуток мир берез,
Кричала птица вдалеке,
А я ушел... Я долго нес
Пучок сухой травы в руке.

Все это сквозь далекий срок
Вчера я вспомнил в первый раз:
Последний робкий уголек
Вчера в глазах твоих погас.

1947

* * *

Я тебе и верю и не верю,
Ты сама мне верить помоги.
За тяжелой кожаною дверью
Пропадают легкие шаги.

Ты снимаешь варежки и боты,
Над тобою сонный абажур.
Я иду в поземку за ворота,
В улицы пустые выхожу.

Ветер вслед последнему трамваю
Свищет, рельсы снегом пороша,
Ты садишься, ноты открываешь,
В маленькие руки подышав.

Проведешь по клавишам рукою,
Потихоньку струны зазвенят,
Вспомнишь что-то очень дорогое,
Улыбнешься, вспомнив про меня.

Звук родится. Медленно остынет.
Ты умеешь это. Подожди!
Ты умеешь делать золотыми
Серые осенние дожди.

Но в студеный выветренный вечер,
Не спросив, на радость иль беду,
Ты сумеешь выбежать навстречу,
Только шаль накинув на ходу.

Не спросив, далеко ли пойдем мы,
Есть ли край тяжелому пути,
Ты сумеешь выбежать из дому
И обратно больше не прийти...

Или будешь мучиться и слушать,
У окошка стоя по ночам,
Как февраль все яростней и глуше
Гонит снег по голым кирпичам?

И тебе пригрезится такое:
Солнце, путь в торжественном лесу.
И тебя я, гордый и спокойный,
На руках, усталую, несу.

1949

МНЕ СТРАННО ЗНАТЬ...

Мне странно знать, что есть на свете,
Как прежде, дом с твоим окном.
Что ты на этой же планете
И даже в городе одном.

Мне странно знать, что тот же ясный
Восток в ночи заголубел,
Что так же тихо звезды гаснут,
Как это было при тебе.

Мне странно знать, что эти руки
Тебя касались. Полно, нет!
Который год прошел с разлуки!
Седьмая ночь... Седьмой рассвет...

1947

* * *

Седьмую ночь без перерыва
В мое окно стучит вода.
Окно сквозь полночь сиротливо,
Должно быть, светит, как звезда.

Вовек не станет путеводной
Звезда ненастная моя.
Смешался с мраком дождь бесплодный,
Поля осенние поя.

И лишь продрогшая рябина
Стучится кистью о стекло.
Вокруг нее размокла глина,
Рябине хочется в тепло.

Но уж осенним зябким ветром
Она простужена давно.
Задую свет, холодным светом
Ей не согреться все равно.

Задую свет, в окне застыну,
Взметнусь, едва коснувшись сна:
Не ты ль сломила гроздь рябины,
Стучишься, мокнешь у окна?

1946

* * *

Ты за хмурость меня не вини,
Не вини, что грущу временами,
Это просто дождливые дни,
Это тучи проходят над нами.

Ты ведь веришь, любимая, мне,
Я короткую хмурость осилю,
Где-то в очень большой глубине
Небо вечное, чистое, синее.

1949

ПОГИБШИЕ ПЕСНИ

Я в детстве был большой мастак
На разные проказы,
В лесах, в непуганых местах
По птичьим гнездам лазал.

Вихраст, в царапинах всегда
И подпоясан лычкой,
Я брал из каждого гнезда
На память по яичку.

Есть красота своя у них:
И у скворцов в скворечне
Бывают синими они,
Как утром небо вешнее.

А если чуточку светлей,
Величиной с горошину,—
Я знал, что это соловей,
И выбирал хорошее!

А если луговка — у той
Кругом в зеленых точках.
Они лежат в траве густой,
В болотных рыхлых кочках...

Потом я стал совсем большим
И стал любить Ее.
И я принес ей из глуши
Сокровище свое.

В хрустальной вазе на комод
Они водружены.
В большом бестрепетном трюмо
Они отражены.

Роса над ними не дрожит,
Как на лугу весеннем.
Хозяйка ими дорожит
И хвалится соседям.

А я забуду иногда
И загорюю снова:
Зачем принес я их сюда
Из детства золотого?

Дрожат над ними хрустали,
Ложится пыль густая,
Из них ведь птицы быть могли,
А птицы петь бы стали!
1949

* * *

Дорога влажною была,
Когда зима сюда пришла,
И легкий след моей любимой,
И даже рубчики калош
С земли морозной не сотрешь,
Застыло все, и все хранимо.

Потом нагрянули ветра
Из ледовитых дальних стран,
С цепи сорвавшийся буран
В ворота рвался до утра.
Его и след давно простыл,
Но, как надгробные курганы,
Сугробы в сажень высоты
Хранят величие бурана.

Ушли ветра, а вслед за ними
На землю пал спокойный иней,
Леса, деревни и мосты,
По речке низкие кусты,
Стога поодаль от реки,
Из труб лиловые дымки,

И все, что ни было вокруг,
Под зимним солнцем стало вдруг
Спокойным, чистым и простым
Узором редкой красоты.

Прошло немало трудных лет,
Пришло ко мне иное счастье,
Но цел под снегом легкий след
Ее, прошедшей по ненастью.

1948

ЗАБОР, СТАРИК И Я

Забор отменно прочен и колюч,
Под облака вздымается ограда...
Старик уйдет, в кармане спрятав ключ
От леса, от травы и от прохлады.
А я, приникнув к щели меж досок,
Увидел мир, упрятанный за доски,
Кусок поляны, дерева кусок,
Тропы и солнца узкую полоску.
И крикнул я: — Бессмысленный старик,
Достань ключи, ворота отвори!

Я одного до смерти не пойму,
Зачем тебе такое одному? —
Полдневный город глух и пропылен,
А я в весну и в девушку влюблен,
Я в этот сад с невестою приду
И свадьбу справлю в девственном саду!

— Тебя пустить, пожалуй, не беда,
Да не один ты просишься сюда,
А всех пустить я, право, не могу:
Они траву испортят на лугу,
И все цветы по берегу реки
Они сорвут на брачные венки.
— Да к черту всех, ты нас пусти двоих,
Меня пусти!
— А чем ты лучше их?

Я был упрям и долго день за днем
Ходил сюда и думал об одном,

Что без труда, пожалуй бы, я мог
Сорвать с пробоин кованый замок.
Но опускалась сильная рука
Перед неприкосновенностью замка.

А время шло. И липы отцвели,
И затрубили в небе журавли,
И (уж тепла ушедшего не жди)
Повисли беспрестанные дожди.

В такие дни не следует, блуждая,
Вновь возвращаться на тропинки мая,

Идти к дверям, которые любил,
Искать слова, которые забыл.

Вот он, забор, никчемен и смешон:
Для осени заборы не преграда.
Калитка настежь. Тихо я вошел
В бесшумное круженье листопада.
Одна рябина все еще горит...
А ты-то где, бессмысленный старик?!

1949—1956

КОРАБЛИ

Проходила весна по завьюженным селам,
По земле ручейки вперегонки текли,
Мы пускали по ним, голубым и веселым,
Из отборной сосновой коры корабли.

Ветерок паруса кумачовые трогал,
Были мачты что надо: прочны и прямы,
Мы же были детьми, и большую дорогу
Кораблю расчищали лопаточкой мы.

От двора, от угла, от певучей капели,
Из ручья в ручеек, в полноводный овраг,
Как сквозь арку, под корень развесистой ели
Проплывал, накреняясь, красавец «Варяг».

Было все: и заветрины и водопады,
Превышавшие мачту своей высотой.
Но корабль не пугали такие преграды,
И его уносило весенней водой.

А вода-то весной не течет, а смеется,
Ей предел не положен, и курс ей не дан.
Каждый малый ручей до реки доберется,
Где тяжелые льдины плывут в океан.

И мне снилось тогда — что ж поделаешь: дети!
Мой корабль по волнам в океане летит.
Я тогда научился тому, что на свете
Предстоят человеку большие пути.

1947

ГУСИ ШЛИ В НЕВЕДОМЫЕ СТРАНЫ...

Из-за леса, где в темно-зеленом
Ярко-красным вспыхнули осины,
Вышел в небо к югу заостренный,
Вожаком ведомый клин гусиный.

По низинам плавали туманы,
Серебрясь под солнцем невеселым,
Гуси шли в неведомые страны,
Пролетая северные села.

В их крови певучий и тревожный
Ветер странствий, вольного полета.
Впереди закатные болота,
Тишина ночлегов осторожных.

Или в час, как только рассвело,
Полнаперстка дроби под крыло.
И повиснут крылья, а пока
Легок взмах широкого крыла.

Гуси шли, и голос вожака
Долетел до нашего села.

А у нас на маленьком дворе,
Сельской птицы гордость и краса,
Тихо жил и к празднику жирел
Краснолобый медленный гусак.
По деревне шлялся и доволен
Был своею участью и волей.

Но теперь от крика вожака
В ожиревшем сердце гусака
Дрогнул ветер странствий и полета,
И гусак рванулся за ворота.
И, ломая крылья о дорогу,
Затрубил свободу и тревогу.

Но, роняя белое перо,
Неуклюже ноги волоча,
На задах, за низеньким двором
Он упал на кучу кирпича.

А на юге в небе светло-синем
Таял зов, на крыльях уносимый.

1949

ТАК СТРИЖ В ПРЕДГРОЗЬЕ...

Березу, звонкую от стужи,
Отец под корень подрубал.
Седьмой удар, особо дюжий,
Валил березу наповал.

На синий снег летели щепки,
Чуть розоватые собой,
А самый ствол, прямой и крепкий,
Мы на санях везли домой.

Там после тщательной просушки
Гулял рубанок по стволу,
И солнцем пахнущие стружки
Лежали пышно на полу.

А в час, когда дымки на крышах
И воздух звонок, как стекло,
Я уходил на новых лыжах
На холм высокий, за село.

Такой нетронутый и чистый
Весь мир лежал передо мной,
Что было жалко снег пушистый
Чертить неопытной лыжней.

Уже внизу кусты по речке
И все окрестности внизу,
И тут не то что спрыгнуть с печки
Иль прокатиться на возу.

Тут ноги очень плохо служат
И сердце екает в груди.
А долго думать только хуже,
А вниз хоть вовсе не гляди.

И я ловчил, как все мальчишки,
Чтоб эту робость провести:
Вот будто девочку из книжки
Мне нужно броситься спасти.

Вот будто все друзья ватагой
Идут за мною по пятам
И нужно их вести в атаку,
А я у них Чапаев сам.

Под лыжей взвизгивало тонко,
Уж приближался миг такой,
Когда от скорости шапчонку
Срывает будто бы рукой.

И, запевая длинно-длинно,
Хлестал мне ветер по лицу,
А я уже летел долиной,
Вздымая снежную пыльцу...

Так стриж в предгрозье, в полдень мая,
В зенит поднявшись над селом,
Вдруг режет воздух, задевая
За пыль дорожную крылом.

1951

УХОДИЛО СОЛНЦЕ В ЖУРАВЛИХУ...

Уходило солнце в Журавлиху,
Спать ложилось в дальние кусты,
На церквушке маленькой и тихой
Потухали медные кресты.

И тогда из дальнего оврага
Вслед за стадом медленных коров
Выплывала темная, как брага,
Синева июльских вечеров.

Лес чернел зубчатою каймою
В золоте закатной полосы,
И цветок, оставленный пчелою,
Тяжелел под каплями росы.

Зазывая в сказочные страны,
За деревней ухала сова,
А меня, мальчишку, слишком рано
Прогоняли спать на сеновал.

Я смотрел, не сразу засыпая,
Как в щели шевелится звезда,
Как луна сквозь дырочки сарая
Голубые тянет провода.

В этот час, обычно над рекою,
Соловьев в окрестностях глуша,
Рассыпалась музыкой лихою
Чья-то беспокойная душа.

«Эх, девчонка, ясная зориночка,
Выходи навстречу — полюблю!
Ухажер, кленовая дубиночка,
Не ходи к девчонке — погублю!»

И почти до самого рассвета,
Сил избыток, буйство и огонь,
Над округой царствовала эта
Чуть хмельная, грозная гармонь.

Но однажды где-то в отдаленье,
Там, где спит подлунная трава,
Тихое, неслыханное пенье
Зазвучало, робкое сперва,

А потом торжественней и выше
К небу, к звездам, к сердцу полилось...
В жизни мне немало скрипок слышать,
И великих скрипок, довелось.

Но уже не слышал я такую,
Словно то из лунности самой
Музыка возникла и, ликуя,
Поплыла над тихою землей,

Словно тихой песней зазвучали
Белые вишневые сады...
И от этой дерзости вначале
Замолчали грозные лады.

Ну а после, только ляжет вечер,
Сил избыток, буйство и огонь,
К новой песне двигалась навстречу
Чуть хмельная грозная гармонь.

И, боясь приблизиться, должно быть,
Все вокруг ходила на басах,
И сливались, радостные, оба
В поединок эти голоса.

Ночи шли июльские, погожие,
А в гармони, сбившейся с пути,
Появилось что-то непохожее,
Трепетное, робкое почти.

Тем сильнее скрипка ликовала
И звала, тревожа и маня.
Было в песнях грустного немало,
Много было власти и огня.

А потом замолкли эти звуки,
Замолчали спорщики мои,
И тогда ударили в округе
С новой силой диво-соловьи.

Ночь звездою синею мигала,
Петухи горланили вдали.
Разве мог я видеть с сеновала,
Как межой влюбленные прошли,

Как, храня от утреннего холода,—
Знать, душа-то вправду горяча —
Кутал парень девушку из города
В свой пиджак с горячего плеча.

1945—1951

ПЕТУХИ

С ними ходила клуша,
Прятала в дождь под крылья.
Они не любили лужи
И умывались пылью.

Много ли в жизни нужно
В раннюю пору эту?
Бегали стайкой дружной
По зеленому лету.

Но к осени ясно стало —
К осени выросли перья:
Два петуха в стае,
И вместе нельзя теперь им.

И раньше или позднее
Быть великому спору:
Который из них сильнее,
Кому вожаком быть впору.

А кому под топор на плахе,
Такова уж петушья участь.
Мой дед в домотканой рубахе
Даже рукав не засучит.

Вот уж и снег спускается —
Быть кровавому спору.
Словно клинки, сшибаются
Злые кривые шпоры.

Хлещут петушьи крылья
Хлеще ременной плетки.
Даже про корм забыли
Хорошенькие молодки.

И наблюдали куры,
Сбившись от стужи в груду,
Как за село понуро
Шел он, весь красногрудый.

Он жил у меня в сарае,
Куда я ходил за сеном.
Про это один я знаю,
Я да гнилые стены.

Я сыпал овес на току ему,
А ночью он тоже спал.
Но если птицы тоскуют,
Всю зиму он тосковал.

Он стал и сильней и строже
И пережил зиму ту.
А весной ему стало тоже,
Тоже невмоготу.

Вышел, качая гребнем,
Красным, словно кирпич,
И раздался по всей деревне
Боевой петушиный клич!

Вздрогнул вожак и даже
Не принял повторный бой.
А мой среди кур похаживал,
Покачивая головой.

1945—1955

СЕРЖАНТ ЗАПАСА

Мне позабыть уже не рано,
Как сапоги на марше трут.
Рука, отвыкнув от нагана,
Привыкла к «вечному перу».

С шинели спороты петлички,
Других не взять у старшины,
И все солдатские привычки
Как будто вовсе не нужны.

Все реже думаю меж делом,
Что кто-то новенький в строю
Берет навскидку неумело
Винтовку звонкую мою.

Что он, не знающий сноровки,
Влюбленный в «вечное перо»,
Клянет неправильность винтовки,
Бросавшей в зависть снайперов.

И для него одно и то же:
Сержант иль кто-нибудь другой
Хранил в подсумке желтой кожи
В обоймы собранный огонь.

Но мне бы все же знать хотелось,
Что, не отставши от других,
Он будет быстро и умело
Дырявить черные круги.

Но ведь моя винтовка сжата
В его неопытных руках.
И до сих пор зовут сержантом
Меня ребята из полка:

Все тот же я, повадки те же,
И та же собранность в лице,
И глаз, который неизбежно
Сажает душу на прицел.

И если я слыву спокойным,
Так это значит — до сих пор
Я помню сдержанность обоймы
И выжидающий затвор.

1947

КОЛОДЕЦ

Колодец вырыт был давно.
Все камнем выложено дно,
А по бокам, пахуч и груб,
Сработан плотниками сруб.
Он сажен на семь в глубину
И у́же видится ко дну.
А там, у дна, вода видна,
Как смоль, густа, как смоль, черна.
Но опускаю я бадью,
И слышен всплеск едва-едва,

И ключевую воду пьют
Со мной и солнце и трава.
Вода нисколько не густа,
Она, как стеклышко, чиста,
Она нисколько не черна
Ни здесь, в бадье, ни там, у дна.

Я думал, как мне быть с душой
С моей, не так уж и большой:
Закрыть ли душу на замок,
Чтоб я потом разумно мог
За каплей каплю влагу брать
Из темных кладезных глубин
И скупо влагу отдавать
Чуть-чуть стихам, чуть-чуть любви!
И чтоб меня такой секрет
Сберег на сотню долгих лет.
Колодец вырыт был давно,
Все камнем выложено дно,
Но сруб осыпался и сгнил
И дно подернул вязкий ил.
Крапива выросла вокруг,
И самый вход заткал паук.
Сломав жилище паука,
Трухлявый сруб задев слегка,
Я опустил бадью туда,
Где тускло брезжила вода.
И зачерпнул — и был не рад:
Какой-то тлен, какой-то смрад.

У старожила я спросил:
— Зачем такой колодец сгнил?
— А как не сгнить ему, сынок,
Хоть он и к месту, и глубок,
Да из него который год
Уже не черпает народ.
Он доброй влагою налит,
Но жив, пока народ поит.—
И понял я, что верен он,
Великий жизненный закон:
Кто доброй влагою налит,
Тот жив, пока народ поит.
И если светел твой родник,
Пусть он не так уж и велик,
Ты у истоков родника

Не вешай от людей замка.
Душевной влаги не таи,
Но глубже черпай и пои!
И, сберегая жизни дни,
Ты от себя не прогони
Ни вдохновенья, ни любви,
Но глубже черпай и живи!

1949

ЯБЛОНИ

1

Яблоня в нашем саду росла,
Очень крепкой она была.
Самой сладкой она слыла,
Самым белым цветом цвела.
Сучья тяжко к земле склонив,
Зрели яблоки белый налив.
Зубы врежешь — в гортани мед,
Теплым соком гортань зальет.

Вот покраснела в лесу листва,
Вот забурела в лугах трава,
Вот затрещали в печах дрова,
Я не перечу — зима права.

Онемела земля во льду,
Все мертво под луной в саду.
Снег подлунный и тот как лед:
Голубое сиянье льет.
С каждым часом зима сильней,
И до нежных живых корней
Уж добрался лютой мороз.
Спят деревья — не видно слез.
Все случилось в глубоком сне,
Не помог и глубокий снег.
Но расплата близка всегда —
В марте месяце с гор вода.

Забурлили ручьи-ключи,
Заиграли в ручьях лучи,
Раскрошились литые льды.
Теплый дождик омыл сады.

Так ударил расплаты час,
Но не все на земле он спас.
Что же, яблони, где ваш цвет?
Почему же и листьев нет?
Вы стоите черны-черны
Посреди молодой травы,
От дыханья самой весны
Не проснулись, деревья, вы.

2

Не сплетаются ветками,
Рос не пьют поутру,
Но, корявые, редкие,
Лишь гремят на ветру.
Подгнивают и падают,
На дрова их возьмут.
Больше солнца не надо им
И весна ни к чему.
Но выходят из семени
Клен, береза, трава.
У зеленого племени
Не отнимешь права.

Глубоки эти корни.
Начинается труд.
И побеги упорно
Пробивают кору.
Только выжить до срока,
Только на ноги встать,
Будет к солнцу дорога —
Ни согнуть, ни сломать.
Будут сильные листья,
Наливные плоды:
Только встать,
Только выстоять,
только быть молодым!

1945—1953

ГОРОДСКАЯ ВЕСНА

ЖУРАВЛИ

Журавли, наверно, вы не знаете,
Сколько песен сложено про вас,
Сколько вверх, когда вы пролетаете,
Смотрит затуманившихся глаз!

Из краев болотных и задебренных
Выплывают в небо косяки.
Крики их протяжны и серебряны,
Крылья их медлительно гибки.

Лирика полета их певучего
Нашей книжной лирики сильней.
Пролетают, радуя и мучая,
Просветляя лица у людей.

Годы мне для памяти оставили,
Как стоял я около реки
И, покуда в синем не растаяли,
Журавлей следил из-под руки.

Журавли летели, не синицы,
Чьим порханьем полнится земля...
Сколько лет уж, если спохватиться,
Не видал я в небе журавля!

Словно светлый сон приснился или
Это сказка детская была.
Или просто взяли обступили
Взрослые, серьезные дела.

Окружили книги окончательно,
Праздность мне постыдна и чужда...
Ну а вы, спрошу я у читателя,
Журавлей вы видели когда?

Чтоб не просто в песне, а воочию,
Там, где травы жухнут у реки,
Чтоб, забыв про мелочное прочее,
Все глядеть на них из-под руки.
Журавли!
Заваленный работою,
Вдалеке от пасмурных полей,
Я живу со странною заботою —
Увидать бы в небе журавлей!

1960

БОГИ

По дороге лесной, по широкому лугу
С дальнобойким ружьем осторожно иду.
Шарит ствол по кустам, озирает округу,
И пощаду в себе воплотив и беду.
Путь от жизни до смерти мгновенья короче:
Я ведь ловкий стрелок и без промаха бью.
Для порхающих птиц и парящих и прочих
Чем же я не похож на пророка Илью?
Вот разгневаюсь я — гром и молния грянет.
И настигнет стрела, и прощай синева...
Вот я добрый опять (как бы солнце проглянет),
Улетай себе, птица, оставайся жива.
Только птицы хитры, улетают заранее,
Мол, на бога надейся, но лучше в кусты...
И проходит гроза, никого не поранив.
«Злой ты бог. Из доверия выбился ты!»
Впрочем, вот для разрядки достаточный повод:
На березе скворцы у скворечни своей;
Белогрудая ласточка села на провод,
Восхищенно глядит, хоть в упор ее бей.
Так за что ж ее бить, за доверие, значит?
Для того, чтоб она нелюдимой была,
Та, что даже детишек от взгляда не прячет
И гнездо у тебя над окошком свила?
Ты ее не убьешь и пойдешь по дороге,
Онемеет в стволе окаянный свинец...

. . . .

Пуще глаза, о, с громом и молнией, боги,
Берегите доверие душ и сердец!

1961

ГОРОДСКАЯ ВЕСНА

Растопит солнце грязный лед,
В асфальте мокром отразится.
Асфальт — трава не прорастет,
Стиха в душе не зародится.

Свои у города права,
Он в их охране непреложен,
Весна бывает, где земля,
Весна бывает, где трава,
Весны у камня быть не может.

Я встал сегодня раньше всех,
Ушел из недр квартиры тесной.
Ручей. Должно быть, тает снег.
А где он тает — неизвестно.

В каком-нибудь дворе глухом,
Куда его зимой свозили
И где покрылся он потом
Коростой мусора и пыли.

И вот вдоль тротуара мчится
Ручей, его вода грязна,
Он — знак для жителей столицы,
Что где-то в эти дни весна.

Он сам ее еще не видел,
Он здесь рожден и здесь живет,
Он за углом, на площадь выйдя,
В трубу колодца упадет.

Но и минутной жизнью даже
Он прогремел, как трубный клич,
Напомнив мне о самом важном —
Что я земляк, а не москвич.

Меня проспекты вдаль уводят,
Как увела его труба.
Да, у меня с ручьем сегодня
Во многом сходная судьба.

По тем проспектам прямиком
В мои поля рвануться мне бы.
Живу под низким потолком,
Рожденный жить под звездным небом.

Но и упав в трубу колодца,
Во мрак подземных кирпичей,
Не может быть, что не пробьется
На волю вольную ручей.

И, нужный травам, нужный людям,
Под вешним небом средь полей,
Он чище и светлее будет,
Не может быть, что не светлей!

Он станет частью полноводной
Реки, раздвинувшей кусты,
И не асфальт уже бесплодный —
Луга зальет водой холодной,
Где вскоре вырастут цветы.

А в переулок тот, где душно,
Где он родился и пропал,
Вдруг принесут торговки дружно
Весенний радостный товар.

Цветы! На них роса дрожала,
Они росли в лесах глухих.
И это нужно горожанам,
Конечно, больше, чем стихи!

1953

* * *

Прадед мой не знал подобной резвости,
Будучи привержен к шалашу.
Все куда-то еду я в троллейбусе,
И не просто еду, а спешу.

Вот, смотрите, прыгнул из трамвая,
Вот, смотрите, ринулся в метро,
Вот под красный свет перебегаю,
Улицей лавирую хитро.

Вот толкусь у будки автомата,
Злюсь, стучу монетой о стекло.
Вот меня от Сретенки к Арбату
Завихреньем жизни повлекло.

Вот такси хватаю без причины,
Вновь бегу неведомо зачем.
Вот толкаю взрослого мужчину
С крохотной березкой на плече.

Пред глазами у меня — мелькание,
В голове — мыслишки мельтешат,
И чужда ты миросозерцания,
С панталыку сбитая душа.

«Подожди, а что же это было-то?» —
С опозданьем выскочил вопрос.
Словно дочку маленькую, милую,
Он березку на плече понес!

И в минуту медленной оглядки
Прочитал я эти девять слов:
«Здесь продажа на предмет посадки
Молодых деревьев и кустов».

Вишенка, рябинка и смородина
У забора рядышком стоят.
(О, моя рябиновая родина!
Росный мой смородиновый сад!)

Значит, кто-то купит это деревце,
Увезет, посадит у ворот,
Будет любоваться да надеяться:
Мол, когда-нибудь и расцветет.

На листочки тонкие под вечер
Упадет прохладная роса,
Будет вечер звездами расцвечен,
Распахнутся настежь небеса.

Радости, свершенья, огорчения,
Мыслей проясняющийся ход
Времени законное течение
Медленно и плавно понесет.

Время — и пороша ляжет белая.
Время — ливень вымоет траву...
Что-то я не то чего-то делаю,
Что-то я неправильно живу!

1956

РАБОТА

Велели очерк написать
О свиноферме мне.
Давно затихли голоса
Столичные в окне.

Давным-давно соседи спят,
А я еще сижу.
Про сало цифры говорят —
Я в очерк их ввожу.

Героев нужен целый ряд,
Притом передовых.
Про сало люди говорят —
Описываю их.

И поглядеть со стороны —
Работа так проста...
А между тем из глубины
Бумажного листа

Вдруг появляются черты
Печального лица.
Они светлы, они чисты,
Любимы до конца.

Лицо все ярче, все светлей,
Все явственней оно...
Я не пишу стихов о ней,
А надо бы давно!

Соседи спят. Все люди спят.
А я еще сижу.
Про сало цифры говорят —
Я в очерк их ввожу.

Я тверд. Я приучил к труду
Себя в конце концов.
За строчкой строчку я кладу
На милое лицо.

Вот исчезает лоб ее,
Словами испещрен.
А там как раз, где бровь ее,
Вписал я ряд имен.

И вот уж больше не видны
Ни очи, ни уста...

А поглядеть со стороны —
Работа так проста!

1956

ОСЕННЯЯ НОЧЬ

Блестит панель. По ярким лужам
Гуляют зябкие ветра,
Еще не время зимним стужам,
Ненастью самая пора.

Вкруг фонарей из тьмы дождинок
Завесы желтых паутин.
И дождь, стремящийся в суглинок,
Асфальт встречает на пути.

Машины, зонтики прохожих,
Реклам и окон яркий свет...
Здесь ночь сама на день похожа
И темноты в помине нет.

А между тем бывает страшен
Сырой осенний мрак земли.
Над молчаливой речкой нашей
Теперь темно, хоть глаз коли.

Там, по дороге самой торной,
На ощупь двигались бы вы.
Лишь ветер мокрый, ветер черный
Средь черной рыскает травы.

Там под сырым ночным покровом
Листва мертвеет на кустах,
Грибы растут в лесу сосновом,
И рыба бродит в омутах...

1949

СКУЧНЫМ Я СТАЛ, МОЛЧАЛИВЫМ...

Скучным я стал, молчаливым,
Умерли все слова.

Ивы, надречные ивы,
Чуть не до горла трава,
Листьев предутренний ропот,
Сгинуло все без следа.
Где мои прежние тропы,
Где ключевая вода?

Раньше, как тонкою спицей,
Солнцем пронизана глубь.
Лишь бы охота склониться,
Вот она, влага,— пригубь!
Травы цвели у истоков,
Ландыши зрели, и что ж —
Губы изрежь об осоку,
Капли воды не найдешь.

Только ведь так не бывает,
Чтоб навсегда без следа
Сгинула вдруг ключевая,
Силы подземной вода.

Где-нибудь новой дорогой
Выбьется к солнцу волна,
Смутную, злую тревогу
В сердце рождает она.

Встану на хлестком ветру я.
Выйду в поля по весне.
Бродят подспудные струи,
Трудные струи во мне.

1952

* * *

Последний блик закатного огня
Нахлынувшая туча погасила.
«Вы любите природу?» — у меня
Восторженная спутница спросила.

Я промолчал растерянно в ответ
На тот вопрос бессмысленный и странный.
Волну спросила б: нравится иль нет
Крутой волне
Волненье океана?

1954

А ГОРЫ СВЕРКАЮТ СВОЕЙ БЕЛИЗНОЙ...

Зима разгулялась над городом южным,
По улице ветер летит ледяной.
Промозгло и мутно, туманно и вьюжно...
А горы сверкают своей белизной.

Весной исчезают метели и стужа,
Ложится на город немыслимый зной.
Листва пропылилась. Как жарко, как душно..
А горы сверкают своей белизной.

Вот юноша, полон нетронутой силы,
Ликует, не слышит земли под собой,—
Наверно, девчонка его полюбила...
А горы сверкают своей белизной.

Мужчина сквозь город бредет через силу,
Похоже, что пьяный, а может, больной.
Он отдал ей все, а она изменила...
А горы сверкают своей белизной.

По теплой воде, по ручью дождевому
Топочет мальчонка, такой озорной!
Все дальше и дальше топочет от дому...
А горы сверкают своей белизной.

1954

У МОРЯ

Разгулялся ветер на просторе,
Белопенный катится прибой.
Вот и я живу у синя моря,
Тонущего в дымке голубой.

Ни испить его, ни поглядеться,
Словно в тихий омут на лугу.
Ничего не вспомнится из детства
На его бестравном берегу.

Оттого и скучно здесь слегка мне
Над седым величием волны.
До меня, сидящего на камне,
Долетают брызги, солоны.

Ни краев, ни совести у моря!
Густо засинев доглубока,
Вот оно берется переспорить
Маленького в поле василька.

Вот оно, беснуясь и ревнуя,
Все ритмичней хлещет и сильней.
Хочет смыть тропинку полевую
Из железной памяти моей.

1955

ТА МИНУТА БЫЛА ЗОЛОТАЯ

Верно, было мне около году,
Я тогда несмышленышем был,
Под небесные синие своды
Принесла меня мать из избы.

И того опасаясь, возможно,
Чтобы сразу споткнуться не мог,
Посадила меня осторожно
И сказала: «Поползай, сынок!»

Та минута была золотая —
Окружила мальца синева,
А еще окружила густая,
Разгустая трава-мурава.

Первый путь до цветка от подола,
Что сравнится по трудности с ним?
Он пролег по земле, не по полу,
Не под крышей — под небом самим.

Все опасности белого света
Начинались на этом лугу.
Мне подсунула камень планета
На втором от рожденья шагу.

И упал, и заплакал, наверно,
И барахтался в теплой пыли...
Сколько, сколько с шагов этих первых
Поисхожено мною земли!

Мне достались в хозяйские руки
Ночи звездные, в росах утра.
Не трава, а косматые буки
Окружали меня у костра.

На тянь-шаньских глухих перевалах
Я в снегу отпечатал следы.
Заполярные реки, бывало,
Мне давали студеной воды.

Молодые ржаные колосья
Обдавали пыльцою меня,
И тревожила поздняя осень,
Листопадом тихонько звеня.

Пусть расскажут речные затоны,
И луга, и леса, и сады:
Я листа без причины не тронул
И цветка не сорвал без нужды.

Это в детстве, но все-таки было:
И трава, и горячий песок,
Мать на землю меня опустила
И сказала: «Поползай, сынок!»

Тот совет не пошел бы на пользу,
Все равно бы узнал впереди —
По планете не следует ползать,
Лучше падай, но все же иди!

Так иду от весны до весны я,
Над лугами грохочет гроза,
И смотрю я в озера земные
Все равно что любимой в глаза.

1953

О СКВОРЦАХ

Скоро кончится белая вьюга,
Потекут голубые ручьи.
Все скворечники в сторону юга
Навострили оконца свои.

В силу древних обычаев здешних
Мы жилища готовим певцам.
За морями родные скворечни
Обязательно снятся скворцам.

Здесь родились, летать научились,
Значит, родина ихняя здесь.
— Воротились! Скворцы воротились! -
Раздается мальчишечья весть.

Можно галку убить и сороку,
Но обычаи наши строги:
Ни один сорванец босоногий
На скворца не поднимет руки.

Но однажды за крайним овином
Наблюдал с удивлением я,
Как серьезный и взрослый мужчина
Прямо в стаю пальнул из ружья.

Вся окрестность ответила стоном...
— Сукин сын! Что ты делаешь тут? —
Он ответил спокойно: — А что нам,
Все равно их принцессы сожрут.

Ты-то молод, а мы, брат, бывали
И видали таких молодцов...
Помню, раз заходили в Австралию,
Там на тонны считают скворцов.

Расставляются гиблые сети,
Из капрона тончайшая снасть.
Так зачем же от нас-то летать им?
Чтобы в эти капроны попасть?

Заготовщику — денежки, дурно ли,
Не опасный, а прибыльный труд!
И везут их в столицы культурные,
В королевские виллы везут.

Соберутся высокие гости,
Драгоценные камни надев.
И ломаются тонкие кости
На жемчужных зубах королев.

...Вот и снова погода сырая,
Скоро кончится бешенство вьюг.
По России от края до края
Все скворечники смотрят на юг!

1956

ВДОЛЬ БЕРЕГОВ БОЛГАРИИ ПРОШЛИ МЫ...

Вдоль берегов Болгарии прошли мы...
Я все стоял на палубе, когда
Плыла, плыла и проплывала мимо
Ее холмов прибрежная гряда.

Волнистая — повыше и пониже,
Красивая — не надо ей прикрас.
Еще чуть-чуть — дома́, людей увижу,
Еще чуть-чуть... И не хватает глаз!..

Гряда холмов туманится, синея,
Какие там за нею города?
Какие там селения за нею,
Которых я не видел никогда?

Так вот они, неведомые страны...
Но там живут, и это знаю я,
Мои друзья — Георгий и Лиляна,
Митко и Блага — верные друзья.

Да что друзья! Мне так отрадно верить,
Что я чужим совсем бы не был тут.
В любом селе, когда б сойти на берег,
И хлеб и соль и братом назовут.

Ах, капитан, торжественно и строго
Произнеси командные слова.
Привстанем здесь пред дальнею дорогой,
В чужой Босфор легко ли уплывать!

Корабль идет, и сердце заболело.
И чайки так крикливы надо мной,
Что будто не болгарские пределы,
А родина осталась за кормой.

Вдоль берегов Болгарии прошли мы,
Я все стоял на палубе, пока
Туманились, уже неразличимы,
Быть может, берег, может, облака...

1954

ИДЕТ ДЕВЧОНКА С ГОР...

С высоких диких гор, чьи серые уступы
Задергивает туч клубящаяся мгла,
Чьи синие верхи вонзились в небо тупо,
Она впервые в город снизошла.

Ее вела река, родившаяся рядом
С деревней Шумбери, где девушка живет.
Остались позади луга и водопады,
Внизу цветут сады и зной душист, как мед.

Внизу ей странно все: дома, автомобили
И то, что рядом нет отар и облаков,
Все звуки и цвета ее обворожили,
А ярмарочный день шумлив и бестолков.

На пальце у нее железный грубый перстень,
Обувка не модна, и выгорел платок,
Но белые чулки домашней толстой шерсти
Не портят стройности девичьих легких ног.

Идет девчонка с гор, такая молодая,
Своей не осознав, быть может, красоты,
А парни на пути встают, обалдевая,
И долго вслед глядят и открывают рты.

Все взгляды на нее остались без ответа,
Не дрогнула ничуть тяжелая коса.
Идет девчонка с гор... С нее б создать Джульетту,
Венеру вырубить, мадонну написать!

Идет девчонка с гор, в которых, не ревнуя,
Мужчина тот живет, с обветренным лицом,
Кто смело подойдет и жестко поцелует,
Кто ей надел свое железное кольцо.

1954

ПЕВЕЦ

Я слышу песню через поле,
Там, где дороги поворот.
Она волнует поневоле,
Невольно за сердце берет.
Вся чистота и вся стремленье,
Вся задушевный разговор.
Есть теснота и горечь в пенье
И распахнувшийся простор.
В траве — ромашка, хлебный колос,
Росинка, первая звезда...
Какой красивый, сильный голос,
Как он летает без труда!
Несчастный миг и миг счастливый,
И первый лист, и первый снег...
Должно быть, сильный и красивый
И справедливый человек
Поет. Что песня? Боль немая.
Ведь песню делает певец.
И горько мне: певца я знаю,
Певца я знаю — он подлец!..
Трусливый, сальный, похотливый,
Со сладким маслицем в глазах,
Возьмет, сомнет нетерпеливо,
Оставит в горе и слезах.
Предаст, потом с улыбкой: «Вы ли?!

Мы с вами, помнится, дружны!..»
Нетопырю даются крылья.
Болоту лилии даны!
Между души его болотом
И даром петь — какая связь?
О, справедливость, для чего ты
Мешаешь золото и грязь?
1960

ТЕПЕРЬ-ТО УЖ ПЛАКАТЬ НЕЧЕГО...

Теперь-то уж плакать нечего,
С усмешкой гляжу назад,
Как шел я однажды к вечеру
В притихший вечерний сад.

Деревья стояли сонные,
Закатные, все в огне.
Неважно зачем, не помню я,
Но нужен был прутик мне.

Ребенок я был, а нуте-ка
Возьмите с ребенка спрос!
И вот подошел я к прутику,
Который так прямо рос.

Стоял он один, беспомощен,
Под взглядом моим застыл.
Я был для него чудовищем,
Убийцей зловещим был.

А сад то вечерней сыростью,
То легким теплом дышал.
Не знал я, что может вырасти
Из этого малыша.

Взял я отцовы ножницы,
К земле я его пригнул
И по зеленой кожице
Лезвием саданул.

Стали листочки дряблыми,
Умерли, не помочь...
А мне,

Мне приснилась яблоня
В ту же, пожалуй, ночь.

Ветви печально свесила,
Снега и то белей!
Пчелы летают весело,
Только не к ней, не к ней!

Что я с тех пор ни делаю,
Каждый год по весне
Яблоня белая-белая
Ходит ко мне во сне!

1955

СОСНА

Я к ночи из лесу не вышел,
Проколобродив целый день.
Уж, как вода, все выше, выше
Деревья затопляла тень.

Янтарь стволов и зелень хвои —
Все черным сделалось теперь.
В лесу притихло все живое.
И стал я чуток, словно зверь.

А наверху, над мглою этой,
Перерастя весь лес, одна,
В луче заката, в бликах света
Горела яркая сосна.

И было ей доступно, древней,
Все, что не видел я с земли:
И сам закат, и дым деревни,
И сталь озерная вдали.

1954

В ЛЕСУ

В лесу, посреди поляны,
Развесист, коряжист, груб,
Слывший за великана
Тихо старился дуб.

Небо собой закрыл он
Над молодой березкой.
Словно в темнице, сыро
Было под кроной жесткой.

Душной грозовой ночью
Ударил в притихший лес,
Как сталь топора отточен,
Молнии синий блеск.

Короткий, сухой и меткий,
Был он как точный выстрел.
И почернели ветки,
И полетели листья.

Дуб встрепенулся поздно,
Охнул, упал и замер.
Утром плакали сосны
Солнечными слезами.

Только березка тонкая
Стряхнула росинки с веток,
Расхохоталась звонко
И потянулась к свету.

1946—1953

РОСА ГОРИТ

Роса горит. Цветы, деревья, звери
И все живое солнца жадно ждет.
В часы восхода в смерть почти не верю:
Какая смерть, коль солнышко встает!

Не верю в то, что вот она таится
И грянет вдруг в преддверье самом дня
То для оленя прыгнувшей тигрицей,
То лопнувшей аортой для меня.

В глухую полночь пусть пирует грубо,
Но пусть земле не портит тех минут,
Когда за лесом солнечные трубы
Уж вскинуты к зениту и — поют!

1953

НА ПАШНИ, СОЛНЦЕМ ЗАЛИТЫЕ...

На пашни, солнцем залитые,
На луговой цветочный мед
Слетают песни золотые,
Как будто небо их поет.

Куда-куда те песни за день
Не уведут тропой земной!
Еще одна не смолкла сзади,
А уж другая надо мной.

Иди на край земли и лета —
Над головой всегда зенит,
Всегда в зените песня эта,
Над всей землей она звенит!

1951

БЕРЕЗА

В лесу еловом все неброско,
Приглушены его тона.
И вдруг белым-бела березка
В угрюмом ельнике одна.

Известно, смерть на людях проще.
Видал и сам я час назад,
Как начинался в дальней роще
Веселый, дружный листопад.

А здесь она роняет листья
Вдали от близких и подруг.
Как от огня, в чащобе мглистой
Светло на сто шагов вокруг.

И непонятно темным елям,
Собравшимся еще тесней:
Что с ней? Ведь вместе зеленели
Совсем недавно. Что же с ней?

И вот задумчивы, серьезны,
Как бы потупив в землю взгляд,
Над угасающей березой
Они в молчании стоят.

1955

БЕЗМОЛВНА НЕБА СИНЕВА...

Безмолвна неба синева,
Деревья в мареве уснули.
Сгорела вешняя трава
В высоком пламени июля.

Еще совсем недавно тут
Туман клубился на рассвете,
Но высох весь глубокий пруд,
По дну пруда гуляет ветер.

В степи поодаль есть родник,
Течет в траве он струйкой ясной,
Весь зной степной к нему приник
И пьет, и пьет, но все напрасно:

Ключа студеная вода
Бежит, как и весной бежала.
Неужто он сильней пруда:
Пруд был велик, а этот жалок?

Но подожди судить. Кто знает?
Он только с виду мал и тих.
Те воды, что его питают,
Ты видел их? Ты мерил их?

1953

ВОДЫ

У вод, забурливших в апреле и мае,
Четыре особых дороги я знаю.
Одни
Не успеют разлиться ручьями,
Как солнышко пьет их
Косыми лучами.
Им в небе носиться по белому свету,
И светлой росою качаться на ветках,
И ливнями литься, и сыпаться градом,
И вспыхивать пышными дугами радуг.
И если они проливаются к сроку,

В них радости вдоволь, и силы, и проку.
Лужайки и тракты, леса и поля,
Нигде ни пылинки — сверкает земля!
А часть воды земля сама
Берет в глухие закрома.
И под травою, где темно,
Те воды бродят, как вино.
Они — глухая кровь земли,
Они шумят в цветенье лип.
Их путь земной и прост и тих,
И мед от них, и хлеб от них,
И сосен строгие наряды,
И солнце в гроздьях винограда.

А третьи — не мед, и не лес, и не зерна:
Бурливые реки, лесные озера.
Они океанских прибоев удары,
Болотные кочки и шум Ниагары.
Пути их не робки, они величавы,
Днепровская ГЭС и Цимлянская слава.
Из медного крана тугая струя
И в сказочной дымке морские края.
По ним Магеллановы шли корабли.
Они — голубые дороги земли.
Итак:
Над землею проносятся тучи,
И дождь омывает вишневые сучья,
И шлет океан за лавиной лавину,
И хлеб колосится, и пенятся вина.
Живут караси по тенистым прудам,
Высокие токи несут провода.
И к звездам струятся полярные льды...
. . . .
Но есть и четвертая жизнь у воды.
Бывает, что воды уходят туда,
Где нету ни света, ни солнца, ни льда.
Где глина плотнее, а камни упорней,
Куда не доходят древесные корни.
И пусть над землею крутая зима,
Там только прохлада и вечная тьма.
Им мало простору и много работы:
Дворцы сталактитов, подземные гроты...
И путь их неведомый скупо прорезан
И в солях вольфрама, и в рудах железа.

И вот иногда эти темные воды,
Тоскуя по солнцу, идут на свободу!
Веселая струйка, расколотый камень,
И пьют эту воду горстями, руками.
В барханных равнинах, почти что рыдая,
Губами, как к чуду, к воде припадают.
Она в пузырьки одевает траву,
Ее ключевой, родниковой зовут.
То жилою льдистою в грунте застынет,
То вспыхнет оазисом в древней пустыне.
Вода ключевая, зеленое лето,
Вселенская лирика!
Песня планеты!

1948

ТРОПА НАЦЕЛЕНА В ЗВЕЗДУ...

Тропа вдоль просеки лесной
Бывает так отрадна взгляду,
В часы, когда неистов зной,
Она уводит нас в прохладу.
А есть тропинка через рожь,
По ней и час, и два идешь,
Вдыхая тонкую пыльцу.
А есть к заветному крыльцу
Совсем особая тропинка.
Мне эти тропы не вновинку.

Но помню дикий склон холма,
Парной весенней ночи тьма.
Вокруг не видно ни черта,
Лишь наверху земли черта
Перечертила Млечный Путь,
В дорогу палку не забудь!
Не поскользнись на черном льду,
Тропа нацелена в звезду!

Всю жизнь по той тропе иди,
Всю жизнь на ту звезду гляди!

1956

ТРЕТЬИ ПЕТУХИ

Глухая ночь сгущает краски,
И поневоле страшно нам.
В такую полночь без опаски
Подходят волки к деревням.

Зачем-то совести не спится,
Кому-то хочется помочь.
И болен мозг. И дух томится.
И бесконечно длится ночь.

Захлопав шумными крылами,
Петух проснувшийся орет.
Полночный час идет над нами,
Звезда полночная плывет.

По всем дворам пропели певни,
Но не разбужена земля.
И снова тихо над деревней,
Темны окрестные поля.

Повремени, собравши силы.
Земля вращается в ночи.
Опять глашатай краснокрылый,
Крылом ударив, закричит.

И снова все ему ответят
Из-за лесов... Из-за реки...
Но это все еще не третьи,
Еще не третьи петухи.

Еще раздолье всем сомненьям,
Еще не просто быть собой.
Еще в печах к сухим поленьям
Не поднесен огонь живой,

Чтоб трубы дружно задымились,
Чтобы дымы тянулись ввысь,
Чтоб жар пылал, чтоб щи варились,
Чтоб хлебы добрые пеклись.

Еще зари в помине нету,
Еще и звезды не бледней
И утра светлого приметы
Неуловимы для людей.

Но скоро станет мрак белесым,
Проступят дальние стога
И солнце, выйдя из-за леса,
Зажжет февральские снега.

Но выйдет солнце непременно,
В селе,
Вокруг,
Из-за реки,
По всей предутренней вселенной
Горланят третьи петухи.

1956

ДЕРЕВЬЯ

У каждого дома
Вдоль нашей деревни
Раскинули ветви
Большие деревья.

Их деды сажали
Своими руками
Себе на утеху
И внукам на память.

Сажали, растили
В родимом краю.
Характеры дедов
По ним узнаю.

Вот этот путями
Несложными шел:
Воткнул под окном
Неотесанный кол,

И хочешь не хочешь,
Мила не мила,
Но вот под окном
Зашумела ветла.

На вешнем ветру
Разметалась ветла,
С нее ни оглобли
И ни помела.

Другой похитрее,
Он знал наперед:
От липы и лапти,
От липы и мед.

И пчелы летают
И мед собирают,
И дети добром
Старика поминают.

А третий дубов
Насадил по оврагу:
Дубовые бочки
Годятся под брагу.

Высокая елка —
Для тонкой слеги.
Кленовые гвозди —
Тачать сапоги.

Обрубок березы
На ложку к обеду...
Про все разумели
Премудрые деды.

Могучи деревья
В родимом краю,
Характеры дедов
По ним узнаю.

А мой по натуре
Не лирик ли был,
Что прочных дубов
Никогда не садил?

Под каждым окошком,
У каждого тына
Рябины, рябины,
Рябины, рябины...

В дожди октября
И в дожди ноября
Наш сад полыхает,
Как в мае заря!

1956

УТРО

Вышло солнце из-за леса,
Поредел туман белесый,
И в деревне вдоль реки
Закудрявились дымки,
На цветок, росой омытый
И навстречу дню раскрытый,
Опускается пчела.
Погудела, побыла,
Улетела, выпив сок,
И качается цветок,
Утомленный,
Утоленный,
К светлой жизни
Обновленный.

1948

ЗВЕЗДНЫЕ ДОЖДИ

Бездонна глубь небес над нами.
Постой пред нею, подожди...
Над августовскими хлебами
Сверкают звездные дожди.

Не зная правильной орбиты,
Вразброд, поодиночке, зря
Летят из тьмы метеориты
И круто падают, горя.

Куски тяжелого металла,
Откуда их приносит к нам?
Какая сила разметала
Их по космическим углам?

На островок земли туманный,
Где мирно пашутся поля,
Не так ли бездна океана
Выносит щепки корабля?

А вдруг уже была планета
Земле-красавице под стать,
Где и закаты, и рассветы,
И трав душистых благодать?

И те же войны и солдаты.
И те же коршуны во мгле,
И, наконец, разбужен атом,
Как он разбужен на земле?

Им надо б все обдумать трезво,
А не играть со смертью зря.
Летят из тьмы куски железа
И круто падают, горя.

То нам примером быть могло бы,
Чтобы, подхваченный волной,
Как голубой стеклянный глобус,
Не раскололся шар земной.

Погаснет солнце на рассвете,
И нет просвета впереди...
А на какой-нибудь планете
Начнутся звездные дожди.

1956

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Возвращаюсь туда,
Где троллейбусы ходят
И люди,
Запылиться боясь,
На себя надевают чехлы.
Скоро ванну приму.
Скоро стану подвержен простуде.
Мне горячую землю
Заменят асфальт и полы.

Вот иду я Москвой
В полинявшей от солнца рубахе,
Загорелый, худой
И, конечно, усталый чуть-чуть.
А в глазах еще степь,
Еще крыльев ленивые взмахи,
Двести верст горизонта
И ветер, толкающий в грудь.

Захожу я в метро,
И с соседкой сосед зашептался:

Острый запах полыни,
Наверно, донесся до них.
Этот ветер вчера
У меня в волосах заплутался
И до самой Москвы
В волосах притаился моих.

Да, вчера ведь еще
Я пылился на знойной дороге,
А потом самолет
Над страной обгонял облака...
И обнимет жена,
И руками всплеснет на пороге:
— Ну-ка, сбрасывай все
Да детишек не трогай пока!

Среди хрупких вещей
Я сначала такой неуклюжий,
Отряхнуться боюсь,
Видно, только сейчас подмели...
На московский паркет
Упадают шерстинки верблюжьи,
И пшеничная ость,
И комочки целинной земли.

1957

ГРУЗОВИКИ

Дорогами густо оплетены
Просторы страны, что лежат, широки.
Ездят и ездят по дорогам страны,
Как солдаты, зеленые грузовики.

Но когда приехали в нашу столицу
Веселые люди с пяти материков,
Решили, что для празднования не годится
Одинаковый, скучный цвет грузовиков.

И выехали торжественно на Садовое
Голубые, сиреневые, желтые, красные,
Те же самые, а как будто новые,
Одинаковые, а как будто разные.

И стало у всех на душе теплей,
И каждый был событию рад,
Потому что яркая толпа людей
Лучше, чем марширующий строй солдат.

Окончился праздник, что был велик,
Но сердце страны хранит теплоту:
Вчера привез нам дрова грузовик,
Оранжевый, с пальмами и солнышком на борту.

Дорогами густо оплетены
Просторы страны, что лежат, широки.
То тут, то там на дорогах страны
Мелькают яркие грузовики.

1957

СЧАСТЬЕ

Ах, мечтатели мы!
Мало было нам розовой розы,
Сотворили, придумали, вывели наугад
Белых, чайных, махровых,
Багровых, янтарных и черных,
Желтых, словно лимон,
И пурпурных, как летний закат.
Мало!
Здесь подбираемся к сути мы,
К человеческой сути, что скромно зовется мечтой.
Мусор — белые розы,
Черные розы — убожество.
Хорошо бы добиться,
Чтоб роза была
Голубой!

Что за мех горностай!
Белый снег (королевские мантии!),
Драгоценному камню подобен блистательный мех.
А мечтатель уходит в тайгу,
Сорок лет он мечтает и мается,
Ни в собольем дыму,
Ни в сивушном бреду,
Ни в семейном ладу не находит утех.
Сорок лет он бежит по следам невозможного зверя.

Ты ему не перечь. И мечтать ты ему не мешай.
— Понимаешь, браток,
За десятым хребтом
Есть одно потайное ущелье,
Там-то он и живет.
— Кто же?
— Розовый горностай!

Нам реальность претит.
Все за смутным, за сказочным тянемся.
Как закаты красны,
Сколько золота бьет из-за туч.
А чудак говорит:
— Это что?
Раз в сто лет на закате, случается,
Появляется в небе
Зеленый
Сверкающий луч!
Вот бы выпало счастье... Ан нет же...—
Так в чем оно, счастье?
Неужели не счастье ходить по земле босиком,
Видеть белой ромашку,
А солнышко на небе красным,
И чтоб хлеб, а не писаный пряник,
Не заморским напиться вином,
А коровьим парным молоком!
Но...
Мечтатели мы.
Вон опять он пошел по тропинке,
Обуянный мечтой. И мечтать ты ему не мешай.
Сухаришки в мешке. В ружьеце притаились
дробинки,
Где-то ждет его розовый,
Розовый горностай!

1964

ВЕТЕР

Ветер
Летит над морем.
Недавно он не был ветром,
А был неподвижным, теплым воздухом над землей.
Он

Окружал ромашки.
Пах он зеленым летом
(Зыбко дрожал над рожью желтый прозрачный зной).
Потом,
Шевельнув песчинки,
Немного пригнувши травы,
Он начал свое движенье. Из воздуха ветром стал.
И вот
Он летит над морем.
Набрал он большую скорость,
Забрал он большую силу. Крылища распластал.
Ходят
Морские волны.
С них он срывает пену.
Пена летит по ветру. Мечется над волной.
Светлый
Упругий ветер
Не медом пахнет, а йодом,
Солью тревожно пахнет. Смутно пахнет бедой.
(Руки мои — как крылья. Сердце мое распахнуто.
Ветер в меня врывается. Он говорит со мной):
— Спал я
Над тихим лугом.
Спал над ромашкой в поле.
Меня золотые пчелы пронизывали насквозь.
Но стал я
Крылатым ветром,
Лечу я над черным морем.
Цепи я рву на рейдах, шутки со мною брось! —
Я
Говорю открыто:
— Должен ты выбрать долю,
Должен взглянуть на вещи под резким прямым углом:
Быть ли
Ромашкой тихой?
Медом ли пахнуть в поле?
Или лететь над миром, время круша крылом? —
Что я
Ему отвечу?
— Сходны дороги наши,
Но опровергну, ветер, главный я твой резон:
Если б

Ты не был тихим
Воздухом над ромашкой,
Откуда б ты, ветер, взялся? Где бы ты взял разгон?

1960

НАД ЧЕРНЫМИ ЕЛЯМИ СЕРПИК ЛУНЫ

Над черными елями серпик луны,
Зеленый над черными елями.
Все сказки и страсти седой старины.
Все веси и грады родной стороны —
Тот серпик над черными елями.
Катился на Русь за набегом набег
Из края степного, горячего,
На черные ели смотрел печенег
И в страхе коней поворачивал.

Чего там?
Мертво?
Или реки, струясь,
Текут через мирные пажити?

За черные ели орда ворвалась...
А где она, может, покажете?

В российском лесу гренадер замерзал,
Закрыться глаза не успели.
И долго светился в стеклянных глазах
Тот серпик над черными елями.

За черные ели родной стороны
Врывались огонь и железо...
Над черными елями серпик луны
В ночное безмолвие врезан.

Чего там?
Мертво?
Иль трубы дымят?
Глубоко ли кости повсюду лежат
Иль моют их ливни косые?
Над черными елями звезды дрожат,
В безмолвии лунном снежинки кружат...
Эй, вы, осторожней с Россией!

1956

РАЗРЫВ-ТРАВА

* * *

Итак, любовь. Она ли не воспета,
Любви ль в веках не воздано свое!
Влюбленные великие поэты
«Сильна, как смерть» твердили про нее.

К тому добавить можно очень мало,
Но я сказал бы, робость прогоня:
«Когда бы жить любовь не помогала,
Когда б сильней не делала меня,

Когда б любовь мне солнце с неба стерла,
Чтоб стали дни туманней и мрачней,
Хватило б силы взять ее за горло
И задушить. И не писать о ней!»

1952

* * *

У тихой речки детство проводя,
Про Волгу зная только понаслышке,
Среди кувшинок весело галдят
Народ забавный — сельские мальчишки.

И мне сначала было невдомек,
Что в мире есть еще и не такое,
Считал я долго тихий ручеек
Ну самой настоящею рекою.

Потом Печора, Волга и моря,
Восторженное бешенство прибоя.
Из-за безбрежья бьющая заря
Огнем лизала море штормовое.

Я до тебя любви большой не знал, —
Наверно, были просто увлеченья.
За Волгу я наивно принимал
Речушку межколхозного значенья.

Ждала поры любовная гроза,
Был день капельный, ласковый, весенний.
Случайно наши встретились глаза.
И это было как землетрясенье.

Неси меня на вспененном крыле,
Девятый вал!
Я вас узнал впервые,

О, лунная дорога в серебре,
О, волн тяжелых гребни огневые!

1952

* * *

Бывает так: в неяркий день грибной
Зайдешь в лесные дебри ненароком —
И встанет лес иглистою стеной
И загородит нужную дорогу.

Я не привык сторонкой обходить
Ни гордых круч, ни злого буерака.
Коль начал жить, так прямо надо жить,
Коль в лес пошел, так не пугайся мрака.

Все мхи да топь, куда ни поверни;
Где дом родной, как следует не знаю.
И вот идешь, переступая пни
Да ельник грудью прямо разрывая.

Потом раздвинешь ветви, и в лицо
Ударит солнце, теплое, земное.
Поляна пахнет медом и пыльцой,
Вода в ручье сосновой пахнет хвоей.

Я тем, что долго путал, не кичусь,
Не рад, что ноги выпачканы глиной.

Но вышел я из путаницы чувств
К тебе!..
В цвету любви моей долина!

1952

* * *

У тех высот, где чист и вечен
Высокогорный прочный лед,
Она, обычная из речек,
Начало робкое берет.

Архар идет к ней в час рассвета,
Неся пудовые рога,
И нестерпимо ярким цветом
Цветут альпийские луга.

На камень с камня ниже, ниже,
И вот река уже мутна,
И вот уже утесы лижет
Ее стесненная волна.

Потом трава, полынь степная,
И скрыты в белых облаках
Вершины, где родилась злая
И многотрудная река.

И наступает место встречи,
Где в воды мутные свои
Она веселой бойкой речки
Вплетает чистые струи.

Ах, речка, речка, может, тоже
Она знакома с высотой,
Но все ж неопытней, моложе
И потому светлее той.

Бродя в горах, величья полных,
Узнал я много рек, и вот
Я замечал, как в мутных волнах
Вдруг струйка светлая течет.

И долго мчатся эти воды,
Все не мешаясь меж собой,
Как ты сквозь дни мои и годы
Идешь струею голубой.

1952

* * *

Все смотрю, а, верно, насмотреться
На тебя до смерти не сумею.
Меж подруг своих, красивых тоже,
Ты как лебедь в стае шумных уток.

Лебедь, лебедь, если я погибну,
Ты взлетишь ли в небо, чтоб оттуда
Броситься на утренние камни?
Прозвенишь ли песней лебединой?..

1952

ПРОБУЖДЕНИЕ

Задернув шторы, чтоб не пробудиться,
Чтобы хранились тишь да полумгла,
В рассветный час, когда так сладко спится,
В своей квартире девушка спала.

Но из вселенной, золотом слепящей,
Рассветный луч сквозь занавес проник,
И оттого над девушкою спящей
Горел во тьме слегка овальный блик.

Земля крутилась. Утро шло по плавням,
Шли поезда по утренней стране.
Земля крутилась: медленно и плавно
Спускался луч по крашеной стене.

Бровей крутых, как крылья сильной птицы,
Луч золотым коснулся острием,
Он тихо тронул длинные ресницы,
До теплых губ дотронулся ее.

И, спящей, ей тревожно как-то стало,
Как будто бы куда-то кто-то звал.
Не знаю, что во сне она видала,
Когда рассвет ее поцеловал.

То жизнь звала: проснись, беги навстречу
Лугам, цветам, в лесную полумглу!
То жизнь звала: проснись, рассвет не вечен,
И этот луч уж вон он, на полу!

Беги, росинки в волосы вплетая,
И над туманным озером в лесу,
Красивая, зарею облитая,
Затми собой вселенскую красу!

1952

ЦВЕТЫ

Я был в степи и два цветка
Там для тебя нашел.
Листва колючая жестка —
Все руки исколол.

Цветы невзрачны, не беда,
В степи ведь нет других.
Скупая горькая вода
Питала корни их.

Вся жизнь для них была как боль
В пустынной стороне,
И не роса на них, а соль
Мерцала при луне.

Зато, когда железный зной
Стирал траву с земли,
Они в пыли, в соли земной
По-прежнему цвели.

А если розы любишь ты,
Ну что ж, не обессудь!
Мои колючие цветы —
Не приколоть на грудь.

1957

О, ГЛАЗА ЧИСТОТЫ РОДНИКОВОЙ!

У глаз у твоих чистоты родниковой,
Над ними, где бьется огонь золотой,
Забудусь я, как над водой ручейковой,
Задумаюсь, как над глубокой водой.

Тебе я кажусь мешковатым влюбленным,
Что молча вздыхает, влюбленность храня.
Зачем я хожу к омутам отдаленным,
Ни разу еще не спросили меня.

Зачем я походкой почти торопливой
Сквозь мусор предместий шагаю туда,
Где красное небо и черные ивы
Полощет и моет речная вода?

Сетей не бросаю, лозы не ломаю,
Не порчу цветов на прибрежном лугу,
Кувшинок не рву и стрекоз не сбиваю:
Сижу и молчу на крутом берегу.

Один на один с глубиною тревожной,
С речным лепетаньем один на один.
«Чего он приходит — понять невозможно,
Мужчина, доживший почти до седин?»

«Ах, все они, знаете ль, тронуты ветром,
Догадки особые здесь не нужны...»
Но стоит! Но стоит пройти километры,
Чтоб кануть в спокойную власть глубины!

По мусорным ямам, по травам спаленным,
Где дремлют кузнечики, тонко звеня...
Зачем я хожу к омутам отдаленным,
Ни разу еще не спросили меня.

О, глубь, о, глаза чистоты родниковой!
Над ними, где бьется огонь золотой,
Забудусь я, как над водой ручейковой,
Задумаюсь, как над глубокой водой.

1948—1957

ОТВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ

Уже подростками мы знаем,
По книгам истины уча:
Лишь безответная, глухая
Любовь крепка и горяча.

Из тех же книжек нам известно —
Она по-своему живет:
Гудит, как пламя в печке тесной,
И, как вода в трубе, ревет.

Меж тем и жизнь внушает строго:
Нужны труба, ограда, печь,
И что без этого не могут
Огонь — гореть, а воды — течь,

И что, едва на волю выйдя,
Слабеют чувства и мечты...
Но я огонь свободным видел,
В нем было больше красоты!

Клубя нагретый рыжий воздух,
Он рвался так в холодный мрак,
Что перепутывались звезды
С живыми искрами костра.

Я видел также не мятежной,
А золотой воды разлив,
Она спала, весь лес прибрежный,
Весь мир в себе отобразив.

Ценя все вольное на свете,
Я любовался ею вновь
И встретил женщину, и встретил
Ее ответную любовь.

И вот она вольна меж нами,
Не стеснена, какая есть!
И к звездам рвется, словно пламя,
И мир отобразила весь!

1953

* * *

В своих сужденьях беспристрастны
Друзья, чье дело — сторона,
Мне говорят: она прекрасна,
Но, знаешь, очень холодна.

Они тебя не разгадали,
Тебя не поняли они.
В твоих глазах, в студеной дали
Я видел тайные огни.

Еще мечты и чувства стройны
И холодна твоя ладонь,
Но дремлет страсть в тебе, спокойной,
Как дремлет в дереве огонь.

1952

ИМЕЮЩИЙ В РУКАХ ЦВЕТЫ...

Лесная узенькая тропка
Вела девчонку от людей.
Девчонка оглянулась робко,
И стало очень страшно ей.
Седые космы елей черных,
Сторожкий шорох за спиной,
И птичий крик, и сказок вздорных,
Теперь припомнившихся, рой.

К тому ж, пожалуй, слишком рано
Внушали ей и там и тут:
«Смотри, поймают хулиганы
И... платье новое порвут!»
А лес вокруг, теплом облитый,
Сверкает, птицами поет.
Сейчас придет мужик небритый
И схватит, легкую, ее.
Как птица пойманная в клетке,
Ее сердечишко стучит.

А между тем, раздвинув ветки,
Выходит он и впрямь небрит.
Как видно, шел он лесом долго,

Цепляя мокрые кусты.
В одной руке его — кошелка,
В другой руке его — цветы.
Тут лета яркие приметы,
Купальниц крупных желтизна.
И, как ни странно, встреча эта
Девчонке вовсе не страшна.
Среди дремучей темноты
Она почувствовала все же:
Имеющий в руках цветы
Плохого совершить не может.

1957

РАЗРЫВ-ТРАВА

В Иванов день набраться духу
И в лес идти в полночный час,
Где будет филин глухо ухать,
Где от его зеленых глаз
Похолодеют руки-ноги
И с места не сойти никак,
Но где уж нет иной дороги,
Как только в самый буерак.

От влажных запахов цветочных
Начнет кружиться голова.
И будет в тихий час урочный
Цвести огнем разрыв-трава.

Схвати цветок, беги по лесу,
Он все замки тебе сорвет.
Освободит красу-принцессу
Из-за чугунных тех ворот

Ах, эти сказки, эти сказки!
Лежим на печке стар да мал...
Снежки, рогатки и салазки
Подчас на сказки я менял.

И у меня была принцесса —
Девчонка — море синевы!
Не для нее ли я по лесу
Искал цветов разрыв-травы?

Не для нее ли трое суток
Я пропадал однажды там...
А жизнь меж тем учила круто,
С размаху била по зубам.

И разъяснил ботаник вскоре,
Что никаких чудес тут нет,
Взамен цветов имеет споры,
И в этом, так-скать, весь секрет.

И чудеса ушли из леса,
Там торф берут среди болот.
И синеокая принцесса
Газеты в клубе выдает.

Все меньше сказок в мире нашем,
Все громче формул торжество.
Мы стали опытней и старше,
Мы не боимся ничего.

Нам выпал век науки точной,
Права ботаника, права.
Но я-то знаю: в час урочный
Цветет огнем разрыв-трава!

1956

КАК ВЫПИТЬ СОЛНЦЕ

ЯБЛОКО

Я убежден, что Исаак Ньютон
То яблоко, которое открыло
Ему закон земного тяготенья,
Что он его,
В конечном счете,— съел.

То яблоко — дитя Земли и Солнца —
Родилось,
Выросло из завязи,
Созрело
(А перед этим пчелы прилетели,
И дождь прошел, и теплый ветер дул)
Не столько для того, чтобы упасть
И доказать движеньем по прямой,
Что тяготенье вправду существует,
Но главным образом, чтоб стать
красивым, сладким,
И сочным, и прохладным, и большим,
Чтобы его, любуясь, разломили
И аромат услышали
И сладость
Вкусили чутким человечьим ртом.

1960

НЕ ПРЯЧЬТЕСЬ ОТ ДОЖДЯ

Не прячьтесь от дождя! Вам что, рубашка
Дороже, что ли, свежести земной?
В рубашке вас схоронят. Належитесь.
А вот такого ярого сверканья
Прохладных струй, что льются с неба (с неба!),
Прозрачных струй, в себе дробящих солнце,

И пыль с травы смывающих,
И листья
Полощущих направо и налево,
Их вам увидеть будет не дано.

Смотреть на дождь? Какая ерунда!
Сто раз я видел море на картинах,
А толку ни на грош.
Где запах моря?
Где бархатная ласковость его?
Где мощь его, когда волну прибоя,
Сто тысяч тонн дрожащей синевы,
Она поднимет кверху, как в ладонях,
И понесет,
И выплеснет на берег,
И с ног сшибет, и в пене погребет...
Где соль его?

Итак, долой картины!
Долой
На дождь гляденье из окна!
Жить надо всем.
Глазами жить — убого.
Жить надо кожей, ртом, и нервом каждым,
И каждой клеткой, что пока жива,
Пока способна слышать влагу моря.

Жить надо всем.
Уже дождя мне мало.
Я в сад бегу, и тонкие деревья —
Рябину,
Вишенье,
Цветущую сирень —
Стряхаю на себя, усиливая дождь.

Деревьев мало мне!
Пульсируя упруго,
То льющаяся в звонкое ведерко,
То ветром относимая капель
Мне рушится на голову и плечи.
Капель, даешь капель!
Она мне заливает
Глаза, и нос, и рот,
Глаза, и нос, и рот...

Но сквозь капель я все-таки хватаю,
Вдыхаю, как могу лишь, глубоко
Дождем промытый, пахнущий сиренью
И чуточку железом ржавой крыши
(Ведь все же с крыши падает капель)
Большой
Земного воздуха глоток.

1960

КАК ВЫПИТЬ СОЛНЦЕ

Профаны,
Прежде чем съесть гранат,
Режут его ножом.
Гранатовый сок по ножу течет,
На тарелке красная лужица.
Мы
Гранатовый сок бережем.
Обтянутый желтою кожурой,
Огромный,
Похожий на солнце плод
В ладонях медленно кружится,
Обсмотришь его со всех сторон:
Везде ль кожура цела.
А пальцы уж слышат сквозь кожуру
Зерна —
Нежные, крупные,
Нажмешь легонько
(Багряна мгла!),
Кровью брызнули три зерна
(Впрочем, брызгаться тесно там —
Глухо и сочно хрупнули).
Теперь осторожно мы мнем и мнем
Зерна за рядом ряд.
Струи толкутся под кожурой,
Ходят, переливаются.
Стал упругим,
Стал мягким жесткий гранат.
Все тише, все чутче ладони рук:
Надо следить, чтоб не лопнул вдруг —
Это с гранатом случается.
Терпенье и нежность — прежде всего!
Верхние зерна — что?!

Надо зерна
Суметь
Достать в глубине,
В середине размять их здорово...
И прокусить кожуру,
И ртом
Глотками сосущими пить потом,
В небо подняв драгоценный плод
И
Запрокинув голову!

1960

ПОЛЕТЫ

Летаем мы во сне. Я говорю
Про ощущенье сладкое полета.
Конечно, современный самолет
Поднимет вас на десять тысяч метров
И тотчас унесет куда-нибудь
В Ташкент, в Пекин, в Сахару, в Антарктиду...
Но это все — езда, а не полет.
Вы в мягком кресле. Лампочка над вами.
В руках журнал, к примеру, «Огонек».
Вам девушка приносит на подносе
Лимон и чай. И кучу леденцов
На случай, если вскорости начнутся
Воздушные ухабы. Все предметы,
Что окружают вас, вполне спокойны
И неподвижны...
Где же тут полет?

Я помню, в юности, когда я жил в деревне,
Ходили мы за вениками в лес.
Сейчас найдешь березу постройнее,
Повыше,
Поупружистей,
Погибче,
Чтобы вполне ладони обхватили
Ее, как тело, розоватый ствол.
Сначала сучьев нет. И по стволу,
Подошвами босыми упираясь,
С коры стирая белую пыльцу,
До онеменья натруждая руки,

Стремишься вверх, где жесткой нет опоры,
А только зыбкость,
Только синева,
Что медленно колышется вокруг.
Тогда опустишь ноги
И повиснешь,
Руками ухватившись за верхушку,
И длинная, упругая береза
Начнет сгибаться медленно к земле.

Там было ощущение полета!
Пусть десять метров, пусть одно мгновенье...
И вот уж я валяюсь на траве,
Березу все из рук не выпуская,
Лицо уткнувши в нежную листву.
Хочу и отпущу.
Она обратно
Стрельнет стремглав и гордо отряхнется,
Как если бы обидевшись чуть-чуть...

Что ж приближает нас всего полнее
К полету птицы?
Белый склон горы.
Сверкает снег. Кусты внизу по речке
Игрушечными кажутся отсюда.
Я чувствую,
Как много между мною
И ими, там стоящими внизу,
Морозного прозрачного пространства.
Как много просто воздуха меж нами,
Через который надо пролететь.
И я лечу.
Я ничего не помню,
Как было там, на середине склона,
Как было там, на самой крутизне.
Но ветер, пробивая толстый свитер,
По телу разливается прохладой,
Потом срывает шапку и бросает
Ее в сугроб. И слезы высекает
Из глаз, смотрящих ветру вопреки...
Стою внизу.
И вот уж нет полета,
Хотя еще дрожат слегка колени.
Что ж это было?

Что же это было?
Как сладко! Как протяжно! Как свободно!
Почти как птица. Или как во сне.

1960

В УЗЕЛ СВЯЗАНЫ НИТИ

Вы проходите мимо слона?
Подождите.
Рассмотрите вплотную это чудо, увиденное наяву.
Он умеет такое, что никто на земле не умеет.
Например... он берет траву,
Сочную (после дождя) или пыльную (лишь бы еда),
Свежей воды добавляет из близ текущей реки
(Впрочем, может из лужи браться слоном вода),
Все смешает потом
И спит себе в холодочке
С набитым травой и водой животом,
Там, где тропиков солнце леса́ пробивает вкось.
Это кажется только, что спит, а на самом-то деле
Из зеленой, мягкой травы
(Вы подумайте только — из мягкой травы)
Без особых усилий (но где?!)
(Где пробирок, и колб, и спиртовок ряды?
Где приборы?
Где задумчивость профессорской головы?)
Создает слоновую кость!
Вы-ра-ба-ты-вает слоновую кость,
Тяжелую, плотную, желтую, с глянцевым блеском
Из мягкой, совсем не похожей на кость травы!
Вы проходите мимо цветка?
Наклонитесь,
Поглядите на чудо,
Которое видеть вы раньше нигде не могли.
Он умеет такое, что никто на земле
не умеет.
Например... Он берет крупинку мягкой черной
земли.
Затем он берет дождя дождинку,
И воздуха голубой лоскуток,
И лучик, солнышком пролитой.
Все смешает потом (но где?!)
(Где пробирок, и колб, и спиртовок ряды?),

И вот из одной и той же черного цвета земли
Он то красный, то синий, то сиреневый, то золотой!
Мало этого! Семечко сделает он
Из земли, из воздуха и воды.
Такое, что взять-то никак не возьмешь.
Раскусишь, поищешь — ничего не найдешь.
А между тем все заранее спрятано там,
Что присуще живым цветущим цветам:
И корни, и стебель, и лепестки
(И краска припрятана для лепестков),
И способность вырасти именно возле реки
Или именно вдалеке от ее берегов!

Вы проходите мимо прохожих людей,
Их расталкивая на тротуаре?
Остановитесь!
Поглядите на чудо
Из всех возможных и сущих чудес.
Человек,
Он умеет такое, что никто на земле не умеет,
Например... он берет говяжьего мяса кусок,
И луку пучок
(Иль иное земное растенье),
И воду берет, и воздуха светлый глоток,
И рыбу, и дыню, и свеклу, и грецкий орех,
Бездумно берет, безотчетно берет, наудачу.
И вдруг
Из всего, что взял,
Что вдохнул, и выпил, и съел...
Слово человеческое создает!
И загадку,
И песню,
И смех (человеческий смех!),
И а-риф-ме-ти-ческую задачу!
Так разве же можно подойти и ударить его по голове?
Подойти и отнять кусок хлеба?
Не дать ему воздуха или воды?
Или солнца, солнца ему не дать?!
(Подозреваю, что именно из солнца
Сотворяется в человеке смех.)
Подумайте. Повремените.
В нем,
В одном человеке (если только он человек)
Прошедших туманных веков

И грядущих туманных веков
В узел связаны нити,—
Не оборвите!

1960

ГОЛОВА

В пыли, перед нашим домом,
Валяется птичья голова.
Совершенно ненужный предмет.
Я шел и почти наступил на нее,
Но с брезгливостью ногу отдернул
И палкой
Кровавый комочек
Отбросил поближе к помойке.
Ибо именно там ее место...
Именно там? Ты уверен?
Жара... Мозг, наверное, уж стал высыхать.

Сколько сот миллионов столетий
Вся природа,
Все лучшие,
Все кропотливые силы земли
Создавали те несколько граммов
Самого тайного,
Самого тонкого,
Самого точного вещества,
Что сейчас высыхает
В изящной удобной коробке из кости
И что люди условно назвали созвучием: «мозг».
Все он мог.
Даст приказ — и вздымаются крылья у птицы,
Даст приказ — и поет и щебечет она.
Даст приказ — из гнезда за добычей стремится,
Даст приказ — возвращается, долгу верна.
У жизни,
Распространившейся во времени и пространстве,
Блестяще выдержанный экзамен —
Это маленькая,
В пестрых перышках,
Бесконечно красивая голова.
Триста тысяч машин, размещенных в гигантском зале,
Не заменят пятнадцати граммов
Невзрачного мягкого вещества.

Кто-то мне говорил: в Институте мозга
Изучают, делают срезы, разглядывают в микроскоп...
Да, четырнадцать миллиардов клеток,
Да, фосфора (допустим) полпроцента,
Но разве только это
Вмещает мой человеческий лоб?!

Загляните туда —
И развернутся синие бездны,
Вся вселенная там: Андромеды туманность видна.
Сколько зорь и цветов,
И стихов и морей — я не бедный,—
А какие мечты,
А какие горят имена!
Так что если когда-нибудь вам попадется
Моя
Валяющаяся на дороге
Снарядом ли,
Просто ли оторванная голова,—
Не пинайте ногой, пододвигая поближе к помойке.
Не говорите,
Что именно там ее место...
Даже относительно птичьей
Я обратно беру
Безобразные, безответственные слова.

1960

СОЛНЦЕ

Солнце разлито поровну,
Вернее, по справедливости,
Вернее, по стольку разлито,
Кто сколько способен взять:
В травинку и прутик — поменьше,
В большое дерево — больше,
В огромное дерево — много.
Спит, затаившись до времени:
смотришь, а не видать.
Голыми руками можно его потрогать,
Не боясь слепоты и ожога.
Солнце умеет работать. Солнце умеет спать.

Но в темные зимние ночи,
Когда не только что солнца —

Звезды не найдешь во вселенной
И кажется, нет управы
На лютый холод и мрак,
Веселое летнее солнце выскакивает из полена
И поднимает немедленно,
Трепещущий огненный флаг!

Солнце разлито поровну,
Вернее, по справедливости,
Вернее, по стольку разлито,
Кто сколько способен взять.
В одного человека — поменьше,
В другого — гораздо больше,
А в некоторых — очень много.
Спит, затаившись до времени. Можно руку смело пожать
Этим людям,
Не надевая брезентовой рукавицы,
Не ощутив на ладони ожога
(Женщины их даже целуют,
В общем-то не обжигая губ).
А они прощаются с женщинами и уходят своей дорогой.
Но в минуты,
Когда не только что солнца —
Звезды не найдешь вокруг,
Когда людям в потемках становится страшно и зябко,
Вдруг появляется свет.
Вдруг появляется пламя,
разгорается постепенно, но ярко.
Люди глядят, приближаются,
Сходятся, улыбаются,
Руке подавая руку,
Приветом встречая привет.

Солнце спрятано в каждом!
Надо лишь вовремя вспыхнуть,
Не боясь, что окажется мало
Вселенского в сердце огня.
Я видел, как от травинки
Загорелась соседняя ветка,
А от этой ветки — другая,
А потом принималось дерево,

А потом занималось зарево
И было светлее дня!
В тебе есть капелька солнца
(допустим, что ты травинка).
Отдай ее, вспыхни весело,
Дерево пламенем тронь.
Быть может, оно загорится
(хоть ты не увидишь этого,
Поскольку отдашь свою капельку,
Золотую свою огневинку).
Все умирает в мире. Все на земле сгорает.
Все превращается в пепел.
Бессмертен только огонь!

1960

ОБЛАКА

Сколько их пролетело за сорок-то дней,
Облаков над нашим селом.
Над селом, над бугром, над зеленой землей,
Над полями, где рожь,
Над садами, где яблони,
Над картошкой,
Над гречей,
Над клеверами,
Над гороховыми,
Над льняными полями —
Облака... облака... облака...
Не хватает им музыки полковой,
Барабана, кидающего в озноб,
Ибо ветер — полководец всех облаков —
Развернул их могущественно, как войска.

С дочкой смотрим мы вверх
С зеленой земли
На белые цепи,
На цепи полков,
На цепи без края и без конца,
На цепи штурмующих синеву облаков
Белых, но с легким налетом свинца.

— Папа, угадай, а почему облака
Не бывают из молока?
— Потому, что для этого было бы нужно
Очень много вкусного молока.

И к чему? Хорошо, если б были они
Из простой, из прохладной воды дождевой.
Из золотой прозрачной воды.
Вся б трава напилась, все б цветы напились,
Все б грибы напились, колоски б напились.
И картошка,
И греча,
И клевера,
Ну, а также леса и сады.
Но который уж день над землей облака
И не из воды, и не из молока —
Совершенно бесплодны,
Совершенно пусты
Облака... облака... облака...

— Папа, а видишь, за тем леском
Стало черным-черно.
Наверно, дождик сейчас придет
Из золотой, из прозрачной воды,
Чтоб трава напилась, чтоб цветы напились.
Чтоб грибы напились, колоски напились,
И картошка,
И греча,
И клевера,
Ну а также леса и сады.
— Что ты, девочка! Туча-то видишь где?
Там, куда летят облака.
Ветер ее далеко унесет,
Ветер ее в клочки разорвет.
Разве может туча встречь ветра идти.
Нет сюда этой туче пути.
Видишь, движутся к ней, окружают ее, как войска,
Облака... облака... облака...

А сосед проходил — закурить не прочь.
Да и выпить тоже всегда не прочь.
Встанет,
Взглядом прищуренным взглянет
И прикинет точно,
Как метром:
— Ты девчонке голову не морочь.
Разве не видишь — гроза идет?
Туча-то эта, что за леском,
Идет своим ветром!

— Как же так?
Как же может такое быть?
Как же может туча встречь ветра плыть,
Против ветра встать,
Белый фронт прорвать
И господствовать в небе?
Где там...
— А я говорю, что ей наплевать,
Сейчас придет и начнет поливать..
И-де-ет
Своим ветром!
Еще спину щекочет горячий зной,
Пылью еще порошит, как золой,
А в лицо уж летит прохлада.
Все кипит вверху, как в большом котле,
Тонет белая рать в черно-синей мгле
Над полями. Над лесом. Над садом.

1960

ЗВЕЗДА

Звезда упала — загадай желанье!
Звезда упала... Звездные дожди...
Звезда упала?
Прямо наказанье
С таким народом.
Слушай, подожди,
Ты что, не знаешь? Это ж метеоры —
Куски железа мечутся в ночи.
А звезды те далеко,
И не скоро
К нам долетают звездные лучи.

Когда б звезда действительно упала,
Вернее, мы упали б на звезду —
Песчинкой бы упали самой малой,
Как, скажем, вишня падает в саду,
Конечно, все сгорело бы мгновенно!
В один момент не стало бы Земли!
Мы отнимаем тайны у вселенной,
Уж мчатся к звездам наши корабли,
А ты, как будто грамоты не зная,
Твердишь:

Звезда упала...
Звездопад...

Молчала бездна, звездами пылая,
Деревья спали около оград.
Молчала ночь, и слово прорастало,
И шла любовь, как если бы беда...
И в этот миг
С небес
Звезда упала.
Звезда упала.
Слышишь ты?
Звезда!

1952

ВЕТЛА

Ветле,
Что за картофельным загоном,
Из всех деревьев нашего села
Не повезло —
Устроили там свалку.

Ну да: во-первых, неизвестно чья,
И кто и для чего ее сажал там,—
Не знаем.
Если вкруг других
Вполне домашних и вполне приличных ветел
Всегда разметено и чисто, как в избе,
То там, у бесхозяйственной ветлы,
Навалено неведомо чего.
Несут туда железные обрезки,
Несут туда калоши и ботинки,
Что, значит, никуда уж не годны
(Когда б хоть чуть годились — не несли бы),
Издохнет кошка — выбросят к ветле.
Так окружили бедную ветлу
Рваньем тряпичным, падалью кошачьей,
Что лучше уж сторонкой обойти.

А между тем, когда приходит май,
Она, в грязи увязнув по колени,
Вдруг начинает тихо золотеть.

Ей наплевать на рваные калоши,
На банки на консервные, на ветошь,
Она цветет, как все земные сестры
Ее цветут,
Застенчивым цветеньем,
Чистейшими, невинными цветами,
Их первозданно солнцу открывая.
И светится. И пахнет медом вся.

И, между прочим, пчелы к ней летают,
На мусор у подножья невзирая,
И людям, что деревья обижают,
Прозрачный мед с цветов ее неся.

1960

ОБИЖЕННАЯ ДЕВОЧКА

Я наблюдал с высокого холма,
Как лугом, потонувшим в майском солнце,
Шли в школу дети. Четверо мальчишек
И с ними рядом девочка одна.
Ее опрятный фартучек так ярко
(Как бы большая свежая ромашка)
Светился средь весенней желтизны!

И вот они обидели ромашку,
Забрызгали ее водой из лужи,
Наляпали на фартук грязных пятен
И довели до горьких-горьких слез.

Она от них отстала, повернулась
И потихоньку побрела домой.

Светило солнце. Жаворонки пели.
Земля дышала утренним теплом.
Но шла девчонка, солнышка не видя,
Не слыша пенья жаворонка в небе,

Тепла земли не чувствуя на коже,
Добра земли не слыша под ногой.
Обида злая черною заслонкой
Все от нее мгновенно заслонила,
И только горечь, только чернота

Кипели в добром, маленьком сердечке.
О, зло людское! Как бы мне придумать
С тобой сразиться в страшном поединке,
Чтоб изрубить твои глухие корни,
Чтоб истребить твое глухое семя,
Чтобы убить твое глухое сердце,
Наполненное мерзостью и смрадом.
Ты солнце застишь!
Как убить тебя?

1960

ЯГОДА

В зеленой лесной траве, в трех шагах от тропинки,
Выросла ягода, вызрела до красноты.
Сорвать бы... да мало ли ягод в лесу,
Не за этим пришел... Три шага... да еще нагибаться...
Пусть висит. Брызнет дождик — на землю собьет
Или птица склюет.
А ягода мне говорит:
— Не ленись, подойди, наклонись, избалованный жизнью,
Не ценящий мгновенья,
Сорви меня
И
Насладись.
Я мала, это правда. Но запахи летнего леса,
Солнца утренний лучик, упавшая в землю дождинка —
Все в меня воплотились, во мне воедино слились.
Положи меня в рот. Языком разомни меня нежно.
Через зубы меня, прохладную, процеди.
Равнодушно идущий, на солнце глядящий небрежно,
Сколько ягод осталось еще у тебя впереди?
Говорят, умирая, все прошлое перебирают:
Что видали, где были, в чем были правы-неправы.
Меж событий других,
Затемняя их и отстраняя,
Может, я-то и вспомнюсь, кивну из зеленой травы.
Может, вспомнив меня, ярко-красную, с пятнышком белым,
Перед тем как обрушится мрака последний обвал,

Не о том пожалеешь, что где-то чего-то не сделал,
А о том, что сегодня
Меня не сорвал.

1960

* *

Вон с этой женщиной я долго целовался.
Я целый день с ней жадно целовался.
И вот живу. И вот гляжу, скучая,
На небо в однотонных облаках.
А на душе пустынно и неярко,
Как будто я совсем не целовался.
И пресно. И умыться не мешало б.
А душу сполоснуть горячим спиртом,
Граненый опрокинувши стакан.

Вон с этой женщиной мы шли вечерним лесом,
Я за нее руками не хватался.
Я с ней совсем, совсем не целовался,
Лишь на руках пронес через ручей.
Она ко мне доверчиво прильнула,
В мои глаза туманно заглянула
И щеку мне дыханьем обожгла.
И вот живу. И грудь полна восторга,
И легкое кружение, как будто
Я выпил спирт и тут же захмелел.
А на щеке горячее дыханье
Еще живет. Боюсь рукой коснуться,
Чтоб не стереть его. Не уничтожить.
Так что ж такое женская любовь?

1960

* * *

Ждет семени земля.
Взрыхленная плугами,
Слегка дымясь,
Слегка на срезах лоснясь
И пахнущая, будто бы
Вино.

Чтоб прорасти.
Чтобы ее хмельную,
Земную, беспокоящую силу,
Захлебываясь, выпило
Зерно.

Ждет женщина любви.
Раздетая бесстыдно,
Вся жаркая,
Вся в чутком трепетанье,
В избытке юных,
Самых светлых
Сил.

Чтоб прорасти.
Чтоб розовый младенец
Хмельную, беспокоящую силу,
Ее парную, трепетную силу,
Безжалостно захлебываясь,
Пил.

Страница жаждет слов.
В медовом освещенье,
Вся чистая,
Слегка от света лоснясь,
Заманчивая. Каждый раз
Нова.

Чтоб прорасти.
Чтобы мою хмельную,
Земную, беспокоящую силу
(Дымится кровь!), мою парную силу,
Захлебываясь, выпили
Слова.

1957

СОСЕД

Я ремонтировал дом, и все уже было готово,
Как вдруг приходит сосед:
— А красить снаружи?
А разукрасить наличники?
Как? Вы не будете красить наличники?
Невозможно!
Значит, каждый день я буду глядеть из окна
На ваш некрасивый, неразукрашенный дом? —
Он начал меня уговаривать, то настойчиво, то осторожно,
Видя, что я задумался, но поддаюсь с трудом.

Он заставил меня пойти в магазин
И купить зеленой и белой краски
(Голубая и вишневая у меня уж была).
Он принес малярную кисть и высокую лестницу.
Кисть в ведро окунул и провел по стене без опаски.
По свежему тесу голубизна поплыла.
Три дня по утрам (до колхозной работы)
Занимался он творчеством как таковым.
Немного покрасит,
Отойдет на пятнадцать шагов,
Потом отойдет на другую сторонку села,
Все заметит, прикинет и снова покрасит —
Готово!
Вишневая краска горела. Голубая краска сияла.
Белая краска цвела.
Зеленая просто ложилась, как трава по земле,
Как основа.
Значит, все эти дни,
В то время как наши соседи
Просто, скажем, копали картошку,
Просто спали и ели
И глядели на небо, не будет ли нынче дождя,
Он один создавал красоту.
Каждый день по утрам (до колхозной работы)
Он дышал красотой, выводя завитульки любовно.
(Хоть была и корысть — заработать пятнадцать
рублей.)
Дом стоит на земле украшением улицы,
Словно
Только этого дома всегда не хватало
На ней.
Все пятнадцать рублей мой сосед, безусловно,
истратил,
Но еще и теперь он гораздо богаче других,
Просто спящих и просто из окон глядящих:
Соберется ли дождь или снова не будет дождя?
Каждый день он глядит на мои разноцветные окна,
Словно что-то забыл он в моем разноцветном дому.
Выйдет утром — посмотрит.
На работу пойдет — обернется.
Ненароком вокруг обойдет — улыбнется...
Позавидуем, люди, ему!

1963

ДЕВОЧКА НА КАЧЕЛЯХ

Новые качели во дворе.
Ребятишки друг у дружки бойко
Рвут из рук качельные веревки,
Кто сильнее, тот и на качелях.
Все же
Все почти что побывали.
Все же
Все почти что полетали
Кверху — вниз,
Кверху — вниз,
От земли и до неба!
Шум и смех,
Шум и смех,
Не надо мороженого, не надо конфет,
Не надо и хлеба!
Лишь девчонке одной не досталось качелей,
Оттерли, оттиснули, отпугнули,
А она — застенчива.
Отошла в сторонку, приуныла, пригрустнула,
Смотрит на веселье и смех,
На веселье и смех,
На веселье и смех,
Да делать нечего!
Вечером затихло все во дворе.
Посмотрел я во двор из квартиры своей, из окна.
Все ребятишки по домам разбрелись,
Все ребятишки спать улеглись,
А девочка на качелях
Кверху — вниз,
Кверху — вниз!
(Никто не мешает.) Кверху — вниз,
Качается потихоньку одна.

1960

ОТ МЕНЯ УБЕГАЮТ ЗВЕРИ

От меня убегают звери,
Вот какое ношу я горе.
Всякий зверь, лишь меня завидит,
В ужасе,

Не разбирая дороги,
Бросается в сторону и убегает прочь.

Я иду без ружья, а они не верят.

Вчера я стоял на краю поляны
И смотрел, как солнце с сумраком спорит:
Над цветами — медовый полдень,
Под цветами — сырая ночь.
На поляну бесшумно, легко, упруго,
Не ожидавшая столь интересной встречи,
С клочьями линючей шерсти на шее
Выбежала озабоченная лиса.
Мы посмотрели в глаза друг другу.
Я старался смотреть как можно добрее
(По-моему, я даже ей улыбнулся),
Но было видно, как наполняются ужасом
Ее звериные выразительные глаза.

Но ведь я не хотел ее обидеть.
Напротив.
Мне было бы так приятно,
Если бы она подошла и о ногу мою потерлась
(О ногу мою не терлась лиса ни разу).
Я пригладил бы ее линючую рыжую шерсть.
Но она рванулась, земли под собой не видя,
Как будто я чума, холера, проказа,
Семиглавое, кровожадное чудовище,
Готовое наброситься, разорвать и съесть.

Сегодня я нагнулся поднять еловую шишку,
Вдруг, из хвороста, из прохладной тени,
Выскочил заяц. Он подпрыгнул, замер
И пустился, как от выстрела, наутек.
Но ведь я не хотел обидеть зайчишку.
Он мог бы запрыгнуть ко мне на колени,
Верхней губой смешно шевеля и ушами,
Подобрал бы с ладони корочку хлебца,
В доброте человека разуверившийся зверек.

Белки,
Завидев меня, в еловых прячутся лапах.
Ежи,

Завидев меня, стараются убежать в крапиву.
Олени,
Кусты разрывая грудью,
От меня уносятся вплавь и вскачь.
Завидев меня
Или только услышав запах,
Все живое разбегается торопливо,
Как будто я самый последний беспощадный
Звериный палач.
Я иду по лесам, раздвигая зеленые ветви,
Я иду по лугам, раздвигая зеленые травы,
Я иду по земле, раздвигая прозрачный воздух,
Я такой же, как дерево, как облако. как вода...
Но в ужасе от меня убегают звери.
В ужасе от меня разбегаются звери.
Вот какое горе. Вот какая беда!

1970

ДАМОКЛОВ МЕЧ

Я как бы под дамокловым мечом.
Тяжелый меч,
Готовый оборваться со слабой нитки
И пронзить насквозь,
Лежи под ним.
Уж грудь обнажена.
Душа обнажена, чтобы одежды,
Чтобы иная крепкая броня
Не помешали острию вонзиться
Туда, где сердце бьется,
Только кожей
Да крепостью ребра защищено.

Висит дамоклов меч,
Незримый, непонятный,
Но знаю, что висит.
А я читаю книги, хожу в кино
(О, детская наивность!),
Купаюсь в речке, бегаю на лыжах,
Люблю цветы. И пчел. И звезды в небе.
Люблю...
О, безответственность моя!

Висит дамоклов меч.
Ты не считай секунды
(Не трать на это золотых секунд),
Но говори.
Но говори, что знаешь,
Что накопить успел в уме и сердце.
И свет во тьме.
И права не дано
Бездельничать, пока дамоклов меч
Твой огонек, сорвавшись, не погасит.

Сорвется меч,
Ведь нитка так тонка,
Сорвется меч.
Но пусть он не во сне
И не в объятьях женщины, не в неге,
Не под веселым праздничным хмельком
Найдет тебя, в живую ткань вонзаясь.

Полслова ты успел уже сказать,
И меч летит.
Но все же есть надежда,
Что, если ты уже успел сказать полслова,
Вторая половина не умрет
И люди догадаются о том,
Какой была вторая половина
Последнего,
Неконченного слова,
Разрубленного тягостным мечом.

Висит дамоклов меч.
Он каждую секунду
Велит тебе лишь то произносить,
Что нужно обязательно успеть.
Хотя б не все,
Хотя б до половины.
Вот меч летит.
Но из-под острия
Выпархивает легкий огонек
Живого недосказанного слова.

И не успеть железному мечу
За ним угнаться.

1969

ДИРИЖЕР. РАПСОДИЯ ЛИСТА

Я слушал музыку, следя за дирижером.
Вокруг него сидели музыканты — у каждого
особый инструмент
(Сто тысяч звуков, миллион оттенков!).
А он один, над ними возвышаясь.
Движеньем палочки, движением руки,
Движеньем головы, бровей, и губ, и тела,
И взглядом, то молящим, то жестоким,
Те звуки из безмолвья вызывал,
А вызвав, снова прогонял в безмолвье.

Послушно звуки в музыку сливались:
То скрипки вдруг польются,
То тревожно
Господствовать начнет виолончель,
То фортепьяно мощные фонтаны
Ударят вверх и взмоют, и взовьются,
И в недоступной зыбкой вышине
Рассыплются на брызги и на льдинки,
Чтоб с легким звоном тихо замереть.

Покорно звуки в музыку сливались.
Но постепенно стал я различать
Подспудное и смутное броженье
Неясных сил,
Их шепот, пробужденье,
Их нарастанье, ропот, приближенье,
Глухие их подземные толчки.
Они уже почти землетрясенье,
Они идут, еще одно мгновенье —
И час пробьет...
И этот час пробил!
О мощь волны, крути меня и комкай,
Кидай меня то в небо, то на землю,
От горизонта
И
До горизонта
Кипящих звуков катится волна.
Их прекратить теперь уж невозможно,
Их усмирить не в силах даже пушки,

Как невозможно усмирить вулкан.
Они бунтуют, вышли из-под власти
Тщедушного седого человека,
Что в длинном фраке,
С палочкой нелепой
Задумал со стихией совладать.

Я буду хохотать, поднявши руки,
А волосы мои пусть треплет ветер,
А молнии, насквозь пронзая небо,
Пускай в моих беснуются глазах,
Их огненными делая из синих.
От горизонта
И
До горизонта
Пускай змеятся молнии в глазах.
Ха-ха-а! Их усмирить уж невозможно
(Они бунтуют, вышли из-под власти).
Как невозможно бурю в океане
Утишить вдруг движением руки.
Но что я слышу...
Нет...
Но что я вижу:
Одно движенье палочки изящной —
И звуки все
Упали на колени,
Потом легли... потом уж поползли...
Они ползут к подножью дирижера,
К его ногам!
Сейчас, наверно, ноги
Ему начнут лизать
И пресмыкаться...
Но дирижер движением спокойным
Их отстранил и держит в отдаленье
Он успокоил,
Он их приласкал.
То скрипки вдруг польются,
То тревожно
Господствовать начнет виолончель.
То фортепьяно мощные фонтаны
Ударят вверх и взмоют, и взовьются,
И в недоступной зыбкой вышине
Рассыплются на брызги и на льдинки,

Чтоб с легким звоном тихо замереть...
. . . .
Все правильно. Держать у ног стихию
И есть искусство. Браво, дирижер!

1960

ЗДРАВСТВУЙТЕ

Мне навстречу попалась крестьянка,
Пожилая,
Вся в платках (даже сзади крест-накрест).
Пропуская ее по тропинке, я в сторону резко шагнул,
По колено увязнув в снегу.
— Здравствуйте! —
Поклонившись, мы друг другу сказали,
Хоть были совсем незнакомы.
— Здравствуйте! —
Что особого тем мы друг другу сказали?
Просто «здравствуйте», больше ведь мы ничего не сказали.
Отчего же на капельку солнца прибавилось в мире?
Отчего же на капельку счастья прибавилось в мире?
Отчего же на капельку радостней сделалась жизнь?
— Здравствуйте! — был ведь когда-то обычай такой.
Мы его в городах потеряли,
Потому что нельзя ж перекланяться всем,
Кто ходит по улице Горького,
В ГУМе толпится
И даже кто вместе с тобой приходит в театр, на спектакль.
— Здравствуйте! —
Был ведь, был ведь прекрасный обычай у русских
Поклониться друг другу при встрече
(Хотя бы совсем незнакомы)
И «здравствуйте» тихо сказать.
«Здравствуйте!» — то есть будьте в хорошем здоровье,
Это — главное в жизни.
Я вам главного. лучшего в жизни желаю.
— Здравствуйте! Я вас встретил впервые.
Но я — человек, и вы человек —
Мы люди на этой земле.—
Поклонимся же друг другу при встрече
И тропинку друг другу уступим
(Если даже там снег,
Если даже там грязь по колено).

— Здравствуйте,
Как я рад,
Что могу вам это сказать!

1962

ЧЕЛОВЕК ПЕШКОМ ИДЕТ ПО ЗЕМЛЕ

Человек пешком идет по земле,
Вот сейчас он правую ногу
Переставит еще на полметра вперед.
А потом — еще на полметра вперед
Переставит левую ногу.
Метр — расстояние.
Километр — расстояние.
Шар земной — расстояние.
Человек пешком по земле идет,
Палкой стучит о дорогу.

Человек на коне — врывается ветер в грудь.
На гриве — ладонь.
Но не грива стиснута — воля.
Земля струится.
Земля стремится.
Про землю теперь забудь,
Только грива коня, только ветер в грудь,
Только скорость — чего же боле?!

Человек — за рулем, между ним и землей — бетон.
В моторе — сто двадцать дьяволов, шины круглы и крепки.
Шуршанье встречного воздуха переходит в протяжный стон.
Воля — в комке. Прямизна — в руке.
В точку смотрят глаза из-под кожаной кепки.
Видят глаза — стрелка дальше ста.
Видят глаза — поворота знак.
И летящий бетон, без конца и без края летящий.
Он летит сквозь глаза и сквозь мозг, который устал.
Хорошо, если б мир мелькать перестал.
Но мелькают деревни,
Леса мельтешат,
Виадуки,
Мосты,
Человек,
Забор,

Корова,
Барак
Все чаще мелькают, все чаще, все чаще, все чаще.

Человек — пилот. Человек, так сказать,— крылат.
Десять тысяч теперь над землей
(Над рекой, над сосной, над поляной лесной) — высота.
Ничего не мелькает. Земля почти неподвижна.
Земля округла, земля туманна, земля пуста.
Нет земли — пустота!
Десять тысяч теперь над землей высота:
Ни тебе петуха,
Ни тебе на работу гудка,
Ни пенья,
Ни смеха,
Ни птичьего свиста не слышно.

А человек между тем идет пешком по земле.
Вот сейчас еще на полметра вперед
Переставит он правую ногу.
Он глядит, как травинка дождинку пьет.
Он глядит, как пчела цветоножку гнет.
Он глядит, как домой муравей ползет.
Он глядит, как кузнец подкову кует.
Он глядит, как машина пшеницу жнет.
Как ручей течет.
Как бревно над ручьем лежит.
Жавороночья песня над ним дрожит.
Человеку тепло. Он снимает кепку.
Он куда-то идет по зеленой и доброй земле.
Вот сейчас еще на полметра вперед
Переставит он левую ногу...
Метр — расстояние,
Километр — расстояние,
Шар земной — расстояние!
Человек пешком по земле идет,
Палкой стучит о дорогу.

1964

СЛОВО

Сегодня утром я заканчивал стихотворение
И долго мучился над словом, которое не хотело приходить.
Я брал слова и пробовал их:

На вес,
На вкус,
На запах,
На цвет,
На прочность,
На оттенки вкуса, цвета и запаха
(Почти неуловимые оттенки, но в том-то и состоит
Вся прелесть и вся соль
Необыкновенного нашего ремесла),
На остроту,
Как лезвие ножа или топора,
Я пробовал слова на пальце.
И что же?
Сегодня мне не годилось ни одно из слов.
Все в мире для меня исчезло: все цели, все задачи,
Стремления, интересы, радости, заботы, планы, люди,
Осталась одна задача, одно-единственное дело:
Найти слово и поставить его на место,
Ибо без него стихотворение не хотело жить.
Мало того, мне стало казаться, что и всем другим
Живущим на свете людям — до зарезу нужно это слово,
Что им не хватает именно
Только его,
Хоть они, возможно, и не догадываются об этом.
А иначе какой же смысл
В ужасных поисках слова,
В так называемых муках творчества
И во всем поэтическом ремесле?

Вдруг за стеной, у соседей
(Ветх и зыбок наш деревенский деревянный дом),
Я услышал разговор между восьмидесятилетним кузнецом Никитой
И его дочерью Марьей, пришедшей Никиту будить.
— Вставай! — сказала она.— Самовар стоит на столе.
Мне надо бежать на работу. Девятый уж час, вставай!
— Погоди,— ответил Никита-кузнец.— Не трогай меня.
Помираю.—
Тогда я вспомнил, что третий день, как кузнец хворает,
И понял, что это серьезно. И она поняла.
— Подожди, я тебе молочка... Погоди, я сейчас разогрею
(Что — погоди? Погоди помирать?)...
Я тебе горячего молочка...—
Итак, кузнец Никита произнес то слово,

Которое было для него самым важным и нужным в эту минуту.
«Помираю»!
Не пойти ли спросить,
Сколько времени он это слово искал?
Сколько слов перебрал он прежде,
Чем нашел единственное, заставляющее содрогнуться,
Великолепное по своей простоте.
Не пойти ли спросить,
Какие муки творчества пришлось ему испытать?
Как он их проверял, слова, отбирая:
На вкус?
На цвет?
На запах?
На вес?
На прочность или остроту?
Какими сложными путями,
В результате
Каких отчаянных попыток
Пришел он к самому важному для себя слову?

Надо ли говорить, что в это утро
Я так и не закончил своего стихотворения.

1960

БУКЕТ

Я их как собирал?
Колокольчик чтоб был к колокольчику,
Василек к васильку
И ромашка к ромашке была.
Мне казалось, что будет красивей букет,
Если только одни васильки,
Или только одни колокольчики,
Или только ромашки одни
Соберутся головка к головке.
Можно стебли подрезать и в воду поставить в стакан.

Постепенно я понял,
Что разных цветов сочетанье
(Ярко-желтого с белым,
Василькового с белым и желтым,

Голубого с лиловым,
Лилового с чуть розоватым)
Может сделаться праздником летних полуденных красок,
Может сделаться радостью. Надо немного условий:
Просто капельку вкуса
Или, может быть, капельку зренья —
И букет обеспечен. Хватает в июне цветов!
Так я их собирал. Но
(Во всем виновата незрелость)
Я наивно считал,
Что простые, невзрачные травы
(Это кажется нам, будто травы бывают невзрачны)
Недостойны приблизиться
К чистым, отборным и ясным,
Собираемым мною в букет, удостоенным чести цветам.
Обходил я пырей,
Обходил я глухую крапиву,
«Лисий хвост» обходил, и овсюг, и осот полевой,
И пушицу,
И колючий,
Полыхающий пламенем ярым,
Безобразный, бездарный татарник.
Им, конечно, хотелось. А я говорил с укоризной:
«Ну, куда вы?
Вот ты, щавеля лопоухого стебель,
Полюбуйся на себя, ну куда ты годишься?
Разве сор подметать?
Ну, допустим, тебя я сорву...»
И затем,
Чтоб совсем уж растение это унизить,
Я сорвал
И приставил метельчатый стебель к букету,
Чтобы вместе со мною все цветы на лугу
посмеялись
Сочетанью ужасному розовой «раковой шейки»
И нелепой метелки.
Но...
Не смеялся никто.
Даже больше того (что цветы!), я и сам не смеялся.
Я увидел, как ожил, как вдруг засветился букет,
Как ему не хватало
Некрасивого, в сущности, длинного, грубого
стебля.
Я крапиву сорвал,

Я приставил к букету крапиву!
И — о чудо! — зеленая, мощная сочность крапивы
Озарила цветы.
А ее грубоватая сила
Оттенила всю нежность соседки ее незабудки,
Показала всю слабость малиновой тихой гвоздички,
Подчеркнула всю тонкость, всю розовость «раковой
шейки».
Стебли ржи я срывал, чтоб торчали они из букета!
И татарник срывал, чтоб симметрию к черту
разрушить!
И былинник срывал, чтобы мощи косматой
добавить!
И поставил в кувшин,
И водой окатил из колодца,
Чтобы влага дрожала, как после дождя проливного,
Так впервые я создал
Настоящий,
Правдивый букет.

1963

ЖИТЬ НА ЗЕМЛЕ...

Жить на земле, душой стремиться в небо —
Вот человека редкостный удел.

Лежу в траве среди лесной поляны,
Березы поднимаются высоко,
И кажется, что все они немножко
Там, наверху, друг к дружке наклонились
И надо мной смыкаются шатром.

Но чист и синь просвет
Между берез зеленых,
Едва-едва листами шелестящих.
Я вижу там то медленную птицу,
То белые, как сахар, облака.
Сверкает белизна под летним солнцем,
И рядом с белизной — еще синее,
Заманчивее, слаще глубина.

Жить на земле, тянуться в беспредельность —
Вот человека радостный удел.

Лежу в траве
(Иль на песке в пустыне,
Иль на скале, на каменном утесе,
Или на гальке, там, где берег моря),
Раскинув руки, вверх гляжу, на звезды.
Мгновенья в жизни выше не бывает,
Мгновенья в жизни чище не бывает.
Ни труд, ни бой, ни женская любовь
Не принесут такого же восторга.
О глубина вселенского покоя,
Когда ты весь растаял в звездном небе,
И сам, как небо, потерял границы,
И все плывет и кружится тихонько.
Не то ты вверх летишь, раскинув руки,
Не то протяжно падаешь.
И сладко,
И нет конца полету (иль паденью),
И нет конца ни жизни, ни тебе.

Жить на земле, душой стремиться в небо...

Зачем стремиться? Брось свои березы,
Лети себе в заманчивую синь.
Купи скорей билет. С аэродрома
Тебя сейчас поднимут в небо крылья.
Вот синь твоя. Вот звезды. Наслаждайся.
Вон облако. Его с земли ты видел.
Оно горело, искрилось, сверкало.
Оно, как лебедь, плавало по небу.
Мы сквозь него спокойно пролетаем.
Туман, вода. А в общем — неприятность:
Всегда сильней качает в облаках.

Гляжу я вниз, в окошечко, на землю.
Лесок — как мох.
Река в лесу — как нитка.
Среди поляны точка —
Человечек!
Быть может, он лежит, раскинув руки,
И смотрит вверх.
И кажется красивой
Ему сейчас заманчивая синь.

— Хочу туда. Хочу скорей на землю!
— Постой. Сейчас поднимемся повыше.
На десять тысяч. Там еще ты не был.
— Пусти!
— Ты сам мечтал. Ты жаждал: Ты хотел!..

Жить на земле. Душой стремиться в небо.
Вот человека сладостный удел.

1964

ЧТОБЫ ДЕРЕВО НАЧАЛО ПЕТЬ...

Что же нужно, чтоб дерево начало петь?
О, поверьте, для этого нужно немало условий,
Если даже его древесина красна и звонка, как медь.

Допустим,
Что деревце проросло сквозь тяжелую, плотную
сырость суглинка.
Но корова пройдет — слизнет языком,
Пешеход пройдет — разомнет каблуком,
Потому что деревце, растущее рядом с цветком,
Само как тоненькая и жиденькая травинка.

Как будущий Паганини
Или будущий Моцарт был похож
На своих однолетних сверстников,
Будущих лавочников, монахов или матросов,
Так оно похоже на соседний пырей,
Так оно соседней былинки слабей,
Никто не поверит, что тень от его ветвей
Накроет тысячи трав, широко раскинувшись
по откосу.

Опасно
Все время жить вровень с травой,
Которую могут скосить
Косари.
Но гораздо опасней
Подняться над травами двухметровым ростом.
Срубит мужик, чтобы заступ себе насадить,
Срежут мальчишки, чтобы мячик резиновый бить,
Удар топором — и уже ни дождя, ни дрозда,
ни росы на заре,

Ни зари.
Удар топором — это очень и очень просто.

Но дерево крепнет.
Поверх кольца другое, как обруч, ложится кольцо.
Древесина темнеет,
Золотеет, стареет смола, пропитавшая древесину.
Еловые иглы теперь грубы и остры.
Вся в шрамах плакучих шершавая крепость коры.
Не дрогнут замшелые ветви, черны и стары,
Еловый шатер — не болтливая крона осины.

Что же все-таки нужно, чтоб дерево начало петь?
Нужна биография дереву. Это бесспорно, бесспорно!
И память про теплый,
Про первый, сладчайший дождь,
И от раны саднящей
Протяжная, зыбкая дрожь,
И жестокое лето, что мучило жаждой его,
И железный январь, что свирепо морозил его,
И скудность той глины, где корни во мгле
пропитания ищут упорно.

Ель годится теперь, чтобы стать золотистым бревном.
В сруб положат бревно.
Можно сделать телегу и шкаф платяной,
И фанеры наделать упругой и гибкой.
Можно дров напилить.
Можно гроб сколотить.
Хоть куда древесина — душиста, созрела давно,
Хоть куда древесина. Но еще не годится на скрипку.

Черт возьми!
Что же нужно, чтоб дерево начало петь?
Биография? Есть.
Руки мастера? Здесь.
Постучи топором: как звенит налитое смолистое тело!
Расколи, погляди: волокно к волокну.
Прокали, натяни золотую струну,
Чтобы спелая плоть, на струну отозвавшись, запела.

Нет, досада берет.
То глуха древесина, как вата,
То слишком звонка, как стекло.

Где же медь, где же мед?
Где же голос ветров и рассветного солнца улыбка?
Но вошел поставщик:
— Господин Страдивари, вам опять, как всегда, повезло
Я нашел.
Опаленная молнией ель. Это будет волшебная
скрипка!

Вот что дереву нужно, чтоб начало петь!
Редкий жребий.
Чтоб горний огонь снизошел.
Чтобы вдоль по волокнам, тугим до корней,
прокатилась гроза,
Опалив, закалив,
Словно воина сердце в бою.

Синей молнии блеск. И громов голубых голоса.
Я созрел. Я готов. Я открыто стою.
Небывалую песню я людям спою.
О, ударьте в меня, небеса!

1963

ЦВЕТЫ

Спросили про цветок любимый у меня.
Вы что, смеетесь?
Будто бы возможно
Из тысячи любимейших предметов
Назвать наилюбимейший предмет.

И вообще,
Задумывались вы
Над сущностью цветка?
Что за идея,
Какому (языком собранья говоря,
Писательского нашего собранья),
Скажите мне, какому содержанью
Придал художник форму василька?

Для нас, людей,— любовь,
А для травы иль дерева — цветенье.
То, что для нас

Томление в присутствии любимой,
Волненье от ее улыбки, взгляда
(Ожог на сердце от ее улыбки!),
Бессонница, свиданье, поцелуи,
Тоска, желанье, грусть и ликованье,
То, что для нас почти что крылья птицы,
То, что для нас перерастает в слово
И в музыку,
То у травы — цветок!
Толпа однообразна, как трава (или листва),
И жизнь, как луг весенний,— однотонна.
И вдруг
То тут, то там на ровном этом фоне
Любовь.
Цветы,
Ромашки, незабудки,
Кроваво-полыхающие маки.
Любовь — и та, что вовсе откровенна,
И та, что в тихом сумраке таится
(Допустим, ландыш).
И ночной фиалки
Таинственное пряное цветенье,
И крепкое до головокруженья
Роскошество магнолии в цвету.
Да, жизнь цветет, как луг,
Она уже красива.
Она ярка.
Она благоухает.
Она цветет... бывает пустоцветом
(О, иногда бывает пустоцветом!),
А иногда цветами материнства,
Но все равно цветет, цветет, цветет!

У трав иных цветенье каждый месяц.
У кактуса — единожды в столетье.
Чудовище. Колючка! Квазимодо!!
Как ждет, наверно, он своей поры,
Сладчайшего великого мгновенья,
Когда внутри раскрытого цветка
(Пылинка жизни упадет на пестик)
Завяжется пылинка новой жизни.
Цветы — любовь. А как любить любовь?

Да, как любить?

Но если непременно,
Но если с повседневной точки зренья
Вы все-таки меня спросить хотите,
Какой цветок я больше всех люблю, —
Пожалуй, назову я одуванчик.
А как же ландыш? Василек во ржи?
Черемухи душистое соцветье?
Кувшинка? Георгины? Белых лилий
Надводно-надзеркальное дрожанье?
И розы, наконец?

Постойте. Погодите.
Не рвите сердце. Я люблю, конечно,
Кувшинку, ландыш, синенький подснежник,
И клеверную розовую шапку,
И розовую «раковую шейку»,
И розу, и купальницу. Конечно...
Но чем-то
Мне одуванчик ближе всех цветов.

За то, во-первых, что вполне подобен солнцу.
Как будто солнце четко отразилось
В бесчисленных осколочках зеркальных,
Разбросанных по ласковой траве
(Как только солнце скроется за лесом,
Хоть бы один остался одуванчик
Раскрытым и цветущим — никогда!).
Но это к слову. Вовсе не за это
Люблю я скромный маленький цветок,
За то его люблю, что вечно жмется к людям,
Что он растет у самого порога,
У старенькой завалинки, у прясла
И самый первый тянется к ручонкам
Смеющегося радостно ребенка,
Впервые увидавшего цветок.

За то, что сам я сорок лет назад,
Когда пришла пора увидеть землю,
Когда пришла пора увидеть солнце,
Увидел не тюльпаны, не нарциссы,
Не ангельские глазки незабудок,
Не маков сатанинское горенье,
А одуванчик,
Полный жизни, солнца,

И горечи, и меда, и тепла,
И доброты к крестьянскому мальчишке.

Срывал я солнце голыми руками.
Легко сдувал пушистые головки.
И опускались легкие пушинки
На землю,
Чтобы снова расцвести.
Мой старый, добрый друг,
Наивный одуванчик...

1962

СКАЗКА

В храме — золоченые колонны,
Золоченая резьба сквозная,
От полу до сводов поднимались.
В золоченых ризах все иконы,
Тускло в темноте они мерцали.
Даже темнота казалась в храме
Будто бы немного золотая.
В золотистом сумраке горели
Огоньками чистого рубина
На цепочках золотых лампады.

Рано утром приходили люди,
Богомольцы шли и богомолки.
Возжигались трепетные свечи,
Разливался полусвет янтарный.
Фимиам под своды поднимался
Синими душистыми клубами.
Острый луч из верхнего окошка
Сквозь куренья дымно прорезался.
И неслось ликующее пенье
Выше голубого фимиама,
Выше золотистого тумана
И колонн резных и золоченых.

В храме том, за ризою тяжелой,
За рубиновым глазком лампады
Пятый век скорбела Божья Матерь,
С ликом, над младенцем наклоненным,
С длинными тенистыми глазами,
С горечью у рта в глубокой складке.

Кто, какой мужик нижегородский,
Живописец, инок ли смиренный
С ясно-синим взглядом голубиным,
Муж ли с ястребиными глазами
Вызвал к жизни тихий лик прекрасный,—
Мы о том гадать теперь не будем.
Живописец был весьма талантлив.

Пятый век скорбела Божья Матерь
О распятом сыне Иисусе.
Но, возможно, оттого скорбела,
Что уж очень много слез и жалоб
Ей носили женщины-крестьянки,
Богомолки в черных полушалках
Из окрестных деревень ближайших.
Шепотом вверяли, с упованьем,
С робостью вверяли и смиреньем:
«Дескать, к самому-то уж боимся,
Тоже нагрешили ведь немало,
Как бы не разгневался, накажет,
Да и что по пустякам тревожить?
Ну а ты уж будс похлопочешь
Перед сыном с нашей просьбой глупой,
С нашею нуждою недостойной.
Сердце материнское смягчится
Там, где у судьи не дрогнет сердце.
Потому тебя и называем
Матушкой-заступницей. Помилуй!»

А потом прошла волна большая,
С легким хрустом рухнули колонны,
Цепи все по звенышку распались,
Кирпичи рассыпались на щебень,
По песчинке расточились камни,
Унесло дождями позолоту.
В школу на дрова свезли иконы.
Расплодилась жирная крапива,
Где высоко поднимались стены
Белого сверкающего храма.
Жаловаться ходят нынче люди
В областную, стало быть, газету.
Вот на председателя колхоза
Да еще на Петьку-бригадира.
Там ужо отыщется управа!

Раз я ехал, жажда одолела.
На краю села стоит избушка.
Постучался, встретила старушка,
Пропустила в горенку с порога.
Из ковша напился, губы вытер
И шагнул с ковшом к перегородке,
Чтоб в лоханку выплеснуть остатки
(Кухонька была за занавеской.
С чугунками, с ведрами, с горшками).
Я вошел туда и, вздрогнув, замер:
Средь кадушек, чугунков, ухватов,
Над щелястым полом, над лоханью,
Расцветая золотым и красным,
На скамье ютится Божья Матерь
В золотистых складчатых одеждах,
С ликом, над младенцем наклоненным,
С длинными тенистыми глазами,
С горечью у рта в глубокой складке.
— Бабушка, отдай ты мне икону,
Я ее — немедленно в столицу...
Разве место ей среди кадушек,
Средь горшков и мисок закоптелых!
— А зачем тебе? Чтоб надсмехаться,
Чтобы богохульничать над нею?
— Что ты, бабка, чтоб глядели люди!
Место ей не в кухне, а в музее.
В Третьяковке, в Лувре, в Эрмитаже.
— Из музею были не однажды.
Предлагали мне большие деньги.
Так просили, так ли уж просили,
Даже жалко сделалось, сердешных.
Но меня притворством не обманешь,
Я сказала: «На куски разрежьте,
Выжгите глаза мои железом,
Божью Матерь, Светлую Марию
Не отдам бесáм на поруганье».
— Да какие бесы, что ты, бабка!
Это все — работники искусства.
Красоту они ценить умеют,
Красоту по капле собирают.
— То-то! Раскидавши ворохами,
Собирать надумали крохами.
— Да тебе зачем она? Молиться —
У тебя ведь есть еще иконы.

— Как зачем? Я утром рано встану,
Маслицем протру ее легонько,
Огонек затеплю перед ликом,
И она поговорит со мною.
Так-то ли уж ласково да складно
Говорить заступница умеет.
— Видно, ты совсем рехнулась, бабка!
Где же видно, чтоб доска из липы,
Даже пусть и в красках золотистых,
Говорить по-нашему умела!
— Ты зачем пришел? Воды напиться?
Ну так — с богом, дверь-то уж открыта!

Ехал я среди полей зеленых,
Ехал я средь городов бетонных,
Говорил с людьми, обедал в чайных,
Ночевал в гостиницах районных.
Постепенно стало мне казаться
Сказкой или странным сновиденьем,
Будто бы на кухне у старушки,
Где горшки, ухваты и кадушки,
На скамейке тесаной, дубовой
Прижилась, ютится Божья Матерь
В золотистых складчатых одеждах,
С ликом, над младенцем наклоненным,
С длинными тенистыми глазами,
С горечью у рта в глубокой складке.
Бабка встанет, маслицем помажет,
Огонек тихонечко засветит.
Разговор с заступницей заводит...

Понапрасну ходят из музея.

1961

МЫ СИДИМ ЗА ОДНИМ СТОЛОМ

Мы сидим за одним,
Пусть не круглым, столом,
Англичанин, русский, немец, француз
(Как в каком-нибудь анекдоте).
Мы говорим про одни и те же вещи,
Но странно (мне это, правда, кажется странным),
Произносим разные,
Непохожие друг на дружку слова.

— Э тейбл,— говорит англичанин.
— Ля табль,— уточняет француз.
— Дер тыш,— возражает немец.
— Стол, поймите же, стол,— русский им говорит.—
Как же можем мы все же понять друг друга?
Что же все же общего есть между нами,
Если один говорит:
— Э брет.—
Другой уточняет:
— Дас брот.
— Ля пэн,— возражает третий.
— Хлеб, поймите же, хлеб,— четвертый внушает им.—
Но в это время кошка, пробиравшаяся по крыше,
Прыгнула, чтобы поймать воробья,
Промахнулась и упала в кадку с водой.
— Ха-ха-ха! — на это сказал англичанин.
— Ха-ха-ха! — ответил ему француз.
— Ха-ха-ха! — подтвердил им обоим немец.
— Ха-ха-ха! — согласился русский с тремя.—
Официант, поклонившись вежливо, сообщил нам,
Что будет подано
Самое лучшее,
Чуть не столетней выдержки,
Уникальное, фирменное вино.
— О! — на это сказал англичанин.
— О! — француз отозвался мгновенно.
— О! — охотно включился немец.
— О! — согласился с ними и я.—
Официант, торжественно несший бутылку,
Вдруг споткнулся,
И столетняя красная влага
Превратилась в драгоценную липкую лужу
На каменном ресторанном полу.
— Ах! — всплеснул англичанин руками.
— Ах! — француз сокрушенно воскликнул.
— Ах! — огорчился с ними немец.
— Ах! — едва не заплакал я.—
Так я понял, почему, говоря по-разному,
Мы все же в конце концов понимаем друг друга:
Англичанин...
Русский...
Немец...
Француз...

1961

РАБОТА

Что нам надо уметь? Дрова колоть?
Исколол я их сто поленниц.
Еловые, как бы из янтаря,
Пронзенные черными сучьями
До сердцевины наискосок;
Осина — синенькая древесина
Распадается с легким щелчком
И опрокидывается на желтый песок.
Клен — хорош. Сосна — неплоха.
Царские дровишки — сама ольха
(Горячи изразцы с мороза!).
Но лучше всех, конечно, береза.
Плохо колется — только клинится,
А как в печь-то она подкинется:
Уголь мелкий, да не угарный.
Все березе мы благодарны.

Что нам надо уметь? Железо резать?
Обучал меня мастер обращенью с железом.
Сопротивленье металла преодолевая
(Умеет сопротивляться металл),
Вгрызаешься понемногу зубилом,
Напильником лишнее убираешь,
Керном бьешь его,
И сверлишь, и строгаешь,
Зажав покрепче, чтоб не убежал.
Ну а если сталь, что так крепка,—
Не останется даже и метки,
Вхолостую напильник скользнет, соскочит зубило
И в сторону отлетит?
Учил меня мастер: на каждую крепость
Найдется другая крепость,
Ступай в кладовку — выпиши «победит».
Что мы делали с ней, со сталью крепчайшей!
В сущности, делали все, что хотели,
Вернее, все, что нам было нужно,—
И ласкали ее наждаком, и калили в огне...
Были искры, жара, цвета побежалости,
Но не было робости,
Не было жалости,
Ах, как эта работа нравилась мне!

Что нам надо уметь? Слово схватить
Из тысячи самое точное?
И кинуть в огонь, и зажать в тиски
Или положить его на наковальню?
И делать с ним все, что я захочу,
Вернее, все, что мне только нужно,
Чтоб оно, граненное, заблистало?
Я уж вам говорил: не похлопывая по плечу,
Обучал меня мастер обращенью с металлом.
Главное в жизни — не щадить ладоней,
Не воспитывать жалости
К чувствительной, ласковой коже их.
Смотрите,
Меняет цвета побежалости
Мой
Постепенно раскаляемый стих.
Дрова ли колоть, стога ли метать,
За другое ли браться дело,
В каждой работе должна прилипать
Рубаха к горячему телу
От первого пота,
От третьего пота,
От седьмого пота...
А иначе... какая же это работа!

1960

И ВЕЧНЫЙ БОЙ...

Все было в жизни в первый раз.
Вкус молока (грудного мы не помним)
Коровьего
Из белой доброй чашки,
Парного,
С легким милым запахом коровы,
Ледяного,
Из погреба, из запотевшей кринки
В июне, в сенокосную жару.

И вкус воды. Сначала из стакана.
Из чайника (тянуть ее сквозь носик),
Потом в припадке жажды из ручья.

И это тоже было в первый раз —
Дурная,
Отчаянная огненная горечь.
Огонь и смрад из горлышка бутылки
Украдкой, за углом (ведь мы подростки),
А после легкость — море по колено:
Хотите, дуб сейчас с корнями вырву?
Хотите, дом кирпичный своротну?

И в первый раз расплата за веселье —
Рассветное, холодное похмелье,
Угар, свинец, осадок в голове.
Все было в жизни в первый раз.
Однажды
Впервые я сорвал земной цветок.
То был всего скорее одуванчик,
А может быть, ромашка,

А может быть,
Во ржи крестьянской сирый василек.

Однажды
Впервые я на звезды загляделся,
И беспредельность бездны над собою,
Таинственной, бездонной и манящей
Вселенской бездны, звездами горящей,
Впервые я сознанием постиг,
Так, что восторгом захлебнулось сердце.

И море...
Дело в том, что было время,
Когда я (странно!) моря не видал.
И, значит, в жизни было суждено
Мне счастье несравненное —
Увидеть
Стихию моря в самый первый раз.
В конце корявой улочки приморской,
Над черными домами, над забором,
Над проволокою ржавой и колючей,
Оно стояло — синяя стена.
Так мой дальнейший путь земной по жизни
Коснулся моря, морем окропился,
Чья голубая бездна солона.
О первая прочитанная книга!

О первые прочитанные книги —
Окошко в мир,
Ворота в мир,
Пролом в стене в огромный мир
Из темной
Избы крестьянской,
В мир, где острова
Туманятся в далеких океанах,
Где города из камня громоздятся.
Где люди ищут правду, бьются насмерть
И умирают, правды не найдя.
И любят женщин...
Поздно или рано
Я должен был узнать тебя, волненье,
При виде одноклассницы-девчонки,
Вчера обычной, даже некрасивой
(Другим-то ведь казалась же она
Совсем обычной, вовсе не красивой),
А сегодня...
Ее лицо волшебно и прекрасно.
Как бы кругом и тьма, и пустота,
И лишь лицо волшебницы-девчонки
Горит во тьме и затмевает все.

Все было в жизни в первый раз когда-то:
И первая, наивная любовь.
И первое к любимой прикасанье.
И первая, огромная, святая
Ночь брака,
Ночь зачатья новой жизни.
И первый детский лепет, и впервые
Два слога «па-па» — это про меня.

Работа.
Да, и первая работа.
Допустим, сноп овса или пшеницы,
Который кинул я отцу на дроги.
Или охапка дров, которую я внес
С мороза в избу.
И первый пот труда
(Копали землю, дерево пилили, косили клевер,
Молотили хлеб...).
Рубаха стала волглой и горячей,
А мышцы разогрелись, расходились,

В азартную, веселую, хмельную,
В неистовую ярость приходя.

Пусть будет больше дров!
Пусть будет больше хлеба!
Я все могу (пьянеют сладко мышцы).
Всю землю я один перекопаю,
Весь хлеб земной один обмолочу!

Но там, где труд,— усталость неизбежна.
Я помню в жизни первую усталость.
Раскинешь руки в стороны и ляжешь
На ласковую летнюю траву.
И смотришь вверх. На облако. На птицу,
Что плавно кружит около него.
А тело ноет, тело натрудилось
И льнет к земле.
Теперь всего дороже
Не двигаться,
Пусть тело льнет к земле.
Все было в жизни в первый раз...
Но как же
Нам быть теперь?
Из радостей житейских,
Из радостей великих не осталось,
Пожалуй, ни одной, чтоб не встречалась,
Которая была бы в первый раз.

Конечно, есть леса, где не бродил я,
Но Лес я знаю, с ним встречаюсь вновь.
Есть женщины, которых не любил я,
Но не нова мне к Женщине любовь.

Я все моря увидеть не успею,
Но Море, безусловно, знаю я.
Вино то золотистей, то краснее,
Но суть Вина известна нам, друзья!

А если так, то что же нам осталось:
Твердить зады?
Приятная усталость?
Сомнительная радость повторенья?
Гниенье нам осталось иль горенье?
Барахтанье во прахе иль паренье?
Вопрос наивен,— отвечаю я.

И радость не сомнительна ни капли.
Мои глаза и руки не ослабли.
И знаю я, что в Мире повторенья
Приходит к людям радость предвкушенья.

Я предвкушаю:
Завтра будет солнце.
И теплый дождь.
А вечером от речки
Парной туман потянется над лугом.
Я предвкушаю:
Скоро будет встреча.
Мы с ним зажжем костер. Иль просто будем
Лежать в траве. Молчать. Смотреть на звезды.
Почти что год не виделся я с другом!

Я предвкушаю:
Вкус молока,
Стук молотка,
Цвет моря. Запах моря. Бурю моря.
И молнию, змеящуюся в небе.
И радугу, светящуюся в небе.
И истину, родившуюся в споре.
Топор в руке.
И мед на хлебе.
Соленость горя...

Всю неприступность выбранной задачи.
Все ликованье в случае удачи.
А если (вдруг) не выиграть сраженья,
Я предвкушаю горечь пораженья.
И вечный бой.
Как много нам осталость!
(А вовсе не
Приятная усталость.)

1960

СОРОК ЗВОНКИХ КАПЕЛЕЙ...

Сорок звонких капелей,
Сорок зимних метелей,
Сорок черных осенних ночей,
Сорок радужных летних дождей.
Сорок лет.

Сорок раз предвкушал я весну.
Сорок лет.
Сорок раз отходила природа ко сну.
Сорок лет.
Не жалею ли я, что их сорок уже, а не двадцать?
Нет.
Предлагайте мне двадцать. Или даже семнадцать.
Соблазняйте!
Не буду меняться.
Если завтра машина задавит в московском бензинном
чаду,
Если сам я, схватившись за сердце, подкошенный, упаду,
Если в поле февральском во время метели застыну,
Если вор в переулке сунет ножик отточенный в спину,
Если (сотни дорожек на тот не заманчивый свет)...
Мне не страшно. Вернее, не очень уж страшно:
Было.
Прожито.
Выпито.
Сорок ненастных и солнечных лет!

Конечно,
Когда пожилому, в сущности, человеку
Предлагают снова семнадцатилетний возраст,
Очень трудно не соблазниться.
Но меня не обманешь.
В семнадцать лет передо мной лежало
Мое собственное туманное будущее.
Оно зависело, в равной степени, от меня
И от сцепления миллионов не зависящих от меня
Случайностей и обстоятельств.
Семнадцать лет — ни одного написанного
стихотворения.
Семнадцать лет — в будущее, которого я
не знаю,
Уводят тысячи разнообразных дорог.
(А вдруг я не попаду на эту
На единственную, правильную, мою?)
Я мог бы стать хорошим колхозным бригадиром.
А потом меня, возможно, выдвинули бы в председатели.
Но из-за горячности и обостренного чувства
справедливости
Я не очень долго задержался бы на этом посту
(Будущее тонет в туманной дымке).

Я мог бы стать помощником мастера цеха
(Как раз в семнадцать я защитил соответствующий
диплом),
До поста директора завода мне, конечно, никогда бы
не дорасти,
Помешали б стихи, которые я все-таки, по-видимому,
писал бы
И которые охотно помещала бы цеховая стенная
газета.
Да и просто не хватило бы технического и
административного таланта.
Не хочу я сказать ничего плохого
Про тысячи разных и нужных людям дорог.
Но что же делать, если мне теперь полюбилась
Та, на которую я так счастливо попал
И по которой пройдено сорок,
Сорок все-таки лет.
Все пути хороши.
Но спросите у шахматиста,
Когда он выигрывает на международном турнире,
С трудом, упорно, но все-таки выигрывает
Партию, которая и решает все,—
Спросите,
Согласится ли он переиграть ее снова, сначала?
Партия выиграна (или выигрывается),
Смешно и бессмысленно рисковать.
Единственно,
Для чего стоило бы вернуться в минувшие годы,—
Чтобы не сделать несколько досадных, постыдных
ошибок
В отношении с людьми,
В отношениях с вещами,
В отношениях с самим собой.
Но кто мне скажет, что, исправляя эти ошибки,
Я не наделаю новых,
Еще грубее и хуже?

Сорок лет.
Футболист сказал бы: середина второго тайма.
Игра, как говорится, сделана.
С решающим счетом в нашу пользу.
Будущее, которое представлялось тревожной тайной,
Осуществилось и наступило. Чего же больше?
Но послушайте,

В том-то и дело, что в этой игре нипочем
Не бывает выигрышного, победного счета.
На каждый успех
Жизнь немедленно отвечает равняющим счет мячом:
Время бросить табак,
Сердце бьется не так,
Нету сна — порошок,
Боль в ноге — посошок,—
Это в наши, мой друг, в беззащитные наши ворота.
Вся задача лишь в том,
Чтобы с поля уйти, накидавши побольше мячей.
В сетку времени,
В сетку проклятую века.
Вот скончался бездельник.
Ноль — ноль.
Нет позорнее этой «ничьей»,
Дант не зря посылал несодеявших в самое чертово пекло.
Несодеявших — в ад. Несодеявших — в ад!
Сорок звонких мячей. О, достоинство быть человеком.
40:40 — мне так представляется
Нынешний мой результат.
Извините меня. Я отнюдь не футбольный болельщик.
Просто ради наглядности.
И потом действительно — вторая половина игры.
О, приветствую вас,
Побежденные мною и меня победившие вещи,
Стихи, поэмы, туманные реки, женщины,
Океаны, звезды,
Сердец человеческих пламенные костры!
«Сорок — сорок». Железное время, не жди поблажки.
Пятьдесят? Пятьдесят.
Шестьдесят? Шестьдесят!
Впрочем, что я? До этого не дойдет.
Отцветает сирень. Осыпаются наземь ромашки.
Желтых листьев кружится медленный водоворот.
Время голову красит чем-то зимним, спокойным, белым.
Что ж,
Спокойное сердце
Вернее и четче стучит.
Умереть за Россию. Вот чего я пока что не сделал.
Умереть за Россию.
Это мне, вероятно, еще предстоит!

1964

АРГУМЕНТ

ОЧАГ

Безнадежно испорчено слово «очаг»,
Эти плоские камни в убогом жилище,
Где огонь в непогожие ночи не чах,
Чтоб согрелась семья и поджарилась пища.

Добрый, теплый огонь.
Он в гнезде из камней
Прожил тысячи лет — огнеперая птица.
Был округлым очаг,
Чтобы людям тесней
Вкруг огня в непогожую ночь разместиться.

Но не только огонь и не камни — очаг.
Есть на свете семья, и в теченье столетий
Тосковал мореходец о добрых очах,
Об объятьях жены и о маленьких детях.
Тосковал мореходец,
Рыбак,
Зверолов,
Все мечтал поскорее домой воротиться.
Он вернется домой, и устал и суров,
И забьется в камнях огнеперая птица.

«...Очаги ТБЦ», — говорят доктора,
Над больным распрямляя усталые спины.
Захворал у соседей ребенок вчера,
И назвали его очагом скарлатины.

Смысл великий у этого слова зачах.
Очаги радиации есть в океане.
На Тайване — очаг,
И в Берлине — очаг,
И очаг постоянно дымится в Ливане!

На таком очаге не сготовишь еды,
На ночлеге степном он тебе не приснится.
Там расправила черные крылья беды
И готова взлететь смертоносная птица.

Летуны разлетелись в ненастных ночах.
Спит дочурка моя, одеяльцем укрыта...
Как жестоко испорчено слово «очаг»,
Теплота,
Доброта очага позабыта!

1960

ИДУТ КРОВОПРОЛИТНЫЕ БОИ

Внутри меня возникли баррикады.
Сперва толпа, булыжник мостовой,
Окраины, ораторы, отряды,
Предатели, каратели и — бой!

Войска закона движутся к заставам,
Для них повстанцы — дикая орда,
Та часть меня, которая восстала
На часть меня, которая тверда.

Что из того, что тихо ночью в доме,
Что, рядом спя, не слышит и жена,
Как в беспрерывном скрежете и громе
Идет во мне гражданская война?

Свистят фугасы, крутятся радары,
Огня и крови яростный союз...
И кто бы ни клонился под ударом,
То я клонюсь, один лишь я клонюсь!

Страшна беда, как все на свете беды,
Разорены цветущие края...
Но кто бы ни одерживал победу,
То я ее одерживаю, я!

Как и всегда, с вопросами при встрече
Ко мне друзья, знакомые мои:
— Ну, как живешь? Здоровье как? —
Отвечу:

— Идут кровопролитные бои.
Вы моему спокойствию не верьте,
Обманчив внешний благодушный вид.
Лишь одного боюсь я больше смерти —
Уснешь. А кто-то третий победит.

1968

В РЫЛЬСКОМ МОНАСТЫРЕ НА ПРАЗДНИКЕ БОЛГАРСКОЙ ПОЭЗИИ

Обстоятельства написания этих стихов требуют пояснения. Вечером был объявлен конкурс на лучшее стихотворение о происходящем празднике. Срок написания — до утра. Одновременно начался и банкет. Малиновое вино — специалитет Рыльского монастыря — было прекрасно, но тяжеловато для головы. То ли в силу новизны впечатлений, то ли в силу большей — по сравнению с болгарскими коллегами — дисциплинированности, написали стихи только мы с Сергеем Наровчатовым. Мы же, естественно, и получили призы: он — хорошую графику с изображением монастыря, а я — копию с иконы четырнадцатого века, изображающую основателя обители — Иоанна Рыльского.

* * *

Сначала я летел на самолете,
Ту-104 резал синеву.
Журнал красивый я листал в полете,
В окно глядел и вспоминал Москву.

Потом я в Варне двадцать дней купался,
Где золото песка и синий вал.
С друзьями спорил, по горам шатался,
Ракию пил и в шахматы играл.

Потом по разным городам и селам
Возил меня казенный «мерседес»,
Потом — автобус, дружный и веселый...
Вот так, друзья, я оказался здесь.

А надо бы пешком,
Через Россию,
Через Европу надо бы пешком!

Пешком к тебе, славянская святыня,
Стуча о землю крепким посошком.

Идти пешком, чтоб зрела постепенно
Твоя, о Рила, над душою власть.
Прийти пешком и преклонить колено...
Не так!
Прийти и на колени пасть!

Поклон, поклон поэзии крылатой
За все ее одиннадцать веков.
Она была то песней, то набатом,
Она была то девой, то солдатом,
В любви клялась, страдала от оков.

Я не пешком пришел к тебе, прости мне,
Но я скажу, слова распределя:
Обичим те сестра та на Русия!
Люблю тебя, болгарская земля!

1970

ЯСТРЕБ

Я вне закона, ястреб гордый,
Вверху кружу.
На ваши поднятые морды
Я вниз гляжу.

Я вне закона, ястреб сизый,
Вверху парю.
Вам, на меня глядящим снизу,
Я говорю.

Меня поставив вне закона,
Вы не учли:
Сильнее вашего закона
Закон Земли.

Закон Земли, закон Природы,
Закон Весов.
Орлу и щуке пойте оды,
Прославьте сов!

Хвалите рысь и росомаху,
Хорей, волков...
А вы нас всех, единым махом, —
В состав врагов,

Несущих смерть, забывших жалость,
Творящих зло...
Но разве легкое досталось
Нам ремесло?

Зачем бы льву скакать в погоне,
И грызть, и бить?
Траву и листья есть спокойней,
Чем лань ловить.

Стальные когти хищной птицы
И нос крючком,
Чтоб манной кашкой мне кормиться
И молочком?

Чтобы клевать зерно с панели,
Как голубям?
Иль для иной какой-то цели,
Не ясной вам?

Так что же, бейте, где придется,
Вы нас, ловцов.
Все против вас же обернется
В конце концов!

Для рыб, для птиц любой породы,
Для всех зверей
Не ваш закон — Закон Природы,
Увы, мудрей!

Так говорю вам, ястреб-птица,
Вверху кружа.
И кровь растерзанной синицы
Во мне свежа.

1970

АРГУМЕНТ

О том, что мы сюда не прилетели
С какой-нибудь таинственной звезды,
Нам доказать доподлинно успели
Ученых книг тяжелые пуды.

Вопросы ставить, право, мало толку —
На все готов осмысленный ответ.
Все учтено, разложено по полкам,
И не учтен лишь главный аргумент.

Откуда в сердце сладкая тревога
При виде звезд, рассыпанных в ночи?
Куда нас манит звездная дорога
И что внушают звездные лучи?

Какая власть настойчиво течет к нам?
Какую тайну знают огоньки?
Зачем тоска, что вовсе безотчетна,
И какова природа той тоски?

1970

* * *

Жизнь моя, что мне делать с нею,
То блеснет, то нет из-за туч.
Помоложе я был цельнее,
Был направлен, как узкий луч.
За работу берешься круто,
По-солдатски жесток режим,
Все расписано по минутам:
Час обедаем, час лежим.
В семь зарядка — и сразу в омут.
И за стол рабочий, «к станку»,
На прогулку выйти из дому
Раньше времени не могу.
Или вот, простая примета,
Вот каким я суровым был,—
Дождик выпадет ясным летом,
В лес отправишься по грибы,
А малина, или черника,

Иль ореховая лоза,
Земляника и костяника
Так и тянутся на глаза.
Так и тянутся, так и жаждут.
Только цель у меня узка,
И не дрогнула ни однажды
Ни душа моя, ни рука.
И сорвать бы... чего бояться?
Что там ягода? Пустяки!
Но рискованно распыляться
И дробить себя на куски.
Нет, соблазны все бесполезны,
Если в лес пошел по грибы...
Вот каким я тогда железным,
Вот каким я хорошим был.
А теперь я люблю — окольно,
Не по струнке люблю уже,
Как-то больно и как-то вольно
И раскованно на душе.
Позабыл я свою привычку,
И хотя по грибы идешь,
То орешек, а то брусничку,
То цветок по пути сорвешь.

1969

* * *

На смирной лошади каурой
(Куда влеком и кем гоним?)
Стоит у камня витязь хмурый,
И три дороги перед ним.

Летят над русскою равниной
За веком век, за веком век,
Умолкли древние былины,
Вознесся в космос человек.

На металлических снарядах
Мы мчимся вдоль и поперек,
И на широких автострадах
Есть указатели дорог —

Где Симферополь, где Кашира,
Где поворот, где спуск крутой.
Шуршит бетон, летят машины
С невероятной быстротой.

Такси возьмете до Рязани,
В Хабаровск сядете на ТУ.
Есть расписанье на вокзале,
Есть график в аэропорту.

Железный вихрь, стальная буря,
И все рассчитано давно...
А человек лежит, и курит,
И на звезду глядит в окно.

Свои ошибки и удачи
Он ворошит и ворошит.
Его вопрос, его задачу
Никто на свете не решит.

Своей печалью он печален,
Своими мыслями томим.
И точно так же, как вначале,—
Все три дороги перед ним.

1969

ОЛЬХА

Я обманул ольху.
В один из зимних дней,
На берегу застывшей нашей речки
Я наломал заснеженных ветвей
И внес в тепло, которое от печки.

Не в то, что нам апрель преподнесет,
Когда земля темнеет и курится,
И в синем небе проплывает лед,
И в синих водах пролетают птицы.

Тогда глядится в зеркало ольха,
В серьгах расцветших — славная обнова!
Ну, не сирень, а все же не плоха.
Сирень когда? А я уже готова.

Сережки нежным золотом сквозят,
Летит по ветру золотистый цветень.
Земля черна, но свадебный наряд
Ее пречист, душист и разноцветен.

Что в семечке от наших скрыто глаз,
На свет выходит сокровенной сутью.
Итак,
Я в тот запомнившийся раз
Домой принес мороженые прутья.

Смеялись люди — экие цветы!
Уж лучше б веник ты поставил в воду!
Но от печной, домашней теплоты
Включился некий механизм природы.

Жизнь пробудил случайный обогрев,
Сработали реле сторожевые.
На третий день, взглянув и обомлев,
Мы поняли, что прутья те — живые!

В них происходят тайные дела,
Приказ, аврал, сигналы по цепочке.
Броженье соков. Набухают почки.
И дрогнула ольха и зацвела.

Висят сережки длинные подряд.
Разнежились. На десять сантиметров.
Пыльцой набухли.
Жаждут,
Ждут,
Хотят
Программой предусмотренного ветра.

Он облегчит, он лаской обовьет,
А без него и тягостно и плохо.
Ольха цветет, надеется, зовет,
Еще не зная страшного подвоха.

Но нет корней, и почвы нет, и нету
В глухих стенах земного ветерка.
Цветет в кувшине пышным пустоцветом
Обманутое дерево ольха.

Не пить воды, на солнышке не греться,
В июльский дождь листвою не шуметь,
И в воды те в апреле не глядеться,
И продолженья в мире не иметь.

Что из того, что радостно и звонко
Раздастся песня раннего скворца?
Летит, пылит на мертвую клеенку
Досадный мусор — мертвая пыльца.

1969

НАДЕЖДА

Мечтой, корыстью ли ведомый,
Семью покинув и страну,
Моряк пускался в путь из дома
В бескрайную голубизну.

Мир неизведан и безмолвен.
Ушел фрегат, пропал фрегат.
И никаких депеш и «молний»,
И никаких координат.

Три точки, три тире, три точки
Не бросишь миру в час беды.
Лишь долго будут плавать бочки
На гребнях вспененной воды.

Как до другой звезды, до дома,
Что ни кричи, не слышно там.
Но брал бутылку из-под рома
И брал бумагу капитан.

И жег сургуч...
Обшивка стонет,
Тот самый вал девятый бьет.
Корабль развалится. Утонет.
Бутылка вынырнет. Всплывет.

Она покачиваться станет
На синеве ленивых волн.
А капитан?
Ну что ж, представим,
Что уцелел и спасся он.

Есть горизонт в морском тумане.
Прибоем вымытый песок.
Есть в окаянном океане
Осточертевший островок.

Его записка будет плавать
Три года, двадцать, сорок лет.
Ни прежних целей, и ни славы,
И ни друзей в помине нет.

И не родных и не знакомых
Он видит каждый день во сне:
Плывет бутылка из-под рома,
Блестит бутылка при луне.

Ползут года улитой склизкой,
Знать, умереть придется здесь.
Но если брошена записка,
Надежда есть, надежда есть!

Ползут года, подходит старость,
Близка последняя черта.
И вот однажды брезжит парус
И исполняется мечта.

. . . .
Живу. Жую. Смеюсь все реже.
Но слышу вдруг к исходу дня —
Живет нелепая надежда
В глубинах сердца у меня.

Как будто я средь звезд круженья
Свое еще не отгостил,
Как будто я в момент крушенья
Бутылку в море опустил.

1969

ДАВНЫМ-ДАВНО

Давным-давно известно людям,
Что при разрыве двух людей
Сильнее тот, кто меньше любит,
Кто больше любит, тот слабей.

Но я могу сказать иначе,
Пройдя сквозь ужас этих дней:
Кто больше любит, тот богаче,
Кто меньше любит, тот бедней.

Средь ночи злой, средь ночи длинной,
Вдруг возникает крик в крови:
О боже, смилуйся над милой,
Пошли ей капельку любви!

1970

У ЗВЕРЕЙ

Зверей показывают в клетках —
Там леопард, а там лиса,
Заморских птиц полно на ветках,
Но за решеткой небеса.

На обезьян глядят зеваки,
Который трезв, который пьян,
И жаль, что не дойдет до драки
У этих самых обезьян.

Они хватают что попало,
По стенам вверх и вниз снуют
И, не стесняясь нас нимало,
Визжат, плюются и жуют.

Самцы, детеныши, мамаши,
Похожесть рук, ушей, грудей,
О нет, не дружеские шаржи,
А злые шаржи на людей,

Пародии, карикатуры,
Сарказм природы, наконец!
А вот в отдельной клетке хмурый,
Огромный обезьян. Самец.

Но почему он неподвижен
И безразличен почему?
Как видно, чем-то он обижен
В своем решетчатом дому?

Ему, как видно, что-то надо?
И говорит экскурсовод:
— Погибнет. Целую декаду
Ни грамма пищи не берет.

Даем орехи и бананы,
Кокос даем и ананас,
Даем конфеты и каштаны —
Не поднимает даже глаз.

— Он, вероятно, болен или
Погода для него не та?
— Да нет. С подругой разлучили.
Для важных опытов взята.

И вот, усилья бесполезны...
О зверь, который обречен,
Твоим характером железным
Я устыжен и обличен!

Ты принимаешь вызов гордо,
Бескомпромиссен ты в борьбе,
И что такое «про» и «контра»,
Совсем неведомо тебе.

И я не вижу ни просвета,
Но кашу ем и воду пью,
Читаю по утрам газеты
И даже песенки пою.

Средь нас не выберешь из тыщи
Характер, твоему под стать:
Сидеть в углу, отвергнуть пищу
И даже глаз не поднимать.

1970

ВОЛКИ

Мы — волки,
И нас
По сравненью с собаками
Мало.
Под грохот двустволки
Год от году нас
Убывало.

Мы, как на расстреле,
На землю ложились без стона.
Но мы уцелели,
Хотя и живем вне закона.

Мы — волки, нас мало,
Нас можно сказать — единицы.
Мы те же собаки,
Но мы не хотели смириться.

Вам блюдо похлебки,
Нам проголодь в поле морозном,
Звериные тропки,
Сугробы в молчании звездном.

Вас в избы пускают
В январские лютые стужи,
А нас окружают
Флажки роковые все туже.

Вы смотрите в щелки,
Мы рыщем в лесу на свободе.
Вы, в сущности,— волки,
Но вы изменили породе.

Вы серыми были,
Вы смелыми были вначале.
Но вас прикормили,
И вы в сторожей измельчали.

И льстить и служить
Вы за хлебную корочку рады,
Но цепь и ошейник
Достойная ваша награда.

Дрожите в подклети,
Когда на охоту мы выйдем.
Всех больше на свете
Мы, волки, собак ненавидим.

1964

МУЖЧИНЫ

Б. П. Розановой

Пусть во́роны гибель вещали
И кони топтали жнивье,
Мужскими считались вещами
Кольчуга, седло и копье.

Во время военной кручины
В полях, в ковылях, на снегу
Мужчины,
Мужчины,
Мужчины
Пути заступали врагу.

Пусть жены в ночи голосили
И пролитой крови не счесть,
Мужской принадлежностью были
Мужская отвага и честь.

Таится лицо под личиной,
Но глаз пистолета свинцов.
Мужчины,
Мужчины,
Мужчины
К барьеру вели подлецов.

А если звезда не светила
И решкой ложилась судьба,
Мужским достоянием было
Короткое слово — борьба.

Пусть небо черно, как овчина,
И проблеска нету вдали,
Мужчины,
Мужчины,
Мужчины
В остроги сибирские шли.

Я слухам нелепым не верю,—
Мужчины теперь, говорят,
В присутствии сильных немеют,
В присутствии женщин сидят.

И сердце щемит без причины,
И сила ушла из плеча.
Мужчины,
Мужчины,
Мужчины,
Вы помните тяжесть меча?

Врага, показавшего спину,
Стрелы и копья острие,
Мужчины,
Мужчины,
Мужчины,
Вы помните званье свое?

А женщина — женщиной будет:
И мать, и сестра, и жена,
Уложит она, и разбудит,
И даст на дорогу вина.

Проводит и мужа и сына,
Обнимет на самом краю...
Мужчины,
Мужчины,
Мужчины,
Вы слышите песню мою?

1968

ВЕНОК СОНЕТОВ

Со студенческих пор я знал, что существует такая форма — венок сонетов. Она мне казалась непостижимой. Каждое стихотворение рождалось внезапно. За полчаса до его написания я и не подозревал, что оно, откуда ни возьмись, проявится на бумаге. Начиная стихотворение, нельзя было предугадать, как оно будет развиваться и каково будет его завершение. Оно возникало как зов, и оставалось только откликнуться.

Строгая форма сонета, как такового, хотя и пугала, но все же не казалась недостижимой... Но венок! И вообще — заданность. Стихотворение, его форма и содержание рождаются одновременно. Их нельзя отделить друг от друга, как нельзя отделить молнию от ее зигзага, от ее

рисунка на темном небе. А тут получалось, что нужно сначала прочертить, нарисовать на небе зигзаг молнии, а потом добиться, чтобы живая молния уложилась в этот заранее приготовленный зигзаг.

Но, с другой стороны, я понимал, что в пределах своей профессии нужно уметь решить любую задачу. Возникла постепенно и реакция на два предыдущих сборника, написанных свободным стихом. Случайно подслушанный разговор о том, что, может быть, я просто разучился рифмовать и вообще владеть формой, обострил мое давнишнее желание, а подоспевший — относительный, конечно,— досуг исключил проволочку. С мая по октябрь среди владимирских перелесков и перед грандиозной синевой Кабулет я бубнил, между делом, мужские и женские рифмы, стараясь их чередовать в соответствии с предписанными строжайшими законами сонета.

Предварительно я рискнул заглянуть в энциклопедические словари.

«Форма сонета восходит ко времени труверов, которые, быть может, заимствовали ее у арабов. Мы находим ее в Сицилии в XIII веке, и хотя сонеты писал еще Данте, изобретателем их считается Петрарка, в сущности, только доставивший известность этой форме...»

«Сонет... небольшое стихотворение, состоявшее из двух четверостиший (катренов) на две рифмы и двух трехстиший (терцин) на три рифмы; к этим правилам строгая теория прибавляет еще некоторые условия: рифмы в четверостишиях должны чередоваться в порядке... женские рифмы должны сменяться мужскими, так что... обязателен пятистопный ямб, так что... воспрещено... должна составлять... Лишь соблюдение всех этих требований дает, по указанию Буало, сонету ту высшую красоту, благодаря которой...»

«Поэзия мысли охотно обращается к сонету, который прельщает ее не внешней музыкальностью — есть формы более благозвучные,— но своей сжатостью, законченностью, возможностью отлить новое индивидуальное содержание в определенную, заранее предустановленную форму».

«Особую форму представляет венок сонетов: он состоит из пятнадцати сонетов. Последний, пятнадцатый сонет, называемый магистралом, связывает между собою все части «венка»; первый сонет начинается первым стихом магистрала и кончается вторым стихом магистрала; второй

сонет начинается вторым стихом магистрала (то есть, значит, последним стихом предыдущего сонета.— *В. С.*) и кончается третьим стихом и т. д., четырнадцатый начинается последним стихом магистрала и кончается снова первым стихом магистрала. Самый же магистрал повторяет первые стихи каждого сонета, последовательно развивающего идеи и образы магистрала».

— Уф! — только и можно сказать, одолев такую науку.

Субъективные положения другой статьи о сонетах, утверждающей прямую взаимосвязь сонета с готикой, читать было интереснее, но они меньше давали с точки зрения практического строительства задуманного, и впрямь архитектурного, сооружения.

Первую ошибку в моих сонетах уловил умудренный поэтическим слухом Павел Григорьевич Антокольский. Третий сонет я читал на Блоковских вечерах. Тут-то старый мастер и сказал мне, что третья строка сонета получилась шестистопной, хотя ей непреложно полагается быть пятистопной. Исправление строки вело бы, может быть, к улучшению всего сонета, но к ухудшению самой строки. Кроме того, нашлось еще несколько невольных вольностей, или, скажем точнее, ошибок, которые исправить было бы очень трудно. Пусть читатель найдет их так же, как их нашел с запозданием сам автор.

Если верить тем же энциклопедическим словарям, почти все, обращавшиеся на протяжении веков к форме сонета, допускали сознательные или несознательные вольности. Но, конечно, это не может служить оправданием собственных ошибок. Надо согласиться с высказыванием Готье: «Зачем тот, кто не хочет подчиняться правилам, избирает строгую форму, не допускающую отступлений?»

В «Приключениях барона Мюнхаузена» есть бегун, который, чтобы не слишком быстро бегать, привязывает к ногам пудовые гири.

Я мечтал написать венок сонетов и написал его. Закончив эту работу, я почувствовал себя как мюнхаузенский бегун, снявший гири с ног. Легкость-то какая! Рифмуй как хочешь. Строки чередуй как хочешь! А хочешь и вовсе не рифмуй и не чередуй!

Но зато вдруг растерянность: не знаешь, куда и зачем бежать. Жди зова.

1

Венок сонетов — давняя мечта.
Изведать власть железного канона!
Теряя форму, гибнет красота,
А форма четко требует закона.

Невыносима больше маята
Аморфности, неряшливости тона,
До скрежета зубовного, до стона,
Уж если так, пусть лучше немота.

Прошли, прошли Петрарки времена.
Но в прежнем ритме синяя волна
Бежит к земле из дали ураганной.

И если ты все мастер и поэт,
К тебе придет классический сонет —
Вершина формы строгой и чеканной.

2

Вершина формы строгой и чеканной —
Земной цветок: жасмин, тюльпан, горец,
Кипрей и клевер, лилии и канны,
Сирень и роза, ландыш, наконец.

Любой цветок сорви среди поляны —
Тончайшего искусства образец,
Не допустил ваятеля резец
Ни одного малейшего изъяна.

Как скудно мы общаемся с цветами.
Меж красотой и суетными нами
Лежит тупая жирная черта.

Но не считай цветенье их напрасным,
Мы к ним идем, пречистым и прекрасным,
Когда невыносима суета.

3

Когда невыносима суета,
И возникает боль в душе глубоко,
И складка горькая ложится возле рта,
Я открываю том заветный Блока.

Звенит строка, из бронзы отлита,
Печального и гордого пророка.
Душа вольна, как дальняя дорога,
И до звезды бездонна высота.

О Блок! О Бог! Мертвею, воскреси!
Кидай на землю, мучай, возноси
Скрипичной болью, музыкой органной!

Чисты твоей поэзии ключи.
Кричать могу, молчанью научи,
К тебе я обращаюсь в день туманный.

4

К тебе я обращаюсь в день туманный,
О Родина, ужели это сны?
Кладу букет цветов благоуханный
На холмик глины около сосны.

И около березы. И в Тарханах.
И у церковной каменной стены.
Поэты спят; те стойкой ресторанной,
Те пошлостью, те пулей сражены.

А нас толпа. Мы мечемся. Мы живы.
Слова у нас то искренни, то лживы.
Тот без звезды, а этот без креста.

Но есть дела. Они первостепенны.
Да ты еще маячишь неизменно.
О, белизна бумажного листа!

5

О, белизна бумажного листа!
Ни завитка, ни черточки, ни знака.
Ни мысли и ни кляксы. Немота.
И слепота. Нейтральная бумага.

Пока она безбрежна и чиста,
Нужны или наивность, иль отвага
Для первого пятнающего шага —
Оставишь след и не сотрешь следа.

Поддавшись страшной власти новизны,
Не оскверняй великой белизны
Поспешным жестом, пошлостью пространной.

Та белизна — дорога и судьба,
Та белизна — царица и раба,
Она источник жажды окаянной.

6

Она источник жажды окаянной,
Вся жизнь, что нам назначено прожить.
И соль, и мед, и горечь браги пьяной,
Чем больше пьешь, тем больше хочешь пить.

Сладко́ вино за стенкою стаканной,
Мы пьем и льем, беспечна наша прыть,
До той поры, когда уж нечем крыть
И жалок мусор мелочи карманной.

За ледоход! За дождь! За листопад!
За синий свод — награду из наград,
За жаворонка в полдень осиянный,

За все цветы, за все шипы земли,
За постоянно брезжущий вдали
Манящий образ женщины желанной!

7

Манящий образ женщины желанной...
Да — помыслы, да — книги, да — борьба.
Но все равно одной улыбкой странной
Она творит героя и раба.

Ты важный, нужный, яркий, многогранный,
Поэт, главарь — завидная судьба!
Уйдет с другим, и ты сойдешь с ума,
И будешь бредить пулею наганной.

Немного надо — встретиться, любя.
Но если нет, то всюду ждут тебя
В пустых ночах пустые города,

Да все-таки — надежды слабый луч,
Да все-таки — сверкнувшая из туч
В ночи осенней яркая звезда.

8

В ночи осенней яркая звезда,
Перед тобой стою среди дороги.
О чем горишь, зовешь меня куда,
Какие ждут невзгоды и тревоги?

Проходят лет, событий череда,
То свет в окне, то слезы на пороге,
Глаза людей то ласковы, то строги,
Все копится для Страшного суда.

Для каждого наступит Судный день:
Кем был, кем стал, где умысел, где лень?
Ты сам себе и жертва и палач.

Ну что ж, ложись на плаху головою,
Но оставайся все-таки собою,
Себя другим в угоду не иначь.

9

Себя другим в угоду не иначь.
Они умней тебя и совершенней,
Но для твоих вопросов и задач
Им не найти ответов и решений.

Ты никуда не денешься, хоть плачь,
От прямиков, окольностей, кружений,
От дерзновенных взлетов и крушений,
От всех своих побед и неудач.

Привалов нет, каникул не бывает.
В пути не каждый сразу понимает,
Что жизнь не тульский пряник, не калач.

Рюкзак годов все крепче режет плечи,
Но если вышел времени навстречу,
Души от ветра времени не прячь!

10

Души от ветра времени не прячь...
Стоять среди железного мороза
Умеет наша светлая береза,
В огне пустынь не гибнет карагач.

Но точит волю вечная угроза.
Но подлецом не должен быть скрипач.
Но губят песню сытость, ложь и проза,
Спасти ее — задача из задач.

Берешь, глядишь: такие же слова,
Похожа на живую, а мертва.
Но если в ней сознанье угадало

Хоть уголек горячий и живой,
Ты подними ее над головой,
Чтобы ее, как факел, раздувало.

11

Чтобы ее, как факел, раздувало,
Ту истину, которая в тебе,
Не опускай тяжелого забрала,
Летя навстречу буре и борьбе.

Тлен не растлил, и сила не сломала.
И медлит та, с косою на горбе.
Хвала, осанна, ода, гимн судьбе —
Ты жив и зряч, ни много и ни мало!

С тобой деревья, небо над тобой.
Когда же сердце переполнит боль,
Оно взорвется ярко, как фугас.

Возможность эту помни и держи,
Для этого от сытости и лжи
Хранится в сердце мужества запас.

12

Хранится в сердце мужества запас,
Как раньше порох в крепости хранили,
Как провиант от сырости и гнили,
Как на морском суденышке компас.

Пускай в деревьях соки отбродили,
Пусть летний полдень засуху припас,
Пусть осень дышит холодом на нас
И журавли над нами оттрубили,

Пусть на дворе по-зимнему темно,
Согреет кровь старинное вино,
Уздечкой звякнет старенький пегас.

Придут друзья — обрадуемся встрече,
На стол поставим пушкинские свечи,
Чтоб свет во тьме, как прежде, не погас!

13

Чтоб свет во тьме, как прежде, не погас...
Да разве свет когда-нибудь погаснет?!
Костром горит, окном манит в ненастье,
В словах сквозит и светится из глаз.

Пустые толки, домыслы и басни,
Что можно, глыбой мрака навалясь,
Идущий день отсрочить хоть на час,
Нет ничего смешнее и напрасней!

А мрак ползет. То атомный распад.
То душ распад. То твист, а то поп-арт.
Приоритет не духа, а металла.

Но под пустой и жалкой суетой
Он жив, огонь поэзии святой,
И тьма его, как прежде, не объяла.

14

И тьма его, как прежде, не объяла,
Мой незаметный, робкий огонек.
Несу его то бодро, то устало,
То обогрет людьми, то одинок.

Уже не мало сердце отстучало,
Исписан и исчеркан весь листок,
Ошибок — воз, но этот путь жесток,
И ничего нельзя начать сначала.

Не изорвать в сердцах черновика,
Не исправима каждая строка,
Не истребима каждая черта.

С рассветом в путь, в привычную дорогу.
Ну а пока дописан, слава богу,
Венок сонетов — давняя мечта.

15

Венок сонетов — давняя мечта,
Вершина формы строгой и чеканной,
Когда невыносима суета,
К тебе я обращаюсь в день туманный.

О, белизна бумажного листа!
Она источник жажды окаянной,
Манящий образ женщины желанной,
В ночи осенней яркая звезда!

Себя другим в угоду не иначь.
Души от ветра времени не прячь,
Чтобы ее, как факел, раздувало.

Хранится в сердце мужества запас.
И свет во тьме, как прежде, не погас,
И тьма его, как прежде, не объяла!

ГРУЗИЯ

(Венок сонетов)

1

О Грузии слагаю свой сонет.
За ледяными глыбами Кавказа,
Укрыта им от холода и сглаза
Страна, что вся похожа на букет.

Но почему никто еще ни разу
Не написал другой ее портрет?
Воспеты розы, вина, свадьбы, сазы —
Полдневный труд под солнцем не воспет.

В раю, увы, не райская работа.
На бронзе капли бронзового пота,
И у лопаты бронзов черенок.

Но мы в саду. Хозяева нам рады.
И цвет и плод возделанного сада
Пускай украсят бедность этих строк.

2

Пускай украсят бедность этих строк
Вершины снежной лунное свеченье,
Арагвы синей шумное теченье,
Во тьме Дарьяла бешеный поток,

Воды сквозь камень тихое точенье,
На черной пашне розы лепесток
И — в книге перевернутый листок —
Старинных башен дремлющее бденье.

Остатки битв: и меч, и шлем, и щит
До наших дней земля в себе хранит
И помнит все от плена до побед.

Она и тех времен не позабыла,
Когда святая Нина исходила
Ее простор от Вардзии до Млет.

3

Ее простор от Вардзии до Млет.
От алазанских струй и до Колхиды,
Да не узнает горестей и бед,
Не понесет урона и обиды.

Родства дороже не было и нет,
Любовный гимн звучит — не панихида,
Где на горе прославленной Давида
Хранит могила верности обет.

Здесь Пушкин строфы звучные читал,
Шумя крылами, Демон пролетал
И в крепком замке Мцыри изнемог,

Там, где в струи Арагвы и Куры
Глядятся склоны каменной горы
и древний Джвари — каменный цветок.

4

И древний Джвари — каменный цветок,
И рядом Мцхета — древняя столица,
Дошли до нас, чтоб каждый видеть мог
Всю красоту в одной ее крупице.

Суровость, нежность, слезы и восторг
Нашли себе и форму и границы,
Когда, как в сказке, мастера десница
Соединила Запад и Восток.

В ущельях темных, в зелени долины
То целый храм, то жалкие руины
Тех золотых, величественных лет.

Когда судьба так много обещала,
Когда царица взоры обращала
К тебе, Шота, блистательный поэт.

5

К тебе, Шота, блистательный поэт,
Пришла сегодня слава, слава, слава.
Ты на груди грузинской — амулет,
Ты светлый камень — Грузия оправа.

Так от звезды доходит давний свет,
Так древний дуб стоит среди дубравы.
«Прекрасное должно быть величаво» —
Ты разгадал поэзии секрет.

Она — в пустыне чистая вода,
Она — огонь среди снегов и льда,
Среди базара — царственный чертог.

На свет ее сквозь дождь и темноту,
На зов ее сквозь ложь и немоту
Я прихожу, как путник на порог.

6

Я прихожу, как путник на порог,
К тебе, Григол, Ираклий и Отари,
Карло, Фридон, Иосиф и Нодари,
И вылетает пробка в потолок.

Наш тамада, как водится, в ударе,
Ковер стола просторен и широк,
По кругу ходит полновесный рог,
На скатерть льется красное маджари.

Легко-легко хмелеет голова,
Легко приходят нужные слова,
И тост звенит, как вскинутый клинок.

За матерей. За мужество. За встречу!
Сердца друзей открытыми я встречу
Здесь после всех скитаний и дорог.

7

Здесь после всех скитаний и дорог
Был даже Демон снова очарован
И, красотой грузинки околдован,
Гранит слезой раскаянья прожег.

Да, этот край для радости дарован.
Двухчасовой, стремительный прыжок
Из Внукова, где серенький снежок,
И вот он, рай, из золота откован.

Когда народам земли раздавали,
Грузины, как обычно, пировали,
Зато счастливый вынули билет.

Но что земля без дружбы и привета?
Среди сплошного солнечного лета
Я дружбой больше солнца обогрет.

8

Я дружбой больше солнца обогрет.
Но я и сам носитель этой дружбы,
Ее сторонник и ее полпред,
Ее слуга — прекрасней нету службы.

Меч, ятаган, кинжал и пистолет,
Пожар и мор, дымящиеся лужи
Вдруг прерывали мирный ход бесед,
Кольцо сжимало Грузию все туже.

Из мудрых книг слагаются костры,
Чернеют в храмах фрески от жары.
Но все осталось в прошлом и былом.

Давно «за гранью дружеских штыков»
Земля не слышит цокота подков,
Долины спят голубоватым сном.

9

Долины спят голубоватым сном,
На дне долин поблескивают реки.
За золотым таинственным руном
К земле грузин причаливали греки.

За веком век проходят чередой
Цари, герои, пахари, калеки...
Жизнь прорастает почкой и звездой
И каплей света в каждом человеке.

Легенды и сказания земли
Уходят в дымку, словно корабли,
В тумане тонут зыбком и седом.

Но все легенды явью обернутся,
Когда грузины вместе соберутся
В Алаверды на празднике ночном.

10

В Алаверды на празднике ночном
Горят костры, неистовствуют тени,
Все времена сливаются в одном,
Спектакль времен играется на сцене.

О легендарном, близком и родном
Гремит мужское слаженное пенье,
То молнию, то трудное терпенье
Я вижу в танце огненном потом.

Соседство древних ритмов и нейлона,
Автомашин и чинного поклона,
Транзисторов и пышущих углей.

Руками рвет баранье мясо каждый.
Я тоже рву. Я тоже тоста жажду.
Налейте рог серебряный полней!

11

Налейте рог серебряный полней,
За Родину еще не пита чаша,
За крестный путь, за скорбь и славу нашу,
Отца отцов и матерь матерей!

Мечом единства чресла препояшет
Пусть каждый из достойных сыновей,
Иль нас, как пыль, развеет суховей,
Могилы наши время перепашет.

Красивый, как бы бронзовый народ
В Алаверды на празднике поет
При виде звезд, под сенями чинар.

Зарей окрасив снежные бока,
Гомборы в небе спят, как облака,—
Земля Давида, Нины и Тамар.

12

Земля Давида, Нины и Тамар...
Платформ тяжелых длинные составы,
Заводы Кутаиси и Рустави,
Печей плавильных преисподний жар.

Рабочей жизни новые уставы,
Труба, шоссе, плотина и ангар,
Турбины, краны, станции и станы
И на горе вертящийся радар.

На холмах тех, где некогда спала
Та голубая пушкинская мгла,
Я слышу взрыва ищущий удар.

Но Грузия теперь, дымя и строя,
Теперь — в одеждах нового покроя —
Полна, как встарь, и прелести и чар.

13

Полна, как встарь, и прелести и чар
Грузинка в танце. Как бы безмятежно
Плывет, скользит — лишь бубен застучал,
И тонок стан, и платье белоснежно.

Никто ни разу взгляда не встречал
Из-под ресниц, опущенных прилежно:
Как там за ними — пламенно иль нежно?
Что там за ними — лед или пожар?

Танцор вокруг, как черный сатана,
Кружит, кипит. Но царствует она.
Он вихрь, он взрыв. Но сдержанность сильней.

Плавна, гибка, подвижна и пряма,
Грузинка в танце — женственность сама,
Горит звезда поэзии над ней.

14

Горит звезда поэзии над ней
Сквозь облака плывущие и тучи,
Через туман белесый и летучий
И в чистоте безоблачных ночей.

Язык грузинский, твердый и певучий,
Впитавший звон бокалов и мечей,
Ложится в строфы, полные созвучий,
В поэмы, в гимны Родине своей.

Да здравствуют грузинские поэты
И песни их, что празднично пропеты,
И каждый стих, который не допет.

А я — среди российского раздолья
И вспоминая братские застолья,
О Грузии слагаю свой сонет.

15

О Грузии слагаю свой сонет.
Пускай украсят бедность этих строк
Ее простор от Вардзии до Млет
И древний Джвари — каменный цветок.

К тебе, Шота, блистательный поэт,
Я прихожу, как путник на порог,
Здесь после всех скитаний и тревог
Я дружбой больше солнца обогрет.

Долины спят голубоватым сном.
В Алаверды на празднике ночном
Налейте рог серебряный полней!

Земля Давида, Нины и Тамар
Полна, как встарь, и прелести и чар,
Горит звезда поэзии над ней.

1972

С Е Д И Н А

СЕДИНА

А. Косицыну

Не где пулеметы радеют,
Не только во время атак,
Бывают, что за ночь седеют,
За миг, за решительный шаг.

Земля дорога и сурова
Не только для бравых солдат.
Седеют за честное слово
И за
Неопущенный взгляд.

Не только железные гунны,
Не только огонь и броня.
Седеют, идя на трибуны,
Седеют, друзей хороня.

Не только пожары и муки,
Не только фугасы и кровь.
Седеют, платя за разлуки,
За горе платя и любовь.

Но, впрочем, конечно, и старость
Смиренный и седенький дед.
Возможно, ему и досталась
Она без особых побед.

Она по природе, я знаю,
Со всеми другими — одна,
И все же немного иная —
За выслугу лет седина.

1972

УГОН САМОЛЕТОВ

(Из Р. Гамзатова)

Иногда промелькнет на страницах газет
Про воздушный разбой, как нелепое что-то.
Над виском у пилота чужой пистолет,
Подневольно меняется курс самолета.

Знаем мы, что пилоты не робкий народ,
Подозренья в предательстве не заслужили.
Улетает в чужую страну самолет,
Потому что у них за спиной — пассажиры.

Сзади женщины, дети, младенческий писк,
Все смешается в кашу и огненно брызнет.
У мужчины имеется право на риск,
Если риск ограничен лишь собственной жизнью.

Ах, и сам я в полете, как каждый поэт.
Я на поле любви намечаю посадку,
Но жестокость подносит к виску пистолет,
И намеченный курс я меняю с досадой.

Знают все, что поэты не робкий народ,
Подозренья в предательстве не заслужили,
Но со мной совершают большой перелет
Мои песни, родные мои пассажиры.

Это дети мои. Так до риска ли здесь?
Дорога и земля в ярких солнечных красках,
Но законы свои у поэзии есть
На ее протяженных, заоблачных трассах.

Ей спасенья на поле жестокости нет.
Открываю вам главную сущность секрета,
Что в момент приземления гибнет поэт,
Погибают и добрые песни поэта.

Убери пистолетишко, времени раб,
От седого виска. Я не праздную труса.
Я взрываю свой лайнер, воздушный корабль,
Но к любви не меняю заветного курса!

1974

СЕВЕР

Как давно я на Севере не был,
Как Двина в сентябре хороша.
Нагляделся на серое небо —
До сих пор еще ноет душа.

Нагляделся на темные бревна
Иссеченных дождями домов,
На кресты обомшелые, словно
Нагляделся негаданных снов.

Пред великой студеной рекою,
Пред обломками древних церквей
Просыпается что-то такое,
Что дороже поэзии всей,

Золотее, больнее и чище,
Но словам не подвластно, увы,
Словно мы позабытого ищем,
Отдаленной и смутной молвы.

От терзаний, сует и печалей,
От великих и маленьких смут
Тянет душу в свинцовые дали,
Те, что Севером скромно зовут.

Как форель на текучие струи,
В тепловатом и тесном пруду
На холодные шири иду я,
На просторные ветры иду.

1973

АРИТМИЯ

(Из П. Боцу)

Круги, спирали, линии прямые,
Все в мире ритмом объединено.
Но возникает в сердце аритмия,
Как бы с пути сбивается оно.

Кузнец кует. Болванка стала алой,
По прямизне сошла бы за струну,
Но аритмии тяжкая кувалда
И гнет, и мнет стальную прямизну.

В спокойном ритме резким перебоем
Подчас строка прервется у меня.
И наша встреча вечером с тобою
Есть аритмия будничного дня.

Гармония тупа,
А ровный ритм бездушен.
Ритмичный мир зануден и белес.
Тягучий полдень молнией нарушен,
Гром аритмии падает с небес.

Пророки, песнопевцы и поэты,
У века аритмия — это мы,
Как гром небесный — аритмия лета,
Как вспышка света — аритмия тьмы.

1974

МЕРЦАЮТ СОЗВЕЗДЬЯ...

Мерцают созвездья в космической мгле,
Заманчиво светят и ясно,
Но люди привыкли жить на земле,
И эта привычка прекрасна.

Космос как море, но берег — Земля,
Равнины ее и откосы.
Что значит земля для людей с корабля,
Вам охотно расскажут матросы.

О море мечтают в тавернах они,
Как узники, ищут свободы.
Но все же на море проходят лишь дни,
А берегу отданы годы.

Я тоже хотел бы на борт корабля,
Созвездия дальние манят.
Но пусть меня ждет дорогая земля,
Она никогда не обманет.

1973

ЖУРАВЛИ УЛЕТЕЛИ...

«Журавли улетели, журавли улетели!
От холодных ветров потемнела земля.
Лишь оставила стая средь бурь и метелей
Одного с перебитым крылом журавля».

Ресторанная песенка. Много ли надо,
Чтоб мужчина сверкнул полупьяной слезой?
Я в певце узнаю одногодка солдата,
Опаленного прошлой войной.

Нет, я с ним не знаком и не знаю подробно,
О каких журавлях он тоскует сейчас.
Но, должно быть, тоска и остра и огромна,
Если он выжимает слезу и у нас.

«Журавли улетели, журавли улетели!!!
От холодных ветров потемнела земля.
Лишь оставила стая средь бурь и метелей
Одного с перебитым крылом журавля».

Ну какой там журавль? И какая там стая?
И куда от него улетела она?
Есть квартира, поди,
Дочь, поди, подрастает.
Помидоры солит хлопотунья жена.

И какое крыло у него перебито?
И какое у нас перебито крыло?
Но задумались мы. И вино не допито.
Сладковатой печалью нам душу свело.

«Журавли улетели, журавли улетели!!!
От холодных ветров потемнела земля.
Лишь оставила стая средь бурь и метелей
Одного с перебитым крылом журавля».

Ресторанная песенка. Пошлый мотивчик.
Ну еще, ну давай, добивай, береди!
Вон и в дальнем углу разговоры затихли,
Душит рюмку майор со Звездой на груди.

Побледнела и женщина, губы кусая,
С повтореньем припева больней и больней...
Иль у каждого есть улетевшая стая?
Или каждый отстал от своих журавлей?

Допоет и вернется в ночную квартиру.
Разойдутся и люди. Погаснут огни.
Непогода шумит. В небе пусто и сыро.
Неужели и впрямь улетели они?

1974

ПАМЯТЬ

(Из П. Боцу)

У памяти моей свои законы,
Я рвусь вперед, стремителен маршрут,
Ее обозы сзади многотонны,
Скрипят возы и медленно ползут.

Но в час любой, в мгновение любое
Как бы звонок иль зажигают свет.
Ей все равно — хорошее, плохое,
Цветок, плевок, ни в чем разбору нет.

Где плевелы, пшеница, нет ей дела,
Хватает все подряд и наугад,
Что отцвело, отпело, отболело,
Волной прилива катится назад.

Тут не базар, где можно выбрать это
Или вон то по вкусу и нужде,
Дожди, метели, полночи, рассветы
Летят ко мне в безумной чехарде.

Ей все равно, как ветру, что тревожен,
Проносится над нами в тихий день
И всколыхнуть одновременно может
Бурьян, жасмин, крапиву и сирень.

1974

САНИ

Над полями, над лесами
То снега, то соловьи.
Сел я в сани,
Сел я в сани,
А эти сани не свои.

По крутому следу еду,
То ли бездна,
То ли высь.
Зря меня учили деды —
Не в свои сани не садись!

Кони взяли с ходу-срыву.
Дело — крышка,
Дело — гроб.
Или вынесут к обрыву,
Или выкинут в сугроб.

Ошалели и наддали,
Звон и стон из-под дуги.
Не такие пропадали
Удалые седоки!

В снег и мрак навстречу вьюге,
Гривы бьются на ветру.
А,
Соберу я вожжи в руки,
В руки вожжи соберу!

Руки чутки,
Руки грубы,
Забубенная езда.
В бархат — губы,
В пену — губы
Жестко врезалась узда.

Не такие шали рвали,
Рвали шелковы платки,
Не такие утихали
Вороные рысаки!

И полями, и лесами,
Через дивную страну,
Не свои я эти сани
Куда хочешь поверну.

1974

ГЛУБИНА

Ты текла, как вода,
Омывая то камни, то травы,
Мелководьем блеща,
На текучие струи
Себя
Бесконечно дробя.
В наслажденье струиться
Ручьи неподсудны и правы,
За желанье дробиться
Никто не осудит тебя.

И круша, и крутя,
И блестя ледяной паутиной
На траве (если утренник лег)
Украшала ты землю, легка,
Но встает на пути
(Хорошо, хорошо — не плотина!),
Но лежит на пути
Западней
Глубина бочага.

Как ты копишься в нем!
Как становится больше и больше
Глубины, темноты,
Под которой не видно уж дна.
Толща светлой воды.
За ее углубленную толщу
Вся беспечность твоя,
Вся текучесть твоя отдана.

Но за то — отражать
Наклоненные ивы
И звезды.
Но за то — содержать
Родники ледяные на дне.

И туманом поить
Лучезарный предутренний воздух.
И русалочьи тайны
В полуночной хранить глубине.

1974

СИНИЕ ОЗЕРА

Отплескались ласковые взоры
Через пряжу золотых волос.
Ах, какие синие озера
Переплыть мне в жизни привелось!

Уголком улыбки гнев на милость
Переменит к вечеру она...
Золотое солнышко светилось,
Золотая плавала луна.

А когда земные ураганы
Утихали всюду на земле,
Синие огромные туманы
Чуть мерцали в теплой полумгле.

Много лет не ви́делся я с нею,
А сегодня встретилась она.
Если сердце от любви пустеет,
То из глаз уходит глубина.

Вся она и та же, да не та же.
Я кричу, я задаю вопрос:
— Где озера? Синие?!
Сквозь пряжу
Золотистых спутанных волос?

Отплескались ласковые взоры,
Белым снегом землю замело.
Были, были синие озера,
А осталось синее стекло.

1970

СТРЕЛА

В глазах расплывчато и ало,
На взмахе дрогнула рука.
Ты как стрела, что в грудь попала
Пониже левого соска.

Несется дальше грохот брани,
А я гляжу, глаза скося:
И с ней нельзя, торчащей в ране,
И выдернуть ее нельзя.

Сползу с коня, раскину руки.
Стрела дрожит от ветерка.
За крепкий сон, за краткость муки
Спасибо, меткая рука.

1973

ОБРАЗ

(Из П. Боцу)

Штрихи, оттенки, черточки, намеки,
Там светотень, там яркий блик, они
Соединялись в линии и строки,
Так я тебя творил за днями дни.

И сотворился образ. Как живая
Уже во мне существовала ты.
Но люди шли, тебя не узнавая
В потоке вечной мелкой суеты.

Да и тобой твой образ был не признан.
В глазах толпы, в устах ее молвы.
Ты стала сходства требовать капризно,
Дешевенькой похожести, увы,

Ты требовала. Точности, натуры...
И вот померкло духа торжество.
И снова камнем сделалась скульптура,
И снова глиной стало божество.

1974

БРОДЯЧИЙ АКТЕР МАНУЭЛ АГУРТО

(Из П. Боцу)

В театре этом зрители уснули,
А роли все известны наизусть.
Здесь столько лиц и масок промелькнули,
Что своего найти я не берусь.

Меняются костюмы, букли, моды,
На чувствах грим меняется опять.
Мой выход в роли, вызубренной твердо,
А мне другую хочется играть!

Спектакль идет со странным перекосом,
Хотя суфлеры в ярости рычат.
Одни — все время задают вопросы,
Другие на вопросы те — молчат.

Ни торжества, ни страсти и ни ссоры,
Тошна игры заигранная суть.
Лишь иногда, тайком от режиссера,
Своей удастся репликой блеснуть.

Иди на сцену в утренней долине,
Где журавли проносятся трубя,
Где режиссера нету и в помине
И только небо смотрит на тебя!

1974

ВЕРНУ Я...

Ревную, ревную, ревную.
Одеться бы, что ли, в броню.
Верну я, верну я, верну я
Все, что нахватал и храню.

Костры, полнолунья, прибои,
И морем обрызганный торс,
И платье твое голубое,
И запах волны от волос.

Весь твой, с потаенной улыбкой,
Почти как у школьницы вид.
Двухлетнюю странную зыбкость.
(Под ложечкой холодит!)

Ты нежность свою расточала?
Возьми ее полный мешок!
Качало, качало, качало
Под тихий довольный смешок.

От мая и до листопада
Качель уносила, легка,
От Суздаля до Ленинграда,
От Ладоги до Машука.

Прогретые солнцем причалы,
Прогулки с усталостью ног...
Возьми, убирайся. Сначала
Начнется извечный урок.

Все, все возвращается, чтобы
На звезды не выть до зари,
Возьми неразборчивый шепот
И зубы с плеча убери.

Я все возвращаю, ревнуя,
Сполна, до последнего дня.
Лишь мира уже не верну я,
Такого, как был до меня.

1974

* * *

Греми, вдохновенная лира,
О том сокровенном звеня,
Что лучшая женщина мира
Три года любила меня.

Она подошла, молодая,
В глаза посмотрела, светла,
И тихо сказала: «Я знаю,
Зачем я к тебе подошла.

Я буду единственной милой,
Отняв, уведя, заслоня...»
О, лучшая женщина мира
Три года любила меня.

Сияли от неба до моря
То золото, то синева,
Леса в листопадном уборе,
Цветущая летом трава.

Мне жизнь кладовые открыла,
Сокровища блещут маня,
Ведь лучшая женщина мира
Три года любила меня.

И время от ласки до ласки
Рекой полноводной текло,
И бремя от сказки до сказки
Нести было не тяжело.

В разгаре обильного пира
Мы пьем, о расплате не мня...
Так лучшая женщина мира
Три года любила меня.

Меня ощущением силы
Всегда наполняла она,
И столько тепла приносила —
Ни ночь, ни зима не страшна.

— Не бойся,— она говорила,—
Ты самого черного дня...—
Да, лучшая женщина мира
Три года любила меня.

И радость моя и победа
Как перед падением взлет...
Ударили грозы и беды,
Похмелье, увы, настает.

Бреду я понуро и сиро,
Вокруг ни былья, ни огня...
Но лучшая женщина мира
Три года любила меня!

Не три сумасшедшие ночи,
Не три золотые денька...
Так пусть не бросается в очи
Ни звездочки, ни огонька,

Замкнулась душа, схоронила,
До слова, до жеста храня,
Как лучшая женщина мира
Три года любила меня.

1976

ГОЛОС

(Из П. Боцу)

За горем горе, словно злые птицы,
А за напастью — новая напасть...
Что было делать, чтобы защититься?
За что держаться, чтобы не упасть?

Все неудачи, беды, невезенья
Со всех сторон валились на меня.
Когда летят тяжелые каменья,
Слаба моя сердечная броня.

И я, закрывши голову руками,
Уже смирился с тем, что сокрушен.
И упаду. И самый главный камень
Уже летел, последним будет он.

Вдруг голос твой средь грохота и треска —
Струна, волна, росинка и кристалл...
Я встрепенулся, выпрямился резко,
И страшный камень мимо просвистал.

1974

ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ

I

Сыплется песок в часах песочных.
Струйка, право, тоньше волоска.
Над ее мерцаньем худосочным
Масса,
Толща плотного песка.

Я бы счел задачей невозможной
Счет песку, как мелкая пыльца.
Этой струйкой, право же, ничтожной,
Век ему не вытечь до конца.

Он еще пока незыблем явно
За стеклом в футляре и в руке.
Но уже ворончатая ямка
Появилась сверху на песке.

Сыплются песчинки — вот причина,
Льются в бездну нижнего стекла.
Только это вовсе не песчинки,
Глядь-поглядь, минута утекла!

Исчезают, падают мгновенья,
Что бы ты ни делал, все равно.
Жутко — беспрерывного теченья
Никому замедлить не дано.

Ты в кино, на пляже, на охоте,
В шахматы играешь, пиво пьешь,
Спишь и ешь... Они всегда в работе.
Ни одно обратно не вернешь.

Жизнь течет. То лег, а то проснулся.
Пишешь. Любишь. Голоден и сыт.
Чуть забылся, только отвернулся —
Года нет!
Работают часы.

Остановишь? Спрячешь? Черта в стуле!
Плачь не плачь, не сделать ничего.
Бездной вниз часы перевернули
В день и час рожденья твоего.

II

Поезду кажется, что земные пейзажи
Мчатся мимо него,
Скользят за окнами,
Плывут, содрогаются и летят.
Убегают в безвозвратное прошлое,
Так что кустик каждый
Никакими силами не вернешь назад.

Песчинкам в песочных часах представляется,
Что стеклянные стенки

Все время несутся куда-то вверх,
Словно ткется бесконечная нить.
Утекают,
Ускользают,
И никакими силами
Их невозможно остановить.

Нам, на земле живущим, кажется,
Что движется время.
Иногда ползет,
Плетется,
Тянется,
Едва ли не останавливается,
Иногда летит на всех парусах.
В зависимости от того,
Что мы делаем сами,
Мы —
Поезда, идущие через земные пейзажи,
Мы —
Песчинки, сыплющиеся в песочных часах.

1975

СУДЬБЫ

ОНА ЕЩЕ О ХИМИИ СВОЕЙ...

— Чем вы занимаетесь?
— Химией.
— Как ваша фамилия?
— Муромцева.

*

На следующий день, 13 ноября, я, как обычно, работала над чем-то по органической химии. Стояла у вытяжного шкафа. Меня вызвали к телефону... Я услышала голос Бунина.

*

В пятницу 1 декабря, возвратившись из лаборатории раньше обыкновенного, я нашла у себя на письменном столе несколько книг Бунина.

В. Н. Бунина. Беседы с памятью

Она еще о химии своей...
Не ведает (о, милая наивность!),
Что в звездах все уже переменилось —
Он ей звонит, он книги носит ей.

Он в моде, в славе. Принят и обласкан
И вхож во все московские дома.
Им угощают. Только мать с опаской
Глядит на дочкин с Буниным роман.

Жуир. Красавчик. Донжуан. Сластена.
Уж был женат и брошена жена.
Перчатки, трость. Небрежно и влюбленно.
Свежайших устриц! Белого вина!

Она еще куда-то в длинном платье
Спешит, походкой девичьей скользя.
О женщина, оставь свои занятья —
Иная уготована стезя.

Она еще о химии лепечет.
Шкаф вытяжной. Пробирки. Кислота.
Но крест чугунный лег уже на плечи...
Ну, хорошо. Пока что — тень креста

Пока еще святая Палестина,
Борт корабля, каюта, зеркала.
Свободный брак. Пускай смеются в спину.
Над Средиземным морем ночи мгла.

Как все легко, доступно. Мать смирилась.
А он красив, талантлив и умен,
Чтоб это длилось, длилось, длилось, длилось,
Чтоб только он, навеки только он!

Что ж, так и будет. То есть даже ближе
И дольше, чем дерзала бы мечта.
В голодном и нетопленном Париже —
Вот где любовь воистину свята!

Париж-то сыт, да проголодь в Париже
Растянется на много, много лет,
Где друг ее уж тем одним унижен,
Что Бунин он — прозаик и поэт.

Ну а пока — извозчик, стерлядь, вина.
Он наклонился. Что-то шепчет ей.
Московский снег. В неведенье наивном
Она пока — о химии своей...

1975

ЛОЗУНГИ ЖАННЫ Д'АРК

Звучал с непонятной силой
Лозунг ее простой:
За свободу Франции милой,
Кто любит меня — за мной!

Драпают пешие воины,
Смешался конников строй,
А она говорит спокойно:
Кто любит меня — за мной!

Знамя подъемлет белое,
Его над собой неся,
Как будто идет за девою
Сзади Франция вся.

Истерзана милая Франция,
Проигран за боем бой.
Уже бесполезно драться...
Кто любит меня — за мной!

Шестнадцати лет девчонка,
Носительница огня,
Сменила свою юбчонку
На латы и меч коня.

Свершая святое дело,
За ударом неся удар,
Едет нежная дева,
Железная Жанна д'Арк.

В стане британцев паника,
В стане британцев вой,
Она поднимается — ранена:
Кто любит меня — за мной!

Конечно, мне лучше было бы
Цветы собирать в лесу.
Но гибнет Франция милая,
И Францию я спасу.

Девчонка я, мне бы все же —
Жених, ребятишки, дом.
Но если не я, то кто же?
Если не я — никто.

Хрупка я, но бог поможет,
Дух укрепляя мой.
Если не я — то кто же?
Кто любит меня — за мной!

В чем силы ее источник,
Загадка не решена.
Но все исполнилось в точности,
Как сказала она.

Победа — ее награда.
Как молния, меч сверкал.
С Орлеана снята осада,
Коронован в соборе Карл.

А дальше? Позор мужчинам.
Людям стыд и позор.
Суд заседает чинно,
В Руане горит костер.

Британцы или бургундцы,
Епископы или князья,
Девчонку мучить? Безумцы!
Отвагу судить? Нельзя!

А что же Франция милая?
Где же она была?
С легкостью изменила,
Походя предала.

И Карл, коронованный Жанной,
Где же тогда он был?
Король, как это ни странно,
Первым руки умыл.

А эти зеваки, толпы
Вокруг костра на ветру,
Почему не бросились, чтобы
Спасти из огня сестру?

Конечно, каре, охрана,
Войско во всей красе.
Но если бы ради Жанны
Бросились сразу все?

В больших городах и малых,
В селах и деревнях,
В харчевнях и пышных залах,
Пешими, на конях?

Трусы? Рабы обмана?
Горем сердца полны?
Не вас ли спасала Жанна,
Бросясь в костер войны?

Пламя уже до груди,
Уже до глаз достает.
Бывают предатели люди,
Бывает и весь народ.

Люди, сделайте милость,
Пока не померк еще взор.
Одна за всех получилось.
Все за одну... позор!

Вечером под золою
Нашли в углях палачи
Сердце ее как живое,
Только что не стучит.

Сердце бросили в Сену,
Чтобы стереть и след.
С тех пор прошло постепенно
Полтысячи с лишним лет.

Слава ее окрепла.
И там, где в беде народ,
Дева встает из пепла,
На помощь она идет.

Тогда всех других дороже
Лозунг, зовущий в бой:
Если не я, то кто же?
Кто любит меня — за мной!

1975

ПОЭМА ШАМИЛЯ

Шамиль был храбр. Никто не отрицает.
Была ему и выдержка дана,
Когда в папахах, саблями бряцая,
Вокруг него смыкались племена.

Единый дух ковался в ходе стычек,
Засад, набегов, вылазок, атак.
Разноязыких и разнообычьих
Попробуй собери в один кулак!

Разобщены, невежественны горцы.
Что из того, что каждый врозь удал.
Чтоб их спаять, сиял, как в небе солнце,
Герой, чистейший образ, идеал.

Не ради славы, ради цели этой,
Мосты сожгя, надежды обрубя,
Он сам себя творил, как бы легенду,
Писал, как бы поэму, сам себя.

Легко ли горстке против тысяч драться
И выдержать, стоять за годом год?
А раны что? Их было девятнадцать.
Дух не сломался — рана заживет.

Он так учил: «Нельзя гяурам в руки
Живьем даваться перед ликом гор.
Здесь только смерть, а там позор и муки,
Навеки несмываемый позор.

Смерть на свободе или жизнь в неволе?
Сама возможность выбора смешна!
Для них война — кампания, не боле,
Для нас она — священная война».

И шли, противоборствуя теченью
Истории. Вращенью колеса.
И совершали, верные ученью,
Отваги ли, безумства ль чудеса,

Когда один бросался против роты,
С кинжалом лез на ядра и картечь,
Врубался в строй ощеренной пехоты
Убить, сразить и сразу мертвым лечь.

В последний миг, наверно, думал каждый,
Не доставаясь все-таки врагам,
Имам сказал... Имам бы сделал так же...
Аллах велик. Велик и наш имам.

И вот — Гуниб. Последняя облава
Идет на горстку этих храбрецов.
Обречены на гибель и на славу,
Окружены они со всех концов.

Их около трехсот всего там было,
В кольце несметных полчищ и огня.
«Гуниб, Гуниб — великая могила!»
Как некогда сказали до меня.

Земли осталось только под ногами.
Уходит из-под ног уже земля.
Сидит в тени Борятинский на камне
И ждет к себе имама Шамиля.

Но молится Шамиль, взойдя на крышу,
Прося, как прежде, гибели врагу.
Для той поэмы он сейчас напишет
Последнюю кровавую строку.

Дабы гордиться правнуки могли бы...
Его приказа ждут уже с утра
Вернейшие мюриды и наибы,
Вернейшие имаму нукера.

Счастливый миг — погибнуть за имама.
Великий миг — погибнуть вместе с ним.
Известно — мертвецы не имут срама.
Сегодня мертвым легче, чем живым.

Готовы все. Но стойте. Что такое?
Что он задумал? Он к врагам идет.
Своей, не раз простреленной рукою
Свою. Гяурам! Саблю!! Отдает!!!

Как прежде, в небе солнышко светило.
Не грянул гром. Не треснула земля.
Гуниб, Гуниб, великая могила,
Хоть живы все, включая Шамиля!

Не знаю я, по-своему ли, так ли,
Еще пока до школы и до книг,
Мальчишке мать рассказывает в сакле
Про Шамиля и, значит, про Гуниб.

Огнем горя, глазенками сверкая,
Внимает сын про доблесть давних сечь.
Зачем же мать внезапно замолкает
И на другое переводит речь?

Рассказ нарушен. Песня не допета.
Кипит обида в сердце у мальца.
Как объяснить, что у легенды нету
Единственного, нужного конца.

И как не тереби мальчишка хваткий,
Как не реви и сколько слез не лей,
Что не погиб Шамиль в последней схватке,
Что сдался он — не выговорить ей.

Какой пример! Наглядно видим все мы,
Насколько роль поэта высока.
В блестящую и славную поэму
Навеки вкралась слабая строка.

1974

НЕГЛИНКА

Пусть не размашисто, не длинно,
Но все же в птичьих голосах,
Текла себе река Неглинка
В зеленых, смешанных лесах.

Там дуб, там ель, там кустик тала
Гляделись в воду без труда.
Когда ж сосна преобладала,
То медной делалась вода.

В ней, розоватой на закате,
Все было видно до земли —
И голавли на перекате,
И пескаришки на мели.

Смыкались над водой вершины
И создавали мрак и тень.
Зато фонарики кувшинок
Светили ярко целый день.

Стрела щуренка из засады,
Коряги, заросли осок,
Стрекозы в радужных нарядах,
В дрожащих зайчиках песок,

Да пена белая, как вата,
Да птичьи мелкие следы,
А там, где глина красновата,
Свисали корни до воды.

То звезды высыпят над нею,
То синим куполом — зенит.
То тихим омутом темнеет,
А то по камушкам звенит.

Так и жила себе Неглинка,
Не знала горя на веку,
Текла неторопко, не длинно,
Впадая в бо́льшую реку.

И не ждала б судьба лихая
Речонку с мохом и травой,
Когда бы та река другая
Не оказалась вдруг Москвой.

Где цвет черемухи душистой,
Где блики утренней зари?
Где отраженный месяц чистый,
Где соловьи, где пескари?

Домов кирпичные громады,
Земля асфальтом залита,
Машины, вывески, ограды,
Киоски, рынок, суета.

И только улица Неглинка
Напомнит вам наверняка,
Что, по преданиям старинным,
Когда-то здесь текла река.

Текла, была и — ни приметы,
Ни берегов, ни дна, увы.
Ну что ж, была, а нынче нету
Среди разросшейся Москвы.

Как и стогов нет на Остоженке,
А на Садовом нет садов,
Как нет Соломенной сторожки,
От рощи Марьиной следов.

Где Сивцев Вражек, долы, горы,
Полянки, мох и топь болот?
Где сосны сумрачного бора
У Боровицких — в Кремль — ворот?

Растет Москва, никто не ропщет.
Преобразуют мир века.
Но речь одна — сады и рощи,
Другая речь, когда — река.

Однажды, идя по Трубной площади, я увидел, что открыты большие железные люки, около которых стоят грузовики, наполненные снегом. Грузовик за грузовиком сваливали снег, как в бездонную пропасть. Мне стало интересно, куда снег девается, и я подошел. В темной глубине, в тесных осклизлых стенах, бурля и как бы радуясь мгновенному просвету открытых люков, быстро неслась вода. Она подхватывала глыбы грязного городского снега, тотчас размывала и уносила его.

— Что это? — спросил я у рабочих, занятых снегом.

— Как что? Река Неглинка.

В другой раз, в июле, на центр Москвы обрушился светлый ливень. Ручьи мчались вдоль тротуаров, становясь все обильнее. Вдруг, на той же Трубной площади, на месте как бы взорвавшихся люков, вздыбились большие бугры воды. Площадь превратилась в натуральное озеро. Теперь мне не надо уж было спрашивать, я знал, что это вырвалась из подземного заключения к летнему небу, к ливню река Неглинка.

Так дважды я убедился, что даже такой город, как Москва, не может окончательно умертвить маленькую речушку, что, загнанная под землю, придавленная навалившимся на нее многомиллионным городом, она все-таки жива, и, в то время как мы проезжаем по Москве в троллейбусах и такси (когда спим — тоже), под нами бьется, как жилка, как слабенький пульс земли, вечная и живая струя реки.

Шумит великая столица,
Шуршит машинами над ней.
И что же ей, Неглинке, снится
Среди подземных кирпичей?

Кувшинки, синие стрекозы,
Чуть розоватый свет зари?
Луга, песчаные откосы
И на быстринке пескари?

Весной лихое половодье,
Июль в цветах, январь во льду?
Хоть в берегах, да на свободе,
Хоть под уклон, да на виду?

Или мечтает, может статься,
И видит, словно наяву,
Как лет мильонов через двадцать
Она переживет Москву?

Как расточатся по крупинке
Асфальт, чугун, кирпич, гранит
И будет у реки Неглинки
Опять речной, привычный вид?

Леса вокруг. Свежо. Светает.
Природа в вечной кутерьме...
Что ж, время есть. Пускай мечтает.
А что ей делать там, во тьме?

1974

КАКТУСЫ

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

У каждого зверя,
У каждой птицы
Есть своя врожденная специальность.
Отклоненья неизбежны и повседневны,
И все же главное остается главным.

Так, например,
У лисы специальность — мыши
(Но, конечно, не откажется от цыпленка).
У соболя специальность — белка.
У орлана-белохвоста — рыба.
У ежа, как ни странно,— змеи.
У кукушки
Редчайшая специальность —
Волосатые черные гусеницы,
Которых не берет ни одна из птиц.
Ну вот.
А у ласточек специальность — пчелы,
Летящие к ульям со сладким грузом.
Но все равно и без груза
Пчелы —
Главная специальность ласточек.
Белогрудых, прелестных птичек.

Я знаю, что они неподсудны,
И моя рука не поднимается, чтобы
Разорить гнездо под сухим карнизом.
И все же как бы ни умилялись,
Каких бы песен про них ни пели,
Я знаю,
Что их специальность —
Пчелы.

И когда мы любуемся их полетом,
Их зигзагами в небе (ах, как изящно!),
Я знаю, что это летают в небе
Молниеносные, обтекаемые, литые,
Не знающие ни промаха, ни пощады
Истребители
Мирных медовых пчел.
Право же,
Лучше б не знать об этом.

1973

УВИДЕТЬ БЕЛКУ

А все же прекрасно, гуляя в лесу,
Увидеть живую белку.
Мордочка,
Проворные зубки,
Классический беличий хвост.
И вот
Замираете, приятно поражены,—
Вверху,
В зеленых дебрях сосны,
Белка!
Смело
Она бросается с дерева
И влет, как будто оперена,
Перелетает на соседнее дерево.
Здорово
Это у нее получается.
Мы так не умеем.
Можем только смотреть, как умеет она,
Провожая ее восторженным взглядом
И мыслью. Между прочим,
В древние славянские времена
Проворный зверек назывался мысью.
Мысь. Мызнуть. Умызнуть.
Мысля,
Мыслью по дереву не скачи,
Мысли сумрачно, сдержанно. И молчи.
Но это — другая опера.
А пока
Не грибы, не орехи домой несу.
Что грибы и орехи? Безделка!

Несу в душе, как скачет в лесу
По деревьям живая белка.
В душе
При виде маленького зверька
Пробуждаются важные чувства,
Которых лишает нас времени
быстротечность,
Безотчетная нежность,
Тихая доброта, теплота,
Человечность.
Идешь и думаешь — увидеть бы белку.
Но по заказу ее увидеть нельзя.
Это тебе не ворона и не овца.
Жди счастливого случая,
Чтобы со стезей совпала стезя,
Как стрелка часов находит на стрелку.

Разговорчивый мне попался водитель такси.
Круглолицый такой.
Улыбающийся. Сама доброта.
— Погодка-то! Лучше и не проси.
Я охотник.
Вчера проверил свое ружье.
Ружьишко, говорю, проверил свое.
Воскресенье.
Целый день в лесу. Красота!
— И добыли?
(Стараюсь подделаться под охотничий
разговор.)
И кого?
— Я больше по белкам. У меня лайка.
По кличке Сонька.
Ездили в Краснохолмский бор.
Специалистка.
У нее ни одна не отобьется от рук.
Для начала добыли девятнадцать штук.
— Ско-олько?!

На девятнадцать зверьков обедневший лес...
Зачем я в эту машину влез?

Мало забот?.. Краснохолмский бор...
Разговорчивый мне попался шофер.

— Ободрал, вот высушу, понесу.
Три рубля за каждую шкурку.
Лишь бы не лень.
Пятьдесят семь рублей как нашел в лесу,
Пятьдесят семь рублей за воскресный день.
А другие проторчат у телевизора.
Или в гости.
Закусочка. Пиво-воды.

Нет, я охотник.
И в выходной я как чокнутый или больной,
Я, как говорится, —
Любитель природы.
Подышишь воздухом. На душе веселей.
Снег там чистый. Весь белый, белый...
...Кому бы отдать пятьдесят семь рублей,
Чтобы в лесу прибавилось девятнадцать белок?..

1975

БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ

Что мне белый медведь?
На земле я прожил полвека.
Крестьянствовал,
Учился, работал, растил детей,
Кое-где побывал,
Кое-что успел посмотреть,
Но белого медведя, представьте себе, не видел.
Обитает во льдах,
Где торосы,
Морозы,
Полярная ночь,
Где северные сиянья трепещут в безмолвии неба,
Желтоватый под солнцем,
Голубоватый под яркой луной,
Зеленоватый среди зеленых торосов,
Но фактически очень белый,
Белый медведь.
Уникальная,
Удивительная модель,
Зверь,
Отлично знающий свое дело.

А дело простое — поймать тюленя,
Завести медвежат, то есть делать так,
Чтобы бесконечно в полярных льдах
Обитало медвежье племя.
Что мне белый медведь?
Пятьдесят лет я его не видел
И, по всей вероятности, уже не увижу,
Хоть и жили мы с ним на одной планете.
Прожил я без него, проживу и еще.

Отчего же мне жалко,
Что вскоре белый медведь исчезнет?
Что он обречен?
Что его уничтожат люди,
Вооруженные ледоколами,
Вооруженные вертолетами,
Винтовками,
Биноклями,
Компасами,
Палатками,
Радиостанциями,
Локаторами,
Географическими картами,
Консервами,
Жестокостью,
А в конечном счете — безумием?

Отчего мне больно,
Что на планете Земля
Исчезает белый медведь,
Что опустеют торосы Ледовитого океана?
Что в природе оборвутся извечные
звенья?
Ведь я его никогда не видел.
И если бы состоялась встреча,
Он скорее всего меня бы заел,
Несмотря на это стихотворение.

Казалось бы,
Что мне белый медведь?

1976

ПОТЕРЯ

Я уронил тебя в город
(В районе Арбата).
Как песчинку в пустыню,
Как иголку в сено,
Как живую рыбку выпустил в море.
Горе.

Дело было так.
После нашей прогулки по городу
Мне предстояло зайти в учреждение
И провести там на совещании несколько часов.
Но совещание отменилось,
Словно на темнице отодвинули
Скрипучий засов.

Неожиданно став свободным,
Я выскочил тебя воротить,
И тогда бы остатки дня...
Но тебя нигде уже не было.
Переулок вливался в современную улицу,
И улица, как пушинку, завертела меня.

Разноцветно валили толпы.
Все больше женщины.
Огромные стекла отражали
Разноцветное мелькание улицы.
Но и за стеклами тоже
Все мелькало беспрерывно и разноцветно.
А что вы хотите?
В самом центре. Москва.
Я становился на цыпочки:
Не мелькнет ли среди причесок
(Рыжих, седых, сиреневых, черных, русых, зеленых,
Синтетических, натуральных,
Взбитых в округлые шапки
И свободно льющихся на юные плечи)
Твоя бедовая,
Твоя отпетая,
Твоя гордо посаженная голова.

Но все напрасно. Чужие лица.
Тебя не найдешь. Не вернешь обратно.
Я уронил тебя в город. В столицу.
В районе Арбата.
Как рыбку выпустил в море.
Горе.

И если бы не было телефона...

1975

КАКТУСЫ

Андрею Вознесенскому

Друзья,
Как много условного в нашем мире.
Людям,
Воспитанным на васильке и ромашке,
Зеленое растение под названием кактус
Покажется при первом знакомстве:
а) некрасивым,
б) смешным,
в) асимметричным,
г) нелепым,
д) безобразным,
е) претенциозным,
ж) заумным,
з) формалистичным,
и) модерновым,
к) разрушающим музыку и пластичность
формы,
л) нарушающим традиции и каноны,
м) бросающим вызов здравому смыслу,
н) бьющим на внешний эффект
и становящимся поперек.

И вообще уродливым и колючим,
Пытающимся путем скандала
Затмить ромашку и василек.
А между тем
Любители разведения кактусов
Привыкают к их неожиданным формам,

К их удивительной графике,
К их индивидуальности,
Когда неповторимы два экземпляра
(Простите, что так говорю про цветы!),
А привыкнув, любуются
И находят, представьте,
В этих бесформенных и колючих уродцах
Бездну острой и терпкой красоты.

Ложь.
Клевета.
Они не бесформенны!
Песок под солнцем то бел, то ал.
По капле вспоены, пустыней вскормлены.
Художник-шизик их рисовал.

Конструктор-гений чертил проекты
В ночной кофейно-табачный час,
Чтоб некто Пульман, Леонов некто
Потом выращивали их для нас.

Табак и кофе. Да, да, конечно.
Но согласитесь, тверда рука.
И каждая линия безупречна
И я бы даже сказал — строга.

Была фантазия неистощима,
Быть может, было и озорство.
Но в каждой черточке ощутимо
Живут законченность, мастерство.

И я,
Посетив коллекционера,
Четыре часа подряд разглядывал
Триста восемьдесят
Маленьких, четких кактусов,
Неожиданных,
Нелепых,
Асимметричных,
Бросающих вызов здравому смыслу,
Нарушающих традиции и каноны,
(С точки зрения ромашки, с точки зрения
березового листа).

Но были конструкции полны изящества,
Но художник-скульптор не дал промашки,
И мне открылась их красота.

Разглядывать каждого, а не поле,
Выращивать каждого, а не луг.
И,
Хотя нас этому не учили в школе,
Вы душу каждого поймете вдруг.
Они естественны,
Как раковины, кораллы, морские рыбы,
Они разнообразны,
Как плывущие летние облака.
После крепких и пряных напитков
Вы едва ли смогли бы
Довольствоваться вкусом теплого молока.

Я не брошу камня в одуванчик и розу,
Они прекрасны и не виноваты,
Как жасмин,
Как лилии на зеркале черной реки.
Но с некоторых пор вы поймете,
Что для вас пресноваты
            листочки,
            цветочки,
            стебельки,
            лепестки.

1976

ЧАЕПИТИЕ РЯДОМ С ПТИЦЕЙ, СИДЯЩЕЙ В КЛЕТКЕ

Женщина меня угощала чаем,
А дверь на балкон была открыта.
На балконе стояла клетка,
В клетке сидела птица.
Вот экспозиция.

Некоторые подробности и детали.
К чаю было клюквенное варенье,
Конфеты «Каракум»
И печенье

Под названием «Крымская смесь».
Чай был горячий, крепкий.
Мы пили его из фарфоровых чашек,
В чем, конечно, особая прелесть
Есть.

Женщина без умолку говорила.
Она была одинока, она страдала.
Она хотела, чтобы я, зашедший случайно,
Понял все ее тридцативосьмилетнее отчаянье.
Но разница состояла в том,
Что она говорила, глядя на скатерть,
На свои, теребящие скатерть, руки,
А я ее слушал, глядя на клетку,
На птицу, сидящую в клетке
И производящую щебечущие звуки.

Я не очень хорошо разбираюсь в птицах,
Но, кажется, это был просто чижик.
Клетка вся из тонких и крепких проволок,
Как бы сквозная,
С округлой крышей,
С перекладинками,
Укрепленными на разной высоте,
С кормушкой (налить водички)
И с шустрой птичкой
При клювике, крылышках и хвосте.

Балкон с перилами, с клеткой, с птицей
Парил на высоте двенадцатого этажа.
Громоздясь домами, лежала вокруг столица.
На деревья приходилось смотреть не снизу,
а сверху.
Был май, и зелень была свежа.

По перилам балкона сновали возбужденные
воробьишки.
Они прилетали к пленнице в гости.
Посочувствовать,
Поделиться птичьими новостями.
Впрочем, возможно, их привлекла
кормушка,
Конопляное семя, подсолнухи.

Но, увы, — не достать.
Я наблюдал за их маневрами,
Я слушал их оживленное чириканье,
А женщина за столом продолжала страдать.
— Ты понимаешь, я одинока.
Мне тридцать восемь.
Ждать больше нечего. Он звонит так редко...
(Чижик семечко расклюет и бросит,
Расклюет и бросит,
Воробьишки все это видят,
Но, увы, — не пускает клетка.)
Ты понимаешь, я измучилась, я устала.
Годы проходят, жизнь проходит,
Как за нее ни держись...
(Чижик снует по клетке,
То вспорхнет на верхнюю перекладину,
Под самую округлую крышу,
То опять спускается вниз.)

То ли мне надоело его бессмысленное порханье,
То ли просто из безотчетного озорства
(Зачем-то дается же пара крыл!),
Едва хозяйка на минуточку отлучилась,
Я с ловкостью профессионального
диверсанта
Подскочил
И маленькую дверцу в клетке открыл.

Я открыл совсем небольшую дверцу,
Такую же проволочную,
Как и все остальные стены.
Дверца смотрела в сторону города,
В сторону воздуха,
В сторону неба,
В сторону далекого горизонта,
Который был в этот час красноват и светел.
Оттуда,
Поверх домов и деревьев,
Прилетал к раскрытой дверце
Сладчайший весенний ветер.

Хозяйка вернулась со свежим чаем.
— Ты понимаешь,
Я ведь, в общем-то, ничего не требую...

(Ах, как выпорхнет сейчас из неволи
Чижик в открытую мною дверцу!)
...Ты понимаешь,
Так одиноко, темно и больно,
А он... А он — человек без сердца.
Как живу я? Служба. Домашние хлопоты...
(Вот сейчас увидит, что — воля, воля!
Сейчас заметит, что дверь открыта.
Посидев на порожке и оглядевшись,
Вспорхнет на балконную загородку,
А там... вон дерево, вон другое,
А там горизонт красноват и светел.
Пропорхнул.
Посидел на перекладинке.
Снова вниз.
Пропорхнул.
Не заметил.)

Как можно не видеть, что путь свободен?
Безмозглая птица! Нелепый чижик!
Или не хочешь бросать кормушку?
Или жалеешь хозяйку эту?
Или боишься попасть в ловушку?

Но какой ловушки можно, собственно говоря,
Бороться, уж будучи пойманным и сидя
в клетке?
За дверцей — рощи, за дверцей — лето,
Дожди и травы, роса рассвета.

— Ты понимаешь,
Я ищу не счастья.
Его, наверно, и не бывает.
Но все же знать, что вот есть на свете...
(Попил водички, почистил клювик,
Глядит на дверцу. Сейчас. Минутку.
Сейчас свершится.
Нет, не заметил.)

Ты понимаешь...
(Ничтожный чижик!
Пустая птица! Ты что, ослепла?

Лети из клетки как можно выше,
Воскресни, птица, родись из пепла!)

Я ушел,
Демонстративно не бросив взгляда
На птичью клетку с открытой дверцей,
На птицу в клетке.
(Вот — воля рядом...)

Презренный чижик! Где твое сердце?

1976

Я РОДИЛСЯ...

Я родился в умеренных широтах.
Нет испепеляющей жары, как в Сахаре
(Семьдесят градусов выше нуля по Цельсию).
Нет леденящего холода Верхоянска
(Те же семьдесят градусов, но только ниже нуля).
Нет цунами,
Нет тайфунов,
Нет землетрясений,
Нет катастрофических наводнений,
Смывающих целые города и села,
Нет обвалов и снежных лавин,
Не дует бора или афганец,
Нет вулканов,
Нет гейзеров,
Селевых потоков...

Дождик тихо шуршит по листьям,
Цветут кувшинки на тихих речках,
Тихо греет летнее солнце,
Тихо январский мороз крепчает.
Тридцать градусов — это все же не холод,
А чаще десять, двенадцать, восемь...

Умеренный географический пояс.
Иду тропинкой по тихому лугу.
Вокруг работают тихие пчелы.
Тихие ромашки глядятся в небо.

Откуда же взявшись,
В душе поэта

Происходят обвалы, вскипают волны?
Душа сейсмична,
Душа чревата
Огнем и взрывами потрясений.
В ней происходят толчки и сдвиги,
Необратимые катаклизмы,
Смертельный холод и дождь весенний...

И вот всему, что черно и ложно,
Всем тем, кто в горе людском повинны,
С потрясенных высот
Во тьму ущелий
Я посылаю свои лавины.

1976

ЛИРИЧЕСКИЕ ПОВЕСТИ

ВЛАДИМИРСКИЕ ПРОСЕЛКИ

Я видел, может быть, полсвета
И вслед за веком жить спешил,
А между тем дороги этой
За столько лет не совершил.
Хотя своей считал дорогой
И про себя ее берег,
Как книгу, что прочесть до срока
Все собирался и не мог.

А. Твардовский

О, красна ты, Земля Володимирова!

Из старинной рукописи

Нет, вызвал бы я вас на Русские проселки,
Чтоб о людском житье прочистить ваши толки.

П. Вяземский

Вернувшись из далекого путешествия, обязательно будешь хвастаться, рассказывать диковинные вещи. Ну не совсем уж так, чтобы одним шомполом сразу семь уток убить, но случалось, мол, и нам заарканить ненецким арканом гордую шею белоснежного лебедя.

Да и распишешь еще, как он ударил в этот миг лебедиными крыльями по черному зеркалу тундрового озерка, и дробил, и бил его в мельчайшие дребезги.

Великое удовольствие смотреть при этом на удивленные лица слушателей, что и не верят и верят каждому твоему слову. Путешествия потеряли бы половину своего смысла, если бы о них нельзя было рассказывать.

Вот так-то хвастался я однажды своему приятелю, а потом вдруг спросил:

— Ну а у тебя что нового? Ты где побывал за это время?

— Да мы что же... Где уж нам лебедей ловить! Ездил я тут за одной бытовой темкой, между прочим, в твои родные, во владимирские то есть, края. Места, брат, у вас! Вот, помнишь, как отъедешь от Камешков, будет перелесок справа...

И он начинал мне говорить о перелеске, как будто я только что вернулся из этих мест. А у меня краснели уши, и стыдно было перебить его: «Да не был я в Камешках, и перелеска твоего не видел, и про Пересекино в первый раз слышу».

Другой приятель допекал еще горше.

— Заходим мы, значит, в Юрьев-Польский ранним утром. Только дождь прошел: земля курится, трава свер-

кает. Городок деревянный, тихий, над домами трубы дымят. Через город река течет, и так она до краев полна, вот-вот выплеснется. И вся-то река прямо в центре города кувшинками заросла. Горят они, желтые, на тихой утренней воде. По-над водой мостки тесовые там и тут. На мостках ядреные бабы икрами сверкают, вальками белье колотят. А вокруг петухи орут. Фландрия, да и только! Вот каков Юрьев-Польский. А река эта, как ее... Колочка?

— Да, да, Колочка.

— Да нет же, Колокша! А река эта, Колокша, рыбой, говорят, полна.

Тут уж я не только что краснел — провалиться готов был на этом месте. «Колочка! Сам ты Колочка! Ну ладно, что в Камешках не бывал, а тут не знаешь, что Юрьев-Польский на той же Колокше стоит, что течет в шести верстах от твоего родного порога. Да и до Юрьева самого едва ли тридцать верст. А ведь не был вот, не видал, не знаешь. По разным Заполярьям, Балканам да Адриатическим морям разъезжаешь, а родная земля совсем в забросе. Другие люди тебе о ее красоте рассказывают».

Так постепенно возникла и росла хорошая ревность, а вместе с тем осознавался моральный долг перед Владимирской землей, красивее которой (это всегда я знал твердо) нет на свете, потому что нет земли роднее ее.

Тогда и пришло непреодолимое желание увидеть ее всю как можно подробнее и ближе.

Совпало так, что к этому времени через один пустячок понял я вдруг настоящую цену экзотики. Дело было за чтением Брема. Мудрый природоиспытатель описывал некоего зверька, водящегося в американских прериях. Говорилось, между прочим, что мясо этого зверька отличается необыкновенно нежным вкусом, что некоторые европейцы пересекают океан и терпят лишения только ради того, чтобы добыть оного зверька и вкусить его ароматного мяса.

Тут, признаюсь, и у меня текли слюнки и поднималось чувство жалости к самому себе за то, что вот помрешь, а так и не попробуешь необыкновенной дичины. «Обжаренное в углях или же тушенное в духовке,— безжалостно продолжала книга,— мясо это, несомненно, является лакомством и, по утверждению особо тонких гастрономов, вкусом своим, нежностью и питательностью не уступает даже телятине».

Телятина — слово грубоватое, и, казалось бы, трудно от

него перекинуться в эстетический план, но так всколыхнулось все во мне, такое напало прозрение, что не показалось грубым подумать: «Конечно! Правильно! И пальма-то сама или там какая-нибудь чинара постольку и красива, поскольку красотой своей не уступает даже березе».

Помню, бродили мы по одному из кавказских ботанических садов. На табличках были написаны мудреные названия: питтоспорум, пестроокаймленная юкка, эвкалипт, лавровишня... Уже не поражала нас к концу дня ни развесистость крон, ни толщина стволов, ни причудливость листьев.

И вдруг мы увидели совершенно необыкновенное дерево, подобного которому не было во всем саду. Белое как снег и нежно-зеленое, как молодая травка, оно резко выделялось на общем однообразном по колориту фоне. Мы в этот раз увидели его новыми глазами и оценили по-новому. Табличка гласила, что перед нами «береза обыкновенная».

А попробуйте лечь под березой на мягкую прохладную траву так, чтобы только отдельные блики солнца и яркой полдневной синевы процеживались к вам сквозь листву. Чего-чего не нашепчет вам береза, тихо склонившись к изголовью, каких не нашелестит ласковых слов, чудных сказок, каких не навеет светлых чувств!

Что ж пальма! Под ней и лечь-то нельзя, потому что вовсе нет никакой травы или растет сухая, пыльная, колючая травка. Словно жестяные или фанерные, гремят на ветру листья пальмы, и нет в этом грёме ни души, ни ласки.

А может, и вся-то красота заморских краев лишь не уступает тихой прелести среднерусского, левитановского, шишкинского, поленовского пейзажа?

Кроме того, не все то красиво, что броско и ярко.

Слышал я одну поучительную историю. В некие времена, в деревушке, нахохлившейся над ручейком, может, в той же Владимирской земле, жил паренек Захарка. Неизвестно откуда появилась у него страсть к живописи, но только достал он красчонки в виде пуговиц, налепленных на картонку, и целыми днями пропадал в лесу да на речке. Были у него там излюбленные места, которые он и пытался переносить на бумагу.

В этой же деревеньке доживал свой век старый учитель. Доживая, крепко выпивал, так что даже наносил этим ущерб и своему внешнему виду, и учительскому престижу. Говорили, что знал он некогда лучшие времена и будто бы

учился в Петербурге с самим Репиным, но потом вышла незадача, и полетело все к черту. Такое случается с русским человеком, особенно при наличии какого-никакого талантишка.

Вот малюет однажды Захарка свой ярко-малиновый закат и вдруг слышит над ухом:

— Ну как, нравится?

Обернулся: стоит сзади учитель, трезвый на этот раз.

— Нравится,— ответил Захарка.— Похоже вроде бы.

— Хорошо. Давай разберем, что у тебя похоже. Сучок, вон тот, какого цвета?

— Зеленый, какому же ему быть, если он ольховый.

— Нет, ты забудь, какой он на самом деле, а каким сейчас видится, скажи.

— Че-рный,— нерешительно ответил Захарка, вглядываясь.

— Правильно, черный, потому что свет на него сзади падает. А ты его все же зеленым изобразил. Значит, не похоже? Тропинка у тебя, смотри-ка, желтая. Думаешь, песок обязательно желтый бывает, а ведь он сейчас серый весь, как зола. Глаз, что ли, у тебя нет? Заходи ко мне вечерком, я тебе новые глаза вставлю.

С тех пор Захарка повадился ходить к учителю. Что рассказывал мальцу старик — неизвестно, только, правда, открылись у парня глаза: научился он красоту видеть. Вот ведь, оказывается, какая наука может быть!

Радостно стало Захарке. «Сейчас пойду,— думает он,— на все свои любимые места, посмотрю на них новыми глазами». Выскочил он из калитки, да тут и замер. Осинка перед домом стояла, которую он, может, тысячу раз видел и не замечал. Небо теперь было серое, серое, как бы свинец, когда его ножом разрежешь, а осинка стоит и теплится на фоне свинца тихим, розовым теплом, потому что другой-то край неба, за Захаркиной спиной, и правда розовый был. Вот он и освещал осинку.

Так никуда Захарка в этот раз дальше осинки и не ушел. Стоит и любуется. И дух захватило от осинкиной красоты, то есть от той красоты, мимо которой тысячи раз бегал и не то что за красоту, а и за дело-то не считал.

Вот какую поучительную историю рассказал мне однажды добрый и умный друг.

Короче говоря, было принято твердое решение: будущее лето целиком посвятить Владимирской земле. Но что значит посвятить? Ездить по ней? Тогда — на чем?

Мне в жизни приходилось передвигаться на многих видах транспорта: на поезде товарном («зайцем» на так называемых тормозах), на поезде пассажирском, в цельнометаллическом мягком вагоне, на поезде узкоколеечном по пять километров в час, на паровозе без всякого поезда, в тендере (причем паровоз ехал задом наперед), на паровозе — в кабине машиниста, в вагонетке подвесной дороги (причем на самом высоком месте вагонетка застряла), на оленьих нартах по летней тундре, на собаках по зимней тундре, на верблюде, на верховой киргизской лошаденке, на верховой кабардинской лошади, в розвальнях, на телеге, на кубанской линейке, на самолете ПО-2, на самолетах двух-, трех- и четырехмоторных, на ишаке, на геликоптере, на автомобилях самых разных моделей и марок — от «мерседеса» до «козлика», на рыбачьем боте, на сейнере, на глиссере, на океанском пароходе, на речном буксиришке, на плотах, на волах, на ледоколе, на аэросанях, на льдине, на лосе, заложенном в упряжь...

Должен сказать, что, если смотреть на вещи серьезно, самым удобным и спокойным транспортом из перечисленных мною является речной пароход. Но он-то более всего и не подходил к случаю.

«А не пойти ли пешком?» — возникла вдруг озорная мыслишка. Выйти из машины средь чиста поля и пойти по первой попавшейся тропинке. Наверно, тропинка приведет к деревне. К какой? Не все ли равно. От деревни будет дорога до другой деревни, а там до третьей... Ночь настала — ночуй. Стучись в крайнюю хату и ночуй. Утро пришло — иди дальше. Ведь если в день проходить даже по десяти километров, что совсем не тяжело и что будет прогулкой, и то куда уйдешь за полтора месяца!

Целую неделю я ходил как пьяный, бредя возникшей мечтой. Закрою глаза — и вижу: на крутой пригорок, поросший белой кашкой, взбегает тропа, а там, на пригорке, заворачивает влево за сосновый лесок. Вместе с ней за лесок заворачивает молодое ржаное поле... А вот по струганому сосновому бревну нужно переходить бойкую речушку. А вот женщина у колодца дает студеной воды, и светлая колодезная вода сладко струится по гортани... А вот рассудительный крестьянин обстоятельно рассказывает, как дойти до какой-нибудь там Флорищевской пустыни...

Беда заключалась в том, что мечта возникла в декабре, а выйти в такой поход можно было не раньше июня.

Любимым занятием моим с этих пор стало сидение над картой. Сначала это была большая карта Советского Союза. Но Владимирская область на большой карте занимала пространство, которое можно было бы закрыть пятикопеечной монетой. И сколько я ни крутился на таком пятачке, ничего не могла рассказать мне карта. По ней, правда, хорошо было видно, что Владимирская земля находится между землями Московской и Горьковской, если ехать с запада на восток. Тут мне вспомнились слова из книги, что «она (то есть Владимирская земля) находится в том пространстве междуречья Оки и Волги, где из Владимиро-Суздальского, а потом Московского великого княжества выросло Московское государство, развернувшееся впоследствии в великую Российскую империю, протяжением своим превзошедшую все государства мира».

Значит, это и есть корень России.

Вскоре удалось раздобыть подробную карту области, на которой в каждый сантиметр укладывалось всего лишь пять километров земли. Здесь было много зеленой краски, за которой скрывались леса, и много заштрихованных пространств, означающих болота. А за белыми пятнами угадывались уже раздольные поля и луга.

Белого цвета больше всего было в верхней части карты, то есть на севере, это так называемое Владимирское ополье. Зелень вся как бы стекла вниз, образовав знаменитые Мещерские леса и болота. Из двух частей — Ополья и Мещеры — состоит Владимирская область. Вот что в первую очередь сообщила мне карта.

С этой картой можно было беседовать ночи напролет.

— Какие звери водились раньше на Владимирской земле? — спрашивал я у нее.

И она отвечала:

— Водились здесь туры. Вот читай: «Турино сельцо, Турина деревня, Турово, Турыгино...» Были и соболя. Разве не видишь названий деревень: Соболь, Соболево, Соболи, Собольцево, Соболята?.. А вот Лосево, Лосье, Боброво, Гусь...

— Кто же жил раньше на Владимирской земле? — спрашивал я карту.

— Жили здесь раньше некие племена финского корня: мурома, меря и весь. Да, они исчезли совсем, но не без следа. До сих пор живут таинственные, не расшифрованные никем названия рек, городов, озер и урочищ: Муром, Суздаль, Нерль, Пекша, Ворща, Колокша, Клязьма, Су-

догда, Гза, Теза, Нерехта, Суворощь, Санхар, Кщара, Исихра...

Но вот появились славяне. Они рубили свои избы неподалеку от финских селищ и начинали мирно пахать поля. Привольно было земли, и никто не мешал друг другу. И вот уж в ряду с какой-нибудь Кидекшей появляются села Красное, Добрынское, Порецкое. По названиям можно узнавать, откуда шли славяне. Вон Лыбедь, вон Галич, вон Вышгород — все это киевские словечки.

Говорила карта и о поэтичности народа, потому что черствый, сухой человек никогда не дал бы деревне такого названия, как Вишенки, Жары или, например, Венки.

Славяне были культурнее местных жителей, а впоследствии их стало и больше. Они не прогнали, не истребили мурому, мерю и весь, а просто поглотили их, растворили в себе, или, как говорят ученые, ассимилировали. И живут до сих пор только названия, которые могут показаться чудны́ми чужому, стороннему человеку, но которые не вызывают никаких недоумений у самого последнего мальчишки: Ворща так Ворща, лишь бы купаться было можно да ловились бы на удочку пескари.

Так рассказывала карта.

А то еще увидишь среди ровной зелени крохотный кружочек, километрах этак в тридцати даже от грунтовой дороги, и вот уж воображение рисует десяток темных бревенчатых изб, к которым вплотную подступили молчаливые сосново-бурые стволы. Или же увидишь такой кружочек среди самого что ни на есть болота и думаешь: «Эк, куда занесла их нелегкая! Наверно, жутко там в лунные ночи, зато закаты должны быть хороши!»

Закаты закатами, а хлеб в лесу да и на болотах родится неважный. Владимирцы давно поняли, что одной землей не проживешь, поэтому и уходили из своих деревень на отхожие промыслы, поэтому и появились все эти владимирские богомазы, лапотники, овчинники, шерстобиты, валялы, шорники, вышивальщицы, угольщики, смолокуры, серповщики, игрушечники, корзинщики, рожечники, рогожники, дегтярники, столяры, щетинники, колесники, сундучники, бондари, плотники, гончары, кирпичники, медники, кузнецы, каменотесы...

Каждое ремесло имело свой аромат. Шорники пахли сыромятиной, угольщики — березовым дымком, овчинники да валялы — овечьей шерстью, рогожники — душистой мочалой, богомазы — олифой, бондари да колесники —

дубовой стружкой, гончары да кирпичники — просыхающей глиной, корзинщики — горькой ивой, про смолокуров с дегтярниками и говорить нечего.

Перед весной начались соблазны. Тот из товарищей по работе поехал во Вьетнам, тот — не то в Сирию, не то в Ливан, а тот — так и вовсе в Африку. Очередь могла подобраться и ко мне. Появились сомнения. Ну а вдруг предложат поехать, неужели откажешься или, может, скажешь так: «Нет, дорогие товарищи, я, конечно, поехал бы в Сингапур, но мне, к сожалению, нужно в Петушки и Воспушки».

А поездка между тем была предложена. Не в Сингапур, правда, гораздо ближе, но в такую страну, в которой я мечтал побывать с детства.

Друзья, к советам которых я прибежал, отнеслись к вопросу по-разному. Первый — человек трезвого взгляда на вещи — сказал: «Владимирские проселки от тебя не уйдут, поедешь будущим летом». Второй, сохранивший еще офицерскую выправку, воскликнул без колебаний: «Собрался — не раздумывай. Никогда не нужно менять раз принятое решение». Третий — философ — глубокомысленно заметил: «Имей в виду, что, разъезжая по другим странам, ты узнаешь нечто, а путешествуя по родной земле, познаешь себя». Четвертый — поэт и мечтатель — выразился фигурально: «Что лучше: ехать целый месяц на автомобиле сквозь толпу красивых женщин или тот же месяц провести с одной, но любимой?» И наконец, нашелся друг, который в одну секунду поставил это Колумбово яйцо.

— О чем ты думаешь? Попроси, чтоб поездку отнесли на осень. И овцы будут целы, и волки сыты.

Хорошо, когда много друзей.

Старинные туристские справочники, или, как их называют, путеводители, усиленно рекомендовали путешествовать по Владимирской земле. В них подробно описывалась дорога от Владимира до Суздаля, или так называемая Стромынка — дорога от Москвы через Александрову слободу до Юрьева-Польского, а уж оттуда до Суздаля и Владимира. Это объясняется тем, что очень много было во Владимирской земле разных монастырей, старинных церквей, редчайших, рублевской или ушаковской работы, иконостасов, а также мест, связанных с пребыванием царствующих особ. Там молился Иван Грозный, туда он засадил свою же-

ну, там жила опальная жена Петра Великого; в той деревне сидел Дмитрий Пожарский, когда пришли к нему с поклоном нижегородцы: иди, мол, спасай Россию! А там был похоронен сам Александр Невский. Сохранился царев указ о том, как перевозить останки этого князя и воина, когда было решено перевезти их из захудалого губернского городишка Владимира в стольный Петербург. Может, князя Александра и сразу похоронили бы в Петербурге, но беда в том, что Владимир был в год его смерти великим городом, а на Петербург не было и малейшего намека. А повелевал указ следующее: «Подняв раку с мощами святого от места его благоговейно, с подобающей честью вынести... и, поставив оную и распростерши балдахин, проводить его обыкновенным церковным пением и колокольным звоном, как мощи святого проводить долженствует, и в том провождении ехать оным путем умеренно, со усмотрением мест, дабы в удачных никакого свыше потребы медления, а в неудачных — вредительной скорости не употреблялося».

Что же касается Дмитрия Пожарского, то с его могилы куда-то увезли только мраморный мавзолей, а останки князя и поныне в Суздале. Но мы придем еще на его могилу, и у нас будет время поговорить об этом подробно.

Так вот старинные путеводители усиленно рекомендовали путешествовать по Владимирской земле. И совершенно напрасно в новых сборниках туристских маршрутов, где есть непременная Военно-Грузинская дорога, село Архангельское и озеро Иссык, не упоминается ни Юрьева-Польского, ни Суздаля, ни Мурома, ни Мстеры, ни Гуся Хрустального, ни Боголюбова, ни самого Владимира [1]. Поэтому, заглянув в такой справочник, я тут же и закрыл его.

— А палатку, термос и прочее ты уже купил? — спрашивали меня бывалые туристы.

— И не собираюсь.

— Как же, что же за поход без палатки? Вся и прелесть-то в том, чтобы чайку на костре вскипятить, ушицу организовать, а для этого удочки необходимы.

Нет, ночевать удобнее в избах крестьян и питаться у них же. Так что ничего такого не потребуется. Ни куска хлеба не будет взято в запас, ни кусочка сахара. И непонятно, зачем для ночлега от людей бежать, когда тут-то и удобно поговорить с ними, узнать, чем живут, что думают.

---

[1] Писалось в 1957 году. Теперь туристы толпами валят и во Владимир, и в Юрьев, и в Суздаль. *(Здесь и далее примеч. автора.)*

Итак, все было готово. Помешать теперь могло только одно, что не подчиняется никаким бумагам и что чаще всего действует вопреки желанию людей — погода. Известно, что о предсказателях погоды ходит много анекдотов и что доверяют им в народе очень мало. Тем не менее десятки миллионов людей слушают сводку погоды каждый день внимательно и заинтересованно. Когда нам очень хочется, мы склонны верить предсказаниям обыкновенной, незамысловатой ромашки, а не то что целого научного учреждения.

Авиационный, то есть самый точный прогноз, запрошенный официально, через редакцию солидного журнала, гласил: «До 27 июня — дождь и холод, после 27 июня — холод без дождя...»

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

Отсюда начинается достоверное и последовательное описание всего приключившегося с автором этих записок и его спутниками во время путешествия по Владимирской земле. Путешествие это началось 7 июня 1956 года, в полдень, от деревянного моста через реку Киржач, коя служит в этом месте границей между областями Московской и Владимирской.

А дело было так.

Автомобиль с аншлагом «Москва — Владимир» выбрался наконец из каменного лабиринта столицы и, прибавив скорости, устремился по прямой и широкой автостраде. Да, местами это была уже готовая автострада, бетонированная, с односторонним движением и даже с зеленью посредине. Местами же путь автомобилю преграждали горы песка, вздыбленной земли, скопления землеройных машин. Поговаривали, что это не просто улучшается старое и доброе Горьковского шоссе, но строится великая дорога Москва — Пекин.

Машина то рвалась вперед со скоростью ста километров, то, переваливаясь с боку на бок и с обочины на обочину, пробиралась по разъезженным песчаным колеям не быстрее пешехода.

На улице стояла жара, не приносил прохлады даже ветер, хлопающий и ревущий в приоткрытых ветровых стеклах автомобиля. Пассажиров в машине было трое. Их могло бы быть и двое, если бы утром в Москве моя жена не

поставила на своем и не поехала провожать меня в это «ужасное» путешествие.

Никогда не знаешь, как повернется ход событий, поэтому на всякий случай я представлю вам мою жену: ее зовут Роза, она темноволоса, смугла... Впрочем, не прав ли был гениальный француз, говоря, что жена не имеет внешности? По крайней мере, не дело мужа описывать ее.

Третьим пассажиром был некий майор с гладко выбритой головой, квадратной рыжей бородкой и в пенсне из прямоугольных стеклышек. Из всех троих он один имел трезвые намерения доехать до того места, до которого куплен билет.

Вдруг легко, но властно защемило в груди. Тут было отчего волноваться. Всю зиму с нетерпением ждал я этого дня, и одно то, что он пришел, было основательным поводом для волнения. Но это все пустяки. Главное я скрывал и от самого себя. Главное было в моем наступающем одиночестве. Вот сейчас выйдешь из машины, шагнешь в сторону от дороги в высокую июньскую траву, и на многие дни один затеряешься в зеленых просторах. Было от этого немного тревожно и боязно. Всегда тревожно и боязно перед неизвестностью. Я не знал, где и чем пообедаю уже сегодня, где и как проведу эту ночь. Будут попадаться неведомые деревни, но ведь никто не ждет меня там, и вообще не авантюра ли все это? Есть туристские маршруты с благоустроенными туристскими базами. По этим маршрутам многочисленные группы до зубов оснащенных людей. Все это понятно.

Но думать было поздно, да и некогда.

— Остановите, пожалуйста, машину.

Легко подпрыгнув, автомобиль соскользнул на обочину и остановился, как бы натолкнувшись на невидимую стенку. Водитель озабоченно обернулся:

— Кому-нибудь плохо?

— Нет, хотим выйти. Спасибо, что подвезли.

— Но у вас билет до Владимира. До него еще почти сто километров!

— Тем лучше. Мы останемся здесь. Нам понравилось это место.

— Вольному воля,— пробурчал водитель, и ЗИМ исчез.

Рюкзак показался мне гораздо тяжелее, чем когда я примерял его в Москве.

— Пошли. Проводишь меня на ту сторону реки и проголосуешь на обратную машину.

Под деревянным мостом стояли бревенчатые обшарпанные быки. Коричневая неглубокая вода беззвучно обтекала их. Белые, словно сахар, песчаные отмели, уходя под воду, приобретали цвет червонного золота. Потом они снова появлялись над водой в виде маленьких островков и возвращали себе свою сверкающую белизну. Один берег реки отлог. Молодой ивняк отступил от воды метра на два и так раскудрявился, такой закипел зеленью, что и песок под ним кажется зеленоватым. Другой берег обрывист, хоть и не высок. Тут, видимо, постоянно что-то с хлюпаньем сползает в воду, обрушивается, подмывается. Стройные частые сосенки подбежали к самому обрыву и заглядывают в воду. Но вода текуча и узловата, она размывает очертания деревьев.

Пройдя мост до конца, мы очутились во Владимирской области. Попрощались. Я сбежал с насыпи влево и пошел вдоль реки навстречу ее течению. Ничего примечательного не было вокруг. Безногий инвалид, оставив одежонку и костыли на траве, полз по песку к воде, чтобы искупаться. Женщина, подоткнув юбку и зайдя в воду до колен, полоскала белье. Поодаль остановилась «Победа», и семейство, приехавшее в ней, располагалось на отдых, натягивая в виде тента сверкающую белизной простыню.

Тропинка, которую я выбрал, обогнула большой песчаный карьер, изборожденный следами шин и гусениц, и вывела на просторную плоскую луговину, по которой там и тут, то группами, то в одиночку, росли деревья. В это-то время я и услышал за спиной учащенное дыхание бегущего человека. Обернулся — Роза.

— Что-нибудь я забыл?

— Ничего не забыл. Я пойду с тобой.

— Куда?

— Куда ты, туда и я. И не возражай. Так я тебя одного и отпустила. И не смотри, пожалуйста, таким взглядом на мои босоножки. Каблуки у них мы сейчас отобьем, а то дойдем до магазина и купим какие-нибудь парусиновые.

— До какого магазина?

— До сельпо. Думаешь, я меньше твоего понимаю в деревенской жизни? В каждом селе есть сельпо, там и купим. Короче говоря, давай мне половину вещей, и пойдем дальше.

— Так сразу и половину!

— Ну ладно, не хочешь половину, давай фотоаппарат.

Вот каким образом я утратил свое одиночество, еще не успев насладиться им.

Река, вдоль которой мы пошли, то и дело круто поворачивала то вправо, то влево, так что поблескивающее зеркало ее упиралось вдали то в заросли ивняка, то в песчаный обрыв. Наконец нам надоело это, и мы решили уйти от реки по первой дорожке. Вскоре вправо на довольно крутой пригорок, заросший дубами, повела тропа. Мы пошли по ней, и через полчаса матерый сосновый лес окружил нас. Безмолвно и тихо было в этом лесу. Там, высоко-высоко, где яркая зелень сосновых крон оттенялась яркой белизной облаков, может, и бродили какие ветерки, у нас внизу было совсем тихо. В неподвижном нагретом воздухе крепко пахло медом, и некоторое время мы не могли решить, откуда исходит медвяный запах.

Все знают, как красиво и заманчиво выглядывают по осени из темной глянцевой зелени яркие кисточки брусники, словно капельки свежей крови, но мало кто замечал, как цветет этот вечнозеленый боровой кустарничек. Нам и в голову не могло прийти, что вон та невзрачная цветочная мелюзга может напоить огромный бор своим ароматом. Я сказал «невзрачная цветочная мелюзга» и тем незаслуженно оскорбил один из самых изящных и красивых цветов. Нужно только не полениться сорвать несколько веточек, а еще лучше опуститься на колени и бережно разглядеть.

То, что издали казалось одинаковым, поразит вас разнообразием.

Вот почти белые, но все же розовые колокольчики собрались в поникшую кисть на кончике темно-зеленой ветки. Каждый колокольчик не больше спичечной головки, а как пахнет! Это и есть цветы брусники.

А вот тоже колокольчик, но очень странный. Он совсем круглый и похож больше на готовую ягоду, уже и покрасневшую с одного бока. А еще он похож на крохотный фарфоровый абажурчик, но такой нежный и хрупкий, что вряд ли можно сделать его человеческими руками. Будет чем полакомиться и ребятишкам и тетеревам. Ведь на месте каждого абажурчика вызреет сочная, черная, с синим налетом на кожице ягода черника.

А вот собрались в кисточку крохотные белые кувшинчики с яркими красными горлышками. Кувшинчики опрокинуты горлышками вниз, и из них целый день льется и льется аромат. Это целебная трава толокнянка. Нет,

только издали похожи друг на друга боровые цветы. Если вглядеться – по тонкости работы, по изящности и хрупкости ничем не уступит брусничный колокольчик другому, большому цветку. У ювелиров, например, мелкая работа ходи в большей цене.

Временами между кочками или пнями попадались аккуратно постланные светло-шоколадные коврики кукушкина льна, этого непременного обитателя сухих сосновых лесов.

На серой лесной земле, на плотной зеленой дерновинке, светились тут и там небольшие белые-белые пирамидки. Это кроты разглашают лесную тайну, что стоит этот лес на чистых речных песках.

Попадались и большие поляны, где лес был весь вырублен. Залитые солнцем, паслись на таких полянах маленькие сосенки. Казалось, матерые деревья выпустили своих детишек поиграть да порезвиться, а вот придет вечер — и позовут, покличут обратно под свой темный и мрачный полог.

Одного мы не могли разгадать. Тянулись рядом с дорогой, по обе стороны от нее, необыкновенно ухоженные, разметенные тропы, да еще вроде и присыпанные песком. Думали мы, думали, да так и оставили до случая.

И было цветение сосны. Стоило ударить палкой по сосновой ветке, как тотчас густое желтое облако окружало нас. Медленно оседала в безветрии золотая пыльца.

Еще вчера, еще сегодня утром принужденные жить в четырех стенах, отстоящих друг от друга не больше чем на пять метров, мы вдруг захмелели от всего этого: от боровых цветов, от солнца, пахнущего смолой и хвоей, от роскошных владений, вдруг ни за что ни про что доставшихся нам. Меня еще сдерживал рюкзак, а Роза то убегала вперед и кричала оттуда, что попались ландыши, то углублялась в лес и возвращалась, напуганная «огромной птицей», выпорхнувшей из-под самых ног.

Между тем впереди, сквозь деревья, сверкнула вода, и вскоре дорожка привела к большому озеру. Озеро это было, можно сказать, без берегов. Шла, шла густая сочная трава лесной поляны, и вдруг на уровне той же травы началась вода. Как будто лужу налило дождем. Так и думалось, что под водой тоже продолжается трава и что затопило ее недавно и ненадолго. Но сквозь желтоватую воду проглядывало плотное песчаное дно, которое уходило все глубже

и глубже, и чем больше уходило оно в глубину, чернее и чернее становилась озерная вода.

Были устроены узкие длинные мостки, невдалеке от которых привязанная к дереву дремала на воде плоскодонка. Четко, как нарисованная тушью, отражалась она в коричневатом зеркале озера. На поляне, шагах в тридцати от берега, стоял большой, не старый еще, бревенчатый дом с террасами. На другом берегу озера белелись каменные постройки. Оттуда доносились голоса, обрывки песен, девичий смех.

Неслышно подошел и встал сзади нас человек. Мы оглянулись, когда он кашлянул, и не знаем, долго ли стоял он молча. Ему было лет шестьдесят. Он был брит, сухощав и морщинист, а на голове копна не то курчавых, не то непричесанных волос. Болотные резиновые сапожищи бросались в глаза прежде всего.

— Дворец-то ваш? — кивнул я на дом с террасой.

— Нет, милый, я ведь здешний лесник, а у лесника какие дворцы. Завхоз был один, вон в той колонии работал.— Старик показал на другой берег озера.— Да, сорок лет работал. И разрешили ему здесь поставить дом. Ну вот он и поставил. На царском месте дом-то, можно сказать, стоит. А тоже ведь помер, завхоз-то.

— Давно лесничаете?

— Как же не давно, когда сорок лет. Я еще при хозяине здесь лесорубом работал. Это ведь все Ивана Николаевича Шелехова владение было. Ба-гатый человек был Шелехов.

— А где он жил, не в тех ли каменных домах, что за озером?

— Нет, милый, в домах монастырь был Введенский, и озеро по нему Введенское называется. Хорошее озеро, рыбное. Вон колышек в воде забит. Поезжай на рассвете с удочкой, привязывай лодку к колышку, и что же — за час конная бадья окуней. Сушью бадья-то, без воды. Опять же вода интересная. Сделается она к вечеру вроде как кипяченая. У меня от резиновых сапог суставы ломит, так я вечером полазаю босой часа два или три, и опять бегают мои ноги. А другим невдомек, что может быть такое средствие. В другой раз, чтобы попусту не лазать, возьмешь бредешок. И ногам облегчение, и две корзины лещей. Лещ-то убывает теперь. Леща торфяная вода губит. Задыхается наше озеро почесть каждую зиму, а рыбе это ущерб. Конечно, глубины большой нету, шесть метров — самая глубина. Вон Белое озеро рядом, у того другая стать. Вода — что слеза! И глу-

бины метров тридцать пять будет. Ямой оно, Белое-то озеро, агромадной ямой. Зато и холодна же вода. Рыба от холодной воды вся и ушла. Видать, подземное сообщение у того озера с рекой... или с морем каким...— И он вопросительно посмотрел на нас, как мы отзовемся на его море. Может, проверить хотел на новых людях правдоподобность самого звучания нравящейся ему невероятной гипотезы.— Да, там уж не полазаешь по воде, чтобы ноги-то, значит, не гудели.

Как ни забавно было представлять старика, лазающего в течение двух часов по вечернему молчаливому озеру, нужно было вернуть его на то место, с которого он так резво утрусил в сторону.

— Если не в каменных домах, то где же жил твой Шелехов, во Владимире, что ли?

— Во Владимире?! Скажете тоже. Стал бы Шелехов жить во Владимире. В Варшаве, вот где он жил. Но только, скажу я тебе, не жил он, а лежал в параличе. А в лесу своем и в добром здравии не бывал ни разу.

— Как же так, имел такое богатство, такую красоту и совсем не пользовался?

— Зачем не пользовался? Деньги к нему текли. А насчет красот-то, так ведь их только наш брат лесник в достоверности оценить способен, потому как вся жизнь в лесу. Кошка к собаке и та привыкнуть может, если подольше да сызмальства приучать, а человек к лесу и подавно, то есть так привыкаешь, как к жене или вообще живому существу. Вон сосна, она все одно что живая, с ней поговорить можно.

Мы пошли было от озера, но тут я вспомнил про загадочные тропинки возле дороги и вернулся. Старик посмотрел на меня ласково.

— А это, мил человек, мы от пожару. Вот идешь ты бором, кинешь спичку или окурок, начнется пожар. А как же, непременно начнется! Однако дорожка эта огонь в лес не пустит. Мы, мил человек, блюдем лесок-то, а как же, очень даже блюдем!

Перед нами встал роковой вопрос: куда же идти теперь, глядя на закатное солнце?

В начале пути, когда отходили от реки, мелькнула в стороне деревенька. Значит, нужно было добраться хотя бы до нее. Теперь нас не прельщали уж красоты леса. Быстро наступающие сумерки подгоняли нас. А когда мы добрались до деревеньки, совсем стемнело. В одном из

домов зажегся свет. Набравшись храбрости, мы пошли на огонь.

На этом окончился первый день нашего странствия.

ДЕНЬ ВТОРОЙ

Бодро, хорошо идти по земле ранним утром. Воздух, еще не ставший знойным, приятно освежает гортань и грудь. Солнце, еще не вошедшее в силу, греет бережно и ласково. Под косыми лучами утреннего света все кажется рельефнее, выпуклее, ярче: и мостик через канаву, и деревья, подножия которых еще затоплены тенью, а верхушки влажно поблескивают, румяные и яркие. Даже небольшие неровности на дороге и по сторонам ее бросают свои маленькие тени, чего уж не будет в полдень.

В лесу то и дело попадаются болотца, черные и глянцевые. Тем зеленее трава, растущая возле них. Иногда из глубины леса прибежит ручеек. Он пересекает дорогу и торопливо скрывается в лесу. А в одном месте к нашим ногам выполз из лесного мрака, словно гигантский удав, сочный, пышный, нестерпимо яркий поток мха. В середине его почти неестественной зелени струился кофейно-коричневый ручеек.

Нужно сказать, что коричневая вода этих мест нисколько не мутна, она прозрачна, если почерпнуть ее стаканом, но сохраняет при этом золотистый оттенок. Видимо, очень уж тонка та торфяная взвесь, что придает ей этот красивый цвет. Из ручейка, текущего в мягком и пышном зеленом ложе, мы черпали воду горстями, и она оставляла впечатление совершенно чистой воды.

На лесной дороге, расходясь веером, лежали тени от сосен. Лес был не старый, чистый, без подлеска — будущая корабельная роща. В сторонке от дороги вдруг попался сколоченный из планок широченный диван без спинки. Он весь был изрезан надписями. Больше всего стояло имен тех, кто захотел увековечить себя подобным образом. Мы отдохнули на диване, наблюдая, как по стволу сосны с быстротой и юркостью мышонка шныряла вверх-вниз птичка поползень.

Вскоре окрашенные в белую краску ворота дома отдыха «Сосновый бор» объяснили нам и присутствие дивана в лесу, и происхождение надписей на нем. Нам нечего было

делать в доме отдыха, и мы свернули на окружную дорожку.

Километра через два слева потянулись кусты, какие могут расти только по берегам небольшой речки. Из кустов вышел на поляну рослый краснощекий парень. На нем были штаны, закатанные выше колен, и выпущенная поверх штанов широкая белая рубаха. На ногах ничего не было. В одной руке он держал удочку, а в другой — кукан с рыбешкой. Пробираясь сквозь кусты, рыболов осыпал себя росой, и теперь она посверкивала в его волосах. Светилось и лицо парня, довольного своим уловом и тем, что вот посторонние люди видят его улов. А может, просто хорошо было ему на реке ранним утром.

— Как же называется эта водная артерия? — полюбопытствовали мы.

— Это наша Шеридарь,— ответил парень,— с ней не шути, без разбегу ни за что не перепрыгнешь.

— Какая рыбешка водится в вашей Шеридари?

— Э, тут полно всякой рыбы! Есть щука, окунь, плотва, пескарь, язь, красноперка, голавль.

— А налимов разве нет?

— Как же, есть и налимы, вот ведь совсем вылетело из головы. Без налимов никак нельзя.

— Наверно, водятся и ельцы?

— Водятся,— обрадовался шеридарский патриот подсказке.— Вот он, елец-то, на кукане. Сейчас под Кукуевой дачей в проводку выхватил. Ельца очень даже много.

— Ну, желаем удачи! Время на нас не тратьте, теперь самый клев.

— Не, жена и так небось добела раскалилась. Я ведь утайкой. Надо бы поросенка на базар везти, а я вот на Шеридарь. Ну, да ничего, ушицы небойсь и ей охота.

Мы посочувствовали парню и ушли далеко от него, как вдруг услышали, что он догоняет нас и окликает. Подождали.

— Вот беда какая, совсем забыл...

— Да что забыли-то?

— Ерша! Ерша забыл! Еще и ерш в Шеридари водится. Ну, будьте здоровы. Хорошо, что догнал, а то ведь вот беда, ерша-то я и забыл!

Неожиданно кончился лес, и, распахнувшись до дальнего синего неба, ударила в глаза росистая яркость лугов. Сплошные заросли лютика густо позолотили их. Из убегаю-

щей вдаль и почти сплошной желтизны кое-где могучими округлыми купами поднимались ветлы.

По длинной и зыбкой лаве, сделанной из трех связанных бревен, мы перебрались наконец через Шеридарь и пошли направо, держась недалеко от ее берега. Роскошные вначале, луга постепенно перешли в луг умирающий, покрытый кочками. Ведь у луга, как и у всего живущего, есть свои молодость, зрелость, умирание. Щучка и белоус — эти злые враги цветущих лугов — обильно разрослись здесь, закупорив почву своими плотными, теперь уж сросшимися в войлок дерновинками. Из-под войлока не пробиться цветам.

Солнце начало припекать, ноги разгорячились от ходьбы, и мы приглядывали место, где бы искупаться. Но берег был дурной, метра за два до воды начиналась топь, грязь, да и вода не внушала доверия. На ней местами лежал белый налет вроде паутины, плавали разные палки и бойко бегали водомерки. Наконец попался округлый омуток, метров десять — пятнадцать в ширину. Песчаная отмель резко и косо уходила в воду, обещая порядочную глубину. Подобные бочаги на малых реках бывают очень глубоки и студены, на дне у них, как правило, шевелятся в тине родники. Действительно, вода показалась ледяной, но какое блаженство было шлепать босыми разгоряченными ногами по этой воде. Невольно вспомнились дивные строки поэта:

И сладкий трепет, как струя,
По жилам пробежал природы,
Как бы горячих ног ея
Коснулись ключевые воды...

В незнакомую воду бросаться всегда тревожно, если даже это и Шеридарь. По крайней мере, тревожней, чем заходить в незнакомый лес и город.

У каждой реки есть своя душа, и много в этой душе таинственного и загадочного. Пока не поймешь ее, не почувствуешь, всегда будет тревожно. Мне показалось, что под кустом у того берега обязательно должен прятаться рак. Я переплыл и слазил в нору. Действительно, там был рак. Через этого рака и Шеридарь сделалась ближе, понятней: точь-в-точь как на нашей Ворще, раз должен там сидеть рак, значит, он и сидит.

Потом, когда, отдохнув, мы отошли от реки, попалась нам ватага мальчишек. Мы спросили у них, глубок ли омут.

— Что вы, дяденька, вам и по шейку не будет. Самое большое — по пазушки.

Если бы знал я, что в омуте и по шейку не будет, не лезла бы в голову разная блажь про речные души. Раз есть дно, значит, не может быть никакой души, никакой сказки.

На горе, куда нам предстояло подняться, из-за деревьев выглядывала беленькая церковка с зеленой крышей. От ребятишек мы узнали, что это село Воскресенье.

Дорога в село шла между церковью и пионерлагерем. Слева в пионерлагере за аккуратным забором виднелись разные деревянные горки, качели, турнички. Пионеров самих не было. Наверно, это их видели мы издалека, когда шли лугом.

У церкви ограда наполовину разрушена так, что остались только каменные столбы, а железо пошло скорее всего на подковы в сельскую кузницу. Высоченная нетроганая трава буйствовала за церковной оградой. Но церковь сама и крыша ее были недавно покрашены и выглядели как новые.

Первое, что бросилось нам в глаза в селе Воскресенье,— это отсутствие садов и огородов. Давно замечено, что в лесных местностях, где крестьянам приходилось постоянно бороться с лесом, нет в деревнях ни деревьев, ни садов.

Взять хотя бы республику Коми. Там под окнами избы или сзади нее вы редко увидите дерево. А зачем оно, если кругом тайга! В какой-то степени это приложимо и к наиболее лесным районам средней полосы. Но чтобы в русской деревне не было даже и огородов, это совсем странно. Каждый дом в Воскресенье стоит как бы на лугу, среди высокой травы и ярких цветов, главным образом лютика и одуванчика.

Мы сели отдохнуть в тень старого тополя под окнами пятистенной избы.

— Старичка бы теперь для разговора,— мечтательно сказала Роза.

И точно, идет вдоль деревни старик. Одна рука заложена за спину, в другой — палка. Спину держит неестественно прямо, словно и правда проглотил аршин. Вообще в передвижении старика ничего не участвовало, кроме семенящих ног. Было такое впечатление, что если старик споткнется, то так и упадет плашмя, прямой и негнутый.

— Здешний, что ли, дедушка?

— Здешний,— ответил старик, а сам семенит, не сбавляя хода, не поворачивая головы, как заведенная игрушка.

— Давно ли здесь живете?

— С самого зарождения,— и продолжает чесать дальше.

— Посидел бы с нами, отдохнул.

Старик остановился.

— Постоять постою, а сидеть мне несподобно.

— Лет-то сколько?

— Годами я не стар, семьдесят шестой пошел, да вот ноги отказали. Всю жизнь сапожничал, чужие ноги обувал, а сам без ног и остался.

Рассказывал дед охотно.

— Село наше было плотницкое. Все мужики подчистую уходили на сторону — в Москву, в Питер и вообще. Оставались одни бабы. Огородов с садами было не принято иметь. Картошку, лук, огурцы и прочую овощь возили из Покрова, с базара. Правду сказать, народ избалованный был на сторонних-то рублях, к земле не очень привычный, а сеяли больше «гречан». Ну, после революции все плотники в Москве и осели. У каждого там зацепка какая-нибудь была. А тут еще раскулачиванием припугнули. Половины села как не бывало. Вишь, одни ветлы стоят, а домов нет. Теперь опять молодежь чуть что в РУ или другие школы. Мало народу осталось, ой мало! Ну пойду, не взыщите, если чего не так. Ноги болят, когда стоишь, а на ходу словно легче.

Старик снова засеменил вдоль улицы.

На выходе из села заметили мы санаторно-лесную школу, которая теперь, по случаю летнего времени, не работала. Дорога повела нас дальше — то лугом, то полем, то темным лесом.

— Как называется село? — спрашивали мы часа через полтора у девушки, что с трудом выруливала на велосипеде по узкой тропинке.

— Перново,— крикнула девушка на ходу.

Может, ничего не осталось бы в памяти от этого села, кроме его названия, если бы не вздумали мы напиться здесь молока. Потом мы пили молоко в каждой деревне, так что к вечеру, по самым грубым подсчетам, набиралось литра по три-четыре на каждого. В Пернове мы осмелились спросить молока впервые.

Тетенька, в окно которой мы постучали, бросила шитье (она шила что-то на машинке) и отправила нас к соседке.

— Уж у нее-то, наверное, есть. А мы и корову не держим.

Соседка сокрушенно покачала головой.

— Нет, милые, своих шесть ртов, все припиваем. А спросите вы вот у кого. Этот дом тесовый — раз, под красной крышей — два, потом еще четыре дома пропустите, а в седьмом доме поинтересуйтесь: у них и корова есть, и народу мало.

Но и в этом доме, хоть он и седьмой, нас постигла неудача. Там просто-напросто никого не было дома. Тогда мы стали спрашивать подряд, и в одном месте клюнуло. Старуха лет шестидесяти, плотная и полная, восседала в окне с наличниками, как бы вставленная в ажурную рамку.

— Много возьмете?

— Да хоть пол-литра.

— Эк вы жадные, стану я из-за пол-литра крынку починать. Берите всю.

Она исчезла из окна, и минут десять ее не было. Потом она вынесла нам две литровые банки, в каких обычно продают маринованные огурцы. Я как отхлебнул, сразу понял, что молоко если не на половину, то на треть разбавлено водой, хорошо, если кипяченой. Безвкусная жижа никак не пилась, хоть выливай на землю. Негромко, про себя заговорила Роза:

— Вот бабушка добрая — жирного молока нам продала. А бывают такие бессовестные старухи, не только снятым — разбавленным торгуют. Поболтаешь по банке, а стенки чистые-чистые остаются.— При этом, конечно, она поболтала молоком по банке, и стенки, конечно, остались чистые-чистые.

Старуха побагровела.

— Вы думаете, мне деньги ваши дороги? Вот ваши деньги.— И она бросила их на землю, но тут же схватила снова, видя, что Роза сделала некое движение в сторону тех же денег.

— Бабушка, да мы не про вас, мы про тех, бессовестных...

Я воспользовался переполохом и вылил молоко в пыль. Оно долго стояло синей лужицей, не впитываясь и не растекаясь. Мальчик с удочками, лет семи, наверно внучонок, внимательно смотрел на происходящее.

Почти напротив старухиного дома магазинчик. Больше из любопытства, чем из нужды, мы зашли в него. Вот добро-

совестно записанный мною немудреный ассортимент магазинчика: колотый сахар, рожки, повидло, треска в масле, концентраты пшенной и рисовой каши, сельдь атлантическая пряного посола, соевый белок, сухари (из простого хлеба), конфеты и пряники. Этот магазин отличался от последующих, виденных нами, еще и тем, что повидло в нем не пузырилось и не было на прилавке растаявшей халвы.

Продавщица, молодая женщина, сказала, что хлеб в этой деревенской лавке бывает каждый день. Возят его из Покрова, то есть из ближайшего города. Мы рассказали ей про старуху и про молоко.

— Ах она, старая ведьма! — возмутилась продавщица. Ах она, такая — сякая! Вы бы и не связывались. А у нас в магазине, может, и побольше бы товаров было, да я ведь не продавец, а завклубом.

— Почему же вы встали за прилавок?

— Старый продавец вроде той бабки делал. Мука стоит два сорок пять, а он ее по три десять. Его и посадили. Теперь временно мне приходится торговать.

...С первого дня стало ясно, что идти придется только с утра и к вечеру, потому что уже к одиннадцати часам устанавливалось тридцатиградусное безветрие. Дышать становилось трудно, мы обливались потом, а от спины, когда снимешь рюкзак, начинал куриться парок, словно к ней прислонили утюг. Было решено с одиннадцати до четырех или даже пяти часов лежать в тени, по возможности около речки.

На выходе из Пернова, где так неудачно окончилась первая попытка напиться молока, прямо к нашим ногам прибежала откуда ни возьмись речушка с красивым названием Вольга. Убрать только из слова мягкость — и пожалуйста! — великая русская река. Правда, для того чтобы стать Волгой, нашей Вольге не хватило бы еще кое-чего. Но это уж дело десятое.

Коричневая водичка пробиралась между луговыми цветами, через кустарники, мимо развесистых ив и ракит, бережно заслоняющих ее от жадного солнца. Сидение наше на Вольге не обозначилось ничем замечательным, разве только тем, что понаблюдали, как шестеро парней возились с бредешком в небольшом омутке. Получасовое старание их увенчалось изловлением щуренка граммов на четыреста и плотицы. Тут подошли двое мужчин, посмотрели улов и серьезно сказали: «Ого, порядочно». Оценка эта, надо

думать, определилась не вежливостью мужчин, а масштабами и самой речки, и ее рыбных ресурсов.

Разморенные жарой, с болью во всем теле (еще не втянулись в путешествие), мы побрели дальше. На карте виднелся впереди маленький прямоугольничек — какое-то Головино. Оно и стало нашей заветной целью на сегодня.

Добрести бы к вечеру до Головина, а там будем ночевать, попросим самовар, отлежимся.

В это время сзади и послышались те звуки, в которых с закрытыми глазами можно узнать урчанье грузовика, пробирающегося по проселку. Все же нужно отдать должное нашей стойкости — никто из нас не поднял руки, чтобы остановить автомобиль.

Из кабины высунулось веснушчатое круглое лицо с улыбкой, что называется, от уха и до уха.

— Садитесь, чего мучиться-то, с ветерком подброшу.

Мы сели и, не заметив как, оказались в Головине. Только одно место успела сфотографировать память. Начинаясь прямо у дороги, уходила в глубину леса округлая ядовито-зеленая трясина, а по краям ее все мертвые и мертвые деревья. Сначала маленькие елочки, потом выше, выше и, наконец, большие почерневшие, отравленные ели и сосны. Передние ряды елочек уже и упали в трясину, и тонут в ней. Другие стоят как бы на коленях, по пояс. Само сочетание ядовитой зелени с черным обрамлением оставило жуткое впечатление. Кажется, это было на середине дороги от Пернова до Головина. Мы думали, что впереди будет много еще трясин, и не очень жалели об этой. Но больше ничего подобного нам не попадалось.

В Головине, у крайнего дома, мы расплатились с водителем (он взял с нас два рубля) и пошли вдоль села. Навстречу нам бежала с другого конца женщина в летах, одетая довольно небрежно, босая и, как нам показалось, растрепанная. Она бежала и что есть силы трясла колокольчик, каким в школах собирают детей на урок.

Выбрав дом поопрятней, мы постучались в окно.

— Не пустите ли ночевать?

— А вы кто такие?

— Страннички, с чужбины на родну сторонушку пробираемся.

— Ступайте с богом!

Бог надоумил нас прийти в правление колхоза.

По узкой лестничке поднялись вверх и наткнулись на запертую дверь председательского кабинета. В комнате

направо сидели бухгалтер и счетовод. Неважный вид был у этого помещения. Стены закопченные, голубенькие обои висят клочьями. Потолок в середине обуглен, и бумага с него оборвана. Должно быть, к потолку была подвешена лампа, и от нее чуть не случился пожар. На полу похрустывала семечковая лузга.

Сесть нам не предложили. Мы подумали и расселись сами.

Тут внизу раздались брань и крики. Ругалась женщина. Вот она появилась сама. Мы узнали в ней ту, что бегала по селу с колокольчиком. Она-то и пошла проводить нас на ночлег.

— А вы кто же в колхозе? — полюбопытствовали мы у женщины.

— Бригадиром зовусь. Село-то эк растянулось. Побегай вдоль него да покланяйся каждому, чтобы на работу шел. Теперь, правда, сами идут, да еще и ругаются, если нарядить забудешь.

— Почему так?

— Денег стали давать на трудодни, поправляться начали. А ведь что было — слезы, да и только! Вы завтра с председателем потолкуйте, он вам все расскажет.

— А зачем вы с колокольцем бегаете?

— На работу колхозников зову. И утром бегаю, и в обед, и при всякой нужде.

— В других деревнях это проще — вешается на столбе кусок рельса или буфер. Подойдет бригадир, постучит железной палкой.

— Не знаю, чего наши думают, конечно, лучше было бы.

— Сами вы чего думаете? Вы же бригадир! Дайте наряд, все и сделают.

Тут мы дошли до места.

На ночлег нас определили в просторный дом, где пахло вымытыми стенами, чистотой.

Молодая хозяйка дома показала нам и сарай с сеном. Но сено было там прошлогоднее, прелое, кроме того, из погреба тянуло затхлой сыростью. Мы остались в избе.

К потолку горницы подвешены елочные игрушки, на стене бумажная тарелка репродуктора, в переднем углу иконы, на комоде патефон и пластинки. Рядом швейная машинка. Во весь пол постланы мягкие коврики, сшитые из разноцветных тряпочных лоскутков. На застекленной дверце посудного шкафа с обратной стороны приделаны картинки: породы кур. На стенах — для красоты — плакаты:

жеребец-битюг Сатир, огромный розовый хряк, плакат с призывом вступать в Общество Красного Креста, плакат, где три пионера держат в руках книжки и улыбаются и, наконец, плакат-лозунг «Играйте в волейбол!». В окно виден широкий луг, речка и лес позади нее.

Молодайка начала хлопотать с самоваром. В колхозе она не работает, а сидит с детьми. Работает в колхозе тетя Настя — мать мужа.

— А где сам муж?

— Он вообще-то в плотницкой бригаде — свинарник да овчарник ставят. Теперь в колхозе большое строительство пошло. Ну а сегодня вся бригада поехала рыбу ловить.

— Выходной разве?

— Председатель в Покров уехал, да и жарко работать, вот и ушли на рыбалку. Сейчас придут, выпивать начнут, проколобродят до полуночи.

На столе появился самовар, сахарница с мелкими кусочками рафинада, тарелка с черным хлебом.

Дед мой любил пить чай с полотенцем, то есть он вешал на шею полотенце и пил, вытирая обильный пот, стаканов по пятнадцати. Видимо, осталось что-то и во мне от деда, потому что полотенце скоро понадобилось. Нужно сказать и то, что целый день мы шли по жаре и что, самое главное, чай был необыкновенно вкусен и душист. Как ни пытались мы выяснить у хозяйки, что за чай, из чего приготовлен и как, она ничего не могла сказать. Твердила только, что чай делает бабка. Вот придет и расскажет, если захочет.

Стало темнеть, и в доме появилась высокая сухая старуха. Это была тетя Настя. Мы так и набросились на нее с расспросами о чае. Она сдержанно улыбалась, довольная, что ее чай хвалят, скромничала.

— Что уж хорошего-то, листочки пьем.

— Да чьи листочки?

— И земляничные можно пить, и малиновые, а кто любит брусничные, а кто и смешивает.

— Что же, вы сушите их в печке, и все?..

— Было бы очень просто. Тоже надо знать, когда сорвать листочки-то...

— Вот и расскажите, когда же?

Но старуха ни за что не хотела рассказывать, как она делает столь вкусный чай. Даже в дорогу дала нам горсть, вытряхнув остатки из огромного осьминного мешка, а рассказать не захотела.

Потом у Верзилина я вычитал рецепт приготовления

чая из земляничных и малиновых листьев. Но не думаю, чтобы бабка пользовалась таким рецептом.

Верзилинского рецепта нам попробовать не удалось, но должен сказать без преувеличения, что вкуснее бабкиного я чаев не пивал. Замечу также, что он был красивого темно-золотого цвета.

Часов около одиннадцати, когда мы засыпали, вернулся с работы хозяин. Он включил репродуктор во всю мощь и ушел выпивать. Пришел снова в два часа, а под утро начал стонать и охать: болела голова. Однако, когда мы встали, его не было. Так мы и не увидели нашего хозяина.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ

День, насыщенный событиями и впечатлениями, пролетает быстро, но зато потом, в воспоминаниях, он кажется огромным.

День бездарный (если, к примеру, проваляться с утра до вечера на диване) тянется с год, а станешь вспоминать — пустое место, словно его и не было.

Мы жили в путешествии насыщенными днями, и теперь, когда прошло время, кажется, что поход длился не сорок дней, а гораздо, гораздо дольше.

Рано утром, позавтракав молоком с хлебом и яйцами всмятку (это была наша обыкновенная еда и в завтрак, и в обед, и в ужин), пошли искать председателя колхоза.

Возле его избы, в зеленой травке, паслось десятка два хорошеньких желтых цыплят, может быть, цыплята запомнились потому, что председатель пил чай и мы четверть часа ждали его на завалинке. Потом он вышел. Это был мужчина лет тридцати восьми, безусый и безбородый, с розовым лицом. Из-под верхней губы выглядывала как бы еще одна губа, особенно когда он улыбался. Председатель оказался словоохотливым человеком.

— Ну что ж вам рассказать? Я ведь недавно председательствую — второй год. Колхоз был объединенный, дела в нем шли очень плохо. Вы это знаете: ошибки, культ личности и прочее. Колхозники получали на трудодень сущие пустяки, вот они и разбегались в города, конкретно в Покров, Орехово-Зуево, Ногинск... А кому некуда было бежать, жили грибами, ягодами, картофелем с усадьбы. На колхозную работу не шли. Земля долгие годы не видела навоза. Скот весь содержался в соседней деревне. Там скотный двор до крыши навозом оброс, а земля истощилась.

Коровы давали по четыреста литров в год, то есть курам на смех... Потом начались крутые меры по подъему деревни. Это вы тоже знаете. Тут нужно главное выделить. А главное, на мой взгляд, изменение налоговой политики — раз, повышение заготовительных цен — два, скощение долгов и ссуды колхозникам — три. Взять те же заготовительные цены. Восемь рублей давало государство колхозу за центнер хлеба. А сейчас как-никак двадцать рубликов. В прошлый год колхоз разъединили, и правильно сделали. Потому что задача объединения — создать большие поля здесь, в нашей полосе, все равно не удается: там овражек, там буеражек, там лесок, там рощица. А руководить хуже — все далеко, все не под руками. При разъединении поступили с Головиным несправедливо: выделили нам самых плохих коров, самых старых кур, самых тощих свиней. Поджарые бегали, как собаки.

Ну что ж, начали мы колхоз поправлять. Работать никто не идет, мы — аванс по три рублика на день [1]. Колхозничек зашевелился. На лесозаготовки раньше народ гоняли, а мы говорим: «Ни-ни!» Кончился год — на трудодень по пятерке. Ого как взволновался народ! Старушке восемьдесят пять лет, а туда же шумит: «Почему работы не даете?» — «Хорошо,— говорю,— бери цыплят на воспитание. С цыпленка платить буду». Что же, взяла бабка шестьсот цыплят. В прошлом году на трудодень по пятерке, а в этом — аванс шесть рублей, а всего планируем по червонцу. Взлет! Так вот и поднимаем...

Скотный двор поставили, овчарник. Теперь за свинарником очередь. Про клевер забыли, какой он есть. А мы теперь клеверок сеем. Десять гектаров целины подняли под эту, как ее... траву... под тимофеевку. Коровы с каждым годом молока прибавляют. Мало, но прибавляют, черт их дери! Теперь вот из Рязанской области в наш колхоз девять семейств перебралось. Значит, и народ прибывает. В прошлый год восемь тысяч рублей израсходовали на питание горожан, что помогать нам приезжали, а теперь своими силами справляемся.

— Почему рязанцы приехали?

— А я завербовал, сагитировал. Так говорю и так: «Давайте в наш колхоз!»

Тем временем мы дошли до мехцехов, которыми председатель обязательно хотел похвастаться.

---

[1] Здесь и дальше цены все старые, дореформенные, три рубля — значат тридцать копеек.

— Здесь мы делаем дранку для крыш. Стоит она триста рублей за кубометр, а если осиной продавать — пятьдесят рублей, значит, обращаемся мы с осиной по-хозяйски. А здесь у нас циркульная пила.

— И леском приторговываете?

Председатель весело подмигнул мне и ничего не ответил.

— А вот была мельница. Когда-то она работала.

Размытая и разрушенная плотина мельницы (все на той же Вольге) представляла жалкое зрелище. Разваливался и сарай, хранящий еще внутри на перекрытиях толстый слой почерневшей мучной пыли, может быть, двадцатилетней давности. Но сытный и вкусный мучной дух, какой бывает на мельницах, давно выветрился.

— В ближайший год восстановим и пустим эту самую штуку. Пусть крутятся жернова, веселее жить будет.

Председатель был, конечно, хвастун в той части, что приписал себе то, что от него вовсе не зависело. Лесозаготовки отменили сверху, а не то чтобы «у нас ни-ни», авансирование деньгами колхозников проводилось в масштабах страны, рязанские семьи он не вербовал, они приехали сами, строительство стало возможно благодаря государственным ссудам, а отнюдь не председателевой изворотливости. Но это все мелочи — главное было в том, что колхоз действительно креп.

Ведь мы вышли в поход как раз в то время, когда в деревне начали сказываться результаты государственных мер и постановлений. Забегая вперед, следует сказать, что в каждой деревне мы видели новые скотные дворы, свинарники, овчарники, зерносклады... В каждом, даже очень слабом колхозе (скоро попадется нам такой) чувствовалось оживление, вывозился на поля накопленный за десятилетия навоз, больше доили коровы. Я представил себе такое. Допустим, через сто лет возьмет историк современные нам газеты и начнет выписывать из них только сводки по надою молока в колхозах. Так вот, только по этим сводкам (не зная других событий) он должен будет заключить, что в жизни страны около 1953—1954 годов произошло что-то такое, от чего коровы (по всей стране) начали давать больше молока.

Мы нарочно не пропустили ни одной деревни и везде спрашивали, так ли это? Да, это было так.

...Развернув карту, мы увидели, что от Головина нет в глубину Ополья, куда мы стремились, никаких дорог

и дорожек, а дороги от него идут на город Покров, то есть назад, почти к тому месту, от которого мы вышли.

В нескольких сантиметрах от Головина заманчиво маячило село Жары. Но пространство между этими селами было залито ровной зеленой краской, и только тонюсенькая голубая ниточка некой речки Кучебжи прорезала лесной массив.

А между тем, глядя на карту, было ясно, что Жары для нас — ключ к Ополью, что там мы попадаем на проселки, ведущие к городу Кольчугину, а там не за горами и Юрьев-Польский — «столица» Владимирского ополья. Это был путь в глубину, тогда как, возвратившись в Покров, мы вышли бы снова на автостраду Москва — Горький, то есть вынырнули бы на поверхность, не успев окунуться.

Вот почему, несмотря на то что головинский председатель сулил до Покрова автомобиль, мы решили форсировать лесное пространство и обязательно выйти к Жарам.

— Не советую,— качал головой председатель.— До Маховой сторожки еще кое-как доберетесь. А там обязательно заплутаетесь. Нет до Жаров дороги, для нас это неезжая сторона. Зайдете сейчас в лес, ну есть тропа, заросшая, но есть. Потом пойдут тропы вправо, влево, что будете делать? Если же выйти на Кучебжу и продираться до Жаров ее берегом, то это тяжело, потому что продираться придется через кусты, через малинник, через крапиву, через болота. Река к тому же виляет, путь удлинится втрое. Лошаденку я бы вам дал, но на лошади и вовсе не проехать. В иных местах топь не пустит.

Мы все же решили идти.

Тогда председатель велел позвать некоего Петровича, который один знает дорогу и все может разъяснить.

Петрович был заросший щетинкой темноволосый мужик с красным распухшим веком. Он старательно принялся рассказывать все повороты, но потом сам запутался и вдруг сказал:

— Ладно, версты четыре я вас провожу, а там уж и расскажу дорогу. А здесь все одно — собьетесь!

В сопровождении Петровича мы углубились в лес.

Кто хоть раз приглядывался к лесам, тот сразу отличит лес колхозный от леса государственного. В колхозном лесу нахламлено, валяются и гниют сучья, валежник, верхушки деревьев (лишь бы ствол-то сам увезти), торчат повсюду непомерно высокие пни (была нужда вытаптывать снег да

нагибаться до самой земли), там и тут истлевают деревья, которые спилить-то спилили, но так почему-то и не вывезли. Деревья в колхозном лесу режут где попало, без системы, молодняк не прореживают. Что уж тут говорить о противопожарных дорожках, посыпанных песком, вроде виденных нами у Введенского озера.

В лес государственный вы входите, напротив, как в хорошо прибранную комнату, в нем просторно, красиво, торжественно. Сучья где попало не валяются, а если они и есть, то в аккуратных кучках, припасенные к сожжению или вывозке. Не встретишь тут и высокого пня, а если и есть пни, то на порубке, когда целые делянки сводятся начисто. Пустые места тут засажены молодыми деревцами, молодые деревца растут по линеечке.

Сначала Петрович вел нас колхозным лесом. В этом не могло быть сомнений. Впрочем, мы больше слушали Петровича, чем смотрели по сторонам: идя с провожатым, не обращаешь внимания на дорогу.

Из разговоров с Петровичем постепенно вырисовывался тип мужика, для которого свет сходится узким клином, а там, в самой узости клина, в самом его просвете, маячит не что иное, как кругленькая медная копейка. Какой бы ни заходил разговор, Петрович умел незамедлительно свести его к одному и тому же.

При заходе в глухой лес от Розы можно было ждать естественного вопроса, и она его вскорости задала:

— А что, волки в этом лесу водятся?

— Полно их,— успокоил ее Петрович.— Да трудно взять. Ко мне прошлый год в сарай забежал. Ну я его и покончил. Молодец волк, сам деньги принес — пятьсот рубликов!

— Наверно, гриба здесь!..— старался я перевести разговор с неприятной темы о волках.

— Неуж мало! Я один год, вскорости после войны, восемнадцать ведер груздей засолил, и продал я их в одно питательное учреждение за восемнадцать пол-литров водки.

— Зачем вам понадобилось столько зелья? Да и продешевили...

— Продешевил... Водка на базаре в то время стоила сто двадцать рубликов пол-литра. Вот и считай...

— И теперь солите грузди-то?

— Солю. Шофера кажинный раз ко мне заезжают. Закуска нужна шоферам. Супротив же соленого груздя ни

одна закуска устоять не может. Те грузди я, значит, меняю у шоферов на колбасу.

Мы помолчали. Среди тишины Петрович вдруг мечтательно вздохнул:

— Глухаря бы добыть!

— Любите эту охоту?

— Как не любить, ежели четыре килограмма чистого мяса, пущай даже по десятке за килограмм...

Когда шли еще луговиной, около деревни, Роза нащипала на ходу крупного сочного щавеля и теперь, вытягивая из кармана по одной щавелинке, ела. Петрович покосился:

— Вот и щавель тоже... Другая баба мешок наберет — четыреста рублей за чулок. Или вот перовскому охотнику повезло...

— Клад нашел?

— Не клад. Рысь на него напала. Сейчас поляна будет, около нее.

— Хорошенькое везенье!

— Как же, ведь рысь-то он убил. Премия полагается, и шкура цену имеет.

— Петрович, а почему вы эту дорогу лучше всех знаете? — снова я повел подальше от рыси.

— Я одно время здесь в Костино за товарами ездил. Около году. Вот дорога (он показал на заросшие травой, еле заметные колеи), я ее пробил. И повадился я так: из каждой поездки чтобы привезти одно полено. За год я такую поленницу навозил, что ежели бы продать...

Но тут наступил решающий развилок, и мы не успели услышать, что было бы, ежели продать всю поленницу.

— Значит, так,— объяснил Петрович.— Держитесь все время лева, и будет Махова сторожка, а там спросите у лесника. От Маховой сторожки вам чуть побольше половины пути останется. Лоси попадаться будут или там в кустах трещать — не пугайтесь. Лось — зверь смирный. Вот бы свалить — это сколько же пудов одного мясища, да рога, да шкура...

Но мы уже горячо поблагодарили Петровича и оставили его одного мечтать о лосях, которым он задал бы перцу, если бы не было риска платить десять тысяч рублей штрафу за каждую голову. Тюрьмой-то он, я думаю, рискнул бы — не беда, а вот десять тысяч рублей! — поневоле дрогнет рука.

Петрович ушел обратно, и мы впервые внимательно огляделись. Не то чтобы на каждом суку нам чудились

рыси, но лес обступил таким плотным кольцом, так темно было в его глубине и так близко от нас начиналась эта темнота, что подумалось: «А может, прав был председатель, не стоило забираться в такие дебри!» То есть тревожила не сама густота леса или его темнота, а то, что дорожка была еле заметна, а по временам исчезала совсем, шагов пятнадцать приходилось делать наугад, а там вроде и снова обозначалась тропа.

Почти тотчас, как попрощались с Петровичем, попалось топкое грязное место. Мы перебрались через него, прыгая с кочки на скользкое бревно, с бревна на брошенное кем-то полено, с полена — на трухлявый пень. Перебравшись через топь, пришлось некоторое время искать продолжения дороги, и тут мы увидели, что никакой дороги дальше нет, кроме тропки, протоптанной парнокопытными животными. Тропа выходила непосредственно из трясины.

— Ну да,— сокрушалась Роза,— мы идем по лосиной тропе, а уж она, конечно, приведет не к Маховой сторожке!

— Подожди, может, это шли коровы. Бывает, что в лесу пасется скотина. Теперь ищи на тропе помет. По помету мы живо узнаем, кто здесь ходит. Если увидишь такие продолговатые крупные орехи (перед выходом я полистал Формозова), значит, мы действительно на лосиной тропе.

Продолговатые орехи не замедлили появиться, тропа была усыпана ими. Как ни старались мы найти еще чьи-нибудь следы, ну хоть намек на ступню человека или лошадиное копыто, ничего не было видно на земле. Была надежда, правда, что лоси приведут к воде, может быть, к Кучебже, и тогда волей-неволей придется идти по ее берегу.

— Смотри, новый след,— испуганно закричала Роза,— да какой большой!

— Это собачий след,— успокоил я ее, а сам-то знал, что за собака оставила на влажной земле отпечаток лапы величиной с человеческую ладонь. Матерый серый хищник медленно шел за лосиным стадом: может, отобьется, отстанет глупый лосеночек.

— Давай я лучше прочитаю тебе стихи,— предложил я спутнице, чтобы развлечь и развеселить ее, и, порывшись в памяти, подобрал наиболее подходящее к случаю:

Ты идешь молодой и веселый,
Незнакомый с усталостью ног,
Твердо веря, что каждый проселок
Доведет до железных дорог.

Ты шагаешь уверенно, зная,
Что совсем не опасен поход,
Что любая тропинка лесная
Все равно до жилья доведет.

Но, блуждая по белому свету,
В глухомань и болота попав,
Иногда без следа, без приметы
Пропадает земная тропа...

— Ну? — встревоженно спросила Роза.

— Все, больше ничего...

— Спасибо, утешил.

Я и сам понял, что стихи подобрались уж слишком к случаю, да было поздно. Но тут лосиную тропу нашу пересекла узкая извилистая дорога. Она густо заросла травой, колеи ее заполнили молодые, чуть повыше травы березки. Так и убегали они вдаль двумя рядками. Больше стало света и солнца, повеселело на душе. Теперь куда-нибудь да придем. Поскольку мы все равно превратились в следопытов, начали и тут, раздвигая траву, искать, кто прошел или проехал до нас. Старанья всегда увенчиваются успехом. Вскоре мы обнаружили довольно четкий велосипедный след. Там, где прерывалась трава, рубчики велосипедных шин были очень хорошо заметны, там, где попадалась сыринка, они так и пропечатывались, хоть считай их по штучке. Правда, уменья нашего не хватило ни на то, чтобы догадаться, в какую сторону ехал велосипедист, ни на то, чтобы узнать, давно ли он ехал, ни тем более на то, чтобы определить марку велосипеда или профессию велосипедиста, как это сделал бы, наверно, опытный следопыт, особенно если он из приключенческой книжки.

Потом началась старая порубка, заросшая плотным, как овечья шерсть, кустарником. Стремительно и величественно поднимались из кустарника редкие медно-красные сосны, уцелевшие от порубки или, может быть, оставленные для обсеменения земли. Свободно гуляет теперь ветер в их высоких зеленых шатрах, ничто не мешает разлетаться семенам далеко по ветру. Стояли сосны далеко друг от друга, разъединенные и словно задумчивые, как могли бы быть задумчивы несколько ветеранов, чудом уцелевших от истребленного, могучего некогда войска. Судя по этим оставшимся красавицам, здесь шумела и гудела, раскачиваясь на ветру, выхоленная корабельная роща.

Жарко и душно стало сразу, как только мы вышли на порубку. Тени не было. Полдневное солнце лилось и лилось

на дорогу. Под солнцем ярко светились, соперничая с ним, необыкновенно высокие, сочные и крупноцветные купальницы. Словно желтая роза был каждый цветок. Собранные в букет, купальницы пахли прохладой и речным туманом. Иногда дорога пересекала обширные, в полном цвету и блеске рощицы ландышей. О приближении к такой рощице мы узнавали по запаху за тридцать или сорок шагов. Как и купальницы, ландыши были здесь необыкновенно крупные и сочные. Листья их шириной чуть не в ладонь, цветы величиной чуть не с лесной орех создавали впечатление нездешнего, экзотического растения. Так шли мы часа два или более, не зная, туда ли идем, куда нужно, или все дальше. непоправимо дальше уходим от истинного пути.

Остался не записанным на пленку исторический возглас Колумбова матроса, который заорал вдруг сверху: «Земля!» Так что навсегда неизвестно, сколько страсти и радости прозвучало в том осипшем от жажды голосе. Положение могло бы быть исправлено, если бы при нас находился записывающий аппарат. Не беда, что слово было другое. Роза не успела вспомнить даже, что должна показаться Махова сторожка, и закричала просто: «Изба!». При этом она запрыгала и захлопала в ладоши, чего Колумбов матрос, наверно, не делал. Впрочем, кто его знает!

Махова сторожка и правда оказалась не чем иным, как бревенчатой избой, обнесенной пряслом. Одной стороной она примыкала к лесу, с другой стороны расстилалась обширная цветущая луговина, на дальнем краю которой угадывалась речка. Было видно, как по речке луговина далеко углубляется в лес и вправо и влево. Шагах в ста от избы, на просторе, росла могучая береза. Под тенью этого дерева могла бы расположиться и рота солдат. Тем вольготнее расположились мы двое.

В лесу нельзя было не только что сесть отдохнуть, но даже остановиться, потому что тотчас появлялись рои жирных, неизвестно на чем отъевшихся желтых комаров. Здесь, на луговине, гулял ветерок и, пока мы отдыхали, ни один комар не пропищал над ухом. Одно это было блаженством.

Оборудовав место отдыха, то есть постелив на цветы все, что было можно, мы отправились к избе на разведку. Я заглянул в окно и увидел за столом семерых (нет, не братьев-разбойников), а просто здоровенных мужиков. Перед ними стояли два алюминиевых блюда, или, лучше сказать, таза, наполненных макаронными рожками, а также несколько

крынок молока. Буханки хлеба громоздились одна на другую на краю стола.

В огороде, рядом с избой, работала девушка, надо полагать, дочь лесника. С ней мы и вступили в переговоры. Оказалось, ни самого Махова, ни лесничихи нет дома — они в три часа утра ушли не то сажать, не то окапывать елочки и вот до сих пор не приходили.

— Нельзя ли купить молока и хлеба?

— Молоко, что было, все подала к обеду рабочим (значит, тем, что сидели в избе), а больше еще не доила.

— Когда придет время доить корову?

— Можно подоить сейчас, но парное молоко будете ли вы пить в такую жару?

— Опустите его в колодец, и оно остынет.

— Если вы не торопитесь, пожалуй, я так и сделаю.— И девушка побежала в лес, откуда послышался ее голосок: «Зорька! Зорька, Зорька, куда ты запропастилась, холера!»

Потом зазвенел колокольчик, и Зорька, дородная, важная корова, вышла на поляну. Она шла гордо, как бы сознавая свое великое значение в жизни людей. Ведь сказал же остроумный исландский писатель Лакснесс, что корова по-прежнему остается более ценным агрегатом, чем, например, реактивный самолет.

— Барыня она у нас,— рассказывала девушка, между тем как первые струйки молока со звоном ударились о дно подойника.— Вон у нее угодья-то какие. Думаете, она подряд траву ест? Как бы не так. Ходит целый день и выбирает по травке. Там травку сорвет да там листик. Зазналась совсем, воображает! Ее бы на солому на месяцок, небойсь живо бы перестала воображать!

Корова слушала болтовню хозяйки и простодушно жевала жвачку. А между тем в ведре пухла, подымаясь все выше, желтая маслянистая пена — парное коровье молоко, в котором есть все, что нужно человеку для поддержания жизни, и которое обеспечит вам железное здоровье, если вы будете пить его каждый день.

Говорят, что вкус молока и его питательность зависят также от травы, которую корова ест. Значит, Зорька знала, какую выбирать лесную траву, потому что молоко ее было не только вкусно, но как бы еще и ароматно.

Мы сидели под березой четыре часа, отдыхая и наслаждаясь отдыхом. Правда, я отнял у себя минут сорок на то, чтобы сходить на речку. Желтые пятна на луговине оказывались, когда подойдешь поближе, зарослями купаль-

ниц, а также козлобородника, который в детстве, помню, мы называли солдатской едой. Его сочные стебли, очень сладкие, брызжут белым густым молоком, которое оставляет черные пятна на лице, на руках, на новой рубашонке.

В нежной розоватости луга повинны были вкрапленные в зелень махровые соцветия раковых шеек.

С приближением к воде менялась растительность. Вот уж показал из травы свои яркие малиновые башенки чистец лесной, выбросила пурпурные стрелы плакун-трава, мелькнули в кустах белые цветы ясныти. У самой воды остро запахло дягилем и мятой. Высоченные деревянистые стебли зонтичных легко переросли прибрежный кустарник и теперь главенствовали тут, создавая ландшафт.

Как и следовало ожидать, Кучебжа оказалась крохотной лесной речкой с ледяной, почти черной водой. Когда я вступил в воду, нога моя выше колена ушла в пухлый ил, и множество пузырьков с урчаньем вырвалось на поверхность.

Дочь лесника долго и старательно рассказывала нам дорогу и наговорила семь верст до небес и все лесом, в заключение же успокоила:

— Только все равно вам одним не дойти, заплутаетесь.

Тогда мы обратились к рабочим — они давно отобедали и теперь нежились в холодке, куря махорку.

— Ни боже мой! Подождите Махова, он вам расскажет в тонкости, а мы не знаем. Мы ведь покровские, с лесничества. Знаем только, что Потапычева сторожка попадется.

Ждать Махова было некогда. Заночевать в лесу — перспектива неувлекательная.

И опять повел нас велосипедный следок. Мы так привыкли к нему, что, когда встретился развилок и встал выбор, идти ли влево, где не было следка, или вправо, где следок был, мы пошли вправо.

Километра через полтора мы увидели парня в голубой рубашке, сидящего посреди дороги. Возле него лежал велосипед. Парень, обливаясь потом, старательно набивал покрышку травой, выбирая траву сухую, прошлогоднюю.

— Авария?

— Да, проколол вот шину, а залатать нечем. Приходится пользоваться подручными средствами.

— Так ли мы идем на Жары?

— Жары? Что-то я не знаю. На Костино здесь дорога, а на Жары — не знаю.

— А Потапычеву сторожку знаешь?

— К сторожке вам надо было левей держать. Вы зря сюда свернули. Здесь — на Костино.

Пришлось возвращаться на старое место. Ладно, разгадали зато таинственный велосипедный след. Сделал его зоотехник, находчивый парень в голубой рубашке. Интересно, поможет ли ему сухая трава?

— Придем в Жары, а там, может, ничего интересного нет,— раздумалась Роза.

— И не нужно, чтобы в Жарах было интересное.

— Почему?

— Потому, что мы варим суп из топора. Весь наш поход — это суп из топора.

— Какой еще суп,— возмутилась она, большая специалистка по супам, тем более что мы успели соскучиться по горячему за эти три дня.

— Разве ты не знаешь сказку «Как солдат варил суп из топора»? Ну так слушай.

Остановился солдат на ночлег у одной старушки и говорит ей: «Бабка, бабка, сварила бы суп».— «И что ты, сударик, не из чего варить-то, не из чего, хоть шаром покати — пустая изба».— «Ничего и не нужно, мы сейчас из топора. На-ка топор, да обмой его хорошенько». Разобрало старуху любопытство: как это так солдатик суп из топора варить будет? А солдат опустил топор в горшок, кипятит, помешивает, пробует. «Хорош будет суп, бабушка, наваристый, только вот сольцы маловато». Ради любопытства чего не сделаешь — дала старуха соли. Опять солдат дует. «Хорош будет суп, бабушка, наваристый, только вот крупки бы добавить». Не заметила, как дала старуха и крупки. Опять солдат дует, пробует: «Хорош будет суп, наваристый, только бы вот маслица ложечку». Полили и маслица. «Теперь давай обедать»,— сказал солдат, вытаскивая топор и пряча его обратно в мешок... Так и у нас с тобой. Может, нет интересного в Жарах, может, и в самом Кольчугине не будет ничего интересного, зато сколько мы видим, слышим, пока идем до тех Жаров или до того Кольчугина!

Заливистый лай собачонки послышался впереди. Это мы подошли к Потапычевой сторожке. Старушка, повязанная черным платком, рассказала, что сейчас будет Колобродово, а там уж и Жары совсем близко. «А лес сейчас и кончится, на краю мы живем, на краю, не сумлевайтесь».

Большая была радость, когда расступились последние ряды деревьев и лесище выпустил нас на волю, на простор полей, кое-где перехваченных веселыми перелесками. Вот и Колобродово. Женщина лет сорока пяти идет от речки, на коромысле два полных ведра. Когда она подошла к своему дому, мы тоже подошли к ее дому и спросили напиться. Но речная вода была теплая и потому противна. Весь день держалась жара около тридцати градусов. Тут и присели отдохнуть.

У женщины было тонкое продолговатое лицо с большими серыми глазами, но тонкость, нежность лица лишь проступала отдельными сохранившимися черточками из-под морщинистой огрубевшей маски. Так из груды обломков может высунуться вдруг угол золоченой рамки богатой картины или крыло рояля. Они-то и расскажут, как было в доме, пока он не разрушился.

— Далеко ли идете? — спросила женщина.

— Верст восемьсот осталось.

— Господи Иисусе!..

Редко стояли дома в Колобродове. Между соседними домами можно видеть две или три ямы, заросшие лопухами и крапивой. Иногда тут же стоит целая печь с трубой, но чаще кирпичи, сложенные в штабель. А то и нет ничего. Два дерева со скворечниками да горькие лопухи. Было похоже это на выпавшие от цинги зубы. Некоторые дома стоят еще исправные, но заколоченные наглухо.

— Мало домов-то осталось, мало,— подтвердила и женщина.— Все больше после войны разбежались — и в Покров, и в Орехово, и в Ногинск, а то и в Москву. Плохо было у нас в те годы. В Лошаках и вовсе один дом остался. Живет там тетка Поля, теперь в Жары хочет перебраться. Мы ведь объединенные с Жарами. И перевезли бы ее в Жары, да грязь была. А второе дело — мужиков во всем колхозе нет, некому и перевезти. В других колхозах, слышно, на поправку идет, а у нас до такой ручки доведено, что не знаю, как и поправим. Главное — народу нет. Ну, да в Жарах вам лучше расскажут. Там и председатель живет.

Шли мы теперь полевой дорогой. Вместе с нами выбралась из лесов и Кучебжа. Она текла недалеко от дороги, и не было теперь на ее берегах ни дягиля, ни мяты, ни плакун-травы, ни разных там зонтичных растений — осока да осока росла теперь по ее берегам.

Сгущались сумерки, когда вошли мы наконец в село Жары, которое утром казалось таким недосягаемым. Вдоль

села расставлены телефонные столбы, линия уходит за околицу и пропадает за отдельным лесом. Еще бросилось в глаза, что все деревья стоят как деревья, а ветлы пожухли, пожелтели, завяли и резко выделяются среди жаровской зелени. С каждой ветлы, если встать под ветви, капает обильный дождь. Листочки свернулись в трубочки. Если развернуть трубочку, там оказывается некая пена, а в ней червячки. Какая-то гадость напала на ветлы в Жарах и погубила их все.

Старик, сидевший на крыльце, у которого мы спросили про ветлы, ответил:

— Кто их знает! Все одно, что кипятком ошпарили.

Под правление был занят дом прежнего богача, большой, на кирпичном фундаменте, обшитый тесом. На крыльце, некогда застекленном, осталось одно только матовое, зеркальной толщины стекло, какие бывают в фешенебельных отелях.

В этот предвечерний час в правлении колхоза никого не было. Мы ходили по коридорам и незапертым комнатам, ища признаков жизни.

Наконец в самой дальней комнате мы обнаружили молодую женщину. Она лежала на койке и ласкала маленькую девочку. Разговорились.

— В беду я попала. Вышла замуж в это село, а теперь разошлись. Сама из-под Кольчугина. У нас там колхозы куда крепче этого. Собираюсь бежать, а председатель уговорил остаться. Ему рабочие руки дороги. Комнату вот в правлении отвел, не знаю, как и быть.

Мы не задерживались в пустом правлении: нужно было подумать и о ночлеге, тем более что усталость брала свое.

Но долго не приходил сон. Закроешь глаза, и подступают из темноты купальницы, ландыши, лосиные следы, густая зеленая хвоя...

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ

Может быть, собравшись в кружок, вспоминают про нас московские друзья: «Да, ушли, и неизвестно, где теперь находятся». Отрешенность эта иногда пугала: случись что-нибудь в глухом лесу, по крайней мере, два месяца не хватится ни один человек.

«Что-то не слышно ничего о них».

«Ходят. Затерялись в земных просторах, как иголка, брошенная в омут».

Что значит «ходят»? Это общее слово. Вам не видно в Москве, что в данную минуту мы сидим за чисто выскобленным столом и наслаждаемся утренним чаепитием вместе с хозяйкой дома — тетей Домашей.

Тетя Домаша, или, если хотите, Домна Григорьевна, женщина лет пятидесяти, крепкая и плотная, одета в красное ситцевое платье белыми цветочками. Она важно подносит блюдечко ко рту и, дуя, шумно схлебывает. Одновременно мы беседуем.

— Где правление теперь, жил богатый подрядчик Горшков. В Москве подряды строительные снимал, набирал артели, строил. Усадьба у него здесь хорошая была. Пруд светлый да глубокий. Бывало, гости к нему из Москвы съезжались. Чистые все такие, видно, баре, даром, что сам из мужиков. Ходят, бывало, дождя нет, жара, а у них зонтики. Для красы, значит, или там для авторитету. Если он чужие дома строил, то мог ли себе плохой поставить? Водопровод был, каменные погреба. Чудил, одним словом.

— Вот и берегли бы, если хороший дом достался.

— Какое! Очень много председателев было в нашем колхозе, и каждый временным себя чувствует: все одно, дескать, прогонят. Каждый год — новый председатель. Ну, правда, один хороший попался.

— Председатель?

— А то кто же! Кочнев фамилия была. Этот мог порядок навести, пожалуй, навел бы.

— Отчего же не навел?

— А как стал он брать нас в железные руки, нам не понравилось. Стали жаловаться в район. С районом он не очень ладил. Крупно, одним словом, разговаривал. Дескать, раз вы лучше моего понимаете, становитесь на мое место. Ну и сшибли! А мог бы порядок навести. Правду сказать, тогда и народу было много. На покос выйдем — жуть! А теперь что ж — мостик развалился, починить некому. Председатель теперешний ночью, чтоб от людей не стыдно, сам чинил. Сначала ничего колхоз был, крепкий, хорошо жили. Потом хуже да хуже. Народ и побежал. Тут и дома стали вывозить — в Покров, в Кольчугино. Председатель была Муравьева — сама сбежала. «Где, где председатель?» А она в городе давно. У меня сын живет в Покрове, да нешто ему там слаже — и за квартиру плати, и за харч плати, да он сразу вернулся бы, если бы чего давали

в колхозе. У других, слышно, давать стали, а у нас еще плохо. На скотный двор полюбуйтесь. Его не видно, двора-то, весь снаружи навозом завален. Стены гниют от навоза, а земля истощилась. Кто повезет? А на чем? Две телеги на весь колхоз, да и у них то колеса нет, то подпруги. В этом году все же вывезли несколько возов.

— Что ж новый председатель, хорош или нет?

— Как вам сказать? На ногу-то он вроде бы ничего, легкий.

Чаепитие окончилось. Мы вышли из избы и сели на траве в тень от дома. Развернув карту, глядели, прикидывали, как будем пробираться на Кольчугино. У соседнего дома сидели на лавочке три старухи. Они говорили о нас.

— Да нет, они рекой шли. Отдыхали около кустиков. А я еще подумала, начальство какое по молоку и мясу.

На велосипеде подъехал к нам мужчина лет тридцати пяти, темноволосый, выбритый, в рубашке с засученными рукавами. Он слез с велосипеда и коротко потребовал:

— Документы.

— Ваши попрошу.

Документов у мужчины не оказалось.

— Я председатель здешний. Вон хоть тетя Домаша подтвердит.

Дал ему паспорта, но он и смотреть на них не стал.

— Эти документы мне не нужны. Я хочу знать, кто вы такие.

— Там все видно: граждане Советского Союза, пол, возраст, брак, все проставлено.

— А на каком основании здесь? Что за карта?

— Путешествуем. По карте сверяемся. Разве запрещено?

— То есть как путешествуете? Зачем? Кто послал? Чего в тетрадь записываете?

Чтобы закончить дело, я показал председателю корреспондентское удостоверение журнала «Огонек», а также членский билет Союза писателей.

— Н-да! А из Покрова никакой бумаги не имеется? Это все не то. Фикция! Должна быть бумага из Покрова.

Все же вскоре поладили. Председатель сел рядом с нами.

— Вот вы ходите, интересуетесь, пишете,— говорил Федор Яковлевич.— Увидели плохой колхоз — и сразу в тетрадку: «Председатель никуда не годится!» Встать бы вам самим на мое место. Да я тридцатитысячник. Приехал

из города дела поправлять. Но вы мне людей сначала дайте. С кем поправлять-то? У колхоза долг государству триста тысяч рублей из года в год переходит. В наличности же — ноль-ноль копеек. Дали ссуду на строительство скотных дворов, но пришлось эти деньги истратить на инвентарь, на семена, и вышло, что ни дворов, ни денег. Аванс нужно платить колхозникам. Ну дали за апрель по три рубля. Теперь второй месяц не плачу. Нечем. Было у меня на книжке своих одиннадцать с половиной тысяч рублей. Накопил, пока в городе жил. Отдал я эти деньги в колхоз. Все равно, что слона горошиной накормить захотел. Опять же картина: ни у меня этих денег, ни в колхозе.

— Как дальше будете?

— Не знаю. Хоть бы лесу кому кубов сто продать. Никто не покупает. Машина есть в колхозе, посылаю ее на сторонние заработки. Подработала она пятнадцать тысяч рублей, зато свои дела стоят. Земля пять лет не унавоживалась. Тетя Домаша у меня самая активная рабочая сила, можно сказать — опора колхоза. Захромала вот третьего дня. Так что нечем у нас интересоваться и нечего тут записывать. Шли бы дальше!

Понимать колхозные дела в Жарах нужно было так: те условия, о которых говорил головинский председатель — изменение налоговой политики, повышение заготовительных цен, государственные ссуды, введение планирования снизу, авансирование колхозников деньгами,— все эти условия являются объективными, равнодействующими для всех колхозов страны. Но колхозы разные. Можно равномерно полить пересохшую грядку живительной влагой. Все же растения посильнее отудобят в первую очередь, растения послабее дольше не наберутся сил, им труднее будет перейти к росту и расцвету. Колхоз в Жарах и есть такое очень слабое растение. Может быть, для таких колхозов нужны еще и другие радикальные меры.

Напрашивался и еще один вывод. Вовремя, очень вовремя были приняты меры по подъему сельского хозяйства!

...Тетя Домаша обмолвилась словом, что Жары славились своими горшками. И тут я вспомнил, как, бывало, отец приезжал с базара и расставлял на лавке горшки. Они были легкие, звонкие, в них виднелись остатки соломы. От огромного (на всю семью щи варить) до копеечного — на детскую кашку, они стояли рядком, такие чистые, такие вроде бы хрупкие, что не только в печку сажать, а и в руки

взять боязно. «Чьи горшки-то?» — спрашивала мать. «Жаринские...»

— Есть тут один старичок, который все помнит. У него председатель колхоза на квартире стоит,— пояснила нам тетя Домаша.

Двинувшись вдоль села, мы зашли в магазин и увидели старика такого старомодного, что хоть картину пиши.

Бодрый, с белой небольшой бородкой, в высоком картузе с лаковым козырьком, в темной рубахе, перепоясанной крученым поясочком (только бы еще гребешок к пояску), он покупал соленую треску, брезгливо поворачивая ее за хвост то на ту, то на другую сторону. Таким я всегда представлял себе деда Каширина.

Мы почти не сомневались, что это и есть дедушка Антон, «который все знает», но все же спросили:

— Не знаете ли вы того дедушку, у которого председатель живет.

— Ступай скорей, сейчас он уедет.

— Нам председатель не нужен, нам хозяин его.

Дед растерялся и тут же признался чистосердечно:

— А я думал, до конца жизни никому больше не понадоблюсь.

Пошли с ним по селу. Деду Антону было теперь семьдесят шесть лет. Он производил впечатление сдержанного, воспитанного человека, привыкшего и уважать других, и требовать уважения к себе. Да, он работал мастером на гончарном заводе. А всего заводов в Жарах было пять. Производили в год до трехсот тысяч штук разных изделий: плошек, крынок, пирожниц, кружек, горшков, цветочниц... Работало по гончарному делу шестьдесят пять человек. Зародилось дело при прадедах. «Мы, молодые, уж не помнили»,— так и сказал про себя — «мы, молодые!». Были в селе три чайные с гостиницами. Почему нарушилось дело? — первое — упал спрос. Все больше теперь алюминиевая посуда пошла да чугунная. Завод к тому же начал переходить из рук в руки. То его району передадут, то опять колхозу. Лет пять назад один начальник решил из местной глины черепицу делать. Позвали деда Антона. «Скажи, годится ли глина?» Дед Антон закрыл глаза, растер глину в щепотке и говорит: «Не годится!» Тогда сочли деда Антона вредителем, сующим палки в колеса районного прогресса. Черепица все же не получилась.

Тем временем мы пришли на место бывшего завода. Сохранился низкий длинный навес на столбах, остов обжигательной печи и груды черепков там и тут.

Обратно шли не селом, а задами, через цветущие залоги.

— Так,— говорит дед Антон.— А вы, значит, путешествуете. Ну да, ну да... Путешествуете. Чем уж вы там заряжены — нам неведомо, а вроде бы путешествуете.

Вдруг он обернулся, снял картуз и широко повел рукой:

— Простору-то сколько, а?

Желто-розовые луга под порывом ветра всколыхнулись, прокатилась по ним голубая волна, словно поклонились травы старику за то, что заметил их. Дыханьем, всем существом чувствовалось, что от самой желто-розовой луговины до самого синего неба нет в воздухе ни одной пылинки, ни одной соринки — ничего вредного человеку.

— Куда уходят с этих-то воздухов! Нельзя землю бросать.— Старик вдруг возбудился, выпрямился, глаза заблестели, голос окреп.— Нельзя золото бросать. Ведь это золото, золото! — И он снова водил рукой по окрестным залогам.— Придет время, спохватятся... Поймут... Все вернутся к земле. Нельзя бросать... Золото...

Потом он, спохватившись, надел картуз, строго откашлялся и пошел вперед, не оборачиваясь. Когда мы прощались, никакого огня, никакого воодушевления в глазах у него уже не было.

— Значит, путешествуете? Ну да, ну да, а чем уж вы там заряжены...

Города как магниты. Поезжайте в северные области: в Новгородскую, Псковскую, Вологодскую. Там только и слышишь: Ленинград, Ленинград, Ленинград! Работать устроился в Ленинграде. За покупками поехал в Ленинград. Учиться буду в ленинградском институте... Огромные пространства нашей страны незримо разделены на поля притяжения больших городов. Подобно тому как сила магнита притягивает к себе железную опилочную мелочь, города втягивают, всасывают в себя людей, живущих на прилегающих пространствах.

Но и каждый маленький городок, который сам подвержен тяготению, тоже магнит. На что уж мал Покров, а сколько мы слышали, пока шли через его «магнитное поле»: люди выехали в Покров, сын живет в Покрове,

председатель скоро вернется из Покрова, хлеб в магазин привезли из Покрова...

Но вот в Жарах мы впервые услышали новое слово — Кольчугино, и стали слышать его все чаще и чаще. Значит, где-то здесь мы и переступили незримую линию. Постепенно сложилось впечатление, что все дороги, по каким бы мы ни пошли, все равно приведут в Кольчугино.

Одна из них, широкая и прямая, рассекала молодой березовый лес. Хоть бы один листочек шевельнулся у березы, хоть бы легкий ветерок проскользнул мимо, хоть бы на минуту прикрыло облаком разомлевшее солнце! Тянуло спрятаться в тень и переждать жару, но в тени под березами, может, и не так жгутся прямые солнечные лучи, зато там душно, меньше кислорода, больше влаги. К отсыревшему телу так и льнут комары, а тут еще появились слепни, да так много, что идешь, машешь руками, а руки сами наталкиваются на эту нечисть и отшвыривают ее. Но глаза страшатся, а ноги делают. Вон кончился березовый лес. Вот кончается и поле. Для леса жара — беда не смертельная. Полям приходится хуже. Растения приостановили рост и переключились на жестокую экономию влаги. Для них это как блокада, и вопрос решается так же, как при блокаде: что придет скорее — смерть или подмога, избавленье, жизнь, в данном случае в виде дождей.

Ни одной чайной не попалось пока что на нашем пути. Молоко с хлебом и яйца всмятку стали надоедать. Зеленый лук с солью вносил некоторое разнообразие в наше меню, но нам хотелось супу, примитивного горячего супу из картошки. Конечно, если бы мы остановились в какой-нибудь деревне на неделю, был бы нам и суп, была бы и каша. А так не пойдешь же в крестьянскую избу просить супу. Каждая хозяйка варит его с утра в русской печи, и только на свою семью. Надежда была на чайные. В Воспушках, говорили, должна быть чайная, и мы спешили туда. Еще по одной причине нужны были Воспушки. Выйдя в поход на высоких каблучках, Роза большую часть пути шла босиком и теперь совсем обезножела. Захудалая лошаденка, запряженная в телегу, была пределом мечтаний Розы.

Воспушки — село длинное, построенное в две улицы. Видно, как торопливо оно латается, подрубается, обновляется, строится, наверстывая упущенное за свои худшие годы. В каждом доме что-нибудь было новое. Там — крыль-

цо, там — терраса, там — три нижних венца, там — крыша, там — наличники, там — забор, там — двор, там — ворота, а там — и весь дом. Срубов пять или шесть стояли на улице, приготовленные к превращению в дома. Кое-где белые, смоленые лежали бревна, приготовленные к превращению в срубы. А там — доски, которыми завтра обошьют крыльцо, а там — тес, в который завтра оденут избу.

На улицах не то что в Жарах — оживление. Нарядные девушки ездят на велосипедах и ходят пешком небольшими группами.

Дом, где помещается чайная, пожалуй, исключение: ничего нового не видно в нем. Мы устремились в дверь, но, увы, она была закрыта изнутри. Тогда я в отчаянии полез в открытое окно и увидел пустую комнату, застланную газетами. На табуретке стояла женщина и большой кистью водила по потолку.

Усевшись на крыльце сельсовета, мы думали, что нам попросить в первую очередь у местных жителей: горячего супа или лошадь. Но тут подошла женщина и бросила мимоходом:

— Чего сидите? Чай, нынче воскресенье, нет никого. И в метеесе выходной, и в колхозе. Приходите завтра.

Рюкзак сразу стал тяжелее, словно в него добавили пару увесистых кирпичей. Ноги заболели шибче. Настроение упало.

На выходе из села открылись направо и налево чудесные виды: большие пруды, зарастающие травой, кувшинками, осокой, рогозом, остролистом. И по берегам прудов и на островах — развесистые деревья. Пруды эти вернее было бы назвать болотами, но все же сверкали белизной облаков и синевой небес открытые участки воды.

Мы замедлили шаг, и скоро нас догнала молодая женщина. Она рассказала, что были здесь пруды с водопадами, беседками и лебедями. Достались селу после барина (вон его дом на горе), и был еще до войны некий председатель сельсовета, который принял «мудрейшее» решение разрушить плотину и спустить воду. Имел ли он далекую мысль реконструировать данный объект на новый лад история умалчивает, так или иначе, ничего, кроме болота, не получилось. Председателя этого мало кто и помнит (сколько их сменилось за это время!), а вот дело рук его

живет. Впрочем, не поздно было бы и теперь взяться той же МТС вычистить пруды, поставить плотину, вернуть земле и людям ее красоту, оздоровить место, что вот-вот и станет очагом малярии.

Над прудами — парк. Тоже некому руки приложить, каждый считает, что не его это дело. В парке деревья со всего света, говорят — шестьдесят видов. Мы сунулись было в него, но как скоро попали в заросли крапивы, то и вернулись обратно.

Барский дом, где МТС, еще исправен. Но каменные службы, которые могли быть весьма полезны машинно-тракторной станции, совершенно разрушены, как если бы подверглись бомбардировке.

Сами так разрушиться они не могли, значит, их разрушили. Но зачем?

Так в Снегиреве, где было имение Салтыковых, не осталось от дворца и целого кирпича: все было превращено в груды мелкой щебенки, которая уж и не проглядывает теперь сквозь разросшиеся, одичавшие кусты сирени.

Большое торговое село Черкутино долгое время выглядело как после бомбежки. Но вот нашелся хороший председатель колхоза, Клепиков, и лишенные крыш кирпичные остовы двухэтажных домов стали лататься, чиниться, приводиться в порядок. Когда я впервые увидел это, мне подумалось: значит, и правда пошли в гору дела колхоза, если дошел ряд и до этих домов.

Почему бы и в Воспушках МТС не взяться за восстановление каменных служб? Ничего, что они были барские, сгодятся и в нашем хозяйстве.

...Потом по дороге мы купались в маленькой речке под названием Большая Липна. В ней, несмотря на знойный день, текла студеная вода, потому что большую часть своей жизни Большая Липна проводит в лесах, а здесь, где мы купались, только ненадолго выбежала на луговое раздолье и не успела еще обогреться.

Потом мы снова шли. Из леса, почти под ноги нам, выскочила лисица. Она была тощая и безобразная. Шерсть на ней висела клоками. И ей было жарко.

На исходе дня лесная дорога сбежала в глубокий овраг, круто повернув вправо, выскочила стремительно наверх и, не разобрав за деревьями, врезалась в большое село — Караваево, пропоров его насквозь от околицы до околицы. Дома все каменные да каменные: было раньше Караваево тор-

говым селом. Сидят на лавочке перед домом женщины, всматриваются в нас: что за люди, вроде нездешние.

— Бабоньки, где бы ночевать устроиться?

— А вы кто такие будете?

— Люди.

— От какой организации?

Ого, грамотный народ!

— Мы сами, без организации.

— Как так без организации, этого не бывает.

Кое-как отыскали мы заместителя председателя колхоза, и он устроил нас на ночлег в небольшом деревянном домике с двойными зимними рамами. Было в доме душно и жарко. Но через минуту Роза уже спала, постелившись кое-как на полу. Тем не менее в ее дневнике за этот день впоследствии была обнаружена запись: «Сегодня первый день начинает зацветать ромашка. Уже обозначились белые лепестки, но они еще как бы собраны щепоткой. Завтра, наверно, раскроются. Второй день цветут колокольчики. Видела гвоздичку, у которой из всей звездочки выпрямился пока один яркий лучик».

ДЕНЬ ПЯТЫЙ

Ранним утром, когда все спали, я вышел на цыпочках из душной, жаркой избы и как будто не на улице оказался, а вошел в тихую, неизъяснимой прозрачности солнечную воду — такая охватила свежесть. Трава еще не обсохла от росы, хотя блистания росного, когда висят на траве крупные седые капли, уже не было.

С главной улицы тихого села повела тропинка в проулок, под гору. Гора становилась все круче, и вот впереди сверкнула затуманенная река, а за ней запереливались красками уходящие в далекую даль луговые просторы. Это Пекша, первая порядочная река на нашем пути!

По бережку, по бережку добрался я до мельничной плотины, которая теперь была прорвана. Вода обрушивалась на торчащий из прорванного тела плотины лозняк и, падая, дробилась о него так, что по тихому мельничному омуту ниже плотины плавали клочья пены. Ивняк повис над омутом. Ни один рыболов не мог бы смотреть на это спокойно. Именно такие мельничные омуты описываются в рыболовных книгах как самое верное и надежное пристанище рыб.

Не успел я прыгнуть в воду и проплыть хотя бы двадцать метров, как к реке подошел молодой парень, он сел на траву и стал расшнуровывать башмаки.

— Рыбищи, наверно, тут,— осведомился я, когда парень подплыл ко мне,— прорва!

— Что вы, нет ни одной рыбины. Кольчугино в верхах стоит — вся рыба передохла.

Одевались мы вместе. Парень оказался заведующим сельским клубом. Звали его Володя Сахаров.

— Я слышал, вы всем интересуетесь? — спросил он.— Пойдемте склепы смотреть.

— Какие склепы?

— Настоящие, фамильные — графов Апраксиных, князей Воронцовых.

В прицерковной траве валялись и то и дело попадались нам под ноги то черепная кость, то бедро, то обломок человеческого таза. Там и тут виднелись в высокой траве опрокинутые каменные памятники. Удалось разобрать несколько стершихся, забитых землей надписей: «Секунд-майор Андрей Алексеевич Кузьмин-Караваев, Владимирской губернии предводитель дворянства. С 1797 по 1802 год...», «Действительный статский советник граф Николай Петрович Апраксин...», «Князь Константин Федорович Голицын, помяни его господи, когда придешь во царствие твое...».

— А вот здесь,— объяснил Володя Сахаров, когда мы снова вылезли на солнце,— стоял памятник князю Воронцову, и пошли слухи, что под памятником тоже склеп, а в склепе сам фельдмаршал Воронцов при золотой шпаге. Наши сельские, однако, не додумались, а может, не посмели, зато посмели приезжие киномеханики. Ночью они начали копать землю и наткнулись на кирпичную кладку. Потом в кирпичной кладке обнаружилась железная кованая дверь на замках. Замки, конечно, сорвали, открылся ход в темноту. Правдивые ходили слухи. Действительно, лежал в склепе фельдмаршал Воронцов. Остались от него эполеты, ботфорты с длиннющими узкими носами и шпага, но, увы, стальная. Тут приехал милиционер. Эполеты и шпагу он отобрал и увез с собой, а ботфорты все валялись. Их сельские ребятишки примеряли на свои ноги. Вот сколько старины в нашем Караваеве,— заключил Володя.— А то еще в Митине — рядом село — стали пень корчевать, а в корнях — бочонок с вином.

— Выпили?

— Знамо, выпили, не выливать же. Там именье барское, в Митине, теперь больница в нем. Не так давно повадился бывший барский управляющий. «Возьмите,— говорит,— меня завхозом. Привык,— говорит,— к этим местам. Молодость здесь прошла, и умру здесь». Не взяли. Раза четыре из Москвы наезжал, а не взяли. Такая мысль есть, что знает он, где клад в именье закопан. Ему ведь там все уголки-закоулки знакомы. Видать, хитрый старик. Дескать, устроюсь кладовщиком и достану.

— А может, и правда на места молодости потянуло?

— А хоть бы и так. Места его молодости лежат совсем в другой стороне. У нас, в Советском Союзе, их нет. Конечно, можно бы и взять его завхозом, но ведь он для нас вроде привидения — выходец с того света. Мы только из книжек Тургенева про управляющих слышали. А тут, пожалуйста! Да и что ему среди нас, живых современных людей, делать? Как хотите, а, на мой взгляд, правильно его не взяли.

Пока мы занимались склепами и разным гробокопательством, утро кончилось. Володя потащил меня в клуб показывать архивы сельской библиотеки, основанной еще в 1898 году. Нужно было читать какие-то пожелтевшие счета и отчеты, где значились все расходы библиотеки с точностью до копеечки.

Володя показал списки книг, поступающих ежемесячно. Тут была и художественная литература, и политическая, но больше всего сельскохозяйственная, которую в деревне, кстати сказать, читают мало.

— Библиотека ваша, конечно, выросла с тех пор?

— Еще бы не вырасти! Когда копаешься в этих отчетах, разные мысли приходят. Бедные они были по сравнению с нами, это верно, но главное не в бедности. Как думаете, в чем главная разница между их старой библиотекой и нашей новой?

— Ну, книг, наверно, больше стало...

— Книг, конечно, больше, но это не закономерная разница, случайность. Библиотека их могла бы быть и обширнее.

— Ну, книги, наверно, не те были. Все-таки много новых книг с тех пор написано.

— Не там копаете,— смеялся Володя Сахаров, все скрывая от нас свою загадку.— Это все незакономерные разницы.

— В чем же все-таки закономерные-то?

— В главном, для чего и есть наша библиотека,— в читателях. Кто был читателем в прежней библиотеке? Пять-шесть человек из всего села, никак не больше. Дьячок, да попадья, да волостной писарь, да Крашенникова дочки — вот и весь состав. Остальные — безграмотные, да и не до книг. Теперь же наши читатели — все село от мала до велика. Старушка какая-нибудь, старичок седенький — туда же, очки на нос, и пожалуйста ему последнюю новинку. «А нет ли,— говорит,— у вас Вернада Шова, который из английской жизни все описывает?» Значит, подавай ему Шоу — и никаких гвоздей. Вот в чем главное,— довольный, засмеялся Володя.— Читателей сколько стало у нас, да и они не те. И так, наверно, по всей стране, по всем библиотекам.

А в это время в доме, где мы остановились, шел интересный разговор. Хозяйка, женщина лет пятидесяти шести, с усталым, несчастным и как бы окаменевшим в несчастье лицом, рассказывала свою жизнь. У нее было трое детей: старшая дочь, теперь бы ей было тридцать три года, погибла во время войны; младшая — лесотехник, живет в Волжске; сын работает в Донбассе.

Но вот Роза спросила хозяйку, есть ли у нее муж и что за мужчина сидел вчера в кухне. Я тоже обратил внимание на этого мужчину. Он сидел на лавке, облокотясь на колени, и курил махорку. Тощее лицо его со впалыми висками и щеками показалось мне липким, как бы туберкулезным. Впечатление усугубляли жиденькие, словно прилипшие к черепу волосы. Было ему около шестидесяти лет.

— Не знаю, как назвать его,— печально вздохнула женщина.— Муж он был мой, тридцать шесть лет хорошо жили. А потом задурил, спутался с девкой из соседнего села.

— Молодая?

— Дочери его первой ровесница — с двадцать третьего года. Пять лет волынил. То к ней уйдет, то опять ко мне. А вот уж два года, как совсем ушел. Он-то, может, за молодостью погнался. Ее не пойму, что ей в нем, молодой да здоровой, ведь не знаю, чем и скрипит.

— Вчера-то навестить приходил?

— Квартирант он у меня теперь. Живет у нее, а работа его здесь, в Караваеве. Пекарь он в пекарне незаменимый. Попросился на квартиру — не отказала, будь он проклят!

Признаться, нас удивил такой поворот в событиях. Любовные и семейные драмы разнообразны, и нет двух похожих. Но чтобы из мужа на тридцать восьмом году супружества превратиться в платного квартиранта,— согласитесь, такое случается не часто.

Алексея Степановича Глинкина мы нашли в правлении колхоза, в двухэтажном каменном помещении.

— Что же, если спутница обезножела — поможем.— И тотчас дал распоряжение запрягать лошадь.

Было в этом правлении чисто, прибрано, аккуратно, не то что в Головине или в Жарах. Далеко ли ушли мы от Жаров, а какая большая разница.

— У нас дела не плохи,— подтвердил и председатель.— То есть хвалиться особенно нечем, но растем. В этом году надеемся шестьсот тысяч дохода получить. Но для нас это не средства, нам нужен миллион.

Я не мог спастись от литературной ассоциации и шутливо спросил:

— Вам как его, по частям или сразу?

Может быть, Алексей Степанович тоже читал «Золотого теленка» и принял игру, а может, так совпало, но он ответил:

— Мы бы взяли и по частям, но нам нужно сразу. Да вы не смейтесь. Через год будет у нас этот миллион. Каждая корова, если считать с тысяча девятьсот пятьдесят третьего года, стала доить на шестьсот литров больше. Кроме того, коров у нас было пятьдесят, а теперь сто пятнадцать.— Тут председатель опять вздохнул.— Но нам нужно двести двадцать пять. Сад колхозный на тысячу деревьев мы разбили. Тоже доход будет приносить. Строительство, можно сказать, все осуществлено. Овчарник, свинарник, зерносклад, овощехранилище, скотный двор... Весь колхоз радиофицирован. В пяти деревнях из шести уже есть радио. Вот объединение, нужно сказать, нас подкузьмило. Увлеклись. Подошли шаблонно. Давай создавай гиганты! И получилось так, что земли наши теперь Пекша делит. Это такое неудобство, что хоть снова разъединяйся. Да... Ну, авансик, конечно, аккуратно даем, по два рубля на трудодень. Колхозники оживились, избы свои начинают латать, подрубать, прихорашивать.

— Вы говорили, что коровы на шестьсот литров стали больше доить. А почему?

— Во-первых, просто потому, что внимание обратили, добиваться начали удоев-то. Было так, что никто никогда не интересовался, сколько доит корова. Шла доярка от коровы к корове, да в одну бадью все и сдаивала. Теперь не то, теперь граммы считаем и за граммы эти боремся. Активность началась.

— Вику не сеете на зеленый корм?

— Вику! — У председателя просветлело лицо, как будто вспомнил о чем-нибудь из безвозвратного золотого детства.— Вывелась вика у нас. В этом году не удалось семян достать. Но мы обязательно достанем. Вика! Питательность какая! Вкус, витамины, и земля одновременно удобряется, а не наоборот. Затраты труда никакой. Бросил семена в землю и жди урожая. Подсевай в разные сроки — самый лучший зеленый конвейер, не надо никакой...— Но тут председатель не то поперхнулся, не то помешал ему вошедший колхозник.

Так мы не узнали, чего не надо. Колхозник сказал, что лошадь запряжена и можно ехать.

Прихотливо извивающаяся линия маршрута ползет по карте за нами следом. Глубоко уже врезалась она во Владимирские земли и врезается с каждым днем все глубже и глубже. Нельзя представить, что лишь четыре дня назад выехали мы из Москвы. Кажется, прошло с тех пор не меньше двух недель, так много впечатлений легло между нами, едущими сейчас на телеге по селу Караваеву, и тем деревянным мостом через реку Киржач, от которого начиналось странствие.

Два паренька лет по двенадцати едут с нами за возчиков. Одного зовут Коля, другого Николай. Так они просили называть их, чтобы не было путаницы. Оба они одного росточка, оба русоголовые, бойкие, смышленые. Кажется, и разница вся между ними только в произношении их тоже одинаковых имен. Чувствуется, что и Коля и Николай нетвердо знают дорогу и волнуются, как бы не завезти чужих людей куда не следует.

— Главное, на Троицу не попасть,— шепчет Коля.— Через Троицу в два раза дальше будет.

— Не попадем,— шепотом отвечает Николай.— Правей держать будем и не попадем. Тпру!.. Травки подбросить, чтобы помягче.

Мальчики уходят в кусты и возвращаются с двумя

охапками мягкой, сочной травы, перемешанной с цветами. Они разравнивают ее по телеге.

— Устраивайтесь как следует,— по-хозяйски предлагает Коля.

Едем не спеша. На горе, где лошади потяжелее, я спрыгнул с телеги и пошел тихонько сзади. Коля с Николаем переглянулись и тоже слезли с телеги. О чем-то пошептались. Должно быть, такого поступка они не ожидали от городского человека и теперь срочно исправляли свое коллегиальное мнение о нем. Где им было знать, что я умел уж ходить за плугом, когда их еще не было на свете. Так и едем — по ровному месту на телеге, в гору пешком, а под гору — так и трусцой, при этом Николай крутит над головой конец веревочных вожжей и кричит: «Эй, она царя возила!» Лошадь трусит и недоуменно прядает ушами. Она явно не может припомнить подобного случая из своей биографии.

Плывут навстречу перелески, осталась позади старинная дубовая роща с развалинами церкви, заложенной будто бы Иваном Грозным, когда шел он воевать Казань, и вскоре мы въехали в самый настоящий колхозный лес. Все в нем перепутано настолько, что без топора и не продерешься сквозь чащу. Хотя бы путные росли деревья, а то так себе, все больше осина. Видно, что здесь между каждыми двумя деревьями идет борьба не на жизнь, а на смерть, и, в сущности, перед нами не просто лес, а поле битвы, не прекращающейся ни днем, ни ночью.

Дорога становится все уже. Теперь нельзя ехать, не подобрав ноги на телегу: оцарапает колени, еще и прижмет и прищемит между наклесткой и какой-нибудь истлевающей на корню осиной.

Чем дальше мы ехали по узкой и тесной дороге, по которой до нас вряд ли кто проехал в предыдущие два месяца, тем тревожней перешептывались Коля и Николай.

— Куда-нибудь вывезет,— доносились обрывки разговора.

— Только бы на Троицу не попасть!

— Теперь хоть бы и на Троицу — все деревня!

Дорога шла под гору. Земля под колесами отсырела. Далеко впереди забрезжил свет, и Коля с Николаем повеселели.

Широкая, метров двести, река цветов и травы пересекала лес. Мы подъехали и остановились на ее берегу. Никакой дороги в траве не было видно.

— Ничего, на той стороне опять будет дорога,— шепнул Коле Николай.— Только бы переехать на ту сторону.

Переехать мешала канава, наполненная жидкой грязью, она отделяла лес от реки цветов. В канаве плавали три бревна. Я попробовал наступить на одно из них, оно начало погружаться в жижу. Два обломанных бревна торчали из грязи острыми концами. Поскользнувшись, лошадь могла напороться на них. И вообще, сломать ногу ей здесь ничего не стоило. Обязанности распределились так: я тянул лошадь под уздцы, Коля правил, Николай понукал прутом, Роза наблюдала из безопасного далека. Лошадь упиралась, приседала на задние ноги, причем голова ее совсем вылезала из хомута.

— В сторону! — вдруг не своим, требовательным и грубым голосом закричал один из мальчиков, я уж не понял который.

Инстинктивно поддавшись требовательности окрика, я отпрянул в сторону, и в то же мгновенье на уровне своего лица, в двух вершках от него, увидел мелькнувшее в воздухе кованое копыто. Лошадь, как зверь, прыгнула через канаву. Оглоблей отшибло меня в сторону, и телега прогрохотала мимо. Нужно было обладать немальчишеской опытностью, чтобы предугадать прыжок лошади, да еще и успеть предупредить о нем. А лошадь между тем мирно стояла среди луга, выше чем по брюхо утопая в разнотравье и разноцветье.

Удивительно перепутались здесь лесные цветы с луговыми. Еще на опушке можно было найти розовые кошачьи лапки или белые пирамидики заячьего уха, а уж рядом дремали, смежив на дневное время свои венчики, цветы собачьего мыла. Лиловые кисти кукушкиных слезок росли рядом с медвежьим луком, вороний глаз цвел неподалеку от куриной слепоты, а метелки лисьего хвоста высоко поднимались над полянками петушиного гребня. И царские кудри, и золотые розги, и ятрышник с любкой — эти российские родственники бразильских орхидей, и яркие связки золотых ключиков — все это росло, цвело, шумело пчелами и шмелями, скрывая от нас дорогу.

Коля и Николай разошлись в разные стороны искать, нет ли где колеи. Их русые головы мелькали в высокой траве. Но колеи нигде не было, и мы поехали зигзагами по цветущему лугу. Лошадь упиралась, шла неохотно. Приходилось не только понукать ее лозой, но и тянуть за узду.

— Нужно выехать на старое место и пустить лошадь одну,— пришло в голову Николаю.— Если она была здесь хоть один раз, то сама найдет дорогу.

Так и сделали. Лошадь сама, и гораздо охотнее, пошла не вправо, куда мы ее тянули силой, а левее, и скоро, преодолев сырое, чавкающее пространство, вывезла на колею. Николай торжествовал. Да и все мы торжествовали. Оно хоть и красиво заплутаться в цветах, но все же лучше не заплутаться.

Дорога шла хорошая, торная, а Коля с Николаем переглядывались все тревожнее и таинственнее. Они явно были чем-то обескуражены и даже не шептали, как сначала: «Не попасть бы только на Троицу».

Показалось село. У крайнего дома спросили старушку, что это.

— Троица, сударики, Троица, она самая и есть.

— Далеко ли до Дубков?

— Как вам сказать, мерили тут черт да Тарас, а у них веревка оборвалась. Один говорит: «Давайте свяжем», а другой говорит: «Так скажем». Поезжайте, доедете.

Из всей Троицы запомнилось, как через дорогу бегали девушки с тарелочками. На каждой тарелочке лежало печенье. Нам объяснили, что здесь дом для престарелых, и теперь у них полдник.

Справа долго тянулось фиолетовое поле цветущего люпина. Земля потрескалась. На дороге толсто и пышно лежала пыль. Когда же въехали в Дубки, то есть попали на каменную дорогу, соединяющую Владимир с Кольчугином, проскочивший грузовик поднял такую дымовую завесу, что пришлось закрыть рот, чтобы не хрустело потом на зубах.

Дубки стоят на горе. Отсюда хорошо было оглянуться назад. До горизонта тянулись леса, черные на переднем плане, синие вдали и затуманенные там, где обрывается глаз. Кое-где расползлись по лесной черноте белесые дымные пятна лесных пожаров. Кое-где ярко проглядывала зелень лугов. Радостно было оглянуться на эти леса еще и потому, что по ним протянулась незримая извилистая ниточка пройденного нами пути.

Мы расположились на обочине дороги и стали ждать попутной машины до Кольчугина. Отсюда до него не более двенадцати километров. Коля и Николай поехали обратно. Мы хотели дать им по десяти рублей на пряники, но они не только отказались от денег, но еще и обиделись.

— Смотрите, снова не заплутайтесь. Дело к вечеру,— советовали мы им.

— Нет. Теперь мы прямо на Троицу...

Грузовик подобрал нас через три часа, то есть к вечеру. В кузове было полно народу, главным образом женщины. Сидели на полу или на своих вещицах. Около пятнадцати человек ехало стоя, держась друг за дружку. Грузовик возил кирпичи, и теперь на дне кузова лежал пышный слой красной кирпичной пудры. На сильных толчках она поднималась кверху, окутывая автомобиль красным облаком. Люди все тоже стали красные. Когда на окраинной улочке Кольчугина мы сошли на землю, пришлось вынимать из рюкзака все вещи и перетряхивать их по одной, об одежде нечего и говорить. В волосах, в ушах, в носу — всюду была красная кирпичная пыль.

В Кольчугине в своем деревянном домике живет тетя Вера — сестра моего отца, и мы долго решали, где нам остановиться: у нее или в гостинице? Нас смущало это постилание на полу, эта теснота, это чувство, что стесняешь людей, какие бы там родственные чувства ни были.

В гостинице девушка-администратор сказала как отрезала: «Нет ни одного места. Если хотите, я дам вам какой-нибудь адрес. Некоторые кольчугинцы пускают постояльцев, и мы держим с ними связь». Она написала что-то на бумажке и дала ее мне. Выйдя на улицу, я прочитал адрес, который знал с детства. Значит, тетя Вера тоже пускает постояльцев.

Толкнув дощатую калитку, мы с пыльной, разъезженной улицы перешли в тихий, прохладный садик, заросший понизу буйной травой. На крыльце покосившегося деревянного дома стояла, развешивая на веревку тряпицы, худая, пожилая, или, лучше сказать, старая женщина. Вот она увидела нас, бросила тряпки, всплеснула руками... Мы, конечно, не сказали ей, что успели побывать в гостинице.

ДНИ ШЕСТОЙ, СЕДЬМОЙ, ВОСЬМОЙ И ДЕВЯТЫЙ

Никто не мог объяснить толком, почему здесь (в те времена глухом лесном медвежьем углу, от которого до ближних медных руд вот уж и правда хоть четыре года скачи — не доскачешь) зародился некогда медеплавиль-

ный заводишко. Может быть, обилие леса, то есть топлива, и есть главная причина, а может, и то, что с головой был первый заводчик и правильно прикинул: в глухом лесном краю рабочих людишек бери не хочу, и совсем они дармовые.

Как бы то ни было, но однажды, сколько-то там десятилетий назад, потянуло над лесами вонючим ядовитым дымком желтоватого цвета, какого не могло быть ни от гнилушек, ни от хвои, ни от прошлогодних листьев, ни от дурман-травы. Вместе с первой медеплавильной печью возник (где теперь стоит Дворец культуры) кабак, и пошло на лад медеплавильное дело.

Одно из ярких воспоминаний моего детства — бестрепетное желтое зарево, проступающее над дальним лесом в особенно темные ночи. Там Кольчугино, говорили люди, большой завод, большой город. А мне, наслышавшемуся сказок, представлялось все одно и то же: слетаются с разных сторон огнеперые жар-птицы клевать янтарное Иванушкино пшено. Поэтому и светится небо за черным еловым лесом.

...В проходной завода, а вернее сказать, заводов, потому что их тут два, у нас тщательно проверили пропуска, сличая их с паспортами, и началось хождение по цехам. Первый цех, куда мы пришли, был литейный. После ослепительного полдня световое состояние цеха показалось нам полумраком. В полумраке что-то маячило, вспыхивало, полыхало то красным, то зеленым, то голубым огнем. Тревожные звонки проносящихся над головой кранов, шипенье, свист и как бы шумные вздохи машин делали музыку этого цеха. Вот льется струя металла в продолговатую форму. Внутренние стенки формы были смазаны, и теперь смазка сгорает красным пламенем, а сам металл облизывают трепетные, бегучие зеленые языки. Значит, вот откуда разноцветье вспышек.

Молодая женщина с продолговатым бледным лицом над белым (потому что белая кофточка) треугольным вырезом черного рабочего халатика вместо доброй феи повела нас. Она оказалась заместителем начальника цеха Ниной Григорьевной Яковлевой, воронежской уроженкой, окончившей одиннадцать лет назад институт цветных металлов, что возле Крымского моста в Москве.

Нина Григорьевна объясняла нам сухо и деловито. Она старалась, и видно было, что хотелось ей рассказать как можно живее, да ведь не все специалисты обладают популя-

ризаторскими способностями как, впрочем, и не все популяризаторы достаточно хорошо знают дело.

Из сплавов частью в Кольчугине, частью на других заводах страны делают разные изделия. Вот уж мы идем мимо больших брикетов золотистой прессованной стружки (значит, попадет бронза и под резец), а вот уж видим, как на наших глазах, за несколько минут, из раскаленного металлического полена получается длинная тонкая труба. Она (не подберу другого слова) течет из стана прозрачно-красная и остывает, становясь обыкновенной желтой латунной трубой.

Из одного стана труба льется тоненькой струйкой, из другого хлещет целым водопадом. Потом в такую трубу можно будет просунуть и голову. А там из стана стекает не труба, а медный пруток, а там течет, извиваясь, тонкая бронзовая лента.

Здесь, в цехе, я и вспомнил, как шли мы через деревни и села, опустевшие наполовину.

— Где же народ?

— В Кольчугине.

— Куда подевались все?

— Ушли в Кольчугино.

Вот сидит, подперев щеку рукой, русый парень в белой рубахе. Он сидит над резервуаром с кислотой, а задумчив так, будто присел около тихоструйного, с кувшинками, омутка. Мимо парня льется и льется в резервуар бронзовая лента. Она должна зачем-то побывать в кислоте.

— Давно работаете?

— С сорок шестого.

— Откуда пришли на завод?

— Недальние мы, из деревни Новоселки.

Другие рабочие называли окрестные деревни. Все, как один, называли окрестные деревни. И правда, города-магниты.

Из многих разговоров поняли мы, что прельщает людей городская жизнь главным образом определенностью заработка: хоть и пятьсот рублей, а знаю твердо, что получу. Придет день получки, отдай — не греши! А там целый год работаешь, и неизвестно, что тебе в конце года дадут.

— Теперь,— говорю им,— изменилось, авансировать стали ежемесячно, где по два рубля, где по пяти, а где и по червонцу.

— То-то слухи пошли. Вот надо письмо сродственникам в деревню послать. Пусть отпишут. Ежели так — конешно. А то ведь что же зря-то!

Посмотрев разнокалиберные трубы, разнопрофильные прутки и ленты, назначение которых для нас не совсем ясно, вдруг мы попали в мир вещей, знакомых и понятных. Нас окружили со всех сторон умывальники, чайники, кастрюли, сковороды, соусницы, мороженицы, половники, а также те знаменитые мельхиоровые вилки, ложки, ножи и подстаканники, что продаются не в каких-нибудь там посудо-хозяйственных, а в ювелирных магазинах.

Подставляется мельхиоровая полоска под ударную тяжесть двухсот семидесяти тонн, и тотчас получается из полоски оформленная ложка, даже и с рисунком. Ложка еще не красива, и над ней придется поработать. Ее будут воронить, шлифовать, серебрить, пока не станет она в одном месте блестящая, словно зеркало, а в другом матовая, с черниной, как бы старинное серебро. Еще недавно шлифовка была ручной: три да три неудобное ложечное корытце, пока не увидишь в нем своего искаженного кривизной отражения. Теперь женщины сидят возле станков. Диск с плотными тряпочными краями вращается быстро и равномерно. Подставь под него металл, надави как следует, и работа закончена.

Для подстаканников берут длинную полоску с проштампованным рисунком, сворачивают ее в кольцо и спаивают. Потом также воронят, серебрят, шлифуют. Десятки изделий («вот какой наш ассортимент!») перечислил нам бригадир Шамолин. Да всего не упомнишь!

— Ассортимент богатый, а рисунки очень однообразные. В магазинах и то заметно. Как пойдут три богатыря, так и идут несколько лет. Или Кремлевская башня. На дешевый алюминий и на благородный мельхиор вы ставите однородные рисунки. Правильно ли это?

Тут Роза не удержалась от чисто женского сравнения и сказала, что нельзя одну и ту же расцветку пускать, например, и на ситец и на крепдешин.

То мы ходили по одному заводу, а то вдруг, не заметив как, оказались под крышами другого завода под названием «Электрокабель». Остро и душно запахло горячей резиной, и мы увидели огромные куски резинового теста — то черные, то красные, то желтые. Они лежали всюду, они окружали нас со всех сторон, они двигались в разных направлениях. Десятки машин мяли и тискали резину,

цедили ее между горячими валиками, раскатывали, как лапшу, вытягивали, распаривали, рвали на части и спекали снова.

Конечно, дело привычки, но любоваться всем этим долго нельзя — очень уж тяжел резиновый дух.

Не успели мы удивиться ловкому обращению с резиной, как увидели нечто совершенно необыкновенное — сотни машин производили проволоку. Материал (металлический пруток) исчезает в станке беспрерывно и быстро. С другой стороны из станка вытягивается то, что нужно. То пускают в станок круглое, получают квадратное; то пускают квадратное, получают круглое; то пускают квадратное, получают прямоугольное; то пускают толстое, получают тонкое; то пускают обыкновенное, получают обернутое в резину; то пускают обернутое в резину, получают оплетенное нитками; то пускают обыкновенное, получают обернутое в бумагу; то пускают обернутое в бумагу, получают просмоленное; то пускают несколько тонких проволок, получают толстый жгут; то пускают голый жгут, получают нечто одетое в свинцовую трубу; а в той свинцовой трубе ни мало ни много семьсот переплетенных проволок. Сотни машин работают беспрерывно. Текут, текут и текут десятки, сотни, тысячи, сотни тысяч километров всевозможной проволоки, проводов, шнуров, кабелей. Они потом опутают человеческие жилища, протянутся между ними по воздуху, соединят их под землей и под водой, если даже жилища эти на разных концах земли. Когда попадется вам кусок шнура или кабеля, покопайтесь в нем, может быть, вы обнаружите тонкую оранжевую ниточку. Если обнаружите, то знайте, что сделан ваш шнур или кабель в городе Кольчугине. Оранжевая ниточка — марка Кольчугинского завода. Она вплетается всюду.

Но самое чудо все еще впереди. Мы вошли в цех, наиболее просторный и чистый из всех остальных цехов. Девушки в белых халатах степенно прохаживаются между станками. Нам показалось, что станки работают вхолостую. Они делают вид, что тянут проволоку, а на самом деле ничего не тянут. Так, наверное, работали андерсеновские ткачи из сказки о голом короле. Они ведь тоже изображали, будто ткут, режут, шьют, примеряют.

Вдруг в ближайшем станке, там, где должна была тянуться проволока, если бы ее запустили в станок, блеснуло что-то наитончайшим блеском, как если бы луч солнца высветил паутинку, спрятавшуюся в еловой тени. Да, да,

вот теперь различают глаза, как нечто неуловимое, почти невидимое пробегает через станок, временами поблескивая.

— Помилуйте, ведь это тоньше волоса, как же вы ее тянете?

— Волос! Волос — грубая веревка по сравнению с нашей проволокой. Тянуть ее нетрудно, а вот как мы ее ткем!..

Нарастал между тем, пока шли мы по огромному цеху, шум ткацких станков. Сотканная из невероятных проволочек ткань была зрима, осязаема, даже прочна. То совсем золотая, то серебристая, она красиво переливалась на свету.

— Вот бы на кофточку,— не удержалась моя спутница.

— Можно и на кофточку, только очень дорого обойдется.

— Зачем и кому нужна такая ткань?

— Видите ли... У нашего завода более девятисот потребителей — перечислять трудно.

Как все же получается проволочка, по сравнению с которой человеческий волос грубая веревка?

Нам показали и это.

Берется алмазик величиной со спичечную головку, с двух сторон его делают плоским, потом опускают в электролитный раствор и подводят иглу. С иглы начинает стекать электрическая искра, что-то вроде беспрерывной миниатюрной молнийки. За двенадцать часов молнийка пробивает в алмазе микроскопическую дырочку. Сквозь эту дырочку и будет протягиваться проволочка. Внутренние стенки дырочки, различимые лишь в микроскоп, умудряются шлифовать алмазной пудрой. На обработку одного алмазика нужно затратить семьдесят два часа. Мы видели длинные ряды шлифовальных станочков и длинные ряды беспрерывно работающих голубых молний в ваннах с электролитом. Сутки за сутками пробиваются алмазы, числа которых назвать не умею.

Знакомство с заводами Кольчугина можно было считать законченным. Или уж оставаться на них на год, на два, изучать досконально и в тонкостях. Лишний день ничего не прибавил бы.

Но запомнилась горечь Володи Сахарова, когда купались мы в Пекше под селом Караваевом: «Что вы, нет ни одной рыбины! Кольчугино в верхах стоит — вся рыба передохла».

В промышленно-транспортном отделе райкома затеял я этот разговор. Попросил ответить, куда девается та кислота, над которой сидел в задумчивости новоселковский парень, протравливая бронзовую ленту.

Ответ был короткий: «В Пекшу».

— Но ведь это кислота, так сказать, ядовитое вещество, может повлиять?

— Повлиять? — усмехнулся Поскребин.— Собственное подсобное хозяйство поливать нельзя. Гибнет все: и капуста, и морковь, и лук. Не только рыба, ни одна инфузория устоять не может. Это вам не шуточки, а кислота. Повлиять!.. Да и сама территория завода заражена. Ливневые воды текут в реку и несут и нефть и черт-те чего! Конечно, принимаем меры. Добились того, что кислоту в Пекшу спускаем только пять раз в год. Это большое достижение.

— А если бы фильтры, не лучше ли?

— Как же, строим и фильтры. Правда, давно и плохо они строятся, наверно, уж три года. Сейчас уточним.

Поскребин снял трубку и попросил соединить с начальником капитального строительства. Через минуту в наших руках оказались интересные показательные цифры. Из двух миллионов рублей, отпущенных государством на строительство фильтров, завод израсходовал только семнадцать тысяч. Значит, и деньги есть, да нет желания. Конечно, если не выполнишь план, будут ругать. Еще, чего доброго, снимут с работы. А фильтры не построишь — беда невелика, никто не спросит, никто не хватится. Рыбы не стало? Люди от дурной воды болеют? Во-первых, неизвестно, отчего они болеют. Наше дело — продукция согласно плану.

Я все порывался сходить на то место, где стекают заводские воды в Пекшу и где начато будто бы строительство фильтров. Но Поскребин удержал меня.

— Нечего там смотреть... Черная, мертвая земля, зловонная черная вода. Вот построим фильтры, тогда хоть снова пей заводскую воду.

И много раз в разговоре с заводским начальством я слышал ответ: «Вот построим фильтры, вот построим фильтры...»

И не то оказалось бедой, что фильтры строятся медленно и будут строить их еще много лет, но то оказалось бедой, что один знающий человек разъяснил: «Фильтры готовятся для городской канализации, а кислота и все заводские воды

тут ни при чем. Как стекали они в Пекшу в своем чистом виде, так и будут стекать».

В самой скорости, через несколько дней, нам предстоит поглубже окунуться в грязные сточные воды. Отложим до тех времен и более подробный разговор о них.

— Вот тоже задымленность,— продолжал Поскребин. Сейчас это незаметно. Вы зимой приезжайте, снег у нас черный как сажа. Из литейного цеха в воздух окись цинка летит. Вредно. Была у нас высоченная кирпичная труба. Она поднимала гарь высоко в небо, где ветер рассеивал ее, относя подальше, и город дышал относительно чистым воздухом. В тридцатых годах решили трубу разломать, как пережиток капитализма. Разломали. Поставили низкую железную трубу, и город стал коптиться, как окорок, подвешенный в дымоходе.

Не так давно началось строительство новой трубы, то есть такой, какая была раньше. Строим ее, кстати, на прежнем фундаменте. Когда кончим, город вздохнет полной грудью. К тому же гареуловители поставим. Курорт будет, а не город. Окись цинка тоже собираемся улавливать. Уловленный продукт пойдет в лакокрасочную промышленность.

Приятно было слушать хорошие разговоры. Жаль только, что велись они в неопределенно будущем времени.

Столько леса увидели мы по дороге в Кольчугино, что захотелось познакомиться с людьми, которым леса отданы в руки для охраны, обихаживания, приумножения.

Заходишь в лесхоз и сразу чувствуешь: попал в особый мир, со своими особыми интересами. На стенах висят плакаты, где нарисованы разные вредители леса: гусеницы, жуки-дровосеки, жуки-точильщики, листоеды. В ином лесхозе вместо плакатов сами эти вредители, умерщвленные, наколоты на картон и положены под стекло. Тут же выставлены тонкие срезы разных пород деревьев. В углу кабинета начальника может стоять дуга или тележное колесо. На столе или огромный гриб-трутовик, или звонкий кусок березового угля, на котором все сучочки сохранены и обозначены. Горсть отборных желудей, рассыпанных по подоконнику, может дополнять картину. А если прибавить к этому лосиные рога, приделанные к стене, то вот и лесхоз.

Кольчугинские лесоводы оказались людьми радушными. Главный лесовод (директор лесхоза) Михаил Алексе-

евич Кривошеин, полный седой мужчина, представил нам оказавшегося в его кабинете лесничего. Этот был, напротив, молодой, высокий, смуглый, на щеках бакенбарды острой стрелочкой, волосы приспущены на лоб, и он смотрит из-за них как бы из-за укрытия, как бы прираздвинув еловые ветки. С ним-то и завязалась наша главная беседа.

— Возьмем быка за рога,— сказал лесничий и ниже наклонил голову, глубже спрятался в свою засаду.— Есть две организации: лесхоз и леспромхоз. Разница между ними как будто не велика. Она в четырех буквах, но если вы будете думать так, то, значит, вы ничего не понимаете. Организации эти — небо и земля. Начнем с того, что одна из них (леспромхоз) призвана уничтожать леса, другая — их разводить. Это, впрочем, все не беда. Но у одной из них в изобилии первоклассная техника, передвижные электростанции, тягачи, экскаваторы, механические пилы, автомобили. Это хорошо оснащенная армия, призванная наступать и вторгаться. Кроме того, у них высокая зарплата, премиальные, путевки на курорты, ордена, звания Героев, лауреатства, о них пишут в газетах, создают книги, их снимают в кино, их имена звучат в эфире. Короче говоря — одна организация привилегированная, другая — заштатная. Нет, не нужно нам славы, но вот сидит инспектор по лесу.— Тут мы увидели в дальнем углу кабинета пожилого тихого человека.— Он с тысяча девятьсот девятнадцатого года бессменно охраняет миллионы гектаров государственного леса, то есть миллиарды рублей. Так скажите ему хоть спасибо!

Конечно, валка леса более эффектное зрелище, чем выращивание молодой посадки. Вот наклоняется могучее дерево, с грохотом ударяется оно о землю, создавая ветер. Лесоруб ставит ногу на побежденного богатыря, и сам он как богатырь. Впору картину писать. А мы копаемся в земле, хруща разным дустом присыпаем, гусеница напала — с гусеницами воюем. Какой уж эффект от войны с гусеницами! В прошлый год напали на молодую посадку лиственницы. Наши женщины целый день по жаре ходили, каждую веточку сквозь руки пропускали и прямо в ладонях тех гусениц раздавливали. Руки их (да вы не морщитесь) по локти в зеленой жиже были. А сколько заработали эти женщины? По три рубля за день. Все потому, что устроились они на работу в организацию под названием — «лесхоз». Такие уж в лесхозе нормы оплаты. А сколько леса они спасли? Ого, сколько!

Возьмем лесоруба. У нас, хоть мы и лесоводы, тоже лесорубы есть. Так же они целый день деревья рубят, только без техники-механики. Казалось бы, одинаковому труду — одинаковую оплату. Не тут-то было. В то время когда лесоруб леспромхоза зарабатывает большие деньги, наш лесоруб больше девяти рублей в день заработать не имеет права. Такие в лесхозе расценки. А лесники, эта армия добросовестных сторожей и тружеников, живущих по бесчисленным лесным сторожкам? Они оторваны от людей, они работают с трех утра до одиннадцати вечера. У них по шесть, по семь человек семья, и они получают по двести двадцать рублей в месяц. На что рассчитана такая зарплата? Или на то, что лесник — жулик и все равно будет воровать, или пусть, дескать, ведет хозяйство и с него получает прибыль. Но в том-то и дело, что он не жулик, а хозяйством заниматься — лес упустить.

Брали мы лесника, возьмем меня — лесничего. Вы разницу улавливаете? Он последнее звено в цепи, или, если хотите, первое, а я инженер леса, я с высшим образованием, я специалист, ученый, я, короче говоря,— лесничий. И вот целый день заставляют меня сидеть в канцелярии, просматривать разные бумаги, вести скучнейшую, никому не нужную документацию, возникшую, как гриб, на недоверии человека к человеку. Путаюсь я с колесами, дугами, рогожами, тарной дощечкой, дровами, а в лесу мне быть некогда.

Пришло время выдавать зарплату. «У вас,— говорят,— леса полно, рубите, продавайте, платите». Тем самым топор вложен и в руки лесовода. В левой руке у меня клеймо, а в правой — топор. Так иду я по нашим лесам.

— Нужно отнять топор из моих рук! — почти закричал лесничий.— Ведь только на одно мое лесничество спущен план — десять тысяч кубометров в год.

— Как вообще лес у нас, убывает или прирастает год от году?

— Перерубаем. Процентов тридцать переруба имеется,— ответил директор лесхоза.— Значит, вырастет сто деревьев, а срубим мы сто тридцать. Отсюда тенденция к истощению. Теперь вот неожиданно пришло распоряжение рубить в самых что ни на есть запретных водоохранных зонах. По каждой реке на несколько километров от того и другого берега неприкосновенный лес растет. Еще при Ленине указ издан. С нынешнего года вторгаемся и туда.

— Вы нас за резкость извините,— улыбаясь, заговорил снова молодой лесничий.— Ведь мы, лесоводы, со всем миром в конфликте, начиная от промышленника, кончая стадом коров. Вы говорите, животноводство нужно развивать, а для нас оно бич, потому что пастись то самое животноводство в наш лес пригонят. Вы про лося скажете: «Какое мирное доброе животное!» А я вам отвечу, что он враг лесов, потому что уничтожает молодые посадки. Тут такое подразделение: хрущ подъедает посадки под землей, с корня, лоси съедают мутовку, козы обдирают кору, а человек приходит и выдергивает деревце вместе с мутовкой, корой и корнями. А то еще поджигает траву, а то еще сшибает скворечницы и синичницы, развешанные нами там и тут. Злые мы на всех. Но это оттого, что лес любим и лучше других понимаем: когда кончится он совсем, плохо жить человеку станет. Оттого мы и фанатики, оттого и злимся...

На четыре дня мы включились в городскую жизнь, совсем выключившись из жизни земли, природы. Заходили в Кольчугино — расцветали первые ромашки. А что теперь? Что произошло за эти четыре дня? Многое ли изменилось в мире?

Оглядываясь по сторонам, стараясь вглядеться в каждую травку, мы возвращались в жизнь земли. Ясно было одно: зной за эти дни продолжал свое страшное иссушающее действие, выпив, может быть, самые последние капельки влаги.

«Победа» догнала нас и резко затормозила. Длинный хвост пыли, что отставал от автомобиля во время быстрой езды, теперь нахлынул, и солнце сделалось оранжевым, смутным. Когда пыль рассеялась, мы увидели секретаря Кольчугинского райкома, с которым познакомились в эти дни.

— Что же вы, не могли обратиться за помощью, сбежали пешком? — укоризненно говорил секретарь.— Садитесь, туда же едем.

Был секретарь рыжеватый блондин, лет сорока трех, с красным, как у всех рыжеватых людей, лицом и с небольшими светлыми глазами. Нос с крутой горбинкой придавал лицу и всему виду секретаря упрямое и вместе с тем по-деревенски отчаянное выражение. Звали его Александром Андреевичем Лобовым. В автомобиле сидел еще

человек из области, с седыми усиками и портфелем, затасканным до тряпичной мягкости.

Человек из области оказался уполномоченным сельскохозяйственной организации. Называется эта организация облсельхозотдел. Уполномоченный старался сквозь закрытое от пыли ветровое стекло всматриваться в поля, а Лобов нетерпеливо говорил ему:

— Оставьте, вот приедем в «Красную ниву», все сразу и увидите. Мы,— уже серьезно и даже сурово продолжал секретарь,— еще семь дней продержимся, если же семь дней не будет дождя — все погибнет. Вот, смотрите! — Он резко и зло опустил стекло, и в автомобиль ворвалась горячая, иссушающая струя воздуха.

Между тем показалось село Ильинское. Нам это село было нужно, потому что здесь мы попадали на древнюю Стромынку, по которой ездил некогда грозный русский государь в суздальские монастыри. Секретарю и уполномоченному нужны были поля колхоза «Красная нива», на которых уполномоченный наглядно убедился бы, как все на полях сохнет и как растет кукуруза в Кольчугинском районе.

Председателю «Красной нивы» Сергею Ефимовичу Ваняткину было не до гостей. Подъезжая к правлению, мы заметили: что-то тут происходит. Толпились женщины с узелками, сновали ребятишки, замасленный парень расставлял скамейки в кузове грузовика. В правлении народу было еще больше. Однако суета не могла заслонить ни чистоты, ни порядка, ни какой-то хозяйственной основательности во всем, на что бы ни упал взгляд. Ваняткин, круглый, толстый человек с круглым веселым лицом, затерялся в людской суете, и сам Лобов не скоро вытянул его оттуда в просторный и прохладный председательский кабинет.

— Да ведь как же! — возмущенно говорил Ваняткин.— Шумели, шумели: «Праздник животноводов, областной слет животноводов, лучшие поедут на День животноводов!..» Мы вон плакаты развесили: «Они достойны поехать на День животноводов!» Пофамильно, поименно всех указали, кто достоин. Бабы платьев новых нашили, платков накупили, и вдруг накануне праздника — бац! — День животноводов отменяется. Большое разочарование в народе, вот что я вам скажу.

— Куда же они у тебя собираются? — спросил секретарь.

— Куда, куда? — испытующе исподлобья посмотрел на Лобова, одобрит ли. — В Москву решил отправить, на сельхозвыставку. Дал по сто рублей, грузовик, сутки времени. Пусть посмотрят, ведь они и правда достойны. Молока в этом году на девятьсот литров каждая корова больше дала.

Впоследствии мы долго старались узнать, почему был отменен День животноводов. По слухам, получилась заминка с планом, и стало, дескать, не до праздников.

Передовые животноводы, то есть женщины, толпившиеся перед правлением, расселись по местам, и грузовик скрылся за поворотом. Сразу стало тихо и безлюдно. Ванят-кин повел нас вдоль улицы села, и вскоре мы вошли в просторную избу. Осталось загадкой, когда председатель, от которого мы не отходили ни на шаг, успел распорядиться. На столе стояло блюдо с огурцами, блюдо с картошкой, а также лежала охапка сочного зеленого лука. Бутылки в деревнях принято держать на полу, доставая одну за другой по мере надобности. Там, где можно было ожидать рюмочки, зловеще поблескивали в сумеречном свете тонкостенные чайные стаканы.

И секретарь райкома и председатель должны были вечером же уехать во Владимир на двухдневное совещание. Уезжая, они велели нам обязательно дождаться их приезда: «Два дня вас не устроят, а здесь вы будете как дома, а в Юрьев мы вас потом на «Победе» за тридцать минут доставим!..»

ДЕНЬ ДЕСЯТЫЙ

Я проснулся оттого, что хотелось пить. Белесый сумрак наполнял избу. За перегородкой храпели. Наверно, та глуховатая старуха, что вечером стелила постель. Сирень в палисаднике и фикусы в горнице мешали раннему утру хлынуть в окна. Окна были закрыты. Мы сами закрыли их с вечера, чтобы не налетели комары. Жажда лучше всего помогла вспомнить вчерашний вечер. Стол был прибран. Ни ужасных стаканов, ни огурцов, ни луку. Большая крынка стояла посреди стола на белой скатерти. В крынке было молоко. На переменках с Розой мы выпили ее до конца. Храп за перегородкой усилился. Было ясно, что больше нам не уснуть. Мы переглянулись и в глазах друг у друга прочитали одно и то же решение. Я положил на стол деньги за

молоко и ночлег. Через горницу шли на цыпочках, через сени — скорым шагом, с крыльца — бегом.

Словно бокал золотого вина, поймавший в себя лучик солнца, разгорелось утро. Безмолвствовал огромный притихший мир с серыми избами на переднем плане, затуманенными лесами — на втором и с зарей — на дальнем. Леса лежали в низине. Через них, должно быть, текла речка: только она могла образовать этот гигантский зигзаг молочного тумана, вписанный в черноту лесов. Вдалеке поднимался крестик церковки.

Вчера мы не расспросили дорогу и теперь пошли наугад вдоль села. Село кончалось больницей. Такая была тишина в мире, что подумалось про больницу: «Наверное, в этот час и там все спят, если кто и маялся и кричал всю ночь от своего недуга».

За селом началась Стромынка. Это было плоское, широкое полотно, укатанное некогда лихими тройками да тарантасами, а теперь поросшее ровной травкой. По обеим сторонам полотна тянулись, все в цветущей гвоздике, обочины. Среди широкой зелени вьется хорошо заметная, но все же не укатанная до пыли колея. Так посреди зарастающей кувшинками речки пробирается чистая полоска воды.

По обочинам Стромынки местами росли деревья, то одинокие, то небольшими группами, а то зеленел кустарник. Земля вокруг была похожа на степь, и неудивительно: мы подходили к Юрьеву-Польскому. Значит, и в те времена, когда будущий основатель Москвы, называя своим именем новый городок, назвал его еще и Польским; значит, и в те времена здесь был просторный степной остров посреди дремучих лесов.

Километрах в двух от дороги на матовой черноте земли дымился костер, оставленный пастухами: щелкал в перелеске пастуший кнут. От костра наносило на дорогу душистым дымком, похожим на дымок кизяка.

Иногда весь стромынский ансамбль — валки и канавы обочин, ровное зеленое полотно, наезженная колея — начинал поворачиваться, плавно загибаться, и эти повороты еще больше украшали привольный утренний пейзаж. Идти было легко и радостно — и потому, что решили сбежать, а не сидеть два дня в Ильинском, и потому, что на такой Стромынке невозможно сбиться с пути, и просто потому, что воздух свеж, солнце ласково, а мы еще достаточно молоды, чтобы не задумываться о бренности мира.

Мне под ноги попалась подкова, почти новая, с обломками гнутых гвоздей в прямоугольных дырочках. Она была огромная и тяжелая. Разве что конище Ильи Муромца или какого другого богатыря мог обронить такую подкову. Именно так показалось моей спутнице. А я не стал убеждать ее, что скорее всего расковался битюг из породы владимирских тяжеловозов. Подкову я убрал в рюкзак, и она до сих пор хранится у меня как память о реальном ощущении счастья, застигшего нас на Стромынской дороге.

Между тем поднялась, как из-под земли, плотная заросль ольшаника и перегородила Стромынку. Некоторое время мы старались сохранить направление и пробрались сквозь лес, надеясь, что вот он кончится и снова откроются дали с широкой дорогой, убегающей в них. Но ольха смешалась с березняком, напросились к ним в компанию рябинка да черемуха, а малина с бересклетом так запутали все дело, что ничего не оставалось нам, как возвратиться на то место, откуда началась лесная заросль.

Возвратившись на старое место, мы увидели, что нам на выбор предложено два пути: чахлая тропинка, ведущая вправо, вниз, в топкое место, и яркий тракторный след, загибающий влево.

Немного было логики в том, что мы пошли по тракторному следу. Мало ли куда и зачем понадобилось ехать трактору. Но очень четок был след по сравнению с тропинкой. Это и обмануло нас. Трактор некогда продирался между деревьями, задевая за их стволы, обдирая кору, расщепляя верхние слои древесины. Тракторист был опытный, он ловко лавировал, заводя нас все дальше и дальше в глубину леса. Скоро мы поняли, что идем не так, но слишком много осталось за нами ложного пути, чтобы возвращаться и все начинать сначала.

Тракторный след привел не в деревню, не на поле, не к сторожке лесника, ни даже хотя бы на другую дорогу. Расступились седые, в лишайниках, свисающих длинными бородами, ели, и открылось взгляду огромное поле битвы, вернее — избиения деревьев людьми. Тракторный след развернулся и много напетлял, накружил на порубке. Там и тут лежали в кучах невывезенные еще березовые бревна. Тощие деревца поднимались в нескольких местах, вызывая ощущение сиротливости. У одной уцелевшей березы была сломана (падающей соседкой) вершинка, она свисала на кожице, засохшая и черная, тогда как береза сама зеленела и даже лопотала что-то под утренним ветерком. На краю

порубки валялась опрокинутая набок большая железная печка, свидетельствующая о том, что лес рубили зимой. Пни, щепки, обрубки, сучья производили бы более удручающее впечатление, если бы порубка не успела зарасти неизвестно откуда взявшимся стебелястым лилово-красным кипреем. Медленно обошли мы порубку кругом и не нашли ни одной тропы, которая уводила бы отсюда.

Заплутавшиеся в лесу бродяги лезут на высокое дерево и оттуда обозревают местность. В книжках про это пишут так: «Напрасно вглядывался он в туманные дали. Лесной океан расстилался до самого горизонта, и не было ему ни конца, ни края».

Порубка занимала низину, и я слез бы с дерева, действительно не увидев ничего, кроме того же леса, если бы в далеком просвете между черными вершинами елей не проглянула яркая, солнечная зелень поля. Теперь без всякой тропы стали пробираться мы сквозь лес, заботясь только о том, чтобы сохранить направление. Хлюпала под ногами сырь, трещал валежник, руки покрывались ссадинами. Но уже нарастал (как под реостатом), все нарастал и нарастал свет. И когда кончились последние деревья, сказочно расстелился перед нами луговой ковер, взбегающий на пригорок. На пригорке дымилась ранними лиловыми дымками неведомая нам деревушка. Правее ее, на отдаленном холме, виднелось село. Метрах в двухстах от нас в кустарнике слышались мужские голоса, и мы пошли на них, чтобы все хорошенько расспросить. Через кустарник сочилась речушка, иногда она разливалась небольшими лужами. По одной из луж лазало четверо мужиков с семиметровым бредешком. Он был не столько вымочен в воде, сколько выпачкан в голубоватой илистой грязи.

— Неужели здесь водится рыба?

— Шел я вчера под вечер мимо речки,— рассказал один из рыболовов,— гляжу, а он, стервец, ходит!

— Кто ходит?

— Щурец, кому же здесь ходить! Мы, значит, пораньше да сюда. Вон тринадцать щурят вывели.

На траве валялись тощие, оскаленные щурята.

— Щука водится, и другая рыба должна быть!

— Нет, иной рыбы незаметно.

— Чем же питается щука?

— Она больше мышами харчуется.— Так и не поняли мы, смеялись над нами рыболовы или говорили серьезно.— Поля кругом, мыша прорва, который попадает в воду — конец.

— Жди, когда попадет.

— Будешь ждать, если жрать нечего. Вон они как отощали.

Деревушка на бугре называлась Федоровкой, а село на холме — Клинами. Мы пошли в Клины межой горохового поля.

Золушке, проснувшейся утром в своей каморке, роскошный вечерний бал в королевском замке казался сном. Она не поверила бы в этот сон, если бы не золотая туфелька под подушкой.

Матрос, вернувшийся к хлебопашеству в каком-нибудь лесном краю, будет хранить обломок коралла, и, может быть, к старости, когда туманная глубина экваториальных морей станет казаться давно приснившимся сном, только этот коралл и напомнит матросу о том, что океаны шумят и сегодня.

Нам, вышедшим в светлые поля, наваждением, сном показалась лесная морока. Выход на поля был как пробуждение, и лишь букетик лесных цветов — прохладной нежной грушанки, серебрящейся в руке у Розы и так не похожей ни на что полевое,— утверждал существование леса, только что пройденного нами.

У околицы села, весь в кучевых облаках и отраженном камыше, лениво курился пруд. Пышнее кучевых облаков зелеными клубами поднимались из земли ветлы. Они были стары и огромны. Внутри у них была труха, но еще хватало сил тянуть, поднимать на подоблачную высоту земные соки. Одна ветла упала в пруд, и теперь по ней можно было ходить. В большом пруде она потерялась, утратила свое горделивое величие: ее хватало только на то, чтобы достать верхушкой до того места, где кончались прибрежные камыши и начиналось чистое зеркало воды. Словно брызги, от рухнувшей в воду ветлы взметнулись вверх от лежащего трухлявого ствола зеленые молодые побеги.

Прочные дощатые мостки с перильцами уводили от берега на глубину, при которой не видно дна, хотя мне никогда не приходилось встречать пруда со столь чистой прозрачной водой. Это не мешало, впрочем, водиться тут всякой живности.

Вот пробирается, ползет по подводному стеблю ногатое, усатое существо, похожее на мокрицу. Это водяной ослик, мирный поедатель всего, что гниет. А вот совсем уж чудно, завитушками вниз, скользит по поверхности воды улитка-прудовик. Для нее поверхность воды — потолок, она и дви-

жется по нему как бы вниз головой. Между тем отделился от черной глубины и несется стрелой черный обтекаемый снарядик. Теперь хорошо видно, что это тигр подводных джунглей — жук-плавунец. Сейчас он выставит наружу кончик брюшка, подышет, наберет воздуху и снова канет во тьму. Подобно тому как маленький кровожадный соболь нападает на кабаргу, впиваясь ей в затылок, жук-плавунец бросается на рыбу, гигантскую по сравнению с ним, и подчас одолевает. А если не одолеет один, то запах крови соберет армию собратьев, и тогда уж быть рыбе растерзанной.

Посидев подольше, увидишь, как из той же придонной тьмы вдруг появляется большая тень — это выплывает гигантский жук-водолюб. Ему тоже нужно подышать воздухом.

Если же запастись терпением и если посчастливится, может быть, промелькнет и серебрянка — удивительный паук, строящий себе подводный домик из пузырьков обыкновенного воздуха. Про пиявок нечего и говорить — снуют, извиваются черные бархатные ленточки, наводя ужас на купальщиц, подобных моей спутнице.

Словно шарики ртути, пролитой на стекло, но только иссиня-черные, катаются и юлят вертячки. Как циркачи на резиновой сетке, пляшут на упругой поверхности воды водомерки.

На мостках мы разбили наш табор, устроили купанье и стирку. Вода была свежа и прохладна. Она золотисто мерцала в глубине, просвеченная утренним солнцем.

Постепенно просыпалось село. К двум косилкам, стоявшим поодаль, прошли четверо мужчин, они не спеша покурили и еще более не спеша стали копаться в машинах.

Женщина с корзиной подошла к пруду и начала полоскать белье невдалеке от нас. Она рассказала, что пруд совсем было зарос, но прошлый год экскаватором его вычистили, углубили и теперь он еще поживет. «Омолодился пруд-то наш», — сказала женщина.

Две девочки и мальчонка-бутуз, все трое русоголовые, синеглазые, забрались на упавшую ветлу и затеяли там игру. Она кончилась тем, что мальчонка-бутуз свалился в воду, после чего ему было приказано сидеть на берегу и сохнуть.

День начался. Мы уложили вещи и двинулись в глубь села.

У председателя Клиновского колхоза Ношина в этот день случились три неприятности. Во-первых, в навозной

жиже утонула девятипудовая супоросая свинья. Во-вторых, из соседнего, Фроловского, колхоза приехала делегация. Они, эти колхозы, соревнуются, и теперь люди захотели посмотреть, чего Ношин у себя достиг. А так как в Клинах по сравнению с селом Фроловским дела были плохи (свинья утонула, поросята в двухмесячном возрасте, как по уговору, дохнут, на скотном дворе грязь), то делегация была неприятностью. Мы слышали, как отчитывали Ношина фроловские колхозницы и как он краснел перед ними, словно мальчик перед учительницей. В-третьих же, в довершение всех бед откуда ни возьмись появились некие путешественники, которым все надо знать.

Ношин стоял небритый, в синей рубахе и в сшитых чуть ли не из шинельного сукна черных штанах. Эти получугунные штаны, надетые, видимо, ради делегации, да еще и подвернутые снизу, чтобы не грести пыль, вопреки всякой логике вызвали у меня к их обладателю чувство, похожее на жалость. Мы решили не допекать больше председателя и ушли в старинный липовый парк, чтобы пересидеть там часы зноя.

Когда лежишь в прохладе, в голову лезут всякие несообразные мысли. Например, вдруг возник вопрос: что глуше — село Клины, расположенное в двухстах километрах от Москвы, или поселок Амдерма, затерявшийся в Заполярье, на берегу Карского моря. В этой Амдерме однажды сидели мы, отрезанные от всего остального мира, в ожидании хоть какого-нибудь самолета, который вывез бы нас на Большую землю. Прошло дней десять, и каждый из десяти дней равен был месяцу, потому что, когда с утра до вечера прислушиваешься, не пробивается ли сквозь вой пурги металлический шум моторов, время стоит на месте. И вот — моторы! Все мы бросились к аэродрому, навстречу неведомым людям, прилетевшим за каким-то лешим в ту же Амдерму. По сходням самолета спокойно сходил мой хороший приятель, однокурсник по институту Миша Скороходов, и поговорка, что мир тесен, нашла себе блестящее подтверждение.

Потом мы пили спирт, и Миша, впервые в жизни увидевший море, да сразу Карское, все стремился убежать от меня в зеленый, с ледяным крошевом прибой, а я ловил его за полы пальто и оттаскивал на сухое место.

Значит, в Амдерме два знакомых друг другу журналиста встретились и при этом не очень удивились встрече: чего не бывает!

А возможно ли, чтобы два журналиста встретились также в селе Клины? Это исключено совершенно. Значит, отсюда можно сделать вывод, что Клины глуше Амдермы.

Мест, где не ступала бы нога человека, теперь, пожалуй, не найдешь. Но зато сколько мест, где не ступала нога корреспондента! С этой точки зрения мы пробирались теперь по девственным, первозданным местам. Мы шли как первооткрыватели, и всё — от ветки цветущей брусники до председателя колхоза, от разоренной могилы фельдмаршала до растущих надоев молока, от оранжевой ниточки Кольчугина до головастиков в клиновском пруду,— всё касалось нас.

Липовый парк, в котором мы отдыхали, постепенно нарушался. Деревья тоже стареют и падают. Правда, судя по пням, падать им здесь не позволяют. В центре парка липы стоят плотным кольцом. Там устроены лавочки и ежевечерними танцами вытоптана трава. От центра лучами расходятся длинные узкие аллеи, в которых почти темно. Земля между липами изрыта теми животными, лучшая представительница которых сегодня утром погибла в собственном навозе.

Клинчан нельзя и винить, что парк нарушается, потому что обновлять его невозможно. Подсаженные деревца не выжили бы в непроницаемой тени патриархов. Заросли бузины и акации окружают парк почти непроходимым кольцом.

Село Клины, как говорят, было вотчиной бояр Романовых, от которых пошла династия русских царей, и первый русский царь Михаил Романов родился будто бы именно в Клинах.

На выходе из села сохранилась церковка, которую начали ломать, но потом спохватились и поставили на белой стене трафарет: «Памятник архитектуры. Охраняется законом».

— Вот так бульварами всё и идите. До самого Юрьева — всё бульварами,— показал седобородый дед на знакомую нам Стромынку.

Долго брели мы по пересохшей земле, вспоминая кольчугинского секретаря: «Семь дней мы еще продержимся, а потом — не знаю». Было душно, как перед грозой. Далеко, далеко за горизонтом наметилось некое потемнение, и доносилось временами глухое погромыхивание. Уж не подмога ли идет оттуда, без которой не протянуть дольше семи дней! А может, там вовсю хлещет гроза?

Минутное чувство огорчения (почему там гроза, а не здесь) сменилось радостью: там-то Америка, что ли? Те же наши русские хлеба. Лей, гроза, хлещи где попало! Велика Россия — не промахнешься.

На подходе к Юрьеву-Польскому погромыхивание стало отчетливее. Идет, идет подмога секретарю Лобову, по всему горизонту гремит канонада. Быть ночью грозе.

Белые церковки Юрьева мы увидели вписанными в загустевшую синеву, от этого белизна их казалась неестественно яркой. Мы остановились на минуту на холме, с которого древний и деревянный городок открылся во всех подробностях, как бы положенный на дно глубокого ярко-зеленого блюда.

ДЕНЬ ОДИННАДЦАТЫЙ

Юрий Долгорукий, как, впрочем, и многие русские князья, любил закладывать города на месте слияния двух рек, если даже одна из них совсем маленькая. И столицу нашу Юрий заложил на высоком мысу между Москвой-рекой и Неглинкой.

По Колокше много красивых и удобных мест. Можно сказать даже, что Колокша с ее высокобережной поймой — одно из главных украшений Владимирской земли. Вода в ней хрустальна, но кажется темной от спокойной, уверенной глубины. Здесь не увидишь на поверхности морщин, узловатостей, завихрений, как на реках с быстрым течением. Словно бы неподвижна глубокая светлая вода, а течет! Луговые цветы глядятся в Колокшу, если только вблизи берегов не распластались листья кувшинок. В июльский полдень поднимаются из придонного мрака широколобые, огненноперые голавли, и нет им числа.

Вся хороша Колокша, но именно там, где впадает в нее речушка Гза, остановил свой взгляд Юрий Долгорукий.

Не знаю уж, как там было: топал ли он на этом месте ногой, провозглашая вроде того, что «здесь будет город заложен», или ходили туда с иконами да молебнами,— так или иначе, летописец (тогдашний корреспондент) получил возможность записать у себя в блокноте: «Юрий Долгорукий в свое имя град Юрий заложи, нарицаемый Польский, и церковь в нем каменну созда во имя святого Георгия».

Покняжили в Юрьеве один за другим несколько князей, а потом он, как выморочный, перешел к Москве.

Дмитрий Самозванец отдал Юрьев-Польский на прокормление касимовскому царевичу Магомету Мурату. Царевич покормился так, что через четыре года в Юрьеве было девять тягловых дворов, девяносто четыре места пустых и одиннадцать хором без жильцов.

Чуть позже говорилось о прилегающих к городу местах: «И та-де вотчина пуста, а запустела-де от морового поветрия и от хлебного недороду... и в книгах та его (князя Нагого) вотчина за ним написана впусте, живого в ней нет».

В конце XIX века Россия, как известно, вступила на путь капиталистического развития. Не остался в стороне и град Юрьев. Мужик Ксенофонт из села Волтовитинова начал выделывать плуги. Он сам пробовал их на земле, постоянно совершенствовал, и плуги его в свое время славились.

Вот до каких пределов развилась индустрия в Юрьеве-Польском: на заводе Ксенофонта было два сверлильных станка, один фуганочный, один болторезный, пять кузнечных горнов да одно наждачное точило.

После революции завод стал называться «Красный пахарь».

Более успешно развивалась легкая промышленность, а именно ткацкое и красильное дело. На этих фабриках мы еще увидим много интересного.

Текла красавица Колокша, проплывали над Юрьевом облака, уходило время. Одни дома разваливались, другие строились, но было в городе нечто, что стояло себе да стояло в таком виде, как было поставлено мастерами Юрия: «И церковь в нем каменну созда во имя святого Георгия».

Теперь, бродя по Юрьеву, мы среди многих церквей и колоколен старались отыскать этот собор.

Может быть, вон та высокая колокольня, что поднимается, как каланча, господствуя над городом и над его окрестностями? Или, может быть, вот то красивое кирпичное сооружение причудливых архитектурных форм? Не тот же это в конце концов белокаменный кубик, положенный на зеленую траву и увенчанный луковкой с крестом на ней?

Но чем ближе мы подходили к «кубику», чем больше мы в него всматривались, тем яснее становилось для нас: «Да, наверно, это и есть тот собор». Строгость линий, отсутствие каких бы то ни было завитушек и финтифлюшек, создающих ложную красоту, и, наконец, тонкая каменная резьба

по наружным стенам говорили о неиспорченных вкусах зодчих XII века.

В свое время собор резко выделялся сверкающей белизной среди черной коросты деревянных хибарок и частоколов.

Обстроенный со всех сторон пышными и громоздкими церквами, он все равно выделяется и теперь, но уже своей простотой и скромностью. Может быть, даже более выделяется, чем тогда при деревянных хибарках.

В горсти ярких морских камней не сразу заметишь маленькую скромную жемчужину, но чем больше будешь приглядываться к ней, сравнивая с дешевой нарядностью окружения, тем лучше поймешь, почему жемчуг есть жемчуг!

Мнения многих ученых сходятся на том, что этот собор если и не заключать под стеклянный колпак, то все же стоило бы сохранить: ведь второго Юрий Долгорукий уже не построит!

Тем не менее Георгиевский собор в Юрьеве-Польском, можно сказать, разваливается. Один угол его отъехал и скоро обрушится. Никаких восстановительных или укрепительных работ там не ведется, и, может быть, мы последнее поколение, кто имеет возможность увидеть своими глазами эту истинную жемчужину, пролежавшую на зеленом берегу Колокши восемьсот лет.

Все больше и больше нравился нам тихий, весь в зелени городок, окруженный всеми этими ромашками, короставниками, гвоздичками, колокольчиками, васильками, подорожниками, тысячелистниками, хвощами, полынью... А то еще посмотришь вдоль улицы и увидишь в конце ее колосящееся ржаное поле. Ветерки, пахнущие полевыми травами, продувают городок насквозь, и кажется, что сами деревянные дома насквозь пропитаны этими запахами.

Вместе с рекой, прорезая Юрьев через самый центр, входят в быт юрьевцев кувшинки, стрекозы, обильные росы по вечерам, речной туманец и летние ночи.

Мальчишки, да и не только мальчишки, пристроились с удочками под тенью развесистых ветел. Между домами и рекой растет чистая травка, как в деревне.

В центре сохранились старинные торговые ряды: большое приземистое здание из побеленного кирпича. Широкие окна вплотную примыкают друг к другу и тянутся цепочкой. Они закрыты деревянными коричневыми ставнями с тяжелыми коваными петлями поперек. Перед рядами

на стояках лежит бревно, к нему привязыьают лошадей.

Это был город овса и кожи, сена и колесной мази, мучных лабазов и рогожных кулей.

Гроза, что так уверенно находила вечером, не дошла до Юрьева. Однако утром прыснуло на перегретый город редкими светлыми каплями, и не сильно, но устойчиво по всему Юрьеву запахло лошадьми: тонкой смесью запахов сена, дегтя, хомутов и лошадиного навоза.

В середине дня мы пришли в музей. Он помещается в монастыре, и нам пришлось пересечь внутренний двор монастыря, заросший травой. Трава теперь была большей частью скошена и лежала в валках. В дальнем углу монастырского двора девушка в легком открытом платьице и широкополой панаме разбивала, ворошила эти валки деревянными двоешками. Она подошла к нам. Ее круглое лицо загорело, несмотря на широкие поля панамы. В глазах девушки стояла полдневная, ленивая, разморенная синева. От нее пахло молодым сеном. Она оказалась сотрудницей музея Розой Филипповой. Быстро сменив двоешки на указку, Роза повела посетителей, то есть нас, по прохладным, отдающим сыростью залам музея.

Там мы узнали много интересного, главным образом о местах, прилегающих к Юрьеву. Поскольку мы побываем во всех этих местах, то и рассказывать о них лучше о каждом в свое время.

О соборе Роза Филиппова сокрушалась вместе с нами. Все письма (ее и директора музея) возвращаются для выяснения и принятия мер в область, область пока ничего не делает. «Вот упадет, тогда хватятся»,— заключила Роза.

Из музея мы пошли осматривать ткацкую фабрику. Кроме простого интереса, был у нас еще интерес дополнительный, зародившийся не далее как утром во время моего бритья в парикмахерской. Подставив щеку под мыльную кисточку, я прислушивался к разговорам в других креслах, и не зря. У соседа моего, чернобрового парня в синей шелковой безрукавке, шел с парикмахершей любопытный диалог.

— Тебя освежить?

— Да надо бы помочить харю-то.

Шипение пульверизатора и довольное кряхтение.

— А в Колокше вчера все лягушки на берег попрыгали.— Парикмахерша хихикнула.

— Чего же они вдруг попрыгали?

— Как же, третья фабрика опять свою воду в реку спустила, вот и картина: идет дурная вода, а лягушки на оба берега выбрасываются, словно их кто горстями кидает. А то которая усядется на листе и дышит, никак не опомнится. Рыбе, конечно, каюк. Рыбе на берег не выпрыгнуть.

Ткацкая фабрика, оглушившая нас шумом сотен станков, до последнего времени вырабатывала шотландку, тот клетчатый материал, из которого шьются любимые рубашки геологов, туристов, альпинистов, корреспондентов, рыбаков и всех, в ком бьется романтическая бродяжья жилка.

В Москве было решено, что от шотландки легче всего перейти к гобеленовому ткачеству. И вот за каких-нибудь шесть-семь месяцев фабрика в Юрьеве-Польском стала крупнейшим предприятием страны по выработке гобеленов.

Расставили в корпусах новые — чудо современной техники — станки и сказали юрьевцам: «Нужно освоить!»

Юрьевцы думали недолго, уже в первые три месяца они дали шесть тысяч метров новой ткани. Речь здесь идет о тканях, которыми обивают диваны, тахты, диваны-кровати, оттоманки. Из них же делают портьеры. Разница с обычными тканями та, что в одном случае материя раскрашивается красками, или, как говорят, набивкой, в другом случае создается из разноцветных ниток. Нам долго объясняли и показывали, как получаются все эти цветы, узоры и орнаменты, но производство такое сложное, что с одного урока усвоить не удалось.

Объяснял нам его секретарь партийной организации Павел Федорович Веденеев. Он рассказал, что есть мыслишка освоить художественные коврики, те самые, что продаются сейчас на рынке людьми, приехавшими из-за границы. На рынке они сейчас по сто семьдесят рублей, а наши будут стоить пятьдесят.

— Нам хотелось бы поинтересоваться, как на красильной фабрике очищаются сточные воды. Можно?

— Отчего же.— Секретарь партбюро позвонил по телефону.— Дайте конный двор... Конный двор? Там легковая лошадь свободна? Подайте к подъезду.

Но мы отказались от легковой лошади и, попрощавшись с парторгом, пошли на красильную фабрику пешком. Идти пришлось довольно далеко, узкой тропой через капустные и картофельные огороды.

Начальник водоочистных сооружений — загорелый ху-

дощавый украинец, с полагающейся украинцу хитрецой в глазах, по фамилии Калько, встретил нас у ворот фабрики: ему уже позвонили, что будут гости.

— Я человек прямой и говорить буду прямо. В пределах наших возможностей мы очищаем воду добросовестно. Конечно, нужны биофильтры, но их нет как нет. Биофильтры — другое дело. Тогда хоть снова пей ту воду, а мы достигаем законной прозрачности, и только.

— Что же это за прозрачность и как вы ее достигаете?

— Сейчас все поймете в подлинности. Вот наша вода, как она есть.— Мы подошли к желобу, по которому хлестала черная, как чернила, с резкими химическими запахами вода.

— Эта дрянь стекает в подземный резервуар, оттуда мы ее качаем и одновременно добавляем в нее компоненты: негашеную известь и железный купорос.

«Одних этих компонентов достаточно, чтобы заразить воду, сделать ее ядовитой»,— мелькнула мысль, но мы слушали, что же происходит дальше.

— И вот результат,— продолжал Калько,— вся чернота под действием компонентов свертывается в хлопья.

Действительно, мы увидели воду несколько посветлевшую, примерно цвета чая, в которой плавали как бы хлопья сажи.

— Теперь все очень просто. Есть несколько камер и два пруда — это отстойники. Хлопья падают на дно, а вода поверху уходит в Гзу, из Гзы в Колокшу, из Колокши в Клязьму и... тю-тю, поминай, как звали.

Отстойный пруд (тут же рядом с фабрикой) представлял бугор черной полужидкой массы, похожей на ту, что остается на дне кофейника. Бугор накопился за несколько лет. Оказывается, как пустили эту систему в ход, так ни разу ее не чистили. Что-то тут хлюпало, с бульканьем вырывались со дна пузыри, но, конечно, не рыба, роясь в иле, пускала их. На много метров вокруг не было никакой жизни.

Навстречу попались две девушки. Они в стаканах несли коричневатую воду.

— Вот они несут ее в лабораторию. Там проверят, хватает ли прозрачности, имеем ли мы право спускать ее в реку.

— Хватает,— сказали девушки.— Прозрачность восемь сантиметров.

— Это значит,— пояснил Калько,— что сквозь слой

воды в восемь сантиметров различаются буквы. При восьми сантиметрах санинспекция придраться не может, это наша законная прозрачность.

— Дайте попить,— протянул я руку к стакану.

— Что вы! — отдернула девушка стакан.— Это же яд!

— Да, но у него восемь сантиметров прозрачности!

Все посмеялись.

— Очистка наша полукустарна,— заключил Калько.— Но другой пока нет. Биофильтры, конечно, другое дело.

— Скажите по чести, сколько стоит установить биофильтры?

— Цена известная. На любом заводе фильтры можно установить за два миллиона рублей.

Неискушенных читателей испугает эта цифра. Все же два миллиона, а не две тысячи, но когда строится завод, установить фильтры за два миллиона все равно, что к новому дому приделать крыльцо.

Нам рассказывали о заводах и фабриках, которые ежегодно штрафуются на два миллиона за отравление рек. Получается нелепая история: с одного текущего счета деньги перечисляются на другой текущий счет, но ни рыбе в реке, ни людям, живущим около реки, от этого не легче.

Наконец, мы знаем о двух миллионах, уже отпущенных государством Кольчугинскому заводу, но знаем также, что пока из них израсходовано семнадцать тысяч.

Мы спим, занимаемся своими делами, а в это время и день и ночь сотни тысяч ядовитых потоков беспрерывно хлещут в светлые рыбные реки, убивают всякую жизнь. Неужели так и будет продолжаться это преступное безобразие?

Может быть, штрафовать нужно не заводы (потому что в этом случае государство штрафует само себя), а директоров. Заинтересованные в личном, своем рубле, они скорее возьмутся за дело, и реки наши облагородятся.

...Милый, тихий городок Юрьев-Польский! Автомобилей мало, толкучки на улицах нет, трамваи не дребезжат; живи, наслаждаясь тишиной и покоем.

Впрочем, я совсем забыл, что в центре Юрьева-Польского жить практически невозможно. Мы столкнулись с этим прискорбным обстоятельством в первый вечер.

Чудо современной техники, огромный, окрашенный в серебристую краску, поднятый высоко над самыми высокими зданиями, вещал репродуктор. Трансляция велась на таком усилении, что никакие стены не в силах были остановить напор, лавину, стихию звуков. Каждое словечко,

каждый оттенок в интонациях диктора различался в помещении так же четко, как если бы репродуктор висел рядом в комнате.

Культура, равно как и бескультурье, может проявляться по-разному. Если в небольшом зале в столовой или в чайной включается динамик, способный наполнить своим вещанием огромную площадь так, что уж сидящим за одним столом людям нельзя переговорить между собой, то это говорит о бескультурье, несмотря на то что дело связано с достижением человеческой цивилизации — радио и несмотря на то что буфетчица победоносно поглядывает на посетителей: вот, мол, как у нас! Считается при этом, что чем громче орет радио, тем лучше. Им и невдомек, что музыка, пущенная вполголоса, не мешающая разговаривать, не назойливая, не похожая на струю из пожарного шланга, в столовой более уместна, так же как и настольные лампы вместо мертвенно-голубых цилиндров «дневного» света.

Но из столовой можно уйти, а куда уйдешь из своего собственного дома, если пожарная кишка, извергающая звуки, бьет прямо в ваши окна!

Сначала мы думали, что радио будет орать часов до восьми: Потом скрепя сердце перенесли этот срок на десять, но оно орало ровно до полночи, заставив нас слушать и передачу для работников сельского хозяйства, и передачу для шахтеров (то-то их много в Юрьеве-Польском!), и письма родных на Северный полюс, и хор Пятницкого, и оперетту.

Наконец наступила тишина. Было ощущение, будто вас несколько часов трясли, кидали то вверх, то об землю, мяли, тискали, а теперь вот оставили в покое.

Блаженство продолжалось недолго. В шесть часов утра юрьевцам предложили бодро вставать и заниматься зарядкой. Я даже посмотрел из окна на площадь, может, и правда бежит народ, выстраиваясь в ровные ряды для выполнения положенных гимнастических упражнений. Потом всех взрослых горожан (какая нелепость!) заставили слушать «Пионерскую зорьку» — пошло, пошло до новой полночи.

Начальник радиоузла (не то его заместитель), округлый, начинающий лысеть блондин, беспокойно поерзав на стуле (чего им понадобилось?!), сложив руки на животе и придав своему округлому лицу беспечное выражение, приготовился нас слушать.

Я начал с того, что рассказал случай, происшедший с советскими туристами в одной словенской деревне. Шофер, чтобы собрать разбредшихся туристов, несколько раз просигналил. Тут же к автобусу подошел полицейский и предложил заплатить штраф: шуметь на улицах деревни было запрещено. Только узнав, что туристы — советские люди, полицейский смягчился, и недоразумение уладилось.

— Ну, у нас на этот счет пока свободно! — радостно воскликнул начальник.

Я рассказал также, что собираются запретить автосигналы в городе Москве.

— Как видите, люди борются за тишину. Скажите, кто вам дал директиву, установку, указание, распоряжение вести круглые сутки такую громкую трансляцию?

— А я, собственно, не знаю... Так уж заведено. Не первый год транслируем. Народ просвещать нужно. А как же! Народ, он культуры требует.

— Наверно, в домах радиоточки имеются?

— Как же, весь город радиофицирован.

— Зачем же еще и на улице? Неужели вы думаете, что в шесть пятнадцать утра кто-нибудь на площади будет заниматься гимнастикой? — Это предположение рассмешило начальника.— Вкус у людей разный,— продолжали мы,— одному нравится оперетта, другому — игра на баяне. Один терпеть не может симфонической музыки, другой затыкает уши от хора Пятницкого. Зачем же вы всем поголовно навязываете и то, и другое, и третье? Это грубо, жестоко и... некультурно!

Начальник, кажется, перестал понимать нас. Но мы продолжали:

— Может быть, кому-нибудь захотелось почитать книгу, писать стихи, сочинять музыку, да и просто выспаться. Но заниматься всем этим у вас невозможно, вы оглушаете человека, вы не даете ему сосредоточиться.

При словах «сочинять музыку» белобровое лицо начальника оживилось, и он собрался уж расхохотаться, но потом скис и как бы говорил всем своим видом: «Валяй, валяй, заговаривайся!»

— Наверно, есть больные, которым нужен покой, а вы его нарушаете?

— Это есть. Что есть, то есть. И кляузы, то есть письма, тоже были.

— Наверно, есть дети, которых матери не могут усыпить из-за вашей иерихонской трубы?

— Есть и такие. Несколько сигналов поступало. Но масса, народ любит радио, любит бодрую музыку, это поднимает дух...

Мы вышли на улицу под звуки марша, метавшиеся по городу со скоростью трехсот тридцати метров в секунду. Звуки наталкивались на дома, меняли направление, дробились о крыши и, отскакивая, терялись в зеленых просторах колокшанской поймы...

Вечером этого дня жители Юрьева с удивлением оглядывались на прохожего странной наружности. Он был длинный и тонкий как жердь. На голове его красовалось свитое в виде чалмы полотенце. Лицо покрывала черная густая щетина, по крайней мере, дней десять он не брился. У черной курточки, надетой на голое загорелое тело, были выше локтя закатаны рукава. Огромное пространство от курточки до земли заполняли синие сатиновые шаровары. На ногах человека ничего не было, башмаки болтались, привязанные к рюкзаку.

Вглядываясь в черную густую щетину, можно было разглядеть, что это совсем молодой парень с веселыми черными глазами и припухлым ярким ртом.

Больше всего смущал юрьевцев плоский деревянный ящик, таскаемый парнем на ремне через плечо. Одни предполагали, что это цыган-коновал, другие — что он сербиян-чернокнижник, третьи принимали его за бродячего фотографа, четвертые — за фокусника: смущала чалма. Но в ящике не трудно было угадать обыкновенный этюдник.

За ужином в чайной мы разговорились, как старинные друзья.

Сергей Куприянов (в дальнейшем Серега) тоже пустился путешествовать. А так как и ему и нам было все равно, в какую сторону двигаться, то мы и решили объединиться. Так нас стало трое.

Серега рассказал, между прочим, что в Кольчугине наконец-то разразилась гроза с ливнями. Она полила жаждущие колхозные поля и между делом разбила и сожгла городскую прокуратуру.

После знойных, томительных дней мы вступали в полосу освежающих гроз и ливней.

ДЕНЬ ДВЕНАДЦАТЫЙ

По утреннему холодку, бодрым, спорым шагом мы не заметили, как отмахали километров восемнадцать. Небо, ранее либо совсем безоблачное, либо все в торжественных золотистых облаках, теперь то тут, то там начинало вдруг наливаться синевой с багряным оттенком. Синева густела, темнела, ширилась. Оттуда тянуло свежестью, там шла гроза. Мы, правда, еще не попали ни под один хороший дождь, но нужно было ждать и нам.

Деревянный мост отражался в речке, заросшей кувшинками и прочими водяными травами. Налево от моста уходила к старинному парку тихая зеленая заводь. Направо горел под солнцем мельничный омут. Мы долго смотрели с моста в воду на снующую в зарослях рыбешку, пока негромкое стучание мельницы не привлекло нашего внимания. Пошли посмотреть, что делается внутри.

Внутри мельницы весь пол был уставлен мешками с мукой. В пыльном и пахнущем мукой полумраке сначала ничего не было видно, потом шевельнулась тень, и, приглядевшись, мы увидели человека, ловко завязывающего мешок. Он подошел к нам, ближе к воротам, к свету, и оказался худощавой женщиной лет сорока, со спокойным седоватым от муки лицом.

— Мешки-то все ваши? — спросили мы, чтобы что-нибудь спросить.

— Все мои. Троица скоро, нужно белой мучки смолоть. Здесь очередь — не добьешься, каждому нужно. Теперь вот очередь моя. Одним словом: «Мели, Емеля, твоя неделя».

На серой мучнистой маске сверкнули вдруг белые молодые зубы, и мы поняли, что женщине не сорок лет, а гораздо меньше.

— А что ж, если не Троица, то и молоть не надо?

— Свеженькой к празднику-то. А так мы целый год с булками. Наши булки пышнее ваших.— И снова сверкнула озорная улыбка.

— Каких наших?

— Известно, городских.

— Мужа послала бы на мельницу мешки-то ворочать.

— Бери замуж, будешь мешки ворочать! Прежнего, видно, не дождусь.

— Сколько же у вас этого... хлеба-то?

— Хватит на мою вдовью долю: две с половиной тонны в прошлом году получила. Теперь дня боюсь пропустить без

работы. На мельнице сижу, а сердце болит: за мельницу никто мне трудодня не запишет...

На мосту, пока мы разговаривали с колхозницей, происходило следующее. Серега раздвинул складной походный стульчик, поставил перед собой раскрытый этюдник и начал писать воду, кувшинки и угол дальнего парка. Тотчас его окружили ребятишки, которые, сопя и отталкивая друг друга, заглядывали, что там получается.

Облокотясь на перила, стоял пожилой мужчина: всем интересно, не только детям. Серега, чтобы принести какую-нибудь пользу новым спутникам и зная, что нас может интересовать, между делом интервьюировал мужчину насчет кукурузы. Интервью находилось как раз в той стадии, когда Серега очень хотел узнать, что думает о предмете мужик, а мужик не менее того хотел узнать, что думает о предмете Серега.

— Грачи, вон тоже,— вел сторонкой Серегин собеседник.— Он, грач, квадрат-то раньше нашего освоил. Мимо не клюнет, а в самую, значит, точку. А как в точку попал — на поле плешь. Слышал я, в одном селе председатель взял ружье да хотел всех грачей перестрелять. Пошел к кладбищу, где у них гнезда. Опять же бабы не дали. Огрудили председателя, ружье отняли, конфуз!

Собирался народ. По мосту всегда ходит много прохожих.

— Это что! — подхватил парень в майке и кожаной фуражке.— В одном доме отдыха грачи спать мешали. Ну, понятно, народ там все нервный, хлипкий. Директор и нанял ребятишек, чтобы те ему все гнезда с птенцами прямо на землю побросали.

— Что он, некрещеный, что ли?

— Не о том речь. За сколько нанял-то!

— Ну?

— За две тысячи! Ведь надо такие деньжищи отвалить.

— Да, а все же нехорошо!

— В Америке, слыхать, радио на кукурузное поле проводят, а по радио целый день грач верезжит, будто его за ноги раздирают. Другим — острастка.

— Али и в Америке кукуруза растет?

— Растет...

— А у нас, гляди, не привьется.

— Не скажи. Табак-ат поначалу, помнишь, как уродился, три центнера с га, а теперь сколько?.. Пятьдесят семь. То-то и оно. Всяко дело поначалу нелегко дается.

— Очень уж много сразу велят. Да на самой жирной земле. Конечно, если весь колхоз на нее бросить, все удобрения, весь навоз, все машины да ничем другим не заниматься, вырастить можно, однако в копеечку влетит. А нужно иметь расчет, во сколько чего обходится. Городских к нам гоняют. Тоже небось от дела оторваны, а деньги получат. Значит, и те деньги на кукурузу лягут. Поменьше бы да исподволь,— с надеждой посмотрели на нас колхозники,— глядишь, лучше бы освоение-то пошло. Мужика отпугнуть недолго. А ежели душа у него к чему не ляжет, то шабаш! Он, конечно, промолчит, но и толку не добьешься. А что не растет — не беда. Табак-ат тоже не рос, ан и вырос.

Серега закончил свой этюд. Земля снова медленно двинулась нам навстречу. Она была красива. Ровную, как натянутая скатерть, зеленую луговину выхватил из тени прорвавшийся сквозь облако солнечный прожектор. Луг светился ярко и весело. Казалось, от него-то и светло вокруг. Несколькими крутыми петлями лежала на лугу река. Было странно, что она течет на таком ровном месте. Между петлями реки бродили тоже освещенные солнцем игрушечные коровы. Фоном для картины был пригорок, выгнутый в дугу и заросший лесом. Черный, затемненный лес обрамлял нежную зелень светящегося луга.

Перед деревней на поле работали колхозницы. Издали по движениям колхозниц мы старались угадать, что они делают,— полют, мотыжат, поливают... Движения их не были похожи ни на одну из полевых работ, какую можно бы предположить здесь, во Владимирском ополье.

Село называлось Глотовом. В Юрьев-Польском музее нам советовали обязательно зайти в это село, а зачем — не сказали: сами увидите, а если не увидите, то нечего вам и по земле ходить.

Теперь мы медленно шли вдоль села, озираясь по сторонам. Озираться пришлось недолго. Ночью мимо яркого костра, не заметив его, пройти было бы легче.

В окружении могильных крестов и деревьев, дошедшая из тьмы времен, пришедшая сразу из всех сказок, стояла деревянная церковка. Архитектуры такой нам еще не приходилось видеть. Такая архитектура годилась только и именно для деревянной церковки и совсем не годилась бы для каменной. Для деревянной же она была тем идеалом, тем совершенством формы, которая выработалась за мно-

гие века. Перед нами стояла не просто церковь, но произведение искусства, шедевр деревянного зодчества.

На землю положены квадратом четыре могучих бревна с грубо — топором — обрубленными концами. Концы соединены крестом, как это делается у всех деревенских изб. Потом положены еще четыре бревна, но уже длинней нижних, потом еще длиннее, еще и еще. Таким образом поднималось бревенчатое основание церкви, похожее на перевернутую усеченную пирамиду. Каждый угол основания чем-то напоминал издали куриную лапу, и нам впервые стала понятна избушка на курьих ножках.

На высоте более человеческого роста окружала церковку деревянная, с резными столбами узкая галерея под узкой тесовой крышей. Над галереей поднималась двумя стремительными острыми шатрами тесовая крыша, один шатер, пониже, примыкал к другому шатру, повыше. Крыша была настолько крута, что удержаться на ней было бы невозможно. С одной стороны островерхий шатер описывал полукруг. Кирпичная, но легкая-легкая башенка поддерживала луковицу с крестом.

Большая часть тесовой крыши по цвету не отличалась от крутого яичного желтка, такой плотной шубкой разросся здесь мелкий сухой лишайник — стенница.

Крыша над галереей почти не сохранилась, а оставшиеся доски тоже были ярко-желтыми. Крыльцо, по которому можно было бы подняться в церковку, разрушилось.

Как скоро Серега открыл этюдник, так и собрались ребятишки со всего села. У них мы спросили, кто мог бы нам отпереть и показать церковь. Одна девочка вызвалась сбегать за тетей Машей Титовой. «Все ключи у нее, а сама она сажает табак» (значит, вот что делали женщины на поле).

Пока девочка бегала, мы раздобыли лестницу. Прибежала тетя Маша, средних лет здоровая женщина. Руками, испачканными в черноземе, она долго крутила в личине ключ, весивший не менее трех килограммов.

Внутри церковь не поразила нас ничем особенным. Евангелия в серебряных окладах, тусклый иконостас, рассохшиеся ставни на окнах. Тетя Маша сказала, что если никто не возьмется, то церковь продержится разве что десяток лет, а потом развалится. А ведь построена она в XVII веке, то есть в тысяча шестьсот каком-то году.

В Швеции, да и ближе еще, в Риге, есть оригинальные музеи. В парке собраны разные деревянные старинные

постройки: мельницы, овин, баня, разных фасонов избы, мосты и т. п. Неужели мы меньше шведов и латышей любим свою старину, что не можем устроить такого музея!

Осенние дожди насквозь пробивают изъеденную желтым лишайником крышу глотовской церковки. Она истлевает на корню, а когда истлеет, не останется второй такой во всей России.

Конечно, от этого никто не умрет. Но ведь никто не умрет и в том случае, если исчезнет даже Третьяковская галерея. Глотовская церковь, перенесенная из глуши в более доступное место, могла бы сделаться объектом многочисленных экскурсий и туристских походов. Созданная безыменными мастерами, она создана как бы самим народом, она фольклор, и относиться к ней нужно как к фольклору. Былину можно издать большим тиражом, а церковь одна, ее можно лишь беречь и хранить.

Тетя Маша сказала, между прочим, что кто-то интересовался и даже отпускались какие-то деньги, но куда те деньги делись, тете Маше неизвестно, а нам тем более.

Ребятишки гурьбой проводили нас за околицу и дальше в поле. Последние энтузиасты вернулись, когда завиднелись крайние избы большого села с ласковым женским именем Сима. Нет ничего скучнее, как идти длинным, далеко растянувшимся селом. Считаешь, что дошел до цели, а все никак не можешь дойти.

В парк нас впустили беспрепятственно, но к самому барскому дому подойти не удалось. Он был огорожен забором. Белокаменный фасад дома, выходящий в парк, не был украшен ни колоннами, ни прочими архитектурными излишествами. Два этажа по пятнадцать окон в каждом, да в три окна мезонин — вот и весь фасад.

В калитке нас остановил мужчина и хотел было не пускать совсем. Но если мы умели пройти на кольчугинские заводы и юрьев-польские фабрики, то в учкомбинат системы Главспирта, конечно, мы прошли. Мало того, у нас появился провожатый, который и показывал нам бывший княжеский дом.

Собственно, смотреть в доме было уже нечего. Мы надеялись, что одна историческая комната в нем сохранена в неприкосновенности. Но мы ошиблись. Мало того, провожатый совсем не знал, где эта комната, и от нас впервые услышал, что здесь, в этом доме, где теперь он постигает

азы агротехники и винокурения, в 1812 году, после ранения под Бородином, умер Багратион.

Мы сходили и к церкви, где славный полководец был похоронен сначала. Но никто не мог нам объяснить, где же была могила. Таким образом, в селе Симе мы узнали не больше того, что знали, выходя из Юрьева-Польского со слов Розы Филипповой, а также из документов, показанных ею. В частности, она показала нам надгробную медную доску с первой могилы князя. Вот что написано на доске — от слова до слова:

«Князь Петр Иванович Багратион, находясь у друга своего князя Бориса Андреевича Голицына, Владимирской губернии, Юрьевского уезда, в селе Симе, получил высочайшее повеление быть главнокомандующим Второй западной армии, из Симы отправился к оной и, будучи ранен в деле при Бородине, прибыл опять в Симу, где и скончался, сентября 11 дня».

Дальше идут прелюбопытные стихи:

Сын Марса, не имев стремленья к Диадеме,
С лавровою главой гостил бесшумно в Симе.
И, время здесь деля в кругу своих друзей,
Веленье получил о должности своей,
Где славный витязь сей, как избранник герой,
Вождем назначен был всей армии второй.
Отсель отправился свои устроить войски
И, подвиги явив бессмертные геройски,
Герой, который здесь вождя долг восприял,
Здесь жезл свой положил и дни свои скончал.
Прохожий, в Симе зри того героя прах,
Который гром метал на Алпа высотах.
Бог-рати-он, слуга отечества и трона
Здесь кончил жизнь свою, разя Наполеона.

Подпись такова: «Племянник Суворова правой его руке в селе Симе марта 7-го дня 1813 г. граф Хвостов».

Здесь так все подробно изображено, что остается добавить разве некоторые подробности последних минут бородинского героя.

От Багратиона скрывали, что Москва сдана. Больной, он продолжал слать разные распоряжения, а также и запросы о состоянии своей армии. Но ответов не было и не было. Тогда он послал верного человека, а именно офицера Дохтурова, узнать, в чем дело. Дохтурова не успели предупредить, и он доложил Багратиону всю правду. Больной в страшном гневе, с перекошенным от душевной и физической боли лицом вскочил на ноги, одна из которых уже

сгорала в гангрене. Началась агония, и через несколько минут наступила смерть.

Прах полководца покоится теперь на Бородинском поле, но луч Багратионовой славы капризно упал на безвестное глухое село, затерянное в глубине Владимирского ополья, и осветил его для многих и многих поколений, отняв у безвестности. Теперь уж ничего не поделаешь. Сколько бы ни прошло времени — всегда будут говорить и писать: «Багратион скончался в селе Симе, в двадцати трех верстах от уездного города Юрьева».

Председатель Симского колхоза Павел Ефимович Киреев, цыганского типа, здоровенный, несколько раскосый мужчина, сидел за столом в соломенной шляпе, у которой, исходя из ширины лица, могли бы быть более широкие поля.

Над председателем из овальной золоченой рамки смотрело суровое лицо вождя. Владимир Ильич, казалось, глядел как раз на председателевы руки и на то, что в них находится. А в них находилась небольшая, крупно исписанная бумажка. Перед председателем сидело несколько человек мужчин с топорами — значит, плотники.

— Хорошо. Договор подпишем. Зайдите к вечеру.

Плотники пошушукались.

— Нет, мы уж подождем. Нам все одно. Мы авансик хотим.

— Сколько?

— Да уж и не знаем...

— Три с половиной.

Плотники опять пошушукались.

— Мало! Праздники идут, Троица...

— Хорошо. Договор подпишем, а деньги — аванс — получите накануне праздника. А то вы ведь сразу и загуляете, значит, пропадет два рабочих дня.

Плотники помялись, пошушукались еще раз, но председатель занялся другим делом. А другое дело было неприятное. В его отлучку пришлось забить корову. Кладовщица почему-то не приняла мяса от завхоза, кажется, потому, что было неклейменое, а завхоз почему-то не убрал его в холод, а вместе они почему-то не сдали его хотя бы в чайную, и вот мясо протухло.

Мы с интересом ждали, какое будет решение. Председатель поступил сурово, но справедливо. Мясо пропало

единственно из-за халатности двух людей, и, значит, стоимость его будет взыскана с них. За это, пожалуй, и с работы стоило бы снять. Ведь дело не в стоимости коровы, а в отношении этих людей к общему делу.

Дела в колхозе шли неплохо. Впрочем, поправляться они начали с 1954 года, с приходом этого председателя. Было так, что из развалившегося свинарника ночью разбегались последние свиньи. «А теперь вот новенький на тысячу голов!»

Колхозники приходили просить хлебушка, хоть какого-нибудь, да дай. «А теперь какого-нибудь не хотят, дай пшеницы!»

Начал Киреев поднимать колхоз с животноводства. На последние деньги купил пятьдесят голов скота и все силы бросил на сохранение телят. План удался. Хозяйство набрало силу.

Давно мы хотели поинтересоваться, как на деле проходит планирование снизу, о котором так часто упоминается в газетах.

— Все зависит от председателя,— ответил Киреев.— Робок председатель, боится районного начальства, значит, будет делать, что ему скажут. Потверже — снизу линию поведет.

— Но при твердости возможно теперь снизу линию вести?

— Как же. В постановлениях прямо говорится: развязать инициативу колхозников, а с местным районным начальством, конечно, самим приходится воевать. Были у меня случаи, судите по ним, можно ли проводить планирование снизу. В первый год, как я пришел, запоздали семенной клевер убрать. Он осыпался, самоподсеялся. Можно понять, что на другой год здесь хороший клевер уродится. А мне говорят: «Нужно это поле перепахать». Я говорю: «Не буду». А мне говорят: «Перепахать».

— Кто говорит?

— Девочка, так лет девятнадцати, из МТС. Наш агроном ее сторону занял. Как мне быть? Вспомнил, что дело-то колхозное решаем, а не наше с агрономом. Если бы и раньше почаще про это вспоминать! Собрал колхозников: «Как, мужички?» Мужички в хозяйстве понимают. «Не дадим — и баста!» Демократия в чистом виде. Не дали. Ждем, что будет.

— И что было?

— А то, что клевер уродился на диво. Тридцать восемь

скирд наметали. Глянешь, а они, как грибы, по всему полю стоят.

— Были и другие случаи. Спускают мне план на пшеницу — сорок пять гектаров. А я вижу, что это курам на смех, да и поговорку помню, что «озимые к яровым за хлебом никогда не ходили». Вместо сорока посеял триста. И ничего... Все довольны. Впервые овощи начали сеять. Тоже раза в три больше плана засеяли. Главное — нужно доверять колхознику. Может, на первых порах и была польза в опеке, в указаниях, в подсказках на каждом шагу. Да теперь-то вон сколько лет прошло. Неужели он землю свою не знает или худа себе хочет?

— Аванс даете?

— Ежемесячно четыре рубля на трудодень. Тоже рост.

Ночевать нас определили к Николаю Ивановичу Седову. Это было сделано не без умысла. Седов родился, провел детство и жил до революции в княжеском доме и будто бы много знает про Багратиона. Семидесятилетний старик, он произвел на нас сильное впечатление. Его лицо было отковано из темной бронзы. Мохнатые брови, горбатый нос, тонкие губы — все это прочно, породисто, красиво. Еще больше, чем на бронзу, походило его лицо на темный дуб, на скульптуру из дерева. И весь он, в рубахе, выпущенной поверх штанов и распахнутой на груди, был как дуб — кряжистый, устойчивый. В разрез из рубахи проглядывало темнодубовое тело. Он пил чай, распарился и теперь блестел, как полированный.

Колхозники не упускали случая, чтобы кольнуть Седова. Ты, мол, княжеский приспешник, на побегушках у князя был, тарелки за ним лизал. Но Николай Иванович относится к этому стоически и, несмотря на свой возраст, исправно работает в колхозе.

В посудном шкафу у Седова среди незамысловатой крестьянской утвари — стаканов, чашек и прочего — красуется вещичка из далекого, несуществующего мира, как бы обломок Атлантиды, вымытый на берег океана прибоем. Вещичка эта — страусовое яйцо, взятое в золоченую резную оправу. За ним одним угадывалась роскошная гостиная со сверкающим паркетом, с тяжелыми портьерами, с канделябрами и бра, с породистыми женщинами в шуршащих платьях.

Прошлый мир исчез, но иногда он нет-нет да и проглянет таким вот страусовым яйцом или статуэткой японской резьбы, найденной в земле ребятишками, или кустом за-

морских роз, расцветших вдруг на колхозной усадьбе, или бочонком вина, найденным в корнях выкорчеванного дерева. Но если остались, продолжают жить приметы старого мира внешние, значит, должны быть и внутренние, в душах людей, в их сознании.

Кроме яйца, нас поразил висевший на стене увеличенный портрет хозяина дома в молодости.

— Неужели это были вы?

— Я самый и есть. Что, хорош? За мной, бывало, девки косяками ходили, дрались из-за меня, царапались. Ради Христа, бывало, просит погулять с ней. Художник к князю приезжал, посадит меня и рисует. А потом сказывал, будто мой портрет в Америку за двадцать пять тысяч продал. Вот и мне маленькую картинку оставил.

Николай Иванович порылся в сундуке и достал этюд, написанный маслом. На темном фоне светится лицо как бы врубелевского Демона, в котором с трудом угадывались черты старика Седова.

О Багратионе Николай Иванович ничего нового нам не рассказал. Его прабабка действительно помнила князя, и умер он на ее глазах. Она рассказывала кое-что внуку, но многое он забыл.

— Только в книжке неправильно написано, будто Багратион умер на втором этаже, в угловой комнате. Он умер внизу, и комнату эту я знаю. Это и бабушка хорошо помнила. Она тогда молодая была, Багратион ее из всей прислуги любил.— И старик снова вытирал полотенцем вспотевшее горбоносое, тонкогубое лицо под цвет полированного дуба.

ДЕНЬ ТРИНАДЦАТЫЙ

Просиживая длинные зимние вечера в Ленинской библиотеке, однажды я наткнулся на тоненькую, но любопытную книжицу под названием: «Сельцо Вески, Владимира Васильевича Калачева», год издания 1853-й.

Начиналась книга с сообщения, что сельцо Вески расположено под 56°33′ северной широты и 57°21′ восточной долготы, что среднегодовая температура там +2,65°, что от Владимира до Весок 72 версты, а от Юрьева-Польского — 12,5, от торгового села Симы 7 и, наконец, от Москвы 170 верст.

От нечего делать помещик Владимир Васильевич Калачев решил описать свои владения. Чего-чего тут не было!

И сколько в сельце мужиков, и сколько женского населения, и сколько сенокоса по рекам да оврагам, и сколько сенокоса в кустарнике, и сколько дровяного леса береженого и сколько дровяного запущенного, и сколько выхухолей и карасей в четырех прудах. Тут был и урожай разных культур: ржи, овса, гречихи, чечевицы, ячменя, гороха, конопли; и численность коров и лошадей; и цены на все товары; и размеры оброков и податей.

Говорилось также и про одежду крестьян. Например, у мужиков: «полушубок, у более зажиточных дубленый, кафтан из сукна, в праздник — плисовые шаровары, в будни — портки из пестряди, сапоги или лапти. Щеголи носят картузы, степенные мужики — поярковые шляпы с узкими полями.

Бабы носят сарафан, платок, под которым по праздникам бумажный колпак, шерстяные чулки и коты».

Сообщалось также, что крестьяне в Весках «кротки и трудолюбивы, в разговорах вежливы, говорят владимирским наречием... от лихоманки берут медный пятак или две копейки серебром, накаливают докрасна и бросают в стакан с вином, который весь выпивают зараз. Часто от одного приема прекращается. В простудах парятся в печи и натираются липовым маслом. От поноса отваривают алтейный корень... Свадьбы справляют по полюбовному согласию и разрешению помещика... Телят до шести недель держат в избах... а живут с белыми трубами и освещаются лучиной... Посреди деревни — столб с колоколом».

Понятно, что, зайдя в Вески, первым делом поискали мы глазами этот столб: не уцелел ли с тех пор? Но столба с колоколом не было.

У двух женщин-молодаек, чернявых, бойких на язык, шедших с поля, мы спросили, в этих ли Весках был некогда барином помещик Калачев? На что молодайки отвечали, что был когда-то барин (вон в тех кустах его дом стоял), но Калачев ли он был, не знают. Значит, «кроткие, трудолюбивые крестьяне» давно забыли своего «благодетеля».

У одной из этих женщин мы купили молока, такого густого и холодного, что еще за весь поход не встречалось лучшего. Женщины нам сказали, что в правлении теперь никого нет — все в поле. На самом же деле в одной из комнат я нашел молодого парня, разбирающего за столом бумаги. Парень не брился несколько дней, и теперь на подбородке и над верхней губой у него выросли длинные, редкие волосики. Он, не поднимая глаз от бумаг, протянул

мне руку, предложил сесть, и так друг против друга мы сидели некоторое время.

Потом парень кончил читать бумаги, откинулся на спинку стула и представился здешним агрономом. Звали его Александром Михайловичем Дьячковым.

Я долго не мог объяснить цель своего прихода. Начал издалека — о Ленинской библиотеке, о помещике Калачеве, о его книжке. И вот, мол, потянуло зайти посмотреть. Как-никак прошло сто лет.

Александр Михайлович все очень хорошо понял, обрадовался, заинтересовался, бросил свои бумаги.

— Так-так. Значит, освещались лучиной? Здорово! И свадьбы с разрешения помещика? Ну а оброк каков?

Копаясь в записях, я стал отыскивать нужное: «Оброк пятнадцать рублей серебром в год да казенных податей и земских повинностей с тягла — по три с полтиной. А за выгоны по полубарану, одной ку́рице и двадцать яиц. А бабы доставляют по десять аршин холста. Барщина три дня в неделю».

— Это что еще за барщина? — осведомился агроном.

— Это когда крестьяне на земле помещика работали, так сказать, трудовая повинность.

— Так. Ну еще что про наших предков пишут?

— Вот... «Человек пять крестьян есть грамотных. Несколько мальчиков обучаются, по распоряжению помещика, церковной грамоте и ремеслам: колесному, тележному, кузнечному, сапожному».

— Ишь ты, пять грамотных! Да у нас теперь все грамотные. Однако насчет ремесел — упущение. Ни колесников, ни тележников нет.

— «Земля обрабатывается пароконной косулей и деревянной бороной...— читал я дальше,— весь хлеб снимают серпом и осенью, более по ночам, обмолачивают цепами. Молотильщики нанимаются за сто снопов двадцать копеек серебром, на хозяйских харчах...»

— Чудно,— удивлялся агроном,— словно не про нашу деревню, а про другое царствие.

— Это и было другое царствие. Однако не смейтесь! Сейчас я прочитаю нечто интересное, особенно вам, агроному. Слушайте: «На будущий год я попробую сажать картофель по маркеру, проезжая им крест-накрест, для того чтобы можно было пропахивать картофель вдоль и поперек борозд»

— Черт возьми! — закричал агроном, вскочив с места.— Да ведь это квадратно-гнездовой способ в чистом виде... У нас, в Весках, сто лет назад! Да это я сейчас же списать должен. Это же лучшая агитация для колхозников: барин умел, а мы что — хуже? Или вот что ты мне скажи, где достать эту книжку, я ее выпишу.

— Обратитесь в Ленинскую библиотеку, они, может быть, вышлют. Случай исключительный!

— Вышлют! Не могут не выслать. Я в район пойду, все отношения возьму. Это же агитация! Ну а про урожаи он ничего не пишет?

— Пишет: «...Рожь на помещичьем поле родилась сам-пят». У крестьян, видимо, меньше.

— Так,— обрадовался агроном.— Переплюнули мы барина. У нас в колхозе рожь сам-шёст! А овес? А пшеница? А греча? — засыпал меня вопросами Александр Михайлович.

Я снова зарылся в записи.

— Пшеницы ему не удавались, а овес... про овес я не записал и про гречу не записал.

— Жалко. Ну, да я выпишу эту книжку. Должны мне ее прислать, как вы думаете?.. А колхоз у нас семеноводческий. Элиту выращиваем, зернышко к зернышку.

Он вышел проводить меня на крыльцо, и мы, оба довольные встречей и разговором, тепло попрощались.

— Стой! — закричал вдруг агроном.— А там ничего нет насчет навоза?

Пришлось снова доставать бумаги.

— Насчет навоза... Так... бельмо лечат... Это не то... Сена семь тысяч пятьсот пудов... Не то... Картофель на патоку... Не то. Ага, нашел: «Навоза валят семьдесят возов на десятину, возят в начале июня два дня, на третий запахивают».

— Вот спасибо. Да вы дальше-то куда? Пешком? Не годится. Мы вас мигом.

Через пять минут к правлению подкатил грузовик. Александр Михайлович так начал обижаться нашему отказу, что пришлось залезать в кузов. Автомобиль рванулся навстречу выползающей из-за леса фиолетовой туче. Крупные дождины, сочетаясь с автомобильной скоростью, хлестали нас, подобно картечи. Но по земле, истомленной в зное, разливалась свежесть, прохлада и неизъяснимая легкость, от которой хотелось петь и орать несообразное.

Еще не скоро, недели через три дождь станет проклятьем. Пока он был благодатью, и люди поднимали навстречу золотистым, летящим из голубизны каплям просветленные улыбками и надеждой лица.

В Числовских Городищах мы постучали в крышу кабины.

Крупный дождь, успевший прибить пыль, но не успевший навести грязи, перестал. В воздухе сталкивались во время дождя, бились, раздроблялись друг о друга капли, порождая мельчайшую пыльцу. Теперь тонкая пыльца эта висела в воздухе, не опускаясь на землю. Она зажгла близкую, широкую, яркую радугу. Обрывки тучи торопливо уплывали в эту роскошную арку.

О Числовских Городищах в музее нам прожужжали все уши. Но интересны они, видимо, в том случае, если взять лопаты и начать планомерные, на научной основе, длительные раскопки. Тогда будут попадаться и арабские монеты, и черепные коробки, пробитые стрелами, и дубовые поленья, по которым можно судить, какие это были городища.

А так — село как село. В середине села прекрасно сохранился высокий вал, окруженный водой. То, что до сих пор стоит во рвах вода, и делает Городища уникальными. Ведь нигде больше этого нет. Но ни вал, ни вода не разбудили нашего воображения, потому что мы не знали, как и никто не знал в конкретности, что здесь происходило столько-то веков назад.

Другое дело — широкая и глубокая долина между Авдовой и Юрьевой горами, так называемое Липецкое поле. Оно начало погружаться в предсумеречную дымку, когда мы вступили на него. Именно здесь мог проезжать в свое время Руслан, восклицая знаменитые слова: «О поле, поле, кто тебя усеял мертвыми костями!»

Костей, правда, теперь не было видно. Обычное луговое разнотравье да низкий кустарник посреди долины — вот и весь пейзаж. Реку затянуло за эти века, кустарник обозначает, где было русло. Ведь ясно сказано в летописи: «Битва при реке Липеце». Однако мы невольно стали внимательнее смотреть под ноги, надеясь увидеть либо наконечник от копья, либо ржавый боевой топор, либо шишак от истлевшего шлема. Но только обломок деревянных граблей, явно более позднего происхождения, попался нам.

Теперь мы стояли на дне долины, как раз между двумя холмами, то есть на месте самой жестокой сечи. Русская земля впитала здесь потоки русской крови. Только русской, и никакой другой.

В конце концов все князья остались целы: и те, что разбежались, и те, что победили; долину же устилали мужицкие трупы. Ну ладно, если бы гибли мужики за свободу родины, за независимость нации, за высокие идеалы. Ну ладно, если бы гибли они в смертельной схватке с чужеземным войском, чтобы доказать и на последующие времена, что значит сила и удаль славянского топора. Но ведь ясно сказано в летописи: «Сын шел на отца, брат шел на брата, рабы на господ».

Я не склонен идеализировать нашу древность. Русские князья в течение многих столетий только и делали, что резали друг друга. Горше всех при этом доставалось простому люду. Вот и липецкая битва. Славу, что ли, принесла она русскому оружию? Благо, что ли, принесла она русской земле?

Однако пора, может быть, рассказать и самые обстоятельства битвы. Я читал о ней по Костомарову, Соловьеву и Карамзину, а также частично и по летописи. В результате прояснилось следующее.

Сыновья князя Всеволода Большое Гнездо — Константин и Юрий — спорили после смерти отца за место на суздальском престоле. Другой их брат, Ярослав, в это время сильно насолил Господину Великому Новгороду, перерезав обозную дорогу к нему и устроив мир. Родители из-за куска хлеба продавали в рабство своих детей, люди умирали с голоду на улицах и площадях. Мертвые валялись по дорогам, и собаки терзали их. Новгородцы посылали к Ярославу просить его к себе. Но тот задержал посланных людей и ничего не ответил. Тогда, по словам летописца, в Новгороде была великая печаль и вопль.

Тогда-то и явился у новгородцев Мстислав Удалой, решивший постоять за Великий Новгород. Ударил вечевой колокол, новгородцы взяли топоры. Мстислав объявил и вторую цель — навести мир между самими суздальскими князьями. Однако он предложил Ярославу решить все мирным путем.

Ярослав ответил: «Не хочу мира. Пошли, так идите — сто наших будет на одного вашего».

Вся Суздальская земля вооружилась. Из сел погнали на

войну земледельцев. К суздальцам пристали муромцы и сбродные шайки восточных степей. У Мстислава тоже было сводное войско: с ним шли псковичи, смоляне и родной брат суздальских князей Константин.

Войска встретились на реке Липеце, близ города Юрьева, то есть там, где мы стояли теперь посреди летней, омытой недавним дождем, сумеречной долины.

Мстислав еще раз предложил мир: «Освободи мужей моих новгородских... Верни волости Новгородские. Возьми с нами мир и целуй нам крест, крови проливать не будем».

Ярослав отвечал: «Мир не хотим; мужи ваши у меня: издалека вы пришли, а вышли как рыбы насухо».

И снова воззвал терпеливый Мстислав: «Братья Юрий и Ярослав! Мы пришли не кровь проливать... Не дай бог дойти до этого. Мы пришли управиться между собою; мы одного племени...»

Ярослав отвечал: «Прийти-то вы пришли, а как-то думаете уйти?»

После этого он с братом и боярами затеял в шатре пир. Захмелевшие бояре подзадоривали молодых задиристых князей. «Князья Юрий и Ярослав,— кричали они,— никогда того не бывало, ни при отцах ваших, ни при дедах, ни при прадедах, чтобы кто вошел ратью в сильную Суздальскую землю и вышел бы из нее цел. Да хоть бы и вся русская земля пошла на нас, и Галицкая, и Киевская, и Смоленская, и Черниговская, и Новгородская, и Рязанская,— да и тогда ничего с нами не поделают; а что эти полки,— так мы их седлами закидаем!»

История умалчивает, какие речи вели в это время рядовые дружинники, расположившись станом возле шатра. Захмелевшие же князья захмелевшим боярам говорили: «Сам товар пришел в руки: достанутся вам кони, брони, платья; а кто человека возьмет живым — сам убит будет; хоть у кого и золотом будет шито оплечье — и того бей: двойная от нас будет награда! Не оставим в живых никого. А кто из полку убежит, да поймаем его, тогда прикажем вешать да распинать».

Потом, отпустив бояр, ухарцы князья принялись делить между собою волости побежденных: «Мне, брат Ярослав,— говорил Юрий,— Володимирскую и Ростовскую земли, а тебе — Новгород, а Смоленск — брату нашему Святославу, а Киев дадим черниговским князьям, а Галич — нам же!»

Ночью войска двинулись навстречу друг другу. Причем в стане новгородцев взыграли на трубах, и ратники вдруг дружно крикнули. От этого крика на суздальцев нашел будто бы переполох. Несколько времени враги смотрели друг на друга при утреннем солнце и не начинали битвы.

И в четвертый раз Мстислав отправил к суздальцам парламентеров: «Дай мир, а не дашь мира, то либо вы отсюда отступите на ровное место, а мы на вас нападем, либо мы отступим к Липеце, а вы на нас нападайте».

«Мир не принимаю и не отступлю,— ответил Ярослав,— вы прошли через всю нашу землю, так разве этой заросли не перейдете?»

Тогда Мстислав воззвал к войску: «Братья, гора нам не может помочь, и гора не победит нас; воззрите на силу честного креста и на правду: пойдем к ним!»

В его стане были славные витязи: Александр Попович со слугою Торопом и Добрыня Резанич, по прозванию Золотой Пояс. Проезжая между рядами воинов, князь призывал: «Братья, мы вошли в землю сильную: воззрим на бога и станем крепко... Не озирайтесь назад. Побежавши, не уйдешь. Забудем, братья, жен, детей и дома свои. Идите на бой, как кому любо умирать — кто на коне, кто пеший!»

«Мы на конях не хотим умирать, мы будем биться пешие, как отцы наши бились на Колокше!» — воскликнули новгородцы. С этими словами они побросали с себя верхнюю одежду, разулись и босые побежали вперед. Настала жестокая сеча. Сам Мстислав трижды проехал сквозь неприятельские полки, поражая направо и налево топором, который был у него привязан к руке сыромятным ремнем.

«Крики не до смерти убитых и вытье прободенных слышны были в Юрьеве-Польском, и некому было хоронить трупы убитых. Многие же при бегстве утонули в реке, некоторые, войдя в реку, умерли. Оставшиеся в живых побегли: одни ко Владимиру, другие к Переяславлю, третьи — к Юрьеву».

Первым побежал тот, кто всех больше хвалился, то есть Ярослав. За ним последовал и Юрий. Загнав несколько коней, они к вечеру добрались: один до Переяславля, другой до Владимира.

Много прошло веков, затянулась, пересохла речка, остались только кусты на дне долины.

Сквозь огромное время события минувшего представлялись как бы нереальным. Все эти шлемы, дружины, Мстиславы, Ярославы для нас больше книжные понятия, чем живые люди или осязаемые вещи. А может, и не было липецкой-то битвы? Может, выдумал ее летописец? Поди теперь разберись!

Но вот однажды, сравнительно недавно, женщина из села Адамова, от которого мы стояли теперь километрах в двух или трех, рвала в кустарнике траву для коровы. Видит, что-то блеснуло. Подняла. Шапка железная, да такая чудная. Отряхнула, очистила от земли, обозначилась на шапке иконка и письмо какое-то серебром. Под шапкой железо комком и вроде бы из колечек составлено. Колечки спеклись от ржавчины — не разберешь. И главное, не в земле все это, а сверху лежит, словно вчера кто обронил. Шапка оказалась боевым шлемом Ярослава, который он или потерял, или сбросил во время бегства. Теперь шлем этот хранится в Московском Кремле, в Оружейной палате.

Мы тоже походили по кустикам: не блеснет ли что? Но такая удача дважды не случается. К тому же совсем завечерело. Над полем битвы поднялась луна, неподалеку громко ударил перепел, бесшумная тень совы проскользнула над ними.

Так на кровавом, а ныне безмолвном Липецком поле закончился наш тринадцатый день.

ДЕНЬ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ

Возьмите холм длиной километра в полтора и высотой в полкилометра, покрытый ровной мелкой травкой. Согните его в подкову, поверху расставьте цепочкой крохотные деревянные домики с белым кубиком церкви посередине, а внизу заставьте поблескивать извилистую ленту не очень широкой реки. По реке пусть растут деревья и кусты: ольха, ива, ракитник. Они будут казаться сверху маленькими-маленькими, но это не беда. За рекой, конечно, должны быть луга. Сейчас, в пору буйного цветения трав, они покажутся вам темно-сиреневыми, почти лиловыми.

Луга по Колокше ровные, как будто землю здесь с силой натянули. Дальние холмы сопрягаются с ними, как сопрягались бы с плоскостью разные геометрические тела. На

дальних холмах виднеются деревни, колокольни, перелески. С холмов сбегают к лугам хлебные поля. Золотое с зеленым и темно-сиреневым граничит так резко. Над всем проплывают белые копны кучевых облаков, а еще выше — солнце.

Нужно добавить лишь, что река выписывает у подножья подковообразного холма ни дать ни взять тетеревиный хвост, а домики на верху холма расставлены не в одну цепочку, а в две, да еще есть и поперечная улочка, доходящая своим концом до зарастающих, но все еще светлых прудов.

Здесь, в крайнем около самого пруда доме, мы оставили вещи, напились чаю и теперь собирались побродить по селу и окрестностям. Дом был просторный и содержался в невероятной чистоте. Страшно было ходить по его крыльцу, по его сеням, по его половицам в горнице. Мы просили хозяйку, радушную старушку Марию Ивановну, настелить разных половиков и тряпок, чтобы смелее ступалось.

Из прохладной деревянной чистоты дома нехотя вышли на улицу, где опять марило перед дождем.

Из всех домов Варварина выделялся двухэтажный каменный дом с четырехугольным, тоже каменным, колпаком на крыше. Из колпака на четыре стороны смотрели полукруглые окна. Внутри дома, под колпаком, была некогда круглая зала, косые лучи света прорезали ее сверху в четырех направлениях. И снаружи и внутри дом был в лесах, его ремонтировали под сельский клуб, а до этого в нем помещался детдом, а еще до этого жили помещики.

Я не буду утверждать, что все об этом доме нам рассказали здесь, в селе. Наоборот, мы пришли в село Варварино, зная очень много. Но одно дело знать, другое увидеть своими глазами.

Сначала село принадлежало декабристу и, кажется, приятелю Пушкина Михаилу Федоровичу Митькову, но во второй половине прошлого века им владела Екатерина Федоровна Тютчева — дочь поэта. Все это было бы само по себе малоинтересно, если бы не одно событие.

В 1878 году русская армия разбила турок и освободила Болгарию. На Балканах образовалось новое независимое большое государство. Границы его определялись Сан-Стефанским договором. Некоторые европейские государства

были недовольны усилием Болгарии, и вот на Берлинском конгрессе Сан-Стефанский договор подвергся пересмотру. Русское правительство пошло на уступки: от Болгарии начали отрезать кусок за куском. А так как предшествующая война была очень популярна среди русской общественности, то, естественно, последующее поведение правительства вызвало всеобщее и сильное возмущение.

Общественный деятель, публицист, председатель Славянского комитета в Москве Иван Сергеевич Аксаков возмущался более других в той степени, в какой был более, по сравнению с другими, последовательным и ярым славянофилом.

Накануне своего решительного шага он писал: «Я спрашиваю себя: честно ли молчать в настоящую минуту? Не прямая ли обязанность каждого гражданина сделать все то, что ему по силам и чего никто запретить не может: поднять свой голос и протестовать. Россию распинают, Россию позорят, Россию творят отступницей от ее исторического призвания и завета,— и мы все немы, как рыбы!»

Двадцать второго июня 1878 года Иван Сергеевич вернулся из своего Славянского комитета поздно, в возбужденном состоянии и записал: «Копье пущено. Речь произнесена».

Через несколько дней за эту речь ему прислали выговор от Александра II, отстранение от поста председателя и предписание о ссылке.

«Согнуться мы не могли, пришлось нас сломать вдребезги»,— ответил Аксаков.

Ф. М. Достоевский в те дни напомнил ему: «Так я ж вам предсказывал, что вас вышлют за эту речь».

Местом ссылки Иван Сергеевич выбрал имение своей свояченицы — село Варварино. Он был женат на второй дочери Тютчева — Анне Федоровне.

Пока он ехал на перекладных, речь широко распространилась и в России и за границей под названием «Историческое проклятие Аксакова». Имя Ивана Сергеевича не сходило с уст.

Пишет О. А. Новикова: «Все в страшном негодовании за изгнание Аксакова из Москвы, за его правдивое слово. Если Аксаков заслужил наказание, то, очевидно, и я виновата, но тысячи русских думают и чувствуют так же, как он...»

Пишет П. И. Чайковский: «Мы переживаем ужасное

время, и когда начинаешь вдумываться, страшно делается... С одной стороны, совершенно оторопевшее правительство, настолько потерявшееся, что Аксаков ссылается за смелое, правдивое слово...»

Пишет П. Третьяков: «И вот Аксакову пришлось одному публично высказать, что чувствовали все прочие люди...»

Пишет Крамской Третьякову: «Ужасное время. Точь-в-точь в запертой комнате в глухую ночь, в кромешной тьме сидят люди, и только время от времени кто-то и в кого-то выстрелил, кто-то кого-то зарезал; но кто, кого, за что? — никто не знает. Неужели не поймут, что самое настоятельное — зажечь огонь?.. Неужели Аксаков прав, говоря в конце концов эти ужасные слова: «Замолчите, честные уста...»

Результатом всего этого шума было то, что Павел Третьяков предложил Илье Ефимовичу Репину незамедлительно ехать вслед за Аксаковым в село Варварино и написать с него портрет для своей галереи, той галереи, которую мы теперь называем Третьяковской.

Репин принял заказ безоговорочно. В летописи сельца Абрамцева находим: «Илья Ефимович ездил во Владимирскую губернию писать портрет Аксакова, который был в административной ссылке».

Между тем Иван Сергеевич, вырвавшись из московской суеты и отдалившись от напряженной нервозности последних дней, окунулся в океан летней, цветущей, пахнущей медом тишины. Он пришел в восторг от места своей ссылки. «Любуюсь гармоническим сочетанием изящной щеголеватости первого плана с сельской простотой второго, миловидной укромности, с одной стороны, и величавой шири — с другой.

Домик — прелестная игрушечка, а выйдешь на террасу — взор погружается, уходит в необозримую даль,— такой простор, такой важностью тишины охватывается душа».

Не удивительно, что здесь, в Варварине, после долгого перерыва Аксаков снова начал писать стихи. В одной из его биографий так и сказано. «Лишь по прошествии семнадцати лет вновь осенило его поэтическое вдохновение, уже на закате дней, во время известного заточения в с. Варварино».

Вот одно из стихотворений Аксакова — послание его к хозяйке имения Е. Ф. Тютчевой:

ВАРВАРИНО

Как будто вихрем бури злой
Снесло мой дом, и я — изгнанник!
Но дружба путь водила мой,
И вот я в пристани. Я твой
Отныне гость и сердцем данник.

Как тихо дни мои текут!
Как мил, укромен твой приют!
Как сердцу вид его отраден,
Как нежит душу, тешит взор,
Как в простоте своей наряден,
Как величав и безогляден
Пред ним раскинулся простор!

Реки серебряный извив,
Блестящий в мураве зеленой;
По гибким скатам желтых нив
Бродящей тени перелив
И рощей сумрак отдаленный...
Виднеют села... здесь и там
Сверкает крест, белеет храм.

Куда ты взор ни обратишь,
Какая ширь! Какая тишь!
Но всюду в ней снует, бесшумный,
Рабочей Руси труд святой...
О чудный мир земли родной,
Как полон правды ты разумной!

Великий мир, родимый мир!
Ты бодр и мощен, как стихия...
Твоей лишь правдою Россия
Преодолеть возможет мир
И свергнуть идолы чужие!
Но час не близок. Злая мгла
Вершины Руси облегла.

В той безнародной вышине
Родная мысль в оковах плена;
Одни лишь властвуют вполне
Там лесть, и ложь, и буйство тлена!
Но внемлет бог простым сердцам:
Сквозь смрад и чад всей этой плесни
Восходит с долу фимиам,
Несется звук победной песни,
Поющей славу небесам.

18 августа 1878 г., село Варварино

Между тем Репин ехал да ехал из Москвы в Варварино, и вот однажды жена Аксакова Анна Федоровна написала своей сестре — хозяйке имения: «Сегодня утром, когда

я вставала, звук колокольчиков приближающейся тройки заставил меня испытать некоторое ощущение беспокойства, но оказалось, что это приехал из Москвы один молодой художник, присланный Павлом Третьяковым к моему мужу с просьбой разрешить сделать его портрет для своей портретной галереи знаменитостей. Вот они уже водворились в гостиной за работой».

Сам Аксаков так отзывался о Репине:

«Художник Репин очень талантливый и очень скромный, еще довольно молодой человек и известный (одна его большая картина, «Садко», богатый гость (купец) — находится у наследника, куплена за 6 т. р., другая — «Бурлаки на Волге» — у в. кн. Владимира), прислан был сюда Третьяковым, чтобы снять мой портрет для его галереи.

Не затягивая дела, я отдался в его распоряжение, и в три дня портрет готов. Сегодня он сушится и сохнет».

Есть и воспоминания Репина на этот счет:

«Вообще у нас многие странно понимают художество. Я — реалист и никогда не прикрашивал, не скрывал натуры. Припоминается случай с Иваном Сергеевичем Аксаковым. Начинаю писать его, он мне и говорит: «Вот что, Илья Ефимович, если вы хотите писать меня как следует, убавьте мне лицо, рожи у меня много».

Действительно, лицо у Ивана Сергеевича Аксакова было красное, мясистое и массивное.

Но это-то мне и показалось очень типичным в этой фигуре, а он просит сделать ему тонкое и бледное лицо».

Однако для нас, находящихся теперь в Варварине, самым интересным был отрывок из аксаковского письма, прочитанного нами в Юрьев-Польском музее. Он писал хозяйке имения:

«Репин в таком восхищении от Варварина и его видов, что воспользовался свободным днем, чтобы набросить на память нам один из видов. К сожалению, у него не было акварельных красок или цветных карандашей, а, к еще большему сожалению, погода, сначала солнечная, обратилась в пасмурную, потом в холодную, с дождем и ветром.

Тем не менее он под дождем и ветром, прямо на полотне масляными красками, широкою талантливою кистью перенес прелестный вид, тебе, может быть, и неизвестный: это снизу, недалеко от берега реки, влево от мостков, где моют

белье и стояла купальня, перейдя луг из рощи, поднимающейся вверх по горе, где дорожка на мельницу, через воду и часть сада видна вся церковь и часть рябин бывшей пушкинской усадьбы».

У Сереги, к счастью, оказались акварельные краски, и он, конечно, захотел написать Варварино, и, конечно же, с той точки, с которой писал его великий художник.

Беда заключалась в том, что ни одной из примет, указанных Аксаковым, то есть ни мостков, ни купальни, ни мельницы, ни рощи, поднимающейся вверх по горе, ни сада, ни рябин не сохранилось. Сохранились лишь река да церковь, но ведь на церковь можно было смотреть со многих точек.

Склон холма, по которому мы спускались к реке, весь был усажен пнями. Значит, где был сад, мы все же определили.

Обегая пни и перепрыгивая через них, спустились мы к реке. Отправной точкой в аксаковском письме были мостки, где моют белье. Если бы мы нашли это место, то в наших руках оказался бы кончик нитки, за который можно распутать весь клубок. Но кто же может сказать, где были мостки восемьдесят лет назад?

Утомленные, ходили мы по берегу Колокши, и Серега сел писать этюд, отчаявшись найти репинскую точку. Но когда мы возвращались домой, навстречу нам попалась женщина с корзиной белья на плече.

— Стой, подожди! Нужно посмотреть, где она примостится полоскать свое белье. В конце концов восемьдесят лет не такой большой срок, а деревенские традиции очень устойчивы. Мостки не сохранились, но варваринцы могут ходить все на то же место.

Мы пошли вслед за женщиной. Нужно было бы подсобить ей нести тяжелую корзину, но мы так боялись вспугнуть и разрушить ее инстинктивное чувство направления, что даже приотстали шагов на сто.

Женщина подошла к реке, на повороте, там, где нам и в голову не приходило искать репинскую точку, она разостлала на траве тряпку, вывалила на нее белье, сполоснула в текучей воде корзину и начала шлепать по реке мокрыми простынями.

Значит, так... «влево от мостков... перейдя луг из рощи... где дорога на мельницу...».

Вскоре мы набрели на торную дорожку, которая, может

быть, и вела в свое время на мельницу. Наконец, сверив все еще раз, мы воскликнули: «Здесь! Репин сидел здесь!» Ошибка на несколько метров, разумеется, не играла роли.

— Да, но мы никогда не проверим, правильно ли угадали точку,— сокрушался Сергей.

— Как это не проверим, репинская картина не иголка, где-нибудь она хранится.

— А если, к примеру, в Швейцарии, или в Финляндии, или в каком-нибудь там Амстердаме.

— Он оставил ее хозяйке имения, и вряд ли она попала за границу. Нужно выяснить.

Здесь я должен забежать вперед и рассказать, что, вернувшись в Москву, я напал на след репинской картины. Мне сказали, что она скорее всего хранится в частном собрании профессора Зильберштейна. Полистав телефонный справочник, не трудно было узнать адрес и телефон профессора. Не раздумывая долго, я набрал номер.

— Да, это я. Что вам нужно? Да, картина у меня. Ну, пожалуйста, когда хотите, можете сию же минуту.

В районе Миусской площади я отыскал нужный дом, нужный подъезд, нужную кнопку звонка. Две собаки залаяли за дверью. Приготовившись увидеть некую древность в ученом колпаке и какой-нибудь там душегрейке, я удивился, когда дверь мне открыл молодой еще, сухощавый мужчина в полосатой пижаме.

— Я и есть Илья Самойлович. Прошу.

На улице было снежно и пасмурно, поэтому больно ударило в глаза летнее солнце, освещающее яркую лесную зелень. Секундой позже я сообразил, что вижу перед собой один из малоизвестных шедевров Шишкина.

Квартира профессора оказалась сокровищницей русской живописи. Подлинный Репин, подлинный Шишкин, подлинный Васнецов, подлинный Поленов, да чего только там не было! И наконец я увидел родную Колокшу. На переднем плане стальной изгиб реки, далекий склон холма в темной зелени парка, полевее, из-за темной зелени, выглядывает белая-белая церковка, а над нею сырые, холодные, тоже стальные облака. Ведь писал-то Репин под дождем и ветром. Дождливое небо больше всего удалось художнику в этой картине. Скромная стояла подпись: «Вид села Варварина».

Теперь я уверенно мог сказать — мы стояли там, откуда Репин писал все это. Мы правильно нашли его точку.

Час спустя профессор проводил меня до порога.

— Простите, Илья Самойлович,— спохватился я,— как вы понимаете, в письме Аксакова слова: «И часть рябин бывшей пушкинской усадьбы...»

— Милый человек,— усмехнулся профессор,— я десять лет занимался этой загадкой. Я разговаривал с Тютчевым, я копался в архивах Аксакова. Но я так и не знаю, что имел в виду Иван Сергеевич. Ясно одно: сделать описку он не мог. Боюсь, что мы никогда этого не разгадаем.

Я поблагодарил профессора за любезность, и мы расстались.

Но это было потом, а пока, искупавшись в Колокше, мы карабкались на холм, довольные поисками. День угасал. Утром мы должны были покинуть Варварино — этот красивейший уголок земли.

Нам так понятно было сожаление знаменитого варваринского узника о своей роскошной тюрьме. Вот оно, это сожаление:

Затворы сняты; у дверей
Свободно стелется дорога;
Но я... я медлю у порога
Тюрьмы излюбленной моей.
В моей изгианнической доле,
Как благодатно было мне,
Радушный кров,— приют неволи,—
В твоей привольной тишине!
Когда в пылу борьбы неравной,
Трудов подъятых и тревог,
Так рьяно с ложью полноправной
Сразился я — и изнемог,
И прямо с бранного похмелья
Меня к тебе на новоселье
Судьба нежданно привела,—
Какой отрадой и покоем,
Каким внезапным звучным строем
Душа охвачена была!
Как я постиг благую разность,
Как оценил я сердцем вдруг
Твою трезвительную праздность,
Душеспасительный досуг!..

Чтобы кончить с историей, должен вспомнить, как совсем недавно, бродя по улицам болгарской столицы, я оглянулся по сторонам и увидел вдруг, что нахожусь на улице Ивана Аксакова, одной из центральных улиц Софии. Мне было радостно, что болгары не забыли и даже увековечили память своего русского друга и заступника.

Может быть, варваринцы догадаются тоже и, отремонтировав домик, который был «прелестная игрушечка»,

сельский клуб свой назовут его именем. Почему бы им не назвать? Увековечил же Аксаков в своих стихах их село.

Мария Ивановна так и не настелила половичков на свои пахнущие прохладой выскобленные доски.

— Топчите — для того и моем, чтобы по чистому ходить. Девки придут, опять вымоют.

— Какие девки?

— Дочери две у меня, в Юрьеве работают. На воскресенье домой ходят. Хочу продать хоромину-то, а они поперек: вишь, и отдохнуть негде будет.

— Сколько же ваша хоромина может стоить?

— Шестнадцать прошу... Да ведь и место цену имеет. Пруды, река — виду одного сколько!

— Виду много, а кем же работают ваши дочери?

— Одна на фабрике, другая — в книжном магазине продавщицей.

— Значит, мы третьего дня с вашей дочерью поругались. Пришли к закрытию, ни за что пустить не хотела.

— Она у меня характерная.

В это время за окном высокий женский голос лихо запел плясовую частушку, а еще несколько голосов подхватило ее. Мы бросились к окну и увидели, что мимо дома идут восемь женщин, все лет сорока, с лопатами, не просто идут, а с пляской и песнями.

— Чего это они?

— С работы. Силосную яму рыли, а потом у меня в огороде посидели.

— Как посидели, зачем?

— Выпили, значит, с устатку да луком с грядки закусили. Вдовушки все это наши. Рано без мужиков остались, сила-то бабья ходу просит. У нас вот в селе шестьдесят домов, и шестьдесят мужчин с войны не вернулись.

Надолго осталось в душе буйное, но горькое веселье варваринских вдов, которым ныне по сорок лет. Увидишь такое, и не нужно никаких плакатов, агитирующих против войны.

На другой день на рассвете мы ушли из Варварина.

ДЕНЬ ПЯТНАДЦАТЫЙ

В русые головенки тех мальчишек, что барахтаются в уютном, обросшем ивами омутке, или бегают все в брызгах по журчащему перекату, или, сопя и пыхтя, вытаскива-

ют из илистых нор упирающихся клешнистых раков, или просто лежат на солнышке около тихой воды, редко приходит мысль; а откуда течет, где начинается их речка?

Река текла, когда ребятишек еще не было на свете, и она будет течь, когда их снова не будет. Для них река как само время, как сама земля, как сам воздух. У нее не может быть ни конца, ни начала.

Но иногда, чаще всего в школьном возрасте, после первых уроков географии, когда прикоснутся дети к волшебным страницам «Фрегата «Паллады» и «Дерсу Узала», обязательно придет этот вопрос, чтобы смутить ребячьи умы и души.

С заговорщическим видом будут они шептаться, собираясь в стайку, из родительских столов начнут пропадать куски хлеба, если нет в доме готовых сухарей, исчезнет и хлебный ножик, жидкий, весь сточенный, способный, однако, в детском воображении играть роль тесака, кинжала, кортика.

Экспедиция отправится рано утром, чтобы к вечеру, охваченная расколом, идейными шатаниями и, наконец, бунтом малодушных, возвратиться домой, так и не узнав, где начинается река и как она начинается. Впрочем, нужно сказать, что у сельских детей нет другого представления о начале любой реки, кроме холодных ключей, бьющих из-под земли.

Так и мне рисовалось начало нашей Ворщи: зеленая трава, тенистый куст, а из-под куста льется и льется, журча, светлая, ледяная вода. Но где оно, это начало? Приставал с расспросами к старшим:

— Если идти все по реке,— добросовестно объяснял отец,— попадется Журавлиха — большой темный лес. Туда не ходи, там разбойники водятся. После Журавлихи начнется снова поле, за тем полем и стоит деревня Бусино. Около Бусина начинается наша Ворща. Большой вырастешь — сходишь.

Но в детстве и пять минут могут вызвать бунт нетерпения, а тут жди, когда вырастешь. С надежным другом выступили мы в великий поход. Мы были так малы, что боялись на шаг отойти от воды, чтобы спрямить дорогу там, где река петляет и извивается. Мы шли по берегу, и земля раскрывалась нам в своей первозданности. Теперь мы побоялись бы искупаться и, пожалуй, не удивились, если бы из-под куста глянула на нас611 буграстая морда крокодила. Река увела нас от реальности в свою таинственную сказку.

Нужно сказать к нашей чести, что когда началась Журавлиха, мы не повернули обратно, а шли еще некоторое время, продираясь сквозь прибрежные заросли, главным образом черемухи и малины.

Потрясла нас поляна, поднимающаяся бугром, вернее — не сама поляна, а избушка на ней. Если бы бросилась на нас собака или закричал кто-нибудь — было бы легче. Но избушка стояла безмолвная, словно пустая, а из трубы шел дымок. Отцовы рассказы о разбойниках не могли забыться так скоро. Мы переглянулись и задали стрекача.

Потом рассказали нам, что живут в сторожке какие-то Косицыны. Кто такие Косицыны, почему они там живут, как в сказке, одни в темном лесу, на берегу реки, посреди поляны, красной от земляники? Может, они-то и есть разбойники?

А когда кончилось детство и все стало понятным, все встало на свои места, позвала чужая сторона, и некогда было вернуться к светлой, как сама речка, мечте — дойти до истоков Ворщи.

Теперь, проглядывая по карте, как идти дальше, мы шарили кончиком карандаша по деревням и селам. Отметив крестиком село с интересным названием Ратислово (была, значит, тут рать, но было и некое слово), карандаш наткнулся на крохотный кружочек, около которого написанное мельчайшими буковками вдруг зацвело, заиграло, запереливалось красками выплывшее из глубин души, из потаенных уголков памяти, из давней детской мечты короткое словечко — Бусино.

В Ратислове полдня мы лежали под ветлой на берегу пруда. Прудов в этом селе было множество. Расположенные двумя параллельными рядами, они были бы очень красивы, а также давали бы много рыбы, если бы не заросли камышом и ряской, если бы не заплывали илом, если бы не уменьшались и не пропадали. Ряска лежала таким плотным слоем, что брошенный камень не оставлял следа. От берегов наступал на раздолье пруда камыш. Можно было предположить, что стройное зеленое войско его вскоре оккупирует всю территорию пруда, соединившись с теми собратьями, что наступают со стороны острова, поднявшегося над зеленью ряски, подобно могучему зеленому взрыву.

Трое бродяг, разумеется, привлекли внимание ратисловцев, к тому же отпускаемая Серегой борода достигла той степени выразительности, когда хозяина ее можно было легко принять за уголовника. К пруду собирались зеваки.

Председатель согласился, что пруды не плохо было бы почистить, но колхоз только-только начал набирать силу, и пока ему не до прудов. Кроме того, нужен экскаватор, а в районе ни одного экскаватора нет.

— Они все где-то там, в пустынях копаются,— с горечью сказал председатель,— а у нас здесь, в средней полосе, такие пруды погибают. Готовые, нашими предками вырытые, только почистить да в порядок привести. Прудов у нас в селе около четырех гектаров. Знаете ли вы, сколько карпа можно развести на такой площади?

— Мы-то знаем, а знаете ли вы, председатель колхоза?

— Я тоже знаю, но что делать, если в целом районе нет ни одного захудалого экскаваторишка. Мало внимания уделяется нашим центральным землям.

Мы спросили, где можно искупаться.

— В том порядке один пруд еще сохранился. Видно, уж очень глубок был. Банным зовется. В прогон залогами как раз проберетесь.

А еще мы попросили у председателя лошадь, потому что спутница наша иногда уставала раньше, чем наступал вечер.

Шустрый паренек-подросток, получив наряд, долго отнекивался, и так, что не помогали ни угрозы, ни мирные увещевания. Дело зависело от того, кому надоест раньше — председателю просить, пареньку отказываться или нам слушать их перебранку. В ту минуту, когда мы хотели махнуть рукой, пареньку надоело, и гнедая тощая лошаденка, запряженная в телегу, начала лениво перебирать ногами, загребая дорожную пыль.

Мы с Серегой шли рядом с телегой, а Роза, паренек и наши мешки ехали. То и дело лошадь останавливалась. Паренек делал вид, что понукает ее, потом так, чтобы мы слышали, говорил про себя: «До того леска доедем, дальше не повезу, совсем не идет лошадь». Однако у леска повернуть он не осмеливался и повторял сцену с вариациями: «Поле переедем, дальше не повезу». Так он откладывал три раза и наконец решился.

Нам и самим было неловко, что, может быть, действительно гоняем зазря такую усталую лошадь. Однако паренек, как только отъехал от нас шагов на тридцать, раскрутил над головой вожжи и, пока было видно (а было видно километра на два), гнал лошадь то вскачь, то рысью.

К концу дня вместе со стадом коров в прозрачно-золотистом облаке пыли, пахнущей парным молоком, мы

вошли в деревню Бусино. Бригадиров дом оказался в конце длинного порядка, растянувшегося по берегу отлогого широкого оврага. Хозяина не было дома, и мы расселись на завалинке. Жена бригадира рядом с нами нянчила ребенка. Постепенно число детей около женщины увеличивалось, и наконец собрались все шесть ее сыновей-богатырей. Старшему было не больше десяти — двенадцати лет.

Мы все боялись задать главный вопрос: здесь ли начинается река Ворща? Вдруг скажут: «Что вы, не знаем никакой Ворщи, и вообще никакой реки здесь нет». Почему они сами молчат о том, что у них начинается река? Ведь не в каждой деревне начинаются реки? Наверно, и правда здесь ничего нет. Откуда я взял это Бусино? Из детства, из рассказов отца. Но мало ли чего может рассказывать отец ребенку! Тоже и сказками потешают детей.

Земля, покрытая высоченной густой травой, уходила вниз полого, но глубоко. Противоположный берег оврага поднимался стремительнее и круче. А на дне оврага, в лиловых сумерках, начали появляться белые, как вата, клочья тумана. Туманные озерки сливались, вытягиваясь в ленту, и наконец овраг до половины заполнила плотная белизна. Это обнадеживало. Такой туман не мог родиться в простом овраге. Он мог родиться лишь в том случае, если там на дне, в травах, пробирается речная вода.

Совсем стемнело, когда пришел отец шести сыновей — колхозный бригадир, молодой мужчина в вылинявшей и выгоревшей гимнастерке,

Он повел нас на ночлег.

В избе, куда мы пришли, было еще темнее, чем на улице. Однако темнота не могла скрыть того, что горница прибрана плохо, на столе возвышается гора свеженарубленной махорки и хозяин, округлобородый старик, сгребает махорку в фанерный ящик. Тут же на столе валялось множество листочков от численника, предназначенных на цигарки.

Керосиновая лампа трепетно осветила горницу, и мы увидели, что у старика красные слезящиеся глаза и до черноты закоптелые пальцы.

Старая женщина, вздувшая огонь, оглядела нас всех и остановила на мне странный, долгий, вопросительный взгляд. Потом она вышла, но тут же вернулась, начала хлопотать с самоваром, а я то и дело ловил на себе ее взгляды, от которых становилось жутко. Сначала во взгляде ее был немой вопрос, потом почти мольба, потом осталась одна

лишь боль. Тогда я осмелился, спросил ее, почему она на меня смотрит, может, где-нибудь видела раньше?

— Думала, сын вернулся, да поначалу не открываешься. Сын у меня был — две капли с тобой. Тринадцать лет жду. Бумаг похоронных не было — значит, прийти должен.

— Полно пустое говорить,— грубовато оборвал ее муж-старик. — Кому прийти, все давно пришли.

Женщина вышла.

Старик снял со стены фотографию и дал нам.

— Правда, схож ты на нашего Леньку, я и то усомнился.

На фотографии был молодой, круглолицый парень, русый, здоровенный, курносый. Я, признаться, не нашел в нем большого сходства с собой, но матери виднее — значит, что-то было.

Я не сказал своим спутникам, зачем мы пришли в Бусино, боясь, что придем, а здесь ничего нет. Теперь, вечером, нужно было мне установить все точно. Я вышел на улицу. Пока мы сидели в горнице при керосиновой лампе, взошла луна, зеленая, свежая, будто только сейчас умылась светлой водой. Тумана в овраге стало еще больше, и он поголубел, засеребрился под лунным светом. Почти бегом бросился я в овраг. Брюки мои до колен тут же намокли, как если бы я вбежал в воду, в башмаках начало хлюпать. И еще раз мелькнула надежда: такая роса обязательно возле воды.

Запахло туманом. Он был густ и плотен. Вот я вошел в него по пояс, вот скрылся в нем с головой. Четкие очертания луны стушевались, как если бы на нее набежало облако. На дне оврага безмолвие охватило меня. Тогда в лунном безмолвии послышалось далекое, но явственное бульканье воды. Я пошел на звук. От главного большого оврага отходил в сторону небольшой овражек — тупичок. Он был не более ста шагов в длину и кончался крутой поперечной горкой. У входа в него росла высокая ветвистая ива. Никаких деревьев или кустов вокруг этой ивы не было видно. По овражку-тупичку, гремя, журча, переливаясь, бежал ручеек. Он пробил себе узкое углубленное руслице, над которым разрослись травы так, что самого ручейка не было видно.

У крутой поперечной горки, то есть у задней стенки овражка, травы буйствовали невероятно. Оттуда плыл, наполняя овражек до краев, резкий, душноватый аромат таволги. Ее белые пышные соцветия зеленовато свети-

лись. Там, окруженная могучими травами, и была колыбель.

Четыре дубовых венца образовали прямоугольный сруб длиною метра полтора, шириною в метр. Черный поблескивающий сруб до краев был наполнен водой. Но я узнал об этом, только дотронувшись до воды ладонью. Она была так светла, что ее как бы не было.

Выливаясь из сруба, вода обретала голос и видимость, потому что начинала переливаться, течь, быть ручьем.

По склонам оврага цвел красными шапками дикий клевер, алели гвоздички, желтели лютики. Наверху, над тихой колыбелью реки, в самом изголовье, густая росла пшеница. Пыльца цветения долетала до родника. Пушинки одуванчиков невесомо опускались на хрустальную воду.

Текущий по овражку, переливающийся ручей был зеленый, но я уж видел, представлял, как ярко сверкает и блестит он при утреннем солнце.

Только так, среди травы, цветов, пшеницы, и могла начаться наша река Ворща. Встретится на ее пути и грязь, и навоз, и скучная глина, но она безразлично протечет мимо всего этого, помня свое чистое цветочное детство.

Еще бежать и бежать этому ручейку, пока образуется первый бочажок и появится новое понятие — глубина.

Еще не скоро разольется он чистой гладью, в которой отразились бы и прибрежный лес, и облака, и само солнце, а ночью — синие звезды.

Еще не скоро сможет похвалиться этот ручеек-младенец тяжелым всплеском рыбины, рождающим на утренней воде багряные круги волн.

Но вот уж и девушка, разгоряченная ходьбой, умылась в реке, вот уж подошла к ней женщина и унесла на коромысле два ведра прозрачной воды; вот уж метнулась от всплеска бойкая стая окуней, и удильщик забросил к осоке свою немудреную снасть.

Деревни и села задымились по берегу реки (их не было бы здесь, если бы не она), зазвенели косы в прибрежных лугах. В сенокос парни, по древнему порядку, сбрасывают девушек прямо в платьях в теплую полдневную воду.

Вот уж и первый мост через Ворщу. С моста сыплется в реку разный мусор, и поэтому, поднявшись из глубин, ходят там, кормятся осторожные голавли.

Появились названия: Долгий омут, Барский омут, Черный омут. Здесь река и втекла в мое детство, чтобы стать едва ли не главным в биографии. Ничто не влияет так

сильно и так решительно на формирование детской психологии, как река, протекающая поблизости. Первый друг, первая игрушка, первая сказка — все это она, река. Не велика, не знаменита Ворща. Мало связано с ней легенд. Но неужели это так уж плохо, что никогда и никто не утопился в реке? Для славы нам нужно, чтобы бросали в воду царевен, чтобы обманутые красавицы прыгали с крутых берегов. Мы почитаем кровожадного и бесполезного орла и равнодушны к какой-нибудь там овсяночке, или пеночке, или мухоловке, спасающей наши сады и наши леса.

И вот уж сама кровожадность орла, сама его жестокость ставятся ему в достоинство, воспеваются в стихах, песнях и в поэмах. А между тем еще Салтыков-Щедрин предупреждал, говоря, что орел — птица прежде всего хищная. К голосу классика можно было бы и прислушаться.

Что ж, трудолюбивая овсяночка, разве мы хвалим ее за то, что, крохотная, она уничтожает пуды всевозможной нечисти, или разве мы жалеем ее, когда настигнет, убьет, растерзает хищная птица?

Вот и Ворща моя трудится неустанно за веком век, принося радость и пользу людям. А главная радость от нее детишкам. Как птица-овсяночка, не поражает Ворща своим величием. Ольха да кувшинки, перламутровые ракушки да пескари, ветлы да черная глубина омутов. А то еще осыпаются на воду белые черемуховые лепестки, медленно уплывая вниз по течению.

Я еще помню, как можно было голыми руками наловить в Ворще корзину рыбы. Великое множество водилось здесь голавлей, окуней, ершей, плотвы, гольцов, ельцов, пескарей, язей и иной рыбешки.

На моей же памяти завелась в Ворще щука. Где-то в низовьях (кажется, под Шаплыгином) нарушилась мельничная плотина, и в водополку, по большой воде, пожаловали первые гостьи — пошли по деревням недобрые слухи. Однако долгое время воочию никто ничего не видел. Наконец сосед Костя, постарше меня лет на пять, пригласил вынимать вершу. Дело было под Бродовской Лавой. Приподнял он вершу над водой, и затрепыхалось, забилось в ней о мокрые прутья, грозя разворотить и вырваться. Костя закричал не своим голосом: «Нали... Гола... Щука!» Потом мы внимательно разглядывали на траве впервые увиденное зубастое отродье.

С тех пор начала убывать рыба в Ворще. Вот, наверное, раздолье было первым щукам! Рыба непуганая, смирная.

У нее и в инстинктах против щуки ничего не было. Сама небось в пасть лезла. Теперь-то пошли приспособленные поколения: действует зубастый естественный отбор. Теперь ежели уцелел пескарь, то его, ворщинского пескаря, на мякине не проведешь!

Про Ворщу мог бы я рассказывать без конца: мало ли было рыболовных приключений, мало ли встречено на ней радостных зорь, мало ли слышано соловьев, мало ли хожено по ее ночным берегам! Одних стихов прочитал я ей уйму, и много стихов напела она мне своим ласковым тихим журчаньем.

И все это, весь особый, радостный, ни на что не похожий мир под названием Ворща, начинался теперь у моих ног, в дубовой колыбели, среди цветов и травы с пшеницей в изголовье.

Зеленые струйки переливались в черной траве, убегая к большой развесистой иве. Там ручеек поворачивал направо и струился вдоль большого оврага, сливаясь с другими родниками.

Утром, теперь уж втроем, мы снова пришли сюда. Как изменилось все вокруг на утреннем солнце! Вместо зеленой лилась золотистая, почти огненная вода. С травы и цветов капали в нее тяжелые, как жемчуг, седые капли.

Родников оказалось семь. Но тот, у которого я побывал ночью,— самый большой, называемый Гремячкой, считается главным.

Теперь можно было разглядеть дно колыбели. Оно было песчаное, чистое. Там и тут мельтешили в неподвижной, как бы застекленной воде фонтанчики песка. Значит, там-то и вырываются из земли родниковые струи. Я насчитал шестьдесят мельчайших песчаных фонтанчиков.

Конечно, мы пили родниковую воду и умывались почти благоговейно. А потом пошли по течению. Вода повела нас туда, где заплуталось во ржи да клеверах мое невозвратное золотоголовое детство.

ДЕНЬ ШЕСТНАДЦАТЫЙ

Этот день, как известно, начался у ключа, под названием Гремячка, у истоков реки Ворщи.

Мы шли, философствуя на тему, что появилось раньше — угро-финское название реки или славянское название ее истока.

Между тем солнце поднялось выше, роса обсохла, и в пустом еще, промытом утреннем воздухе начали струиться, заполняя его, первые медвяные запахи. Был разгар цветения всех трав — душистая, яркая, пестрая предсенокосная пора. Иногда нас обдавало запахом чистого меда: наносило от пасеки.

Пошли деревни, в которых старушка посмотрит, посмотрит на тебя из-под ладони, да и скажет:

— А вроде бы человек-то знакомый. Не из Алепина ли будете?

— Из Алепина и есть.

— То-то вижу...

— Почему?

— По природе. Не Лексея ли Лексеевича сынок?

— Его.

— То-то вижу, вроде бы человек-то знакомый.

Вскоре мы вошли в Журавлиху, вошли с другого, дальнего конца, откуда заходить в нее мне до сих пор не приходилось.

Я внимательней стал посматривать в сторону протекавшей тут же речки. Не сидит ли где под кустом Петруха?

Личность эта была примечательна. Бурдачевский сапожник Петруха меньше всего занимался своим ремеслом, почему и не вылезал из унылой бедности. Впрочем, семьи у него была одна жена, которая, говорят, похаживала по миру.

Сам же виновник столь бедственного состояния семейного корабля и дни и ночи проводил на реке с удочками. Это был не просто рыболов-любитель, но одержимый человек, артист и, видимо, немножко поэт, потому что замечали его и без удочек сидящим около воды по несколько часов неподвижно.

Всегда небритый, всегда в черной линялой рубахе, выпущенной поверх штанов, всегда босой, всегда с двумя удочками на плече и жестяным ведерком в руке — таков стоит передо мной Петруха.

Он был бы, наверное, не причесан, если бы не стрижка под короткий ежик. Лет ему около шестидесяти.

Один его удильник составлен из ореховой палки и можжевелового хлыста, другой — цельный, березовый. Леска сплетена из конских волос, вся в узлах. Вместо поплавков обыкновенные пробки от бутылок пол-литровой емкости. Пьяным я Петруху не видел.

Поскольку дома его не ждали пироги да пышки, то он бродил по реке днями, ночуя тут же на берегу, питаясь то ушицей, а то деревенским обедом, выменянным на свежую рыбу.

Про него говорили, что он знает «слово», потому что там, где иной просидит хоть неделю и не дождется поклевки, Петруха выхватывал рыбину за рыбиной, но предпочитал делать это без свидетелей. Можно наверное сказать, что никакой прикормкой и привадой он никогда не пользовался и других насадок, кроме навозного червя и хлеба, не знал.

Петрухе я обязан страстью удильщика, обязан до конца жизни, потому что страсть эта, в отличие от других, не проходит.

— Лексеич, пора! — будил он меня еще затемно.

И мы торопились, поеживаясь от предрассветного холода, шли куда-нибудь в «ловкие» места. «А то еще под Курьяновской кручей очень ловко место»,— говорил Петруха, а я запоминал.

Теперь, подходя к дому, я рассказывал своим спутникам про Петруху и обещал им устроить зарю с его участием. Я и раньше в дороге часто поминал про него, так что у них появилось даже нетерпение скорее прийти в Алепино и посмотреть на прославленного рыболова.

Правда, в последнее время Петруха сдал. Ноги у него согнуло (от вечного хождения по росе и сырости), а также, как сообщали мне в письме, появились кашель и одышка.

Между тем мы подошли к лесной избе, где некогда жили таинственные Косицыны. Вдруг закричала Роза. Можно было подумать, что она или наступила на змею, или чуть-чуть не наступила на мину. На самом же деле она впервые за поход увидела в траве красную-прекрасную землянику. Родная земля принимала с подарками.

«Земляничная жила», виясь в траве, уводила нас все ниже и ниже под берег реки, а сверху уж наблюдал за нами человек в очках и темно-синем поношенном кителе. Он был так же низок, как и широк, его лицо было так же округло, как и добродушно, и был он молод и весел.

— Ребята, помогите машину вытащить. Завяз в родной Журавлихе. У меня «москвичишко», мы его легко подтолкнем.

— А вы кто?

— Косицын я, может, слышали? В сторожке раньше жили. К старикам на побывку еду.

Так произошла наша встреча с Косицыным-младшим, как оказалось впоследствии, весельчаком, рыболовом-подледником, кандидатом юридических наук, старшим преподавателем Военной академии, Героем Советского Союза.

«Москвичишко» мы, конечно, вытолкнули моментально, и тут же с нас было взято нерушимое слово, что не позже чем завтра мы на том «Москвиче» поедем рыбачить на Колокшу, непременно с ночевкой, то есть на две зари.

Теперь до Алепина оставалось не больше двух километров. На выходе из Журавлихи уж виден за горой крохотный колокольный крестик, значит, скоро появится и сама колокольня, потом старые липы вокруг нее, потом крыши домов, потом мы войдем в Московкин прогон, и мать моя, если в это время взглянет в окно, уж сможет увидеть нас.

ДНИ СЕМНАДЦАТЫЙ — ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ

Эти дни мы провели в Алепине. Но село Алепино, его люди и окрестности могут составить для меня предмет отдельной книги, которую я когда-нибудь обязательно напишу.

Должен сказать только, что рыбалка с участием Петрухи у нас не состоялась. Незадолго перед нашим приходом он умер.

— Удочки тебе отказал, стоят на задах около огорода.

Я пошел на зады и действительно нашел там, где крапива переросла огородный плетень, две удочки, так знакомые мне. Одно удилище из ореховой палки и можжевелового хлыста, другое — целиком березовое. Все в удочках было исправно. Деревенские мальчишки не срезали даже крючки, к которым присохли остатки выползков, насаженных некогда негнущимися пальцами Петрухи.

ДЕНЬ ДВАДЦАТЬ ТРЕТИЙ

Если посмотреть вдоль красной сторонки нашего села, то увидишь ржаное поле, над ним в отдалении темную полоску Самойловского леса. Самойловский лес сбегает в низину к реке Езе. С колокольни хорошо видно, как начинаются за ним, пропадая в дымке, голубые холмы.

Я, правда, давно не лазал на колокольню, отчасти потому, что лестницы все обвалились, так что не знаю, какими показались бы мне теперь залесные дали. Виденье

осталось с детства. Когда-нибудь, маленький, загляделся я в ту сторону, и навеки отпечатались в памяти голубые холмы.

Сторона для нас нехожая и неезжая. Это помогало голубым холмам сохранять свою сказочную неприкосновенность. В голубизне, в особо солнечные ясные дни, проступали белыми черточками колокольни. Там будто бы стоят села Пречистая гора, Кузьмин монастырь, Абабурово...

Когда я спрашивал у отца, что за колокольни проступают из дымки, он отвечал:

— Кто знает. Суздаль в той стороне, не его ли церкви!

Теперь я понимаю, что он был мечтатель и ему очень хотелось, чтобы из нашего села видно было далекий Суздаль.

И еще помню с детства, как пытался понять и осмыслить слово «Русь». В голову не пришло бы, что наше село и деревни вокруг — Брод, Негодяиха, Останиха, Венки, Вишенки, Курьяниха, Куделино, Зельники, Ратьмирово, Ратислово,— что все это тоже частица Руси, то, что было известно и понятно, не совмещалось с непонятным словом. Голубые холмы — другое дело: неезжая, нехожая сторона, что за деревни — не знаю. Там и есть Русь.

Самойловские елки должны были спасти нас от дождя. Туча гналась за нами по пятам. Хорошо было видно, как затуманилось оставшееся позади родное село — совсем завесила его кисея — и как кисея эта, одним концом пристегнутая к двигающейся туче, другим концом волочится по земле, задевая за деревья, дома, заборы. Вот она поволоклась по ржаному полю и, знать, была не такая уж легкая и воздушная, если рожь под нею ложилась, словно приглаживал, ласкал ее кто-нибудь шершавой тяжелой рукой, как приглаживает мужик непокорные, ржаные же вихры сынишки.

Нарастающий шум только подбадривал нас, и мы бежали до тех пор, пока погоня не захлестнула, не смяла, обрушив на плечи бурлящую, по-июльски теплую, ливневую волну.

Бежать дальше не было смысла — не играть же с дождем вперегонки. А если вас окунули в воду, то от второго окунанья вы мокрей не станете.

Ливень шел волнами. Проходила одна волна — и появлялось солнце. В золотистом пару тонула земля. Пар шел и от нас, от наших спин, башмаков, рюкзаков. Потом снова настигла туча. Дорога осклизла, и идти стало плохо. Жирная грязь налипала на башмаки, так что мы обрадовались, когда начался лес с густой травой по сторонам тропинки.

Серега от отца научился подражать птицам и теперь развлекался тем, что со всего Самойловского леса собрал к себе кукушек. Сначала несколько раз он прокуковал впустую. Ошарашенные дождем птицы не отзывались. Потом далеко-далеко раздалось ответное: «Ку-ку». Потом в другой стороне, потом сзади. Серега настойчиво звал, и мы слышали, как все ближе и ближе подлетают обманутые кукушки. Кольцо сжималось, и наконец в кустах со всех сторон послышалось шастанье, шум крыльев, шорохи. Птицы летали над просекой, над нашими головами в недоумении и растерянности. Тогда Серега решил созвать рябчиков, но снова хлынувший ливень помешал этой затее.

Как ни тепел был дождь, вымокшие до нитки, мы начали зябнуть. Кроме того, ливень перешел в мелкую морось, небо затянулось сплошной серой мглой. Верхушки елей рвали, терзали ее, отрывая и оставляя на себе белые мокрые клочья. Такое не могло кончиться быстро.

К деревне Корнево мы подошли с задворок. Долго искали прогон, чтобы попасть на улицу. Прогона все не было, и мы, решившись, открыли калитку в огород, прошли мимо гряд с луком (как сейчас вижу — матово-зеленые жирные стрелы с крупными каплями дождя на них), но огород уперся в бревенчатую стену двора, а двор оказался запертым. На наш стук дверь приоткрылась, и оттуда выскочил пудовалый поросенок, а за ним уж парень. Парень не обратил на нас никакого внимания и стал гоняться за поросенком по грядкам с луком. Мы тем временем прошли через двор, залитый навозной жижей, пришлось ступать по редко брошенным кирпичам, и очутились в самом Корневе.

Выбрав крыльцо попросторнее, расположились на нем. На ходу было теплее, а теперь губы у нас посинели, и сухая одежда в теплой комнате стала казаться верхом человеческого блаженства на земле.

День только начинался, и, значит, неприятного впереди было больше, чем его осталось позади.

Деревня просматривалась насквозь, зеленая и пустая, как футбольное поле во время перерыва. Только гуси и ку-

ры ходили там и тут. Это был дурной признак. При коротком дожде куры прячутся и пережидают, а уж если они вышли в дождь, значит, пережидать бесполезно.

Распугивая кур и гусей, расплескивая лужи, кидая вверх комья грязи, мчался по деревне «газик». Он готов был проскочить в прогон и скрыться за околицей, как длинноногий озябший Серега бросился наперерез ему, подобно вратарю, спасающему верхний левый угол ворот. «Газик» остановился, а нам в нашем положении было, право, все равно, куда и зачем он едет.

В автомобиле, кроме водителя, белобрового паренька в клетчатой рубашке, сидели еще старичок и женщина лет сорока пяти, со спокойным лицом, тоже, как мы, попутчики. Водитель, казалось, рожден был для таких дорог. Ему, видимо, нравилось даже круто поворачивать баранку, когда автомобиль становился поперек дороги и юзом начинал сползать вниз под крутой уклон или когда на критической точке подъема нужно было свернуть на сторону, наискось, чтобы вскарабкаться на осклизлый пригорок. Мотор урчал, работали оба сцепления, потоки грязи выбрасывались изпод колес и колотили по тенту.

— Значит, москвичи,— почему-то правильно решил водитель. — Ну что ж, у нас тоже все как в Москве, только дома пониже да асфальт пожиже. Радуйтесь, что на мою машину попали. Сейчас в радиусе ста километров все грузовики стоят по дорогам, где дождь застал. Ехать им невозможно. Только нам дорога открыта. — И он лихо подавал вперед рычаг скоростей, как будто непосредственно этим движением толкал машину вперед.

— Ничего, хорошую машину сделали, без нее — гроб.

— Водитель вы тоже, видимо, классный!

Белые брови сошлись на переносице. Парень поморщился.

— Водить всяк может. У нас в школе был один балбес, инструктора отступились. Я говорю: «Дайте мне, не может быть, чтоб не научился, медведей и то всему научают». Отстажировался за милую душу. Теперь тоже где-нибудь сидит на дороге...

Автомобиль проскакивал какие-то деревни, села, перелески. Все это были мои голубые холмы, запеленатые водяной пылью.

— А что, правда ли, в Москве,— вдруг подал свой голос старичок,— есть магазины, товары на дом приносят? Чего тебе надо — сейчас, пожалуйста.

— Там, дедушка, не то есть,— опередил с ответом водитель. — Заходишь в магазин, а продавцов нет, бери чего хошь и ступай.

— А ты не бреши! — рассердился старик. — Молод еще над стариком смеяться. И вопрос тебя не касается...

...«Газик» въехал в большое село. Длинная прямая улица была куда грязнее, чем дорога в поле или в лесу. Телега, уступившая нам путь, вязла по ступицы в размешанной жибели. Несмотря на столь мягкую подстилку, автомобиль трясло и кидало, как будто под грязью скрывались пни.

— Все. Заехали на Громовский проспект,— сообщил водитель. — Говорю, как в Москве, только дома пониже да асфальт пожиже.

— Почему же Громовский, в честь летчика?

— Председатель райисполкома здесь Громов, вот и зовем. Видите, замостил как... Вас в райком или в чайную?

— К Дому колхозника. Обсохнуть нужно.

— В нашей власти. По трешнице, чай, заплатите? Такси дороже берет. Эх, родимая!..

Село, куда мы приехали, называлось Небылое — районный центр того самого района, в котором, по словам ратисловского председателя, нет ни одного захудалого экскаваторишка.

В Доме колхозника оказалась свободной только одна койка. Серега определился на ней, а мы попросились на постой в домик поблизости. Там нашелся летний чуланец с маленьким квадратным окошком и огромным количеством бутылочек и склянок на полу. Хозяин дома был ветеринар.

ДЕНЬ ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ

Просыпаясь ночью, прислушивались... Шумит! Жестоко барабанит по железной крыше дома, смягченно шебаршит по тесовой крыше двора, шлепает, как ребенок ладошками, по земле и лужам. Утро походило на сумерки, июль походил на осень.

— Пока еще все в сусек,—слышался за стеной разговор. — Пока еще миллионы подваливает. И травам не без пользы, и хлебам, и грече, а пуще всего картофелю. Однако сенокос на носу, ну как затянется... Все сгниет!

— Не каркай раньше сроку. Все лето ждали да молили, а два дня полил — и напугал, и надоел!

— И то два дня! Кажется, что неделю!..

После завтрака отряд наш в полном составе собрался на совет, что делать: сидеть целый день в избе и глядеть на заплаканные стекла — скучно, идти дальше — нельзя. Обязательно нужно побывать в двух деревнях: до одной из них три километра, до другой — семь. Идти туда под дождем и Серега и Роза отказались. Впервые команда взбунтовалась.

— А если я достану длинные плащи?

— Где ты их достанешь, родственников у тебя здесь вроде нет.

— В милиции, конечно. Где еще могут быть лишние плащи!

Три фигуры, завернутые в брезент, напугали дождик, и он вдруг перемежился. Около горизонта в седой низкой мгле образовалась голубая прореха. Края ее рвал ветер, задирая их все больше и больше. Он сдирал с неба облачность, словно картофельную шелуху. Окрестности прояснились, как проясняется на бумаге детская переводная картинка. Стало жарко. Плащи пришлось свернуть и нести под мышкой.

Мы шли в Кобелиху. Дело в том, что Небыловский район искони чуть ли не на всю среднюю Россию поставлял пастухов. «Район потомственных пастухов» — так его теперь именуют даже в газетах. Значит, здесь, в этих местах, и живут прославленные владимирские рожечники. Больше всех других деревень славилась рожечниками Кобелиха, вот почему мы шли туда. Придем, попросим сыграть две или три песни и уйдем обратно. Такова была цель похода.

Тропа вела то лугом вдоль речки Тумки, то частым лесом, то гречневым полем. Везде хорошо было идти. В лугах попадались кочки, сплошь покрытые гвоздичкой, этакие пурпурные островки среди зелени. В лесу, у самой тропинки, росли огромные лесные колокольчики, так что каждый колокольчик был чуть ли не по куриному яйцу, про гречу и говорить нечего, она цвела, и самый воздух над ней был как бы розов.

Правильно говорит пословица: «Летом два дня льет — час сохнет, осенью — час льет, две недели сохнет». Теперь было лето, и, пока мы шли до Кобелихи, тропинка обветрилась, траву обдуло, только земля сама была черная и рыхлая.

После дождя легко полется, этим и воспользовались кобелихинские крестьянки. Все они высыпали на усадьбы полоть лук. Лука здесь были поля.

— Как же, спокон веку луком держимся,— пояснила нам женщина, мимо которой проходили. Распрямившись, она поправила волосы тыльной стороной ладони (руки в жирной земле), проводила нас взглядом и снова принялась за дело.

Двумя вереницами дома Кобелихи бегут к реке Колокше, но перед самой рекой останавливаются у крутой зеленой горы, не решаясь сбежать с нее на прибрежную луговину.

Над одним домом, вернее — над огородом этого дома, собирался к отлету пчелиный рой. Шум слышался издалека. Разреженное облако роя клубилось, клубилось, клубилось, становясь все меньше, но гуще и чернее.

— Манькя, чего глядишь? — закричал старик из соседнего дома. — Беги, ищи Катерину. Скажи, рой уходит, а я постучу покуль.

Манька, девочка лет двенадцати, побежала вдоль деревни, а старик ушел в дом и возвратился с ведерком и палкой. Как известно, всевозможный звон вызывает у пчел тревогу, и они торопятся сесть, привиться поблизости. Но стучать старику не пришлось. Пока он бегал в избу, рой оклубился окончательно и, приняв форму дырявой овчины, полетел навстречу солнцу. Старик проводил его, приставив ладонь к глазам, несколько присев при этом и все держа в руке ненужное теперь ведро.

— Ишь ты, ушел, подосадует Катерина-то! А кому-нибудь — находка. Или в лесу, в дупло сядут.

Около правления колхоза «Красное заречье» на траве, на бревнах, на чем попало сидели колхозники. Мы подошли и присели тоже. Народ ожидал начала колхозного собрания. Парень лет двадцати трех стоял на коленях перед сидящими на траве мужиками и рассказывал:

— Да... А то еще барана видал. Весу сто тридцать килограмм. Рожища — во! — Парень покрутил пальцами около ушей, отводя пальцы все дальше в стороны.— Харя — в шерсти!

— Ну-у...

— Провалиться на этом месте!

Из правления вышла девушка и сказала:

— Председатель велел заходить. Начинать пора.

Никто и не шелохнулся.

— Да... А ноги мохнатые, одни копыта видать! Шестнадцать килограмм шерсти с него, черта, стригут.

— Неуж?.. Нам и с пятнадцати столь не настричь...

— Да... А то еще баран, хвост-то на тележку пристроен, а в нем — пуд!

— В баране?

— В хвосте!

Спрашивающий задохнулся махоркой, от такого чуда закашлялся, отвернувшись в сторону и к земле.

— Да... А то еще идешь — шестнадцать баб золотых, а то рыбина каменна, а изо рта — струя! Спереж-то я все один ходил. Подойдешь к избе, думаешь, люди живут, а там поросята. И все лежат или на задних ногах сидят, как зайцы. Дворы конные тоже гожи. Одна лошадь... да вы все одно не поверите...

— Чего она?

— Семнадцать тонн подняла — вот чего!

— Ну это, парень, того, загнул...

— Да вот чтобы мне провалиться на этом месте! — и даже вскочил от волнения.

Тут подкатил к правлению грузовик — полный кузов женщин да девушек. Из Пречистой горы на собрание приехали. Вместе с ними и наши мужички потянулись в избу.

За столом, покрытым кумачовой скатертью, стоял председатель, постукивая карандашом по бутылке с чернилами. Был он невысокого роста, полный и, что называется в народе, с бабьим лицом.

Понравилось нам уж то, что председатель начал не с международного положения, как это бывает на всех собраниях, он начал с дела: «Завтра начинаем покос! Давайте решим спереж, откуда начинать — от Лыковой межи или с Дмитрова луга?»

Тут поднялся шум. Каждый захотел высказать свое мнение. Это по отвлеченному вопросу не сразу заставишь колхозников произносить речи. А что касается Лыковой межи или Дмитрова луга, тут колхознику пальца в рот не клади, тут он первый специалист и знаток.

Решено было начинать с Дмитрова луга, но выяснилось, что у половины людей не хватает кос.

— В сельпе разве нету?

— В сельпе! — послышались издевательские голоса. — В сельпе к сенокосу гвоздей ящик привезли да навески — ворота навешивать.

Собрание решило командировать человека в Москву за косами.

— Теперь вот что надо решить. Многие на делянках недобросовестно относятся к работе, сшибают верхушки, не

прокашивают рядки. Как будем поступать с такими: пусть перекашивают снова или же начислять за работу им только пятьдесят процентов? Короче, чем бить их будем: горбом или рублем?

— Ты подожди бить-то! — выкрикнул, а затем и поднялся один колхозник. — Верно, не прокашивается трава, а почему? Тоже надо обратить на свое орудие, то есть который вручен нам струмент. Струментина, она ведь что, в ней все может проявиться, а ты бить. Надо бить, да с разбором.

Эта речь, смысл которой заключался, видимо, в том, что не всегда косарь, бывает и коса виновата, произвела сильное впечатление. Председателю пришлось снова стучать по бутылке с чернилами.

— У себя на усадьбах тем же инструментом работаете, а качество? Небось ни травинки не остается.

— Так ведь у себя-то мы ни за чем не гонимся, кроме как траву скосить, а на колхозных делянках — за трудоднем.

Потом стали зачитывать длинные побригадные списки колхозников. Пока их читают, я успею сказать, что деляночная система эта во время сенокоса мне не нравится.

Почему с давних пор самой любимой работой и самой любимой порой в деревне был сенокос? Потому, что он из всех крестьянских работ проводился сообща, объединял всех, сдружал, коллективизировал. Весь год копались крестьяне каждый на своем клочке, а в сенокос выходили в одно место всем селом, или, как это называлось, всем миром, становились друг за дружкой, тягались (соревновались) друг с дружкой, в минуты отдыха балагурили, и это было как праздник. В полдень тоже все вместе выходили бабы разбивать валки, ворошить сено. Туда и обратно шли с песнями. И вот эту самую коллективизирующую, самую сдружающую, самую объединяющую страду решили проводить по-новому: получай каждый свою делянку и вкалывай на ней в одиночку.

Система эта считается более производительной, но, выигрывая в одном, мы проигрываем в другом, в духовном, не менее важном. Система эта введена для того, чтобы не осталось нескошенной травы, чтобы убрать ее всю. Но при прежнем, коллективном труде не оставалось в лугах ни одной не убранной сенинки.

После зачтения списков разбиралось заявление пастуха. Он просил прибавить ему по десяти рублей с череда.

Видимо, пастух за это время успел завоевать авторитет и решил попросить прибавки.

— Дать, дать! Такому пастуху да не дать!

— Есть еще вопрос. Нужно выделить помощника бригадиру. Какие предложения?

— Петра Палыча, он уж работал, лучше его не найти.

Поднялся Петр Павлович, лет пятидесяти, высокий и худощавый. В руках он тискал фуражку.

— Не дело это, вот что скажу. Был я помощником бригадира, перевели меня на телят. Пасти, значит, их. Очень но я к телятам привык, и они ко мне, значит, тоже зачем меня отрывать?

— Давайте так,— предложил председатель,— попросим Фаю. Если Фая согласится, то оставим Петра Павловича на телятах.

— Нет! Его просить, Петра Палыча просить. Бабы, чего сидите, просите Петра Палыча! Просим, просим! — закричали со всех сторон.

Петр Павлович вскочил, возбужденно огляделся вокруг, и на лице его отразилась короткая, но острая борьба: тяжело было бросать телят. Потом он отчаянно ударил фуражкой об пол.

— Ладно, давайте...

Не вынесло, значит, мужицкое сердце, что его столько народу просило, да так дружно.

Собрание продолжалось.

— Как вы помните, мы посылали письмо дедушке Махмуду Айвазову, правда ли, ему сто сорок семь лет?

Колхозники вспомнили про письмо, оживились, заинтересованно зашумели.

— Вот пришел ответ от дедушки Махмуда. — И председатель стал читать письмо, где азербайджанский старожил благодарил за внимание, желал успехов.

Видно, что писал не сам, и написали за него казенно, сухо. Но вся эта история была хороша и трогательна: заинтересовались, написали письмо, получили ответ, занимались этим на колхозном собрании. Что-то теплое и человеческое было тут. И то хорошо, что старика председатель называл не товарищ Магомед Иванович Айвазов, а просто дедушка Махмуд.

В начале собрания мы послали председателю записку, и теперь он объявил:

— Вот какое дело! Пришли к нам люди, интересуются нашими рожечниками. Так что, у кого есть рожки, большая

просьба сбегать за ними и, так сказать, продемонстрировать.

Собрание кончилось, и народ повалил из правления. Но ушли не все. Человек пятнадцать мужиков осталось в правлении. Тут же мы завели с ними разговор без посредства председателя.

— Да, были трубачи у нас, были! Шибровы, бывало, на коронацию ездили, царю, значит, играть.

— Где же они сейчас?

— Примерли. Сын их здесь. Тоже мастер. Ванька, сбегай-ка за Шибровым.

— А то еще Петруха Гужов — Горькому в Москве трубел. Правда ли, нет ли, плакал Горький-то, слезу, значит, прошибло. Подарил он Петрухе чего-то там, а Петруха ему — рожок.

— Где ваш Петруха?

— В Ногинске живет. Их ведь три брата, и все трубачи. Иван теперь полковник, чай уж, забыл, какой рожок бывает, а Павлуха — дома. Васька, верни Павлуху, да чтоб рожок захватил.

— Братья Беловы, те все по радио из Москвы трубели!! Да рази мало было?! И Мишка Шальнов трубел, и Шохины... Побило много трубачей-то. В войну.

— Да сейчас-то кто трубит ли?

— Трубят понемногу: и Коркин и Шишкин. Много бы трубело, да зубов не осталось — года.

— А зубы при чем?

— Как же, зубы — первое дело. Дух-то ведь нужно выпускать не как-нибудь, а систематически. Значит, без зубов — шабаш.

— Вот у меня возьми,— заговорил мужик лет сорока — сорока пяти. Было странно видеть на его небритом, запущенном лице большие печальные глаза. — Вот у меня зуб-то осколком в войну выбило. — И он постучал желтым от махорки ногтем по желтым передним зубам. — Вернулся с войны — снова за пасево. А какой я пастух без рожка. Не так приучены. Теперь вон и в бутылку ходят дудят, а мы, бывало, нет, рожок подай, да еще пальмовый, кленовый так и не возьму. Ну, рожок у меня был, всю войну хозяина дожидался. Взял я его, дуюсь, пыжусь, а игры не выходит. Не от зуба ли, думаю, все это? Вырезал я из липы деревяшечку, обстругал, вставил наместо зуба. Что ты, пошло. Так и носил его в кармане — деревянный-то зуб. Поиграю — в тряпочку и в карман.

Да. Бывало, в Лежневе по четвергам рядиться. Собиралось нас, пастухов, видимо-невидимо, с разных деревень и мест. Мы, рожечники, садимся в рядок, человек сто двадцать, и ну играть. Без рожков пастухи тут же околачиваются. Но он поди докажи, что хороший пастух. А я как заиграл — товар лицом. Мужики из разных деревень ходят вдоль рядов, прислушиваются, выбирают. Спор из-за хорошего трубача разгорится, чуть не драка. Хорошему трубачу и платили больше, потому что бабы наши игру любят. Заведешь на зорьке, к примеру, «Во лесах», или «Коробочку», или пожалостливей чего,—по росе куда как далеко отдается. Бабы сейчас просыпаются коров доить, а ты все играешь. Оно и приятно. Красиво, одним словом. Можно, конечно, и в бутылку подуть. И дуют теперь многие, да слышал я осла на войне, краше орет, ей-богу, краше. — Все засмеялись. — А звук какой-никакой все одно производить надо. Потому без звуку пастуху нельзя.

— Вот и сыграли бы нам. С детства слышать не приходилось, а они,— я показал на спутников,— и никогда не слышали.

— Так ить струбаться надо. Без струбания не выйдет. Давно уж не играл никто из нас. Зубов тоже нет.

— А молодежь?

— Куды!.. Никто не может. Да и рожки перевелись. Бывало, мастер в Пречистой горе жил, под боком. Хошь тебе пальмовый, хошь какой! Все кончилось.

— Да вы без струбания!

— Нельзя. Один должон на басу, другой — на толстой вести, третий — на ровной, четвертый — на подвизге.

— Что это такое?

— Подвизгивать, значит, в лад, для рисунку.

— Пастухами все врозь ходили, каждый сам себе играл. И теперь кто-нибудь один попробовал бы. Тряхнул стариной, вспомнил молодость!

В это время стали приносить рожки. Вот он у меня в руках — немудреный инструмент, сделанный из куска пальмы.

Длины в нем не больше двух четвертей. Толщиной он с узкого конца — в большой палец, а в раструбе — с донышко бутылки. Пожалуй, и поуже. Дырочки вдоль него — ладить. Кое-где вокруг резным украшением опоясан: или зубчики вырезаны, или просто луночка к луночке пущена. Весь он до темноты отполирован за долгие годы. Звуки, льющиеся из этой деревяшки, могли изумлять загранич-

ный люд (ездили и в Лондон владимирские рожечники!), заставили плакать Горького, наводили отраду на русских баб потому, что по окраске звука, по его колориту и своеобразию нет больше ничего подобного этому.

Шибров приставил рожок к краю рта, встал, надулся до покраснения, потом надулся еще сильнее, потом еще сильнее, казалось, нужно было ему довести себя до определенной степени багровости, чтобы получилась песня, и когда довел, прозвучал в правлении хриплый стон.

— Погодь, не попало ли чего, да помочить надоть. В моченый легче!

В рожке, правда, что-то было. Соломиной прочистили его, оказался там дохлый таракан. Принесли ведро воды и стали окунать рожки. Бывалые рожечники, то один, то другой, пробовали вывести песню, но вырывались из дерева только нелепые обрывки мелодий, совсем негармоничные, то визгливые, то хрипящие звуки. Когда же решили попробовать вчетвером: то есть и бас, и толстая, и ровная, и подвизг — получилась такая какофония, что мог бы позавидовать и американский джаз.

— Нет, ничего у нас, видно, не выйдет. Совсем отвыкли. Да и зубов нет, да и вообще без струбанья-то... Отошло.

Здесь я должен забежать на несколько дней вперед и рассказать, как нам привелось услышать все же настоящую игру владимирского рожечника. Дело было под Суздалем. Серега остался писать разные суздальские уголки, а мы пошли посмотреть на Кидекшу. Известно, что в четырех километрах от Суздаля, у впадения Каменки в Нерль, на зеленом берегу стоит древнейшая, самая первая белокаменная постройка северо-восточной Руси — церковь во имя князей Бориса и Глеба. Юрий Долгорукий похоронил там дочь Ефросинью, сына Бориса и жену его Марью.

Мы нашли церковь не только сохранившейся, но и восстановленной, в прекрасном состоянии, словно строили ее не в 1152, а в 1952 году. Свежепобеленная, она стояла, как игрушка, среди прибрежной зелени, отражаясь в спокойной светлой Нерли. От церкви с высокого места далеко проглядываются занерльские дали. Низкий дощатый мост перегораживал реку как раз под нами. Время от времени по нему осторожно пробирались грузовики.

День шел к концу, да к тому же находила туча. Становилось сумрачно. Только церковь еще ярче светилась на фоне грозового неба. Замечали ли вы, как ярко горят фарфоровые стаканчики на телеграфных столбах, когда находит

гроза, а тут не стаканчик — большое и красивое сооружение.

Как бывает всегда перед дождем, мир затихал. В такое время случайный звук в соседней даже деревне (звякнет ведро у колодца, крикнет гусь, скрипнет тележное колесо) слышен всеми в окрестностях.

В такую вот тихую минуту в занерльских далях и заиграл рожок. Казалось, он поет совсем близко за холмом. Нужно только перебежать реку и взобраться на холм, как тотчас увидишь, кто играет. А пел рожок переливчатую песню «В саду ягода-малина».

Мы перебежали реку по дощатому мосту и, стараясь сохранить направление (рожок перестал играть), пошли по луговым травам. За холмом оказался широкий и глубокий овраг с глинистыми склонами. Ручьи дождевой воды нарыли по склону оврага множество извилистых руслиц, дно которых усыпано мелкими разноцветными камешками. Кругом следы коров, овец, коз. Направо овраг расширялся и выходил к той же Нерли, налево терялся в кустах, уводил к дальнему лесу. Мы пошли налево.

Кто-то изорвал находившую тучу в клочья, как неприятное письмо, и выбросил эти клочья на ветер. Теперь они летели по небу, кувыркаясь и перегоняя друг друга. Несколько капель упало на нас, но большого дождя можно было не бояться. Стало заметно светлее.

Кидекша, а сзади нее и суздальские луковки да купола от нас, как будто мы перевернули бинокль. Они стояли, словно сахарные игрушки, за пологом темной тучи.

Уж километра за три ушли мы от Кидекши, а никакого стада не попадалось. К тому же, углубившись в частый кустарник, мы теперь не видели ничего вокруг дальше чем на десять шагов. Когда кустарник кончился, оказалось, что прямо перед нами сосновый лес, а левее, над ржаным полем, соломенные крыши неведомой деревеньки.

Наверно, мы решили бы ночевать в ней, потому что наступал вечер, но снова заиграл рожок, на этот раз сзади, в овраге. Через четверть часа с пригорка открылась картина: по сумеречному полю идет человек в брезентовом плаще и брезентовой фуражке. Идет он тихо, не оглядываясь, а за ним, рассыпавшись по полю, также тихо движется стадо. Наше появление было неожиданностью для пастуха, ведь поблизости нет ни тропы, ни дороги.

— Заплутались, что ли? Наверно, на Суздаль пробираетесь?

— На Суздаль. Мы не заплутались, да услышали рожок, больно хорошо играет, вот и свернули послушать. Идем, идем, а никакого рожка нет.

— Ишь ты,— усмехнулся пастух и покосился на свою сумку, из которой торчал конец пальмового рожка. (Теперь мы ведь разбирались в них!) Что же, любители нашей музыки?

— Как же любители, если сроду не слышали. Любопытство разобрало.

Разговаривая, мы все шли да шли впереди стада. Пастух торопился в село до захода солнца. Но дождь все-таки прыснул, и нам было предложено спрятаться в кусты. Мы сели, почти легли на влажную траву.

— Ничего,— пошутил наш новый знакомый (звали его Василий Иванович Шолохов),— лиса от дождя под бороной скрывалась: все, говорит, не каждая капелька попадет. Большого не будет, разогнало главную тучу.

В кустах было безветренно, дым от шолоховской цигарки висел возле нас, как если бы мы сидели в комнате.

— С восьми лет вот так-то пасу,— рассказывал Василий Иванович, вызванный нами на откровенность. — Где только не пас: и в Ярославской, и в Костромской, и в Московской, и в Ивановской, и в Горьковской... Другую работу давай — не возьму. А на рожке я и в Москве игрывал.

— Где же?

— И в Доме ученых игрывал, и в Доме писателей, по разным залам да театрам. Слушали нас очень здорово. Ну, да и мы старались. Им, значит, скрипки все надоели, наш инструмент в охотку, вроде как после печения хлебушка черного поесть!

— Как в Москву-то попал?

— Это целая история. — Он вдавил в землю окурок, вытер от земли пальцы и поднялся. — Пойдемте, дорогой расскажу, поздно... Был я молодой парень, и взяли меня в армию. Заскучал я тогда по родной стороне и попросил письмом, чтобы выслали мне мой рожок: сыграю, дескать, иной раз, душе и полегчает. Так-то вот, на привале, после купанья отдыхала рота. Кто загорает, кто так лежит! Достал я из ранца свой инструмент и ну играть. Что тут было! Сбежались все, окружили, слушают. А я как внимания не обращаю, веду да веду свою линию. Вдруг расступились все — комиссар идет. Послушал, взял рожок, в руках повертел. «Что это такое, где взял, откуда?» — «Так и

так,— говорю,— из дому выписал». — «А ну, еще играй чего умеешь!» — «Уши,— отвечаю,— при мне, что прикажете, то и будет». — «По долинам, по взгорьям» валяй». Сыграл я «По долинам, по взгорьям».— «Молодец! А земляков у тебя нет, чтобы так же умели?» — «Как не быть». Назвал ему фамилии. Командировали их домой за рожками, и собрался нас квартет. Где самодеятельность какая, вечер отдыха или подшефные мероприятия — сейчас нас на сцену: «Владимирские рожечники исполнят на своих инструментах». Комиссар тем временем выписал из Москвы артиста — гусляра Северского. Приставили его к нам для обучения. Ну и поманежил он нас, ну и поманежил! Одну и ту же ноту по семьдесят раз заставлял тянуть.

Начались маневры, и приехали в нашу часть Ворошилов с Буденным. Ну, понятно, в честь этого большой праздничный концерт по всей форме. Вышли мы на сцену, смотрим, сидят они в первом ряду. Робость на нас напала. Потом прошло. Когда дело делаешь, никакой робости быть не может. Мы играем, а они, Ворошилов с Буденным, значит, хохочут, за животы ухватились! После этого и вызвали нас в Москву. Два года выступали мы по разным концертам. Принимали — спасу нет, лучше чем Лемешева с Козловским. Я, может, так в артистах бы и остался: дело не пыльное, а денежное. Однако к земле, на родину потянуло.

— Что ж, во всей округе вы один играете или еще рожечники есть?

— Зачем один? Есть кое-где. Недавно областной смотр самодеятельности был, нас тоже позвали. Известный артист приезжал. Понравились мы ему. Повел он нас в «Клязьму», в ресторан то есть. Выпьем, выпьем, опять играть. Оченно ему понравилось. «Я,— говорит,— вас, ребята, в Москву забираю. Надо, чтобы все вас слышали, а то помрете, и концы в воду. Я,— говорит,— вас на пленку запишу. В кино,— говорит,— вас снимем, чтобы память потомству осталась...»

— И что же?..

— Неловко получилось. Смешно, можно сказать. Выдал он нам командировочные на поездку, ну, а наши их пропили. А пропили — неловко стало, совестно. По деревням все и разбежались. Поди теперь собери. А может, кто и не пропил, да тратить пожалел. Дармовые деньги, как с неба свалились. Ну, чтобы вам еще-то сыграть, вот это разве? — И Василий Иванович бойко заиграл краковяк.

Играл он очень хорошо, но нужно сказать, что рожок создан для того, чтобы слушать его на некотором отдалении, из-за пригорка, из-за перелеска, через луг, через поле. А особенно на ранней заре. Вблизи игра его несколько громковата и пронзительна.

Историю эту я рассказал, забежав на несколько дней вперед, пока мы прощались с кобелихинскими рожечниками, из которых ни один уж не мог сыграть как следует. «Ничего,— сказали,— у нас не выйдет, совсем отвыкли, да и зубов нет, да и вообще без струбанья-то...»

Однако нельзя сказать, что мы проходили зря. Во-первых, послушали колхозное собрание, во-вторых, познакомились с хорошими людьми и многое узнали, в-третьих, унесли на память по отличному пальмовому рожку, которые лет через двадцать так же трудно будет достать на земле, как и живого мамонта.

ДЕНЬ ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ

Каждому дереву своя цена!

Нанесет ветерком, и за версту услышишь, как цветет липа! Незримая река медового аромата льется от нее по яркому июльскому разнотравью. В тихую погоду несметное количество пчел слетается сюда на работу. Старое дерево, посветлев от цветения, гудит, шумит пчелами, мелькающими, мельтешащими среди цветов и листьев. С одной липы больше собирается меда, чем с гектара цветущей гречихи.

От черемухового цвету нет подобного проку, но цветет она рано, в пору весеннего пробуждения и буйства всех земных сил и соков. Поэтому и связана с ней лирика тайных встреч, первых свиданий, горячей девичьей любви.

Но отцветают черемуха и сирень, жухнут травы, желтеют листья. Уж и пчел уносит в теплые душноватые омшаники. Краски увяданья господствуют в осенних окрестностях, и ни одно из деревьев, празднично украшавших нашу землю в летние дни, не в силах теперь быть украшением. Кто заметит в сентябре ту же черемуху, кто обратит внимание на жасмин, кто не пройдет равнодушно мимо зарослей шиповника!

Но есть иное дерево. Мы, пожалуй, не замечаем его весной, оно не бросается нам в глаза в июле. Оно создает вместе с другими неяркими деревьями тот нужный зеленый

фон, на котором и праздновали свое цветение и выделялись и буйствовали пышноцветущие.

Чем ближе осень, тем заметнее и ярче становится это дерево, и когда совсем обеднеет земля и нечем ей будет порадовать глаз человека, вспыхнут среди долины яркие костры рябин, и люди сложат об этом дереве лучшие свои лирические песни.

То янтарные, то оранжевые, то ярко-красные проглядывают гроздья сквозь резную филигранную зелень, и, глядя на них, мы изменяем красоте шиповника и жасмина.

Едва-едва пожелтеют ягоды, как дети рвут их себе на игрушки. В августе все деревенские девочки украшаются в янтарные бусы из сочных рябиновых ягод. Но бывает, что захочет девочка сорвать тяжелую кисть, а другая, постарше, остановит ее: «Разве можно обрывать эту рябину, она ведь невежинская».

В детстве разгорались у нас жестокие споры. Один говорил: «рябина невежинская», другой говорил «нежинская». Пойдем спрашивать у старых людей, те говорят «невежинская». Пойдем в магазин смотреть бутылки с наливками, там написано: «нежинская». Вот и разбери тут, кто прав, а кто виноват.

Споря таким образом, мы не подозревали двух обстоятельств: во-первых, того, что спорят на ту же тему и ученые люди, во-вторых, что село Невежино, в честь которого называется эта рябина, всего от нас в двадцати километрах.

Одни ученые писали, что в «окрестностях города Нежина издавна культивируется сладкая нежинская рябина, из плодов которой приготовляется довольно вкусная настойка под названием «Нежинская рябиновка».

Другие ученые писали, что в «пределах Владимирской, Ивановской областей распространена так называемая невежинская сладкоплодная рябина, получившая свое название от села Невежино Небыловского района Владимирской области, которое считается родиной этой рябины».

Кто же виноват, что так запуталось дело, и как можно было его прояснить?

В город Нежин выехала ученая комиссия во главе с кандидатом сельскохозяйственных наук Е. М. Петровым. Вот что пишет сам Е. М. Петров:

«Чтобы внести ясность в этот вопрос, мы в 1938 году предприняли специальную поездку в г. Нежин. С представителями районного земельного отдела и научными работниками пункта плодово-ягодных культур мы установи-

ли на месте, что в Нежинском районе, и вообще в Черниговской области, никакой сладкоплодной рябины не разводилось и не разводится... Позже, через колхозников села Невежина и лиц, работавших заготовителями невежинской рябины у известного в свое время московского виноторговца Смирнова, выяснилось, что последний, желая скрыть от своих конкурентов истинные источники заготовки сырья, переименовал невежинскую рябину в нежинскую и адресовал тем самым конкурентов за сырьем в город Нежин. Приготовляемой же из плодов невежинской рябины на своих заводах настойке он дал более благозвучное название «Нежинская рябиновка», вместо правильного — «Невежинская рябиновка».

Впрочем, в Нежин можно было и не ездить.

У видного владимирского статистика Антиповича в книге, изданной в 1910 году, находим о невежинской рябине: «В прежние годы ее тысячами пудов вывозили из Владимирской губернии в Москву на водочные заводы, но с изобретением различных эссенций, в том числе и рябиновой, сбыт в Москву ее сильно уменьшился, хотя эта убыль в значительной степени восполняется увеличением спроса на местных базарах, где ее охотно покупают хозяйки для варенья, платя 6—8 копеек за фунт».

Ради справедливости нужно сказать, что в популярной среди городских хозяек книге «О вкусной и здоровой пище» рябина эта называется правильно — «невежинской», но что и там есть неточность, а именно: село Невежино, как родина этой изумительной ягоды, отнесено к Ивановской области, а не к Владимирской, как это есть на самом деле.

С утра, как и все эти дни, шел дождь. Но мы уже знали, что часам к десяти он имеет привычку перемежаться, и ждали теперь этого срока. Действительно, ветер усилился, низкие облака полетели быстрее, потом их угнало за горизонт, и оказалось, что над ними есть еще одни облака, но что дождь с этих облаков не каплет.

По осклизлой тропе мы вышли из Небылого в село Невежино. Тропа, перебежав низину, поднялась в глухой дубовый лес, в котором после дождя все капало и шуршало. Тяжелая капля, сорвавшись с верхушки дуба, прыгала с листа на лист, тенькая на разные тона, пока не падала уже бесшумно в высокую лесную траву. То и дело, впервые за наш поход, стали попадаться грибы. Но брать нам их было некуда, да и что бы мы с ними потом делали? А вот и первый грибник — сморщенный, рыжеватый старичок в ват-

ной шапке, с корзиной, сплетенной из краснотала. В корзине, один к одному, лежат поддубовики, так похожие на настоящий белый гриб, но корешки у них там, где прошел нож, засинели, будто их окунули в чернила. И сколько бы потом ни попадалось нам грибников, у всех были одни поддубовики; только перед самым селом пошли сосенки, и две девочки, в длинных не по росту ватных пальтишках, рысцой и боязливо оглядываясь, протащили мимо нас по корзинке ядреных молодых масляток.

Село Невежино издали похоже на крылья птицы. Края его находятся выше, чем середина, потому что в середине села, перерезая его поперек, пролегает овраг. Не могло быть сомнения, что мы пришли именно в то Невежино. Каждая усадьба (мы ведь попали сначала на задворки) представляла прямоугольник земли, обсаженный по краям рябинами. В середине росли яблони, кусты смородины, вишенье, сливы, терновник, гораздо реже картошка. Но так как другие деревья были ниже рябин, то и создавалось впечатление, что село стоит в рябиновом лесу. Некоторые рябины можно было бы назвать гигантскими. Ствол, толщиною не в обхват, поднимает развесистую крону высоко в небо, где ее и треплет, словно распущенные девичьи волосы, сырой теплый ветер. Чаще от одного корня поднимаются несколько толстых стволов. Они с высотой постепенно отстраняются друг от друга, создавая грандиозный зеленый шатер. Тут же между великанами, или, лучше сказать, великаншами, растут молодые стройные рябинки с тонкими прямыми стволами и более яркой листвой. А приглядевшись, можно увидеть и рябиночьих ребятишек с маленькими, редкими листочками. Земля вокруг них окопана, разрыхлена и, наверное, удобрена: известно, за детьми особый уход.

На прогоне нас перегнала еще одна грибница — девушка в аккуратных, по ноге, кожаных сапогах и в аккуратной новой стеганке. Поверх грибов в корзине просунут под ручку свернутый плащ из прозрачной розовой пластмассы. Мы спросили у девушки, кто бы мог рассказать нам про невежинскую рябину.

— Вы уж идите к колхозному садоводу, он лучше всех расскажет. Он живет на Вышвырках. Сейчас пойдете направо, до конца села, на краю будет домик. Александром Ивановичем садовода зовут, по фамилии Устинов.

Старик сидел на крыльце и чистил грибы. Рядом, под водосточным желобом, стояла кадушка, вся в деревянных

обручах. Около кадушки ходила белая курица. Пришлось нарушить эту идиллию. Курица с нашим приходом шмыгнула в ворота. Старик оставил грибы, вытер о пиджак руки и пригласил нас в дом.

Был он невысокого роста, по лицу — рыжеватая щетинка, синие водянистые глаза, маленький тонкий рот, а тут еще выпали передние зубы, и рот совсем завалился, не видно губ: сходятся на этом месте щетинка со щетинкой.

— Рад, рад служить. Что же вас интересует?

— Нам уж одно то интересно, что находимся мы в селе Невежине. А то распри идут: есть ли такое село? Правильно ли рябина невежинской называется?

— Как же, спокон веков наши мужики рябину практикуют. По сто деревьев на усадьбе растет. Никто и не помнит, когда она зародилась.

— Вы слышали про Федора Первопечатника, про того, что первую книжку на Руси напечатал?

— Мало книжек-то читаем, не приходится, все больше с деревьями в саду. А что он, Федор-то, тоже рябину водил?

— Помощник у него был: Андроном Невежей звали. Дал им царь по селу за их заслуги. Ваше-то и досталось Невеже. Книжки печатать он бросил, уехал сюда и разводил будто бы здесь рябину.

— Это что же, правда или мечтанье одно?

— В архивах не копались, но легенда такая есть. Или, думаете, неправильная?

— Село, может, и, верно, по Невеже зовется, а касательно рябины — нет. Пастух был в селе, Щелкунов. И был он, как говорится, «не весь», дурачок то есть. Он нашел эту рябину в лесу. Теперь вы из Небылого? Значит, через лес шли! В этом лесу и нашел. Пересадил на усадьбу, у него взял сосед, у соседа другой сосед, так и пошло.

— Вы сами Щелкунова знали?

— Где мне знать! Может, это двести лет назад, может, триста было! Люди говорят. Передается!

— Значит, тоже легенда. Ну что ж, какая-нибудь из них верная.

— Недавно на моей памяти два дерева померли: лет, чай, по сто им было. Агромадные! Будто бы самим Демидом посажены!

— Что за Демид такой?

— Демид, сын Александра Митрофанова. А тот был на всю губернию первый специалист.

— По рябине?

— По ней. Нашу рябину далеко знают. В старое время больше пастухи ее разносили. Пойдет пасти на чужую сторону — нахвастается там про нашу рябину, ну и просят: «Принеси да принеси». Однако не прививалась...

— Земля не та или климат?

— Сладка! Как чуть ягоды, так с ветками и ломают. Конечно, им в диковинку, а ягода наша крупная, заманчивая. Приезжали тоже тут, мерили: более сантиметру поперек себя! Нашли в ней много всего: и сахару, и кислоты какой-то яблочной, и витамину С, и витамину А, будто витаминами-то наравне с лимоном да апельсином ходит.

— Куда вы ее деваете?

— Бываloче, закупали много. Смирнов тоже был виноторговец, тот на корню целые сады скупал. Ставил по садам своих сторожей. От него и путаница пошла. Скрывал он наше село от чужих рук и придумал, будто рябина-то нежинская! Да вот еще года три назад владимирский завод сто шестьдесят тонн закупил, а то и на рынок возим.

— Берут?

— Интеллигенция больше — на мочку и варенье.

— А еще что можно из нее делать?

— Сами-то, бываloче, больше сушили да настойку делали. Если высушить, вроде изюму получается. Не попробуете ли?

Хозяйка поставила перед нами хлебную плошку, полную темной сушеной ягоды. Мы начали жевать, ожидая кислоты и горечи, но сушение было сладкое и душистое.

— А то еще в солодке мочим, в солодковом то есть корне. Это для десерту. А то еще в пироги кладем, а то еще квас делаем. Да куда хошь она идет: и на варенье, и на повидло. Я больше всего по-своему люблю: наложишь ее с осени на подволоку или в амбар, а кисть прямо с листьями ломаешь, она все равно что на зеленой тарелке получается и вянет меньше. Схватит ее мороз. И лесная рябина, лешевка, после морозу гожа. Про нашу говорить нечего.

— Выгодно, значит, разводить ее здесь?

— Неужто не выгодно! Места наши северные, фрукту разного мало. Так чем и это не фрукт! На рынке она, конечно, подешевле яблока идет, зато каждый год родится. Опять же против морозу очень стойка. Я на Камчатку посылал, не знают, как и спасибо говорить. Хорошо прижилась, должно быть! А если на Камчатке прижилась, у нас чего ей сделается?

— Как вы надумали послать на Камчатку?

— Просят. Да что ж я не покажу-то?

И Александр Иванович достал из ящика пачку писем.

«Уважаемый товарищ Устинов!

Я много слышал о сортах невежинской рябины, и мне, как садоводу-любителю, очень хотелось иметь у себя в саду рябину. Вот уж около трех лет я пишу заявки на эти сорта рябины и всегда получаю ответ: «У нас такой рябины нет». Так отвечают из госпитомников и плодово-ягодных станций...»

«Многоуважаемый Александр Иванович!

Наш институт специально направит своего садовода к вам за черенками невежинской рябины. Нам надо заготовить около 1500—2000 черенков...»

«...очень просим вас выслать семян или сеянцев вашей замечательной невежинской рябины для плодового питомника нашей школы, а также лично для учителя Семенова...»

Письма, письма, письма...

— Откуда они узнали о вас, Александр Иванович?

— В газете меня один раз пропечатали, как есть я колхозный садовод-мичуринец.

— Вы еще и мичуринец?

— Так уж в газетах пишется, им виднее.

— И всем вы посылаете, кто просит?

— Почему не послать, пусть расходится наша рябина по белу свету. Теперь, правда, я их чаще на Собинку адресую.

— Там тоже садовод вроде вас?

— Нет, там образован опорный пункт по нашей невежинской рябине, чтобы ее, значит, изучать, разводить, чтобы все научно, чтобы не меньше ее становилось на земле, а больше и больше. Будете в тех краях, поинтересуйтесь, у них широко поставлено.

В саду полным-полно было пчел: Александр Иванович держит пасеку. Пчелы пикировали из-за высокого плетня к своим ульям, преграждая дорогу: известно, на пчелиной автостраде не становись!

— Что же вам показать? Рябины как рябины, или не видели никогда? Они ягодой отличаются, вкусом, а снаружи, что лешевка, что наша, невежинская,— одно. Приходите, когда поспеет. Может, самим понадобится, развести задумаете, пожалуйста, в любое время, я вам лучшие че-

ренки дам, внуки благодарить будут. Конечно, кто не понимает ничего, тому рябина не фрукт. Нет, милые, в ней и красота, в ней и польза. Каждому дереву — своя цена.

На обратном пути мы присели на пригорке и долго любовались селом, утопающим в зелени рябин. Как красиво бывает здесь глубокой осенью, когда загорятся рябины красным своим огнем! Глаз не оторвать от села Невежина!

Подумалось еще вот о чем. Была деревня Негодяиха, ее негодяевцы переименовали во Львово. Кобелихинцы теперь чаще зовут свою деревню по имени колхоза «Красное заречье». Это все понятно. Невежинцы и не помышляют ни о чем таком. Наоборот, они недовольны, что колхоз их, называвшийся «Невежинская рябина», переименовали теперь в «Победу».

В самом деле, зачем его переименовали?

ДЕНЬ ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЙ

В этот день не было надежды на перемежку дождя. Поэтому почтовый грузовик с брезентовым тентом над кузовом пришелся как нельзя кстати. Мы забрались под тент и тотчас убедились, что во многих местах брезент имеет небольшие дырочки. Сначала мы не придали этому никакого значения. Между тем на тенте скапливалось все больше дождевой воды. Он провис и, когда грузовик тронулся, забултыхался, как бурдюк с вином или кумысом. Вода переливалась в разных направлениях, и это способствовало равномерному ее распределению на все дырочки, имеющиеся в брезенте. Самих нас, не хуже той воды, кидало от борта к борту или от заднего борта к кабине.

Кроме нас троих, в кузове тряслись две девушки, парень и мужчина с двумя корзинами. Этот ехал на базар торговать грибами и ягодами. Он среди нас всех, неимущих и бродяг, представлял частный торговый сектор. Он и сидел отдельно, в углу, обхватив руками обе свои корзины.

Задний полог тента был подогнут под железную перекладину, и мы могли наслаждаться пейзажем, как бы вставленным в темную рамку. Верхняя половина картины изображала небо из клочьев грязной ваты. Нижняя была заполнена жирной чернотой размокшей земли. Ряды длинных тускло мерцающих луж, число которых соответствовало разъезженным колеям дороги, вносили в картину некоторое разнообразие. Лужи колыхались. Вода, вытесненная

из них колесами нашего грузовика, стекала обратно грязными густыми потоками.

Иногда автомобиль, поскользнувшись всеми четырьмя колесами, начинал медленно, но верно сползать в сторону. Колеса вертелись при этом, но с таким же успехом, как если бы автомобиль был приподнят краном. Верхний слой дороги размок, разжижился и играл теперь роль смазки между колесами и более твердым грунтом. Каждый пригорок приходилось брать с боем. Около одного пригорка простояли минут тридцать, отъезжали назад, прыгали на него с разгона. Копали грязь лопатой, кидали в грязь камни. Впрочем, делали это не мы, пассажиры, а водитель и девушка, сопровождавшая почту.

Дождь лил не переставая.

Второй пригорок отнял всего лишь двадцать минут, и мы не теряли надежды, что так и пойдет по нисходящей степени. Однако случилось непредвиденное.

После бесполезной попытки преодолеть очередной пригорок автомобиль пополз задом и решительно встал поперек дороги. Водитель и девушка покопались под колесами, и им удалось поставить машину радиатором в ту сторону, куда ехала она до сих пор. Но вторая попытка кончилась тем же, то есть сползанием с пригорка с одновременным разворотом на девяносто градусов.

Первым из пассажиров (воздадим ему должное!) не выдержал Серега. Он разулся, закатал штаны и смело ринулся в стихию дождя и грязи. За ним полез парень. Под автомобилем что-то начало хлюпать, оттуда доносилось кряхтенье, скрежет, негромкие чертыханья.

Чувство коллектива, воспитываемое в нас с детских лет, взяло верх над нежеланием мокнуть и мазаться. Постепенно мы все трое, то есть девушка-пассажир, Роза и я, присоединились к работающим внизу. Только частник со своими корзинами остался сидеть в кузове.

Работа состояла в том, что с одной стороны нужно было лопатой срывать мешавший бугор, с другой стороны — замостить этот участок дороги камнями. Камней много лежало в кучах возле обочины. Землю копали на переменках, потому что лопата была одна. Каменные работы производились всеми одновременно.

Стараясь выбрать камень поплоще, подкладывали его под колесо, рядом с ним клали еще камень, потом еще, еще, затем совершалась проба. Водитель мыл руки в луже и залезал в кабину. Мы все упирались в грузовик кто где

поспел, по возможности сбоку, ибо из-под колес во время проб вылетали две струи грязи, перемешанной с камнями, как будто там работали некие гряземеты.

Проба каждый раз кончалась одним и тем же — колеса соскальзывали с каменных рельсов, уложенных нами, разбрасывали камни в разные стороны и еще глубже увязали в липкую грязь.

— Надо шире, шире мостить. Давайте попробуем в три ряда.

Объем выполненных земляных работ между тем давно можно было исчислять в кубометрах. Незаметно прошло часа полтора или два. Наконец не выдержал и представитель частного торгового сектора, или, может, ему холодно и скучно стало сидеть в кузове, только он, приподняв от дождя воротник, спустился на землю, отошел в сторонку и стал давать разные советы, как-то: «Не плохо бы добежать до ближнего леса и нарубить там лозняку».

Не могу точно сказать — нароком или ненароком, полная лопата грязи (копал в это время водитель) угодила на прорезиненное плечо советчика, залепив ему ухо и часть щеки. Тот хотел возмутиться, но водитель, отвернувшись, методически работал лопатой.

Во время перекуров заходили возмущенные разговоры о дорогах вообще. Водитель рассказал, что на сто километров такой дороги уходит несколько сот килограммов бензина и, значит, по стране перерасходуется его огромное количество. Жизнь автомобиля сокращается при этом, по крайней мере, впятеро, не говоря уж о резине. Если подсчитать все в рублях, то, пожалуй, построить хорошие дороги выйдет не в убыток.

А время, растрачиваемое впустую десятками тысяч людей, а шоферские нервы?! Они, конечно, не могут идти в экономический расчет, но в какие-то расчеты идти должны!

Проезжая по сухому пыльному проселку, почти на каждом шагу, в каждом углублении замечаешь всохшие в землю палки, колья, солому, лозняк, камни — следы таких вот боев, какой пришлось вести и нам. Зимой и летом, весной и осенью доводилось мне вместе с попутными сидеть, как говорится, на трех точках, и еще больше видеть, как сидят другие. В свое время я забыл упомянуть, как пожаловался нам председатель Ратисловского колхоза: «Автомобили у меня,— сказал он,— есть, но пользуюсь я ими два-три месяца в году. Остальное время они отстаива-

ются или дома, или, застигнутые бездорожьем, где-нибудь на стороне».

— Ну вот что,— сказал наконец водитель, надевая курточку. — Спасибо вам за помощь. Мы сделали все, что могли. Безоговорочная капитуляция. Буду сидеть и ждать, пока кто-нибудь дернет, а нет — в колхозе выпрошу трактор. Хотите — сидите вместе со мной, хотите — ступайте пешком. Просидеть я могу и до завтра. Почта, как говорится в романах, придет с опозданием на сутки.

Мы тепло попрощались с водителем и побрели, сойдя с обочины на мокрую траву поляны.

Торговец полез в кузов к своим корзинам.

После обеда стало разведриваться, и мы повеселели. Как жалко, что, усталые, измокшие, мы больше смотрели под ноги, чем по сторонам, потому что в минуту «прозрений» вдруг отдалялся в разные стороны горизонт и зеленое степное раздолье окружало нас. В следующую минуту мир опять суживался до крохотного участка грязной дороги и собственных ног, старавшихся преодолеть этот участок. Но преодолеть его было не дано, ибо он двигался вместе с нами. Если из того большого мира западали в память причудливое облако, живописная группа деревьев, колокольня, поднимающаяся изо ржи, то из этого микромира запоминались раздавленная былинка, ручеек дождевой воды шириной в ладонь, солома, прилипшая к подметкам башмаков вместе с грязью. Так и шли мы, перекидываясь из одного мира в другой.

А однажды подняли глаза и остановились завороженные. С легким поворотом дорога врезалась в высокую густую рожь. Далеко над рожью сверкнула белизной островерхая башенка с голубой луковкой над нею, а рядом еще — с золотистой луковкой, а рядом пять башенок и пять луковок вместе, а левее — высокая тонкая колокольня, а еще левее розоватые, как бы крепостные стены монастыря — тоже все с башнями, а там уж еще и еще подымались изо ржи колокольни да церкви. Они рассыпались в длинную цепочку, взгляд не схватывал их все сразу, но нужно было поворачивать голову то вправо, то влево. Небо в том краю совсем разголубелось, и, значит, кроме полутонов, участвовали в создании сказочной картины три основных цвета: зелено-золотистый — ржаного поля, темно-голубой — небесного фона и сверкающий белый — многочисленных суздальских церквей.

У обочины дороги стоял, опираясь на толстую палку, старик в старомодной поддевке. Палка его была с острым железным наконечником и могла при случае превратиться в смертельное оружие. На боку старика холщовая сумка, а на груди, развеваемая ветром, белая могучая борода. Палка была длинная. Старик опирался на нее, не сгибаясь, широко расставив ноги в кожаных сапогах и глядя вдаль: не догонит ли какая машина? А так как сзади старика были ржаное поле и вся сказочная цепочка суздальских башенок, то нельзя было удержаться от соблазна сфотографировать деда.

Я общелкал его со всех сторон с чисто репортерским проворством, стараясь, чтобы вышло главное в кадре — развеваемая ветром борода. А старик стоял, не моргнув глазом и не изменяя позы.

Начались огороды — все лук да лук. Много и помидоров, огурцов, моркови, капусты. Вся низина перед городом занята огородами. Потом вы делаете несколько шагов, чтобы подняться в горку, и оказываетесь на главной улице Суздаля.

Как это ни странно, в гостинице были свободные, к тому же очень приличные номера, а чайная произвела впечатление хорошей городской столовой.

Интересно, выкарабкался ли наш грузовик из той ямы или все еще торчит там и водитель с почтовой девушкой, продрогшие и мокрые, устраиваются вздремнуть в кабине?..

ДНИ ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЙ—ТРИДЦАТЫЙ

Итак, мы остановились в Суздале. Принято считать, что у города должны быть предместья; принято считать, что в городе полагается быть вокзалу; принято считать, что город не может обойтись хотя бы без плохонькой фабрички или какого там ни есть промышленного предприятия. Ничего этого нет в Суздале.

Без фабричных труб, без железной дороги, без больших городских зданий — затерялся Суздаль среди хлебов Владимирского ополья. Выглядывают изо ржи башенки да купола церквей. Хлеба окружили город, подступив к крайним домам, как это бывает на деревенских околицах. А луга, устремившись вслед за рекой Каменкой, прорвались к самому центру города.

В стороне от главной улицы то и дело попадаются улочки, совершенно заросшие травой. Там, где должны быть тротуары, вьется узкая тропиночка, а так кругом зелень да зелень. Смотришь вдоль такой улочки, а она пуста — ни тебе прохожих, ни тебе автомобилей! Вот выбежали двое детей, играют, кувыркаются в траве на самой середине улицы, на самой, что называется, проезжей ее части. Недалеким концом своим улочка упирается, как правило, или в монастырскую стену, или в церковь. Поэтому остается от нее впечатление тихого, уютного тупичка. На окнах домов — резные наличники, на подоконниках — цветы, цветы, цветы.

Почти у каждого дома есть свой огород и сад, а перед окнами еще и палисадник, похожий на корзину, полную сирени.

Центральные улицы частью замощены, частью мостятся теперь. Город объявлен заповедником и готовится к приему многочисленных туристов и интуристов.

В 1813 году, после победы России над Наполеоном и в честь этой победы, суздальцы взгромоздили над городом огромную колокольнищу, в которую вскорости ударила молния. Так и стоит без верха это самое высокое в Суздале серое сооружение, нелепо выделяясь из окружающих белых, со вкусом построенных церквей и колоколен. Говорят, что церквей в Суздале пятьдесят восемь, а так как городок маленький, то стоят они вплотную друг к дружке.

Суздаль реставрируется. Разным зданиям его и монастырям решили вернуть такой вид, какой они имели некогда, в давние времена, сначала. Руководит реставрацией Алексей Дмитриевич Варганов.

Еще в Москве много слышали мы об этом человеке, посвятившем всю свою жизнь городу Суздалю. Московские специалисты, архитекторы, историки, художники — большие знатоки старины, вплоть до самых видных архитекторов, историков и художников — знают Варганова как тонкого знатока. Московский ученый никогда не скажет: «Нужно поехать в Суздаль!» — но скажет: «Нужно съездить к Варганову!»

«Золотая наводка домонгольского периода? Так это же у Варганова, в соборе Рождества Богородицы».

«Жена Петра Первого — Авдотья Лопухина? Так она же сидела у Варганова, в Покровском монастыре».

В Ленинской библиотеке, в глухих дебрях систематического каталога, попадается имя Алексея Варганова как

автора книг о суздальских архитектурных памятниках.

...За каменной высокой стеной находятся бывшие архиерейские палаты. Пройдешь под сводчатую арку и попадешь как бы в прозрачный улей: солнечно, душно от жары и от медового запаха, пчел видимо-невидимо. Виной всему белые душистые цветочки, что заполнили двор. Особенно много их вокруг монашьего собора.

— Варганов? Нет ли его в канцелярии музея?

— Алексея Дмитриевича? Поищите его около каменщиков!

— Директора музея? Может быть, он у плотников.

— Вам самого нужно? Он повел экскурсию на городской вал. Догоняйте.

На городском валу расположилась экскурсия. Девушки и юноши, большей частью в лыжных штанах и майках, сидят на траве на самом краю вала. За ними местность резко опускается в крутой петле реки Каменки. Вал, перейдя в естественный холм, убегает направо и вперед, все более и более загибаясь в подкову, так что весь Суздаль виден справа впереди, хоть и силуэтно, но очень хорошо. В низине, прямо против экскурсии, небольшая горка, словно кто положил шапку. Белая церковь и темное дерево приютились на ней.

Среди живописно рассевшихся юношей и девушек стоит небольшого роста человек в сером поношенном пиджаке, с копной густых кучерявящихся темных волос. Щупленький, с сухощавым бритым лицом, он показался моложе своих пятидесяти лет, несмотря на большую усталость в глазах. Или, может быть, потому показался моложе, что мы думали найти убеленного сединами, опирающегося на палку патриарха науки, которого, может быть, уж и поддерживают под руки младшие сотрудники музея.

До нас шла какая-то беседа. Это мы заключили из того, что черноглазая высокая девушка на самое ухо прокричала Варганову:

— Вам бы писать обо всем надо! Очень много вы знаете!

— Пробую и писать, да плохо выходит. Ругают меня в газете. Я им дело, а они мне говорят: «Не так. Ты,— говорят,— пиши образно, например: «Рассеялся туман, и блеснули купола собора». О районе тоже просили книгу написать. С историей, конечно, у меня все в порядке, а вот за сегодняшним днем не успеваю. Принесу показывать — они руками разводят. «Милый Алексей Дмитриевич, да уж

коровы в Суздальском районе давным-давно в два раза больше доят». Я переделаю, ан коровы опять меня опередили. А вопросы мне лучше на бумаге пишите, чего кричать-то!

И он негромко, не как все глухие люди, начал рассказывать:

— Суздаль древнее иных русских городов, в том числе и Владимира, не говоря про Москву. Когда он возник — в точности неизвестно. Также неизвестно, почему называется Суздалем. Славянофильское предположение, что в основе лежит слово «судить», «осуждать», «рассуждать», а отсюда — суждение и суждаль, конечно, красивая мечта. Мы должны трезво взглянуть на дело и признать, что Суздаль — слово дославянского происхождения, так же как Нерль, что течет невдалеке, так же, как Клязьма. Как и все остальные, слово «Суздаль» не расшифровано, и смысл его для нас темен.

Однако, если мы не можем прояснить этот вопрос, совершенно ясно другое и более важное, почему именно здесь возник, а потом развился до столицы обширнейшего княжества город Суздаль.

Если у вас есть воображение,— а оно у вас должно быть,— вы можете подняться со мной на некую высоту и бросить оттуда взгляд на земли Центральной России. Среди песчаных малопригодных почв, вскормивших к тому же дремучие леса, лежит небольшой черноземный клин. Происхождение его загадочно. Так вот Суздаль — центр, как бы столица этого окруженного лесами куска полевой, хлебородной земли.

С другой стороны, поднявшись еще выше, мы увидим, что Суздаль вовсе не в стороне от больших торговых путей, а как раз на бойком торгу. Это теперь он остался в стороне, потому что пути изменились, а раньше было так: один путь из Новгорода к Черному морю, другой путь — из Новгорода на Каспий. Суздаль возник на этом последнем.

Там, где мы видим теперь красивые желтые кувшинки, текла река Каменка, достаточно глубокая для того, чтобы в нее могли заходить купеческие струги. В четырех верстах отсюда Каменка впадает в Нерль. Нерль выносит свои воды в Клязьму, Клязьма — в Оку, Ока — в Волгу. И вот уж брезжит в голубой дымке сказочный Восток — благовония, ковры, пряности, прочая роскошь.

Где теперь Волго-Дон, был волок до Дона, а там уж брезжут в голубой дымке иные заморские края — Визан-

тия, Венеция, арабы: вот почему при раскопках мы находим в суздальском черноземе персидские, индийские, арабские деньги.

Суздаль возник в языческие времена. Прямо перед собой мы видим горку, ту, на которой теперь стоит церковь. Это не простая горка, в языческие времена ее называли красной. Она оттаивала раньше других мест, поэтому древние суздальцы собирались там на припеке играть ярилины, любовные игры. На другой горе, направо, где теперь вы отчетливо видите кирпичное здание школы, на этом самом месте игрались игры в честь другого божества. У иных народов его зовут Вакх, Дионисий, Бахус, у суздальцев он носил более простое имя — Облупа. Игры в честь Облупы состояли в питии и веселии.

Христианство, идущее из Киева, не сразу и не мирно привилось в Суздале. Известен бунт волхвов. В связи с этим бунтом находим первое упоминание о Суздале в древних летописях. Это было в 1024 году.

Собор Рождества Богородицы строили южные, киевские мастера. Они не учли морозов и сырости северного климата — заложили мелкий фундамент, и собор упал.

Однако был восстановлен. Мы в него сегодня сходим. Недавно я докопался там до мостовой Владимира Мономаха. Она теперь лежит на глубине двух метров девяноста шести сантиметров.

Юрий Владимирович Долгорукий избрал Суздаль столицей, но осел в Кидекше, в четырех верстах отсюда, где Каменка впадает в Нерль. Вспомним, что и Андрей Боголюбский, считая столицей Владимир, сидел тоже в своем Боголюбове, на впадении Нерли в Клязьму. Так было безопаснее.

Когда Суздаль был цветущим могучим городом, на западе в дремучих лесах дымилась десятком труб деревушка Москва.

Одному из сыновей князя Александра Невского, а именно младшему, Даниилу, после смерти отца дали в удел заброшенную, затерянную Москву, основанную Юрием,— незначительный пригород Владимира и Суздаля. Даниил уехал туда, и с этих времен начинается усиление Москвы. Оно продолжалось при детях Даниила и при детях его детей, до тех пор, пока все не перевернулось наоборот, то есть Москва стала столицей, а Владимир и Суздаль ее владениями.

— Князья ваши,— это Варганов обращался к экскурсантам-москвичам,— ходили на нас войной. Дмитрий Донской, например, воевал Суздаль. Забегает в хоромы, а там сидит княжеская дочь Авдотьюшка. И вышло так, что Дмитрий победил Суздаль, а Авдотьюшка Дмитрия. Венчались они во Владимире. Значит, у вас с нами были родственные связи. Поэтому Суздаль довольно легко присоединился к Москве. Проводником, опорой московской политики сделались монастыри. Некоторые из них мы посмотрим. А теперь пойдем в собор, построенный Владимиром Мономахом.

Снова медовая горячая духота архиерейского двора окружила нас, и резок был переход из нее в каменную прохладу собора, устоявшуюся тут за долгие века. Ворота, окованные медью, черные как уголь, просвечивали золотой росписью. Это и есть знаменитая золотая наводка, которую делают один раз на вечные времена. Ворота уцелели от Батыева разорения, и это считалось церковным чудом.

— Вон,— Варганов кивнул на нижний угол ворот,— двадцать лет мимо ходил, а потом думаю: «Дай отчищу». Отчистил углышек, а там Самсон, львиную пасть раздирающий. Чистая Византия! Стены собора расписаны религиозной живописью. Верхняя живопись неинтересная,— пояснил Алексей Дмитриевич. — Под живописью, если ее очистить,— фрески семнадцатого века, а если и фрески убрать, откроется орнамент Мономаховых времен.

Фреска, она ведь кладется на сырую штукатурку. Писать ее можно только четыре часа, потом штукатурка высыхает. Иные мастера рисунок прочерчивали гвоздем. — И Варганов показал нам прочерченные круги на штукатурке, причем гвоздь нацарапал в одном месте без толку несколько окружностей. Мастер никак не мог найти центра.

— От неопытности, что ли? — поинтересовались мы.

— Скорее всего выпивши был, вот и портил штукатурку. Рублев фрески писал сразу, без гвоздей. Это был виртуоз.

— Что за гробница там, в углу?

— А,— равнодушно бросил Варганов,— здесь лежит князь Кислый, дружкой на свадьбе у царя Василия гулял.

Мы заметили, что о разных князьях, княгинях и их родственниках Варганов говорит так просто и легко, как будто они родственники его приятелей или приятели ему самому. Когда шли от собора до Покровского монастыря,

произошел случай еще характернее. Подвыпивший мужчина тридцати с лишним лет отвел Варганова в сторону и минут пять что-то ему доказывал.

— Кто это? — спросили мы, когда Варганов догнал нас.

— Это потомок одного новгородского купца. Князь Ярослав захватил тогда новгородских людишек, как раз перед липецкой битвой, семьсот лет назад дело было, может, слышали?

— Теперь-то он кто?

— Теперь он шофер на здешней автобазе. Все пристает ко мне, чтобы я у него кое-какую купеческую утварь для музея купил. Просит за все пол-литра водки.

— Что у него за утварь?

— Посуда медная: ендовы, ковши, подносы.

Незаметно дошли до Покровского монастыря. Первым делом Варганов повел в склеп. Мы спускались все ниже и ниже по кирпичным ступеням, а Варганов говорил:

— Иван Грозный любил здесь ходить. Покровский монастырь был у него в большом фаворе. На Казань пошел, здесь молебен служил. С Казани шел — опять молебен служил. Даже обет давал, что если возьмет Казань, то одарит монастырь царскими дарами.

Между тем каменные гробницы окружали нас.

— Екатерина Шуйская, дочка Малюты Скуратова,— небрежно бросал Варганов, показывая на камень. — Как Скопин, разбив поляков, вошел в Москву, Шуйские от зависти решили его отравить. Вот эта мадам ему яд на пиру подавала.

— Царица Александра,— сообщал Алексей Дмитриевич, останавливаясь у следующего камня. — Сына своего Иван Грозный убил, а после убиенного вдова осталась. Это она. А то вон царица Анна, пятая жена самого Ивана Грозного. Ядом ее, бедную, опоили. Здесь лежала дочка Бориса Годунова Ксения. Неудачливо сложилась у нее жизнь. Сначала вроде улыбнулась, а потом все и пропало. Ее ведь за датского королевича просватали, а Лжедимитрий захватил и принудил к сожительству. Тут Марина Мнишек вмешалась, приказала сослать.

По мере того как рассказывал Варганов, прямоугольные камни, проглядывающие из полумрака монастырского склепа, мрачные сами по себе, приобретали еще большую мрачность. Эту опоили ядом, другая сама опоила ядом, у третьей убили мужа, четвертую сослали...

— Здесь же,— остановился Алексей Дмитриевич у

крайнего к входу камня,— пожалуй, самая интересная могила. Хотите расскажу? Соборный храм в этом монастыре основал отец Ивана Грозного — царь Василий. С ним была и царица — молодая красавица Соломония Сабурова. Она, конечно, не могла знать наперед, что через десять лет муж сошлет ее в этот монастырь. Сослал же он ее за бездетность. Царю наследник нужен, а Соломония не рожала и не рожала.

Не хотелось ей, бедной, постригаться. Билась, говорят, ножницы из рук вырывала, плакала.

Царь Василий между тем женился на Елене Глинской, вскоре родившей мальчика, не кого иного, как будущего Ивана Грозного.

Однако что же Соломония? Постригли ее за бездетность в монахини, и вдруг вскорости она забеременела и даже ребеночка родила. Этот ребенок с рождения был обречен на смерть. Его бы, конечно, убили, дабы, когда вырастет, не претендовал на престол, не заводил в царстве смуту. Как-никак родной брат Ивану Грозному!

Но прошел слух, что он помер и похоронен в этом склепе. Похоронен и похоронен, как говорят, концы в воду.

Недавно пришла мне мысль: дай-ка раскопаю, погляжу, что там в могиле. Раскопал, вижу, гробик крохотный, а в гробике... кукла, обыкновенная кукла, в тряпки одетая, словно сейчас положили. Я ее послал в Москву реставратору Видоновой, та прислала мне шелковую мальчиковую рубашку, остальные тряпки не стоили внимания.

Значит, захоронение было ложное. Его устроили, чтобы спасти жизнь настоящему младенцу. Значит, настоящий-то младенец остался жив.

— И что же, какая его судьба?

Варганов помолчал, может быть, для большего впечатления.

— Разбойника Кудеяра слышали? Он. У меня нет в руках точных данных, но окольные исторические наблюдения, и опыт, и интуиция подсказывают мне, что он и есть разбойник Кудеяр.

— Как, разбойник Кудеяр, о котором сложено столько песен и легенд?!

В самом деле, может быть, недаром такое внимание привлекла к себе личность Кудеяра. Даже историк Костомаров написал о нем книжку. Еще и сегодня в Воронежской области вам покажут остатки Кудеярова городища, укрепленного становища разбойников.

А может, и правда: одному брату — царство русское, а другому — вольная воля по всей русской земле. Лежи кукла в земле, лежи, а настоящий сын, вон он, на горячей лошади в окружении верных друзей, в окружении вольного люда рыщет по темным лесам под именем Кудеяра. Не завидует доле царя, которому мерещится в каждом углу измена да крамола. А и помирать — так на вольном воздухе, а не в душном терему, под небесными звездами, а не под тусклой лампадой!

— Итак, что же мы видим,— попробовали подытожить мы.— Василий свою жену сослал в Покровский монастырь, сын его свою жену сослал сюда же, вдова после внука тоже попала сюда. Дочь Бориса Годунова здесь...

— Не все еще. Первая жена Петра Первого Авдотья Лопухина, мать царевича Алексея, здесь сидела. Она, Авдотья-то, вела в монастыре мирскую жизнь. Посещали ее мирские люди. В те времена в Суздаль набирать рекрутов приехал майор Степан Глебов. Этот особенно понравился Авдотье, за что, между прочим, и был посажен на кол. Саму Авдотью упекли в Шлиссельбургскую крепость. Подозревали ее в измене Петру на пользу царевичу Алексею. Вот какой это монастырь. Теперь восстанавливаем помаленьку.

Здесь же в Покровском монастыре Варганов показал нам некоторые примеры реставрационных работ. Реставраторы как раз трудились над трапезной монастыря. Задача Варганова в реставрации Суздаля сводились к тому, чтобы сквозь слепую кирпичную кладку позднейшего времени увидеть ранние формы.

— Иной раз по одному кирпичному клинышку приходится восстанавливать все окно.

— Разве это возможно?

— Сначала и я думал, нельзя. Но точно так же зоолог по одной-двум костям, найденным в земле, восстанавливает целый скелет летающего ящера. Интересно искали мы лестницу в архиерейских палатах.

— Как же?

— Стали считать слои побелок на стене. Насчитали их одиннадцать. По всей стене одиннадцать, а в иных местах только две. Значит, там, где две, что-то раньше было, что мешало белить стену. Когда прочертили границу между одиннадцатью побелками и двумя, получились очертания лестницы. Так вот, шажок за шажком, восстанавливаем все.

Мы попросили показать еще что-нибудь интересное.

— Да вот. — Варганов вскинул голову и показал на три окна, расположенные подряд в кирпичной стене монастырского здания. — Разве не интересно?

— Окна... конечно... это очень занятно...

— Слепые вы люди, разве не видите, что каждое окно по-разному отделано?

Тут мы тоже увидели, что каменная резьба вокруг каждого окна разная и что это в какой-то степени нарушает архитектурный ансамбль, как если бы хозяин деревенского дома приколотил к окнам разные наличники.

— Значит, поняли! А почему так получилось?

— Наверно, был неграмотный архитектор.

Варганов усмехнулся.

— Виноват не архитектор, а характер русского человека. У каждого окна в люльках висело по мастеру. Мастера старались один перед другим, каждый хотел отличиться, сделать лучше, чем сосед, по-своему, вот и натворили...

— Вы эти камни читаете, как книгу.

— Да,— без ложной скромности согласился Варганов. — Здесь целые каменные фолианты. А вообще Суздаль, как он есть,— это фольклор, только выраженный архитектурными формами. Весь Суздаль — это одна каменная песня. Между прочим, такое убеждение помогло мне спасти Суздаль от разрушения. Решили было ломать все церкви, а оставить несколько самых древних построек. Что тут делать! Если церковь построена в XVIII веке, попробуй доказать ее историческую ценность. Сама по себе она, может быть, действительно ничего не стоит, но сломай — и нарушится ансамбль города, появится в ансамбле черная прореха. Только тем и убедил, что Суздаль, мол, надо брать не по отдельным церквам, а в целом. Он весь есть одна каменная песня, а из песни слова не выкинешь.

Варганов задумался, как бы вспомнив что-то светлое и хорошее. Усмехнулся:

— Была у меня на практике девушка из Архангельского института, Лиза Караева. Долго была. Теперь она мне как дочь, потому что к тому же лучшая моя ученица. Это положение, что Суздаль единый ансамбль, одна песня, она взяла темой для диссертации. Научно решила показать.

— Показала?

— Получилась диссертация — гимн во славу Суздаля. Я ей пишу: «Милая Лиза, ты воображаешь, что суздальские мужики уходили на Горку и, скребя в затылке,

прикидывали: «А где бы еще для красоты поставить церковку?» А помнишь, милая Лиза, я показывал тебе изумительное древнее шитье. Мастерица как бы взяла в горсть разноцветных самоцветов да драгоценных камней и небрежно рассыпала их по черному бархату. Вот так и Суздаль!»

— Алексей Дмитриевич, здесь где-то в Суздале Пожарский похоронен. Нельзя ли сходить на его могилу? Все же герой, патриот, так сказать, спаситель Руси!

Варганов куда-то позвонил, и мы прошли в ворота, за высокие розовые стены Спасо-Ефимовского монастыря.

Могила Пожарского была очень ухожена. Трава вокруг подстрижена и поливается.

Вообще же история могилы Пожарского такова. Сначала не знали, где он похоронен. Граф Уваров раскопал и нашел усыпальницу, в которой в три ряда стояли гробы. Это была фамильная усыпальница Пожарских и Хованских. В третьем ряду нашли гробницу со следами особого внимания. Дело дошло до царя. Направили комиссию. В 1852 году после долгих колебаний гробница была вскрыта. Там нашли остов престарелого человека в шелковом саване, с остатками боярских украшений (золотое шитье по кафтану и поясу), каких никто не мог иметь из рода Пожарских, не имевших боярского достоинства, кроме Дмитрия.

Перед входом в монастырь разбит скверик и поставлен в нем бюст Дмитрия Пожарского.

— А теперь я вам покажу самое страшное и мрачное,— посулил Варганов и повел нас в глубину монастырского двора. — Вы слышали когда-нибудь про суздальский политический изолятор? Его учредила Екатерина Вторая.

Показалось, что кончился монастырский двор и идти дальше некуда — стена. Полное впечатление, что за стеной поле: монастырь ведь стоит на краю города. Но мы прошли в неширокие ворота и очутились в пристройке к монастырю — в своеобразном каменном кармане. У этого кармана оказался еще один карман, с самым невинным входом, как будто войдешь сейчас в квартиру с примусами, детишками, бельишком на веревке. На самом деле попадаешь в узкий коридор. Направо и налево двери, двери и двери. Это и были камеры. Каждая камера представляла собой квадратную или чуть продолговатую комнату с деревянным полом и небольшим окошком. В него видна часть какого-то двора. Но что за двор, где? Говорят, что арестованные за всю

жизнь так и не могли узнать, в каком городе они сидят.

Недалеко до конца коридора мы заметили следы разрушенной стены и спросили объяснения.

— Да, была стена, а за ней еще несколько камер. Это уж особые из всех особых. Называлась секретным отделением. Даже тюремщики передней части коридора не знали, кто сидит в задних камерах. И вообще не знали имен. Сидящие значились под номерами. Здесь, просидев долгие годы, сошел с ума декабрист Шаховский. Одну из этих камер подготовили для Льва Толстого, но царь вовремя понял, что Лев Толстой в тюремную камеру не поместился бы.

Мы с облегчением покинули это мрачное место, казалось бы, невинную маленькую пристройку Спаса-Ефимовского монастыря, в которой без вести на всю жизнь исчезали люди.

На другой день, утром, мы пришли прощаться к Алексею Дмитриевичу Варганову. Он пожалел, что мы рано уходим, не покопались еще в богатейшей музейной библиотеке, не успели посмотреть его фонды, где есть старинное шитье, редчайшие иконы, не прочитал он нам и своей последней статьи о Евдокии Лопухиной.

Нам тоже было жалко расставаться с этим человеком. Каждая минута разговора с ним приносила новые, интересные знания. Уже и теперь, в последние минуты, разговор был совсем не прощальный. Алексей Дмитриевич говорил что-то о скифской культуре.

— Думают, что они были варвары — и все. Я советую вам проникнуть в бетонную кладовую ленинградского Эрмитажа, там хранится такое скифское золото, что ахнули бы сами византийские мастера.

Крестьянский сын из-под Ростова Великого, Варганов окончил институт истории искусств, а также Академию художеств по фреске и мозаике. Как только окончил, так и приехал в Суздаль. Это было в 1930 году. В Суздале Варганов нашел жалкий музей, где хранились одни церковные ризы. Прошло двадцать шесть лет неустанного кропотливого труда по реставрации древних памятников, по созданию богатейшего музея. За двадцать пять лет Алексей Дмитриевич только трижды пользовался отпуском. Все было как-то некогда.

Суздальцы первые оценили труд Алексея Дмитриевича. В городе все от мала до велика знают его и здороваются с ним на улице.

ДЕНЬ ТРИДЦАТЬ ПЕРВЫЙ

На суздальском базаре появилось много лесной ягоды: земляники, черники, малины, и снова нас потянуло из города, захотелось в лес, на его извилистые прохладные тропинки.

И точно, к вечеру этого дня мы углубились в зеленый массив знаменитого Дюкова бора со стороны Сергеихи. Но нужно хотя бы двумя словами рассказать, как мы попали в Сергеиху и что предшествовало этому.

Как я уже сказал, на суздальском базаре появилось много лесной ягоды, и, позавтракав пышными оладьями и гуляшом из ливера, мы устроили себе десерт — ассорти из земляники, черники и малины. Купив по кулечку того, другого и третьего, мы уселись на выходе с базара и дружно лакомились, создавая в горсти своеобразное ассорти путем одновременного высыпания туда сразу из трех кулечков.

Мы, конечно, заметили, что новый автомобиль ГАЗ-69 остановился, подъехав вплотную к нам, но не сразу заметили, что из автомобиля более чем пристально наблюдает за нами человек, главным образом за Серегой. Что ж, этому не нужно было удивляться. Серегина борода начала даже и кучерявиться, а так как она была очень черна, то в любую минуту и могла стать предметом бескорыстного созерцания прохожего или проезжего зеваки.

Человек смотрел, смотрел и вдруг робко, полувопросительно сказал:

— А я вас знаю, вы Куприянов.

Серега, глотавший в это время очередную пригоршню смешанных ягод, поперхнулся и даже закашлялся.

Не будем описывать в подробности, как один из них не мог вспомнить, а другой говорил: «А ну-ка, вспомни», и как наконец дело разобралось.

Серега, учась в институте живописи, приезжал на летнюю практику в село Омутское, неподалеку от Суздаля. Там он жил в избе одного колхозника, а человек, узнавший его теперь, был тому колхознику сосед.

— Так вас тогда председателем колхоза избрали,— окончательно вспомнил Серега. — И вы еще до сих пор никуда не сбежали?

— Почему?

— Колхоз-то, я помню, очень плох был.

Наш новый знакомый засмеялся.

— Садитесь в машину, так и быть, прокачу, покажу свое хозяйство.

— Нет, нам нужно на Мстеру пробираться, а Омутское — в другой стороне.

— Садитесь, не пожалеете. Докуда вы дошли бы сегодня за день?

— Ну... Судя по карте, дошли бы что-нибудь до Сергеихи.

— Будете к вечеру в Сергеихе. Сам на этой машине отвезу. Садитесь.

Мы сели. Александр Федорович — так звали председателя — и Серега всю дорогу вспоминали разные обстоятельства того лета, когда село наводнили московские практиканты-художники, вспоминали общих знакомых, жителей деревни и студентов.

Впрочем, дорога была не длинна. Вскоре остановились у нового дома колхозной конторы. Председатель захлопнул дверцу, отдал распоряжение насчет машины и повел нас по хозяйству. Чем дальше мы шли, тем более и более удивлялся Серега.

— Откуда у вас это все? Ведь ничего этого не было!

— Да,— соглашался Борисов. — Пять лет назад были одни у колхоза долги. Триста пятьдесят тысяч долгу! Мало того, на втором году моего хозяйствования цифра выросла до шестисот тысяч. Долгов этих давно нет, а доходишко наш за прошлый год оказался поболее миллиона.

— Но как вы добились?

Жалко, что Борисов не умел живо рассказывать. Жалко также, что он слишко рано узнал нашу принадлежность к людям печати. Казенные фразы уровня районной газеты так и сыпались из его уст. Впрочем, смысл был ясен: пришел к руководству хороший хозяин с твердой, честной рукой.

— Организация земельных площадей,— загибал Борисов один палец. — Агротехнические мероприятия,— загибал другой. — Наведение порядка с колхозниками, то есть установление дисциплины путем заинтересованности в труде. Почему вырос долг на первых порах? Потому что мы, несмотря на бедность, закупили гору удобрений. «Окупится»,— говорил я колхозникам. И правда, окупилось. Теми удобрениями мы вели двухкратную подкормку и получили тяжелый урожай. Несмотря на бедность, мы купили также гору соломы и стали нарочно валить ее под ноги скоту в подстилку. Вся она превратилась в навоз, навоз

превратился в хлеб, а хлеб вернул нам деньги сторицей.

Несмотря на бедность, мы купили две автоцистерны — возить барду. Барда — это отходы на водочных заводах, очень питательна для скотины. Ею мы стали поить коров, коровы прибавили молока, молоко прибавило денег.

Когда я пришел, средняя омутская корова давала тысячу четыреста литров. В этом году она дает три тысячи. Рост более чем в два раза...

Разговоры эти велись на ходу. Тем временем мы то осматривали строительство кирпичного четырехрядного коровника, механизированного, с автопоилками, то строительство водопровода к этому коровнику, то уже отстроенные силосные башни, то кукурузу, выросшую у Борисова до невиданной на Владимирщине почти метровой высоты.

— Может, лучше бы подсолнух или вику,— заикнулся я, чтобы услышать мнение Борисова о кукурузе.

— Вика как зеленый корм, силосовать ее бессмысленно, нам же нужен силос.

— Подсолнух тоже силосуется, а ухода за ним меньше.

Борисов ответил так, как не отвечал нам еще никто: вот что значит хозяин.

— Думаем только о том, что легче, а вкус ведь тоже у каждого растения свой. Кукуруза вкусна и питательна, а подсолнух — палки. Ну, конечно, хлопот с ней много. Впрочем, хорошему председателю никакая кукуруза не страшна!

— Скажите, положа руку на сердце: отменили бы сейчас кукурузу, сказали бы: хочешь — сей, хочешь — нет, ведь не стали бы небось сеять, а?

— Сеял бы и тогда,— убежденно ответил омутской председатель. — Но честно скажу — не столько. Понемногу освоение вел бы, а освоив, увеличивал. Но честно скажу, сеял бы и тогда.

Прошли мы и вдоль села. То и дело среди старых попадались новые, свежесрубленные избы.

— Строятся колхозники?

— Это городские. Ко мне ведь из города народ переселяется.

— Как из города? Что вы говорите?! До сих пор мы наблюдали обратное.

— А чего им не переселяться — выгодно. Возьмем шофера. Сколько он заработает в городе на автобазе? Восемьсот рублей. А у нас этот шофер получит семьдесят

пять трудодней в месяц. Пятнадцать рублей стоимость трудодня. Выходит, больше тысячи [1].

У нас доярки по тысяче сто трудодней вырабатывают. Значит, пятнадцать тысяч рублей в год, да молока полторы тонны, да теленка — всего более двадцати тысяч. Через год закончим все капитальное строительство, и трудодень наш установится на уровне. Он будет стоить двадцать пять рублей. Смогут ли тогда горожане тягаться с нашими колхозниками! То-то и оно! Уже шестнадцать семейств переехало в Омутское из Суздаля. Колхоз наш как пшеница, что набрала силы от своевременных дождей, и никакая засуха ей не страшна. Не страшно ничего — никакие неожиданности, если сил набрали, как та пшеница...

Показав свое хозяйство, Борисов посадил нас в автомобиль, и часа через два мы оказались в Сергеихе.

Солнце было еще высоко, останавливаться на ночлег не имело смысла, и мы пошли вдоль деревни в ту сторону, где за околицей обозначался зубчатый лес.

Однако, прежде чем мы попали в него, пришлось пересечь несколько полей, в том числе одно гороховое. Ярко вспомнилось детство. Бывало, насмотревшись военных кинофильмов, да и побаиваясь сторожа, километр ползем на животе от леска до гороха, зато как заляжем на полдня — и наедимся досыта, и в рубашку накладем так, что вокруг живота образуется вроде спасательного круга. Особенно сладки и сочны не пузатые, зачерствевшие стручки, а тоненькие лопаточки. Лопаточки те можно жевать прямо с кожурой. Так они еще сочнее и слаже.

Начался лес. По извилистой лесной тропинке мы углубились в зеленый массив Дюкова бора.

Все же много прошло времени, как начали мы поход около деревянного моста через реку Киржач. Брусника тогда цвела крохотными душистыми колокольчиками, а теперь розовеют брусничные ягоды. Черника тоже была в цвету, а теперь созрела. Когда идешь лесом, невольно хватаешься за древесные ветви, протянувшиеся к тропинке. В начале похода попадали под руку мягкие, нежные мутовки елей — словно сочная трава. Раздавишь сочную мутовку — ладонь остро и свежо пахнет хвоей. А теперь схватишься за еловую ветку и уколешь руку. Окрепли, возмужали мутовки, затвердели нежные весенние иголочки.

---

[1] Напомним, что все цифры даются в старом масштабе цен. *(Примечание автора.)*

Хорошо утоптанная тропинка привела к живописному болоту, образовавшемуся из лесной заплывшей речки. Яркая зелень камыша перемежалась здесь с белыми облаками цветущего дягиля, распространяющего вокруг свой неповторимый, я бы сказал, речной аромат. Заросли кудрявого ивняка, сплотившегося по берегу болота, сдерживали напор елового леса. Над болотом — лава. Шириной в три доски, она убегает вдаль, суживаясь от расстояния и теряясь в кустарнике на противоположном берегу болота. С одной стороны к лаве приделаны перила, чтобы держаться при переходе. Длина лавы никак не меньше ста пятидесяти метров. Когда зайдешь на середину ее, направо и налево открываются живописные виды болота, окруженного лесом. Кое-где виднеются брошенные в яркую зелень черные зеркала воды. Там цветут желтые кувшинки и белые водяные лилии. Скорее всего — река еще сохраняет свою текучесть и пробирается сквозь плотную зелень незаметными струйками.

Как скоро кончилась лава, тропинка взбежала на безлесый пригорок и, устремившись по нему наискось влево, привела к крайнему дому неведомой нам деревни.

После Сергеихи, а особенно после Омутского, деревня эта произвела невыгодное впечатление. Дома старые, почерневшие, в большинстве покосились. Сквозь крыши домов местами проглядывает решетник. Стекла в окнах составлены из небольших кусков при помощи замазки.

Одиноко и звонко тюкал молоток, отбивающий косу.

Возле одного дома сидели на лавочке несколько женщин. Мы спросили их, почему так запущена деревня. Лесу вокруг полно, а новых срубов не видно.

— Село наше Гусево очень обеднело мужиками,— несколько нараспев ответила одна женщина лет сорока. — Все мы, бабы, здесь вдовые. Где уж нам срубы рубить! Вот вырастим детей, поставим их на ноги, определим в города, тогда и дома обновлять возьмемся. На детей вся надежда.

На прогоне, когда мы выходили из Гусева, нас окликнула выбежавшая из избы молодая бойкая бабенка, невысокого росточка, полненькая:

— Эй, вы, карточки, что ли собираете?

— Разве они валяются?

— Не смейтесь, знаю, фотографы вы, карточки увеличиваете.

Три обстоятельства заставили ее принять нас за бродячих фотографов. Во-первых, таковые здесь, должно быть,

иногда появляются. Во-вторых, кого же еще нелегкая принесет в их Гусево! В-третьих, вид Сереги с бородой и деревянным ящиком на боку.

— Нет, не снимаем мы и не увеличиваем.

— Не смейтесь, снимите меня с дочкой.

— Ну снимем, а потом что?

— Потом чай пить ко мне!

За время похода мы заметили, что лесные деревни вообще гораздо беднее полевых. Да оно и понятно: земля не та.

Значит, не только к двум, даже соседним, областям, не только к двум, даже соседним, районам, но и к двум колхозам нельзя подходить с одной меркой. Еще сегодня утром любовались мы высокими хлебами вокруг Суздаля, и вот к вечеру встретили среди леса распаханные поляны. На них растет редкая, низкая пшеничка с короткими колосками. На ветру колос до колоса не достает, колос о колос не стукается. Земля серая, как пепел, под тонким слоем подзола — чистый песок.

Солнце садилось за бугор, начиналась заря. На ее фоне силуэтно увиделись нами дома и сараи Полушина.

Речка, выбежав из леса, устремилась вдоль села. Низкий речной кустарник не захотел отставать от нее ни на шаг. А вместе с ними забежали не сельские улицы и копны свежего сена, спрыснутого недавним дождичком.

Заходя в бригадирову избу, я увидел в чулане, сквозь приоткрытую дверь, спящего в одежде и сапогах мужчину. Однако хозяйка сказала, что бригадира нет.

— Хорошо, мы его подождем, как бы поздно он ни вернулся.

Бригадирша обеспокоилась, заметалась.

— Спит он у меня.

— Пьяный?

— Пьяный, хорошие люди, как есть пьяный!

— Как же так, сенокос, горячая пора...

— Свадьба третьего дня была у соседей, с тех пор не опомнится.

— Ну пусть спит, помогите нам устроиться на ночлег.

— Сейчас, хорошие люди, почему не помочь! Это у нас просто.

По улице шла женщина с жестяным ведерком. Подол ее был мокр, резиновые сапоги блестели. Шла она из лесу, где собирала чернику. Ее и остановила бригадирша. Нам слышно было, как женщина отказывала.

Мы вмешались сами, дали деньги вперед, и через полчаса тетя Шура угощала нас чаем с черникой.

В селе заиграла гармонь и прозвенела бойкая девичья частушка. Потом хором, так что все слилось в малоразборчивый рык, рявкнули парни. Тетя Шура испуганно прислушалась.

— И мой, наверно, там. Только тогда и сердце не болит, когда на глазах он у меня.

— Любите?

— Винища боюсь. Ох, и ненавижу я это винище! Двух сыновей через него потеряла. Один-то шофер был, в тюрьме сидит: человека задавил. Напьются так, что ничего уж не видят перед собой. Другой — под поезд попал по пьяному делу. Двое детишек осталось. Теперь вот младший подрос. Третьегось на свадьбе нахлестался, рассолом отпаивала. На последнем, на нем, сердце ни минуты покоя не знает, бьется, словно осиновый лист в безветрии.

Гармонь все играла, и нам захотелось пойти поглядеть на гулянье. Ведь оно было первое за весь поход.

Пока мы чаевничали, в деревню с речки наползло белого тумана. Тотчас вокруг нас заныли комары.

На краю вытоптанного в траве «пятачка» стоял чурбан. На чурбане сидел гармонист. Две девушки, как ангелы-хранители, стояли за его плечами, ветками отгоняли комаров от бесстрастного гармонистова лица. Вокруг толпились парни и девушки — человек тридцать или сорок. Две девушки плясали «Елецкого».

Недавно один известный писатель высмеял этот танец, назвав его маслобойкой. Он написал, будто девушки пляшут «Елецкого» с каменными лицами и безвольно опущенными руками. Он наталкивал читателя на вывод, что все это есть следствие низкой культуры сельской молодежи и что пляшут «Елецкого» только потому, что нечем больше заняться.

Во-первых, многие девушки пляшут «Елецкого» очень живо, с дробью. Здесь все зависит от выходки пляшущих и от их темперамента. Кроме того, не будь «Елецкого» — не сочинялись бы частушки, для чего же их сочинять! Девушки сочиняют частушки, чтобы спеть их на гулянье. Так и создается фольклор. А что многие частушки истинная поэзия — кто же этого не знает!

Когда мы пришли на гулянье, выходила новая пара. Сначала вышла одна девушка в легком летнем пальто

в талию, простоволосая, она нехотя прошла по кругу, не вынимая рук из карманов, и спела, как бы ни к кому не обращаясь:

Ой, подруга, выходи,
Выходи на первую.
Залеточку критикуй
За любовь неверную.

Никто не вышел. Тогда девушка прошла еще круг и снова запела:

Ой, подруга, выходи,
Выходи и не гордись,
До чего же замечательно
Играет гармонист!

Не помогли и эти соблазны. Пришлось спеть в третий раз:

Ой, подруга, выходи,
Выходи на парочку,
Выходи, не подводи
Любимую товарочку.

После такой мольбы подруга вышла. Эта девушка была повыше ростом, волосы забраны в косынку. Светлое платье с плечиками, лица, конечно, было не разобрать.

Выхожу и запеваю,
А ты слушай, дорогой,
Любить буду, но ухаживать
Не буду за тобой.

Обе подруги ударили дробью, в темноте запахло теплой пылью.

Дорогая, запевай,
Только не с высокого.
Не придут сегодня наши
Из пути далекого.

Так начался песенный разговор. Сразу определились характеры. Первая девушка пела частушки веселые, бойкие, отчаянные, вторая — грустные, мягкие, лирические.

Одна:

Говорят, я боевая,
Ну и правда — я казак,
Указакала залеточку
Сама не знаю как.

Другая:

Было-было крыльцо мило,
Был уютный уголок,
А теперь я пройду мимо,
Только дует ветерок.

Одна:

Дайте, дайте познакомиться
Вон с этим пареньком,
Довести его до дела,
Чтоб качало ветерком.

Другая:

Распроклятая осина,
Ветра нет, а ты шумишь!
Мое бедное сердечко —
Горя нет, а ты болишь.

Одна:

Ходит парень, черны брови,
Хочет познакомиться,
Я недавно от любови,
Дайте успокоиться.

Другая:

Ой, какая я была,
Лед колола и плыла,
А теперь какая стала,
Вот пою и то устала.

Одна:

Черны брови, их не смоешь
И алмазом не сведешь;
Атаман, меня не скроешь
И со мной не пропадешь.

Другая:

То ли ты не так играешь,
То ли я не так иду,—
Все чего-кого-то нету,
Все чего-кого-то жду!

Таким образом подруги пели долго. Частушек за это время они перепели бездну. Конечно, многие частушки бесцветны и неинтересны, но ведь среди профессиональных стихов разве мало серятины!

Потом начались переговоры, кому благодарить гармониста.

Одна:

Ой, подруга дорогая,
Надо совесть поиметь:
Гармонист — хороший парень,
Его надо пожалеть.

Другая:

Ой, подруга дорогая,
Чаю не заваривай,
А спасибо говорить —
Меня не уговаривай!

Одна:

На столе стоит вино,
Вы его не пейте,
Я спасибо не скажу —
Хоть меня убейте!

Другая:

Из колодца вода льется,
Ее лить — не перелить,
Все равно тебе, товарочка,
Спасибо говорить!

Решается этот спор двояко: или одна из подруг все же говорит «спасибо», причем почти всегда в благодарственную частушку привносится и комплимент. Например:

Вот спасибо гармонисту
За игру отличную.
Сам он парень мировой
И любит симпатичную!

Или же подруги говорят «спасибо» вместе:

Ой, подруга дорогая,
Давай скажем вместе —
Не одно ему спасибо,
А спасибо двести.

Спев последнюю частушку, подруги отходят в сторону с сознанием выполненного долга. Часто им аплодируют. Так пляшется «Елецкий».

В этот вечер мы выслушали, по крайней мере, пять пар. Правда, одна состояла из парней.

Мы давно улеглись спать, но долго еще звенела ночь гармошкой и задорными девичьими голосами.

Хлопая крыльями, перекликались полушинские петухи.

ДЕНЬ ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ

Ночью опять пошел дождь. Может быть, он и смыл вечерние белые туманы. Утреннее Полушино, все из четких, явственных линий, купалось в прозрачном, легком после дождя воздухе.

Идти было почти невозможно. Ноги разъезжались на осклизлой дороге, и мы с трудом добрались до Ивановской — центра объединенного колхоза, в который входит и Полушино.

Деревня, казалось, спала, несмотря на поздний час — было около восьми утра. Кое-где, правда, курились на избах дымки.

Я забыл сказать, что, начиная с Сергеихи, мы оказались, если можно так выразиться, в краю деревянных кружев. Деревня Ивановская особенно поразила нас.

Вот стоит изба. Сама по себе она ничего особенного не представляет. Обыкновенный пятистенок, срубленный вкрест и обшитый тесом. Но хозяин, движимый признательностью и любовью к дому за то, что тот спасает его с семейством от стужи зимой, от дождливой сырости осенью, от посторонних глаз в любое время года, и уж за одно то, что дом этот его и перейдет от него к детям, а главным образом за то, что в дом вложено много труда и средств,— украсил свой дом, как иной жених не украшает любимой невесты.

Начнем с крыльца. Вы проходите по ступенькам между двумя деревянными столбами. Но это не простые столбы, они резные. Они сделаны так, как будто дерево скрутили в веревку. Винтообразность придает легкость. Кажется, столбам не тяжело поддерживать крышу крыльца, с которой спускается четверти на две кружевная оборка. Кружева сделаны из деревянной доски. На крыше крыльца, поднимающейся шатром, установлен деревянный шпиль. На острие шпиля сидит деревянный петух, он крутится по ветру, являясь и украшением и флюгером.

Кружевная оборка опоясала и весь дом по его карнизу. Но все это ничто по сравнению с наличниками. Главное украшение дома — наличники. Верхние наличники почти всегда напоминают то старинный женский кокошник, а то и королевскую корону. Так или иначе, каждому окну придана тем самым некая величественность и горделивость в выражении. Боковые наличники спускаются по сторонам окна, словно девичьи косы.

В деревянные кружева наличников и карнизов искусно вплетены и полевые цветы, и древесные листья, и певчие птицы.

Отдельное произведение искусства — слуховое окно. Обыкновенные украшения дома уменьшены там до изящной миниатюры. Резные столбики по бокам высотою в полметра. Крылечко или балкончик, на котором поместится лишь кукла. Резьба на всем мелкая, тонкая, кропотливая.

Не удовлетворившись украшениями деревянными, мастер работает по железу. Вдоль конька всего дома пущена стоячая железная полоска, пробитая насквозь орнаментальным рисунком. Может быть, и грубоватый вблизи, издали (а иначе и не посмотришь, не лезть же на крышу!) рисунок производит впечатление тонкой, ажурной работы. А так как небо сзади него голубое, то и рисунок кажется голубым по черному силуэтному железу.

Дом венчает труба. Побродив по одному только Камешковскому району, можно составить коллекцию оригинальных труб или, по крайней мере, фотографий с них. Железные колпаки то с шишаками по углам, то с одним шишаком на макушке, то с железными кистями, свисающими вниз, украшают их. Все это тоже резное, орнаментальное. Особо украшен верх каждой водосточной трубы. А так как их две и они спускаются по углам избы, то украшение их придает законченность, завершенность всему ансамблю. Нет двух одинаковых изб во всей деревне, как нет в ней двух одинаковых лиц. Так же как у человека, есть у каждого дома свое выражение, свой взгляд, свой характер. Один смотрит весело, другой угрюмо, третий равнодушно, четвертый подслеповато.

Наличники, оказывается, живут дольше, чем сами избы. И мы видели часто старые, почерневшие украшения, перенесенные на свежий, в смоляных капельках и потеках фасад.

Соблазн выпросить лошаденку был велик. Мы постучались в калитку председателевой избы.

Возле печи возилась женщина лет сорока. Руки ее были в тесте.

— Шут его знает, где он, пропал еще с вечера!

— Как так пропал?

— Сел на мотоциклет — и до свиданья! Может, в Тынцы поехал, мать у него там. А может, в Камешки, к жене. А может, и в Москву закатился.

Побывав в десятках колхозов, в разных концах страны,

а теперь вот в десятках колхозов Владимирщины, наблюдая жизнь очень крепких и зажиточных, средних и просто плохих колхозов, можно прийти к выводу, что состояние колхозного хозяйства на десять десятых зависит от председателя.

Почему к Борисову, в Омутское, люди переселяются из города, а из Полушина да из Ивановской ходят работать на ближние фабричонки?! Не потому ли, что Борисов ни на секунду не выключается из жизни колхоза? Он держит в уме все мелочи, они помогают ему держать перед глазами картину общего состояния. А здесь бригадир, как известно читателям, третий день пьяный. Сегодня у него, надо полагать, тяжелое похмелье. А председатель «пропал на мотоциклете».

Разумеется, одного председательского старания тоже не хватило бы. Нужны еще хозяйская жилка, смекалка, расчет — одним словом, хорошая голова! Недаром председателей лучших в стране колхозов мы знаем поименно: Прозоров, Посмитный, Буркацкая, Пузанчиков, Генералов, Орловский, Аким Горшков...

Женщина угостила нас вареной, рассыпчатой (как бы в инее!), горячей картошкой, и мы вышли снова на улицу, пустовавшую, как и прежде.

Раскачиваясь и скрипя, въехал в село грузовик, нагруженный дровами гораздо выше кабины. За борта грузовика были вертикально подсунуты доски, они-то и не давали дровам рассыпаться.

У кого-то из нас невольно поднялась рука, и грузовик остановился.

— Садись, места не жалко.

— Не упадем мы оттуда?

— Вполне возможно, я не неволю.

Мы начали карабкаться и не успели еще пристроиться в выемках между поленьями, как нас сильно качнуло, и мы все трое судорожно уцепились кто за что мог. Потом качнуло в другую сторону, потом подбросило кверху. Так и не удалось усесться как следует. Дрова под нами передвигались в разных направлениях, подобно частям ткацкого станка. Коленки наши и руки начали покрываться ссадинами и синяками. От напряжения заболели мышцы спины и рук. Иногда кто-нибудь из нас умудрялся удариться о дрова даже и подбородком. Но ничего теперь не оставалось, кроме как терпеть и держаться.

Здесь, наверху, мы вдруг вспомнили, что второпях не

успели спросить, куда едут эти дрова и мы вместе с ними.

К опасению свалиться с дров отдельно или вместе с ними прибавилась новая неприятность: грузовик въехал в лес, и нас начало хлестать ветками, из которых иные были довольно толсты.

Но все кончается. Грузовик остановился, и под ногами ощутилась твердая, неколеблющаяся опора. Мы снова стояли на земле, но уже далеко от того места, где отделились от нее.

Утренняя деревня с деревянными кружевами навсегда унеслась в наше прошлое и была как сон.

Ощутив под ногами твердую землю, огляделись. Полчаса тряски переместили нас в совершенно иной мир. На столбе — большие электрические часы, какие висят на перекрестках Москвы. Под часами — книжный киоск, тут же ларек «Галантерея», тут же хлебный ларек, тут же рядом столовая. Все это, вместе взятое, если присовокупить небольшую фабрику, называлось Володаркой. Мы впервые услышали это название, на карте никакой Володарки не было. Занесло нас сюда единственно волей случая. Нужно было подумать, как отсюда выбраться.

Парторг фабрики, мужчина с крупными рябинками по смуглому лицу, выслушал нашу просьбу, что вот, мол, хотели бы ознакомиться с производством марли и уехать дальше на вашем автомобиле. Осматривать фабрику, честно говоря, нам не хотелось. Но нельзя же просить машину ни с того ни с сего. Обычно все охотно откликаются на первую половину просьбы и совсем неохотно на вторую. Здесь все повернулось иначе.

— Ничего интересного мы вам показать не можем — перезаряжаем станки, все стоит без движения. Не советую портить впечатления и тратить время. Да и фабрика наша пустяковая и маленькая. А машину, пожалуйста, охотно, сию минуту, но грузовик... Не взыщите — грузовик!

Он же рассказал, что фабричек таких по здешним местам много. Все они возникли на базе дешевой рабочей силы до революции и работают на привозном хлопке. Основатель Володарки ограбил какого-то приказчика не то купца и, таким образом, получил в руки начальный капитал.

Странно было видеть разбросанные здесь, в лесных краях, за многие тысячи километров от узбекского хлопка, эти текстильные фабрики.

Вскоре был подан грузовик.

Роза ехала в кабине, а мы с Серегой тряслись в кузове. Доехав до реки Уводи, мы поблагодарили водителя и вновь остались одни.

Мост через Уводь ремонтировался. За ним оказалась давно не езжая каменная дорога. Трава пробивалась между камнями. По сторонам, в кустах смородины и малины, буйно разрослась валериана, так что мы шли по бело-розоватой валериановой аллее. Роза, хоть и врач, впервые увидела, как растет эта дивная трава, и сначала даже не верила. Пришлось выкопать один корень и, расщепив, дать ей понюхать. Пахло так же крепко и явственно, как если бы нюхать из пузырька.

До конца дня мы шли пешком по сырой, нехотя просыхающей земле, время от времени спрыскиваемой легким дождиком.

В одном месте, на краю деревни, высунувшись из окна, смотрели на улицу две отцветающие женщины, по виду московские дачницы, в шелковых ярких халатах, ярко крашенные. Они что-то сказали, вызывая на разговор.

Мы спросили, между прочим, в их ли деревне центр колхоза или здесь только бригада.

— А мы не знаем.

— Как не знаете, да вы сами-то чьи?

— А мы ничьи, мы сами по себе.

Тут из ворот выскочил обросший рыжей щетиной, красножий, с маленькими злыми глазками мужик, очень напоминающий бульдога. Он грубо, с матерщиной, заорал на нас:

— Чего надо? Небось ищете, где плохо лежит. Проваливайте, здесь вам ничего не обломится.

Очень хотелось двинуть его по рыжей скуле, но топор, предусмотрительно прихваченный им, остановил наши намерения.

Между прочим, только в этих местах (начиная с Полушина) мы узнали, что в деревнях бывают единоличники и что их может быть до половины деревни. Впрочем, единоличниками таких людей можно назвать лишь условно, ибо у них нет своей земли, кроме урезанной усадьбы. Единоличник хоть что-то производит, этот же ничего.

Из соседней деревни (мы ее увидели тотчас, как вышли из Панюхина) доносились через поле приглушенные расстоянием и потому непонятные звуки. То ли песни, то ли крики. Можно было предположить там переполох, если бы

время от времени не прорывалась сквозь шум игра гармони.

Зайдя в деревню, мы увидели толпу парней, пьяных, качающихся, орущих песни. Отлично, по-городскому одетые девушки ходили отдельно стайками. На лавочках возле домов сидели пожилые мужчины и женщины. Трезвых не было. Клячково второй день самозабвенно и разгульно праздновало престол — Владимирскую богоматерь.

С опаской шли мы трое, возбуждающие всеобщее любопытство, через пьяную деревню.

На крылечке светлого аккуратного дома сидели, притулясь друг к дружке, дед и бабка. Настолько они, должно быть, остались одиноки, что даже во Владимирскую в доме их нет гостей. К ним мы и попросились на ночлег. Нашлась у старика престольная бражка, нашлась у бабки и бутылка смородинной наливки. Тоненько запел самовар, рядком улеглись в него куриные яйца.

— Вот и нам гостей на Владимирскую бог послал,— сказала бабка.

В этом доме впервые за все путешествие хозяева отказались взять деньги за ночлег.

ДЕНЬ ТРИДЦАТЬ ТРЕТИЙ

Обилие созревающей малины по сторонам дороги замедляло наше движение. Твердо уговоримся не обращать больше внимания на красные, вкрапленные в зелень ягоды, но кто-нибудь забудется, сорвет одну, положит в рот и уж непременно потянется за второй, за третьей.

Попадались также кусты черной смородины, но смородина была еще зелена.

За придорожным кустарником поднимался матерый смешанный лес. По левую руку, сквозь деревья, время от времени таинственно поблескивала черная вода. Мы ждали только тропинки, чтобы устремиться по ней в глубину леса и узнать, что там: озера ли, болота ли, заброшенные ли пруды. И вот тропинка попалась.

Не успели мы сделать по ней двухсот шагов, как заливистое злое тявканье собачонки, привязанной цепью к дереву, остановило нас. Невдалеке стояла изба, скорее всего лесная сторожка.

Лесник встретил нас на крыльце. Он был немного навеселе.

Серега, с его профессиональной памятью на лица, утверждал, что видел лесника в Клячкове отдающим дань Владимирской богоматери. Так оно скорее всего и было.

Стараясь не показать виду и собрав для этого всю выдержку (ведь неизвестно, что за люди!), лесник пригласил нас в дом и хотел распорядиться насчет стола. Но мы сказали, что нам ничего не нужно, что мы свернули с большой дороги единственно затем, чтобы узнать, что за вода блестит между деревьями.

Поняв, что беды не будет, что прохожие не начальство, Воронцов обмяк, заулыбался, глаза его мягко засветились, как у человека, позавтракавшего не одним только молоком да хлебом.

— Насчет воды я вам изложу полную картину. Я по здешним водам первый специалист. Сейчас приедет дочка, и я все изложу на практике. Без лодки, конечно, нельзя, а на лодке дочка моя по клубнику уехала.

Вода начиналась шагах в пятидесяти от порога, но гораздо ниже его, так как дом стоял на бугре. Вскоре послышался плеск весла, и на тропе показалась молодая беременная женщина с корзинкой, полной луговой розовой клубники.

— Ну, вот, а теперь и мы тронемся.

Узкая вертлявая лодчонка под тяжестью четырех человек погрузилась в воду по самые края. Воронцов сел в корме и веслом, похожим на лопату, осторожно стал загребать то справа, то слева. Необыкновенной красоты озеро окружило нас.

Темно-зеленые дубы и липы, которыми плотно заросли озерные берега, четко отражались в неподвижной воде. Между водой и деревьями светилась ярко-зеленая полоса прибрежной травы. Редкие и ясные, словно звезды, покоились на воде прохладные цветы белых лилий. Так резко оттенялся каждый цветок чернотой озерного зеркала, что мы не замечали его обыкновенно за двести, за триста метров.

— Озер этих очень много,— рассказывал между тем Воронцов.— Озеро Ратчино, озеро Пескра, озеро Вичуги. Заргослое, Подборное, Штаны, Большие и Малые Бобры... Все озера между собой протоками соединяются, на лодке можно попасть в любое.

— Два озера Бобрами называются, значит, когда-нибудь водился здесь этот зверь?

— И теперь водится. Не только в этих двух озерах, во всех. Но, правда, название не по теперешним бобрам дано. Этих, теперешних, недавно выпустили.

— На развод?

— Знамо. Здесь до самых недавних лет заповедник был — боброво-выхухолевый, а я на нем работал.

— В какой же должности состояли, лодочником?

— Мудреное у меня название было, по-гречески вроде как бы досмонолог. Да, народ здесь хороший работал: ботаник Сергей Александрович Стулов... Этот, бывало, за мной зайдет: поедем, мол, на охоту. А охотился он за разными травами. Сядем в резиновую лодку, и... пошли по всем озерам. Не поверите, а до самого Сорокина озера доезжали.

Мы, конечно, охотно поверили Воронцову, тем более что не имели и малейшего понятия об этом Сорокином озере.

— Названий ученых я знал пропасть. Каждая трава, оказывается, имеет свое ученое название. Вот хоть бы кувшинки эти или, значит, лилии. Ну, лилии и лилии. Ан нет, правильно будет нимфея... ах ты, грех, забыл второе-то слово.

— Альба.

— Вот-вот, — обрадовался Воронцов и просветлел, словно вспомнил самое заветное: — Нимфея альба! А вы, значит, тоже ботаники будете?

— Нет, случайно слышали.

— Так, так... А со Стуловым мы много поездили. Хорошее было для меня время, потому как чувствовал свою научную пользу. А то еще Наташа-зоолог... — И Воронцов задумался, может быть, загляделся на нимфею альбу, неслышно проскользнувшую мимо борта его лодки.

— Что же Наташа?..

— Та, бывало, прибежит: «Дядь Миша, поймайте выху холь, очень нужно!» Сейчас беру сачок, норы все мне в известности, подведешь сачок к выходу, пугнешь — готово. Изучали их, выхухолей-то. Отнесут подальше в лес, пустят мордой от воды и наблюдают, куда побежит. Ну ясно, куда же водяному зверю бежать, или он глупый? Сейчас морду поворачивает и чешет к озеру. Оченно даже их изучали. Лайка у меня была, хорошо причуивала их норы. Потом издохла. С Наташей пошла по лугам, обратно еле живая приползла, катается, изо рта слюна бьет. Змея выползла на Наташу, ну, а лайка с ней схватилась. Не иначе с этого и издохла. Пятьсот рублей стоила.

— Неужели сквозь землю причуивала?

— А лиса? Та постоянно сквозь землю. Учует, перекопает ход к воде и душит. У каждого зверя своя хитрость. Кольцевали их тоже, выхухолей-то. Спереж за лапку, потом стали замечать, что на лапах от кольца ранение производится. Стали привешивать к хвосту. Их небось и по сей день в озерах полно, кольцованных-то экземпляров!

Видно было, что слово это Воронцов с трудом, но не без удовольствия вытащил из самых глубин памяти.

— А что бобры? Вы говорили и про бобров?

— И бобры. Перед войной их пустили. Всего-то две семьи. Ну, пустили и пустили, ни следа ни приметы. Через год нашли одного дохлого. Так и решили, что не привьются. Тут меня на войну взяли, и забыл я о всех бобрах. То есть очень даже я о них не забыл, а, напротив, каждую свободную минуту или когда засыпать станешь, озера в глазах так и стоят. И все больше тихая погода представляется, на ранней зорьке. Не дождь, не ветер, а все тихая погода.

— Кем вы воевали?

— Кем мне было воевать, окромя разведчика, если я всю жизнь привыкал подкрадываться, да пробираться, да замирать, чтобы и духу не слышно. Разведчиком и ходил. Зверь, правда, другой был, опасный, хитрый, не выхухоль! Да... Ранило меня, да и довольно крепко.

— Как же?

— Очень просто. Бежали мы в атаку, и вдруг ноги чего-то онемели. Я и думал, что в ноги садануло, но все бегу. Взяло меня сомнение. Ежели бы в ноги, то как же я бежал бы? Вернулся за оружием — выпало оно у меня. Хочу взять — рука не действует. Тут я опамятовался: в руку, значит, а не в ноги. Перчатке тоже тяжело стало — кровищи натекло. Воевать, однако, продолжаю, то есть иду, куда и все. Комвзвода заметил: «Что-то ты, Воронцов, очень бледный?» Так и так, говорю, ранен. Хотели меня на носилки, но я отказался, пошел пешком. Километров семь идти было, не боле. Да вот беда, попал под обстрел, часа два пришлось в воронке отсиживаться. Ну... дошел. Только сразу и ляпнулся без памяти.

— А потом?

— Потом семь месяцев в госпитале лежал. После госпиталя — по чистой.

— Значит, серьезно ранило.

— Тремя пулями в плечо угодил, окаянный!

Признаться, мы с любопытством и по-новому взглянули на этого худощавого, небритого человека, сумевшего с тремя пулями в плече воевать, пройти семь километров да еще два часа отсиживаться в воронке.

— А как отпустили меня по чистой, я сразу сюда, на старое место. Очень мне было интересно, прижились бобры или совсем передохли. Сел в лодчонку, поехал на Пескару. Захожу в синняг (так Воронцов называл осинник), ничего вроде бы не заметно. Потом — стоп. Дерево как стамеской срезано, погрыз! Живут! Я на Рылково махнул, а там еще больше их. И таково-то мне радостно стало. Тут-то я, может, и осознал, и возрадовался, что от войны уцелел, хожу по земле, а вокруг — трава!

— Наверно, знаете, где хатки бобровые есть, показали бы!

Воронцов повернул лодку к берегу, и вскоре мы выпрыгнули из нее, очутившись по пояс в густенной, девственной луговой траве. Луга отцветали. Господствовал теперь темно-розовый, красноватый даже цвет метелок щавеля, или, как говорят в деревнях, столбецов. Местами трава была так плотна, что мы с трудом пробирались сквозь нее. Идти быстро она не позволяла. Там и тут в лугах поднимались островки леса.

Воронцов остановился и стал внимательно рассматривать траву. Мы тоже заметили, что по траве словно кто-то прошел утром, во время росы, да так и осталась узкая тропинка.

— Они!

— Кто?

— Бобры. Самая что ни на есть бобриная тропа!

Долго еще мы шли по лугу, наслаждаясь благодатным зеленым раздольем. Под ногами начало похлюпывать. В следах проступала вода. Среди болота поднимался лесной островок.

— Там есть одна хатка, но, пожалуй, не доберемся, нужно раздеваться и лезть по пояс в жидкой грязи.

— Много лезть-то?

— С полчаса. Пойдемте в другое место, я знаю.

Но и в другом месте болото остановило нас.

— Бобры знают, где им устраивать хаты, — посмеялся Воронцов. — К ним, брат, не подберешься.

Пришлось возвращаться к лодке.

— Где теперь ваши знакомые: ботаник Стулов, зоолог Наташа?

— Не знаю. Ликвидировали наш заповедник в тысяча девятьсот пятьдесят первом году. Все они уехали. Остался Воронцов сам при себе.

— Скучаете по той работе?

— Неуж! Люди тоже хорошие были.

— Почему ликвидировали заповедник?

— Так ведь содержать его надо, деньги идут. Объявили будто бы так, что теперь народ стал сознательный и сам может охранять свои богатства.

— Ну и как вы думаете, охранит?

— Ох-хранит...— протянул Воронцов, и не понять было, чего больше в его интонации: утверждения или глухого недоверия.

Когда вернулись, Воронцов угостил нас на дорогу отменными белыми пышками с молоком. Молоко, правда, было прокислое, но мы не подали и виду, не хотелось огорчать старика.

Так вот и бывает. Стоило свернуть с большой дороги на лесную тропинку, как приоткрылся целый, неведомый нам доселе мир, который так легко было пройти мимо.

Дорога пошла под уклон, и вскоре перед нашими глазами засеребрилось солнечной чешуей, заплескалось мелкими волнами, затуманилось отпотевшей сталью вдали, зачернело опрокинутым дальнебережным лесом. Наконец мы вышли к главной владимирской реке — Клязьме.

Ока, что и говорить, посерьезней Клязьмы, но она лишь касается дальнего края области, скользит по нему, создавая границу с землями Рязанской и Горьковской. Клязьма прорезает область вдоль. Почти все владимирские реки и речки, так или иначе, попадают в Клязьму. Она ствол того дерева, которое только в пределах Владимирских земель насчитывает более пятисот ветвей и веток. Вот почему Клязьма — главная владимирская река. Иногда ведь так и говорят: Владимир-на-Клязьме.

Паром замешкался у того берега, а на этом уже накапливались желающие переехать. Первым стоял в очереди брезентовый «газик», за ним пристроились два мотоцикла, за мотоциклами — грузовик. Пешеходы разбрелись по берегу и расселись кое-где.

Катер развернулся возле того берега и потащил паром на нашу сторону. Погрузились — и тронулись. Узловатая, вся из перевитых, перепутанных струек, вся в завертинах, вода с шумом уходила под паром, чтобы упруго вынырнуть с другого конца. Путешествие было коротким. «Газик», два

мотоцикла и грузовик съехали на сырой песок, пешеходы тоже покинули паром и пошли каждый по своей дороге.

Дороги веером расходились от паромного причала, и мы несколько минут поколебались, какую выбрать. Можно было идти налево, и тогда мы пришли бы вскоре в древнейший Стародуб, называемый ныне Клязьминским городком. Но довольно с нас было старины.

Можно пойти направо, тогда вскоре нас втянул бы в свою коловерть большой промышленный город Ковров, в котором мы запутались бы самое малое дней на десять.

Средняя, идущая прямо дорога уводила в лес. А куда она могла вывести — нам было неизвестно. Мы пошли прямо.

Долго ли, скоро ли, с пережиданиями в лесу то одного, то другого дождя, так что приходилось даже разводить теплинку, чтобы обсушиться, миновав деревню Старый Двор, да деревню Зайкино, да деревню Куземино, мы подходили к опушке леса, когда увидели, что навстречу нам, из-за села, расположенного километрах в двух от леса, движется беспросветная, чернильного цвета студенистая масса. За нею толпились тучи помельче, но толпились они таким плотным строем, что пересиживать приближающуюся баталию в лесу было бы опрометчиво. Значит, задача состояла в том, чтобы успеть добежать до деревни. Разувшись, мы пустились бегом по клеклой земле. Первые капли попали в нас на середине расстояния. Но дождь не обрушился стеной, как этого можно было ожидать, он набирал силу постепенно и уверенно. А когда ударил он так, что над землей появился дым — мелкая водяная пыль от раздробившихся дождинок, мы успели юркнуть в открытую дверь амбара. Капли разбивались в пыль и в дым не только около земли, но и в воздухе, сталкиваясь друг с другом, поэтому прямоугольник амбарной двери был заполнен седою мглой, в которой переливались стеклышками, поблескивали частые дождевые струи. Ровный шум наполнял окрестности.

В амбаре было пусто, пахло кострой. Валялось тут сломанное окосье, футляр от швейной машинки, рама от домашнего ткацкого станка, разбитая кадушка, несколько камней, какие кладут на квашеную капусту. Тут же была брошена охапка свежего сена, на которой мы расположились.

Дождливая пасмурность незаметно перешла в вечерние сумерки, в доме напротив зажгли огонь. Вскоре совсем

стемнело. Мы начали зябнуть, появился голод, а дождь и не думал затихать.

В трех или четырех домах нам решительно отказали в ночлеге. Ни председателя, ни его заместителя не оказалось в деревне. Они уехали в Клязьму, в луга, где несколько дней назад начался сенокос.

Бригадир, которого мы, к счастью, отыскали, отнесся к нам очень радушно. «И у себя положил бы, да видите, негде, ребятни полный подол»,— и повел к некой бабке Акулине.

После горячего чая, под теплым одеялом, не как в амбаре, не страшен шум дождя, наоборот; под него лучше засыпается, крепче спится. Сквозь сон слышно было, как пришел дед — хозяин дома.

— Кто ето у нас? — спросил он.

— Ночлежники.

— Много их?

— Два мужика да одна баба...

ДЕНЬ ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ

Бабка Акулина разговаривала не как все женщины Владимирщины, а на особый манер, из чего мы сделали правильный вывод, что она со стариком переселилась сюда из каких-нибудь других мест. Во-первых, она не окала, во-вторых, вместо того чтобы говорить, пела. Начиналась фраза или целый период пением на довольно низких нотах, но постепенно, с воодушевлением, голос поднимался все выше и выше, достигая таких высот, которые доступны разве хорошо поставленному колоратурному сопрано. Слова со странными окончаниями (работая — вместо работает или любя — вместо любит), разные «ён» да «евоный» придавали ее разговору большую живость: «Слушай-ка, слушай-ка, и что я тебе сейчас скажу-у. Ен у меня и работая-я и работая-я, и по льну-то ен у меня все понимая-я, и дело-то ен у меня любя-я, да уж и много ли мочи-то евоной, уходит евонная-то мочь...»

Хромой дед ее был красавец. В небольшой русой бороде постоянно пряталась хитроватая, но ласковая улыбка. Такими, как он, я представлял себе всегда древних славян северных краев — Пскова и Новгорода. И точно: дед и бабка наши переселились в Санниково из Псковских земель. Понятно, почему дед хорошо знает льняное дело.

Вчерашний дождь шел и теперь все с той же ровной силой. О дороге не могло быть и речи.

Почти против окон бабки Акулины, в одноэтажном, продолговатом кирпичном доме помещался сельский клуб. Чтобы занять время, пошли туда.

Женщина подметала веником вчерашние окурки, бумажки, семечковую шелуху. Скамейки, расставляемые рядами по вечерам, теперь были сдвинуты к стенкам, и клуб представлял одно пустое помещение, длинное и скучное, как ящик. В дальнем конце — подобие сцены, на сцене стол, на столе рассыпаны костяшки домино. На грязные, с потеками и в трещинах стены повешены лозунги, настолько обыкновенные, что, конечно, их никто не читает, а если и читают, когда невольно упадет взгляд, то бессознательно, не придавая им никакого значения. Вот, например, лозунг: «Включимся в соцсоревнование, закончим весеннюю посевную кампанию в лучшие агротехнические сроки!» Во-первых, лозунг этот висит и весной, и летом, и осенью, и зимой, дожидаясь следующей посевной кампании. Редко-редко, перед большими праздниками, обновляют лозунги, а во-вторых, трудно представить себе, чтобы колхозный парень, прочитав такой лозунг, схватил шапку и побежал включаться в соревнование.

Нужно сказать, наконец, самим себе правду: люди глубоко равнодушны к подобной наглядной агитации. Нужно искать новые пути воздействия на сознание людей.

Мы выяснили, кстати, что годовой бюджет сельского клуба (если он сельский, а не колхозный) ограничивается деньгами, нужными лишь на дрова и на содержание уборщицы.

Сравнивая, сразу увидишь, какое значение придавал пропаганде своей идеологии старый мир. На каждом шагу стояли белокаменные храмы — опорные пункты идеологии. Уже внешне они выделялись, господствуя над всем окружающим. Трехсотпудовые колокола наполняли окрестности музыкой, более торжественной, чем патетические симфонии. Крестьянин из своей темной, пахнущей теленком лачуги переходил вдруг в обстановку золота, благовоний, трепетания сотен свечей и тихого церковного пения. Было отчего закружиться голове, дрогнуть сердцу. Вот какое значение придавал старый мир пропаганде своей идеологии.

Может ли по силе воздействия сравниться с этим клуб, увиденный нами сегодня, где, кроме танцулек (в пальто

и валенках) да стучания костяшками домино, ничего и нет. Ну, кино раз в неделю, ну, скучная лекция раз в месяц.

Идеи наши, допустим, величественны и прекрасны, но пропаганда их ведется дурно, если не убого, особенно в глухих деревнях, то есть там, где она нужнее всего.

Приближалось время обеда, а дождь все не переставал.

Мы попрощались было с бабкой Акулиной и сидели теперь на крыльце, ожидая, не проедет ли случайная машина. Но надежды наши покоились единственно на отчаянии, потому что санниковские машины как ушли утром за кирпичом, так и не вернулись, хотя езды в оба конца часа полтора. Где-нибудь застряли грузовики, и водители бросают теперь под колеса палки, лозняк, камни, солому.

Между тем приближалось время обеда. Роза пошла к бабке Акулине парламентером и довольно долго не возвращалась, а когда вернулась, сказала: «Будет обед: холодная вареная картошка с зеленым луком и маслом, а на второе — творог с молоком. Все в неограниченном количестве. Но уж и пела бабка́: «Слушай-ка, слушай-ка, что я тебе сейчас скажу. И все-то я вам дам: и масла дам, и молока дам. Но уж за все я с вас учту-у, за все учту-у».

Мы представили, на какой высоте были пропеты последние слова, и пошли обедать.

Еще утром на крыльце Серега предрек: пожалуй, сегодня нам предстоит провести самый бездарный день. Так и просидим, глядя на дождь, час за часом. Хоть бы анекдотишко кто рассказал. С течением времени Серегино предречение оправдывалось все больше и больше. В соответствии с этим все больше ухудшалось наше настроение. Однако обед сделал свое дело. Все мы повеселели, и появилось предложение: а не попробовать ли спасти бездарный день — пойти в лес по грибы?

— По дождю?

— Ну и что, только сначала страшно, а потом станет все равно.

Бабка Акулина, услышав про грибы, заволновалась. Она и сама стала собираться, но все же в последнюю минуту не захотела мокнуть.

— Слушай-ка, слушай-ка, что я тебе сейчас скажу-у, ступайте всё краем да краем, пока не попадутся пруды, от тех прудов берите левее, и как зайдете в лес, все одни-то пойдут грибы-ы, да одни-то пойдут белы-и. Уж вы обязательно дойдите до моего места.

До бабкиного места дойти не удалось. Изрядно промокнув, пока шли до леса, мы юркнули под лесной полог в надежде, что там будет мочить поменьше. Но лес так набряк дождевой водой, что одной ветки, одного куста хватило бы окатить человека с головы до ног.

Вкрадчивое шуршанье капель наполняло лес. Беспросветная серость и сырость, как это ни странно, не создавали ощущения осенней погоды. Там цвел яркий летний цветок, там выглядывала из-под листа перезревшая, запоздавшая ягода земляника, там раздвинула листья бледно-желтая рябиновая кисть. В древесной листве, сочной, тяжелой, темно-зеленой, чувствовалось много еще силы, в воздухе, несмотря на пасмурность, была разлита летняя теплота, в лесных лужах, прозрачных и теплых (на ощущение босой ноги), не плавало ни одного сбитого непогодой листа.

На взгляд настоящего грибника, мы вели себя в лесу как невежды, потому что, не дрогнув, обходили разные сыроежки — красные, как ягода брусника, желтые, белые, голубоватые, дымчатые, синие и даже зеленые, а также лисички, волнушки, скрипицы, дарьины губы, грузди, не говоря уж о валуях. Рыжики и маслята (по сути одни из самых лучших грибов) невежественно и вульгарно пренебрегались нами. Березовики и подосиновики не удостаивались попасть в число избранных.

Впрочем, кто помнит лето и осень 1956 года, тот поймет нас. Такого урожая грибов давно не знала средняя Россия.

Мы охотились исключительно за белыми, да и у тех отрезали одни шляпки. При этом жалко было не столько бросать плотный, тяжелый, как бы из свиного сала, корень, сколько разрушать красоту одного из шедевров природы.

Здесь, как и во всем. Пока смотришь отдельно на рыжик, кажется, не может быть гриба красивей его. Эта ядреность, эти темные кольцевые полосы по огненно-рыжему фону, эта хрустальная лужица в середине гриба. А попадется молодой подосиновичек, разворошивший своей головенкой пепельную плотную листву, и померкнут все рыжики. Белый корешок, полненький, словно бутуз-мальчонка, и шапочка, сделанная из красного бархата.

Смотришь на все эти грибы и думаешь: чего это зовут белый гриб царем грибов? Окраска простая, даже скромная, нет никакого вида. Разве что за вкус, за качество?

Но когда еще издали увидишь его — забудешь все. Все будет, как если бы вместо разных духовых инструментов

или гармоний заиграла вдруг скрипка. И просто, и ни с чем не сравнимо! Да, это царь грибов. Это маленький шедевр природы!

Головы шедевров так и сыпались в большую корзину, которой снабдила нас бабка Акулина. Прохладные, упругие, бархатистые, нежно-коричневые сверху и сметанно-белые снизу, грибы распространяли тонкий, но крепкий аромат. Они все были как на подбор, свежие, без червоточинки, без высосанных улитками ямок, без следов острых беличьих зубов.

Охотничий восторг, овладевший нами сначала, быстро прошел. Грибов было так много, что стало даже неинтересно. К тому же корзина наполнилась и отяжелела, как если бы ее наклали доверху мокрым бельем. Ведь шляпки лежали плотно.

Бабка Акулина нисколько не удивилась нашей добыче, а красоте грибов порадовалась вместе с нами.

Но почему-то совсем неохотно разрешила она воспользоваться шестком и таганом. Скорее всего в ней заговорила ревность хозяйки: «Как это так, на моем шестке чужая женщина грибы будет жарить!» Не догадались мы попросить ее об этом. В такой обстановке жаркое не в жаркое. Жаркое из охотничьей добычи: из грибов ли, из рыбы ли, из дичи ли тогда только и будет вкусно, когда люди вокруг него дружны и душевны.

Роза пошла на хитрость.

— Бабушка Акулина, а ведь грибы-то я жарить совсем не умею. Что сначала делать, масло на сковороду лить или грибы класть?

Бабушка Акулина расхохоталась. Она смеялась долго, что-то приговаривая и вытирая заслезившиеся глаза углом фартука.

— Слушай-ка, слушай-ка, что я тебе скажу-у, ладно уж, ладно уж, все тебе сдела-ю, а ты гляди да учись у старухи. Кажное дело мастера любя-я, а грибов-то этих я пережарила-а!

Бабка ушла во двор, и оттуда донеслось стучанье топора.

Я побежал, отнял у бабки топор и стал готовить чурочки сам. Это был последний удар по бабкиному сердцу, после которого она уже не оправилась.

— Грибы-то белы-е нужно, милая, готовить в сметане, а ты масло лить! — И снова угол фартука то к одному, то к другому глазу.— Эх-и-и-и, масло ли-ить... Обязательно

нужно в грибы изрезать две сырые картошины, а резать их мелко-мелко, а луку положить без жалости.

За сковороду сели все вместе. Грибы похрустывали, вилки постукивали, глаза поблескивали. Всего съесть так и не удалось. Бабка Акулина к концу сковороды раздобрела так, что наотрез отказалась от денег и за обед, и за все остальное.

— Слушай-ка, что я тебе сейчас скажу-у, не надо мне этих денег, вот как не на-до!

— Тогда мы вас с дедом сфотографируем и пришлем карточки.

В огороде под моросящим дождиком и дед и бабка сделали каменные тупые лица и застыли. Но я напомнил про грибы в масле и в этот момент нажал на затвор. Получились на карточке живые, веселые люди, совсем как в жизни.

В это время под окнами избы забуксовал «газик»-вездеход. Мы решились, и он повез нас из села Санникова по дороге, которую нельзя себе представить, не побывав на ней.

Начало смеркаться. Дождь моросил с короткими перерывами. Глухо шумела листва деревьев.

По дороге брела старушка с палкой выше себя, точь-в-точь старинная богомолка. Сообща мы втащили ее в автомобиль.

— Далеко ли по такой погоде, что за нужда?

— Как же не нужда,— уже не нараспев, как бабка Акулина, а, напротив, бойкой скороговоркой заговорила новая пассажирка.— Иду в Богоявленскую слободу, в Мстеру.

— Богу, что ли, молиться?

— И то ему. Да вы не зубоскальте. Как была с весны великая сушь, собрали мне наши бабы по трешнице: «Иди, слышь, Прасковья, моли дождя». Пришла я в Мстеру, помолилась, усердно помолилась...

— Ну и как?

— Али не видишь, залило все. Вторую неделю хлещет. Вот как, смейтесь над старухой-то!

— А теперь зачем?

— А теперь бабы мне снова собрали уж по пятерке: «Ты, слышь, намолила, ты и размаливай». Пока не размолишь, в деревню не приходи». Иду вот... Нелегко старухе, а иду...

Но размолить дождя старушке не удалось. До глубокой

осени лилась с неба вода, нельзя было на поля ни выйти и ни въехать. Иные уборочные машины потом вырубали из замерзшей уже земли. По морозу же собирали остатки урожая. Но это все было гораздо позже. А пока, посмеиваясь над богомолкой, мы въезжали в большой, прославившийся своими ремеслами поселок Мстеру, в домах которого зажигался свет.

ДЕНЬ ТРИДЦАТЬ ПЯТЫЙ — ТРИДЦАТЬ ВОСЬМОЙ

О Мстере написано много книг — очерковых, научно-исследовательских, искусствоведческих. Прочитав их, можно узнать разное. Например, то, что некогда это была вотчина князей Рамодановских, что одно время было там, если считать по главам семейств:

иконников	— 449
чеканщиков	— 29
сапожников	— 50
кузнецов	— 25
сусальщиков	— 19
столяров	— 10
портных	— 5
печников	— 3
офень	— 5
часовщиков	— 1
овчинников	— 1
мясников	— 22

Из этого списка сразу видно, какое ремесло было во Мстере главным. Благодаря этой слободе и пошло по Руси крылатое выражение «владимирские богомазы».

В одной из книг указано, что в 1858 году, то есть сто лет назад, владельцем Мстеры графом Паниным была объявлена цена всей слободы с покосами, огородами, садами, выгонами, усадьбами, церквами, кладбищами, лесами, реками, иконниками, офенями, кузнецами, сусальщиками, мясниками и прочим мастеровым людом. А цена эта была 167 200 рублей.

Встретятся упоминания и о том, как приезжал во Мстеру Некрасов. Он договаривался здесь с офенями, то есть с коробейниками, чтобы они вместе с тесьмой, серьгами, кольцами, иконами да поясками носили по Руси,

продавали его книги. Будто бы Некрасов говорил так: «Мстера на Клязьме — золотое дно красной дичи... в тамошних болотах проживает сам дупелиный атаман и все их начальство».

По книгам можно узнать, что, когда совершилась революция и иконы стали не нужны, мастера-иконописцы остались без ремесла. А ведь мастера были так искусны, что умели написать икону под любой век, самые тонкие знатоки в истрескавшемся грунте, на почерневшей доске, с которой едва-едва проглядывает лик святого, не узнали подделки, написанной неделю назад. Пропадать ли было таким рукам!

Иные стали расписывать матрешек и другие игрушки, причем вместо деда-мороза нет-нет да и глянет суровый бог Саваоф, ныне малевали стенные коврики (Стенька Разин развалился в лодке, и персиянка у него на коленях), иные пошли работать по орнаменту для клеенок.

Нелегкий путь раздумий и поисков привел к прекрасному — к стильной миниатюре, которая радует теперь наш взгляд в музеях, на выставках, за витринами подарочных и ювелирных магазинов. Кто же не знает теперь мстерских шкатулок, ларцов, пластин! Выработался у мстерцев свой стиль, отличный от стиля палехских или федоскинских мастеров. Но мы придем скоро в живописную мастерскую, и нам расскажут об этом подробнее.

Получилось так, что знакомство с мстерскими ремеслами пришлось начать не с живописи, а с другого, тоже прекрасного мастерства — вышивки белой гладью. Мы не огорчались особенно, вспомнив, что некоторые ученые-искусствоведы утверждают, будто самым замечательным во Мстере является не живопись, а как раз мастерство вышивальщиц.

Мы поднялись по ступенькам и вошли в большое, похожее на фабричный корпус здание артели имени Крупской.

Мастер цеха — Лидия Петровна — повела показывать свое хозяйство.

В длинном широком помещении во много рядов сидели за пяльцами мастерицы: то совсем молоденькие девушки, то молодые женщины, то женщины в возрасте, а то и старушки. Впрочем, последних было меньше всего. Очень много рабочих мест пустовало. Мы спросили: «Где же работницы?» Оказалось, они уехали в колхоз на прополку кукурузы.

Не много понимая в искусстве вышивания, можно было залюбоваться все же проворными руками мастериц, под которыми возникают цветы. Большинство мастериц, однако, занималось не белой гладью, а вышивкой синих лапок и крестиков на кофточках из креп-жоржета.

— А вот и белая гладь,— сказала Лидия Петровна, останавливая нас около пожилой женщины в очках, со строгим достойным лицом.

Женщина клала незамысловатый серебристый рисунок на простую ткань. Наслышанные о белой глади, мы, признаться, слегка разочаровались, но нашли мужество скрыть это и похвалили работу.

— Да, сразу видно, что она мастерица, художница, можно сказать, артистка своего дела!

Мастерица вскинула глаза от работы и посмотрела на нас, как будто уличала в чем-нибудь нехорошем, например во лжи.

Лидия Петровна заметно смутилась за нас и, чтобы поправить положение, твердо сказала:

— Вы правы, она действительно артистка. Идемте, я покажу вам ее работы.

Небольшое, даже тесное помещение, куда привела нас Лидия Петровна, называлось складом. На многоярусных полках стопками лежали готовые вышитые вещи. Возле одной стены стояли два запломбированных шкафа.

Сюда на склад пришла и художественный руководитель артели Валентина Николаевна Носкова — дородная женщина со спокойным важным лицом.

— Значит, можете записать,— предложила она,— отдельные кустари объединены теперь в крупную артель. В светлых цехах работают сотни мастериц, создавая вещи, достойные нашего народа. Так ведь вы любите писать в газетах?

— А разве это не правда?

— Да, не правда. Внешне все выросло, укрупнилось, расцвело. А на самом деле артель наша из года в год задыхается, деквалифицируется, искусство неповторимой белой мстерской глади отмирает и отомрет совсем, если не принять срочных мер. Лидия, покажи!

Лидия Петровна сорвала пломбу со шкафа, достала оттуда что-то сложенное в несколько раз, подошла к столу и вдруг одним широким хозяйским движением раскинула по комнате — праздник. Движение сказочной феи не могло бы быть более властно и волшебно. В угрюмое, скучное

помещение склада, как в сказке, пришли весна и солнце. Скатерть из шелковой чесучи, расшитая владимирским швом, горела красными и оранжевыми цветами, с промельком голубого. Верилось, какой бы ни был пасмурный день, какой бы обыденной ни была обстановка в комнате, как бы ни было хмуро на душах у людей,— раскинь эту скатерть по столу, и придет настроение праздничности, приподнятости, предчувствие радости. Могуча власть красоты!

— Красиво, не правда ли?

— Да, наверно, скатерть уж и не может быть более красивой?

— Не торопитесь. Лидия, покажи...

Лидия Петровна сорвала пломбу со второго шкафа, достала что-то сложенное в несколько раз, подошла к столу и вдруг одним широким хозяйским движением потушила (словно костер!), заслонила, заставила померкнуть яркие цветы, которыми мы только что восторгались.

Ни броскости, ни яркости не было в этой новой скатерти. На полупрозрачной шелковой ткани цвела, переливалась, отливая то серебром, то перламутром, то чистым жемчугом (да, пожалуй, скорее всего чистым жемчугом), белая гладь. Скатерть не была заляпана рисунком как попало, лишь бы побольше наляпать. Широкая полоса тончайшего узора по кайме да просторный круг цветов посередине — вот и вся вышивка.

Если первая скатерть была вся как жар-птица или действительно как костер и к ней можно было применять такие слова, как яркость, сочность, солнечность, то, глядя на эту вторую скатерть, вышитую подлинной мстерской белой гладью, напрашивалось только одно слово — нежность. Они отличались друг от друга, как георгин и ландыш.

— Эти уникальные вещи сделала та мастерица, которую вы назвали артисткой. Значит, вы не ошиблись.

— Но что она делает сейчас?

— Гонит пододеяльники.

— Куда гонит?

— Не куда, а сколько и зачем? Гонит она их в большом количестве, а вот зачем — мы сами не знаем. Мастерица не знает тоже.

Женщины взволновались.

— Мы сейчас будем жаловаться вам, но ведь и правда обидно. Вы поймите нас правильно. Советская власть создала мастерицам все условия, объединила в артель,

построила светлые помещения, наладила обучение ремеслу, дала художников для создания новых рисунков,— так неужели она не может спасти нас от умирания, то есть не нас, конечно, а наше искусство, наше прекрасное ремесло!

Художественные вещи — то, что должно быть нашей основной работой,— мы создаем изредка, от случая к случаю. Ну, там приедет какая-нибудь шахиня или откроется где международная выставка. Наши работы выставлялись на шестнадцати международных выставках, про внутренние — не говорим. И получается чистая нелепость! Выставки-то устраиваются зачем? Затем, чтобы показать товар лицом, чтобы потом этот товар можно было купить, если он кому-нибудь понравился. И вот работы наши на выставках нравятся, а в продаже их и искать не стоит, мы их для продажи не делаем.

— А вы делайте!

— Не можем.

— Кто вам не дает?

— Вал! Вал пожирает наше искусство. Наша беда, наша трагедия в том, что мы состоим в системе промкооперации. Вместе с нами в этой системе состоят дегтярники, рогожники, бондари и прочий полезный мастеровой люд, однако не имеющий отношения к искусству. Ну и пусть они не имеют, им не надо. Плохо, что мы имеем отношение к ним.

Из года в год нам, заодно с ними, увеличивают план в рублях. Было, скажем, четырнадцать миллионов, спускают семнадцать, было семнадцать, спускают двадцать один...

Теперь спросите нас, за счет чего мы должны выполнять этот все увеличивающийся план, не стесняйтесь, мы сами задаем такой вопрос руководству промкооперации и получаем ясный, короткий ответ: «За счет увеличения производительности труда».

Теперь спросите нас, за счет чего мы должны увеличивать производительность труда? Механизировать наше ремесло нельзя: оно потеряет всякий смысл. Механических вышивальных фабрик много, а мы, владеющие мстерской белой гладью, одни. Нет, нельзя нас механизировать, так же как и наших живописцев. Вы у них еще побываете. Болезнь, как и система, у нас с ними одна. С другой стороны, нельзя сказать живописцу, чтобы он начал кисточкой работать в два раза быстрее, чем работал вчера, чтобы он клал два мазка там, где вчера положил один. Точно так же

нельзя и вышивальщицу заставить кольнуть иголкой два раза вместо одного.

Значит, вопрос о производительности труда отпадает. Однако план неумолимо увеличивается год от году: четырнадцать миллионов... семнадцать... двадцать один... Нужно гнать как можно больше продукции. За счет чего она возьмется? За счет единственного и самого страшного — за счет упрощения. Вместо одной уникальной скатерти — несколько тысяч пододеяльников, с двумя-тремя цветочками на каждом. Вместо одной блузки, расшитой настоящей белой гладью, десятки блузок, украшенных синими лапками.

Мы изощрились, не думайте! Для выполнения плана выгоднее, чтобы как можно дороже стоил материал и как можно дешевле работа. На скатерть материала идет на сто рублей, а работы там на две тысячи. Невыгодно! Долой скатерти! На блузку материала идет на двести рублей, а работы — на тридцать! Гони! И получается чепуха. По материалу блузку можно надеть артистке Большого театра, чтобы принять заграничных гостей у себя в гостиной, а по вышивке — деревенской девушке в сенокос пофорсить!

Подгоняемые планом, мы таких блузок гоним лавину, и их перестают брать. А если бы их было меньше, они были бы лучше, и их брали бы обязательно.

Конечно, уникальные скатерти наши не дешевы, но ведь не дешевы и персидские ковры, которые покупаются. И что ни говорите, а Москва сто скатертей в год купила бы, да Ленинград, да иностранные туристы. Зато сохранялся бы промысел! Неужели художник, начиная картину, думает о том, чтобы сделать ее подешевле. Или пусть нас не называют художественной артелью. Мы не за одни скатерти, нет, и блузку можно сделать такую, что ахнешь, и носовой платок, но дайте же нам возможность их делать!

— А что у вас впереди, какие перспективы?

— В шестой пятилетке промкооперации должны увеличить выпуск валовой продукции на шестьдесят процентов. Это прекрасно для тех же дегтярников, бондарей, кирпичников, но это распространяется и на нас, а если план нам увеличат на целых шестьдесят процентов,— то вместо пододеяльников мы начнем гнать носовые платки в простую мережку.

Уж и теперь белая гладь, ради которой организована и должна существовать артель, занимает не более десяти

процентов во всем производстве. Эта цифра все уменьшается и уменьшается.

Обратно шли через тот же цех и снова остановились около мастерицы с пододеяльником. Подошли, окружили нас и другие работницы. Наперебой, возбужденно жаловались:

— У меня восьмой разряд, а работать приходится все время по третьему. Деквалифицируемся мы. Неужели не нужны народу умелые руки!

— Гладью, бывало, шьешь, то косой корешок, то стебелек пустишь, то брыздочкой начнешь, то сеткой, да разделаешь то кирпичиком, то крестиком, то ситечком. Все это мы умеем. Для чего же умение наше под спудом держать? Шьем целый год синие куриные лапки. Да их последняя ученица шила бы! Не дело это, неправильно! Опротивели синие куриные лапки!

Прощаясь, мы задали женщинам (художественному руководителю артели Валентине Николаевне и мастеру цеха Лидии Петровне) последний вопрос:

— В разговоре вы сказали, что неужели советская власть не заступится за ваше ремесло? А как, по-вашему, она это сможет сделать? Что для этого нужно?

— Очень мало. Вместо промкооперации подчинить нас Министерству культуры. Сразу бы все поставилось на свои места. Сколько об этом писалось разных статей! Да вот еще недавно в «Известиях» была статья Бегичевой «О художественных промыслах», или Бродского в «Дружбе народов» — «Еще раз о художественной промышленности». Заметьте — еще раз! Да ведь который? Так что, если вы тоже собираетесь писать статью, сразу называйте ее: «В сотый раз — и все без толку!».

...В детстве, давным-давно, я увидел впервые мстерскую шкатулку. А может быть, она была палехская, точно не скажу. В тонких различиях стиля мстеричей и палешан я в то время не разбирался.

Ни одна сказка, услышанная в детстве, не поразила меня так, как эта шкатулка, случайно попавшаяся в руки. Я ни за что не поверил бы, если бы меня стали убеждать, что сделана она совсем недалеко от нас, за каких-нибудь сто километров. Шкатулка казалась мне появившейся из сказки, из заморских краев, то ли из дворца Черномора, то ли из шатра Шемаханской царицы.

В полумраке крестьянской избы она горела подобно

перу жар-птицы, которым Иванушка любовался иногда, сидя в конюшне и вынимая его из шапки.

За шкатулкой стоял для меня другой, прекрасный мир. Но было странно, что, глядя на нее, вспоминались самые близкие, самые родные сказки.

...В навивочном цехе пахнет клейстером. Куски обычного переплетного картона здесь склеивают, кладут под пресс, потом кидают вариться в льняное масло, смешанное с керосином. Тут же объяснили нам, что керосин нужен как проводник, чтобы картон пропитался насквозь.

После варки картон кладут в печь, где сушат около семи суток без доступа воздуха.

Переходя из одного помещения в другое, мы увидели под моросящим дождичком ящик, наполненный разноцветными стеклышками, которые в дешевых брошках, кольцах и серьгах продаются в магазинах и которые больше всего напоминают ландрин.

— Зачем вам это нужно?

— Эти стеклышки мы размельчаем гирей,— ответил сопровождавший нас мастер,— и делаем шкурку. Любая шкурка нам не годится, нужна своя.

Минутой позже мы увидели, как шкуркой обдирают картон, сваренный в масле. Здесь, в столярном цехе, он принимает уже форму будущих изделий: пудреницы, портсигара, броши, шкатулки, ларца...

Ларец замысловатой формы стоял склеенный окончательно, и нам сказали, что он пока стоит несколько рублей, а скоро будет стоить двадцать тысяч. Вот что значит побывать в руках художника!

Черная масса, похожая на формовочную землю, состояла, как оказалось, из глины, мела, сажи, олифы и масла. Ею шпаклюют стенки изделия, нанося ровный слой и разглаживая его лопаточками.

Три слоя лака кладутся один за другим на шкатулку, потом следуют три покрытия красной краской внутренних стенок шкатулки, потом четыре покрытия светлым лаком.

Те стенки, где должен возникнуть рисунок, натирают пемзой, делают их матовыми. В таком виде изделие поступает в руки художнику. Теперь ни за что не скажешь, что изделие сделано из обычного картона — оно благородно сверкает под электрическим лучом, как черное полированное дерево.

Художник Игорь Кузьмич Балакин (из более молодого

поколения, чем основатели и ветераны мстерской миниатюры) посвящал нас в разницу стилей.

— Палех,— говорил он,— за основу взял черный цвет шкатулки. У них черный цвет активен. У них он — цвет.— И он показал шкатулки, расписанные в Палехе, на которых небо было черное.— Если нужен палешанину черный конь, то он не пишет его красками, а создает при помощи готового фона шкатулки. Итак, черный цвет изделия активно входит в живопись у палешан.

У нас он нейтрален. Смотрите, небо цветное, голубое, с белыми облаками. Это главное отличие. Кроме того, Мстера более орнаментальна, вычурна. Мы наблюдаем здесь вытянутость людей и построек, у Палеха все более реалистично и просто. Взглянем еще раз на мстерскую шкатулку: на ней записан каждый квадратный сантиметр, на ней тесно от живописи. А вот Холуй — площади, простору больше. Все трое, в отличие от федоскинцев,— и Палех, и Мстера, и Холуй — применяют золото, а также орнамент. Орнамент не позволяет композиции распыляться, расплываться, делает ее собранной.

— А федоскинцы, у них в чем главное?

— Начнем с того, что они пишут маслом, а не яичной темперой, как мы. Пишут они по перламутру, чтобы горело, переливалось, получается очень эффектно.

Мы шли теперь через живописный цех, куда приходят картонные лаковые изделия с матовыми стенками, припасенными для росписи. Юноши и девушки сидели, наклонившись над столами. В деревянных ложках с обломанными черенками ярко пестрели краски: золотая, красная, желтая, зеленая, синяя, белая. Для каждой краски — своя обломанная ложка. Тончайшие кисточки окунались игольчатыми кончиками своими в ту или иную краску и, скользя по черноте фона, оставляли на нем тончайшую роспись. Мы залюбовались, как девушка, без предварительной наметки, кладет на круглую пудреницу довольно сложный орнамент, сплетенный из серебряных линий не толще волоса.

— Трудно ошибиться, если пишешь, может быть, трехсотую пудреницу. Это ведь не творческая работа, а ширпотреб. Гоним, как говорится, числом поболее, ценой подешевле.

За другим столом мы увидели паренька (и потом видели такую картину не раз), который расставил перед собой ряд изделий и по очереди клал на каждое из них один и тот же мазок. Такой своеобразный поток позволял ему

увеличивать производительность труда. Это были пододеяльники из артели имени Крупской, принявшие здесь форму пудрениц.

— А где ваши старики, ветераны, члены Союза художников, заслуженные деятели искусств?

— Они работают на дому. Они-то главным образом, и то изредка, и создают творческие вещи. Все остальное — копирование и ширпотреб.

— А как в магазине, за прилавком, неискушенному покупателю отличить ваши творческие изделия от ваших ширпотребовских?

— А ему и отличать не придется. Творческие работы наши в продажу не идут. Их мы делаем для музеев, выставок, иногда для подарков.

Молодежь наша со стариками в конфликте. Она реализма требует, а те стоят за иконописные условности. Посреди колхозного ржаного поля он норовит обязательно написать традиционную новгородскую горку. Есть такой элемент в иконописании. Или рядом с пограничниками новгородская горка — представляете? Одно обстоятельство заставляет нас быть осторожными. Несколько лет назад мы едва не утратили свое лицо.

Дело в том, что в годы войны, как вы знаете, союзниками были американцы. Почти вся наша продукция шла к ним, за океан. А им нравилась старинная, иконостильная роспись. Вся артель ушла в иконописный стиль.

Хорошо, кончилась война. Мы продолжаем свое дело. Но на внутреннем рынке, увы, старина пошла плохо. Чтобы спасти положение, пришлось пойти на первостатейную халтуру: Мстера занялась репродуцированием картин. Появились все эти «Аленушки», «Мишки», «Сосны во ржи», ну и так далее, вплоть, скажем, до «Письма с фронта». Это была другая крайность. Так вот и потеряли было свое лицо.

Сейчас снова вошли в стиль, но уж не теми. На кистях художников остался осадок реализма, и теперь с ним ничего не сделаешь. Кстати, а как вы считаете, должны или не должны мы идти к реализму?

— Так ведь, как его понимать...

Вопрос был поставлен неожиданно и в упор, трудно было не растеряться. Читателю вопрос может показаться странным, еще более странной покажется ему заминка и растерянность вместо ясного и четкого ответа: все искусство должно идти к реализму! Нет, в нашем случае не все так просто.

Если бы народная сказительница пользовалась реалистическими (а не сказочными, не былинными) художественными средствами, скажем, поэтическими средствами Твардовского или Асеева, то она из народной сказительницы превратится в рядового поэта, да и не в рядового, а в самого последнего, потому что где же ей угнаться за современными поэтами!

Да и вообще сомнительна сама целесообразность воспевать современность былинными средствами. Содержание диктует форму. О Соловье Разбойнике — былинный лад, об Отечественной войне — стихи Твардовского.

А поскольку единство формы и содержания заглавное условие искусства, постольку и дело с мстерцами очень не просто. Их рисунок условен. Взгляните на эти вытянутые фигурки, на эти короткие руки, на эти ноги, одна короче другой. Когда изображается сказочный сюжет — это не страшно, но коль скоро дело коснется трактористов или пограничников — получается смешно. А отказываться от стиля нельзя, переходить на станковую живопись — нельзя, потому что нельзя же мстерцам всерьез тягаться с Пластовым, Юоном, Сарьяном, Неменским...

Вот почему даже сам Игорь Балакин, задавший нам каверзный вопрос, даже он, владеющий вполне и, значит, лучше всех мстерцев реалистическим рисунком, находит удачи в сказочных сюжетах.

Условный стиль мстерской миниатюры требует сказки, сказочности, а при прикосновении к реальной действительности — эпичности и высокой романтики.

Тарас Бульба Игорю Балакину удался, а за «Человека в футляре», за «Братьев Карамазовых» или, к примеру, за «Клопа» Маяковского он, верно, и не возьмется.

— Игорь Кузьмич,— спросили мы,— вы знаете все нужды артели, что, если, как в сказке, вам сказали бы: загадывайте желание, исполнится! Что бы вы загадали?

— Переведите нас из промкооперации в Министерство культуры, попросил бы я.

В это время девушка-секретарь отозвала художника, она сказала, что пришел Морозов.

— Вот вам и удача! Наш патриарх, заслуженный деятель искусств, зачинатель, хранитель стиля, пришел сам. В последнее время глаза его слепнут, да и руки, видно, дрожат. Поддерживаем мы его, даем шкатулки на роспись, а в дело они, по секрету скажу, не идут. Ему говорим: хорошо, Иван Николаевич, старый конь борозды не портит,

а сами видим, что сдал, окончательно сдал старик, пора на отдых. Вот и сегодня все должно повториться. Покажет работу, с надеждой будет смотреть в глаза. Может, надо бы сказать ему правду, рука не поднимается на седую голову, тянем...

В кабинете Игоря Балакина дожидался, присев к уголку длинного стола, седой, коротко подстриженный старик в серой, под цвет волос, рубахе. Возле старика, на уголышке стола, завернутое в плат изделие.

— Ну, показывай, чем нас порадуешь,— пожалуй, чересчур бодро спросил Игорь Кузьмич.— Разворачивай свою жар-птицу.

Старый мастер развернул платок. Руки его дрожали.

— Так, ну-ка, к свету поближе. Так. Есть еще порох в пороховницах!

Морозов не пошел к свету, а остался стоять с платком в руках возле стола. Плечи его вдруг затряслись, он повернулся и молча вышел из кабинета.

— Понял, значит. Ну что ж, когда-нибудь это должно было случиться. Зайти бы к нему сегодня нужно, тяжело старику!

На шкатулке был изображен сюжет из «Дубровского». Лица у людей искажены, кое-где даже лицо находит на лицо. Это был конец.

Часа полтора спустя мы вошли в избу Ивана Николаевича Морозова, обыкновенную деревенскую избу, с кухней и горницей, с половиками, с фикусом, с геранями, с швейной ножной машинкой, с пышной, вровень со спинками, кроватью и настенным ковриком над нею.

В переднем углу — рабочий стол старого художника. Иван Николаевич до нашего прихода занимался приборкой. Множество деревянных ложек с обломанными черенками, в которых растирают темперу, были протерты насквозь. Никогда не загорятся в них больше яркие волшебные краски. Кисточки, склянки, банки — все собрал Иван Николаевич в одно место, чтобы унести с глаз долой, чтобы не бередили его больного сердца да чтобы и в горнице не мешались.

— Неужели никогда, хотя бы для себя, для развлечения, что ли, не возьметесь за кисть? — спросили мы у Морозова.

— Больше не возьмусь, совсем отработался. И что ж, мне семьдесят три года. Я тридцать лет в одну точку рабо-

тал. Как ни мала вещица, а всю ее за работой не видишь, в одну точку глядишь. Так тридцать лет.

Из всех мстерцев Иван Николаевич писал, оказывается, особо тонкие, особо мелкие ювелирные вещи. Например, на маленькой коробочке он во многих сценах изобразил все «Слово о полку Игореве»,— не удивительно, что ослабли глаза.

— Где теперь ваши работы?

— Не знаю, рассеялись по белу свету. В музеях, должно быть, есть, тоже и за границей. В Институте художественных промыслов одна работа хранилась. Ту, сказывали, министр иностранных дел с собой в заграничную поездку взял. Кому-нибудь подарил, наверно. Не знаю, одним словом, где мои работы. С меня того довольно, что они есть, что люди на них смотрят, о русском думают.

На обратном пути мы зашли к другому заслуженному деятелю искусств — Ивану Алексеевичу Фомичеву. Сочетание художника и старого холостяка в одном человеке обеспечило квартире ну прямо-таки богемский беспорядок. Старик сидел за росписью ларца, такого самого, про который нам сказали, что сейчас он стоит несколько рублей, а будет стоить двадцать тысяч.

Фомичев расписывал ларец с пяти сторон, украшая его пятью сценами из сказок Пушкина. Вокруг мастера громоздились стопы запыленных книг, главным образом по искусству, с потолка свисали гирлянды завяленных на солнце окунишек и ершей.

— Сами удили?

— Сам, мы ведь здесь все удаки, отвлекает, освежение глазу даст. Но последний год и это помогать перестало. Гляжу на поплавок, а ларец перед глазами стоит. Торопят меня с этим ларцом, куда-то срочно понадобился. Значит, только верх обстоятельно распишу, а бока придется наспех. Да еще общественных нагрузок много...

— Вы и общественник на старости лет?

— Как же, все должности и не упомнишь, ну-ка, считай: член Художественного совета, член правления артели, депутат райсовета, депутат облсовета, член совета Центропромсовета, член совета Роспромхудсовета, член совета Роспромсовета...

Иван Алексеевич был куда бодрее своего друга Морозова, и мы в хаосе его холостяцкой квартиры чувствовали себя как-то легче, чем в идеально прибранной горнице ушедшего на отдых мстерского ветерана.

Распотрошив по паре окунишек, предложенных хозяином, мы вернулись в гостиницу.

В одной комнате с нами ночевал командированный человек худощавой наружности. Полные впечатлений от артели вышивальщиц имени Крупской и от живописцев, мы поделились с ним горечью за художественные ремесла, которые душит вал.

Командированный лежал на койке, заложив руки за голову, и слушал нас молча. Можно было заметить, однако, что разговор наш ему не нравится.

— Имейте в виду, что я инспектор той промкооперации, на которую вы нападаете. Я приехал проверять, как выполняется план.

— Отлично. Скажите же нам, товарищ инспектор, за счет чего живописцы или вышивальщицы должны выполнять ваш все увеличивающийся план?

— За счет повышения производительности труда,— без тени задумчивости ответил инспектор.

— А за счет чего, по-вашему, художник должен увеличивать производительность труда? Механизировать-то нельзя. Уж не должен ли он работать кисточкой в два раза быстрее?

— Это не наше дело. Должны быть внутренние резервы, организация рабочего места и прочее.

Разговор далее пошел довольно крупный, инспектор вскочил даже с кровати и, босой, с желтыми ногами, кричал на нас:

— Что вы понимаете в промкооперации, еще молоды вы нас учить!..

— Вот возьмут от вас эти артели и передадут Министерству культуры, тогда запляшете!..

— Это еще мы посмотрим. Это еще бабка надвое сказала!

Впрочем, поняв, что инспектору гораздо важнее голые цифры, выраженные в рублях, чем живопись и белая гладь, мы утратили к нему человеческий интерес. К тому же рюкзак был собран, наступила пора уходить на пристань.

ДЕНЬ ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТЫЙ

Этот день начался с вечера. Узнав, что по Клязьме ходит пассажирский пароход, мы подумали, почему бы не прокатиться на нем до Вязников. Одно было неудобно: пароход

подходил к пристани Мстера в три часа ночи. Ломать сон, идти ночью три километра до пристани, ждать пароход на зябком рассвете — не хотелось. Тогда мы решили сесть на пароход не когда он идет к Вязникам, а когда идет от них. Пусть везет нас на свою конечную станцию, пусть отдыхает там, поворачивает обратно. Мы будем спать. Все равно утром он привезет нас в Вязники.

Чтобы совершить такой рейс, нужно быть на пристани к семи часам вечера. Мы и пришли туда к этому времени.

Парохода еще не было, и многочисленные пассажиры бродили по зеленому берегу, любовались рекой. Спокойная, полноводная после всех этих дождей, река уже вобрала в себя краски предвечернего неба. Казалось, именно от горения реки так светло вокруг, а не от солнца, повисшего над горизонтом.

Невдалеке стремнина разбивалась о кудрявый от ивняка острогрудый остров. Иногда, если засмотришься, остров начинал плыть навстречу течению, оставляя за собой углом расходящиеся складки.

Плотники тесали около пристани сосновые бревна. Только и было звуков в окрестности, что их топоры. Запах смолы тоже один господствовал в воздухе.

Недалеко от берега, поставив лодку на прикол, мужчина в брезентовом плаще ловил рыбу впроводку. Он то и дело закидывал свою легкую удочку. Несколько секунд поплавок несло течением, затем следовал новый заброс. Через раз, не реже, рыбак подсекал, и тогда на конце невидимой издалека лески крохотным огоньком вспыхивала рыбешка.

Пыхтя, подошел «Робеспьер» — древний колесный пароходик, на котором, наверно, катались еще в свое время вязниковские да мстерские купцы.

Зашлепало, заурчало внизу под нами, и берега, разворачиваясь, тихо поплыли навстречу. Был четверг, а для мстерцев это все равно что суббота, потому что выходные там бывают по пятницам, и нас поразило обилие удильщиков на берегах Клязьмы.

В одном месте на песчаной поляне, среди густого кустарника, семья устраивалась на ночлег. Папа с мамой сооружали шалаш, а ребятишки не то помогали, не то мешали им.

В песчаном обрыве левого берега гнездились ласточки. Черными норками их берег был испещрен на больших протяжениях. Птицы хлопотливо кружились над водой и с разгона исчезали в земле. По-над гнездами ласточек

тянулись покосы. С верхней палубы луга были как на ладони. Вот стоит большой обжитой шалаш, около него стол, уставленный пустыми бутылками из-под молока. Рядом с шалашом косарь бьет косу. С запозданием на несколько секунд долетает звонкий, наполненный и упругий, словно щелк соловья, звук молоточка по наковаленке. Стреноженная, бродит лошадь. Вдалеке двое косарей докашивают делянку. Один вытер косу травой, положил ее на плечо и зашагал к шалашу. Все это на яркой зелени, облитой последними красными лучами замирающего дня.

Я проснулся от сильного толчка и посмотрел в иллюминатор. За ним была ночь. На палубе охватило холодом. Черный пароход стоял посреди черной воды. На черном берегу грудами и штабелями, слабо прорисовываясь на фоне черного неба, лежали доски, бревна, дрова. Весь берег — вправо и влево — представлял один большой склад. Бродили черные люди. Так до сих пор я и не знаю, где приставал пароход, как называется это место, произведшее на меня довольно мрачное впечатление.

Иногда начиналось топанье, беготня по палубе, громоздкое громыхание, скрежет и стук. На «Робеспьер» что-то грузили, иногда пароход начинал гудеть, а мы спали себе да спали.

Утром встретила нас пасмурность. Тихий теплый дождичек вскоре перемежился. Справа, выглянув из-за берега, дала посмотреть на себя деревянная шатровая церковка, похожая на ту, что мы видели под Юрьевом. Большие села сбегали к Клязьме по обоим берегам. Тихие, стояли леса.

Все отражалось в реке: и лес, и церковка, и дома деревень. Но Клязьма текла, поэтому отражение в воде несколько размывалось, как если бы смотреть на предметы через тонкую льдинку.

Совсем близко впереди, на высоком правом берегу, железной вышкой, белыми домами, большим серобетонным зданием и зеленью садов увиделся городок Вязники. Вот уже совсем подошли к нему, но Клязьма делает поворот, уходит влево, выписывает петлю, и город снова отплывает вдаль.

Наконец «Робеспьер» причалил. Смешавшись с толпой пассажиров, мы начали подниматься по узкой улочке, застроенной деревянными домами. Рядом с обыкновенным деревянным тротуаром был еще устроен тротуар на сваях, высокий и узкий, на случай разлива Клязьмы в весеннее половодье.

Есть три предположения, почему городок на Клязьме (а также и на автостраде Москва — Горький) называется Вязниками. Одно предположение такое: на высокой горе располагался некогда древний город Ярополч и жил там будто бы князь Кий. Поехал он за Клязьму охотиться и увяз в болоте. Ярополчцы увидели беду князя и, стоя на безопасной высоте, дружно скандировали: «Вязни, Кий! Вязни, Кий!» Отсюда и пошли Вязники.

Вторая, более прозаическая, версия приписывает название города единственно непролазной грязи (вязи), которой славились улицы городка до недавнего времени, пока их не замостили, а частью даже и не одели в асфальт. Значит, князю Кию не нужно было уезжать за Клязьму, чтобы увязнуть довольно основательно.

Наиболее правильное толкование, что название пришло от вязов, которых еще и теперь много и в самом городе, и в его окрестностях, отвергается на том основании, что будто тогда город назывался бы Вязово. Но возражение это не серьезно.

Впрочем, теперь, когда мы шли от пристани к центру города, нам было в высшей степени все равно, откуда пошло название. Другие заботы — а именно, как бы устроиться в гостиницу и где бы позавтракать,— волновали нас.

Оживленное гуденье базара привлекало прохожих подобно тому, как запах меда привлекает пчел. Мы тоже, не заметив как, оказались на базаре. Это был славный базар, на котором легко можно было определить, чем богаты окрестные земли. Главенствовали грибы — целые ряды были заняты всевозможными грибами. Соленые белые шляпки, соленые белые корешки, соленые рыжики, соленые сыроежки, соленые грузди. Целая тарелка грибов (грибы навалены стогом) стоила два рубля. Но «за три пару» вам уступали охотно. Теперь мало кто брал соленые грибы, всех привлекали свежеотваренные, молодые, пахнущие укропом, а также не потерявшие еще запахов бора, хрустящие, румяные боровички. Сушеные грибы (прошлогодние) распродавались огромными гирляндами по ценам, которые московским хозяйкам показались бы баснословно маленькими. Но больше всего, конечно, было свежих, с прилипшими хвоинами, разных грибов. Они лежали кучами, грудами, в ведрах, корзинах, а то и просто на телеге. Это было грибное наводнение, грибная стихия, грибное изобилие.

Другие ряды заняты ягодами. Янтарно-желтая и рубиново-красная, прозрачная, с темными точечками внутри смородина, кисти которой напоминают уменьшенную кисть винограда; смородина черная, крупная, словно вишенье; садовая малина, такая, что каждую ягоду можно надеть вместо наперстка на палец; лесная малина, мелкая, перемятая, но аромата и сладости необыкновенной; крыжовник, прозрачный, розовый, в рыжих волосах; черника с голубым налетом на кожице... А там пошли малосольные огурчики, там — груды лука, а там — ворох деревянных расписных ложек, а там — кадушки под разные домашние соленья, а там — глиняные свистульки, а там — рогожи корзинки из горькой душистой ивы...

Не было лишь того, чего должно было быть больше всего остального,— знаменитой владимирской родителевой вишни.

Ее сюда, в Вязники, завезли лет четыреста назад, будто бы из Греции. Из поколения в поколение воспитывались, умудрялись опытом, постигали дело вязниковские садоводы.

В декабре ломали в морозном саду вишневые ветви и ставили в бутылки с водой, горлышки заливали воском. Через месяц, когда мороз разрисовывает окна, во всех вязниковских домах расцветали белые майские цветы. Это делалось не для удовольствия, а для «пробы». По цветам определяли будущий урожай.

В саду строилась каланча, а от нее протягивались веревки к звонким деревянным доскам, называемым балтерками. Возле доски укрепляли шарики, от которых и производился звук. Сидя на каланче, можно было стучать сразу во все доски в разных концах сада. Так было в каждом саду. Можно представить, какой стук и гром стоял в Вязниках во время созревания вишни. Шуму добавляли и трещотки, которых было множество. «Впрочем,— добавляет автор, описавший все это,— птицы за долгие годы привыкли к шуму и не обращали на него внимания. Зато,— продолжает автор,— вяло и мертво в Вязниках, когда нет урожаев».

Видимо, пришли мы в неурожайный год, что не услышали трещоток, не увидели на базаре знаменитой родителевой ягоды. Говорят также, что много садов погибло от морозов, а много было вырублено в послевоенные годы, когда еще с каждого «косточкового» дерева взимался налог.

В центральной части своей Вязники ничем не отличаются от других подобных ему городов. Гостиница «Свет», чайная рядом с гостиницей, поодаль — городская столовая, несколько кинотеатров, краеведческий музей, автобусная станция, у которой собираются запыленные загородные автобусы и грузовики со скамейками в кузове.

Тем, кому придется побывать в Вязниках, можно посоветовать следующее. Там, где кончается Пролетарская улица, сворачивает направо тропа. Она поведет вас в прогалок между двумя частоколами, возле которых буйно разрослась сорная трава, а за которыми не менее буйно зеленеют сады. Старинные вязы будут попадаться вам на пути.

Поднимаясь в гору по этой узкой тропинке, время от времени нужно оглядываться назад. Все шире и шире будут открываться перед вами заклязьминские дали, ее привольная пойма, и, наконец, вы увидите далекую синюю полоску начинающегося там Ярополчского бора.

Когда же тропинка приведет вас наверх (на Больничную улицу), нужно еще пройти немного прямо, и вы подойдете к глубокой пропасти, у подножья которой ютятся дома. От тех домов местность довольно круто поднимается, уходя вдаль, так что ту часть города вы смотрите как бы сверху, с самолета. Переплетение тихих деревянных улочек, зеленеющих травой и садами, очаровательно.

Хорош вид и с Венца, высокого холма на краю Вязников, возле поселка Ярцево. Этот холм омывается садами, как морским прибоем, а горизонта, а заклязьминских далей оттуда смотреть не пересмотреть. Все извивы реки, все ее старицы, ложные русла, брошенные светлыми подковами в зелень поймы, озерки, деревни, ярко-зеленые пятна болотцев — все это с Венца видно как на ладони.

И манит, зовет своей неоглядностью Ярополчский бор, в середине которого есть будто бы провальное озеро Кщара.

Решено было идти туда. Вопрос этот решался на вечернем совете в гостинице «Свет» вместе с другим наиважнейшим вопросом.

Домашняя дума в дорогу не годится.

Время путешествия нашего истекло, хотя мы успели пройти лишь половину того, что задумали.

В Вязниках мы вышли на асфальтовую магистраль, с которой свернули сорок дней назад. Была мечта пересечь ее и уйти в просторы, лежащие по другую сторону магистрали.

Таким образом, вся южная половина области, то есть вся Мещера с ее лесами, с ее глухими трясинами, с ее неповторимым Гусь-Хрустальным, с ее древним Муромом и селом Карачаровом, где сиднем сидел Илья Муромец,— все это из доступной реальности снова уходило в мечту.

Три дня, которые имелись еще в нашем распоряжении, не могли поправить дела.

При подведении итогов было высказано мнение, что мы дружно делили походные тяготы, что мы узнали немало интересного за это время и что на будущее лето или через год хорошо бы в том же составе пройти по Мещере, как теперь мы прошли по Ополью.

Это хорошо, когда жизнь оставляет место для мечты. Нет успокоенности, нет завершенных дел, нет конца жизни.

За далью открывается новая даль, а там своя, иная даль, и в этом великая правота нашего поэта.

Мы решили все же побывать в Ярополчском бору, прежде чем покинуть Владимирские земли. На этом закончилось «историческое» совещание в гостинице «Свет».

ДЕНЬ СОРОКОВОЙ

«Лес есть социальный организм, в котором деревья вступают в тесное взаимодействие друг с другом, влияют на занятую почву и атмосферу»,— такую цитату из книги по лесоводству прочитал нам в напутствие один из работников Вязниковского лесничества.

Нельзя сказать, что эти мудрые слова мы твердили наизусть, подступая к сердцу Ярополчского бора. Кроме почвы и атмосферы, лес, должно быть, повлиял и на нас, потому что мы шли тихие, зачарованные, потрясенные, благоговеющие, подавленные.

Мы шли, маленькие, мимо подножий медно-красных гигантов, вознесшихся черт-те куда своими зелеными шапками! Стволы их (как и мы) затоплены тенью, а верхушки (в отличие от нас) видят солнце, далекие горизонты, земной простор.

Никакого подлеска не было здесь. Земля, вся в небольших буграх,— может быть, в древности были здесь песчаные дюны,— покрыта плотным белесым лишайником и кажется оттого выкованной из серебра. Лишайники легко похрустывают под ногами на буграх, мягко уступают ступ-

не во влажных низинах. Белые лишайники и красные сосны — больше ничего лишнего не было в этом бору.

В то время когда, по нашим предположениям, сердце Ярополчского бора — озеро Кщара — должно было находиться от нас не более чем в пяти или семи километрах, внимание наше привлек незнакомый нам доселе знак, вырубленный на сосне. Он напоминал изображение оперенной стрелы длиною не менее полутора метров, так что оперение охватывало ствол во всю его ширину.

Приглядевшись, мы увидели, что у нижнего конца стрелы, там, где положено быть наконечнику, прикреплен к дереву железный колпачок, наполненный белой массой, похожей на топленое свиное сало. В иных колпачках белые комочки его плавали в скопившейся дождевой воде. Тогда память подсказала читанное в книгах и даже стихах слово «живица».

Соседняя сосна оказалась с таким же знаком, и третья, и четвертая... Всмотревшись в глубину, мы увидели, что теперь все сосны несут на себе изображение огромной стрелы, а просматривался бор далеко, взгляд охватывал сразу сотни деревьев.

Через некоторое время мы заметили девушку в легком, свободном платье без пояска, в косынке, надвинутой на глаза. Она ходила с ведром от дерева к дереву, задерживаясь у каждой сосны не более чем на полминуты. Подойдя ближе, мы увидели, что тупоносым ножом она вычищает из железных колпачков белое сало и складывает его в бадью.

Когда бадья отяжелела, девушка пошла к крохотной земляночке, едва заметной даже вблизи, и выложила там содержимое бадьи в бочку.

Мы хотели разузнать у сборщицы живицы побольше подробностей о ее ремесле, но она ничего не стала рассказывать, может быть, испугалась незнакомых людей в бору, тем более что Серегина борода к этому времени могла уже внушить и недоверие, и даже опасение. Ведь воскликнула одна женщина, увидев его на берегу реки без рубахи: «Господи, страшилище-то какое стоит!»

Девушка в ответ на все наши расспросы послала нас к технику, начальнику участка, который живет будто бы совсем близко, возле озера Порядово.

— Так вот прямо идите,— показала рукой девушка,— бор-беломошник кончится, сырь трава пойдет, значит, озеро близко, а там и участок увидите.

Сквозь сосны вскоре проглянули постройки, и мы без труда (спросив у продавщицы магазинчика, щелкающей семечки на пороге своей «торговой точки») нашли технорука. Это был молодой мужчина невысокого роста, с малозаметными усиками, в простой, в полоску рубахе, с резинками на рукавах и в шевиотовых штанах, заправленных в сапоги. Звали его Петр Иванович Сиротин. Он первым делом завел нас к себе в комнату, где молодая красивая хозяйка тотчас поставила на стол блюдо с отварными грибами и три граненых стакана.

Петр Иванович, что мог, рассказал нам про сборку живицы.

— Когда сосне наносится какая бы ни было рана, дерево в виде самозащиты заливает ее соком, который на воздухе быстро густеет, из прозрачного становится белым и закупоривает рану. Точно так же, свертываясь, закупоривает рану и кровь.

Живица — не смола (многие называют ее так), а именно живица, заживляющая дерево. Смолу же добывают из корней сосны или осмола путем сухой перегонки. Итак, раненое дерево выделяет живицу, которая вскоре застывает. Значит, чтобы добыть много живицы, нужно наносить все новые и новые раны. Этим и занимаются вздымщики. Орудие вздымщика — хак той или иной системы — как нельзя лучше приспособлено для этого. Вот подошел человек к сосне, зачистил слегка шершавую кору (операция называется «окорение»), нацелился хаком и резким умелым движением прорезал вдоль ствола узкий глубокий желоб полутораметровой длины. По этому желобу будет стекать живица. От длинного желоба под острым углом вздымщик прорезывает два коротких желоба — усы, внизу прикрепляет железный колпачок — приемник живицы.

Через три дня вздымщик придет к дереву снова. Пониже старых ран он прорежет новые. Так весь сезон дерево не знает покоя. Регулярно, через каждые три дня, приходит человек с острым хаком. После трех вздымок, то есть через девять дней, сборщица обходит сосны.

За каждым вздымщиком закреплено до пяти тысяч деревьев.

Выкачивать из дерева живицу начинают за десять — пятнадцать лет до валки. А когда дереву останется жить два года, обычный метод подсечки усугубляют химическим воздействием. Свежую рану мажут кислотой. Дерево как бы взвывает от боли, ибо начинается бурное, из последних

сил, выделение живицы. С химическим воздействием сбор увеличивается в пять-шесть раз. Обескровленное дерево валят и увозят из леса.

Еще рассказал нам технорук Сиротин, что стоит килограмм живицы пять рублей, что из тысячи килограммов ее получают сто девяносто килограммов скипидара и семьсот сорок килограммов канифоли, что в нашей стране ежегодно добывают сто сорок тысяч тонн живицы и что мы по добыче ее стоим на третьем месте в мире после Франции и Америки. Французы потому занимают первое место, что у них растет особая южная сосна с обильным содержанием живицы.

Потом мы пошли в лес, и Петр Иванович стал показывать нам, как режут желоба, как проводят усы, как устанавливают приемник.

— Выход зависит от технической обработки кары, вся эта стрела называется карой, а не только от сосны,— пояснял технорук.— Глубина подновки, то есть нанесения новой раны, только вредит делу. Кроме того, при глубокой подновке дерево дрогнет.

— Как дрогнет?

— Ну, вянет, вроде бы чахнет. Дрогнет, одним словом! Так что важна не глубина (незачем лезть в древесину), а шаг подновки. Нужно срезать осмол и вскрыть как можно больше смоляных ходов.

Мы попробовали и сами подержать в руках и пустить в дело хак, но у нас ничего не получилось.

— Вот благодатная профессия,— между прочим, заметили мы.— Ходи по сосновому бору от дерева к дереву — благодать!

— Как вам ответить? Конечно, ходить по лесу не плохо, но если нужно вскрыть до пяти тысяч кар, то это все же не так-то легко. Вздымщики выходят в три часа утра, пока не жарко. И работать лучше, и живицы больше идет, не так быстро застывает.

Петр Иванович охотно вызвался проводить нас до Кщары, и мы пошли напрямик, без тропок и дорог, по одному ему известным приметам.

— Богатыри! — еще раз не удержался от восторга Серега, глядя на сосны.

— Они и правда богатыри,— серьезно подтвердил технорук.— Когда деревьям десять лет, их на каждом гектаре растет не менее двадцати тысяч, а к ста годам остается только сто. Остальные, естественно, отмирают, гибнут в

борьбе за существование. Значит, те, что вы видите перед собой, выиграли сражение за жизнь, значит, они самые крепкие, выносливые, то есть богатыри.

Озеро Кщара возникло неожиданно, словно часть бора провалилась под землю, и вот вместо него вода. Так, видимо, оно и было когда-то, раз озеру приписывают провальное происхождение.

Кщара по форме напоминает цветок о нескольких лепестках, и эти лепестки-заливы придают озерному пейзажу свою прелесть и свою живость; два острова, заросших лесом, дополняют ее.

Петр Иванович сказал, что глубина в Кщаре доходит до семидесяти пяти метров и что вообще здесь много провальных озер. Под Флорищевской пустынью озеро Чистенькое есть. На первый взгляд примешь его за прудишко шагов пятьдесят в длину, шагов тридцать в ширину, а глубина двадцать пять метров. Есть на Чистеньком озере островок, величиной с лодку, однако с кустарничком на нем и даже земляничкой. Тот островок плавучий, и местные жители держат его на привязи около берега и, если нужно, катаются на нем.

Но Кщара — не Чистенькое, это большое просторное озеро, которое ждет еще своего санатория или дома отдыха. Жаль только, что сосны на одном его берегу безжалостно порубили и тем образовали в пейзаже неряшливую брешь. Можно было оставить хотя бы стометровую нетронутую полосу леса около самой воды. Мало ли деревьев в Рополчском диком бору!

На берегах озера стоит один-единственный дом, где живет лесничиха с сыном, восемнадцатилетним белокурым красавцем, с глазами то серыми, а то вроде синими, когда упадет на них солнце. Точь-в-точь как Кщара.

Парень этот снисходительно посмеивался, когда мы попросили у него удочки. Он вообще над всем снисходительно посмеивался или, вернее сказать, всему снисходительно улыбался.

Возле коровника мы расковыряли навозную кучу и наклали в консервную банку отборных нежных навозных червей.

— А где же нам удить? Вы, наверно, знаете все рыбные места?

Гена — так звали парня — опять снисходительно улыбнулся.

— Все озеро, вся рыба ваша, нигде не пугана, нигде не трогана. Забрасывай — и лови.

Мы, однако, долго шли по берегу, выбирая местечко потише, поукромней, чтобы кувшинки росли возле берега.

В большом озере смешно надеяться на большой улов с берега. Как будто мало простору и она обязательно должна околачиваться возле самой земли! На большом озере ловить нужно с лодки. Тем не менее клев был беспрерывный, и мы то и дело выдергивали ершей, плотичек и небольших окуньков. Только один раз ни с того ни с сего мне попался плоский, с легкой позолотцей лещ, не оказавший, как ни странно, никакого сопротивления.

Я не люблю удить на чужие удочки, они мне как-то не по руке, но несколько часов у тихой предвечерней воды все равно наслаждение.

Нанизав улов на длинные прутья, гордые, мы возвращались к сторожке. Теперь-то уж Гена не будет улыбаться так снисходительно.

Но только лещ на долю секунды задержал на себе его внимание. Гена молча сел в ботичок — подобие лодки, выдолбленной из бревна,— и быстро оказался на середине озера. Издали нам было видно, как он занимается там некими упражнениями, связанными с размахиванием рук. Приглядевшись, мы догадались, что он то и дело опускает на глубину и вытягивает обратно леску. Поработав таким образом минут тридцать, Гена вернулся. Дно ботичка сплошь было покрыто рыбой. Тогда мы поняли, что такое Кщара.

Едва начал брезжить рассвет, а мы уже проснулись и вышли на улицу. Все было серое: затуманенный лес, озеро, небо. В одном месте, в просвете между соснами, к серому небу была приклеена небольшая малиновая бумажка зари. День обещал быть дождливым и ветреным. Мы наскоро искупались в Кщаре, выпили по крынке припасенного нам лесничихой молока, взяли рюкзаки и ушли в бор.

Не знаю, чего больше было в этом лесу: деревьев или грибов. Остановившись на тропинке, мы медленно поворачивались вокруг себя. Пока поворачивались, успевали заметить и насчитать на проглядываемом участке леса пятнадцать — двадцать отличных белых грибов. Мы даже затеяли игру, кто больше заметит грибов, не сходя с места. Если бы их собирать, то около тропы (по десять шагов от

нее вправо и влево) мы набрали бы, пока шли до Вязников, несколько пудов грибов.

Но грибы нам надоели, и мы стали приглядываться к ягодам. Этого добра было еще больше. Мы ложились на мягкую лесную подстилку и сосредоточенно выедали пространство вокруг себя. Руки наши (мы ели ягоды горстями) вскоре почернели, как, впрочем, и губы, и зубы, и щеки. Сколько же добра пропадет для людей в одном только этом бору! Десятки тонн можно было бы заготовить здесь и грибов, и черники, и брусники. Много ли выберут ребятишки да бабы из окрестных деревень, хоть они и таскают из лесу огромные кузова, полные черники!

Здесь помогли бы только организованные заготовки. Может быть, в такие леса, как Ярополчский бор, в урожайные годы нужно вывозить пионеров, может быть, устраивать комсомольские воскресники.

Что касается нас, то нам было бы жалко уходить от всего этого изобилия, если бы мы не пресытились на год вперед.

К вечеру бор стал редеть, пошли лиственные деревья, и вскоре перед нами открылась клязьминская пойма и контуры Вязников на дальнем крутом берегу, обращенном к нам.

Мы закричали «ура», потому что появление на горизонте Вязников означало для нас конец нашим странствиям, может быть бледно, но зато добросовестно описанным в этой книге.

Конечно, во время путешествия, когда ежечасно зовет, манит не пройденная еще даль, трудно уйти в обстоятельную и подчас тоже зовущую глубину. Тут уж что-нибудь одно: либо путешествовать, то есть идти дальше, в другую деревню, либо оставаться в этой и обстоятельно, в подробности изучать.

Описание, к примеру, Суздаля и прилегающих к нему земель заняло несколько страниц. А между тем о городе, конечно же, можно было бы написать целую книгу. О колхозе в селе Омутском, бурно, неудержимо рванувшемся в рост, тоже можно написать книгу. Мало того, если идти в еще большую глубину, то ведь любая колхозная или городская семья, отдельный человек даже может толкнуть на написание рассказа, повести, а то и романа.

Грустно было уезжать с родной земли, которую за сорок дней пути мы полюбили еще больше.

Древние славяне, уходя из отцовских краев, срывали в реке одолень-траву и кусочек ее корневища хранили во время странствия.

Думается мне, что не столько они наделяли ее суеверными свойствами, сколько была она для них кусочком родной земли, олицетворением родины и неистребимой любви к ней. А что поможет лучше и надежнее в любом трудном деле, чем эта любовь?!

И нам предстоят иные пути-дороги, новые нелегкие маршруты, которым нет конца.

А если так и если не просто трава, а любовь к Родине, то не сказать ли и нам вслед за древним пращуром, поставившим себя перед трудностью незнакомых дорог:

«Одолень-трава, одолень-трава! Одолей ты злых людей: лихо бы на нас не думали, скверного не мыслили, отгони ты чародея, ябедника.

Одолень-трава, одолень-трава! Одолей мне горы высокие, долы низкие, озера синие, берега крутые, леса темные, пеньки и колоды... Спрячу я тебя, одолень-трава, у ретивого сердца во всем пути и во всей дороженьке...»

1956—1957

КАПЛЯ РОСЫ

...Передавать другим свои впечатленья с точностию и ясностью очевидности, так чтобы слушатели получили такое же понятие об описываемых предметах, какое я сам имел о них...

С. Т. Аксаков

— Ну, а теперь расскажи мне, что ты сейчас пишешь.

— Я пишу книгу.

— Повесть?

— Н...не совсем.

— Роман?

— Нет. Ее совершенно нельзя назвать романом.

— А, я знаю, ты опять пишешь очерки.

— Вряд ли...

— Так, видно, это будет нечто автобиографическое?

— Смотря как понимать автобиографию. Чтобы ее написать, нужно рассказать о людях, с которыми пришлось повстречаться в течение жизни. Автобиография состоит не из описания самого себя, а из описания всего, что ты увидел и полюбил на земле.

— Так что же ты пишешь, в конце концов?

— Книгу.

— Но, надеюсь, там есть эти — как их? — герои и, очевидно, имеется главный герой? Ты их придумал или нашел в горниле жизни?

— Не в горниле, а в селе Олепине.

— Вспомнил, вспомнил, вспомнил! Три года назад случайно в разговоре ты обещал мне написать книгу про свое родное село. Так, значит, это она и есть? Но в каком плане — история, портреты людей, природа или... чисто колхозная тематика?

— Это книга про мое родное село Олепино. Если у вас из прочтения как бы отдельных и как бы разрозненных картин составится одна, общая и цельная, если вы будете иногда вспоминать и думать об Олепине, а главное, если вы будете вспоминать и думать о нем тепло, как о хорошем, добром знакомом, то больше мне ничего и не нужно.

Да, в книге много людей, несколько десятков человек, но я не выдумывал их, ибо как я могу выдумать олепинского жителя, если все олепинские жители известны по имени, отчеству и фамилии!

Вот вы говорите: колхозная тематика... Признаться ли вам, что я, в сущности, не застал, не видел и, значит, не помню доколхозной деревни. Мне было шесть лет, когда в Олепине образовался колхоз «Культурник» (об этом будет рассказано в том месте книги, которое окажется необходимым).

Колхоз — было то естественное состояние окружающего меня мира, которое я застал на земле. И если не на каждой странице книги фигурируют цифры урожайности и надоев (в своем месте будут помещены целые таблицы цифр), то ведь не каждый день я задумываюсь и над тем, что в сладчайшем глотке утреннего прохладного воздуха, просвеченного солнцем и промытого теплым дождем, содержится азота семьдесят восемь процентов, кислоты — двадцать один, а углекислого газа и вовсе ничтожное количество... Кроме того, село мое не является отдельным колхозом, но есть лишь бригада объединенного колхоза — одна из многих бригад. Я не собираюсь писать про все одиннадцать деревень, которые составляют колхоз, но про одну, одиннадцатую его часть, про маленькое село Олепино.

— Но возможно ли? Ведь полагается из десятков людей по крупице, по черточке, по штришку создавать единый художественный образ, обобщенный, типический, характерный, точно так же, как из сотен деревень — одну типическую деревню.

Берясь показывать Олепино, делая его главным героем книги, ты уверен, что оно является селом показательным и типическим?

— Это сложный вопрос. Есть огромные села, раскинувшие улицы свои по берегам больших рек,— это русские, это колхозные села.

Есть колхозы, имеющие свои санатории и многомиллионные доходы.

Есть села, в которых теперь уже не колхозы, а совхозы, а колхозники стали как бы рабочий класс. Может, это-то и есть самое показательное для нынешнего дня. А я между тем пишу про Олепино.

У меня не было другого выхода. У меня не было выбора. Село Олепино — одно для меня на целой земле; я в нем родился и вырос.

Я постараюсь рассказать в нем как можно яснее. Не сердитесь, если то и дело придется переноситься из сегодня в довоенное время, а оттуда — опять в нынешний день. Всякое дерево состоит не только из листвы и плодов, даже не только из ствола, но у него есть еще и корни...

— По крайней мере, мог бы начать с того, где находится твое никому не известное Олепино.

Чтобы получить понятие, где происходило и происходит все, что будет описано в этой книге, нужно, не теряя времени даром... Впрочем, может быть, стоит рассказать, как постепенно, но очень быстро изменилось общение нашего маленького села с остальным, в синеватой дымке растворившимся миром.

Лет двадцать — двадцать пять назад, а проще сказать, до войны, вы, чтобы приехать в Олепино, непременно должны были войти в поезд, отправляющийся из Москвы в сторону города Владимира.

Промелькнули бы станции со скучными станционными постройками, с землей, пропитанной маслом, и стандартными заборами и водокачками. Вот и Обираловка, где некогда бросилась под поезд Анна Каренина (переименовывая, дали этой станции очень «свежее» и очень «оригинальное» название — «Железнодорожная»), вот Павлов-Посад, вот просто Усад, вот Орехово-Зуево, вот окруженный лесами, торфяными болотами да озерами в этих болотах городочек Покров, вот Петушки, вот Болдино, вот еще какой-то Ундол...

Если бы оказался рядом с вами сведущий, а пуще того разговорчивый попутчик, то он успел бы, может быть, за те две минуты, пока стоит поезд, осведомить вас, что село Ундол некогда принадлежало Суворову и что до сих пор сохранилась в селе белая, под голубыми крышами церковь, в которой будто бы венчался великий полководец, но что, впрочем, село от самой станции в нескольких верстах, из окошка поезда церковь эту все равно не увидишь.

Вы станете разглядывать хотя бы станцию, если нельзя увидеть села, и взгляд ваш наткнется на ту же водокачку, на тот же забор, на тот же маленький вокзальный домик с вывеской «Ундол», колоколом и часами (хорошо, если часами); на толпу баб и мужиков (пуще баб, чем мужиков), бросившихся с баулами и мешками на штурм бесплацкартных, так называемых общих вагонов; на две-три лошади,

запряженные в роспуски или в розвальни, глядя по времени года, мирно жующих сено и как бы чего-то ожидающих. Скорее всего, лошадей не видно за домиком вокзала, но все равно они непременно должны быть.

Сейчас отправится поезд и опустеет перрон. Представив это и несмотря на упоминание о великом полководце, вы не удержались бы от восклицания: «Экая глушь!»

Но что вы, разве это глушь? Это же станция железной дороги. Дождитесь поезда на деревянном плоском диване внутри вокзала, где держится тот устоявшийся годами запах, который вы найдете на всех вокзалах в большей или меньшей сгущенности, или, если хотите, можете скоротать время в крохотном буфетике, взяв стакан чая и бутерброд с селедкой, и через пять часов вы в Москве, а значит, и где угодно — вплоть до Ленинграда, Буэнос-Айреса и Нью-Йорка. Обласканные горячим солнцем оранжевые пески морских побережий, на которые отлого накатывает синева; вечерние улицы больших городов, сверкающие множеством огней, умноженных тем, что асфальт мокр и потому зеркален,— все это доступно человеку, если он едет в поезде.

Но я предлагаю вам сойти с поезда на станции Ундол.

Не много пассажиров сойдет вместе с нами, не успеем мы еще оглядеться по сторонам, как сзади нас раздастся вроде бы удивленный голос:

— Кто приехал?!

Это воскликнул мой отец. Он знает, что должны были приехать именно мы с вами, и здесь, на станции, он оказался только ради того, чтобы встретить нас, но вот ему надо непременно удивиться и воскликнуть: «Кто приехал!»

Одна из лошадей, на которую вы только что смотрели так посторонне и равнодушно, оказывается, пришла за нами. Отец взрыхлит сухой темно-коричневый клевер в розвальнях, вещички наши экономно уставит в передок, прикрыв тем же клевером. Может быть, вам непривычно натягивать поверх своего пальто еще и тулуп, пахнущий овчиной — своеобразно и остро, но надеть его надо: дорога не близкая. Сейчас отец достанет из-под клевера запасные валенки, усадит нас как следует, к ветру спиной, чтобы под тулуп не задувало, на ноги бросит дерюжку, сам завалится в передок, и земля дернется под нами сначала с боку на бок (надо сорвать с места прилипшие к снегу полозья саней), а потом тронется тихо и со скоростью трех-четырех километров в час—дорога не бойка, лошаденка свое уж отыграла,

а у отца любимое правило: тише едешь — дальше будешь,— поплывут навстречу разные зимние пейзажи.

Отец все время понукает лошадь: «Ишь она, чего тут!», «Но, шевелись, на горе отдохнешь!», «Ишь она, уснула, вот я ее сейчас!» Но на лошадь это не производит ни малейшего впечатления, судя по тому, что сани скользят после таких понуканий не шибче и не тише, а все так же монотонно и усыпляюще тихо.

Воротник тулупа, твердый, стеганый, выше головы, не дает глядеть по сторонам, но только в одном направлении, и то не широко, а в узкую щелочку. Сначала в этой щели проплывают дома, заборы, высокая кирпичная труба, решетчатые щиты, какие устанавливают вдоль дороги, чтобы не переметало в метель, а потом не останется ничего, кроме снега, местами совершенно незапятнанного, местами с торчащими из-под него кое-где прошлогодними былинками.

Если былинки как ни тихо, но сменяют друг друга, мелькают или, лучше сказать, уплывают из щелочки, то дальний лес — темная полоска между сероватым снегом и вовсе уж серым, таким же плоским и ровным, как снег, небом — постоянно стоит перед глазами и как будто вовсе не сдвигается с места.

Сначала снег перед глазами явственно белый, а лес явственно черный, а небо явственно серое, но постепенно все начинает стушевываться, все становится мутным, одноцветным, все заволакивают ранние зимние сумерки.

Если в это время вы выглянете из высокого тулупного воротника и оглянетесь вокруг, то увидите, что в окрестном мире нет ничего другого, кроме печальной, все больше сгущающейся мглы да вас, затерявшихся посередине ее. Поскорее завернетесь вы снова в тулуп и вполне доверитесь кучеру, который, наверное, знает свое дело, да еще неслышному, странно вдруг замедлившемуся течению времени.

Подхваченное плавным течением времени воображение ваше начнет оживлять картины пережитого вами — и лица людей, и их глаза, и их слова. Каждая картина принесет свое настроение. Если вы пусты, то именно теперь вы и поймете и увидите со всей беспощадностью, что вы совершенно пусты, а если душа полна, хотя бы хорошей, светлой любовью к женщине, то и печаль ваша, навеянная зимней дорогой, останется светлой и образ любимой женщины, как бы прорисовываясь на успокаивающейся и наконец совсем установившейся озерной глади, заслонит все.

Вдруг, казалось бы, ни с того ни с сего начнут вспоминаться многие стихи русских поэтов, и больше всего Пушкина. Даже те, которые вы думали, что не знаете наизусть, начнут складываться, вспоминаться по строчкам и вспомнятся полностью. Вы лучше и глубже почувствуете их, и вовсе не случайно, не то чтобы ни с того ни с сего, а потому, что когда-нибудь, много времени назад, они впервые дрогнули в душе поэта во время такой же зимней дороги, посреди таких же вечерних равнин.

Вспоминая свое настоящее, думая о нем, вы заметите, что все события, факты, фактики, радости, огорчения, заботы, встречи, споры, размолвки, удачи, хорошие и дурные поступки — что все это, мельтешащее обычно в сознании человека, тотчас просеется через волшебное сито и многое, что казалось в вашей личной жизни большим, важным и значительным, вдруг провалится в темноту, а то, что казалось мелочью или даже совсем не вспоминалось, останется на ситах, обретет размеры и явственность, заполнит все ваши мысли и движения души.

Нужно непременно поверить зимней дороге, что это-то, значит, и есть самое главное, самое нужное, а не то, что казалось главным и нужным в житейской суете.

Между тем вам придется вспомнить про свои ноги, ибо они начнут зябнуть, да и самим вам, как бы ни был тепел тулуп, сделается знобко. Сначала вы наберетесь терпения, соберетесь с силами и решите сидеть до конца, но как скоро поймете, что конца и не предвидится, то несколько растеряетесь: а как же быть? Не замерзать же в этих равнинах! Выход очень простой. Соскакивайте с саней и идите сзади них. Лошадь, почувствовав облегчение, пойдет бойчее, и вам придется не только идти, но местами трусить, а поскольку на вас тяжелый тулуп и тяжелые валенки, то сразу услышите, как горячая кровь побежала по всему телу, достигая кончиков озябших ног, а под рубахой на спине почувствуется легкая влага.

Совсем темно стало на земле. Более воображением, чем зрением, угадывается в стороне темное: то ли лес, то ли деревня. Красненький огонек мелькнул там (все-таки деревня), мелькнул и пропал, загородился каким-нибудь сараем, амбаром или высоким сугробом снега.

По сторонам приходится глядеть мало, все больше себе под ноги. У себя под ногами вы видите задки саней, которые все время стараются ускользнуть, убежать от вас, и свои валенки, за этими задками поспевающие.

Пробежав с километр, нагревшись, снова завалишься в розвальни, отдышишься после бега и с новой приятностью начнешь слушать монотонное скрипение полозьев, пофыркивание лошади и более успокаивающие, чем понукающие, крики отца: «Ишь она, чего тут!», «Но, пошла, на горе отдохнешь!», «Ишь она, вот я ее сейчас!»

Видения прошлого, картины настоящего, мечты о будущем начнут туманиться, реже переменяться одна на другую, незаметно спустится сон. А лошадь все дальше и дальше увозит нас в глубину заснеженных русских полей. В ночной темноте проплывают мимо деревни и села: Васильевка, Кучино, Глухово, Анцифирово, Нажерово, Борисово, Шуново, Зельники...

Очнувшись от дремоты, вы оглянетесь по сторонам и сразу заметите, что в мире произошли какие-то важные изменения. Той плотной, пусть белесоватой, но все же черной мглы, которая окружала вас, загораживая все окрест, больше нет, а появилась мгла просветленная, которая дает возможность увидеть и лес вдали от дороги, и уснувшие деревни, и черные вешки, то есть еловый лапник, натыканный изредка по обеим сторонам дороги.

Вы увидите небо, вместо которого недавно была чернота. Оно все в многослойных, низко опустившихся облаках. Оно удивительно похоже на те сугробные волнистые пространства, что распространились во все стороны под ним.

Светло стало оттого, что взошла луна. Ее не видно за облаками, но можно угадать, где она плавает за ними, по большому (в четверть неба) размывчатому пятну. Нет-нет и само светило (точь-в-точь как рыба, когда выбрасывается из воды) сверкнет широким плоским боком и тотчас снова нырнет в волнистые глубокие облака.

Вы смотрите по сторонам, любуясь на луну или вглядываясь внутрь самого себя, а лошадь между тем перебирает и перебирает ногами, и наконец дорога, нырнув в глубокую ухабину возле молотильного сарая (тут всегда сугробы, что твои барханы в пустыне) и снова выкарабкавшись на высокое место, на гребень снежной волны, вплетется необходимой и завершающей деталью в картину полуночного зимнего села.

Дома и спят и не спят, словно слушают одинокий скрип полозьев вдоль стенки от дома к дому, мимо пожарного сарая, мимо школы, мимо церковной ограды. Прекратилось, затихло скрипение: не иначе, кто-нибудь к Солоухиным в гости. И точно, уж проступили красноватые окна —

зажгла мать керосиновую лампу, и мы, высвобождаясь из тулупов, входим вместе с клубами белого пара в душноватое, желтенькое избяное тепло. Не правда ли, здесь поглуше, чем на станции Ундол?

Во всякое время года днем и ночью приходилось мне ездить на станцию из своего села или, наоборот, в село со станции.

Летом окажется, что дорога, которая могла зимой показаться и однообразной и скучной, необычно разнообразна и живописна. То она спускается в глубоченный лесной овраг, где сырой лесной прелью обдает из-под темного полога леса, где трухлявеют и разваливаются пни, истлевают упавшие деревья и перегорает в сырости прошлогодняя, слежавшаяся листва; то, поднявшись из оврага, заденет дорога лесную опушку, где к припеку над цветами веселое кипение и пчел, и ос, и шмелей, и бабочек, и жужелиц, где тотчас въедешь в жаркое испарение пестрых июльских цветов, горячего цветочного меда; в эту пору если и поле, то не то чтобы ровное пустое место, а, к примеру,— хлеба. С холма не наглядишься на матово-зеленое, тронутое желтизной ржаное море или, лучше сказать, озеро, по которому перекатывается легкая зыбь, а над ним, прозрачная, зыбкая, струится жара. Подвода въезжает в рожь по узкой дороге, и, наверно, даже верхушки нашей дуги не видать теперь со стороны, или, может быть, только ее-то одну и видно. Тележные оси задевают за рожь по сторонам дороги, оставляя на пригнутых стеблях черные метины колесной мази. Тут наступает полное безветрие, и слепни начинают кружить над бедной лошадью, облепляют ее со всех сторон. Лошадь дергается и вздрагивает каждым мускулом, чтобы спугнуть назойливую тварь, машет хвостом, бьет себя по животу то одной, то другой задней ногой — все бесполезно. Ударишь черенком кнута по облепившим лошадь слепням — и останется на этом месте кровавое пятно, яркие капельки крови далеко брызнут во все стороны.

То белая колоколенка проглянет из синего марева, то красная крыша дома сквозь зелень сада, то прогремят колеса по бревенчатому мосту через светлую небыструю речку, то васильковое платье девушки завиднеется на тропинке во ржи, то солнце набросает на сочную траву ярких пятен, процедившись сквозь трепещущую листву молодых берез.

А над всем миром, по всему полуденному небу — белые облака, плоские снизу и необыкновенно причудливые, округлые, кудрявые наверху. Редко разбежались они по синему своему пастбищу, почти не мешают солнцу жарить и парить в разгаре летнего дня. Лишь иногда набежит легкая тень, овеет прохладой, а уж от дальнего леса по лугам, по полям, разливаясь все шире и как бы набирая скорость, катится новая солнечная волна.

И потому, что жарко, и потому, что нервничаешь: не опоздать бы на поезд, да к тому же чуть ли не в пятидесятый раз любуешься на все вокруг,— из-за всего этого, по совести говоря, ждешь не дождешься, когда настанет конец тарахтению телеги.

Однажды выехали мы с отцом за одиннадцать часов до поезда (нормальная езда от нас до Ундола — пять-шесть часов) в расчете на то, что лошаденка плоха и пойдет небойко.

В Нажеровском лесу высказал я отцу первое свое опасение, как бы не опоздать, не упустить поезда, как бы не пришлось сутки сидеть на вокзале и дожидаться следующего.

— Не бойсь,— отвечал отец,— еще чаю не торопясь напьемся! Но, ишь она, чего тут!

За Глуховом опасения переросли в тревогу.

— Не бойсь! Тише едешь — дальше будешь! Еще чаю успеем напиться. Ишь она, вот я ее сейчас!

Когда проехали Кучино, сомнений почти не оставалось. Потрафляем тютелька в тютельку, так, чтобы успеть вскочить на подножку.

— Не бойсь, чай не первый раз! Сказано тебе, чаю напьемся. Но, давай, на горе отдохнешь!

Часов у нас не было. Мы определялись по солнышку и просто так, по чувству времени. После Васильевки дорога до станции короткая и прямая, каких-нибудь два километра. Видны все станционные постройки и время от времени клубочки белого паровозного пара над ними. Видно было также, как, распространяя гул на окрестные леса, с разгона врезался в нагромождение этих построек и исчез за ними пассажирский поезд. Вот он постоял, погудел и вынырнул с другого конца.

— Эх, паря! — почесал в затылке отец.— А ведь это наш поезд пошел. Но, ишь, чего она тут, баловница такая, вот я ее сейчас!

Главное предсказание отца, что мы напьемся чаю, исполнилось. Мы могли теперь пить его не спеша и обстоя-

тельно, вплоть до следующего поезда. Конечно, опоздание наше зависело и от лошади, но всем в селе было известно, что любая колхозная лошадь у Алексея Алексеевича, то есть у моего отца, шла в два раза тише, чем у кого-нибудь другого.

Гораздо чаще, чем на лошади, приходилось проделывать дорогу на станцию пешком. Причем никогда не бывало, чтобы совсем без вещей. К концу дороги и не тяжелые, перевязанные вафельным полотенцем сумки так намнут спину, грудь и плечи, а если чемодан, то он так оттянет и отвихляет обе руки, что потом три дня больно дотронуться до натруженных мест.

Дорога разделена тобой на участки, вроде как на этапы. Дойти бы до большой ветлы, стоящей в поле, сразу бы подвинулось дело, можно бы и отдохнуть. Но дерево, увиденное издалека, почти не подвигается навстречу, а когда в конце концов достигнешь его, пространство отступает от тебя вдаль, до кучинских кустиков, и надо опять преодолевать его, чтобы достигнуть этой новой цели, которая вовсе и не цель, а всего лишь очередная веха пути.

По дороге то и дело оглядываешься: не догонит ли какая подвода, чтобы попросить у хозяина ее положить вещи, а самому идти рядом с телегой. Но мало подвод на Ундольской дороге, не каждая окажется свободной и легкой, чтобы твои вещи не стали в тягость ей самой.

Так сообщались мы с внешним миром через станцию Ундол, а в это время на другом пути, а именно через большое село Ставрово и дальше, через Бабаево к асфальтированному шоссе Москва — Горький, стали сначала изредка, потом все чаще и чаще попадаться грузовые автомобили. Иногда повезет пешеходу: оглянется он в надежде на лошаденку, а сзади идет грузовик. В перемазанной одежде молодой шофер крикнет, высунувшись из кабины:

— А ну, полезай в кузов, только держись крепче!

Не веря удаче, скорее залезешь в кузов, забросив предварительно туда свой чемодан, и сознание с радостью отмечает вехи пути (там начало леска, там отдельное дерево в поле, там поворот дороги), которые казались такими далекими, почти недосягаемыми, мимо которых шел бы целый день, а теперь проскочил — и нет их, и не успел еще опомниться, а уж вот он, асфальт, большак, трасса, дорога во все концы белого света.

Постепенно в сознании людей произошел перелом: а обязательно ли ездить на поезде, если можно выехать на

асфальт и «голосовать» там проходящим машинам и рано или поздно уедешь куда нужно? Но до войны мало машин проходило взад-назад даже и по асфальту. Тем более мало сворачивало их в сторону Ставрова, на булыжное шоссе, и редкая машина углублялась в земные просторы дальше Ставрова, куда не вело никакой дороги, кроме проселка, наезженного лошадьми.

Впрочем, я не совсем прав, говоря, что к этому проселку вовсе не притрагивалась рука человека. Наоборот, сколько я себя помню, всё потихонечку строили там шоссе от Ставрова к Кольчугину. Намеченная дорога проходила через Черкутино, в четырех километрах от нашего села. Но все время строительство это находилось на одном и том же месте.

Первоначальной энергии хватило на то, чтобы выкопать канавы по сторонам воображаемой дороги. Весной канавы эти наполнялись водой, и вода, сначала быстро пересыхавшая, застаивалась год от году все дольше и дольше. Откуда ни возьмись, появился тут рогоз — растение болотное. Черные бархатные шишки его красиво разнообразили полевой пейзаж. На самом полотне, то есть между двумя канавами, постоянно сидели в том или ином месте несколько рабочих с молотком в руках, а около них лежала куча камней. Они укладывали камни один к одному рядочком и успевали продвинуться за лето, может быть, даже на километр. Потом наступала зима.

Весной вода размывала мощеный участок дороги, вымывая из-под камней грунт, надо было чинить, латать, подновлять. Пока несколько лет возились с одним участком дороги, предыдущий, считавшийся законченным, приходил в совершенную негодность.

Дело было в том, что строительство это осуществлялось не государством, а местной дорожной организацией. Окрестные колхозы обязаны были привезти столько-то подвод камней, а колхозники предварительно должны были эти камни собрать. Другие колхозники выделялись для земляных работ на дороге. Но все это делалось вяло, в мизерных масштабах и, кажется, совсем не оплачивалось. По крайней мере, на днях мне соседка Маруся Кузова рассказала, как их в те времена посылали собирать камни (по стольку-то кубометров на женщину) и как они закладывали в середину пни и коряги, а сверху насыпали камней. Кучи камней, собранные ими, и сейчас еще, вот уже двадцать лет, лежат в лесу. Они заросли травой, кустами и похожи на неведо-

мые, загадочные могилы, так как имеют продолговатую прямоугольную форму. Значит, важно ли, что́ у них в середине:. пни, коряги или те же камни?

Дорожные мастера, как правило, были пьяницы. Не зря Юрка Семионов сказал про двух из них, что они, если бы захотели, давно уж могли бы замостить эту дорогу пустыми бутылками.

Однако я должен отвлечься и рассказать про то место, где происходила главная заготовка камней.

Один из оврагов, глубоко разрезающих то там, то тут наши поля, не успев начаться как следует, врезался в густые заросли Самойловского леса. В поле это был овраг как овраг: склоны его устланы тяжелыми, толстыми коврами из луговых и полевых цветов, а дно постлано одноцветной дорожкой из яркой сочной осоки, под которой и в самую жару держится, просачиваясь из земли, ржавая влага.

Но как скоро овраг попадет в лес, картина меняется. Огромные обомшелые ели растут по склонам, почти смыкаясь наверху, цепляясь друг за дружку мохнатыми длинными лапами. Уж не медовый, а грибной запах держится на дне оврага, который, впрочем, не называется больше оврагом, но буераком. Лесная малина, крапива, буйные папоротники, волчье лыко, бересклет, кусты орешника — все перемешалось там, иной раз и не продерешься, не исцарапавшись и не острекавшись крапивой. По ночам фи́лины орут в буераке, как будто кого-нибудь душат разбойники, схватив за горло и надавив коленкой на грудь, а днем в небе парят коршуны, и парение их кажется выше оттого, что смотришь с глубокого буерачного дна.

На дне буерака не ржавая сквозь осоку течет водичка, но по чистому, обильно усыпанному камнями дну струится чистая холодная вода, которую так сладко пить, когда в жару объешься спелой земляникой, созревшей тут же поблизости. Неудобно нагибаться и перевешиваться вниз головой в узкое, глубоко прорытое руслице, поэтому срежешь длинный пустотелый стебель травы и через метровую трубочку эту жадно втягиваешь холодящую гортань влагу. Скорее всего, она не пахнет ничем особенным, но поскольку пьешь и в это время дышишь лесным воздухом, вдыхаешь в себя все запахи леса, то и кажется, будто вода тоже пахнет и немного малиной, и немного мятой, и папоротниками, и всякой лесной чертовщиной.

Возле самой воды, в густых зарослях, вдруг увидишь подвешенное к стеблям гнездо крапивницы или выдолблен-

ное в трухлявом осиновом пне гнездо мухоловки-пеструшки. Вход в гнездо не более пятикопеечной монеты. Какова же должна быть сама пичужка, насколько же малы ее чисто голубенькие яички и каковы же выводятся из них птенцы! Но не часто обнаружишь искусно свитое, искусно спрятанное в буйной зелени гнездо, хотя их должно быть очень много вокруг: весь буерак сверху донизу наполнен щебетанием, пересвистом, перещелкиванием и перепархиванием птиц.

По осени у подножия елей вырастают крепкие светло-шоколадные грибы. На грибах явственно видны бороздчатые следы острых беличьих зубок. Прыгая с дерева на дерево, собирает белка и орехи с полными твердыми ядрами.

Для меня буерак был как некий заповедный уголок природы, куда почти никто не ходит и где все растет, развивается и отмирает естественной, безнасильственной смертью.

В этом-то буераке, откуда и пешком едва-едва выкарабкаешься, а не то чтобы выехать на лошади, груженной булыжником, и надумали собирать камни.

Как некий (самозваный, конечно) властелин буерака, по крайней мере как его единственный более или менее постоянный обитатель, с некоторым злорадством наблюдал я, как прямоугольные, похожие на могилы кучи камней зарастали кустарником, папоротником, малиной и цветами и все приобрело первоначальный, дикий вид.

А между тем злорадствовать было не над чем: дорога не подвигалась с места, и сам я едва не погиб на ней из-за того, что она не подвигалась.

Однажды в зимний день Борис Грубов, Валентина Пенькова и я пробирались из Владимира домой на День Конституции. Было нам тогда по пятнадцати лет. До Ставрова (тридцать километров) нас подвез на лошади мой отец. В чайной посидели погрелись, попили чаю, а отец — водки, и довольно много, так, что мы его потом едва-едва завалили в розвальни.

Погода показалась нам хорошей, езда в санях тихой и скучной, и мы решили потихоньку идти вперед, предоставив лошади плестись сзади. Главная причина, почему мы покинули подводу, состояла в том, что лошадь перепала за долгий путь и совершенно отказывалась везти нас четверых. Она останавливалась через каждые сто шагов, и невозможно было ни увещеваниями, ни кнутом стронуть ее с места.

И предыдущий участок пути от Владимира до Ставрова мы наполовину прошли пешком, возле саней, иначе впоследствии не обессилели бы так быстро.

Отец не мог управлять лошадью и все норовил заснуть. Мы то и дело оглядывались: как там у него дела? Но лошадь плелась себе и плелась по дороге. Один раз она, правда, свернула в сугроб, и нам пришлось возвращаться довольно далеко, чтобы вывести ее «на стезю».

Между тем стало быстро темнеть, и внезапно испортилась погода. Посыпался обильный снег с ветром. Нельзя было разобрать, какой снег переносится с места на место: низовой, поднятый ветром, или тот, что падает сверху. Все перемешалось с темнотой, ноги наши стали вязнуть, лошадь потерялась из виду.

Мы знали, что поступаем не совсем ладно, оставляя выпившего человека одного в метели, тем более что, кажется, лошадь опять своротила в сугроб. Но знали мы и то, что лошадь по такой дороге всех четверых не вывезет вовсе. Кроме того, пройдя по забродному пути, мы почувствовали усталость и большую слабость во всем теле. В одну минуту нас облило потом, не тем, который неизбежно появляется во время тяжелой работы и ходьбы, а тем, что приходит вместе со слабостью и является результатом ее. В народе такой пот называют испариной.

Дорога теперь определялась только так, что, ступив на нее, мы увязали по колено, а ступив мимо нее, проваливались гораздо глубже. К счастью, у Бориса была палка, и, втыкая ее в снег впереди себя, мы могли нащупывать твердый путь. Сначала мы делали переходы, отсчитывая сто шагов, после чего останавливались и стояли на дороге лицом к лицу, держась друг за дружку. Вскоре сто шагов сделались слишком большим расстоянием, чтобы можно было пройти его без отдыха, и мы стали останавливаться через каждые пятьдесят. Валентина, как пьяная или как во сне, все старалась сесть прямо на снег, а мы не позволяли ей этого, почувствовав, что хотя и сами мальчишки, но что моральная ответственность за жизнь девушки полностью лежит на нас.

— Не трогайте меня, оставьте, не мешайте! — твердила Валентина.— Я вас догоню. Посижу пять минуточек и догоню. Оставьте меня, не трогайте, не мешайте!

Теперь мы не позволяли ей идти сзади, но всегда в середине. Один из нас на переменках шел, или, вернее, брел, впереди. Сначала мы торопились дойти до дому,

чтобы послать людей на свежей лошади за отцом, которого, наверно, теперь заносит снегом в санях. Потом все мысли ушли от нас, кроме двух: надо во что бы то ни стало переставлять ноги и ни в коем случае нельзя садиться.

Уж не через пятьдесят, а через пятнадцать шагов останавливались мы и отдыхали стоя, дыша в лицо друг другу, маленькие посреди черных разбушевавшихся снегов и по сравнению с теми равнинами, на которых они разбушевались. Валентина начала плакать тихими, беззвучными слезами и еще горячее, как бы в бреду, умоляла нас дать ей отдохнуть, уйти от нее, оставить ее в покое, не мешать ей. Наконец мы сказали:

— Ладно, садись на три минуты, а мы постоим.

Как только Валентина опустилась на снег, так (никогда не забыть мне этого) блаженное выражение разлилось по ее лицу, глаза закрылись, голова покачнулась, и вся она обмякла, крепко-крепко уснула. Подхватив под руки, мы стали тормошить девушку, будить ее, трясти и кое-как дотряслись до сознания. Она открыла глаза, ни слова не говоря встала и потихонечку, как заведенная, побрела вперед.

Сколько я ни вспоминаю, не могу вспомнить, как мы в первый раз увидели, что пришли в Шуново. Хватило все-таки силенок, не стучась в первую попавшуюся избу, добрести до тети Маши Буряковой, состоящей с нами в родстве. Обрывками, сквозь полусон вспоминаю перепуганное лицо тети Маши, ее хлопоты, огромное алюминиевое блюдо, полное грибного горячего душистого супа, такого крепкого, что бульон был коричневый, словно кофе. Тотчас после супа мы забрались на печку, улеглись рядком и моментально уснули.

Спали мы крепко, бесчувственно, но не очень долго, должно быть, часа два, потому что, когда, проснувшись, я посмотрел на ходики, они показывали десять часов вечера. Я проснулся от внутреннего толчка, и таким внутренним толчком была мысль об отце. Разбудив друзей, я сказал, что надо идти домой, потому что время еще не позднее, вьюга затихла и три километра мы пройдем без труда, что мы просрочили много времени, что давно нужно спасать отца, а то он замерзнет до смерти.

Действительно, три километра от Шунова до Олепина мы прошли без приключений. Когда я отворил дверь в избу, навстречу мне метнулась бледная, перепуганная мать, а с печи раздался спокойный, как и всю жизнь, голос отца:

— Я говорил, что найдутся. Где вы столько времени пропадали?

— Мы-то ладно, ты как оказался дома раньше нас?

— А что? Чай, не первый раз. В это время бросай вожжи, не мешай лошади, она довезет сама.

— Но ведь лошадь остановилась, свернула в сугроб!

— Ну-к и что? Постояла, отдохнула и опять пошла. Дело привычное.

Итак, дорога к нам от Ставрова, вернее, отсутствие дороги отреза́ло нас от «Большой земли». Зимой — снега, весной и осенью — грязь, в летние дожди — тоже грязь, и такая же непролазная, как весной или осенью... Автомобили, как я говорил, появлялись в наших местах только случайные, было их мало, но они были первыми вестниками, и по ним, случайным и редким, можно было представить, к чему придет дело через десяток лет. Но тут началась война.

В войну я служил в армии. По рассказам знаю, что Олепино испытало в эти годы, кроме обыкновенных, два совсем оригинальных и совсем противоположных друг другу вида связи с внешним миром.

Во-первых, из городов потянулись в деревню люди с салазками. Бредя пешком и волоча за собой салазки, эти люди пробирались от деревни до деревни, от села до села, забираясь иногда глубоко в суровые просторы Владимирского ополья. На салазках они везли одежонку, городские платья, городские туфли, платки, пальтишки, кожаные регланы, часы, хромовые сапоги, брошки — у кого что было накоплено в более благополучные годы, да, может быть, и не накоплено, а просто имелось как первая необходимость, чтобы сменять все это на десяток картофелин, на стакан зерна, на каравай хлеба, на фунт (кому невероятно повезет) сливочного или русского масла.

Салазки, конечно,— скачок по сравнению даже с простейшей лошадью, но были и взлеты у села Олепина.

Однажды перед вечером (начиналась поземка) за селом на пустое поле опустился самолет. Едва остановившись, он тут же опять побежал по полю и, поднявшись, скрылся за лесом.

На том месте, где самолет приостанавливался посреди поля, остался человек, одетый во все меховое и кожаное, в унтах, с пистолетом.

Случилось в это время проезжать Нюре Московкиной, и будто бы человек, кивнув на олепинские домишки, занесенные снегом, спросил, какой это город, после чего Нюра хлестнула лошадь и вскачь умчалась в село, к правлению колхоза, рассказать о необыкновенном. В том, что спустился немец, у Нюры не было никаких сомнений.

Правление колхоза в то время было как раз на конце села, и председателю Петру Павловичу Воронину с бухгалтером Николаем Черновым хорошо были видны все подробности посадки.

К чести председателя и бухгалтера, нужно сказать, что они не растерялись: один остался, чтобы не спускать глаз с «гостя», а другой, помоложе, задами, сугробами сбегал к Ивану Дмитриевичу за старенькой берданкой, с которой тот по ночам сторожил село, то есть дремал на крылечке магазина.

Пропустив неизвестного впереди себя (он, выйдя на дорогу, не торопясь пошел вдоль села), наши новоявленные бойцы с берданкой следовали на некотором отдалении, стараясь прижиматься поближе к домам, дабы не выдать себя раньше времени, если вдруг тот, идущий впереди, станет оглядываться.

— К Солоухиным пошел,— заметил Николай,— к чему бы это? Надо подойти к окнам и поглядеть, что будет дальше.

Заглянуть в окна мужики осмелились не сразу, а когда заглянули, то увидели, что на столе кипит самовар, стоит бутылка со спиртом, чай, стаканы, идет чаепитие, все веселы и довольны. Гость разделся к этому времени, и в нем нетрудно было узнать нашего зятя — летчика. Жена его (моя сестра Мария) жила в ту пору в деревне с маленьким сынишкой, проведать их и прилетел заботливый, а более того находчивый муж и отец.

Петр Павлович и Николай зашли в дом, оставили берданку у порога и, как писали в старинных романах, разделили трапезу.

Самолет время от времени продолжал навещать Олепино, и все так к нему привыкли, что как только послышится шум мотора, так бегут сообщать Марии: встречай, твой летит!

Сначала бегали смотреть самолет (это был ПО-2), а потом надоело: подумаешь, самолет! Когда произошла не совсем удачная посадка и, зацепившись за землю, обломился конец у пропеллера, Кузьма Васильевич Баклани-

хин, специалист мастерить оконные рамы и табуретки, осмотрев поломку, серьезно сказал:

— Если хотите, я такой винт вам вытешу.

— Нет,— отвечал летчик,— тут нужна высшая математика, углы, точность большая.

— Так ведь и мы, чай, не лыком шиты. Математику не математику, а углы понимаем, и угольник у меня старинный, правильный. Сейчас возьму дубовое бревно, вытешу, обработаю — и готово!..

В прилетании самолета мужики вскоре нашли свой интерес, а именно: вся округа сходилась и около ПО-2 стояла очередь — летчик заправлял зажигалки жителей Олепина и окрестных деревень: спичек ведь не было в то время.

После войны еще прочнее стали мы забывать про железнодорожную станцию Ундол, еще больше автомобилей развелось на нашей дороге, хотя была она по-прежнему не устроена и, значит, девять месяцев в году непроезжа.

Но русский человек и знает, что не проедешь, и говорят ему очевидцы, что ноги не вытянешь, не то что колеса, но все равно, если ему надо, обязательно понадеется на свое особое счастье — авось проскочу. Поэтому самая обычная картина в то время была — грузовик, завязнувший в грязи. По всей дороге появились торчащие из грязи, а в сухую погоду вросшие в землю колья, хворост, слеги и бревна (измызганные и даже расщепленные колесами) — следы долговременных буксовок и отчаянных попыток выбраться на более твердое место, за которым вскорости последует новая грязь, новая яма, новый осклизлый бугорок. Поистине удивительно, что в конце концов все автомобили каким-то образом выкарабкивались и куда-то все уезжали, хотя очевидно было, что уехать им невозможно.

Во время войны (не в результате ее, конечно, а так уж совпало) произошли у нас большие изменения, а именно: из обширной Ивановской промышленной области выделилась Владимирская область. Древнейший, некогда первопрестольный, а потом губернский, а потом совсем уж рядовой, чтобы не сказать заштатный, город Владимир стал областным городом.

Вскоре после этого село Ставрово сделалось районным центром, и таким образом стали мы Владимирской области, Ставровского района, село Олепино.

Ставрово — большое по нашей местности, некогда торговое, белокаменное село. Дома в нем хоть и маленькие, но кирпичные и побеленные. Оно стоит на берегу красивой рыбной реки Колокши. Весной, в половодье, разлив подмывает некоторые дома, а в баню, что стоит возле реки и которую заливает до крыши, забрел однажды на запах дымом и сажей пропитанных бревен четырехпудовый сом, да так и остался в предбаннике, когда убыла вода. Должно быть, ворочаясь, в поспешности неосторожно толкнул дверь, она и закрылась.

Говорят, что село это раньше называлось Крестово: дома в нем были расположены в две улицы, образующие крест. Однако помещица, владевшая некогда этими землями, решила село переименовать, а так как крест по-гречески будет «ставрос», то и получилось Ставрово.

Теперь, сделавшись районным центром, село стало быстро расти и прихорашиваться. Особенной заметности рост и прихорашивание достигли за последние годы.

В Ставрове этому способствовало еще и вот что. С незапамятных времен на окраине Ставрова за стареньким забором существовали останки некой текстильной фабрики, виднелся краснокирпичный корпус и еще какие-то там постройки. Фабрика была заброшена со времен революции, когда вынужден был бросить ее и сбежать хозяин-фабрикант. По счастливой случайности помещения остались целы. Решено было обосновать в них производство автомобильных насосов. Так появился в Ставрове завод «Автонасос».

Сначала ничего не было заметно: ну, «Автонасос» и «Автонасос», подумаешь какое дело! Но вот совсем уже недавно недалеко от завода, на выезде из села, началась стройка, и вскоре появились хорошие, городского типа дома — квартиры для рабочих, детские ясли. На территории завода пошли расти корпуса, в селе открылся стадион (своя футбольная команда — гордость ставровцев, несмотря на то что в районной газете то и дело читаешь заметки с заглавиями вроде: «Заслуженное поражение», «Опять проигрыш», «Победили гости»), оборудовали районный Дом культуры, построили новую школу, прибавилось читателей в библиотеках, посетителей в чайной, покупателей в магазинах, рыбаков на Колокше, село преобразовали в поселок, с Владимиром наладилось бойкое автобусное сообщение.

В широких пределах Ивановской области и Владимир и Кольчугино были два равноправных города, существовавшие сами по себе, и связь с областью, то есть с Ивановом, была у них у каждого своя. Друг с другом постоянно и повседневно им можно было вообще не связываться.

Но когда образовалась Владимирская область, дело переменилось. Кольчугино оказалось на окраине области, и все с очевидностью увидели, что оно прочно отрезано от Владимира бездорожьем и, чтобы попасть из Владимира в Кольчугино, нужно ехать ни много ни мало через столицу нашей Родины Москву, совершая длительное путешествие с пересадками, тогда как между этими городами не наберется и семидесяти километров.

Наверно, этому предшествовали какие-нибудь события: хлопоты секретаря обкома, звонки его в Москву в соответствующие организации, или, может быть, обстоятельные совещания, или, может быть, даже споры на совещаниях, а потом принятие решений. Ничего этого не могли видеть люди, путешествующие по ставровской дороге. Они увидели сразу результат: в одно мгновенье исчезла, как бы растворилась в воздухе, идиллическая картина — четыре мужика, сидящие на дороге с молотками в руках возле кучи булыжника,— за дорогу взялось государство.

Строительство дороги попало в план, были отпущены большие деньги. Отряды тяжелых землеройных машин, гремя неуклюжими стальными сочленениями, миновали Ставрово и уползли в глубину Ополья. Я не буду рассказывать, с какой чудовищной силой и с каким неожиданным проворством бульдозеры передвигали с места на место горы земли, как быстро выравнивали грейдеры полотно будущей дороги, как прочно укатывался катками сиренево-серый булыжник.

В разгар строительства дороги гостил у меня товарищ из Москвы, человек городской, не сталкивавшийся ранее с девственными уголками природы. Я решил провести его по своему заповедному буераку, все больше и больше окружая таинственной лесной сказкой. Сначала все шло хорошо. Но скоро явственный шум моторов и некий грохот, некий скрежет начали доноситься до нас и мешать созданию нужной лесной атмосферы.

Гром и треск стали настолько явственными, что мы

прибавили шагу и побежали вперед, продираясь сквозь дремучие заросли. Выбежав на то место, которое я считал наиболее глухим и дремучим, мы увидели, что вдоль по буераку, зайдя в него со стороны лесной речки Езы, подвигается тяжелое стадо бульдозеров. Бульдозеры взрыхляли каменное дно лесного ручейка, ловко отделяя землю от камней, которых большие кучи лежали там и тут. Самосвал, нагруженный камнями, уезжал из буерака на строительство дороги. Человек сорок девушек и парней дружно нагружали камнями помянутый самосвал. Трава, цветы, кустарник и даже деревья — все это было измято и перепутано между собой, превращено в грязную мочалку и отброшено в сторону или отбрасывалось в сторону по мере продвижения бульдозеров — этих танков мирных строительных будней.

Вот когда и осмыслил с четкостью, что значит соприкосновение техники с природой, и по-настоящему понял, что техника может все.

Московский друг мой не был огорчен внезапным исчезновением обещанной ему лесной глухомани и, пока я созерцал баталию, успел поухаживать за молоденькой девушкой, затемнившей смуглое лицо свое от солнца яркой красной косынкой. Он помогал ей тяжелой кувалдой раздрабливать большие валуны, которые иначе трудно было бы поднять в автомашину.

По мере того как продвигалась по буераку техника, разворачивая и коверкая все вокруг, в нескольких километрах от Самойловского леса, приобретая четкость очертаний, стремительность и своеобразную красоту, все длиннее и длиннее становилась шоссейная мощенная камнем дорога. Менялся пейзаж здесь, в лесу, но менялся пейзаж и там, в поле. Я уверен, что никто, кроме меня, не пожалел лесного буерака, но дороге обрадовались тысячи людей. Вот и проблема столкновения личного с общественным. Впрочем, что я? Разве дорога не была и моим личным делом? Разве не я замерзал на ней однажды и разве не мне ездить по ней в свое родное село Олепино?!

Дорога до Кольчугина была закончена в одно лето.

Моя мать, восьмидесятилетняя старушка, придерживается твердого мнения, что народ теперь избаловали.

— Да как же, неуж не избаловали? Бывало, лошадь до Ундола почиталась за большое счастье: ах-ах, лошадь на Ундол идет, попутная подвода, вот хорошо-то, вот повезло-то как, пешком не идти, с сумками не тащиться! А теперь

поди-ка поговори с ней (имеется в виду обобщенный образ пассажирки, в который входит и девушка, поехавшая в город за модными туфельками, и старушка, пробирающаяся в собес), поди-ка с ней поговори! На грузовике она не поедет: «Ишь ты, поеду я на грузовике! Я и легковушку подожду, небось не на поезд, торопиться некуда».

Во всякое время (видимо-невидимо развелось!) идут машины по дороге Владимир — Кольчугино. Идут автобусы, грузовые такси, и просто такси, и «частники», то есть чьи-либо личные машины, но больше всего деловые работяги-автомобили: самосвалы, бензовозы, колхозные полуторки, трехтонки. Ночью посмотришь в сторону шоссейной дороги, и видно (особенно в осенние темные ночи), как, прорывая мрак, то стелясь по земле, то вскидываясь кверху к низким, серым облакам, светят фары.

Четыре километра — велик ли путь? Выходи с полевой витиеватой тропинки на прочную каменную дорогу, ночью ли, днем ли, поднимай руку, и вот уж, держась за кабину, пошире расставив ноги для устойчивости, мчишься сквозь темень и выскакиваешь с каменки на асфальт (а скоро будет бетонированная автострада с односторонним движением), там уж иные широты, иное состояние духа, несмотря на то что все та же, все наша, все русская же земля.

Итак, четыре километра от Олепина до шоссе. Возвращаясь к началу этой главы, я должен сообщить: чтобы получить понятие, где происходит все, что будет описано в этой книге, нужно, не теряя времени даром, сесть возле Курского вокзала на автобус, отправляющийся во Владимир. Во Владимире вы пересядете на кольчугинский автобус и через час или полтора окажетесь в Черкутине, то есть в четырех километрах от Олепина.

Может быть, у вас есть своя машина? Тогда дело обстоит еще проще. За четыре часа можно доехать до Олепина от Москвы, если, конечно, перед этим не выпадет дождь и последние километры пропустят вас беспрепятственно.

Наши сельские водители, например, хорошо зная дело, не рискуют в непогоду пускаться в это четырехкилометровое, казалось бы ничтожное, но чреватое неприятными неожиданностями плавание.

У меня всегда получается так, что, пока я живу в Олепине, стоит хорошая погода и ежедневно уходят колхозные машины и в Ставрово и во Владимир чуть ли не от нашего дома: они заправляются бензином поблизости в сарае. Но

как только нужно ехать в Москву, начинается дождь и приходится по грязи шлепать в Черкутино, чтобы ловить там попутный автомобиль или дождаться законного владимирского автобуса.

Иногда я задумываюсь: если так сильно переменилось все в лучшую сторону, если появилась дорога, а на ней множество автомобилей, наверно, дело не будет стоять на месте и дальше, но будет развиваться и улучшаться в еще большей степени.

Я думаю, что вскоре из Владимира в Кольчугино пойдет троллейбус и полетят вертолеты с приземлением по требованию пассажиров. Тогда можно будет по веревочной лестнице спуститься прямо на крышу дома или прямо в Попов омут, и четыре километра, отрезающие нас от просвещенного мира, окончательно потеряют свое значение.

* * *

До Олепина не трудно доехать. Но ведь человеку иногда приходится путешествовать, преодолевая не только пространство.

Вот какие ощущения подарила мне жизнь однажды, когда земное утро застало меня не в постели, не в избе или городской квартире, а под стогом сена на берегу реки Колокши.

Не рыбалкой запомнилось мне утро этого дня. Не первый раз я подходил к воде потемну, когда не разглядишь и поплавка на воде, едва-едва начинающей вбирать в себя самое первое, самое легкое посветление неба.

Все было как бы обыкновенным в то утро: и ловля окуней, на стаю которых я напал, и предрассветная зябкость, поднимающаяся от реки, и все неповторимые запахи, которые возникают утром, там, где есть вода, осока, крапива, мята, луговые цветы и горькая ива.

И все же утро было необыкновенное. Алые облака, округлые, как бы туго надутые, плыли по небу с торжественностью и медленностью лебедей; алые облака плыли и по реке, окрашивая цветом своим не только воду, не только легкий парок над водой, но и широкие глянцевые листья кувшинок; белые свежие цветы водяных лилии были как розы в свете горящего утра; капли красной росы падали с наклонившейся ивы в воду, распространяя красные, с черной тенью круги.

Старик рыболов прошел по лугам, и в руке у него красным огнем полыхала крупная пойманная рыба.

Стога сена, копны, дерево, растущее поодаль, перелесок, шалаш старика — все виделось особенно выпукло, ярко, как если бы произошло что-то с нашим зрением, а не игра великого солнца была причиной необыкновенности утра.

Пламя костра, такое яркое ночью, было почти незаметно теперь, и бледность и незаметность его еще больше подчеркивали ослепительность утреннего сверкания.

Таким навсегда мне и запомнились те места по берегу Колокши, где прошла наша утренняя заря.

Когда, наевшись ухи и уснув снова, обласканные вошедшим в силу солнцем и выспавшись, мы проснулись часа три-четыре спустя, невозможно было узнать окрестностей.

Поднявшееся в зенит солнце убрало с земли все тени. Пропала контурность, выпуклость земных предметов, подевалась куда-то и свежая прохлада, и горение росы, и сверкание ее; луговые цветы померкли, вода потускнела, а на небе вместо ярких и пышных облаков вуалью распространилась ровная, белесоватая мгла.

Было впечатление, что несколько часов назад мы волшебным образом побывали в совершенно иной, чудесной стране, где и алые лилии, и красная рыбина на веревке у старика, и травы переливаются огнями, и все там яснее, красивее, четче, точь-в-точь как бывает в чудесных странах, куда попадаешь единственно силой сказочного волшебства.

Как же попасть опять в эту дивную алую страну? Ведь сколько ни приезжай потом на место, где встречается речка Черная с рекой Колокшей и где за былинным холмом орут городищенские петухи, не проникнешь, куда желаешь, как если бы забыл всесильное магическое слово, раздвигающее леса и горы.

Сколько я ни ездил потом рыбачить из Москвы на Колокшу, не мог я попасть в ту страну и понял, что каждое утро, каждая весна, каждая любовь, каждая радость неповторимы в жизни для человека.

Тогда-то и вспомнилась мне самая дивная из всех волшебных стран — страна моего детства. Ключи от нее заброшены так далеко, потеряны так безвозвратно, что никогда, никогда, хотя бы одну пустяковую тропинку, не

увидишь до конца жизни. Впрочем, в той стране не может быть пустяковой тропинки. Все там полно значения и смысла. Человек, позабывший, что было там и как было там, человек, позабывший даже про то, что это когда-то было,— самый бедный человек на земле.

В самом деле, разве, приезжая в родное село Олепино, я вижу те же дома, те же деревья, ту же речку Ворщу и тот же Самойловский лес?

А где огромная гора от села к реке? Не в этом ли пригорке я должен узнать ту гору, на которую, бывало, если забежишь без отдыха, побившись об заклад, потом никак не отдышишься?

Не должен ли я этот жалкий, в сущности, песчаный обрыв над рекой, заросший где ольхой, где сосенками, принять за ту кручу, за так называемый утес, где прятались «партизанские отряды», действовали «пограничники с собаками», убивали друг друга «морские пираты» и где, наконец, после того как разобьешь неосторожно горшок со сметаной, можно было считать себя надежно спрятавшимся от всего остального мира?

Может быть, Самойловский лес, который хорошим шагом можно пройти за час-полтора хоть вдоль, хоть поперек, и есть те дикие таежные дебри, в которые боязно было углубляться от светлой теплой опушки, потому что вроде бы до самого края земли простерся этот лес и все, чему положено быть в лесу: и братья-разбойники, и избушка на курьих ножках, и цветущий в колдовскую полночь папоротник,— все это там, в дебрях этого леса?

А эта неинтересная, обыкновенная солома! Разве она та самая, что пахла солнцем и полем, когда мы проделывали в ней норы и прятались там в душистой прохладной темноте?

А сам я, играющий на бильярде и в шахматы, сочиняющий стихи и покупающий игрушки детишкам, сотрудничающий в газете и пишущий статьи в журналы,— разве я и есть главный житель той страны, герой морских сражений и набегов на чужие огороды, спасающий разных там царевен и девочку Надю из пятого класса «А», самый смелый, самый гордый, самый сильный человек на земле? Что вы? Я обыкновенный, средний, со множеством отрицательных черт и слабостей человек. А тот, другой? Его нет, он остался там, в золотистой теплой мальчишечьей стране, которой тоже больше нет ни на земле, ни на карте. Почему-

то сохранились от нее названия: Самойловский лес, река Ворща, Журавлиха, село Олепино, Кормилковский овраг... И по совсем уже странной случайности до сих пор я ношу имя того мальчишки, который жил в заповедной стране.

* * *

В последние годы мне много приходилось наблюдать, как играют, чем развлекаются московские ребятишки разных возрастов — от малышей до подростков. Каждый раз, когда смотришь на городского мальчишку, мчащегося вдоль тротуара на роликовом самокате, или виснущего на подножке трамвая, или отправившегося с коньками в чемоданчике на ближний каток, или на мальчишек, толкающихся возле кинотеатра, или бегающих увлеченно по лестницам многоэтажного дома, или разводящих рыбок в аквариуме, или кормящих чижиков в клетке, или гоняющих голубей, или продающих тех голубей на птичьем рынке, или строящих авиамодель во Дворце пионеров, да и мало ли еще чего делающих, что свойственно делать городским мальчикам,— когда я вижу все это, я каждый раз вспоминаю наши игры, увлечения, забавы, игрушки, вспоминаю свое деревенское детство.

Не может быть, думаю я, чтобы детство, проведенное в столь разных условиях, за столь разными играми, не сформировало и разных психологий. Но, видимо, были какие-то большей значимости общие вещи (может быть, школа, чтение, ибо мы на колокольне, а они во дворе, но играли в одного и того же «Чапая») либо общие интересы страны, которые касались и ребятишек, общая Красная площадь, общая Кремлевская башня, общий бой часов на той башне, общий пионерский галстук, общая карта Родины, с яркими значками полезных ископаемых на ней, как бы то ни было, но вот я сижу и разговариваю со своим сверстником, выросшим в городе, коренным москвичом, и разговариваем мы на равной ноге и вполне понимаем друг друга в тонкостях, как если бы росли вместе.

Но когда я разговариваю с морем, только поверхность моря участвует в разговоре со мной: море сверкает, хмурится, переливается, ходит волной, ласково плещется, голубеет или отливает сиреневым, а глубины его есть глубины, точно так же, как и мои.

И вот в разговоре с другом мы, оба писатели, говорим о стилевых тонкостях Шарля Нодье или об афоризмах

Генриха Гейне, мы обсуждаем новый кинофильм и последнюю выставку живописи на Кузнецком мосту, и пусть мы взволнованы, пусть в разговоре участвуют не только самые верхние слои моей или его души, но пусть мы взволнованы до глубины души,— все равно у каждого из нас в еще большей, подспудной, в подсознательной, может быть, глубине лежат только наши золотые россыпи, только наш опыт жизни.

Через какую-нибудь детальку вдруг и заглянешь в те недоступные, неприкосновенные сферы.

— Ты знаешь, мне так было больно, как будто меня в язык ужалила пчела.

— А как она жалится?

— То есть как это «как»? Тебя что, никогда не жалила?

— Нет, а разве обязательно?

— Не обязательно, но очень уж чудно. А малину в лесу ты собирал?

— Разве малина в лесу растет? Я думал, что — садовое растение.

— Да тебе лошадь-то запрягать приходилось или нет?

— Что ты, запрягать! Я, если хочешь знать, ни на телеге, ни на розвальнях ни разу не ездил. Слышал, что бывают розвальни, а как на них себя чувствуешь, не знаю. Наверно, очень тряско?

Ну, могу я ему объяснить, что в розвальнях не тряско, но как я расскажу ему про долгую зимнюю дорогу, про настроение зимней дороги, про светлую печаль и щемящую радость ее? Как я ему расскажу про нее, если надо сначала объяснить, тряско или не тряско в розвальнях?

Детство бегало босиком. Не то чтобы вовсе не во что было обуть ноги, но считалось само собой понятным, что летом нужно ходить босиком. Да и какая обувь могла бы выдержать ту нагрузку, которая на нее пришлась бы! Только одни подошвы на свете, а именно те, с которыми родились, выдерживали в конце концов. И то иногда влезет в ногу, пропоров толстую, огрубевшую кожу, сантиметра три-четыре ржавого (в красных бугорках ржавчины) толстого кривого гвоздя, и потечет из черной, как земля, ноги алая густая кровища. Почему-то особенно густая кровь текла из ноги, не как из носу или еще откуда. Обмоют подошву теплой водичкой — сразу из-под черноты про-

ступает желтая твердая кожа,— завяжут как следует, и будешь несколько дней прыгать на одной ноге, а на другую ногу лишь приступать на пятку или на пальчики.

Ходить по самой колючей стерне, по самой низкой кошенине и по самому острому щебню, лазить по самым ветхим, с задранными углами железным крышам, а также по сучковатым высоким деревьям, целыми днями мокнуть в пруду или речке, находиться в течение большого времени обмазанными илом или грязью — все могли ребячьи ноги. Правда, случались неприятности. Огрубеет, потрескается кожа, образуется множество ранок, как все равно курица исклевала ноги. Наверно, поэтому и называлось это «цыпки». Ляжешь спать, вымыв ноги в теплой зеленой прудовой воде, и вдруг защиплет, начнет разъедать и раздирать, и можешь тогда кататься или бросаться на стенку и орать благим матом — ничто не поможет. Поможет, как всегда, всемогущая — нет на свете большей опоры и надежды — мать. Сейчас она возьмет чашку со сметаной — и блаженная прохлада ложится на горящие жестким огнем места, и смягчается жестокость, и замирает боль, и сон начинает тихо кружить, пока не накроет чем-то теплым и черным.

Я не могу сказать, нравилось или нет ходить босиком, как сейчас не отвечу, нравится или нет ходить в башмаках. Это было естественно, мы не замечали этого. Но был день, когда все ощущалось первозданно.

Давно растаял снег, обсохла и обогрелась земля в селе, а возле нашего дома (крыльцо выходит на север) лежит тонкий ледок, остатки высоченного зимнего сугроба. Поэтому, когда все мои друзья бегают по селу босиком, мать запрещала мне, ибо нужно преодолеть эту холодную ледяную полосу, квадрат черной тени посреди красноватого весеннего солнца. В три прыжка я перескочил бы эту тень и вырвался на солнце, но вот не велят.

— Мам, я живо перескочу!

— Сиди уж крепче, на чем сидишь! Всю зиму обутый ходил, так разве можно сразу голыми ногами на лед? Ты что-то чудишь, надо исподволь, привыкнуть, а ты — эвона!..

Но я вижу, что она про себя раздумывает и размышляет: «Нись пустить его босиком, нись рано?» Знает она и то, что, убежав подальше, я все равно разуюсь, буду бегать, как

все, да еще и забуду где-нибудь свои сапожонки, а их кто-нибудь подберет...

— Ну беги, да смотри, если ноги будут зябнуть, сейчас приходи домой.

Весенняя земля, прибитая, утрамбованная прошедшими на днях дождями, упруга. Она кажется мягкой и вроде бы мнется под ногой, но на ней не остается следа; она кажется теплой, но все еще холодит отвыкшие за зиму босые ноги. Изнутри, из глубины прохолаживается верхний нагретый слой. Бегом пронесешься вдоль всего села, потом в обратную сторону, потом вокруг ограды и все никак не остановишься — такая легкость и свобода обуяют в первое время. Точь-в-точь как и телят и коров, когда придет день первого выгона. Кстати, события эти — важнейшее событие в жизни мальчика и важнейшее событие в жизни целого села — часто совпадают по времени.

Давно подрядили пастуха, и коровы давно беспокоятся в хлевах, мычат, напирают грудью на прясла. Кормишко кончился — последнюю горсть сена растрясли, смешали с соломой и дали скотине,— и колхозники, изболевшись душой, ждут не дождутся выгона.

День этот — праздник, и то ли совпадение, то ли нарочно подбирают, но всегда он солнечный, теплый, красный. Пастухи сегодня — герои дня, главнее их нет в селе. И если важно выглядит и ступает по земле сам пастух, «старшой» с кнутом, свитым в кольца и надетым через плечо, с ореховой палкой, прочность которой выверена годами, то нечего говорить про подпаска! Вроде бы такой же мальчишка, как мы, но он-то хорошо понимает, какая пропасть, какая высота отделяет его от нас. И кнут у него не короче пастушьего, и сапоги, пожалуй, не меньше...

Между тем село наполняется громким блеянием овец, мычанием коров, криком возбужденных людей.

— Держи, держи ее! — кричит, к примеру, Иван Митрич своей жене, упустившей корову. Корова у них «благая», она вырвалась и теперь бегает, волоча за собой веревку, и не просто бегает, но то взбрыкнет задними ногами, то пойдет кругом, подняв хвост трубой, то метнется в сторону, как бы испугавшись чего-то и мотнув головой с широкими черными рогами.

Овцы бегают стаями в панике, беспрестанно то бросаясь к своему двору, то удаляясь через прогон в поле.

Ягнята резвятся, подпрыгивая на месте сразу всеми четырьмя ножками и при этом как-то боком-боком перепрыгивая с места на место.

Почти всех коров хозяйки выводят на веревках. Одно дело, как резвятся ягнята, а другое дело, если начнут играть коровы и какая-нибудь корова распорет другой драгоценное вымя.

Но вот издали раздается, наводя грозу и ужас, короткий могучий басок быка. С длинным буграстым телом, с головой что твоя телега, причем шерсть на лбу завита в мелкие упругие колечки, с опущенными слегка рогами и недоброй краснотой в глазах, идет он, ударяя время от времени в землю то копытом, то рогом, и все живое, начиная от кур и нас, ребятишек, и кончая взрослыми мужиками, шарахается от него в разные стороны.

Коровы невзрачны теперь, после зимы. Бока у них в жестких корках навоза, а то и вовсе до глянцевой розовости облиняли коровьи бока. Тем не менее бык облюбовал себе ширококостную пеструю корову, и девчонке, сопровождавшей ее, пришлось бросить веревку и отбежать подальше.

Потом где-нибудь на лугу, идя мимо стада, мы с видимым равнодушием будем смотреть, как бык, неожиданно легко вскинув свинцовую свою тушу, вдруг поднимется над коровой, весь словно пружина собравшись для этого прыжка, и как едва-едва устоит на прямых напружинившихся ногах корова...

Время птичьих гнездований и лопающихся древесных почек, время студенистой лягушачьей икры и расцветания цветов, время влажного тепла и прорастания зерен, время великого обновления земли.

Когда наши предки были еще язычниками и ветер, и дождь, и земля — все это были для них боги, а самым могучим богом было солнце, тогда они весной, едва обсохнет какая-нибудь высокая горка, собирались на эту горку и играли там, возбужденные возвратившимся теплом, и называлось это ярилины игры.

Я думаю теперь, что не от тех ли, в сущности, не очень далеких времен и в нашем селе остался обычай в первые весенние дни собираться на буграх. Правда, разнообразные некогда игры свелись теперь к двум-трем, а главным образом к игре с мячом, а именно «в долгую лапту». Этот

обычай умер на моих глазах в годы войны, и сейчас его не так-то просто возродить снова.

Бугры — это именно бугры: высокие обширные холмы, вырастающие один из другого и постепенно снижающиеся в сторону реки. Несмотря на округлость форм холмов, там легко можно было выбрать ровную площадку, пригодную для лапты.

Идти на бугры приходилось по сырой, студеной земле, кое-где по снежку, зато на самих буграх можно было и разуться, настолько на припеке обогрелась земля с плотной прошлогодней травой. Люди разувались, и это сообщало им особую резвость.

Вот стоят два «матки», равные по силе и ловкости игрока. А мы идем загадываться, разбившись на равные по силе пары. Отойдешь с товарищем в сторону, пошепчешься: «Давай, ты будешь прясло, а я плетень» (или будешь ястреб, а я голубь, или ты будешь плуг, а я борона, или ты будешь амбар, а я сарай); загадавшись, идем к маткам, дожидающимся в стороне.

— Плетень или прясло?

— Прясло,— говорит один «матка».

И товарищ мой, поскольку он «прясло», идет к этому «матке», а я остаюсь у другого.

Пара за парой подходит к маткам.

— Гвоздь или подкову?

— Топор или топорище?

— Лес или реку?

Девушки придумывают себе нежные символы:

— Сирень или черемуху?

— Василек или незабудку?

— Голубое или красное?

Интересно отметить, что течение жизни и изменения ее тотчас находят отклик и в этих символах, которые я отношу к фольклору вместе со всевозможными детскими считалочками.

Недавно, проходя мимо мальчишек, я слышал, как они загадывались:

— С-80 или колесник?

Легко можно предположить и такие сочетания:

— Трехтонку или полуторку?

— Силос или вику?

— Мир или войну?

— Ту-104 или спутник?

Таким образом, все разделяются на две большие партии,

примерно равные по силе и ловкости, поскольку равным были игроки в каждой паре.

Много качеств воспитывает лапта: метко и сильно ударить по мячу палкой, артистически поймать в руки маленький, быстро летящий мяч, без промаха бросить этот мяч в бегущего игрока, уметь увернуться от мяча, подпрыгнув или упав, уметь быстро, порывисто бегать, ну, и смекалка, и в какой-то степени риск и смелость или, лучше сказать, удальство, и общее физическое развитие, а главное, конечно, было в том, что лапта сдружала, что она тоже по мере сил служила весне и молодости.

Появились в селе так называемые «кишочные» мячи. Их мы еще называли «литыми» и предпочитали дутым мягким мячам. Литой мяч летит далеко от удара палки, высоко и легко скачет по земле. Зато его труднее ловить, особенно если игрок сделает «свечу» — запалит мяч высоко в небо. Чувствительно врежут тебе таким мячом промеж лопаток. Особенно стремишься изловчиться и увильнуть от удара.

Незнойкое солнечное, именно красное тепло, сочетающееся с прохладой, задержавшейся в воздухе от недавнего снежного времени, начинающие зеленеть бугры, быстро летающий мяч — все это возбуждало, пьянило, мы заигрывались почти до темноты, когда уж не то летит мяч, не то промелькнула птица.

Будучи здоровым малым, я как-то немного терялся, когда нужно было бить палкой по мячу, и часто «мазал», промахивался или попадал по краешку, и мяч не улетал далеко. Многое ко мне в жизни пришло с запозданием. Не так давно, будучи студентом, отслужив свой срок в армии, я колол дрова возле дома. Подбежал Шурка Глафирин.

— Воёдя, а Воёдя, ударь по мячику.

Я выбрал палку по руке, и Шурка «подал» мне литой мячик, то есть кинул его кверху в воздух. Целиться палкой по мячу бесполезно, нужен общий «глаз» и общая реакция. Палка и мячик хлестко столкнулись в воздухе, и мяч вдруг превратился в черную горошину, взмыв в глубокую голубизну, и вовсе исчез из глаз. Ребятишки нашли его около Бакланихина сарая и долго обсуждали событие: Володя Солоухин забил мяч от своего двора до Бакланихина сарая!

Хоть бы один раз ударить так, когда, бывало, ждут выручки товарищи игроки и наверняка знаешь, что, кроме всех других, еще и в одних девчоночьих глазах незаметно для всех прыгнул бы зайчик восторга и тайной гордости за твой беспощадный, молодецкий удар.

Большинство забав определялось течением деревенской жизни. В сущности, молотьба с гонянием лошадей, покос с ношением завтрака в луга, навозная с катанием на лошадях — все это были сначала увлекательные развлечения и игры, которые исподволь, незаметно для нас самих, превращались в труд.

Не придет в голову городскому мальчишке увлекаться пастушьими кнутами, а у нас это увлечение было повальным, и все мы прошли через него. Кнут, толстый у основания, все более и более сужающийся, длиной в пять — семь метров, с волосяной хлопушкой на конце, являлся мечтой, а если он есть, то гордостью каждого мальчишки. Короткая рукоятка этого длинного кнута украшена разными рубчиками и клеточками. Волосы на хлопушку мы дергали из хвостов у неповоротливых, заезженных кляч и плели хлопушки сами. Считалось, что белая хлопушка из хвоста Пальмы хлестче, «горазже», чем черная из хвоста, например, Разбойника. Но сплести сам кнут было нам не по силам.

Шурка Московкин хорошо умел плести кнуты и потихонечку брал у нас подряды:

— Укради у матери двадцать копеек — сплету кнут.

Таким образом, за двадцать копеек сплел он кнут Вальке Грубову и, принеся его однажды к вечеру, заговорщически тихонько поскреб у окна. Валька выбежал на улицу, поглядел кнут, замер над ним душой и побежал в избу воровать двадцать копеек. Пробыв в избе довольно долго, он вышел наконец, весь красный от смущения, и сказал:

— Денег нет, а на́ ватрушку...

Шурка начал ругать его шепотом:

— Ах ты такой-сякой, обманщик, зачем мне твоя ватрушка, у нас у самих ватрушки белее ваших!

Однако кнут отдал, потому что материал был заказчика, то есть Вальки Грубова. Этот кнут грохал в наших руках со звучностью настоящего выстрела: кнут ведь затем и существует, чтобы им как можно сильнее грохать.

Вот так грохает, грохает для забавы какой-нибудь Валька, а завтра, глядишь, обул сапожонки — и пошел с тем кнутом пасти сельских телят, а то и в подпаски.

Сильно занимало нас также всевозможное плетение из прутьев. Самым обыкновенным материалом были гибкие, не очень длинные прутья краснотала. Мы резали их около реки и приносили домой в тяжелых, связанных теми же

прутьями пучках. Руки пропитывались пахучей горечью, особенно если захочется очистить прутья от кожицы и сплести что-либо из чистых белых прутьев. Долго пахнет ворох постепенно высыхающей под солнцем ивовой горькой шелухи.

Сначала плели плетки. Плетка из четырех или восьми прутьев считалась неинтересной и никак не ходила среди мальчишек. Зато если ты научился и сплел из двадцати четырех, то тяжелая, округлая в своем сечении, гибкая, хлесткая, она становилась завистью товарищей. Был еще один способ, когда брался толстый прут и красиво со всех сторон оплетался более тонкими прутьями, так что его самого уж и не было видно. А кто-нибудь вместо прута возьмет и поставит стальную проволоку.

Но плетка — бесполезное баловство и увлечение. Оно быстро проходило. Гораздо серьезнее — верша. Сплетенная из ивовых прутьев, она была непрочна, быстро чернела, как бы обугливалась в воде, а потом истлевала и разваливалась. Более благородным материалом считались ореховые прутья. За ними нужно было ходить уж не на реку, а в Самойловский лес. Ровные, длинные, без сучка без задоринки, не зелено-красные, а матово-серого цвета, ореховые прутья в умелых руках превращались в изящные прочные изделия, в которые, казалось, с нетерпением должна устремляться рыба.

Плетешь, плетешь ореховую вершу, а отец подойдет и скажет:

— Слышь-ка, верша вершой, да надо бы коробицу сплести, старая совсем развалилась. Чтобы к четвергу была коробица...

Перед каждым домом весной лежали навалом недлинные березовые и осиновые бревна, приготовленные на дрова. Их возили зимой по санному пути, а пилили, кололи и укладывали в поленницы (все село в ярких золотых поленницах) с наступлением весны. Дрова были излюбленным местом наших мальчишеских сборов. Тут, на дровах, мы сидели, стругая палочки складными ножами, тут обсуждали разные свои дела, тут же, когда хозяева дров начинали их пилить и колоть, мы невольно учились обращению с топором и пилой.

Сейчас врежется пила в дерево — и брызнут на последний голубоватый снежок то сливочно-желтые, если

береза или елка, то металлически-белые, если осина, то красные, если ольха, опилки, и вместе с опилками вырвется из дерева то смоляной, то горький, то просто душистый и свежий дух.

Поставишь чурак на попа, возьмешь колун.

— Ну, со скольких ударов расшибу?

— С пяти,— скажет Васька Кузов.

— С одного.

— Спорим, что с пяти?

— Спорим, что с одного?

— На сколько?

— Если с одного не расшибешь, то еще десять чураков колоть.

— Ладно. А если с одного расшибу, то тебе десять.

Теперь нужно внимательно осмотреть срез чурака. Найти, как расположены сучки, чтобы ударить точно промежду сучков, а главное, обнаружить хоть крохотную, хоть с волосок тониной трещинку. Трещинка сама по себе ничего не значит, но она покажет, в какой плоскости полено слабже всего. Пятеро или шестеро мальчишек — судьи нашего спора.

Высмотришь трещинку и сучки, встанешь устойчивее перед чураком, точно от середины головы хряпнешь по свежему срезу — с звучным щелчком разлетится чурак на две плахи, ослепительно сверкнет на солнце гладкой белизной с красной узенькой сердцевиной.

Но бывает, что ударишь, а колун либо отскочит, как от резины, либо завязнет, и нужно раскачивать его, чтобы высвободить из дерева. Тогда придется колоть десять чураков, тогда снимай тужурку — будет жарко.

Разумеется, не все забавы находили потом практическое применение в крестьянствовании. Детство есть детство, и игрушки есть игрушки. Игрушек нам не покупали в универсальных детских магазинах, мы их делали или находили сами. И сноп ржи, и колун, и кнут, и верша, и сама река — все это были наши игрушки.

Самой драгоценной, самой нужной вещью, которую все же покупали нам в городе, был складной перочинный ножик, особенно если с костяной ручкой. Ни сплести вершу, ни обделать рукоятку для кнута, ни вырезать палку, ни срезать дягиль, ни смастерить рогатку, ни просто так задумчиво построгать палочку, сидя на весенних дровах, невозможно без складнóго ножа.

Выбрав в лесу хорошую ореховую палку, мы иногда обделывали ее на свой манер, а именно: очищали от кожуры и, гладкую, влажную, сочную, умеючи обжигали на пламени костра, время от времени протирая пучком сырой травы. Палка получалась черная и блестящая, как если бы она была из черного дерева и при этом тщательно отполирована.

Острым складны́м ножом на палке вырезали разные узоры: то пустишь белое колечко, то некоторую часть палки обовьешь тонкой белой спиралькой, то украсишь ее мелкой шахматной клеточкой, после чего пустишь три белых колечка. Ромбики, крестики, косая сетка, продольные частые луночки — все шло в ход для украшения палки.

Когда подходила к концу учеба в Литературном институте и нужно было вскоре прощаться с друзьями (хороший был друг болгарин Гоша Джагаров), случилось мне на несколько дней поехать в Олепино. Я вспомнил детство и пошел в Самойловский лес. Там вырубил я узловатую, сучковатую можжевеловую палку. Утолщение возле корней и часть самих корней образовали причудливый тяжелый набалдашник, напоминающий не то голову орла, не то голову собаки. Эту палку я тщательно очистил от кожуры и, оставив в неприкосновенности узловатость и сучковатость ее, по всем правилам и даже более тонко обжег на костре. Я мог бы ее после этого отнести в антикварный магазин, где продают разные клюшки, и там сбыть по дорогой цене — настолько получилось оригинальное произведение. Но я знал, зачем ее делал.

Георгий Джагаров страшно обрадовался неожиданному сувениру. А потом мне рассказали небольшой инцидент, связанный с этой ужасной дубиной, способной уложить и медведя.

На Внуковском аэродроме, где садились в самолет болгарские товарищи наши, кто-то из работников посольства заметил, что у Джагарова как-то неестественно оттопырено на груди и животе пальто. Было впечатление, что он там прячет нечно громоздкое. А ведь прячут обычно контрабанду. Работник посольства поинтересовался, что там такое. Георгий смутился, покраснел, но не захотел расстегнуть пальто. Стали требовать — Георгий заупрямился. В конце концов пришлось, конечно, уступить, и дело кончилось веселым смехом и величайшим смущением Георгия. Зато в Софии, когда я спустя несколько лет зашел к Георгию в гости, первое, что мне бросилось в глаза, была

можжевеловая клюшка, вырубленная в нашем Самойловском лесу, недалеко от лошадиного погоста.

Лес, чьей представительницей в софийской квартире моего друга является можжевеловая клюка, не так велик, если посмотреть на него теперь трезвым взглядом. Но поскольку нет поблизости большего и поскольку вокруг Олепина там и сям растут еще более маленькие леса, то и зовется он Большим.

— Куда ходили по ягоды?

— В Большой.

— Откуда дровишки?

— Из Большого леса, вестимо.

По характеру своему он, может быть, даже слишком смешанный, потому что иной раз неплохо, если попадались бы места чистой сосны, или чистой березы, или, например, чистая липовая роща.

Но нет. У подножия могучей сосны обязательно вырастет куст бересклета, промежду редких елей распространится, перепутавшись, непролазный орех, а там, где чистое и голубое небо разлиновано, исхлестано розовым дождем высоких тонкоствольных берез, яркие от молодости своей, чистенькие, стройные, такие плотные, что и птица не залезет в середину шатра, живут на полянах елочки.

По буеракам да оврагам и такие встречаются ели, что длинные бороды белого мха свисают вниз, отягощая ветви, и стоят мрачноватой стеной замшелые от старости деревья, как если бы пришли из сказки. Между ветвей, в глубине таинственной и тенистой, как в пещере, вьют себе гнезда совы и филины, и, значит, загораясь по вечерам, будут светиться оттуда зеленые «кошачьи» глаза.

А то вдруг жидкая, не успевшая набраться солидности в погоне за солнцем, рдеет молодая рябина. Со всех сторон обтеснили ее деревья, и захочет теперь упасть, да не упадет.

А то вдруг увидишь: на черной лесной земле набросаны мелкие зеленые яблочки. Поднимешь глаза, и вот стоит среди деревьев дикая, «несъедобная» яблонька. «Лешовка» — зовут у нас такие яблони, подчеркивая, что только лешему, то есть хозяину леса, впору есть перекашивающие лицо и выворачивающие из орбит глаза кислые, вяжущие плоды. А ведь тоже небось цвела и старалась, чтобы все было как можно лучше. Может, и она, как иная мать, не променяет своего зеленого плодика на какой-нибудь там рассыпчатый багряный апорт.

Липа рядом с осиной, сосенка возле черемухи, клен посреди орешника... А в темно-зеленой дремучести елочек нет-нет и вспыхнут ясные розетки шиповника. Подрастая, елка задушит его в своих колючих объятиях, уморит под мрачным, холодным пологом, но пока есть возможность цвести, он цветет, и даже пчелы, откуда ни возьмись, прилетают к нему в дни цветения.

Необыкновенна живопись леса в те весенние дни, когда перепутываются и соседствуют рядом разные изобразительные средства: как видно, природа не заботится о том, чтобы выдержать все в одном жанре и стиле, она хорошо знает, что все, что бы она ни делала весной, все будет прекрасно, от всего не оторвешь глаз.

Лиственные деревья — осины, ольха, березки — еще голы, стволы и сучья их на холсте безветренного теплого дня набросаны так и сяк — углем и мягким карандашом. Так и видно, что уголь крошился и обламывался, но художник был в экстазе, он отбрасывал негодные карандаши, хватал новые и писал, писал, писал.

То тщательно выписан каждый пень: и как кора завернута на нем в трубочку, и как желтой струйкой высыпается из него труха, и как засох и сморщился на нем прошлогодний опенок; то вдруг смутно и размывчато проступает лес сквозь теплую дымку — одни намеки, одно настроение, которое владело художником в ту минуту, когда он творил.

Прямо по рисунку углем, среди всего серого и черного, не побоялся художник ударить масляной кистью, и вспыхнул осыпанный розовыми цветочками куст волчьего лыка.

Густым, тяжелым маслом написана темень еловой хвои, но перед елями растет березка, и теперь она окропила это «масло» нежной, яркой, солнечной акварелью свежих, только что развернувшихся листочков. Стоит ли говорить, сколько «воздуха» в этой картине, он тут даже и не достоинство, а то, чего не может не быть.

Змей нету в нашем лесу. Безбоязненно отправлялись мы, оснащенные глиняными крынками, к которым матери приделали удобные державки из веревочки; несешь крынку, как ведерко на поцепке.

Попадается безлесый склон холма, окруженный темным квадратом елей. Не ощущаешь не то чтобы ветерка, но и никакого движения воздуха. Испарения смолы, сухие и жаркие, устоялись возле еловых пней, струятся, колеб-

лются над поляной, как неразмешанный растаявший сахар в стакане горячего чая.

Вокруг каждого пня растут ягоды. Так у нас называют землянику, а уже другие все ягоды зовутся по именам: брусника так брусника, костяника так костяника. Ягоды на открытых полянах возле раскаленных пней некрупные, вроде бы ссохшиеся, но очень сладкие.

На молодой порубке, где не поймешь, что выше — сочная трава или осиновая поросль,— в тенистой, сырой прохладе вызревают ягоды величиной по наперстку, полные земляничной влаги своей, мягкие, нежные, с беленькими пятнышками там, где держались за материнскую ветку. Горсть за горстью кладешь в крынку. Сначала крынка заполняется скоро, но как дойдет до самого широкого места, так и замрет: кидаешь, кидаешь, а киданого нет. Самое главное — наполнить широкий пузырь крынки. Горлышко узкое, с ним справиться легче.

Если увяжется за нами какая-нибудь девчонка, наша сверстница, то нам остается только удивляться, как быстро у нее продвигается дело, как будто у нее не две руки, а десять. Что же, и то правда, что не мужское это дело — собирать ягоды. Оно надоедало нам быстрее, чем успевала наполниться крынка. Я не помню, чтобы кто-нибудь из нас когда-нибудь принес «с краешками», не говоря уж про то, что «стогом». Но и та, что принесешь, высыпанная на белую тарелку, способна так распространить свой аромат, что все уголки избы наполнятся им. Тотчас нужно класть землянику в чашку, заливать молоком и есть с мягким хлебом.

Ночью ляжешь спать, только задремлешь, а веточка земляники с пятью крупными ягодами ясно встанет в глазах, проглянет, качнется в зеленой траве, и долго еще в глазах ягоды, ягоды, ягоды...

Да, собирать ягоды надоедало нам быстрее, и мы ходили по лесу, глядя больше по верхам, чем под ноги. Лес щедр на развлечения: то с ветки на ветку перескочит белка, то, оглушительно захлопав крыльями, вырвется из орехового куста тетерка, то остановимся возле муравьиной кучи, что выше любого из нас. Длинный стебель травы, положенный в кучу, густо облепляют крупные черные муравьи. Потом стряхнешь их, а длинный стебель оближешь, протащив сквозь губы, полакомишься острым душистым муравьиным спиртом.

Однажды мы забрели в буерак в дальнем краю леса. По

склону росла крупная земляника. Увлеченные, мы далеко разошлись друг от друга. Раздвинув ветки куста, чтобы пройти дальше, я замер от неожиданного зрелища. На крутом склоне буерака среди густой травы желтела ровная, словно подметенная веником и посыпанная чистым песком, просторная круглая площадка. Над ней нависал кряжистый пень, меж двух рогатых корней которого чернела нора. На площадке кувыркались и играли, как все равно котята, пушистые желтовато-бурые зверьки. Ветка под моей ногой треснула, и площадка мгновенно опустела.

Помню, что было во мне легкое колебание, зародившееся в подспудной глубине: не говорить мальчишкам про дивную находку,— но тоже ведь трудно и не похвастаться! Через пять минут мы целеустремленно мчались из леса, а еще через полчаса возбужденно, наперебой рассказывали мужикам.

Мужики, вооружившись топорами, лопатами и даже кое-кто вилами, отправились в буерак. Аккуратная нора и площадка перед ней тотчас были изуродованы. Целый день копали, рубили корни, разгребали землю, заткнув сначала два запасных выхода. Пробовали даже выкуривать обитателей норы, разожгя костер. Наконец докопались и увидели прижавшихся друг к дружке пятерых зверьков, перепуганных, скалящих острые беленькие зубенки. Их поклали в мешок и унесли в село, не зная, чьи это детеныши, хотя полагалось бы мужикам знать, кто живет в таким образом благоустроенной норе.

Детенышей посадили под корзинки и коробицы. По ночам возле села истошно скулила мать. Все зверьки запаршивели в неволе, пышная шерстка их свалялась и вылезла, и вскоре они передохли, так и не подрастя до тех пор, когда ясно было бы видно, что это лисенята — будущие беспощадные и главные истребители полевых мышей. Говорят, что каждая лиса (кстати, так же, как и сова) спасает тонну чистого хлеба. Разговору об этих лисенятах хватило на несколько лет. Еще, наверно, теперь многие помнят этот случай, помимо меня, послужившего главным виновником лесной бестолковой драмы.

Мужики вообще очень охочи ударить и убить все дикое, лесное, так сказать, дармовое со стороны природы. Правда, иногда это бывает нужно. Так, например, я помню эпопею по истреблению маленького кровожадного хищника — хоря. Сейчас невозможно вспомнить, кто увидел первый, что

хорь мызнул под Пеньков амбар. Всегда позабудешь, с чего, собственно, началась суматоха. Сбежалось все село. Это была чистая баталия. Амбар окружили вооруженные вилами, кольями и палками люди. На днях хорь передушил семь кур у Ефимовых да девять кур у Жильцовых; снисхождения ему ждать было бесполезно.

— Нет ли у него норы под воду, в пруд? — высказал глубокомысленное предположение Иван Грыбов.

— Или он крыса водяная?

Однако упоминание о пруде не пропало даром; сейчас прикатили пожарную машину и, опустив рукав в пруд, начали качать воду. Егор Михайлович Рыжов как старый брандспойщик деловито, серьезно направил струю воды под амбар. Ждали, что будет. Сначала хорь не оказывал себя. Но подобие наводнения, видимо, воздействовало на его инстинкт, и вот длинный, изогнутый, ощерившийся зверек выскочил из-под амбара на поляну. Мужики вместо того чтобы сомкнуть ряды и сплотиться расступились, пропуская зверька, и в три прыжка хорь был таков. Однако мальчишки побежали за ним и проследили, что он пересек ограду, а затем забежал под поленницу перед домом Ивана Дмитриевича.

Поленница была рассчитана запасливым хозяином на много лет. Она стояла многорядная, длинная и высокая. Пожарная машина здесь не могла уже помочь, способ выкуривания тоже не принес результатов. Но тут пришел, торжественно прихрамывая, Владимир Сергеевич Постнов, и, когда обратились к нему за советом, он не то посоветовал, не то скомандовал:

— В общем... поленницу нужно разобрать.

Разбирали поленницу и женщины, и ребятишки, и те мужики, что не участвовали непосредственно в вооруженном оцеплении. Через полчаса от поленницы осталась небольшая кучка дров, а хоря не было видно. Упав духом, думали, что он либо убежал, либо мальчишки дали неправильные сведения, но Юрка Семионов пошевелил палкой под оставшимися дровами, и оттуда раздалось злое шипение, а на конце палки появились белые царапины от острейших и как бы ядовитых зубов.

На этот раз мужики, наученные неудачей, решили не разбегаться. И правда, едва выскочил хорь, заметался, запрыгал из стороны в сторону в тесном окружении, как Сергей Баклапихин, изловчившись, сумел поднять его на вилы, и с кровожадным хищником было покончено.

Предполагалось, что гнездо у хорей в Кунином сарае, поэтому с вечера навострили там сундук. У обыкновенного сундука приоткрыли крышку и подставили под нее распорку в виде лучинки. К лучинке на веревочке был привязан кусок мяса, спущенный внутрь сундука. Значит, если хорь залезет в сундук и будет пытаться съесть мясо, то лучинка выскочит и сундук захлопнется.

Но помнится, что в сундук попался Ивана Васильевича Кунина вороватый дымчатый кот.

Находились взрослые люди, которым доставляло огромное удовольствие стравливать нас, мальчишек, между собой. Называлось это драться «на любака».

Вот идем мы с Витькой Гафоновым — хорошие друзья. Только сейчас мы вместе мастерили трещотку или рогатку. Общая работа еще больше сдружила, сблизила нас, и идем мы довольные жизнью и друг другом — не разольешь водой. Но пройти надо мимо взрослых парней, сидящих на осиновых дровах.

— Вовк! Ну-ка, постой!

Мы останавливаемся.

— А тебе не набить Витьке Гафонову! Он тебя сильнее!

— А за что ему набивать? Не за что.

— А он тебе набьет!

Дальше — больше, и вот мы оказываемся друг перед дружкой, и какая уж там дружба! Хотя мы еще не деремся, но медленно созреваем для этого. Мы готовы драться, дело только за тем, кто затронет.

— А ну затронь!..

— Нет, ты затронь!..

Затронуть — значит дотронуться до противника или слегка его толкнуть. Причем если простое дотрагивание и не вызовет с одного раза драки (нужно дотронуться несколько раз), то толчком сразу вызываешь удар по зубам или по носу.

— Нет, ты затронь!

— Нет, ты!..

Тут бы вмешаться умному человеку, и снова пошли бы мы мирно по своим делам, но, как на грех, нет никого поблизости.

Я помню, каким противным становился мир, какой противной казалась жизнь, как хотелось избежать этой нелепости, каким блаженством было бы очутиться сейчас

дома за недочитанной интересной книжкой, но уходить нельзя, тогда ты вовсе трус и последний человек, испугавшийся Витьки Гафонова.

— Нет, ты затронь!..

— Нет, ты!..

Наконец Витька решается затронуть. Глаза мои застилает красный туман, и я не вижу ничего, кроме белого пятна — лица Витьки, куда я должен бить и бить своими неокрепшими кулачонками. Через две минуты Витька бежит домой с красными соплями, голося на все село, или я бегу домой, судя по соотношению сил.

Рано начав читать, я старался избегать таких «любаков». Это было принято за слабость, хотя я был рослее и крепче своих сверстников. Посчитав слабым, стал зариться побить меня Борька Грубов. Его подзадоривали, и он долгое время искал случая. В свою очередь, стали дразнить меня, что я боюсь Борьки Грубова.

— Струсил, струсил, эх ты, испугался, чего уж!

— Не струсил, а просто не хочу.

— Надо чего-нибудь говорить, вот и говоришь «не хочу», а сам боишься! Глядите, глядите, как у него губы-то дрожат: боится!

— Ничего у меня не дрожит! Где ваш Борька, давайте его сюда!

Тотчас побежали за Борькой, и он явился, полный воинственного пыла. Тут и затрагивать не пришлось: атмосфера была накалена. Не успел он встать передо мной, как я спросил:

— Хочешь?

— Хочу!

— Дать?

— Ну, дай!

— На!

Всегда в такой драке меня застилало туманом, я действовал механически, но теперь я был холоден и спокоен. Скоро и рот и нос Борьки окровавились. Нас растащили. Борька плакал и скрипел зубами в бессильной злости и, несмотря на то что его удерживали два старших брата — Николай и Валька,— все рвался ко мне, подставляя свое разбитое в кровь лицо.

— Ну, дай еще! Ну, дай еще!

В надежде желанного реванша братья отпускали Борьку, он бросался ко мне, но тут же был сбиваем и избиваем.

Не помню уж, сколько раз так повторялось, пока братья не увели своего воинственного братишку.

...Если в деревне строится дом, то строительная, так сказать, площадка выглядит чисто по-деревенски: просто лежат на траве желтые сосновые бревна и валяются возле них желтые сосновые щепки. На бревнах выступают частые медовые слезинки, к которым так прочно и так быстро, едва присядешь, прилипают штаны.

Поодаль установлены высокие козлы для распиливания бревен на доски. Два пильщика: один, стоя наверху на козлах, другой — внизу — работают большой продольной пилой, а мы смотрим, как крупные зубья, ерзая взад-вперед по древесине, с каждым разом захватывают неприметный на первый взгляд кусочек расстояния. Но ведь все длинное бревно будет распилено рано или поздно, да еще и не один раз и не одно-единственное бревно. Недаром возле козел лежат высокие, пышные груды опилок.

Пильщики прихожие. У нас в селе и по окрестным деревням своих пильщиков нет. Эта специальность встречается не часто, как, скажем, и специальность кузнеца. Сохранилась, ну, что ли, формула, по которой пильщики, беря работу, рядились насчет харчей. Условие их было такое: щи с приваркой, каша с прибавкой, ломтевой — без отказу, а после обеда два часа отдыха. Пилы свои они носили обернутыми в тряпки.

Прихожий пильщик дядя Кузьма, бородатый, широкогрудый мужик, сидя на опилках и сворачивая из газеты папиросу, говорил:

— Этого леса я вдоль дресвы распилил рощу, ей-пра, не вру — рощу! Вот ежели бы у меня подмышки были сделаны из железа али еще какого материала, може, меди, а може, чугуна, давно бы перетерлись, ей-пра, не вру, перетерлись! А свои, глянь-ка, все еще держутся, и главно, што не скрипят...

Казалось, люди эти необыкновенных, интересных профессий: пильщики, кровельщики или там: «Ре-е-ш-о-о-ты починять!», или: «Углей, углей, кому углей?», или: «Паять, чинить, самовары лудить!», или: «Сте-е-кла вставлять, замазкой мазать!»; казалось, все эти люди приходят из далеких, непонятных мест, а не живут где-нибудь в таких же деревнях, как наша.

Когда пели решетники или стекольщики свою песенку «ре-шо-о-ты починять!», невозможно разобрать было ни одного слова: не то про решета, не то про стекла идет речь.

Но дело в том, что у каждого из них своя мелодия возгласа, и по этой мелодии ни за что не перепутаешь одного с другим.

Все они шли вдоль села из непонятной дали и уходили в непонятную даль. Один раз заночевал в нашей избе мальчуган, собирающий милостыню. Ночью мы одновременно выбежали во двор, и, пока делали дело, возникла некая интимность. Я спросил:

— Откуда ты?

— Из-под Спаса-Клепиков,— певуче, не на наш, владимирский, лад ответил мальчик.

Но для меня было одно, что Спас-Клепики, что Китай. Однажды ведь прошел вдоль села китаец, и все повыбежали, несмотря на дождичек, глядеть, как он шел, стремясь к какой-то одному ему видимой цели и поэтому не оглядываясь по сторонам, не обращая внимания на нас, глазевших на него с любопытством ли, с сердоболием ли.

— Куда он? — спросил я у матери.

— К себе, в Китай.

— А где его Китай?

— Дале-е-ко... Пожалуй, ему и не дойти до смерти.

Долго жалел я китайца с желтым лицом, одетого в синие штаны, бредущего под мелким дождем через незнакомое для него русское село.

Теперь-то я знаю, что Спас-Клепики не так далеко, в Рязанской области, и что парнишка тот был близкий земляк лирического русского поэта Сергея Есенина, и что теперь не нужно из Спас-Клепиков ходить по деревням, собирать куски хлеба. Если бы даже и случился неурожай именно в Рязанской области, то все равно он не стал бы трагедией для десятков тысяч людей. У колхоза есть райком, у райкома — область, у области — огромное социалистическое государство. Правительство сделало все, чтобы исключить случайности из нашей жизни.

Просторы распаханной целины, алтайский, казахстанский, оренбургский, кубанский, украинский, среднерусский хлеб: каравай к караваю, элеватор к элеватору, эшелон к эшелону... И парнишка тот, если пережил войну, может быть, теперь тракторист или зоотехник, а может быть, избач, а может быть, уехал в город и работает на заводе, а может быть, окончил какой-нибудь институт...

Знаю я также теперь, что китаец дошел наконец до своего великого Китая...

...До кнутов, до верш, до рогаток, до обжигания палок, до лопаты, до лазанья по огородам или птичьим гнездам прошли мы через странное, но яркое увлечение. Наверно, оно сродни тому увлечению семидесятилетнего почтенного профессора, который собирает этикетки со спичечных коробок, или того московского пионера, который охотится за австралийской маркой, или того мальчугана, который выменивает значок на значок у иностранца, приехавшего посмотреть на Москву и Россию.

Я говорю «сродни», но это не значит одно и то же. Нам и в голову не могло прийти собирать что-либо такое, да если бы и пришло в голову, возможности наши были бы очень стесненными. Но мы страстно, упоенно, одержимо, соревнуясь, хвастаясь друг перед дружкой, собирали черепки.

В черной и рыхлой земле, вскопанной под огурцы или капусту, вдруг мелькнет беленькое, и тут не удержишься, чтобы не выковырнуть палочкой и не поглядеть, что там такое. Очистишь беленькое от земли, потрешь о штанишки, и вдруг ясной голубизной или нежным розовым цветком загорится находка. Не беда, что не весь цветок уместился на черепке величиной с монетку, а лишь тонкий стебелек да половина чашечки уцелели тут, тем больше работы для воображения. Каких только не попадалось черепков! То узкая золотая полоска мелькнет из-под черной земли и, встретившись с солнцем, заиграет и даже уколет глаз крохотным зайчиком, то глубокий пурпур, то ясная синева, то салатная зелень, то темная вишневая краска.

Не то чтобы по одному черепку воображение наше воспроизводило разбитую некогда чашку, тарелку или блюдце, но было это для нас как все равно из другого мира. Черепки с их намеком, с их, ну, прямо-таки недосказанностью были прекраснее и интереснее для нас, чем целая посуда, стоящая в шкафу. Черепки от только что разбитой чашки, валяющиеся на полу, не имели для нас никакой цены по сравнению с тем черепком, что возник из земли или из навоза.

Большую часть интересных черепков мы находили в бывшем поповском огороде, и, надо полагать, посуда у попа в стеклянном шкафу водилась иная, чем на дощатой крестьянской полке, задернутой ситцевой занавесочкой. Еще и поэтому обломками иного мира казались нам цветущие золотой и голубой эмалью черепки.

Самый дорогой черепок принадлежал Вальке Грубову. На нем была изображена сиреневая птичка, сидящая на золотой ветке, а кругом зеленые листья.

Черепки у нас играли роль денег. Чего хочешь можно было купить у товарища за хорошие черепки, и, наоборот, можно было продать за них какую-нибудь безделушку, кроме разве перочинного ножичка. Это была валюта, надежно обеспеченная всеми золотыми запасами детского воображения, детской непосредственности и детства вообще. Мы могли то раскладывать черепки на дощечку возле завалинки, то есть устраивали нечто вроде выставок, то собирали и прятали в холщовые мешочки, трясясь над мешочками, как последние скряги, то в таинственном сладком порыве самоотречения одаривали лучшим черепком соседскую девчонку, и девчонка та должна понимать теперь, что ни дорогие духи, ни золотые сережки с камешками не могли уж потом идти в сравнение с этими первыми подарками.

Последнее, что я помню о черепках,— это ужасная катастрофа, инфляция, потрясшая наше детское «государство». На поповом огороде мы докопались и открыли вдруг там, где некогда была помойка, на глубине полуметра такие напластования черепков, такие запасы и россыпи, накопившиеся за многие годы, что курс каждого черепка в отдельности после этой роковой находки упал почти до нуля, и я уж не помню, чтобы он мог поправиться. Черепки валялись повсюду, и играть в них стало неинтересно.

Но все же я с благодарностью вспоминаю то поистине драгоценное время, когда черепок с золотой каемочкой был для меня драгоценен, как если бы настоящее золото.

* * *

Все наше село заросло мелкой густой шелковистой травкой, которую в народе зовут мурава. Словно плотной шерсткой, покрыта летняя земля этой травой. Только на тропинках возле домов, да еще на проезжей дороге вдоль села, да еще на тропинках от домов к колодцам невозможно расти мураве.

Она настолько чиста (мало разного движения, а значит, и пыли в селе), что в праздничный день, трезвые ли, подвыпившие ли, мужики и парни вольготно лежат на лужайках перед своими домами прямо в белых рубашках. Разве кто-нибудь неосторожно проползет или проволочется волоком,

ну, тогда останется след на одежде, и то не от грязи след, а зеленый, оттого что при волочении содрали кожицу с нежной травки, она-то и обзеленила выходной наряд.

В будние дни в обед то и дело можно видеть на лужайках спящих людей: чего томиться в духоте да в мухоте! А здесь и ветерок обдувает, и холодок в тени от телеги — благодать!

Эта травка цветет и обновляется все лето, но цветет она такими мелкими белыми цветочками, что их не разглядишь, и поэтому, когда посмотришь вдоль села, ровная яркая зелень ласкает глаз.

Наступал день, когда перед каждым домом на яркую зелень мелкой плотной травки сваливали с телеги большие вороха золотой, душистой соломы, привозимой от молотильного сарая. То ли радостное волнение взрослых передавалось нам (ведь первая свежая солома — это значит первый обмолоченный сноп, первый хлеб нового урожая), то ли само по себе это было для нас интересно, но до сих пор сохранилось в душе ощущение праздника, ознаменованного тем, что на яркую зеленую траву валят золотую солому.

Ее не сразу убирали на двор, но до вечера она лежала перед домом и, значит, до вечера была в полном нашем распоряжении. Только что сброшенная с телеги, не слежавшаяся, она была рыхлая и податливая. Она была полна полевого хлебного духа. Но кто знает, может быть, именно так и должно пахнуть солнце?

Игра была всегда одна и та же. Мы проделывали в соломе длинные, замысловатые норы, которые вели к середине копны. В середине устраивалось просторное расширение, где можно было, потеснившись, лежать и вчетвером и впятером; что ж, мы ведь были очень маленькие! После полдневного июльского зноя так приятно зарыться в прохладную темную середину соломы!

Потом, к вечеру, свежей соломой устилали двор и постилали ее в хлев; таким образом, и у скотины, а именно у коровенки и у нескольких овец, тоже был праздник. А перед домом оставались только редкие золотые соломинки, запутавшиеся в зеленой травке. Тут ходили куры, ища, не завалился ли где-нибудь необмолотившийся, со спелым зерном колосок.

Это была первая, косвенная, встреча нас, ребятишек, с такой важной, такой великой работой, как уборка и молотьба хлеба.

Вторая, тоже косвенная, встреча состояла в том, что не всю солому привозили пропущенной сквозь молотилку, но появлялось несколько тяжелых, плотных, туго стянутых соломенными поясками и оттого как бы стройных снопов. Они были обмолочены простейшим хлестанием их о деревянные козлы. Снопы мочили некоторое время в воде, пустив плавать в пруд, а потом развязывали и из длинной, не переломанной нигде соломы скручивали нечто вроде толстых веревок, а именно пояски, дабы вязать ими новые и новые снопы.

Берешь две пряди соломы, составляешь их колосья к колосьям, один конец зажимаешь под мышку, другой конец начинаешь закручивать, заплетать; потом готовый конец зажимаешь под мышку и быстро расправляешься с оставшимся. Через минуту поясок готов. Взрослыми поощрялось, чтобы малыши скручивали пояски. Ничего, что пояски потом расползались и снопы, связанные такими поясками, наверное, рассыпались, шумя колосьями: пусть привыкают, думали взрослые, вся жизнь впереди, всю жизнь придется вязать пояски. Сказать бы им тогда, что не только их дети, но сами они лет через десять позабудут, что были когда-то пояски и что даже обыкновенный серп найти в селе будет невозможно, конечно, не поверили бы взрослые такой фантазии. Уходя на жнитво, бабы уносили с собой по огромной вязанке соломенных поясков.

Из снопов на ржаном ли, на пшеничном ли поле ставили крестцы. Клался на жнивье сноп, на него крестом, колосьями друг на друга, еще четыре снопа. Благодаря первому положенному снопу эти четыре снопа лежали несколько покато, шалашиком, что очень важно: в дождь вода будет скатываться по соломе, а не пропитывать колосяную, хлебную сердцевину. На четыре снопа клали еще четыре, потом еще четыре, и так пять слоев. В каждом крестце — двадцать один сноп, и считать не нужно. Покладешь на воз пять крестцов — значит, сто пять снопов, а в кругле — сотня.

Поля, уставленные крестцами, были самой непременной и, нужно сказать, красивой частью деревенского пейзажа в пору летней страды. Взглянув на такое поле, сразу можно было сказать, хорош или плох урожай в этом году, потому что при хорошем урожае крестцы стояли густо, часто, обильно, а уж если разбрелись они по жнивью на редь, где крестец,— значит редка, тоща была ржица.

Когда на телегу накладывают сено, более сильный, более взрослый человек стоит с вилами на земле и подает

сено из копны на воз. А подросток ли, женщина ли, девушка ли, стоя на возу, укладывает сено как нужно: пласт на правый угол, пласт на левый угол, пласт на середину для связи,— но когда возят снопы, взрослый сам становится на телегу, ибо укладывание снопов — дело особое. Снопы скользят друг по другу, и если что-нибудь чуть-чуть не так, то весь воз может расползтись или опрокинуться по дороге. К тому же косогорчики и овражки попадаются на пути. Уронишь воз сена — беды большой нет, укладывай снова и поезжай. Из снопов во время такой аварии высыпается, вымолачивается зерно. И без этого сколько раз нужно переложить сноп с места на место: с земли — в крестец, из крестца — на воз, с воза — в оденье или в сарай, из сарая или из оденья — к молотилке.

Кататься нам, малышам, на снопах было куда боязнее, чем на возу с сеном. Там сделаешь себе ямку — и сиди. А здесь все скатываешься, соскальзываешь, сползаешь от середины к краю воза, а воз раскачивается на колеях и кажется таким высоченным, что упади — и расшибешься насмерть. Но однажды как-то вдруг покачнулось небо и недальний еловый лесочек, и вот, не успев сообразить, что происходит, я очутился на бесформенной куче снопов, а снопы уж лежали на земле, а не на телеге.

— Эх, мать честная! — только и сказал отец.

Бывало, что, заметив, как воз ползет на сторону, мужик подопрет его плечом, да так до самой деревни и поддерживает — и, глядишь, сумеет довезти до места. Только жилы на шее возле ключиц и на лбу вздуются больше, чем обычно, да прилипнет к телу пыльная, выгоревшая на солнце рубаха.

Самая первая работа на молотьбе, до которой нас, превращающихся из ребятишек в подростков, допускали (словно взрослых, наряжал с вечера бригадир), была работа гонять лошадей. Перед молотильным сараем находился так называемый привод: огромные чугунные шестерни и три бревна, отходящие от шестерен в разные стороны и немного вверх. Над шестернями клали деревянный щит, чаще всего старую воротину, а к концам бревен в привод впрягали лошадей. Чтобы у лошадей не кружилась голова от бесконечного хождения по кругу, на глаза им надевали кожаные квадратные шоры.

Погоняльщик с длинным кнутом садился на воротину и, стегая по очереди и понукая по очереди каждую лошадь, сидел на воротине целый день. Еще не было погоняльщика,

который мог бы за день не охрипнуть, так что разговаривать ему потом приходилось шепотом. Наверно, в каждом колхозе был свой завсегдашний погоняльщик. У нас обычно ставили на эту работу Петяка, ибо глотка у него была поздоровее, чем у кого-нибудь другого.

— Но, Графчик! Ишь она! Чего тут! Пальма, давай! Тяни, Разбойник! Уснули совсем! — только и слышно было на все село во время молотьбы.

Но весь колорит речи погоняльщика, а особенно Петяка, я передать не в силах, ибо к каждому обыкновенному и, так сказать, полезному слову он умудрялся прибавить десяток-другой слов, не совсем обыкновенных. Насколько они были полезны, то есть насколько действовали на лошадей сильнее всех других слов, сказать, конечно, трудно.

Когда совсем уже охрипнет Петяк, погоняльщиками ставили нас, мальчишек. Издалека казалось заманчивым попасть на такую должность: подумать только — целый день кататься на приводе! Но лошади слушались плохо, из сарая то и дело кричал машинист, понукая уж не лошадей, а погоняльщика, глотка начинала болеть. Кроме того все время хотелось пить — постоянное кричание, жара и пыль от молотилки,— так что к концу дня, откричав шестнадцать-семнадцать часов, рад был избавиться от этой заманчивой должности. На другой день бригадир и без просьбы наряжал кого-нибудь другого, зная, что и одним днем сыт погоняльщик по горло.

Среди прозрачнейших, беспыльных окрестностей молотильный сарай всегда был окружен облаком слегка светящейся на солнце пыли. Чем ближе к самой молотилке, тем пыли больше и она гуще. Некоторые женщины завязывали рты платком, оставляя одни глаза: без глаз никак нельзя около молотилки.

Центром всего был колхозный машинист Андрей Павлович. Единственный в селе заика, он был и единственным машинистом. Три человека подавали снопы ему на дощатый, отполированный снопами до невероятной гладкости стол. Снопы из рук в руки передавались по столу, и один человек или даже двое серпами разрезали у снопов пояски.

Не отрывая глаз от урчащей пасти молотилки, экономным, красивым движением Андрей Павлович брал сноп и мгновенно и как-то незаметно разжижал, разреживал его на доске, наклоненной к барабану. Барабан гудел ненасытно и жутковато. Не различить было ни железных, высветленных соломой планок, ни тем более частых кривых

зубьев на этих планках. Некая серая прозрачность — сгусток ветра — виделась там, где положено быть барабану. Для того и нужно было погонять лошадей, чтобы барабан крутился равномерно, а не рывками. А уж от машиниста зависело равномерными порциями постоянно совать в барабан снопы. Вот крутится барабан вхолостую, воя на все более и более высокой ноте, и вдруг сухой треск, этакое сытое хрустение, и из противоположного конца молотилки вываливается бесформенная копна соломы, только сейчас бывшая стройным, ровным снопом. Эту солому поддевают на вилы, передают друг другу, потряхивая при этом, чтобы из нее высыпалось зерно, коли оно осталось там, и так, передавая с вил на вилы, препровождают вдоль всего сарая к воротам и дальше, на телегу. Так-то она и попадает в конце концов на зеленую лужайку перед домом колхозника.

На пути движения соломы по сараю, а главным образом под брюхом молотилки, копится перемешанное с мякиной зерно. Его время от времени выгребают и граблями отодвигают в сторону к стене, где все растет и растет гора зерна, называемая ворохом.

Спокойно стоит у молотилки Андрей Павлович. Сам он весь немного откинулся назад (стреляет из молотилки с жесткостью свинцовой дроби зерно), но глаза у него всегда смотрят только в барабан.

Удивительно радостное охватывает чувство, когда молотьба войдет в ритм и все пятнадцать человек, занятых на молотьбе, станут как бы одно, и незаметно летит время, только мелькают снопы, только равномерно хрустит в молотилке солома. Я любил становиться на разрезание снопов перед самым Андреем Павловичем и, чтобы погорячее работать, резал один, а не с кем-нибудь вдвоем. Кроме того, я придумал для этого обламывать серп почти наполовину, и этот короткий огрызок серпа был очень беспощаден в работе. Войдешь в ритм или, лучше сказать, в колею работы — и режешь и режешь одним и тем же экономным движением тугие соломенные пояски, и, хотя едва успеваешь делать эту работу, молодое тело, разогревшиеся мышцы хотят, просят, чтобы еще быстрее крутилась машина, чтобы еще чаще мелькали снопы, чтобы еще дружнее шла вся работа.

— Д-давай, д-давай! — кричит Андрей Павлович, и погоняльщик за толстой бревенчатой стеной сарая слышит эти окрики. Или иногда замешкается подавальщик снопов,

и руки Андрея Павловича, потянувшись за снопом, скользнут по гладким доскам стола. Недоуменно, как бы не понимая, в чем дело, взглянет он тогда на подавальщика.

— Д-давай, к-какого вы т-там еще... М-молодежь!

А то вдруг, пропустив сноп, придержит левой рукой другие, напирающие на него снопы и протяжно скомандует:

— С-стой! Залога!

Налаженно работающий своеобразный конвейер: эти подавальщики снопов, эти соломотрясы, эти разделыватели вороха, эти возчики соломы — всего человек пятнадцать или двадцать,— все это разом останавливается, и вселенская тишина мгновенно заливает голубоватой полдневной волной крохотный пыльный островок гудения, треска и грохота.

Залогой называется не время отдыха, а, напротив, период работы. И если Андрей Павлович крикнул «залога» — значит, кончилась залога и теперь наступил перерыв.

Молотильщики выходят из сарая на волю, просмаркиваются, прокашливаются, пьют воду, едят кислые, недоспелые яблочки, располагаются в холодке. Мужики сворачивают прямые толстые цигарки из свежего самосада, дым которого остро и крепко пахнет жженым копытом. Лошадям дают овса, повесив на лошадиные морды торбы из мешковины. Под крышей сарая, на снопах (сарай доверху набит снопами), нет-нет и послышатся девичий визг и хиханье. Наверно, Митюшка Бакланихин забрался к отдыхающим девушкам да и щекочет теперь какую-нибудь из них.

Залога бывает только на молотьбе, а на других работах — мечут ли стога, убирают ли сено, копают ли картошку — перекур и есть перекур, а никаких залог нету. Вообще же все колхозные летние работы в нашем селе велись в три уповодка. Первый уповодок — с четырех часов утра до восьми (с восьми до девяти завтрак), второй уповодок — с девяти до часу дня (с часу до четырех обед); третий уповодок — с четырех до десяти вечера, то есть до тех пор, пока не начнет темнеть.

Длина перекура на молотьбе зависела тоже от машиниста, от Андрея Павловича. Ни бригадир, ни сам председатель никогда не вмешивались в его дела. Бывали такие перекуры, что лежишь-лежишь в холодке, глядишь, уж и слюнка выльется на подложенную под щеку ладонь,

и сладкий туман успеет распространиться по всему телу. Но тут послышится властный оклик: «Д-давай!» — вслед за которым начнет энергично кричать погоняльщик; снова раскрутится светлый барабан с кривыми светлыми зубьями.

Валька Грубов однажды глядел-глядел сверху, со снопов, в ветряное горло молотилки и вдруг говорит:

— А что, если бы туда железяку сунуть, шкворень или подкову, а?.. Вот бы интересно было! Спрятать ее поглубже в какой-нибудь сноп...

Мы тут же и забыли, про что говорил Валька Грубов. Но через два дня, в самый разгар молотьбы, вдруг раздался громкий, похожий на выстрел удар и кто-то молотками начал стучать изнутри по обшивке молотилки, пытаясь вырваться на свободу, разрушить, разорвать стены своей тюрьмы. Одновременно раздались скрежетание, визг, что-то со свистом полетело из молотилки, люди попадали на землю, а Андрей Павлович закричал не своим голосом:

— Стой!

Когда остановился привод, а потом и тяжелый, сильно раскрутившийся маховик, а потом и барабан проступил из серой, неразборчивой прозрачности, все сбежались к молотилке. Андрей Павлович стоял бледный (сквозь черную пыль проступила бледность на его лице), правая рука опущена, как плеть. Она оканчивалась уж не пятью обыкновенными его желтыми от махорки пальцами, а некой красной мочалкой, с которой на глянцевитую утоптанность земляного пола струйкой стекала кровь. Хорошо еще, что вскользь ударили острые зубья!

Андрей Павлович, должно быть, увидел все-таки, как что-то сверкнуло в снопе, и хотел схватить вовремя, но это было движение непроизвольное, не проконтролированное разумом...

У барабана оказались погнутыми многие планки, выбиты многие зубья. Подкову саму тоже исковеркало и измяло. Молотьба остановилась надолго.

...А однажды, не помню, в котором году, колхозу дали распоряжение: в молотильный сарай снопов не возить, ставить оденья на полях. Приедет «сложка», то есть, значит, сложная машина, и все обмолотит сама. Когда пришло время, трактор к оденью действительно притащил некое длинное высокое сооружение со множеством больших и маленьких колесиков и ремней, соединяющих эти колесики. Все село пришло посмотреть на диковинку.

Машинист (не Андрей Павлович, хотя у него зажила рука, а другой, приезжий, эмтээсовский машинист) расставил людей, рассказал, кому что делать. Затарахтел трактор, все колесики завертелись, ремни забегали, и «сложка» загремела, заработала. Два человека вилами едва успевали бросать пшеницу в ее ненасытную пасть, и не нужно было ни разделывать ворох, ни трясти солому, ни веять, а только подставлять да завязывать мешки. То, что маленькой красной молотилке нашего села хватило бы на неделю, было проглочено «сложкой» за один день.

А теперь уж и «сложек» не видно на полях вокруг села. Ни этих серпов, ни поясков из соломы, ни крестцов, по двадцать одному снопу в крестце, ни этих укладываний снопов на телегу, ни этих приводов, вращаемых лошадьми.... Просто выходят на поля комбайны (их пять в нашем колхозе) и за несколько дней делают все то, что называлось непридуманным, но где-то в глубине России, в глубине народа рожденным словом «страда».

Около иных сараев и до сих пор еще, полузатянутые землею, виднеются большие шестерни. Теперешние мальчишки, поди уж, и не знают, для чего были нужны эти шестерни, и как это погоняли лошадей, и как это все происходило. Хотя времени прошло не век, не два, а каких-нибудь двадцать лет.

Что же касается как бы традиционной золотой соломы, появлявшейся перед домом на зеленой лужайке, в которой можно было делать норы и там играть, так ведь что в ней, в этой соломе?!

...Хотя в нашем селе и всего тридцать шесть домов, или, лучше сказать, хозяйств, однако до войны шестьдесят, а то и семьдесят косцов выходили в колхозные луга. По селу и луга наши необширны. Тут все в масштабе: маленькое село, маленькая речка, маленькие покосы по ее берегам.

Трава тоже родилась невесть какая. К весне первыми начинали вылезать из земли ярко-красные листочки щавеля. Через день-два они подрастали и становились зелеными. Тут мы выбегали в луга пастись на подножный корм.

Летом щавель выгоняло в стебель, в те самые «столбецы» с розовой метелкой, которые тоже можно рвать и есть, если не успели они застареть и задеревенеть, так что жуешь-жуешь, а во рту копится вроде зеленой мочалки. Молодой столбец сочен и нежен, он легко напрочь переламывается в любом месте.

Впрочем, нужно сказать, что, несмотря на естественное в детстве стремление есть все, что попадется под руку или под ногу, мы ели очень мало разных трав. Потом, будучи взрослым, я прочитал книжку Верзилина о съедобности диких растений, и оказалось, что мы бегали босиком сплошь по разным салатам, да напиткам, да и чуть ли даже не по сдобным лепешкам. Во всяком случае, того, что из корневища обыкновенного горького лопуха можно печь хлебы или даже можно есть его, это корневище, вместо моркови, мы не знали.

После щавеля и столбецов наибольшей популярностью у нас пользовалась «солдатская еда». Ярко-желтые, похожие на одуванчик, но на высоком ветвистом стебле, цветы были видны издалека и сильно облегчали нашу задачу поисков «солдатской еды». Из стебля, когда сорвешь, обильно бежало, почти брызгало густое сладкое молоко.

Какое-то крупное зонтичное растение, то ли морковник, то ли дягиль, обильно росло там, где луга запутывались в прибрежном речном кустарнике, где после лугового солнца сразу делалось темновато и влажно. С толстого стебля нужно было сдирать толстую, жесткую кожу, которая сдиралась очень легко. Мягкая, ободранная серединка была сочная, сладкая и душистая.

Недавно обо всех этих травах я разговорился с женой, выросшей в орловской деревне. То ли деревня была беднее нашей, то ли вообще повыше там стояла культура по освоению дикорастущих, но жена распахнула передо мной такие горизонты, что я пожалел даже, что ничего этого мы не знали в детстве. Названия большинства растений установить не удалось. Так, например, она настойчиво рассказывала про какие-то лепешечки, довольно безвкусные, но которые тем не менее пожирались будто бы горстями, а также про некие пюньки, вылавливаемые из воды во время весеннего половодья. Стебельки мать-и-мачехи, этого раннего подснежника, а также молодые, нежные стебельки тмина я, по ее совету, попробовал, но, наверное, и тогда, в детстве, они не понравились бы мне: очень уж приторно пахучи. Трубочки одуванчиков с ободранной кожицей все-таки неприятно горьки, а молоденькие листья липы, наоборот, пресноваты.

Но что оказалось действительно вкусным и о чем действительно можно пожалеть, что не знали тогда, в детстве, — это свербига. Горьковатая, пряная, отдающая слегка хреном, она и теперь нам так понравилась, что мы съели ее

по пучку. Жена вспоминая детство, а я как бы наверстывая упущенное.

Взрослые не очень-то разрешали нам объедаться зеленью. Острастка была такая: «Смотри, будешь есть разную дрянь, червяки в животе заведутся!» Но теперь я думаю, что наш подножный корм был, особенно в период весны и раннего лета, стихийным источником, откуда поступали хоть какие-нибудь витамины в наши детские растущие организмишки.

К середине июня ярко и пышно расцветали луга. Нежно-розовые махровые шапки, синие колокольчики, ясно-желтые купальницы (мы называли их лазоревым цветом), малиновые звездочки гвоздичек, да лиловые, да фиолетовые, да бурые, да еще и просто белые цветы.

Над яркоцветущими, перерастя их, поднимаются разные колоски и метелки, отчего издали кажется, будто подернуты цветущие луга легким сиреневым туманом. В безветрие каждый колосок, каждая метелка, каждая дикая злачинка, если щелкнуть по ней пальцем или если заденет за нее кузнечик, пчела, шмель или бабочка, тотчас окутываются маленьким желтоватым облачком — цветут привольные травы.

Улетит на закате солнца с цветка тяжелый шмель, и цветок качнется облегченно и раз, и два, и три, но отяжеляют его светлые капли росы, и, покорно подавшись их тяжести, будет он неподвижно дремать до утра, блаженствуя в росной прохладе.

В отлогих, почти горизонтальных лучах утреннего солнца загораются капли росы. Если сказать, что в каждой капле горит по солнцу, значит ничего не сказать о сверкании росного утра. Можно, конечно, с тщательностью выписать, как одни капли мерцают глубокой зеленью, другие — чисто кровавого цвета, третьи — матово светятся изнутри, четвертые — молочно-голубые, пятые — белые, как молоко, но просвеченные огненной искоркой. Можно написать, как это разноцветное горение сочетается с синевой, желтизной, розовостью, лиловостью и белизной луговых цветов и как луговые цветы, просвеченные солнцем, кидают свои цветочные тени, свою синеву или желтизну на ближайшие капельки хрустальной влаги и заставляют их быть то синими, то желтыми. Можно рассказать, как в сложенных в сборчатую горстку, слегка мохнатых, шершавых листиках травы накапливается роса и покоится в них, светлая и холодная, огромными округлыми упругими каплями так,

что даже можно выпить и ощутить вкус росы, вкус земной живительной свежести. Можно написать, какой яркий темный след остается, если пройти по седому росному лугу, и как красив осыпанный росой в лучах солнца обыкновенный хвощ, и многое, многое другое. Но нельзя передать на словах того состояния души и тела, которое охватывает человека, когда он ранним утром идет по росистому цветущему лугу. Может быть, даже он не обращает внимания на такие подробности, как синяя или розовая роса, или на то, как в крохотной росинке четко виднеются еще более крохотные, отраженные ромашки, выросшие по соседству, но общее состояние в природе, общее настроение тотчас сообщается человеку, и вот передать его невозможно.

Вы проснетесь позже, часов в девять, десять, когда в поля и луга нахлынет зной и все высушит и все погасит, и вы будете думать, что таким всегда и бывает окружающий вас мир, не подозревая о том, что еще три-четыре часа назад он был настолько другим, насколько, например, цветущий куст сирени или вишенья отличается от нецветущего. Ведь тому, кто никогда не видел цветения вишневого сада, невозможно, глядя на голые кусты, вообразить, как бывает в цветущем вишневом саду.

Травы скашивают рано утром, пока они еще не уронили росы, пока они еще нежатся в ее прохладе, под ее дремотной сладкой тяжестью.

Накануне, когда начнут затихать в селе дневные звуки, вдруг то там, то тут звонко затюкают по стальным наковаленкам остроносые молоточки. Где-нибудь в саду под яблоней пристроится колхозник, чтобы отбить косу. Сам он сидит на стуле, перед ним чурак с намертво вколоченной в него квадратной наковаленкой, на которую и кладется лезвие косы. Тут же ведерко с водой — окунать в него молоток. Умело и чуть наискось бьет молоток по самому жалу косы и расклепывает, «оттягивает» его, делая острым, как бритва, а может, и острее бритвы.

Тюк-тюк-тюк... Тюк-тюк-тюк...— слышится то в саду у Володи Постнова, то у Пеньковых под ветлой, то на задах, у Ивана Васильевича Кунина.— Тюк-тюк-тюк!.. Завтра в серых, туманных сумерках, до свету, цепочкой уйдут косцы в луга, и, вздрогнув и осыпав с себя росу, упадут красивые травы.

Покос — самая трудная, самая сдружающая работа из всех деревенских работ. И председатель колхоза, и бригадиры, и завхоз, и счетовод, и школьный учитель Виктор

Михайлович, и кузнец, и ветеринар, то есть все люди, которых не увидишь на какой-нибудь другой работе,— все выходят в луга и становятся рядовыми косцами.

До войны в нашем колхозе был обычай: около шести часов утра косцам в луга носили завтрак. А так как жены косцов, то есть наши матери, заняты в это время стряпней, а вторая женщина — сноха ли, дочь ли — найдется не в каждом доме, то завтрак носили дети и подростки.

Самое тяжелое — встать, отделить хотя бы на сантиметрик голову от подушки и хотя бы чуть-чуть приоткрыть глаза, склеенные самым надежным клеем.

Ты еще вроде бы спишь, когда дадут тебе в руки узелок, сделанный из платка. Узелки у всех одинаковой формы: внизу стоит тарелка, она прорисовывается через платок и придает форму узелку. На тарелке, надо полагать, лежит стопка блинов, потому что если ношение завтрака косцам было крепкой традицией, то уж совсем железной традицией были блины на этот завтрак.

Как только выйдешь из душноватой избы на волю, сразу дрогнет в груди светлая радость — неизъяснимая свежесть разлита по всей земле в это время. Село пустое. Лишь кое-где такие же, как ты, выходят на крыльцо люди. Вот все собрались в одном месте, на скамейке возле Ефимова двора. Тут выясняется, что никто путем не знает, куда ушли косцы, то ли на Попов луг, то ли в Капустный овраг, а то ли решили начинать с Подувалья. Большинство сходится на том, что нужно идти к мосту, скорее всего, там мужики.

Село стоит на высоком большом увале. С одной стороны подъезжаешь к нему по ровному месту, а на три другие стороны открываются из села близкие и далекие окрестности, расположенные внизу, гораздо ниже села. По самой низинке петляет река Ворща, а по берегам Ворщи и цветут луга.

Как только, растянувшись в длинную вереницу, выходили мы к Пенькову сараю, как только открывалось нам с высоты холма ворщинское замысловатое петляние, так сразу и показывались маленькие от расстояния косцы. Широкой цепочкой рассыпались они по лугу, и, где идут, луг сразу становился темным, как и та половина луга, которую они успели скосить за сегодняшнее утро. Издали стараемся угадывать косцов: где мой отец, где отец Вальки Грубова, где кто. Но пока что никого не угадаешь. Крохотные фигурки косцов одна за другой дергаются, как будто невидимая рука перебирает лады у гармони.

Чем ниже спускаемся мы с холма, тем сильнее пахнет туманом и рекой, а когда ступаем на луг, охватывает запах скошенной, но еще сырой, еще не охваченной хотя бы самым первым увяданием травы. Густые, тяжелые валки лежат рядами, образуя прокосы. Вот валок потощее, пожиже других, и прокос рядом с ним узенький. Да и выкошено нечисто. На конце взмаха кверху лезла коса, оставляя высокую щетку. Там торчит клок травы да там клок: не иначе, семенил здесь с косой неказистый мужичок Иван Грыбов. Он ведь любит, чтоб полегче да поменьше.

Зато рядом прокос — два Ивана Грыбова. Ровно, беспощадно срезана трава. Широко, отлогим полукружием ходила коса. Плавно, но и быстро водил ею высокий сутуловатый Иван Васильевич Кунин.

В каждой крестьянской работе должен быть свой талант. Но нигде так ярко он не проявляется, как на косьбе, потому что здесь все становятся в ряд, друг за дружкой, и сразу видно, кто на что способен. Каждая деревня знает своих лучших косцов, и сами они знают, что они лучшие косцы, и втайне гордятся этим.

У каждого из нас, ребятишек, несущих завтрак, работает на лугу отец ли, старший ли брат, и каждый из нас хочет, чтобы именно у его отца был самый широкий, самый чистый прокос, чтобы именно он, а не кто-нибудь другой шел впереди и вел всю растянувшуюся цепочку.

Косцы радовались, увидев нас, спускающихся с холма. Впрочем, никто из них не бросал прокоса на середине, но, дойдя до конца, пучком мокрой травы вытирал косу, а если прокос привел к реке, то и окунал косу в сонную воду. Омоется с косы прилипшая к ней травяная мелочь, и, когда вскинет косец ее на плечо, будут стекать с острого носка светлые речные капли.

Подложив под себя свежескошенной травы, косцы рассядутся завтракать, но не очень кучно, не очень близко друг к другу: с одной стороны, чтобы далеко не идти, а с другой стороны, боязно: вдруг у соседа блины окажутся белее наших! Однако такая рассредоточенность косцов не мешает перекидываться шутками. Например, тот же Иван Грыбов обязательно крикнет, хотя бы и мне, сидящему возле отца:

— Вова, а Вова, не осталось ли у вас там крутых яичек, а то соль доесть не с чем!

Покойный Иван Федорович, тот, бывало, обязательно достанет из кармана сложенную во много раз газету, рас-

прямит, разгладит ее на коленке, и тут уж возможно, что поближе пододвинутся мужики, соберутся в кружок.

А в газете фотография, как взрываются бомбы среди чудных, похожих на большие копны сена абиссинских хижин и как черные полуголые женщины с черными ребятишками убегают в пальмовый лес.

— Мерзавцы! — выругается в сердцах кто-нибудь из косцов.— Нету на них управы!

Позавтракав, косцы закуривают и курят долго и прочувствованно. Махорочный дым зыбко плавает, не поднимаясь кверху и не рассеиваясь. Мы собираем узелки, и, когда уходим, вслед нам начинают звонко вжикать бруски.

Непременно (так уж заведено) каждый косец оставит и блинов, и яичко, и молочка в поллитровой бутылке. Отойдя шагов двести — триста, мы рассаживаемся в кружок, и у нас начинается свой завтрак.

Все необыкновенно для нас в мире в эти ранние часы, в которые мы всегда спим, а сегодня оказались на лугу, возле реки. К воде подойдешь — она тихая, еще не проснулась, темная, таинственная. Желтые кувшинки замерли и теперь, утром, горят ярче, чем даже в солнечный полдень.

Хоть мы и одеты по-утреннему — в пальтишках, в кожаных сапогах и фуражках,— хоть еще и не пригревает солнце и зябко будет, если раздеться, все же решаемся купаться. А сами разговариваем вполголоса, как разговаривают возле спящего человека, как будто река и правда спит. Сумела что-то такое внушить река, что не слышно ни смеха, ни громкого разговора.

Разделся, так надо прыгать, не целый день стоять голышом на берегу! Кто-нибудь потрогает рукой воду и вскрикнет от неожиданности: «Парное молоко!» И ты знаешь, что теплой покажется вода, но все равно она неожиданно, чрезмерно тепла по сравнению с прохладным воздухом утра. И все равно, как ни готов к этому, воскликнешь удивленно: «Ой, братцы, парное молоко!»

Когда прыгнешь в воду и немного очувствуешься, ждет новая неожиданность. Оказывается, вода не так уж тепла, она сильно, крепко сжимает и освежает тело, а на берегу ожгет его, мокрое, утренним холодком.

Может быть, раза два или три мне пришлось искупаться в детстве ранним утром, но купания эти запомнились на

всю жизнь, и благодаря этим благодатным случаям я и до сих пор не променяю никакого другого купания на купание именно ранним утром и именно в нашей речке.

Красиво издали глядеть на людей, которые косят! Хорошо любоваться и вблизи на умелого, ладного косца! Эти равномерные, экономные взмахи косой, это ритмическое разворачивание плеч, когда коса отводится назад, замахивается медленно, словно пружина сжимается при этом, которая потом стремительно, резко толкнет косу в обратную сторону, а косец припадет на правую ногу и на правый бок, да еще и выдохнет вслух: «Х-ха!»

Рубаха на груди распахнута, лицо и шея запотели, и отблески зари лежат на лице: хоть сейчас пиши картину, хоть сейчас читай вслух знаменитые строки:

Раззудись, плечо, размахнись, рука,
Ты пахни в лицо, ветер с полудня!

Но вот что странно. Как только сам возьмешь косу и станешь в ряд, тотчас куда-то пропадают и окрестности, и облака, и даже стихи про то, чтобы плечо как следует раззуделось. Весь мир сужается, в нем остается желтое деревянное окосье, кривое синеватое лезвие косы, по желобку которого, смывая травяную мелочь, бежит роса, небольшой участочек (на полшага вперед) стоящей травы, которую предстоит срезать, да еще время от времени серый брусок, скользящий по нежному жалу то с той, то с другой стороны. А если и вскинешь голову и оглянешься по сторонам или посмотришь туда, где должен оканчиваться прокос, то, как назло, именно в этот момент затечет в глаза струйка горячего пота, и застит белый свет, и защиплет глаза так, что какие уж тут облака и окрестности!

— Так-так! — говорили мужики в то памятное утро.— Значит, подросла молодежь, оперилась. Это хорошо! Ты, Юрий, становись за своим отцом, ты, Валентин, за Иван Михайловичем Пеньковым, а ты, Володимир, за Сергей Васильевичем. А сзади тебя пойдет Андрей Павлович. Пошли!

Неторопко, словно бы бережно провел косой Иван Васильевич Кунин, и первые крайние к тропинке цветы бросились в ноги великану с беспощадным инструментом в руках, аккуратным рядком легли на землю. Когда он

вкосился шагов на восемь, следующий пошел косец, а там другой, третий. Вот и Юрка — детина выше всех нас на целую голову — ссутулился немного, пошел, пошел тянуться за мужиками. Хорошо помню, как сделал первые несколько шагов и я. Там, где мне пришлось начинать, густо росли розовые махровые цветы на высоких стеблях, которые режутся очень легко и которые, как я выяснил лет двадцать спустя, называются горец, или раковые шейки.

Первые несколько шагов я следил, как подкашиваются и падают эти цветы. Но скоро пришлось сосредоточить свое внимание на сапогах Сергея Васильевича Бакланихина, а точнее, на задниках его сапог. Коротенькими шажками он переступал по ровной зеленой щетке, но в этих коротеньких шажках была для меня такая стремительность, что все мои усилия свелись к тому, чтобы сапоги Сергея Васильевича не ушагали слишком далеко, тем более что сзади все громче становилось, с громким выдохом, почти кряхтением, дыхание Андрея Павловича. Я чувствовал, что весь я как-то неудобно перекошен, что трудно дышать, правый бок стало ломить, и не было рук, чтобы вытереть пот со лба и глаз. Становилось очевидным, что до конца прокоса мне не дотянуть, что больше в таком неестественном, перекошенном состоянии я быть не способен. Но тут сзади я услышал шарканье бруска и тоже остановился, чтобы наточить косу. О, распрямиться! Вздохнуть глубоко и медленно, чтобы расправились все мышцы и не щипало глаза,— одно это было блаженством! Но коса наточена, брусок снова засунут за голенище, надо идти дальше.

Пожалуй, ничего больше и не осталось в памяти от того самого первого утра. Запомнилось еще, что мужики не насмешничали над нами, а были серьезны, терпеливы и, я бы сказал, доброжелательны. Они хорошо знали, что косьба есть самая тяжелая физическая работа из всех крестьянских работ.

Около десяти часов утра, когда высоко поднимется и обсушит росу солнце, в луга пойдут женщины. Они пойдут, вооружившись деревянными вилами-двоешниками и граблями, и не станут растягиваться в длинную вереницу, а кучно, яркой ситцевой стаей, спустятся с холма, и, глядя на них со стороны, почувствуешь: чего-то без них недоставало этому летнему пейзажу. А то еще и песню запоют, и далеко-далеко ее слышно по Ворще.

Придя на луг, они не выстроятся в цепочку, как косцы, а рассыплются по зелени луга яркими, солнечными, то

синими, то красными, то желтыми, то белыми мазками и почнут разбивать валки, разбрасывать траву тонким ровным слоем.

Жаркое солнце ошпарит свежую траву, и трава приувянет, охваченная жаром, а над лугами поплывет тот хрестоматийный, тот классический, тот единственный аромат молодого сена.

Где-нибудь возле межи или канавы в вянущей траве много попадается розовой полевой клубники. Если еще и не покраснела ягода, а успела всего лишь налиться, да сделаться белой, и лишь слегка порозоветь, то и тогда она мягка, и сладка, и душиста. Бабам не нужен перекур. Вместо этого они выбирают клубнику из сена и едят ее.

Постепенно на лугу начнут появляться копны. Сено в них сухое до хруста. Про него говорят: «Хоть сейчас заваривай заместо чаю!»

После обеда выспавшиеся косцы приедут в луга на телегах, чтобы возить сено в село, в приготовленные для него сараи. Тогда на лугу начинается большое оживление.

Сильная жара, которая всегда стоит в сенокосную пору, близость реки, ну и, конечно, молодость породили обычаи, что парни в свободную минуту не обойдутся, чтобы не погоняться за девушками по лугу, а догнав, не утащить жертву к воде и не искупать ее прямо в платьишке. Бывает, что и парня огрудят восемь или десять здоровых, молодых, жарких девушек, и тогда уж быть и ему купану. В игру вступают женщины из тех, что помоложе и побойчее, за парня заступятся другие парни, и пойдет свалка, чистая куча мала, которая каким-то образом все передвигается да передвигается к воде, пока наконец все вместе не скатятся с крутого бережка.

Помню, как тащили бабы в реку здоровенного брата моего Виктора, который теперь, не очень давно, разбился вместе со своим самолетом. Позволил он дотащить себя до самой воды, потом как встал, как развел руками — словно горох, посыпались от него повисшие было бабы. Смех, брызги! Пока он смеялся над бедой своих супротивниц, Вера Балдова прямо из воды (нечего терять), изловчившись, схватила Виктора за ногу да и сдернула в омут.

Кто знает, может, в последнюю долю смертельного мгновения, когда падала на него, чтобы раздавить вдребезги, заснеженная пустынная земля, в числе других лихорадочно скачущих перед глазами картин мелькнул и теплый омут в кувшинках, и доброе, мягкое сено, и смех,

и брызги, и цепкие бабьи руки, охватившие могучее тело его и справа, и слева, и спереди, и сзади, и даже, вот поди же ты, за ноги!..

Последний раз участвовать в покосе мне привелось лет пять или шесть назад. Я приехал на побывку в село, а был разгар сенокоса. С вечера я и не думал идти косить, а собирался на рыбалку, но застучали по наковаленкам молоточками, и какая-то волна подмыла, разбудоражила, подумалось: почему бы и не сходить? Правда, если идти, надо быть готовым к тому, что ежели сорвешься, то не жди уж бережности от мужиков, как тогда, в первый раз. Сейчас ты для них городской, отрезанный ломоть, и любая оплошка с твоей стороны тотчас станет желанной мишенью. По крайней мере, так думал я.

Вечернее время было упущено, а косы в нашем собственном хозяйстве не оказалось: давно некому было косить.

— Да возьми ты косу у Ивана Васильевича Кунина! — посоветовал мне сосед.— Он теперь престарелый, сам не ходит, а коса у него, сам знаешь, первая была коса.

— Неловко будить его завтра, а теперь тоже, наверное, спит.

— Что ты, он завтра, как идти нам на покос, обязательно будет сидеть перед домом на лавочке! Привычка за семьдесят лет. Посмотрит, как пошли с косами мужики, и опять спать. Так что ты не теряй момента.

Проснувшись по звонку, я вышел, плеснул на лицо горсть воды, выпил горшок красной, томленой простокваши и вышел на волю. В сумерках, как все равно на дне глубокой зеленоватой воды, спало село.

И точно, еще издали, еще от церковной ограды увидел я огонек цигарки возле Кунина дома. Я поздоровался с Иваном Васильевичем и сел рядом. Иван Васильевич действительно постарел. Некогда высокое и сутуловатое тело его согнулось еще больше, да и сидел он теперь по-мужицки, облокотившись на колени.

— Что,— сквозь кашель от махорочного дыма спросил старик, воздухом дышишь? Дыши, он для вас, городских, полезный. Я ведь знаю, очень вы любите воздухом дышать.

— Решил вот сходить с мужиками на покос.

Иван Васильевич насторожился, как старый конь, услышавший звон бадьи, в которой всегда ему задавали овес.

— Я, чай, коса-то у тебя в порядке, отбитая, дал бы мне покосить. Я ведь одну только росу. Охотку сшибить. А уж завтра и на рыбалку.

— Да... Косе как не быть. Без косы рази можно? Свои-то повывелись, что ли?

— Все повывелись.

— То-то! А ведь у Лексея Лексеича, бывало, четыре косы было. Одна — большая, двенадцатирушная, вроде моей, а то одна поменее, помнится, ты ею кашивал. Да Виктора коса, да Костянкина. А вот у Николая, не помню, была ли своя коса... Как же, ведь я все косы в селе знаю! Хороши были косы, огонь!

— Вот и дал бы мне. Хочется покосить утречко.

— Да... Значит, вроде моя коса будет косить, а сам я в это время спать. А ты почем знаешь, что сам-то я не пойду? По-твоему, зачем я встал такую рань? Может, я и встал, чтобы на покос идти.

Было ясно, что старик шутит и куражится слегка, поэтому я повел дело прямо.

— Что ж, Иван Васильевич, старый старится, молодой растет: всему свое время. Я помню, как ты кашивал да впереди всего села ходил, картина!

— То-то, что помнишь, а я разве забыл? А теперь, видно, уж отмахался!

— Да, видно, всему свое время, что ж и жалеть? Дал бы мне косу-то. В обед принесу.

Иван Васильевич пошел в избу. Было слышно, как он прошел в потемках сенями и скрипнул дверью из сеней на двор. Вскоре он появился с двумя косами.

— На, вот тебе коса, смотри не сломай, поаккуратней!

— А вторая зачем, на выбор?

— Этой я сам буду косить. Разбередил ты меня, паря. Может, последний разочек...

Он говорил, отведя глаза в сторону, смущаясь своей слабости, не стариковской физической слабости, а той, что вот, как дите, не утерпел, решил побаловаться. Словно что-то несерьезное было в том, что он решил идти на покос. Мне бы надо уговорить его остаться, но я не решился уговаривать, хорошо поняв его порыв, и стоял, тоже смутившись.

— Ну, пошли, чего стоим, а то уйдут, не догоним!

Привычным движением Иван Васильевич вскинул косу к себе на плечо.

Косцы не удивились, когда увидели Ивана Васильевича, ну, что ли, в своих рядах.

— Глядите, глядите, кто сегодня вышел!

— Берегись трава!

— Тяжеленько будет, кости-то старые, скрипят небось, как немазаны!

— Ничего, старый конь борозды не испортит!

Все это было сказано еще в селе, когда мы подошли к мужикам, а потом до луга шли молча.

Не шестьдесят, не семьдесят кос, как некогда, до войны, посверкивало, отражая побелевшее рассветное небо, а всего-то шло нас одиннадцать человек, да еще двенадцатым шел бригадир с деревянной двухметровой меркой.

Ивана Васильевича хотели поставить впереди, по старой привычке, тем более что и остальные косцы, кроме меня, были немного помоложе Ивана Васильевича. Но он решительно отказался идти впереди и встал сзади.

Народу осталось мало, а трава, как нарочно, уродилась невпрокос. Такая трава, что, с одной стороны, косить ее — одно удовольствие, когда стоит она стеной и режется плотно и сочно, но, с другой стороны, и силенок она требует куда как больше, чем реденькая, невзрачная травишка. Мы поторговались немного с Иваном Васильевичем, кому идти самым задним: ему или мне — и он уговорил меня идти вперед. Некоторое время я косил увлеченно, забыв про все, но вскоре услышал, как старик шаркает косой по самым моим пяткам.

— Могу! Могу! — раздалось сзади сначала негромкое причитание.— Могу! Пошел! Коси! Живей! Не мешкай! — закричал Иван Васильевич уже громко.— Зарежу!

Я прибавил шагу, но, поняв, что не уйти, решил пропустить разошедшегося старика вперед. Он встал на мой прокос, благо прокос был не узок, и вскоре, как и меня, смял еще одного косца, который тоже пропустил его, и вот Иван Васильевич настиг третьего.

Он остановился, тяжело дыша, рот его был открыт, но глаза старика горели живо и радостно. Схватив горсть травы, старик вытер ею мокрое, налившееся кровью лицо, и травяная мелочь прилипла к морщинистой стариковской коже, и стало не понять, отчего так мокры щеки: от пота, от росы или от слез совершившейся радости.

— Могу! — всхлипнул вслух старик и расслабленно опустился на землю. Он снова брал траву, и снова размазывал ею слезы по лицу, и все всхлипывал время от времени.

Когда снова начали косить, Иван Васильевич опять пропустил меня вперед.

— Ты иди... Иди... Не бойся. Я теперь тихонечко, по-стариковски... Помахал, и будет... Кости мои немазаны...

Я шел впереди и думал: что же такое таится в ней, в извечной работе земледельца, что и самая тяжелая она, и не самая-самая благодарная, но вот привораживает к себе человека так, что, и на ладан дыша, берет он ту самую косу, которой кашивал в молодости, и идет, и косит, да еще и плачет от радости?

А еще я думал о том, как веками складывалось у крестьянина то, что можно, может быть, назвать вкусом к земле и что делает каждую его работу еще и красивой. И как было бы страшно, если бы какие-нибудь обстоятельства отбили у него этот вкус к земле, оставив ему одну только голую физическую тяжесть труда.

Мы докосили наконец до реки, омыли в воде свои косы и сели курить.

* * *

Чем в середине июня пахнет воздух в селе? Отцвела по реке черемуха и те считанные черемуховые деревья, что растут в пределах села: две черемухи возле Николай-Петровых, две — в церковной ограде, две — у Кузовых в огороде — тоже отцвели и осыпали белый цвет, которые на тропинку перед домом, которые на траву на заброшенных прицерковных могилах, которые на бархатную черноту свежевскопанных гряд.

Конечно, можно сказать, что крепкий черемуховый запах еще как бы держится тончайшей примесью и в июньском воздухе, но это была бы явная выдумка.

На самом деле запах не черемухи, а полевых цветов наносит ветер через прогоны внутрь села.

Острый запашок пчеловодческого дымаря, разведенного на сухих белых ивовых гнилушках, может присоединиться уж к медвяному аромату цветущих трав, а вслед за горьким дымком повеет и чистым медом, потому что для того и разводят дымари, чтобы открывать и проверять кипящие пчелами ульи.

Но перед самым сенокосом, примерно так за неделю до него, когда управятся вполне с сеянием яровых и посеют даже и гречу, в селе начиналась короткая, но энергичная пора, приносящая немало удовольствия и мужикам и бабам, а главное, ребятишкам. Называлась она навозной.

Тогда не будешь различать, откуда наносит цветами, а откуда наносит пасекой, тогда все заглушит и одолеет и один будет господствовать целую неделю иной по силе и крепости, иной по самой окраске своей непередаваемый аромат.

Не знаю, чем объяснить: то ли сознанием огромной полезности навоза для земли, то ли тем, что иной раз и зиму всю держали теленка в избе — была возможность принюхаться и привыкнуть,— но спрашивал я у многих людей, прошедших через самую острую разлуку военных лет,— и все мне говорили, что на фронте часто вспоминали цветущее июньское время навозной и вспоминаемый запах навоза казался едва ли не самым близким запахом на земле.

Все в нашем селе: нужно сосчитать дома, нужно нарядить людей на собрание, нужно развозить хлеб по трудодням,— все начиналось с Пеньковых, потому что дом их под седой, замшелой осиновой дранкой, осеняемый огромной ветлой, стоит на краю оврага, и если на любом другом углу села возможно построить дом и нарушить порядок счета, то крайнее Пеньковых стать нельзя. Значит, в середине июня у Пеньковых, раньше, чем у других, снимали со скрипучих петель серые тесовые ворота, и открывался, таким образом, широкий проезд внутрь тесного крестьянского двора.

Не знаю, как делалось до колхоза, говорят, что просили «помощь» и соседи с лошадьми приезжали помогать вывозить навоз. Я уже говорил, что не застал доколхозной поры деревни, и помню, что на первых порах колхоза навоз вывозили дружно, сообща, по очереди, начиная с Пенькова двора.

Многочисленная Пенькова ребятня — шесть или семь девчонок,— возбужденная необыкновенностью, носилась тут, попадаясь под ноги взрослым и мешая им делать дело.

Приходилось кое-где разбирать, ломать прясла и хлевы, чтобы ничего уж не мешало развернуться внутри двора лошади, запряженной в навозницу— узкую, похожую на корыто телегу, которая и нужна была в хозяйстве единственно в течение этой июньской недели.

Навоз на телегу нагружали женщины. Вот незримо потек вдоль сторонки и достиг нашего дома ручеек аромата — значит, кончили возиться с хлевами и пряслами, зайдя в коровью избушку, копнули вилами и сочно, с брызгами брякнули на навозницу первый пласт.

Пока бабы нагружают навоз, возчик не упустит момента посидеть на крыльце с хозяином дома, отдохнуть от ломания хлевов и прясел да скидывания с петель ворот и угоститься хозяйским табачком, в чем для него, возчика, состоит особая прелесть навозной: за неделю объедешь десятки домов и столько же сортов табака перепробуешь за это время.

Бойкая женщина выводит за узду лошадь со двора. За лошадью показывается навозница, нагруженная стогом. С ее шершавых, неструганых досок капают темно-коричневые, как крепкая настойка йода, капли.

Возчик примет у женщины лошадь, возьмется за вожжи, зашагает вдоль села рядом с навозницей, и когда проедет так несколько подвод, то из упавших на землю клочков навоза образуются две различимые темно-коричневые полоски. Тогда-то и примется запах навоза господствовать над всеми остальными запахами, окружающими село.

Если после того как уедет возчик, у женщин образуется свободная минута, начинается натуральный концерт, по-другому не могу назвать сложный, почти симфонический строй бабьего разговора.

Начинает, допустим, тетя Агаша, как самая что ни на есть частоговорочка. Она начинает сразу с большим энтузиазмом, на высокой ноте. Уж и одну ее понять очень трудно, а тут, вступив с середины фразы, редким баском почнет вторить ей (бу-бу-бу) Олена Грыбова, и так некоторое время они вдвоем ведут мелодию разговора.

Тотчас, не мешкая долго, вступают сразу пять или шесть разной тональности голосов, и теперь, сколько бы вы ни прислушивались, нельзя разобрать ни одного слова. Улавливается только общий характер разговора: мирный, относительно мирный, увлеченный, воинственный, весьма воинственный и так далее, в быстро нарастающей степени.

Характерно, что каждая участница разговора говорит в это время что-то свое, но все они хорошо слышат и понимают друг друга.

Протарахтит порожняя навозница, обрывается концерт, и слышно, как сочно шлепаются друг на друга тяжелые пласты навоза.

Если взрослому интересна и приятна навозная тем, что и работа не тяжела, и покуришь на крыльце с хорошим человеком;

если женщинам интересно собраться в одно место, дабы обсудить во всех аспектах наиважнейшие события послед-

них дней, как-то: кто провожал с гулянья Нинушку Жильцову, чего едят за обедом у Кулаковых и (особенно высокие тона разговора) с кем сидела на крыльце новенькая учительница Татьяна Васильевна;

если надо, к тому же, поговорить и про вчерашнее кино, показанное в пожарнице: чувствительное, переживательное показывали кино;

если никак не обойтись, чтобы не поругать, найдя причину, председателя и бригадира, хотя, скорее всего, ругать их вовсе не за что, но было бы желание — не святые люди и председатель с бригадиром;

если все это так, то у ребятишек в навозную свой наинтереснейший интерес.

Тракторы не вошли еще тогда в полную силу, они едва-едва начинались, и главным в колхозном хозяйстве по-прежнему оставалась лошадь. Из поколения в поколение в течение сотен лет передавалась в семье любовь к лошади — к центру, к стержню, к главной опоре хозяйства. Для каждого мальчишки — будущего пахаря — не было в мире ничего более значимого, более важного, чем лошадь, не было, значит, иной, более интересной забавы, не было другой, более короткой возможности почувствовать себя взрослым, «мужиком», кроме занятия с лошадью.

То была пора, когда лошадей села, сведенных на один колхозный двор, называли не просто по своим именам, но так: Петра-Семенычев Разбойник, Бакланихин Графчик, Гафонова Пальма, Лексей-Лексеичев Голубчик, Жильцова Малка...

Долго помнили все, кому какая лошадь принадлежала до колхоза, и даже закреплять за колхозниками для колхозных работ старались их же собственных лошадей. Теперь это поколение лошадей давно вымерло, и теперешние мальчишки возятся около автомобилей и тракторов.

Не знаю где как, а в наших местах теперь почти не увидишь эту идиллическую (издали) картину: пахарь налегает на ручки плуга, лошаденка его идет бороздой, так что спина приподнята, а голова опущена вниз, а сзади грачи, выклевывающие из перевернутого пласта земли червяков.

Грачи сразу перестроились и стали сопровождать тракторы, не пугаясь ни грохота, ни лязга, ни запаха выхлопных газов.

И к стогу клевера зимой выгоднее послать трактор, прицепив к нему огромные, из цельных бревен скреплен-

ные сани. Полезет он к стогу напрямки, подминая широкими гусеницами пышную голубоватую целину, и клевера привезет в восемь раз больше.

Недавно, когда решили в Поповом лесочке устроить летний загон для коров, чтобы они там ночевали, и когда решили, что надо бы поставить для доярок избушку рядом с этим загоном, то трактор взял и перетащил избушку целиком из Негодяихи за два с половиной километра. Понадобилось на все два или три часа. А ну-ка разбери ее, да перевози на лошади, да собери снова.

Я к тому вспомнил про избушку, что, начав с пахоты, трактор вошел теперь в быт и делает все, что ему скажут, а разговаривать с ним стало очень просто: он ведь теперь не эмтээсовский, а свой, колхозный: куда хочу, туда и пошлю.

Но память есть память. Недавно разговорился я со сверстником своим — Александром Павловичем Куниным, агрономом и заместителем председателя колхоза, человеком занятым и деловым, и он, просветлев лицом, тотчас перечислил мне все до одной лошади по имени и по их принадлежности к последним единоличным хозяевам. Все мы вспомнили с ним: и то, что наш Голубчик был вороной, как вороново крыло, с косматой гривой и некладеный, а Графчик — гнедой, а Пальма — белая, а Малка — огромных размеров, как если бы полторы лошади...

Возле лошадей всего удобнее было увиваться нам именно в навозную. До самого поля бежишь собачонкой сзади навозницы. Поле все усеяно рядами небольших навозных куч. Поцапает возчик грабцульками, набросает кучу, протронет лошадь на несколько шагов и снова поцапает грабцульками. Через два или три дня навозные кучки разобьют, ровным слоем навоза покроются поля, тогда и запашут его в землю, чтобы обернулся он хлебным зерном.

Когда освободится навозница, не ждешь лишнего приглашения, бросаешься к ней, а возчик переворачивает одну доску. Как сейчас, вижу ее шершавую поверхность, сухую и чистую, лишь с маленькими подтеками по самым краям. Садишься на нее, на эту перевернутую доску, и блаженствуешь всю обратную дорогу.

Однако это не верх блаженства и не предел мечтаний. Самая большая радость, как и в каждом деле, может прийти неожиданно. Разожжет Петяк Васильев свою цигарку (из чужого табака), которая у него обычно оттягивает вниз губу, и жалко ему уходить с крыльца.

— Эй ты, как тебя, Борькя, ну-ко, отгони за меня возок, да смотри хорошенько, да кучи-то одна от другой поровнее клади, чай, знаешь!

Счастливый Борька не бросается в этом случае к лошади, проявляя суетливость и нетерпение, но равнодушно возьмет вожжи: почему не сделать одолжение? Вдоль села пойдет рядом с лошадью, не оглядываясь по сторонам, а задумчиво глядя себе под ноги, точь-в-точь как взрослый, которому и правда есть о чем задуматься, а вожжи небрежно бросит на навоз: лошадь умная и сама знает дорогу.

Борькин товарищ, который пять минут назад ничем не отличался от столь неожиданно выделившегося Борьки, бежит сзади в надежде, что уж Борька посадит его на перевернутую доску. Борька, справившись со скидыванием навоза, обратно поедет, стоя на телеге, подергивая вожжи и лихо раскручивая конец их над головой.

По-моему, крестьянский мальчик как только родится, так и начинает страстно мечтать прокатиться верхом на лошади. А когда кончается рабочий день, лошадей нужно отводить в луга, чтобы, уставшие за день, они всю ночь паслись, отдыхали, ели зеленую траву. Это и есть знаменитое ночное. Взрослым лень отводить лошадей, а потом пешком идти обратно в деревню.

Если пообещает тебе взрослый, что именно ты поведешь его лошадь в ночное, то целый день не отходишь от этой лошади, боишься пропустить нужный момент.

Первый раз в жизни мне пришлось сесть на ту самую Малку, которая была как бы полторы лошади. Сколько раз я ни старался представить себе в воображении, как это сидеть верхом и что при этом чувствуешь, и даже садился верхом на бревно, воображая, что это лошадь, и, казалось, ничего нет страшного, если бревно сейчас начнет двигаться, действительность оказалась иной. Отец, взяв на руки, поднял меня куда-то очень высоко вверх, и первое, что я ощутил,— огромное неудобство, как если бы меня посадили на острое ребро доски. Вдруг доска — показалось мне — накренилась, все части лошади подо мной пришли в движение, и одна ножонка моя поползла вниз, я весь перекособочился и, только судорожно ухватившись за холку, не свалился на землю. Малка сделала шаг. Ее огромные лопатки двигались равномерно и неудержимо, то приподнимая меня, то опуская, главным образом перекатывая с боку на бок.

А тут Юрка Семионов хлестнул Малку жидким прутом по комодообразному заду, и лопатки лошади, вместо того чтобы более или менее плавно подниматься и опускаться, стали бить меня из-под низу, причем одна сторона била сильнее, и в конце концов я повис, зацепившись за холку собственной поджилкой. Меня поправили, и я терпеливо доехал до места, после чего по крайней мере три дня не мог ходить обыкновенно, а все как-то расставя ножонки.

Это потом, года два спустя, не считалось за дело сесть на лошадь без узды, с одним прутом в правой руке, и, держась левой рукой за гриву, прогарцевать, лихо откинувшись назад,— безграмотная верховая езда, но грамотнее не научаются и взрослые наши люди. Седла ведь почти не знают в нашей местности. Так или иначе, но все лето, бывало, ходим со сбитыми до крови копчиками.

И все же навозная не имела бы той прелести и той притягательной силы, так что и зимой поминаем и ждем навозную, если бы по случайности не совпадало каждый год с навозной одно наиважнейшее явление природы. Дело в том, что в наших Олепинских прудах как раз в навозную начинали метать икру караси.

Пруды небольшие, расположены один над другим, весной лишняя вода из верхнего течет в нижний, а оттуда по оврагу шумными ручьями выливается на луг и растекается там в ширину, как стеклом, покрывая прошлогоднюю луговую травку и сверкая на солнце бесчисленным множеством чешуек, переливается, как будто смеется.

Как умудряются караси жить в наших прудах, неизвестно. Но факт остается фактом — живут. Правда, один год была суровая зима и пруды промерзли насквозь. Когда весной подняло лед, на каждой льдине снизу, приморозившись к ней, желтели и большие и маленькие караси. Часть карасей, видимо, и тут уцелела на развод, ибо ведется рыбешка по сей день.

После замора следующим бедствием для рыбы, как ни странно, являются большие праздники. Во главе с председателем несколько мужиков заведут в праздник, с утра пораньше, частый бредешок и выволакивают в мотне огромный ком жидкой голубоватой тины. Сквозь голубизну золотом просвечивают караси.

Наши способы были примитивны и патриархальны. Ну, прежде всего — верша, сплетенная из ивовых ли, из ореховых ли прутьев. В вершу накладешь кирпичей, чтобы тонула, а для приманки — горелых хлебных корок и варе-

ной картошки. Лучшая приманка — жмых из-под постного масла, по-нашему, избоина. Снаряженную таким образом вершу толкаешь шестом шагов на десять — пятнадцать от берега, то есть, по существу, на середину пруда. Ночь простоит, а утром нужно вынимать. Дорогая минута, когда тянешь за веревку, и вот уже показались черные, перепревшие в теплой воде прутья старой верши, вот уж наполовину она выступила из воды, и тогда раздается в верше плеск и трепескание. По шуму, поднимаемому рыбой, сразу узнает опытное ухо, сколько там карасей: ведро, полведра или так себе — десяток карасиков. Были случаи, что набивалось в вершу до двухсот штук, как раз такое-то и бывало в навозную. Навсегда останется жить в памяти ощущение необыкновенно теплых мокрых прутьев верши, парного запаха прелой ивы, ила, самих карасей.

Второй способ ничуть не сложнее. У коробицы мы заделывали нижнее отверстие и водили вдвоем или втроем этой коробицей по дну пруда, поднимая ее время от времени. Для этой ловли нужно надевать на ноги бросовую обувь, такую, чтобы не жалко было лазить в ней по пруду, дно которого сплошь усеяно старыми ведрами, тазами, обручами, обломками кос и серпов, изломанными плугами, обломками бороны, разбитыми бутылками, ободьями от колес, стесавшимися подковами и всем другим, что можно встретить в деревенском быту и что способно тонуть в воде.

Выше колен вязнут ноги в мягчайшей тине.

С коробицей лазали не только ребятишки, но и взрослые. Случалось, и бабы перед складчиной, раздевшись до холщовых рубах, промышляли дармовую закуску.

Таким образом, ко всем июньским запахам и ароматам села, уже упомянутым мною на предыдущих страницах, нужно добавить и присовокупить запахи прудовой тины, которая во множестве выволакивалась на берег коробицами и которая, просыхая на зеленой береговой траве, становилась еще голубее и ярче.

* * *

Рыба рыбе рознь. Хотя я и считаю карася, чисто золотого, даже потемнее, чем золото, с яркими красными плавниками, едва ли не самой красивой рыбой на земле, однако одно дело — пруд с карасями, а другое дело — река.

Над Ворщей можно смеяться: уж очень она мала, даже не по сравнению с другими огромными реками, плавно

текущими по огромным равнинам, нет, сама по себе безотносительно мала...

Но можно Ворщу и любить, притом не ущербной любовью, как нечто неполноценное, болезненное, жалостное, а просто любить, как, скажем, брат любит сестренку, если она вовсе не Жанна д'Арк, не княгиня Волконская и даже не Сильвана Пампанини, а простая крестьянская девчонка с цыпками на ногах.

В орбиту внимания олепинских жителей Ворща впадает в пределах Журавлихи — красивого смешанного леса, через который промывает себе нелегкий извилистый путь. Конечно, знают люди, что Журавлиха не край света и что за ней тоже течет Ворща, но практически ни один олепинский житель не уходил по реке дальше этого леса, да и в Журавлиху почти никто не ходит: хочется ли идти три километра, когда вот она, Ворща, в двух шагах, под селом.

Если идти Журавлихой по тропинке, ведущей к избушке лесника, то попадешь в густые заросли черемухи. Летом сразу бросаются в глаза обильные кисти с глянцевыми черными ягодами. Про весеннюю пору и говорить не надо: дружно цветет черемуха, белым-бело, слегка закружится голова, и растеряешься на мгновение: как же так? Ведь если все это мне зачем-то дано, то что-то с этим нужно делать! Ну, нарисовать бы, по крайней мере! Нельзя же одному и видеть и дышать здесь и так уйти, и люди не будут знать, какая бывает на земле красота!

Не то чтобы одна черемуха росла вокруг. Попадается на глаза необхватный стволище вяза — запрокинешь голову и увидишь вверху пышное зеленое облако, широко распространившееся над лесом. Скользнув по коричневому сосновому дереву, взгляд вознесется под облака, к ярко-зеленой игольчатой кроне с янтарными прожилками сучьев в ее малахитовой зелени. У подножия ели, в овальном «зайчике» от пробившегося солнечного луча, просвеченные насквозь, хрупкие, нежные, изнутри засветятся ландыши.

Всех неприметнее в этих дремучих зарослях скромница ольха. Она еще раньше отработала свое во славу красоты земли. Когда тотчас после водополки ни одного листика не было в лесу — одни голые сучья, грязные, неприбранные, неумытые (не прошло ни одного дождя), тогда на выручку природе первая пришла ольха. Она немедленно распустила свои длинные золотые сережки, которые, может быть, оказались бы невзрачными и затерялись бы в буйной лет-

ней зелени, но среди голых грязных сучьев были свежи и прекрасны.

От каждой вспорхнувшей птички (а их бездна в Журавлихе, особенно возле реки) вспыхивают на солнце и медленно распространяются зеленовато-золотистые облачка ольховой пыльцы. И ольхе хорошо: листва не мешает оплодотворению,— и земля не прогадала — выручила ее ольха в трудное переходное время. Теперь ольховые деревья отступили на шаг назад, стушевались, говоря: «Валяйте, буйствуйте, пышноцветущие, справляйте праздник любви, славьте таинство брака. Я уж любила, и уж опередила вас!»

Зайдя в черемуховые дебри, начинайте продираться влево. Продираться придется не только сквозь частые деревья, но и сквозь травы, переросшие вас, а главным образом через крапиву, которая жжется здесь мгновенно и зло, особенно если достанет до уха и глаза. Под ноги вам будут попадаться разные бревна и коряги, принесенные большой водой да так и застрявшие здесь.

К острому запаху крапивы примешается душноватый запах таволги, а когда потом, в разгар рыбалки, вы будете невольно хвататься руками, измазанными в земле или рыбе, за растущую вокруг траву, руки ваши надолго пропахнут холодящим запахом мяты.

Деревья и высокие травы растут по обоим берегам, вплоть до самой воды. Иные прямо с куском берега постепенно съехали в воду да так и растут из воды, иные омертвели при этом и превратились в подводные коряги. Между двумя плотными, почти обнимающими друг друга сторонами леса в узком, но глубоком ложе течет ворщинская вода. В берегах глубокие подмывы, а в подмывах торчат, перепутавшись, древесные корни. С высокой травы и ольховых веток падает в воду множество жучков, да божьих коровок, да бабочек — отчего бы не водиться здесь самой разнообразной рыбе?

И то имеет значение, что ничем ее в этих корягах не возьмешь. Единственный способ — древняя примитивная удочка, которую, изловчившись, надо забрасывать через дремучие кусты.

Если притаиться под вечер и глядеть сквозь траву и ветки, то увидишь, как начнут, освещенные косыми лучами, неторопливо плавать взад-вперед красноперые стаи рыб такого размера, что новый человек обязательно удивится: неужели в этой речонке водится такая рыба!

Выбежав из Журавлихи, Ворща слегка растеряется от приволья и, единственно из резвости, запетляет то вправо, то влево. Здесь путь ее по зеленым лужайкам, но ольховые деревья и ветлы все равно будут сопровождать ее всю дорогу. На открытых местах река затемнеет глубиной, похвастается желтыми кувшинками, розовыми цветами стрелолиста и легко, смеясь и лопоча чего-то, по-девчоночьи, как бы даже на одной ноге, поскачет по мелким разноцветным камешкам.

Нужно сказать, что слева все время поднимаются над Ворщей зеленые увалы, этакие округлые холмы. Местами река за тысячи лет подмыла их и образовала песчаные и глинистые кручи; местами на увалах растут лесочки; местами дымятся деревеньки; на одном едва ли не самом высоком увале стоит село Олепино, служащее теперь предметом нашего внимания.

Около деревни Брод начинается Попов омут — ровная по ширине голубая лента, брошенная в зеленую траву. Впрочем, голубизна, конечно, дело условное. Цвет зависит от неба, иногда и белой бывает эта лента от частых кучевых облаков, а то и стальная, и тусклая, почти черная в осеннее ненастье, а то вдруг сделается на заре как будто из алого шелка.

После омута, нагревшись на солнышке, едва-едва протискиваясь, цепляясь подолом за кусты и даже оставляя клочья на острых сучьях, низко пригнувшись, подныривая под бревенчатую лаву, приостанавливаясь ненадолго, бежит дальше, сквозь кусты по камням и корягам. Длинные водоросли, волнуясь, тянутся вслед за ней, стараясь схватить подол, а она уж вон где поет свою журчащую песенку.

Под самым Олепином передышка — омут под названием Лоханка, потому что похож по форме на овальную лохань и, может быть, потому, что десятки поколений олепинских жителей ходили сюда купаться. В летний день вода в Лоханке — кисель, взбаламученная ребятишками, этакая теплая мутная жижица, которая даже и не освежает. В это время нужно идти на Попов омут — там нет ни души, вода такая, что, встав по шейку, различаешь пузырьки на щиколотках ног. На кувшинковых зеленых листьях во множестве дремлют синие стрекозы, а если с берега взглянуть потихоньку в корни дерева или куста, там, как в аквариуме, вялая от жары, передвигается рыбешка.

Николай Васильевич Лебедев, серьезный восьмидесятилетний старик, проработавший шестьдесят лет сельским

врачом в Черкутинской больнице, доказывал мне, что у ворщинской воды существуют какие-то особые свойства. Не думаю, чтобы это было так, но должен сказать: ни воды пяти морей, в которых мне приходилось купаться, ни воды множества рек и речек не приносили мне той свежести во всем организме, какая охватывает после купания в Ворще.

Послушав соловьев под Курьяновской кручей и миновав мост, Ворща утекает к другим деревням, переставая интересовать олепинцев. Но предварительно, на самой, так сказать, границе, на самом выходе из сферы их интересов, образует три больших и глубоченных омута: Черный, Средний и Круглый.

Про Черный все ходили легенды, что никто там, даже с длинным шестом, не мог достать дна из-за студеной воды, от которой ближе ко дну начнет ломить ноги, и дерзающие выскакивают, обыкновенно отфыркиваясь, и кричат: «Кой черт дно! Это пропасть, а не омут!»

В Среднем омуте однажды мы с Колькой Пеньковым увидели, как поверху ходит кругами по часовой стрелке огромная стая голавлей. На другой день притащили бредень, но едва завели — он зацепился за что-то возле дна. При нырянии вниз головой воздуха хватало только на то, чтобы дойти до дна, а не на то, чтобы там действовать и отцеплять. Между тем бредень не двигался и назад. Хорошо, если бы он был свой, а то в Прокошихе у Александра Павловича Павлова взят под залог головы. Когда я нырял, стараясь отцепить бредень от коряги, Колька стоял на берегу и хохотал: депешу Павлову надо посылать, депешу!

Известно, что в Круглом омуте, кроме всей прочей рыбы, живут четыре голавля-патриарха. Редко-редко (но можно увидеть) они, как субмарины, поднимаются из темной глубины и совершают два или три прогулочных круга. Сначала они видятся как некие темные тени и только ближе к поверхности оформляются в широколобых, темноспинных чудовищ, лениво пошевеливающих хвостами. Потом снова уходят в коряжистую глубину. Алеша Щербаков из Курьянихи караулил их и пытался убить из ружья, стрелял по ним неоднократно, но толку не добился.

В этом омуте четырехэтажные подмывы, нижний этаж очень глубоко под водой — наверно, там и живут голавли-патриархи.

Зимой таким толстым льдом покрывается река и таким заносит ее пышным снегом, что, если бы не кустарник да не ветлы, не найти бы нашей Ворщи.

Никакого подледного лова в наших местах не знают. Мы с Сашей Косицыным попробовали один раз опустить мормышки в Журавлихе, там, откуда невозможно уйти с пустыми руками даже в самое бесклевое время, но впечатление мертвой реки произвела на нас Ворща.

Был перволедок, и все было великолепно. На Журавлиху выпал сыроватый ярко-белый снег. Он облепил сучья деревьев, и в его белизне так ярко горели захваченные врасплох тяжелые кисти рябин! Созерцание рубиновых и оранжевых рябиновых кистей среди белого снега искупило в какой-то степени нашу неудачу. Мы даже наелись досыта этой примороженной, посластевшей ягоды. Мы провели в родном Журавлихинском лесу замечательный день, но, увы, что может искупить и загладить полную беспросветную неудачу рыбака!

Весной, чаще всего между седьмым и двенадцатым апреля, начинает буйствовать Ворща. Сначала поверх льда накапливается прибежавшая из очнувшихся ручейков снежица, или снеговица,— светлая, как стеклышко, талая вода, на вкус отдающая морозным январским воздухом. Накопившись, снежица забирается под ледяные одежды речонки, и речонка, рванувшись, затрепыхавшись, вдруг ломает тяжелые льды, сбрасывает их с себя и предстает обнаженная, помутившаяся не то со сна, не то от негодования. Кипит, закручивается в воронки, урчит на завертинах, ревет на крутых поворотах, заливает деревья и окрестные луга, срывает с места и уносит все лавы, какие только были через нее переброшены, двинув на таран тяжелые льдины, срезает ими бревенчатые мосты и, охваченная азартом разгула и буйства, подхлестываемая многими оврагами, из которых каждый сам становится как река, мчится дальше в единственном стремлении как можно скорее вбросить свои воды в медленно набухающую и тихо набирающую грозные силы Клязьму.

Разгулявшись, вынесет Ворща льды на залитые ею луга, а тут не хватит силенок, за ночь спадет она на метр-полтора, и останутся луга с приглаженной в одну сторону прошлогодней рыженькой травкой да с причудливым нагромождением тяжелых льдов. Однажды я шел по такому лугу, забылся на минуточку, а когда очнулся, то первозданно поразился необычному фантастическому ландшафту. Ночью льды омыло дождем, травка вокруг начала зеленеть. Ослепительно яркие на освеженном зелененьком лугу, обтаявшие, прозрачные в своей темно-зеленой и темно-

синей непрозрачности, истлевали льды. Они лежали вдоль длинного луга, в непринужденной, естественной и потому красивой разбросанности. В их расположении сохранился тот порядок, в котором они плыли; их нестройная толпа хранила движение воды, в их неподвижности была скрыта динамика, в их обреченности чувствовалось стремление вперед.

Большинство льдин лежало на лугу плашмя, но многие стояли под углом, взгромоздившись друг на дружку. Солнце не то чтобы просвечивало их насквозь, но все же проникало через них, и оттого на лугу под такими льдинами хранился зеленый полусвет-полумрак. Наверно, там был свой микроклимат — сырая ледяная прохлада вместо теплого весеннего дня. С нижней поверхности льдин обильно и беспрерывно падали вниз тысячи полновесных, впитавших в себя зеленый полусумрак капель.

Льдины исходили этими каплями. Они теперь только на вид казались цельными большими льдинами, а ударишь хорошенько палкой или пнешь ногой — вдруг с веселым звоном обрушится льдина, рассыпавшись, и вот уж нет ее, а есть звонкая, сверкающая груда длинных (до полуметра длиной) тонких хрустальных игл. Под теплым солнцем на зеленой траве эти иглы выглядят еще более необыкновенно, чем сами льды.

Ранней весной, по неведению своему, местные жители почти не ловят рыбы, разве что полазают с наметками в самую большую и мутную воду. Хотя тут-то едва-едва упадет вода — и брать бы по ночам налима.

Зато когда просветлеет и обогреется река, существуют у нас два способа ловли, которых я не встречал в других местах.

Где кончается широкое и глубокое место реки, то есть у выхода из омута на мель, мы сооружали запруду, заколотив в грунт два ряда кольев, уложив между кольями земляные пласты с дерном и придавив эти пласты камнями. Оставлялся только узкий проход в середине, который можно было захлобучить в любую минуту теми же пластами, заранее припасенными, заранее уложенными на саму запруду. Через этот ход дугой хлещет тугая вода.

Ниже запруды — мель, где вода струится по камешкам и прядет нитчатые, изумрудно-зеленые водоросли. В конце мели, чтоб рыба «не сбросилась» вместе с водой, сооружали плетень.

К запруде приходишь с вечера вчетвером или впятером, жжешь костер, дожидаешься нужного часа. Известно, что ночью для кормежки выходит из омута на мель крупная рыба.

Дальнейшее понятно само собой. Часа в два ночи дружно захлобучиваем ход в запруде, и вода ниже ее быстро убывает, обнажая каменистое дно. В тишине полуночного часа начинает в камнях шумно трепескаться рыба и там, и тут, ниже по течению, под самым плетнем. Медлить нельзя, а то под напором воды прорвется плотина и хлынет на отмель спасительная для рыбы волна. Бегаешь по непривычно теплым, омытым ночной водой камням, бросаешься на трепесканье, и вот уже бьется в руках схваченный вместе с водорослями голавль, язь, изящный, гибкий елец. Пока не завелась в реке щука, можно было за полчаса нахватать бельевую корзину рыбы, и вся рыба — благородная бель.

Другой способ оригинален своей примитивностью. В жаркие летние полдни рыба уходит «в корни» и стоит вся в корнях. Тихо подбираешься, подлезешь под тенистый куст. Пахнет оттуда прохладой, ивовой горечью... Наклоняешься так, что голову приходится класть набок, на одно ухо, чтобы все же дышать, иначе не дотянуться до логова. Одну растопыренную руку заводишь с одной стороны подмыва, другую — с другой и начинаешь тихо сближать. Вот левая рука дотронулась до скользкой прохладной рыбины, и рыбина, мыкнувшись в противоположную сторону, ударилась в правую ладонь. Иной раз, если удобен подмыв, прижмешь десятка полтора рыбы, а потом по одной вытаскиваешь и кидаешь на берег, где стоит твой подручный, какой-нибудь мальчонка, взявшийся таскать одежду и рыбу. Братья Ламоновы лазают по кустам вдвоем: один с одной стороны дерева, другой — с другой. Они большие специалисты, так что и теперь, когда сильно повывелась рыба в реке, умудряются накидать из корней бадью рыбы.

Исцарапаешься весь о сучья, а пальцы вдоль и поперек изрежут клешнями раки, во множестве сидящие в норах, в подмывах и под корягами. У рачих на шейке, или, лучше сказать, под хвостом, гроздью висит серенькая прозрачная икра. Мы ее объедали прямо с хвоста и очень любили. Она прохладная и приятно кислит.

Самый первый мой выход с удочкой был ознаменован интересным событием. Шел я по горе, а навстречу мне

попался сосед Костя Ефимов, старше меня лет на пять. Он был уж подросток, а я малец мальцом. Очень любил Костя надо мной всячески подтрунивать.

— Знаешь, — говорит, — на что всех лучше рыба теперь берет? Во, гляди! — Сорвал с сосны молодую, нежную свечку, очистил от кожицы, дал мне понюхать желтую, как масло, пахучую сердцевину. — Во, на нее-то рыба лучше всего клюет. А червяков своих выбрось, разве это наживка?

Я поверил Косте. И вот он стоит за спиной и, злорадствуя и насмехаясь, смотрит, как я, пыхтя, сопя и шмыгая носом, насаживаю на крючок кусочек сосновой свечки.

Не успел я забросить свою из суровой нитки и бутылочной пробки снасть, как пробка дернулась, подпрыгнула, и я в беспамятстве что есть силы рванул удочку вверх. На траве затрепыхалась белая в желтизну рыбина. Я уж и не знаю теперь, что это было: то ли язь, то ли плотва, — но помню, что была рыбина довольно крупная.

У Кости округлились глаза, и он стремглав побежал домой за удочкой. Но, конечно, ни у него, ни у меня на эту выдуманную наживку больше не клевало. Наверно, увидела голодная рыбина нечто беленькое и, не разобравшись, с налету схватила в рот попробовать, а там, мол, выплюну. Но по неопытности своей я дернул удочку слишком рано, так что она не успела выплюнуть и попалась на удочку. Как бы там ни было, а Костя, прибежавший через десять минут, запыхавшись, с удочками и горстью сосновых свечек, оказался в более смешном положении, чем я.

Мы слышали, что бывает такая рыба — щука, знали про нее поговорку, что на то, мол, и щука в море, чтобы карась не дремал. Так и считалась щука вроде морской рыбы. И вдруг пошел слух, что у нас в Ворще завелась щука и будто бы в Прокошихе попалась одна на жерлицу, а под Калининым видели, как выпрыгнула из воды рыбина с утиной головой.

Щука завелась будто бы потому, что в низовьях реки, под Шаплыгином, нарушилась мельница. Может, оно и так, но в сомнение вводит следующее раздумье. Сколько времени могла существовать Шаплыгинская плотина? Пусть сто, пусть двести лет, что, конечно, невероятно. А ведь река существует тысячелетия; почему же щуке было не зайти лет пятьсот назад и водиться в реке, подобно тому как водится иная рыба?

Недавно пришла еще одна напасть, по сравнению с которой щука покажется пескариной-благодетельницей.

Курьяновские мужики видели на снегу следы: вроде бы зверь прошел четвероногий, а на лапах перепонки, как у гуся. На снегу кровавые пятна, где зверь расправлялся с вытащенными из-под льда рыбой и лягушками. Будто живет три семьи выдр: одна в омутах (Черный, Средний и Круглый), другая под Курьяновской кручей, третья в Журавлихе, то есть в самых что ни на есть рыбных местах. Я заходил во Владимире в охотничью инспекцию, и там мне сказали, что выдра в нашу реку не запускалась, разве что зашла сама. Будто бы даже стрелять ее у нас запрещено, ибо, как сказал мне Юрка-избач: «Она сама себя не оправдывает: видали одну дохлую, а подохла от голода».

Осенью отмирают и упадают на дно разные живущие в воде водоросли, и вода становится студеной и прозрачной. Наверно, так вот в душе человека ближе к старости пропадает все смутное, горячечное, страстное, вдохновенное и остается одна только ясная, спокойная мудрость. Об этом я думаю всякий раз, когда гляжу на осеннюю воду Ворщи. А ветер срывает с ветел узкие отмершие листья и швыряет их охапками на середину омута. Как маленькие лодочки, разбегаются они в разные стороны под ударами ветра, что падает на омут откуда-то сверху, как будто наклонился над нашей маленькой Ворщей великан и дует на нее, чтобы остудить еще больше.

* * *

В одном месте я упоминал, что всякий счет в нашем селе начинается с бывшего Пенькова дома, затем что Пеньков дом стоит на краю оврага и ни при каких обстоятельствах не может потерять положения дома самого крайнего.

Недавно дома пронумеровали, повесив номерки рядом с теми дощечками, на которых нарисованы то ведро, то лопата, то лестница, а то и топор — кто с чем должен бежать на пожар. И точно, на бывший Пеньков дом прикрепили вывесочку «№ 1».

Теперь я хочу, начиная с бывшего Пенькова дома, пройти по всему селу, по всем домам по порядку, чтобы познакомить читателей с олепинскими жителями. Такой поход или, вернее сказать, обход тридцати шести домов, наверно, будет долог или даже обременителен, но без него картина села не может быть не только что полной (полную никогда не напишешь), но, я бы сказал,— правомочной.

Об одних мне удастся рассказать больше, о других — меньше, третьих придется лишь назвать. Что делать, нельзя же всех людей знать одинаково хорошо! Я мог бы заняться собиранием материалов о том человеке, которого знаю меньше или о котором вовсе не знаю, что рассказать, в конце концов, все люди интересны, нужно лишь докопаться.

Собирать материалы я не стал по двум причинам. Во-первых, я взял за главное правило при написании этой книги пользоваться только тем, что вошло в мою память само собой, постепенно, исподволь, в то время, когда у меня не было еще и мысли писать книгу про Олепино.

Вторая причина состоит в том, что если бы я о каждом человеке знал одинаково много, то нужно было бы исписать несколько пудов бумаги, и читать написанное было бы, пожалуй, еще труднее, чем даже то, что у меня теперь получилось. Это как все равно при ходьбе в лесу. Когда продерешься через чащу, так приятно, так легко глазам встретиться с пустым местом лесной поляны, где не растет ни одного дерева. Тогда зеленая куща леса на той стороне поляны кажется привлекательней оттого, что глядишь на нее из отдаления, через пустое, безлесное пространство. Не знаю, кто как, а я люблю веселые, непринужденные наши перелески и не променяю их на тяжелую, медностволую, бесконечную корабельную чащу.

Итак, дом первый, принадлежавший Пеньковым. Это была большая дружная семья, состоявшая главным образом из девчонок. Их было семь, и шли они так густо, что только две старшие росли, немного оторвавшись и опередив остальных. Остальные — ровная поросль — играли и переживали детство все в одно время, и все они были как бы моими сверстницами.

Иван Михайлович — глава семьи — умер от воспаления легких перед началом войны; старшие дочери его одна за другой уехали во Владимир, и постепенно выехала из Олепина вся семья; тетя Маша жива и коротает свой век во Владимире, сильно тоскуя по деревенскому дому и по большому густому саду, который был у них и правда неплох; старшая дочь, Шура, во Владимире, жена директора завода; Капа — учительница, долгое время жила в Горьком, а теперь, кажется, в Ленинграде; Нюша — во Владимире, работает на заводе какую-то простую работу; Варвара — педагог — живет в Москве; Тамара умерла подростком; Маруся, окончив финансовый техникум и выйдя

замуж за военного человека, жила в Норильске, а теперь возвратилась во Владимир; Валентина пошла по торговой части, училась и теперь работает во Владимире; младший и единственный Пеньков — сын Николай, шофер во Владимире.

С Пеньковыми в самом раннем детстве я общался больше, чем с другими ребятишками. У них в доме жили старинные русские традиции, которые совершенно отмерли к этому времени в нашем селе. Так, например, единственно у Пеньковых я видел, как делают солод, и, может быть, если бы не поел его там вдоволь (пальцем проковыривали дырочку в мешке с теплым, парным, душистым и сладким зерном), то до сих пор не знал бы его вкуса. Ну, значит, и солодовый квас, и солодовый пирог, и солодовый кисель — все это впервые и на всю жизнь было попробовано у Пеньковых. И вовсе не потому у них был солод, а у нас или у других его не было, что жили Пеньковы лучше и богаче, наоборот, я помню, что моя мать, когда я не хотел есть что-либо, всегда говорила мне:

— Отправить бы тебя на недельку к Пеньковым, небось все бы стал есть.

По этой запомнившейся мне фразе можно судить, что жили Пеньковы небогато, да оно и понятно, если вспомнить, что полон стол детей, и все девчонки.

Нигде, кроме Пеньковых, не приводилось мне также увидеть ни тогда, ни в позднейшие времена домашнего деревянного ткацкого стана, на котором ткали бы настоящий холст или настоящие половики. Станина была разборной. В обыкновенное время она лежала на подволоке. Зимой стан собирали, и тогда он занимал всю горницу. Особенно запомнилось мне, как ткали половики. Тетя Маша заставляла девчонок рвать на узкие длинные ленты разное разноцветное тряпье, преимущественно старенькие, изношенные платьишки. Впрочем, шли в дело и чулки, и мужнины штаны, и мужнины рубахи, и верх с обветшалого стеганого одеялишка.

Тряпья, изорванного на ленты, накапливалась целая груда, и тогда тетя Маша, сев за станок, принималась за дело. Деревянные части станка приходили в движение, и на наших глазах тряпки превращались в ровную и красивую дорожку, которую постилали на пол в передней избе, вымытой и выскобленной до янтарной желтизны.

Много лет спустя, во Владимире, у писателя Сергея Васильевича Ларина увидел я половики — вся квартира

была застлана ими. Повеяло таким родным, таким милым от этих домашних половиков, что словно сейчас бы выбросил, свернув в трубу, свой московский ковер и постлал наискось, из угла в угол, половичок, сотканный руками тети Маши Пеньковой. Но половик теперь в России достать, конечно, труднее, чем ковер, разве что где-нибудь в северных краях, где прочнее держатся старинные традиции и ремесла, где еще и туесок из березовой коры, и настоящий корец, и деревянную ложку можно встретить не только в музее, а в крестьянской избе, в быту.

Я это говорю вовсе не к тому, что надо, мол, возобновить производство половиков и все алюминиевые, и мельхиоровые, и стальные ложки поменять на кленовые, а бидоны по возможности заменить березовыми туесами.

У человека, чье детство пришлось на нынешние годы, может быть, лет через тридцать — сорок приятные воспоминания будут возникать при виде стеклянного стакана или глиняной чашки, хотя он будет прекрасно понимать все преимущества легкой, удобной, небьющейся пластмассовой посуды.

После того как Пеньковы уехали из Олепина, дом их заняла Абрамова, вдова с детьми. Самого Абрамова я знал очень мало: он переселился в наше село из Кормилкова перед началом войны, купив небольшую пустующую избушку.

Известие о гибели мужа сильно подействовало на молодую вдову — мать троих ребятишек. Лицо ее окинуло экземой, долгие годы нужно было ходить, закрываясь платком, чтобы вовсе не показывать людям своей болезни.

Как были пережиты трудные военные, а затем еще более трудные для деревни послевоенные годы, никто не знает, надо полагать, никому не жаловалась вдова Анна Абрамова.

Теперь она работает дояркой и, судя по тому, что иногда попадает ее имя в районную газету «Коммунист», с работой справляется неплохо. Да и как не справляться, если работа эта при выросших детях и при той оплате труда, которая установилась в колхозе,— светлый полдень по сравнению с зимними ночами первых послевоенных лет!

Дети у Анны выросли крепкие, ловкие, этакие сбитни, а главное, работящие. Сын Генка учится на комбайнера и приезжает в село на праздники в фуражке с молоточками. Он добродушный работящий парень, но недавно на празд-

нике первый раз опьянел, и, когда все собрались в клубе смотреть фильм «Дело пестрых», вышел на сцену и громко заявил, что кино сегодня не будет, он-де, Генка Абрамов, так пожелал. И точно, несколько раз он выбегал и выключал движок на самых интересных местах, так что избачу Юрке Патрикееву пришлось обратиться к народу:

— Как будем поступать: свяжем Абрамова или отложим кино на завтра,— решайте сами.

Но пока решали, Генка уснул тут же на скамейке, и сеанс прошел благополучно.

Старшая дочь, Рая, в городе Киржаче работает в пошивочной мастерской; младшая, Зина, помогает матери доить коров, и, кроме того, она звеньевая по уходу за кукурузой.

Этим летом Абрамовы перебрали старый Пеньков дом, подрубили его, приделали к нему террасу, на которой стоит (видать через большое окно) широкая никелированная кровать.

— А ведь как жили, как жили! — вздыхает, вспоминая про Абрамовых, моя мать.— Хлеб с водой да голая картошка, а теперь чай-то сладкий пьют, песок в чашку сыплют, и печево каждый день на столе. А модиться-то как начали! Любая девка как праздник, так и в город за новым платьем или туфлями. Одеваются что твои городские, не отличишь! Нет, что и говорить, баловать начали народ хорошей-то жизнью.

* * *

...Владимир Сергеевич По́стнов. Не работает в колхозе по инвалидности и возрасту; Ксения Петровна, его жена, готовит харчи для колхозных трактористов, а также для командированных, приезжающих в колхоз из района и области; единственный сын Лев (Левка) недавно вернулся, наработавшись то в Москве, то в Липецке, и теперь проходит курсы, чтобы стать электриком, ибо электричество, обращающееся по огромной стране то в виде могучих высоковольтных потоков — артерий, то в виде тонюсеньких струек — капилляров, скоро пробьется одним капиллярчиком и в наш колхоз.

Но нет, мы не можем уйти из этого дома, не познакомившись поближе с его хозяином — Владимиром Сергеевичем, хотя он и не работает в колхозе по инвалидности и возрасту.

Теперь это невысокого роста, всегда чисто выбритый, торжественно или, лучше сказать, важно прихрамывающий старик. Не трудно догадаться, какой видный, ладный и красивый мужчина это был в молодости.

Я часто задумываюсь, что определило и крутой, своеобразный характер, и вечное беспокойство этого человека, и пришел к выводу, что в основе всей жизни, прожитой Владимиром Сергеевичем, лежал голос, дарованный ему от природы.

Дело в том, что Владимир Сергеевич (однако будем называть его так, как все зовут в селе, то есть просто Володя Постнов), итак, дело в том, что Володя Постнов обладал действительно замечательным басом. Я слышал много великолепных профессиональных басов и теперь, вспоминая, как пел Володя, когда был моложе, понимаю, что в нашем селе существовал уникальный голос.

Пел Володя всегда стоя. Как сейчас, вижу его стоящим возле стола, с округлившимся ртом на напряженном до красноты лице и поднимающимся все выше и выше на цыпочки. Позвякивают стекла и дрожит огонь в лампе от голоса, заполнившего всю избу. «Соловьем залетным юность пролетела», — чаще всего пел Володя Постнов.

Подчас называют неудачниками людей бездарных, графоманов, которые, естественно, обречены на пожизненную неудачу, если не поймут вовремя, что надо заняться более полезной деятельностью, а не считать себя непризнанными гениями и оттого страдать и ненавидеть весь мир. Ну, какие же это неудачники, если они с самого начала не имели никаких прав на удачу, а если вдруг (и даже не вдруг, а часто бывает) они добиваются удачи, то она есть вопиющая несправедливость и происходит от неумения иных людей отличать золото от определенного вещества, сходного с золотом по цвету.

Володю Постнова я называю настоящим неудачником, хотя он сам об этом вовсе не подозревает. Неудачник же он потому, что ему был дан, что называется, дар божий — сильный красивый голос, а определить в служение людям он его не сумел.

Весной от обильной снеговицы переполняется наш сельский пруд. Вода поднимается до краев, вровень с земляной плотиной, напирает на нее и, глядишь, в одном месте, где было послабее, промывает протоку, водопадом хлещет с плотины в овраг в своем естественном стремлении

присоединиться к бо́льшей воде. Тотчас привезут навоз, завалят протоку, и на время успокоится вода. Но вот подается плотина в другом месте, и теперь надо снова ехать за навозом и латать новую прореху. Так может продолжаться без конца, пока мужики не выкопают сами достаточный для воды ход и не вставят в него деревянный лоток, чтобы ход не размывало все дальше и дальше. Сильной ровной струей хлещет вода по деревянному лотку, спокойным и постоянным сделается уровень пруда, и можно не тревожиться за плотину, не латать ее навозом: никакой аварии не случится.

Стихия таланта, заложенного в человеке, должна найти свое единственно правильное русло, или, может быть, сам человек усилиями воли, поисками, трудом должен прокопать это русло (и подставить еще деревянный лоток), и тогда жизнь принесет радость творческих удач, удовлетворение и мудрое спокойствие.

Талант, не нашедший выхода, будет всю жизнь мучить и беспокоить человека, прорываясь то там, то здесь, но уже не плодотворной струей, а скорей разрушительной, принявшей уродливую форму; исковеркает самое жизнь, заставит человека быть остро недовольным собой и в конце концов приобщит к горькой.

Я не знаю, почему получилось, что Володя Постнов растерял по пустякам свой голос. Если бы он безвыездно сидел в деревне, было бы понятно, но нет, он долго жил в Москве, бывал в иных городах и, казалось бы, имел возможность выйти на свою единственную дорогу. Он не вышел, а «внутренний зуд» то и дело толкал его на самую разнообразную деятельность.

То он был шофером, когда эта профессия была редкостью, а именно в первые годы революции, и уверял, что возил чуть ли не Дзержинского или кого-то из его помощников. Будто бы это был отчаянный шофер, что похоже на правду, если судить по характеру человека. Я видел фотографию, на которой Володя в кожаной фуражке, в кожаных штанах и сапогах — одним словом, весь в коже, если учесть еще и шоферские перчатки, стоит около нелепого автомобиля с железными спицами в колесах. Я поинтересовался, и Володя тотчас перечислил мне десятки моделей автомашин того времени, значит, дело ему и правда было знакомо.

Потому пришлось спрашивать о моделях машин, что все знают слабость Володи хотя бы незначительно, хотя бы и не

до полной лакировки, но приукрасить действительность.

— В общем (любимое словечко)... Меня ведь зря-то не беспокоили. Не-ет. Ездят другие шофера, мало ли чего! А я сижу, курю, отдыхаю. Вдруг крик: «Товарища Постнова к главному». Значит, понадобилось съездить быстро, чтобы как молния, не разбирая дороги. Сейчас завожу машину — и пошел! Как же!... Специально для такой езды держали. А другие не выдерживали, не-ет.

В двадцатые годы Володя уж не шофер, а прораб.

— В общем... Инженер приезжал на стройку только к вечеру. Бывало, спросит: «Ну как, товарищ Постнов?» А у товарища Постнова одних рабочих восемьсот человек. Сейчас инженер сажает меня в машину и в ресторан. Я ведь два литра спокойно мог выпить, на мне и незаметно...

Но волнение жизни прибило Володю к родным олепинским берегам. Он построил новую избу, украсил ее вырезанными наличниками, обставил городской мебелью: зеленая бархатная кушетка с медными львиными мордами, платяной шкаф с большим зеркалом, круглый стол («В общем, мебель вся прямо из Парижа») — и стал крестьянствовать.

Вспоминаю, что во время коллективизации он был активным организатором колхоза. Село разделилось тогда на два лагеря: уже вступивших в колхоз и оставшихся пока (потом оказалось, на две недели) единоличниками. Володя ходил по домам и пел:

Владеть землей имеем право,
А единоличники никогда!

Живя в деревне, Володя переменил много разных должностей, кроме того, что был и просто колхозником. Так, например, он некоторое время жил и работал в совхозе «Борец», в шести километрах от Олепина. Этот период его деятельности, может быть, остался бы неясным, если бы однажды фетининская девушка не спела на гулянье частушку, не подозревая, что герой частушки известен слушателям. Частушка была такая:

Как в Фетининском совхозе
Скоро башни упадут,
А товарищу Постнову
Принудиловки дадут.

Несмотря на непривычное для олепинцев ударение над фамилией Володи, ясно было, что речь идет именно о нем. Значит, строил Володя силосные башни. Но башни все-таки не упали.

Потом Володя был дорожным мастером и имел намерение провести шоссе от Олепина до Черкутина. Ему удалось построить через реку отличный мост, который снесло лишь в прошлом году (стоял лет двадцать пять), а также насыпать насыпь к этому мосту по зеленому лугу, дабы сообщение не прерывалось и в водополку. Насыпь, замощенная камнем, цела до сих пор, хотя она заброшена, меж камней пробилась высокая трава, а ездят все на переезд прямо по лугу, объезжая упомянутую насыпь.

Строительство моста было эпохой для нас, мальчишек. Целые дни мы проводили там, смотря, как мужики поднимают веревками тяжелую чугунную «бабу», как, дернув за другую веревку, освобождают крючок и как «баба», скользя по пазам, заколачивает сваю. Дружная работа, кипевшая у реки, заражала нас, и мы не в силах были уйти оттуда до позднего вечера. Кроме того, там валялось много толстой сосновой коры, из которой мы вырезывали кораблики, лодочки или поплавки.

Сторож Иван, оставшийся возле моста на ночь, выжигал из обрезков бревен кадушки. Он брал обрезок бревна, просверливал его в середине и каким-то образом зажигал именно стенки отверстия. К утру вся середина выгорала, и получалась кадушка, в которую нужно было лишь вставить дно. Так что и ночью мы частенько сидели возле многих одновременно выгорающих кадушек.

Мне говорили, что в войну Володя организовал сельскую самодеятельность. Имея голос и слух, ему нетрудно было (то есть, может быть, и трудно, но легче, чем другому) собрать хор и научить его петь как следует. Олепинская самодеятельность, руководимая Володей Постновым, заняла первое место в районе и чуть ли не в области.

Тут нужно отметить, что официально Володя значился в то время в должности «безбожника» при избе-читальне, то есть, видимо, пропагандиста по антирелигиозным вопросам. Отметить это тем более интересно, что за последние годы деятельность Володи приобрела, мягко выражаясь, иной характер.

Дело в том, что при олепинском клубе (хотя и построили новое здание) вот уже лет пятнадцать нет ровно никакой самодеятельности. Спрашивается: куда же деваться Володе

с его голосом? Володя стал петь в церкви. Церковь наша, как раньше говорили, усердиями прихожан все еще влачит свое поистине жалкое существование. Из другого села, а именно из Спасского, ходит в Олепино поп — отец Александр. По праздникам собираются в церковь пять — десять убогих старушек, и вот начинается служба. Конечно, Володя для них оказался кладом.

Правда, между отцом Александром и Володей возникают постоянные трения. Как скоро Володе неважно в точности прочитать или пропеть церковный текст, а главное для него — хорошенько взять и как можно дольше протянуть ноту, то батюшка сердится и делает ему замечания. Надо знать характер Володи, чтобы понять, что из этого получается.

Самый недавний конфликт произошел у них в последнюю пасху, вернее, в страстную пятницу. Вдруг по селу разнесся слух: Володя вошел в гонор и петь в пасху не будет.

Это известие ввергло в уныние всех немногочисленных богомолок, а я, признаться, заранее зная, что придется писать о Володе, радовался: это как-то дополнило бы и освежило бы его образ.

Весной жители села сначала граблями сгребают мусор с лужаек перед домом. Потом тщательно подметают эти лужайки, и таким образом все село за один день прихорашивается.

Вот уж и отец Александр прошел в церковь для пасхальной службы, и старушки в черном одеянии потянулись туда же, а Володя демонстративно, с метлой, похаживал перед своим домом, во второй или в третий раз подметая лужайку.

Все люди гадали: устоит Володя или не устоит? Выдержит ли свой нелегкий характер? Ради правды надо сказать, что не выдержал Володя и пошел в церковь, и вскоре из растворенных церковных дверей донесся Володин бас: «Смертию смерть поправ... во гробех живот даровав».

Можно подумать, что Володе нужны деньги, но живет он богато, и все у него есть. И я уверен, если бы дать ему возможность хоть в сельском клубе, хоть в самодеятельности, хоть раз в неделю показать свой голос, не видать бы его отцу Александру.

Вообще проблема сельского клуба остается у нас нерешенной, если не брать отдельные сельские клубы, — в большой стране могут найтись хорошие и даже образцовые.

До недавнего времени олепинским жителям клубом служил пожарный сарай, стоящий как раз посреди села. Даже подобие сцены с кулисами, созданными из еловых стоек и обоев, было устроено в пожарнице. Когда приезжало кино, машины выкатывались на лужайку, а в сарае расстанавливались скамейки.

Но и тогда, я помню, олепинская молодежь время от времени, даже в летнюю, страдную пору, а не то чтобы в месяцы зимнего бездельничания (холодно все же в пожарном сарае зимой!), загоралась желанием театральной деятельности. Разыгрывали пьесы на сцене; будь то комедия, или драма, или водевиль — все это называлось одним словом — «постановка».

Находили какую-нибудь пьесу, чаще всего совершенно неподходящую нам по теме, но иногда и удачную, и начинали читать сообща, собравшись в одном месте, например в школе. Выбор пьесы зависел, конечно, и от содержания ее, но больше от перечня действующих лиц. Пьеса с тридцатью действующими лицами никак не могла бы нас устроить, если бы даже и была очень хороша. Зато список из шести — восьми действующих лиц соблазнял, и мы, вооружившись химическим карандашом, начинали распределять роли, надписывая имена «артистов» тут же, на книжной странице.

Интересно, что если все мы звали Нюшку Пенькову просто Нюшкой Пеньковой, то никак невозможно было написать на бумаге ее имя таким образом. Бумага требовала официальности, и мы начертывали: «Фрося, ее дочь, девушка лет двадцати двух,— Пенькова Анна Ивановна».

«Акулина, дальняя родственница, женщина лет шестидесяти...»

Начинали ломать голову:

— Может, подойдет Шурка Московкина?

— Нет, она не будет на репетиции ходить.

— А если Шура Ла́монова?

— Это бы тоже, она ведь хорошо умеет старух играть: прошлую постановку все за животы держались.

— Итак, «Акулина — Ламонова Александра Ивановна».

Распределив роли, начинали репетировать. Режиссера, конечно, никакого не было, учили друг дружку. Главная же задача состояла в том, чтобы так или иначе начать говорить не своим голосом, а как-нибудь с придыханием, или растя-

гивая слова, или монотонно, подобно тому, как читают вслух ученики второго или третьего класса.

Одна и та же декорация для всех картин и действий, минимум движений по сцене и почти полное отсутствие мимики не мешало зрителям бурно и в общем-то в нужных местах реагировать на ход событий. Они, видимо, дополняли нашу игру своим воображением, и все шло хорошо.

Играть в постановке давалось не каждому. Все же требовались какие-то определенные сценические способности. Так, например, я помню, как мы выбрали на роль балагура и весельчака Колю Балашова из Прокошихи затем, что Коля Балашов был балагур и весельчак в жизни, всегда кривлявшийся на гуляньях и потешавший своим кривлянием девушек. Не было сомнений, что он-то больше всех и подходит к роли. Но когда все затихли (на репетиции) и ему нужно стало одному в тишине повторять за суфлером слова и фразы, от кривлянья не осталось и следа. Руки и ноги Коли Балашова одеревенели, язык совсем не шевелился во рту, и все поняли, что кривляться на гулянье — одно, а играть в постановке — другое.

От чего же зависело, что мы вдруг соберемся и ставим спектакли и даже выезжаем с ними в другое село, например в Спасское (спасские ребятишки кричат, встречая нас на прогоне: «Артисты идут!», «Артисты идут!»), а то и не вспоминаем про пьесу по целому году? Не трудно прийти к выводу, что все зависело единственно от инициативы: собрать, организовать, уговорить молодежь не трудно, но нужен инициативный человек, который собрал бы, уговорил бы, организовал бы, был бы, может быть, и покультурнее и посвободнее других. Нас «разжигал» на театральную деятельность то председатель сельсовета Сергей Иванович Фомичев, то учитель Виктор Михайлович Некрасов, то кто-нибудь из нас же самих. Но, конечно, естественным и постоянным инициатором в любом селе должен был бы быть заведующий клубом, или, по-старому (уже по-старому), избач.

Теперь нет нужды занимать пожарницу, потому что в Олепине колхозники построили новый клуб, просторнее и удобнее пожарного сарая. Постоянная киноустановка стоит в клубе, есть радиоприемник и проигрыватель, так что когда выставят репродуктор в окно, то можно и на Броду, и в Останихе, и в других деревнях наслаждаться песнями, как-то: «Ландыши», «Тишина», «Подмосковные вечера», «Потому, потому что мы пилоты».

Перед сеансом кино и после него под перечисленные песни танцуют (зимой — в пальто и валенках), постоянно играют в домино, а особые любители — в шашки или шахматы.

Но, наблюдая за клубом из года в год, я должен сказать, что фактически, в строгом смысле, никакой клубной деятельности в Олепине нет. Я не думаю, что Олепино — исключение: и в Спасском, и в Эльтесунове, и в Ратислове, и в Снегиреве, и в Черкутине, и в Рождествине, и в Ратмирове, то есть в селах неподалеку от Олепина, видимо, происходит одно и то же.

Юра Патрикеев, заведующий нашим клубом, очень хороший парень, как, наверное, и заведующие клубами в других селах, но если разобраться, то они не больше чем ключники.

Отпереть клуб в определенный час и следить за порядком в нем, а потом опять закрыть на замок да, может быть, время от времени сменить лозунги на стенах — вот и вся их деятельность. А где сельский хор, а где турниры по тем же шахматам с каким-нибудь, пусть маленьким, призом, где беседы о новых книгах, где обсуждение только что увиденного фильма, где живая стенная газета, где разыгрывание пьес? Ничего этого нет.

Юру Патрикеева винить нельзя: он этого не умеет делать. И другой поставленный на его место из числа наших же, сельских молодых людей тоже, наверное, не сумеет.

Нужно вопрос решать иначе. Мы направляем на работу в колхозы тысячи людей с производства: инженеров, механиков, даже директоров предприятий. Становясь председателями колхозов, эти квалифицированные люди, хорошие организаторы укрепляют экономику деревни.

Для того чтобы обновить и революционно изменить идеологическую работу в деревне, нужно, на мой взгляд, направлять на работу в сельские клубы людей с высшим образованием после библиотечных или педагогических институтов. Нужно, чтобы директор клуба был поистине самым культурным человеком в деревне и не только сам был культурен, но и умел бы и стремился бы приобщить к культуре и окружающих.

Тогда и Володя Постнов пел бы — я ручаюсь!— не в церкви, а в клубе.

...Иногда талант, заложенный в человеке, пропадает даром, иногда он находит свою единственную дорогу. Но

почему же не предположить, что талант, как некое благо, как нечто благородное, светлое и созидательное, как беспокоящая и движущая сила, не может, преобразовавшись, воплотиться в нечто на первый взгляд непохожее и далекое. Есть одно, что в конце концов в полной мере удалось Володе Постнову,— это его великолепный сад.

Мы были очень маленькими и бегали смотреть, как на расчищенном от бурьяна пустыре своей усадьбы Володя высаживал в землю саженцы. Важно ходил вокруг каждого деревца, торжественно прихрамывая, и говорил:

— В общем, прямо от Мичурина!

Деревца росли, начал созревать крыжовник, загустело вишенье, обсыпала кусты черная смородина. Нам, совершавшим набеги на чужие огороды, лучше других было известно, что растет у Володи в саду, как ревниво он оберегает свой сад. Вскоре появилась и собака, вернее, собачонка, широкогрудая, с кривыми, широко расставленными передними ногами («В общем, прямо с выставки!»).

Климат у нас не очень-то яблочный, так что один год понатужатся яблоньки, уродят из последних силенок, а на другой год — отдыхать. Но ведь тем дороже каждое яблоко. Да и вкусны они, северные яблочишки: боровинка, сахаровка, анисовка, пресная бель, а пуще всего — антоновка. Антоновку можно положить в шкаф с бельем, и белье воспримет тонкую садовую свежесть. Был еще сорт, который я потом почему-то не встречал нигде: ни в огромных садах, ни на выставках, ни у нас в стране, ни даже в балканских странах; назывались эти яблоки «липовые». В сказке у Пушкина есть строка про яблоко, что-де видно зернышки насквозь. Но воспринимается это как гипербола, как художественный образ, потому что где там на самом деле увидишь зернышки! Так вот у липовых яблок зернышки было видать. Кроме того, они сильно гремели в яблоке, если потрясти им возле самого уха. А врежешь зубы — зальет гортань сладким, прохладным, душистым соком.

Осенью сорокового года яблони сбросили листву и, как всегда, доверчиво отдали себя долгому зимнему сну, чтобы весной проснуться, зеленеть, цвести, плодоносить.

Но проснуться им — увы!— не пришлось. Все случилось именно в глубоком сне, нельзя было ни противостоять, ни сопротивляться, да и какое у них, беспомощных, могло быть сопротивление и противостояние!

Железный холод окутал землю, забрался под глубокие снега и в глубину земли. Как цельная глыба льда, как один

грандиозный ледяной кристалл, сияли, горели безрадостным ледяным огнем январские лунные ночи.

А весной, когда оттаяла, отогрелась земля, окуталась туманами так, что под их легким, парным теплом стали совершаться таинственные прорастания зерен и почек, когда как ни в чем не бывало зазеленели травы и вспыхнули одуванчики, и цветущие ветлы стали как золотые облака, и смородина расправила свои сборчатые ароматические листики, яблони остались голыми и корявыми. Черные сучья простирали они в ясную голубизну весеннего неба, как бы грозя костляво и неуклюже. Их срубили и распилили на дрова.

С этого года захирели сады и в нашем селе, и во всей округе. Потом пошли от пней молодые побеги, но это были уже одичавшие яблоньки, в яблочишках их не было и намека на вкус тех настоящих яблок, которые росли до катастрофы.

Один Володя Постнов с присущим ему упорством развел на месте погибшего точно такой же новый сад, начав опять с молодых саженцев.

Этой весной я был у него в саду. В густом древовидном вишенье установлен стол и скамейки. Летом здесь как бы комната прохладная, с непроницаемыми ни для ветра, ни для солнца стенами. Рядом наковаленка для отбивания косы («В общем, я ведь Иван Васильевичу Кунину не уступал. Я ведь очень хорошо косил»). В глубине сада — просторный, с пышной подстилкой, я бы даже сказал, благоустроенный шалаш, который, кажется, не для сторожения яблок должен быть предназначен, а воистину для устройства рая, соответственно знаменитой поговорке.

Долго ходили мы по саду, и не хотелось уходить из уютного, угодного, обихоженного, обласканного уголка земли. Для меня так это и было: не вышла песня у Володи, зато вышел сад, и, значит, сад этот и есть преображенная, своеобразная песня, спетая этим крестьянином во славу родной земли. «Что же,— подумал я,— если бы каждый человек оставлял после себя на земле по такому саду, давно бы мы жили в одном великом саду».

* * *

...Никита Васильевич Кузов не работает по старости, пенсионер; тетя Дарья, его жена, сильно хворает, не разго-

варивает, не встает, почти ничего не ест, как у нас говорят — плоха [1].

Со стариками живет их дочь Маруся, вдова, мужа убили на войне. В колхозе не работает, исполняет должность письмоносицы. У Маруси есть дочь Нина, в прошлом году окончила десять классов, учиться никуда не поступила, осталась в колхозе.

Перечисленные люди являются только частью семьи. Остальные: Анисья — замужем в другой деревне; Ефросинья — во Владимире работает уборщицей; Шура — во Владимире, должности в точности не знаю; Капа — в Москве, на заводе имени Лихачева, кажется, контролер; Анфиса вышла замуж за украинца и живет на Украине; Лида — во Владимире; сын Василий — во Владимире, на тракторном заводе; сын Николай — во Владимире, токарь по металлу.

Эта большая семья переехала в Олепино из села Павловского, что в двадцати километрах. В колхозе образовалась кузница, понадобился хороший кузнец, вот и подрядили Никиту Васильевича.

Кузовы поселились по соседству с нами, и я скоро подружился с Васей, пареньком постарше меня на один год. Несмотря на свой мальчишеский возраст, Вася помогал отцу в его нелегком, но интересном ремесле, так непохожем на все остальные крестьянские работы. Значит, и я по праву друга целыми днями сидел в кузнице. Самая первая работа, которая была нам по плечу,— это раздувание горна. Казавшиеся нам тогда огромными желтые кожаные мехи были нацелены острым концом своим прямо в горн, полный звонких березовых углей. Ухватившись за рычаг, начнешь нажимать вниз и отпускать кверху, раздастся прерывистый шум от струи воздуха, как бы тяжелое дыхание, и в горне, все более раскаляясь, становясь из желтого зеленым и синим, начнет шумно гореть огонь.

В раскаленные угли Никита Васильевич, ухватив длинными клещами, совал кусок железа, который быстро, на глазах, розовел, потом краснел, потом, немного распухнув, становился белым. Тогда Никита Васильевич теми же или иными клещами быстро вынимал железо из горна и, ловко повернувшись, клал на наковальню. Легким звонким мо-

---

[1] Недавно, когда я дописывал эту книгу, поздно вечером к нам в окно постучался старый Никита Васильевич: «Бабушка-то моя померла». И, не дожидаясь ответа, пошел к следующему дому.

лотком кузнец ударял по железу, и тотчас молоток его соскальзывал на наковальню, выбивая трель, а точно на то место, по которому ударил молоток, и точно в ту же секунду опускалась кувалда молотобойца. Значит, молоток кузнеца показывал, куда надо ударить и даже как сильно надо ударить (молотобоец в тонкостях понимал язык Никитина молотка), а кувалда, ухая, плющила, разминала, сжимала, разглаживала, сгибала или разгибала горячее железо. Наступал момент, когда снаружи железо, начиная остывать, опять делалось красным и малиновым, а внутри все еще было раскалено добела, белизна просвечивала сквозь малиновый наружный слой, и весь кусок железа казался прозрачным.

Точная музыка молотка и кувалды, сопровождаемая брызжущими в разные стороны звездчатыми искрами, продолжалась недолго (быстро остывает железо на наковальне), но и за это короткое время успевали проступить в бесформенном куске то очертания подковы, то очертания молотка, то очертания лемеха для плуга, то очертания болта, то очертания гайки, то очертания тележного шкворня, то очертания тележной чеки, то очертания косаря — щепать лучину,— все умел сделать Никита Васильевич из мягкого, как воск, разогретого до белизны железа.

Главный восторг возникал из того, что медлить было нельзя (быстро остывает железо на наковальне), некогда подумать, прикинуть, примерить, рассмотреть со всех сторон. Лишь только ляжет железо на наковальню — и пошла, и заиграла музыка кузнецов, великая музыка созидания и творчества, когда что хочешь можно еще сделать из материала: ножик — так ножик, а подкову — так подкову; даже, задумав подкову и начав ее ковать, можно еще спохватиться и вдруг тремя ударами переиначить ее на нож — все это возможно, пока железо горячо.

Но сейчас остановятся, застынут формы и так и останутся ножом так ножом, а подковой так подковой. И появится на земле новая вещь, которой несколько минут назад не существовало, а была она лишь в голове, лишь в замыслах у Никиты Васильевича.

Железа не хватало в сельской кузнице, и Никита Васильевич, не долго думая, начал снимать с церковной ограды узорчатые решетки, сделанные из отменного квадратного железа. Мало ли подков можно выковать из одной только церковной решетки, а их было множество вокруг

всей церковной ограды. С утра до вечера весело перезванивались молотки в кузнице.

Запах окалины, металлического дыма, жженого копыта, когда куют лошадь и приставляют к копыту железную подкову, так что копыто шипит и дымится, запах жженого дерева, когда обтягивают горячей шиной обод тележного колеса, сама работа Никиты Васильевича, его шутки и даже неизбежная матерщина, чрезвычайно виртуозная и замысловатая,— все это нравилось нам, мальчишкам.

Никита Васильевич был страстный рыболов и поэт. Однажды он прочитал нам сочиненное им стихотворение, не записанное им, конечно, на бумагу, а так, сложившееся в голове. Я запомнил одно только четверостишие этого стихотворения. Вот оно:

Как-то в кузнице своей
Вешнею порою
Я ковал железный плуг
Мощною рукою.

О чем шла речь дальше, я теперь не знаю. Сохранилась в памяти и одна частушка, сочиненная Никитой Васильевичем про колхозного конюха Ивана Грыбова, нет-нет да и прихватывающего своим курам горстку овса с конного двора:

Как у конюха Ивана
Овес выпал из кармана.
Вплоть от конного двора
Вся у́сыпана гора.

Никита Васильевич был не только кузнец, но и на все руки мастер. Сделать из листа железа добротное ведро, или бидон, или хлебную плошку, или водосточную трубу (однажды он сделал себе железные калоши на валенки и шумно ходил в них и весной и осенью), покрыть железом крышу, сделать кадушку, сплести сеть, стачать сапоги, подшить валенки, вылудить и запаять самовар, вставить стекла — все это могли умные руки Никиты Васильевича. Теперь Никите Васильевичу семьдесят пять лет. Он уже не работает в кузнице, а получает от государства пенсию — двести семьдесят рублей, что по деревне совсем немало.

Никита Васильевич страдает тяжелой, почти не поддающейся лечению болезнью — алкоголизмом, страдает давно и сам про себя говорит так:

— Винища этого я выдул за свою жизнь омут, покарай меня бог, омут, то есть выдул я его не знаю сколько, и вообразить себе невозможно!

Будучи помоложе, крепко напивался наш кузнец, правда, ни разу не буйствовал, не дрался, хотя крепость руки была такая, что «даже если ударю по щеке, то все равно и из щеки брызнет кровь, покарай меня бог».

Я вспоминаю один курьезный случай, происшедший с Никитой Васильевичем. Дело было в престольный праздник, значит, много гостей сидело у Кузовых за праздничным столом. Хозяин постепенно сползал, сползал под стол и оказался под лавкой. Подвыпившие гости не заметили исчезновения хозяина и вскоре забыли о нем. Через некоторое время, придя в себя, Никита стал шарить вокруг руками: над ним — доска и под ним — доска, сбоку доска (стол деревенский с тумбочкой) и с другого боку — тоже, в общем-то, стенка. Чего тут думать, в гробу оказался кузнец. Гости уж разошлись, и в избе стояла тишина. Вдруг из-под лавки раздался неуверенный, но достаточно громкий крик:

— Караул!

— Лежи, лежи, черт пьяный, налил глаза-то! — закричала на мужа тетя Дарья.

— О, Даша! И ты, значит, со мной, ну ладно, ну хорошо!

И, не разуверясь в том, что лежит в гробу, но зато убедившись, что вместе со своей Дашей, кузнец уснул снова, на этот раз до полного отрезвления.

С годами, с приходом старости, кузнец стал бояться вина, научился месяцами не брать в рот и капли зелья, но болезнь есть болезнь, и иногда по селу пронесется скорбный слух: «Никита Васильевич опять разрешил». Говорят это женщины с искренним соболезнованием и жалостью к старику. Все прячут тогда от него водку, не дают ему ни под каким предлогом, а он целыми днями ходит из дома в дом, выпрашивая:

— Ну хоть капельку, ну хоть ради Христа, ну хоть маненечко, ну хоть вот сэстолько...

Прохворав недели две, возвращается на стезю и с омерзением и с бранью вспоминает дни только что пережитого кошмара:

— Позор, стыд, хуже нищего был!

Тотчас идет кузнец по всем домам, отдавая кому что задолжал, а главное, наказывая строго-настрого, особенно продавщице Лиде Жиряковой:

— Слышь-ка, ты мне, когда я опять разрешу, ни под каким видом не давай. На колени буду становиться, а ты не давай. Рубаху стану снимать, а ты не давай. Плакать

начну, а ты не давай! Это я тебе тверезый, в памяти говорю.

Вот я гляжу на него и думаю: работал ты всю жизнь самую тяжелую работу, ел ты всю жизнь не самую богатую, не самую питательную еду, выпил ты за жизнь омут винища, и все же тебе теперь семьдесят пять лет, и ты еще бодр и можешь еще даже и работать. Сколько же здоровья было отпущено тебе природой, на сколько же лет было рассчитано твое сердце, если бы не травить, не изнурять, не убивать его одним из сильнейших и коварнейших ядов!

Редко бывает, чтобы жена в крестьянской семье сдала и оплошала раньше мужа, если, конечно, не какая-нибудь болезнь или беда. Но вот тетя Даша оплошала скорее. Она лежит неподвижно уже скоро год, не может разговаривать. Просит-просит чего-нибудь, а сказать не может. Прислушиваются, стараются, хотят ведь дать ей то, что она просит, да так и отступятся. А тетя Даша заплачет в бессилии и тоске. Вот если бы умела писать, то могла бы написать на бумажке, да иное было время, не выучила Дарья Кузова ни одной буквы. Посмеивалась, бывало: «Я и без грамоты семьдесят лет прожила, мимо рта куска не проносила». Да, вот когда понадобилась грамота.

Никита Васильевич не может отойти от тети Даши больше чем на полчаса (оправить ее надо, скучно ей одной, все плачет), так что, уходя на рыбалку, я не попадаюсь на глаза соседу, чтобы не растравлять его. На закате мы с ним сидим на лавочке перед домом, и он жалуется, как хочется ему на реку, хоть на часик посидеть с удочками. Потом мы помолчим, а потом он нет-нет да и скажет:

— Слышь-ка, Володя, я тебя по-соседски прошу, ты уж вставь меня в какую-нибудь книжку, хоть маненечко. Так, мол, и так, ковал железо...

* * *

...Четвертый дом наш. Но он теперь совершенно пуст, ибо отец мой помер вот уже скоро будет три года, мать переехала жить ко мне в Москву и приезжает в Олепино лишь на летние месяцы. А все мои братья и сестры кто где, в разных городах. Нас было десять человек, старшему, Константину, теперь за шестьдесят, а мне, младшему, стукнуло тридцать пять лет. А самый лучший брат наш, Виктор, будучи летчиком, разбился в марте 1954 года.

Что касается Николая, то был в его жизни период, о котором стоит рассказать особо.

Изобретатель радио Попов находился в более трудном положении, чем сегодняшние радиолюбители. Когда он впервые воткнул антенну в атмосферу земли, атмосфера была, увы, пуста. Ни одна радиоволна не носилась в ней, ловко огибая земную поверхность, принимать было нечего и некого: он был один, он был первый.

Теперь другое дело. Теперь вокруг земного шара, взмывая из разных мест, в разных направлениях, перепутываясь, задевая друг друга, подчас мешая друг другу, со страшной скоростью и днем и ночью носятся радиоволны. Симфоническая музыка, скрипка, джазы, хор Пятницкого и церковный хор, последние известия и стихи Пушкина, интервью с кинозвездой и сигналы бедствия, не поспевающий сам за собой Синявский и торжественный Левитан, английская, итальянская, болгарская, китайская, польская, албанская, испанская, французская, индийская, украинская и всякая сущая на земле речь — все это носится вокруг, обгоняя друг друга, так что в любом месте земного шара в кажущееся безмолвие пустыни, тундры, океана, стоит только сунуть хотя бы невысокую антенну, как тотчас все, что носится в атмосфере, хлынет по ней вниз, дождавшись наконец случая,— только успевай выбирать, что именно тебе хочется послушать.

В 1929 году, ровно тридцать лет назад, вдоль нашего села проехала подвода, груженная большим неуклюжим сундуком и стоящими вокруг него ящиками. Рядом с подводой шел, держа в руке фуражку, невысокий человек, одетый по-городскому. Любопытство тотчас было возбуждено, и в то время как подвода подъехала к сельсовету, все село было тут как тут. На глазах у людей сундук и ящики стали носить в помещение.

— Тяжелые, видать, ящики-то,— рассуждали зрители.— Никак, звери в них, зверинец приехал?

— Это для чего же зверей в сельсовет волочить, вот уж истинно никакого соображения!

Между тем ящики все были расставлены в переднем углу сельсоветского помещения, в которое к этому времени набилось полно народу. Как сейчас, помню, что мне удалось пронырнуть между взрослыми, и я очутился в непосредственной, жутковатой даже близости от всего про-

исходящего. Человек откинул боковую стенку у сундука, и все ахнули, увидев там продолговатые золотистые предметы, установленные плотными рядами. У каждого предмета наверху острый штычок, а вокруг — проволока, проволока, проволока.

Повозившись с разными проводами, протянув эти провода от ящика к сундуку, а также и на улицу через открытое окошко, хозяин всего этого необыкновенного и непонятного откинул другую стенку сундука, и там оказались разные круглые рукоятки, которые он и стал поворачивать то в правую, то в левую сторону.

Значит, и тридцать лет назад порядочно летало радиоволн, в том числе и над селом Олепином, ибо в избу к изумленным и потрясенным слушателям тотчас слетели с неба звуки музыки. Потом мужской голос громко заговорил, потом запели бабы, потом затрещало, а вслед за треском затараторило не по-нашему.

Между делом приезжий объяснил собравшимся, что это и есть радио, о котором, вероятно, все слышали.

Многие действительно слышали про радио и, хотя дивились и даже отпрядывали назад, если вдруг слишком громкие звуки вырывались из сундука, но все же радио так и принимали за радио, то есть непонятное за непонятное.

Других смущали размеры сундука, и поэтому иная старушка, придя домой, кропотала про себя: «Как же так, прямо по воздуху и передается, держи карман шире. А бог? Насажают в сундук мужиков да обманывают народ, антихристы несчастные!»

Вечером в сельсовете приезжий развесил на стене простыню, велел мальчишкам крутить ручку в некой машине и привернул огонь в лампе-молнии. О, эти первые немые кино в деревне под неровное жужжание динамо-машины, эти крупные буквы на экране, задерживаемые подолгу и читаемые вслух хором, сразу пятью или шестью грамотеями, с одинаковой, безразличной интонацией, что бы там ни было написано! Я сейчас не могу вспомнить, как переживали олепинские жители самый первый увиденный ими фильм, как не вспомню, о чем был этот фильм. Помню лишь всеобщий хохот, когда появилась на простыне маленькая беленькая собачонка.

На другой день сундук и ящик были снова погружены на подводу. Блуждающая «культурная точка» — точечка яркого света — пошла блуждать дальше в просторах русских равнин.

Итак, это был первый случай. В том же году, осенью, радио в нашем селе получило неожиданное и своеобразное развитие.

Личность в конечном счете не может ни ускорить, ни замедлить течения истории, так что радиолюбительская деятельность моего брата Николая, например, о которой сейчас будет рассказано, не приблизила к Олепину эпохи современных радиоприемников и телевизоров: они не могли появиться раньше, чем появились,— но несомненно, что в свое время помянутый брат Николай сыграл в деле радиофикации села и его окрестностей огромную роль.

Ему тогда было, по всей вероятности, пятнадцать или шестнадцать лет, потому что он успел уж окончить семь классов. В школе он учился во Владимире под присмотром старшей сестры, там и стал ходить по вечерам в кружок радиолюбителей. После седьмого класса у него получился перерыв в учебе. Впереди вырисовывалась длинная деревенская дождливая осень, а за ней еще более длинная зима. На эти осень и зиму и падает начало его бурной радиодеятельности.

Тотчас весь дом наш наполнился запахом и даже дымом от испаряющегося или сгорающего (бог его знает!) нашатыря, соляной кислоты, олова, меди, цинка, жженого карболита или эбонита. Тисочки разных размеров были привинчены к столу. Напильники, плоскогубцы, проволока — от тончайших медных волосков до толстой, свитой из множества более тонких проволок,— фарфоровые ролики и фарфоровые трубочки, красивые крупные кристаллы медного купороса, разные металлические пластинки, шурупы, изоляционные ленты, парафин, морилка, политура, лаки, черная эмаль, заклепки и, наконец, множество готовых деталей, назначения которых я понять не умел,— все это заполняло наш дом, не валяясь, однако, в беспорядке где попало: брат рос образцом аккуратности и последовательности в действиях.

Как раз в это время на Черкутинском кладбище стали исчезать один за другим превосходные цинковые кресты; цинк был поставлен на них первосортный, без примесей (старики не заботились об экономии цветных металлов), то есть точно такой цинк, который нужен был брату.

Я по молодости мог только созерцать священнодействия брата, мешая ему, увертываясь из-под горячего паяльника,

разогреваемого в обыкновенном утюге. Единственно, в чем я еще кое-как помогал Николаю, это в производстве стаканов из пустых бутылок. Бутылку опоясывали мы туго-натуго шпагатом, намоченным в керосине, а потом шпагат зажигали. Дав погореть ему как следует, то есть дав нагреться опоясанному месту, бутылку совали в холодную воду, раздавался треск, и бутылка оказывалась перерезанной пополам. Стакан с ровными краями готов.

К одному проводу припаивали цинковую пластинку, полученную из черкутинского креста, к другому — свинцовую ленту, скрученную спиралью, и то и другое опускали в стакан из бутылки, наливали туда какой-то чертовщины, и таким образом получались электрические батареи — питание всевозможных радиоагрегатов. Помню, что батарей было множество, различных как по величине стаканов, так и по количеству их, стоящих рядами там и сям.

Нравилось мне также глядеть, как «травится» соляная кислота. В баночку из-под гуталина, полную соляной кислоты, кидал я цинковую пластинку, которая тотчас покрывалась пузырьками. Пузырьков с каждым мгновением становилось больше, они начинали мельтешить, подниматься, и все закипало, как на огне, и кипело до тех пор, пока от цинка ничего не оставалось. Такая травленая кислота годилась для паяния.

Двойные рамы окна были просверлены в двух местах, в образовавшиеся отверстия вставлены фарфоровые трубки. Сквозь трубки брат вывел на улицу два провода: я уж знал, что это антенна и земля.

Большой железный шкворень от старой телеги пришлось, очистив как следует от ржавчины и колесной мази, закопать глубоко в землю. Он и сейчас, наверно, там, хотя никаких проводов от него в избу уж не тянется, да и само место теперь можно вспомнить лишь приблизительно.

На крыше дома, возле трубы, Николаю удалось поставить высокую мачту на шести растяжках, и дом наш стал походить на корабль, отправляющийся в плавание. Антенну каким-то образом ухитрился брат натянуть между этой мачтой и звонницей колокольни, подняв проволоку выше лип, растущих вокруг церкви.

С антенной бывало у него много хлопот. В иные зимние дни она так густо обрастала инеем, становилась такой тяжелой, что не выдерживала тяжести и лопалась.

Когда антенна и земля были готовы, в доме начались еще большие чудеса: во всякое время у нас в доме говорило

радио. Сначала его можно было слушать только в наушники, потом Николай соорудил черную тарелку из жесткой бумаги, и вот из тарелки тоже начался разговор. Но как скоро я добрался до винтиков в середине этой тарелки, то она и перестала разговаривать. Пришлось там что-то припаивать снова.

По вечерам Николай долго не ложился спать, и, когда мать говорила ему, что пора бы, он отмахивался нетерпеливо:

— Подожди, скоро будет заграница.

Это таинственное слово соблазняло меня, и я, засыпая на стуле, сидел дожидался, когда будет заграница. Наконец лицо у брата просветлялось, он замирал, как будто услышал что-нибудь необычное. А в наушниках в это время тихонечно, да и то с потрескиванием, играла музыка. Я в том возрасте не любил одной только музыки без пения и ложился спать разочарованным: подумаешь, невидаль твоя заграница, очень уж она скучная. Интереснее, когда играют на пиле.

Но иногда (видимо, я становился постарше) волнение брата передавалось и мне, мое детское воображение начинало смутно, но самостоятельно работать, и возникало сладкое ощущение некоего иного мира, с иными людьми и иной жизнью, отделенного страшным расстоянием от маленького села Олепино, затерявшегося в глубоких ночных сугробах.

Постоянное совершенствование приемников было только одной стороной деятельности брата. Он ловко смастерил передаточный ключ, и азбука Морзе сделалась главным в жизни. Я тогда знал ее всю наизусть и мог выстукивать на ключе, хотя теперь, к сожалению и стыду, не знаю ни одного знака.

Из нашего дома в школу, где квартировал учитель Федор Петрович Орлов, брат провел сначала телефон, и они с учителем во всякое время разговаривали друг с другом. Аппаратов у них, конечно, не было, а были самодельные микрофоны.

Впоследствии Николай снял проволоку и наладил с Федором Петровичем радиосвязь.

Деятельность в пределах одного дома не могла удовлетворить неугомонного характера, тогда-то и началась радиофикация села, которая продолжалась несколько лет, даже и в то время, когда Николай стал учиться в Академии связи имени Подбельского в Москве.

О, эти детекторы, эти кристаллы то с темными, то со светлыми блестками и точечками, по которым надо терпеливо шарить кончиком тонкой, чуткой пружинки, нащупывая наиболее удачную «точку»! Кристаллик рос и расширялся, он становился огромным, как земля, а черные и светлые точки на нем были как земные города и земные страны.

Сейчас невозможно вспомнить, в каком доме поставил Николай первый детекторный приемник, но пример оказался заразительным, и вскоре село стало похоже на полярную зимовку — обычно рисуют их со множеством радиомачт. Первое время, когда сбивалась настройка, бежали к Николаю, чтобы он пошарил по кристаллику, и я в этом деле был его первый заместитель. Но вскоре олепинцы сами научились тяжелыми крестьянскими руками своими, заскорузлыми от жары и мороза, обращаться с хрупкой стеклянной трубочкой детектора. Помню также, что в случае если детектор оказывался без стекла, то крестьяне накрывали его обыкновенной стопкой для водки, чтобы защитить таким образом от пыли.

Приемники Николай делал и собирал сам, а деньги брал только те, что пошли на разные детали и, главное, на антенну, которую он умел где-то покупать.

Слава о Николае распространилась по окрестностям. Длинные шесты радиомачт стали подниматься на Броду, в Курьянихе, в Прокошихе, в Борисове и в других деревнях.

Я уж упоминал, что брат со временем был принят в Академию связи имени Подбельского. Но заказы и требования на установку радио продолжали поступать. Живя в Москве, но не имея характера отказать землякам, Николай заставил меня, подросшего к этому времени, собирать приемники из присылаемых им готовых частей и устанавливать радио в крестьянских избах.

Я вспоминаю два случая из моей «радиопрактики» того времени. В позднейшие времена я к ней никогда не возвращался.

Поставил я радио в Борисове, все сделал как следует, как учил меня брат, подключил приемничек, а он не говорит. Туда-сюда, открыл ящик, проверил все контакты, не отпаялось ли чего, раскопал в подполье заземление и закопал его снова — не говорит мое радио. Провозился более двух часов. Хозяева начали посматривать на меня подозрительно.

— Наверно, сейчас у всех станций перерыв,— стал я наконец убеждать или, проще сказать, обманывать добрых людей.— А вот вечером кончится перерыв, оно и заговорит.

Был ли тут обман? Наполовину был. Потому что я наполовину сам верил в эту версию: ну все, до мелочей, в порядке, а приемник не работает. Почему такое? С другой стороны, я знал, что ежели бы он работал, а молчали бы все станции, то слышался бы характерный треск при дотрагивании кристаллика, то есть при настройке.

— Так-то так! — твердо ответила хозяйка.— А ты уж, соколик, до вечера подожди. Вот заговорят эти твои станции, и пойдешь домой, я тебя и чаем напою.

Поняв, что сбежать не удастся, стал я проверять все снова, начиная с антенны и кончая землей. Разобрал наушники, отделил даже концы их шнура от вилки — колдовство, да и только. Наконец, тщательно щупая каждый сантиметр провода от приемника к переключателю, я заметил, что натянутый провод в одном месте как-то жидок и мягок. Обрезал, а там под обмоткой перервалась медная проволока. То есть большей радости я впоследствии не испытывал даже от написания поэм.

— Вот так-то, теперь очень ладно,— сказала добрая женщина.— И станции, вишь, заработали.

Я покраснел от стыда за минуту малодушия и, поскорее распрощавшись, бегом побежал в свое село. Бегать бегом тогда было для меня в порядке вещей: я был мальчишкой.

Вторая «авария» носила другой характер и произошла уж не в Борисове, а в Николютине.

Провозившись целый день с установкой мачт (хозяин дома активно помогал мне в этом), настроив приемник, я собрал плоскогубцы, остатки проволоки, оставшиеся ролики и все, что у меня было, и отправился было домой. Но хозяин дома, Николай Федорович Ломагин, остановил меня.

— Ты что же, та-шкать (то есть так сказать), работал, та-шкать, работал, а теперь уходить. Так не годится, та-шкать, надо спрыснуть, или, та-шкать, обмыть.

С этим словом он достал из погреба ледяную (сразу запотели стенки) водку, а также соленых грибов и еще какой-то там снеди. Конечно, налил он мне обыкновенную деревенскую мерку, то есть чайный стакан. Я до этого не пил еще водки, и страх, как всегда бывает в случаях «первого раза», боролся с любопытством, и любопытство, как

всегда получается, победило страх. К тому же не хотелось ударить в грязь лицом: что же, радио поставить сумел, а выпить не в состоянии!

— Ты, та-шкать, закусывай грибами или вот, та-шкать, картошкой, не стесняйся и будь как дома.

Но я уж смутно слышал долетающий издалека голос Николая Федоровича. Кожа на щеках и скулах странно натянулась, ледяной огонь моментально разлился и в ноги и в голову. Руки и все тело налились необычайной силой, мне казалось, если я возьмусь одной рукой за угол дома, то и приподниму его без всякого труда.

— Это что,— плел между тем мой язык,— радио провести нам пустяки. У меня, если я захочу... солоница и та заговорит, во!

— Ты, та-шкать, молодец, но ты закусывай, грибы вот ешь, картошку.

Между тем наступил вечер, и в небо вышла полная, в соку и силе, луна. Дорога от Николютина до нас, вернее, не дорога, а тропинка, пролегает по крутым, глубоким оврагам, кручам, буграм, да еще два лесочка попадаются на пути. Не умею рассказать всей дороги, но помню, что луна почему-то оказывалась то совсем справа, то совсем слева, то вверху, над головой, а то уж вроде бы и внизу, под ногами. Утром выявилось еще одно противоречие: мне казалось, что я шел по самой ровной дороге, какая только может быть, и даже не шел, а в некотором роде летел на крыльях, минуя все неровности земли, а одежонка моя говорила о том, что я как раз довольно часто с этой земной поверхностью соприкасался. Никогда я уж не чувствовал себя таким сильным, таким могущим все на свете, таким единственным в целом мире. В то же время я, наверно, никогда потом не выглядел таким беспомощным и смешным, если бы поглядеть на меня со стороны.

В Олепине было гулянье, и я пошел туда, но моя старшая сестра увидела меня и, зная, где я был, и сразу все поняв, уложила спать, и никто, кроме нее, не узнал, каков я был вечером.

Но я отвлекся от темы. Радиоприемники, установленные Николаем, существовали во всех деревнях довольно долго, пока после войны их не вытеснили батарейные ламповые приемники «Родина», которые (не скажу про другие деревни) в нашем селе стоят почти в каждом доме.

Но жизнь продолжает свое движение. Батарейные приемники, просуществовавшие более короткое время, ско-

ро тоже уйдут из деревенских домов, уступив место обыкновенным приемникам, действующим от обыкновенного электричества.

Казалось невероятным: как это вместо керосиновых ламп, зажигаемых как можно позднее и гасимых как можно раньше, как это вместо красноватых, проступающих из летней или зимней ночи окон вдруг появятся ярко-белые полосы света на сугробах ли, на зеленой ли траве.

По полям сначала вразвалочку (пока не укрепили в земле как следует) пошли столбы, выравниваясь там и сям в стройные линии. Подойдя к какому-нибудь дому, столб запускал в избу щупальца из медной проволоки, которые ветвились в избе, сбегая по бревенчатым стенам к черным розеткам или свисая с потолка и оканчиваясь крупной прозрачной каплей электрической лампочки.

Сначала сказали, что свет подключат к июню, но срок этот несколько раз откладывался. Электромонтеры целое лето лазали по столбам, обув ноги в железные кошки, и ходили по полям и дорогам с мотками проволоки через плечо.

Мне ничего не стоило бы сочинить, как все село собралось на митинг, и какие речи там произносились, и какой это был праздник, но дело было так, что линию подключили в два часа, в темную августовскую ночь. Помнится, я проснулся оттого, что сделалось как-то беспокойно во сне, как если бы в мире что-то случилось. Уличный фонарь, установленный близ нашего дома (три фонаря установили в селе), наполнил комнату светом, при котором, если подойти к окну, можно бы прочитать газету. Я посмотрел в окно вдоль села: в двух домах ярко светились окна, другие были темны. Ни шума голосов, обсуждавших событие, ни песен и плясок по этому поводу — ничего не было слышно.

На другой день, или, вернее, вечер, загорелись все до одного окна. То ли оттого, что августовский вечер был особенно темен, то ли как бы еще в невольном сравнении с позавчерашними лампами ослепительным казался этот свет.

Один из трех столбов с уличным фонарем поставили около магазина. Он возвышается над низким, толстым столбиком со стеклянным фонарем, какие показывают в кино около булочных времен Антона Павловича Чехова. В причудливом фонаре, наверное, и до сих пор стоит семилинейная керосиновая лампа, которую так и не убрали

отсюда, про которую просто-напросто вовсе забыли на другой же день.

Я считаю знаменательным как раз то, что, хотя не было митинга и всеобщего праздника, каждый олепинский житель хоть один раз, а произнес в течение дня: «Ну, дожили, дождались и мы!.. Ведь что делается, что делается!»

В остальном электричество принято как должное, как то, чему давно бы пора. Сейчас все присматриваются друг к другу — кто первый поедет в город за телевизором: надо же проверить на соседе, как он, будет ли чего-нибудь показывать.

Итак, за тридцать лет пройден путь от неуклюжего сундука, возимого на лошади по деревням и селам, до собственных телевизоров в домах, которые не удивляют, не пугают, не потрясают жителей деревни, а являются обыкновенными, как диван, никелированная кровать или шифоньер, и все дело состоит в том, чтобы поехать во Владимир и привезти его.

Трогательно-смешным показался бы сейчас наш Николай с его детекторными приемниками, но воздадим ему должное: в течение десятилетий жители Олепина не дыша водили по кристалликам хрупкими пружинками и, надев наушники, слушали хор Пятницкого и все остальное, что говорила, играла и пела для них Москва.

* * *

...Александр Николаевич Солоухин [1]. В колхозе не работает: пенсионер. Долгие годы состоял председателем сельсовета то у нас, в Олепине, то в соседнем селе Черкути-

---

[1] В нашем селе половина народу — Солоухины. Семьи Солоухиных теперь не знают родства между собой, но несомненно, что все они произошли от одного корня. Старики говорят, что было три брата Солоухиных. Они расселились: один — на Броду, другой — в Олепине, третий — в Шунове. И действительно, только в этих трех деревнях встречается эта фамилия, и если найдешь где-нибудь в Москве или Ленинграде однофамильца, то окажется, что он выходец из наших мест.

У профессора Александра Александровича Реформатского, будучи слушателем его лекций, я пытался выяснить этимологию нашей фамилии, сообщив ему, что есть к тому же во Владимирской области маленькая речка Солоуха и что если фамилия еще и могла произойти от какого-нибудь там соленого уха, то какая связь между соленым ухом и рекой? Профессор Реформатский одним ударом разрубил этот гордиев узел, сказав, что река некогда называлась Соловуха — от обилия водящихся на ней соловьев, но что потом согласная буква, стиснутая двумя гласными, ассимилировалась до полного выпадения. В дальнейшем в этой книге, если не будет указываться фамилия человека, надо иметь в виду, что он Солоухин.

не. Жена его, Анна Кузьминична, в колхозе тоже не работает. Она уборщица в школе и, кроме того, готовит харчи для комбайнеров, трактористов, электротехников. Дочь Юля вышла замуж в Курьяниху; дочь Нина живет под Москвой, в Лианозове, и работает, кажется, трамвайным кондуктором; ее пятилетняя дочка Тамара Горохова живет с бабушкой и дедушкой, совсем отвыкла от города и говорит по-владимирски — на «о».

Анна Кузьминична, хозяйка дома,— лишь осколок от большой семьи, населявшей некогда этот дом: родители, Кузьма Ефимович и тетя Марья, померли, дочери их, то есть сестры Анны Кузьминичны, повыходили замуж в окрестные деревни, брат Костя живет во Владимире и работает фрезеровщиком. Про этого Костю я немного рассказывал в главе о нашей реке Ворще, а именно как он заставлял меня удить рыбу на кусочек сосновой свечки.

Не знаю, какой бы из него вышел колхозник, если бы он остался жить в деревне, но фрезеровщик Костя первоклассный. Перед самой войной весь Владимир говорил о нем, потому что однажды он взял и выработал за смену шестьдесят восемь норм, то есть выполнил план на шесть тысяч восемьсот процентов. Эта цифра запомнилась мне из газеты «Призыв»: была напечатана крупным шрифтом на первой странице, рядом с портретом Кости.

Итак, он заработал за день тысячу рублей, а я жил тогда на восемьдесят рублей в месяц. Каждый день на базаре я покупал на рубль жирной свинины (сто граммов) и варил с этой свининой вермишель. Сухой клюквенный кисель, разводимый в кипятке, дополнял мой рацион. Иногда я позволял себе на пятьдесят две копейки халвы, вкуснее которой совершенно ничего не было во всем мире.

Однажды на улице встретились мы с Костей, и по виду моему, по моим, может быть, глазам он понял, что я голоден.

— Я как раз иду в ресторан, пойдем со мной,— пригласил меня Костя.

Владимирский ресторан, ныне называемый «Клязьма», именовался в то время иначе, а именно «Прогресс».

Уже медведь, ощеривший желтые клыки и держащий в лапах шарообразный абажур из белого стекла, заставил меня попятиться назад, и я, вероятно, вовсе убежал бы из ресторана, если бы Костя не потянул меня за руку. С опаской прошел я мимо чучела на широкую лестницу, и тотчас меня начали отражать зеркала.

Множество рюмок и бокалов на столах, застланных белыми скатертями, а также огромные картины на стенах, а также золотистые шторы на окнах — все это совершенно подавило меня, одетого в простенькие штаны, рубашку с засученными рукавами и обутого в синие прорезиненные тапочки. Мне сразу стали вспоминаться вычитанные из книжек аристократические ужины и банкеты; но вот фантастический, неведомый доселе мир роскоши приблизился ко мне и окружил меня.

Зеркала умножали количество огней, вдруг заиграла музыка, и все слилось в сплошной блеск, так что Костя вполне мог наслаждаться произведенным эффектом, которого он, видимо, и добивался.

Тут он подал мне карточку с наименованием блюд и сказал, чтобы я выбирал что только пожелаю. Глаза мои не столько задерживались на названиях блюд, сколько на столбцах цифр, обозначающих цены, и ужас окончательно объял мою юную, неискушенную душу: ведь там были блюда, за которые надо было платить по пять и по шесть рублей! [1]

Тотчас я обратился к разделу, где помещались разные каши и оладьи, и сказал Косте, что я хочу каши, а если ему не жалко, то пусть он возьмет для меня две или три порции. Но Костя распорядился по-своему. Он заказал водки, разных холодных закусок, а на горячее по бефстроганову. Я совершенно не запомнил вкуса съедаемых блюд, может быть, даже я ел, не разбирая вкуса, но зато хорошо помню, что пир наш обошелся Косте в девятнадцать рублей, и пока, несколько захмелевший, я сходил с лестницы, мозг мой лихорадочно работал, прикидывая, сколько же халвы мог бы съесть я, потратив на нее эту колоссальную сумму!

Заходя теперь в «Клязьму», я не могу понять, что же именно произвело на меня такое потрясающее впечатление в этом сереньком владимирском ресторане. Правда, нет теперь в «Клязьме» того медведя, но я думаю, что облезлое, порыжевшее от времени чучело не спасло бы положения. Я недавно справлялся, и мне сказали, что чучело это, побывав во многих учреждениях города, преспокойно стоит теперь во Дворце пионеров, держа в лапах вывесочку: «Добро пожаловать!»

Что касается Кости, то он на окраине Владимира, а именно в селе Добром, купил дом и развел сад. Он по-

[1] Все цифры в старом масштабе цен.

прежнему работает на заводе фрезеровщиком, а жена его, Аня, торгует квасом около нового ресторана под названием «Владимир». Приехав во Владимир в жаркое летнее время, вы обязательно увидите ее: в белом халате она действует возле железной цистерны, проворно споласкивая кружки и наполняя их утоляющей жажду кислой жидкостью.

* * *

...Александр Федорович Сергеев работает счетоводом в правлении колхоза; Антонина Кузьминична — учительница в нашей Олепинской школе; сын Станислав (Стаська) служит в армии; сын Вова учится в шестом классе.

Сергеевы переехали в Олепино из Останихи, купив плохонький домишко после семьи, выехавшей в город Ковров. Домишко действительно был невзрачный, но, значит, Александр Федорович хозяйским глазом умел разглядеть, что из него можно сделать, приложив руки и потратив некоторую сумму денег. Дом был подрублен, частично перебран, к нему пристроили террасу, его покрасили зеленой краской (а наличники — белой), и теперь это не дом, а игрушка. Александр Федорович во всякое время расчищает мусор около дома (не оттого ли и трава вокруг него растет гуще и плотнее, словно бы даже ярче, чем вокруг других домов?). Между заброшенной избушкой и этим домом стоят три старые могучие березы, великолепно украшающие усадьбу. Ветла перед домом, одряхлев, разваливается на куски, и Александр Федорович посадил новые ветлы, воткнув в землю в трех местах по неотесанному ветловому колу. Иногда я вижу, как Антонина Кузьминична поливает эти колья, из которых вырастут вскоре кудрявые зеленые деревья, и скворечники как бы сами собой появятся на них.

Год назад Александр Федорович и Анна Кузьминична вынуждены были зарезать и продать на мясо корову.

Наряду с иными стихийными бедствиями, как-то: пожар, град, начисто выбивающий хлебные поля, ненастье или, наоборот, великая сушь, есть в деревне еще одно бедствие, о котором, может быть, и не знают многие городские люди. Вдруг ударит набат, и, когда все выбегут на улицу смотреть, где горит, бьющий в набат крикнет: «К Самойловскому лесу бегите, коровы объелись!»

Прихватив ножи, бегут мужики к Самойловскому лесу,

а бабы тотчас начинают голосить, еще не зная, кого из них поразило несчастье.

Впервые я столкнулся с этим, когда мне было едва ли пять лет. У нас была отличная ширококостная, длиннотелая корова-симменталка светло-красной масти, с белой добродушной мордой. Звали ее Нозорька. Видимо, сначала имя у нее было просто Зорька, а потом прибавилась эта частичка «но», ибо когда выгоняли со двора, обязательно понукали ее, шлепая ладонью по спине: «Но, Зорька!»

Корова в крестьянском хозяйстве — это все равно что... То есть я даже не знаю, с чем это можно сопоставить, если брать, например, городскую семью.

Молоко в кашу, молоко в картошку, молоко в печево, беленый чай, беленый суп, творожишко, сметана, маслишко... Горло заболело — попей горячего молочка, обмякнет; живот заболел — попей молочка, размягчится; нет к обеду второго — кроши в миску хлеб, заливай молоком — вот и еда; да еще молоко кислое, да еще молоко из погреба в сенокосную жару, когда на глиняной крынке, если внесешь ее в избу, появляются снаружи капельки студеной росы...

И домашняя живность тоже... Зашибет наседка цыпленка, сейчас нужно его попоить молочком, глядишь, и отудобит; не принимает овца ягненка, не подпускает к себе, к вымени, тотчас на бутылку надевается соска, и вот уж бегает за хозяйкой дома приручившийся на молочке окрепший ягненок. И в кошачью локушку, а кошка — законный житель крестьянской избы (и, между прочим, не забава, не украшение, а работница), и ей в локушку тоже не воду будешь лить, а нальешь туда молочка. Отравился кто-нибудь грибами, того уж вовсе нужно отпаивать молоком.

Особенно важно молоко для ребятишек, что ползают почти в каждой избе. Никакого такого рыбьего жиру, или поливитаминов, или там витамина «А», смешанного с какао, или там специальных детских кухонь со стандартными бутылочками — ничего этого нет, и если остаются пряменькими, а не гнутся ухватиком ножонки у крестьянских детей, то главным образом молоко и выручает.

Вообще для человека из всех разнообразнейших продуктов питания — фруктов, мяса, всевозможных рыб, корнеплодов, овощей, мучных премудростей — из всего этого молоко является продуктом питания номер один.

Так вот, однажды я проснулся от тревожной беготни и суеты в доме. Шли поиски длинного ножа, которым обык-

новенно отец резал, если что-нибудь нужно было зарезать, какую-нибудь домашнюю живность. Нож, как видно, не находился, и брат предлагал свой складной ножик.

— Короток, мать честная! — сокрушался отец.— Ну да, может, достанет, давай этим.

Когда я окончательно проснулся и выбежал на улицу, то увидел, что возле крыльца лежит на боку необыкновенно раздувшаяся наша Нозорька. Сначала ей пытались складным ножом проткнуть правый пах, но длины ножа не хватило, и тогда, видя, что спасти корову нельзя, перерезали мягкое ее горло, по которому, когда она, бывало, пила, вроде бы катились мячики.

Помню, когда разделывали Нозорьку и отрезали ей вымя, мать подставила бельевой таз, и отрезанное вымя в тазу все утонуло в молоке.

— Вишь, накопила уж,— вздохнула мать,— а давно ли доена.

Когда дошли до внутренностей, то отец царапнул ножом по брюшине, и брюшина вдруг лопнула, как чрезмерно надутый мяч, и в отверстие вместе со струей воздуха далеко полетели брызги полупереваренной пищи.

— Вот чего ей не хватало,— сказал отец,— а то, глядишь, отошла бы.

Но несведущим нужно, может быть, объяснить, в чем же состоит само бедствие. Дело в том, что если недосмотрит пастух и если коровы наедятся молодой клеверной отавы, а потом вскоре напьются воды, то их начинает пучить, раздувать изнутри, что приводит к гибели. Обыкновенно объевшихся коров начинают гонять бегом несколько часов кряду, не давая останавливаться, чтобы их протрясло. Иногда этой меры бывает достаточно, если спохватились не поздно, не в последний момент.

Более действенным считается пропороть ножом правый пах, чтобы достать до брюшины, но рану затягивает, зажимает изнутри, и газы сквозь нее не выходят.

В августе 1942 года, за день до ухода моего в армию, в селе объелось все стадо. Мужики на фронте, только мы с Васей Кузовым оказались поблизости да еще ветеринар. К этому времени наука придумала приспособление, а именно острую трубку с острым стержнем, вставленным в нее. Приспособление загоняют корове в пах, стержень вынимается, а сквозь оставленную в паху трубку выходит лишнее.

Но вот беда: трубка была одна, а коров объелось сразу множество. Мы наделали им в боках дырок, а затем с Васей

Кузовым бросались с двух сторон, с разбегу били в надутые бока кулаками. Баталия длилась полдня. Часть коров удалось отстоять, а часть пришлось прирезать.

Раньше потеря коровы была страшной катастрофой для крестьянской семьи. Но сейчас человек не один. Очень невезуча на коров оказалась Вера Балдова. У нее трижды объедались коровы, и каждый раз из колхоза приводили ей на двор телку, которая через год становилась молодой взрослой коровой.

Такая-то беда подкралась и ко двору Александра Федоровича и Антонины Кузьминичны — недоглядел пастух.

Скопив денег, они недавно купили новую корову, но хозяйка так отвыкла вставать в четыре часа утра, доить, поить, заботиться всю зиму о корме, что корова не прожила на новом месте и двух недель, была возвращена старым хозяевам под предлогом, что у нее не в исправности одна сиська.

Кроме облегчения хозяйке (нужно ведь еще каждый день в самые жаркие часы ходить наполдни, то есть либо на Красную гору, либо на Бугры, доить корову наполднях), был, наверно, сделан простейший расчет: корова стоит шесть тысяч рублей, сена приходится на зиму прикупить сто пудов по тридцать рублей за пуд. Значит, всего девять тысяч рублей. В колхозе молоко стоит рубль двадцать литр. На девять тысяч рублей можно купить семь с половиной тысяч литров молока. Ежели покупать шесть литров в день, то денег, истраченных на покупку и содержание коровы в одну только зиму, хватило бы на то, чтобы обеспечить семью молоком в течение полутора тысяч дней, то есть более чем четырех лет.

— А спокойно-то как,— рассказывает Антонина Кузьминична.— На рассвете пастух заиграет, спохватишься, вскочишь, но тут же вспомнишь, что не надо вскакивать, а можно отдыхать еще несколько часов, и так-то отрадно сделается на душе! Не трясись над коровой: как бы не заболела, как бы не объелась, как бы ей благая корова не испортила вымени.

Дело идет к тому, что все колхозники должны будут продать своих коров в колхоз и остаться бескоровниками. У этой проблемы несколько разных сторон.

На первый взгляд председателю какого-нибудь колхоза или директору совхоза могло бы показаться удачным за один день увеличить поголовье скота и таким образом за один день почти догнать Америку, то есть к ста, допустим,

коровам колхозной фермы тотчас добавлялось бы сто коров, купленных у колхозников, и, значит, всего на ферме получилось бы уже двести коров. Каков процент роста! Но удобность эта была бы призрачной. Да, в сводках появились бы неожиданно крупные цифры, но ведь коровы эти не самозародились. Они всегда были тут же, рядом, в нашей же деревне, в нашем же районе, в нашей стране. Молоко их не выплескивалось в реку, и мясо их не вываливалось в овраг на съедение волкам. Благом от этих коров пользовались наши же люди, и, таким образом, прибавление поголовья получилось бы, как я уже сказал, призрачным.

Другая сторона проблемы состоит в том, что разросшимся за последние годы колхозным стадам нужны все более обширные и упорядоченные пастбища, а тут нужно отводить угодья для коров колхозников; эти коровы колхозников путаются под ногами у растущего колхозного хозяйства, и лучше и спокойнее, чтобы их не было, чтобы все молочное хозяйство деревни было собрано в один мощный кулак.

Третья сторона проблемы состоит в освобождении деревенской женщины от забот по уходу за коровой, от прокормления ее, в высвобождении большого количества времени.

Но у проблемы могут быть и иные стороны. Недавно Павел Иванович — колхозник из соседнего села — при обсуждении коровьего вопроса мне заявил:

— Мало ли что, а я люблю, чтобы молоко у меня в хозяйстве было вольное. Я люблю прийти с косьбы да сразу крынку выпить. Я его, молоко-то, в жару вместо пива пью. Вы там, в городе, пиво да разные лимонады, а я молоко с погреба. Как поставит Любаша крынку на стол, так сейчас крынка эта начнет снаружи потеть, покрываться светлыми капельками. Размешаешь ложкой, если успело настояться, да и выпьешь всю крынку. Так что вы меня в молоке не ограничивайте, не хочу...

Лично меня с самого начала занимала именно эта сторона проблемы, а не ее экономические стороны, которые были мне с самого начала ясны. В самом деле, как быть, если колхозник не хочет? Прекраснее всего, что в ответ на нехотенье миллионов колхозников партия ответила статьей «Вредная поспешность в решении важной проблемы», напечатав эту статью в центральном своем органе, то есть в газете «Правда».

* * *

...Одноэтажный кирпичный дом. Стоит на прогоне. Некогда главой семьи этого дома был седобородый старик Николай Петрович, которого я хорошо помню. По этому старику у семьи существовала вторая деревенская фамилия — Николай-Петровы, и прогон, ведущий к реке, тоже назывался Николай-Петров прогон.

Семья распалась: Николай Петрович и тетя Анна померли, два сына — Виктор и Василий — погибли на войне. Виктор не успел жениться, уходя на фронт, а после Василия осталась молодая, в цвету и силе вдова Глафира, а также мальчонка Шурка. Постепенно все с Николая Петровича перешло на Глафиру, то есть дом стал называться Глафирин, и Шурка — Глафирин, и прогон — Глафирин.

Глафира долгие годы вдовствовала в одиночестве. Сейчас семья состоит из трех человек: Николай Васильевич работает в колхозе возчиком молока, Глафира — рядовая колхозница, Шурка — учетчик в полеводческой бригаде и, кроме того, помогает Николаю Васильевичу канителиться с молоком на ферме. То и дело двухколесная таратайка, нагруженная сверкающими на солнце тяжелыми флягами, курсирует между Олепином и Черкутинским молокозаводом. Кто-то на дощатом задке таратайки мелом крупно написал, скопировав с колхозной полуторки: «ВУ 26-11»,— в чем, несомненно, проявился природный юмор писавшего. Может быть, это сделал сам Шурка, парень тихий, но с какой-то доброй голубой лукавинкой в глазах.

* * *

...Хозяин дома, Дмитрий Федорович Московкин, глухой рыжебородый старик, помер давно; тетя Поля плоха, ноги не ходят, иногда под руки ее выводят на лужайку подышать воздухом; сыновья Василий и Виктор — оба погибли на войне: один, отделившись и уйдя на войну из собственного дома, от своей семьи, другой, не успев не только что жениться, но и вообще погулять с девками; дочери Мария и Шура вышли замуж: одна — на сторону, другая приняв «во двор» Сергея Тореева. Дом этот теперь, по существу, не Московкин, а Тореев. Сергей Тореев — рядовой колхозник, Шура — тоже рядовая колхозница. У них есть несколько маленьких рябятишек, все дошкольного возраста.

* * *

...В домике, обшитом пожелтевшим тесом, покосившемся и вросшем наполовину в землю, доживают свой век одинокие бездетные старики — Иван Дмитриевич и тетя Агаша Рыжовы. Помню, что тетя Агаша считалась лучшей жницей, когда еще жали серпами. Иван Дмитриевич лет пятнадцать или двадцать подряд сторожил село, ходил ночью с палкой и выбивал часы в маленький колокольчик, нарочно оставленный в селе и висящий теперь уж не на колокольне, а на высоком столбе возле пожарницы. Ни Иван Дмитриевич, ни тетя Агаша не работают в колхозе по старости.

* * *

...Кузьма Васильевич (который брался вытесать из бревна пропеллер) помер весной в преклонных летах. Тетя Марья очень стара, в колхозе, конечно, не работает. Сыновья: Михаил живет в городе Балахне; Анатолий — шофер в Черкутинском совхозе; Дмитрий — шофер в Москве; дочери: Капа, Варя, Шура, Нюра, Надя — все повыходили замуж и живут кто в Москве, кто в Коврове, кто по окрестным деревням. Жить бы тете Марье в доме одной, если бы не попросилась на квартиру молодая фельдшерица Шура Светлова.

Она живет у тети Марьи заместо дочери, занимая одна всю переднюю горницу, в которой размещалась некогда большая семья. В горнице сохраняются та чистота и тот уют, по которым сразу можно узнать, что тут живет молодая девушка, а не какой-нибудь застарелый холостяк. На вымытых до белизны полах узкие нарядные половики; листья фикусов и других цветов без признаков пыли, бревенчатые стены янтарно-желты. На столе, постланном свежей скатертью, недоконченная вышивка.

Во второй избе, то есть на кухне, владения тети Марьи. Русская печка, скобленый, чистый стол, хоть и насквозь пропитанный маслом за долгие годы, тяжелая лавка, ведро на ней с холодной водой, самовар около печки на полу, под потолком дощатая полка для посуды с ситцевыми занавесочками.

Младший из сыновей тети Марьи, а именно Дмитрий, уехал на сторону позже всех. Не следовало бы мне забегать вперед, ибо историю нашего колхоза я хочу рассказать

в своем месте, но если уж зашла речь, то надо вспомнить, что первые годы после войны Дмитрий был некоторое время председателем нашего колхоза. Он председательствовал год или полтора, вплоть до объединения. Когда все деревни кругом Олепина объединились в одно большое хозяйство, то председателем стал уж не Дмитрий, а другой, более пожилой, опытный человек — Александр Павлович Павлов из Прокошихи. Дмитрия сделали заместителем Павлова. Тогда-то он и уехал в Москву.

* * *

...Иван Григорьевич помер несколько лет назад; тетя Поля не работает в колхозе по старости; сын Василий живет на стороне; сын Александр работает налоговым агентом; сын Борис погиб на войне; сын Геннадий живет в Москве; дочь Зоя окончила курсы дезинфекторов и теперь работает в Черкутинской больнице; жена Александра Ивановича Нюра — рядовая колхозница; дочь Тамара работает в Черкутине в психдоме (так попросту называют у нас дом инвалидов-психохроников); девочка Светлана учится в пятом классе; сын Вова пойдет в школу.

У Зои есть сын Гурий (Гурка) — хороший мальчишка, который остался, однако, без отца, затем что отец обманул и бросил Зою, не успев жениться. Зоя решила сохранить ребенка во что бы то ни стало. Главная личная жизнь ее сейчас, по-видимому, вся в нем, хотя по возрасту и по виду ей теперь еще гулять бы на вечеринках вместе с девушками.

Александру Ивановичу по характеру работы налоговым агентом (кажется, скоро ему придется менять должность: налогов становится все меньше и меньше, и должны они будут исчезнуть совсем) приходится много ездить по деревням, у него есть даже казенная разъездная лошадь. Летом он ездит на ней верхом, а зимой запрягает в саночки.

Однажды, пробираясь в село по весенней распутице, я встретился в Черкутине с Александром Ивановичем, и он радостно согласился подвезти меня до Олепина. Перед тем как ехать, мы зашли в чайную и пробыли там никак не больше пяти—семи минут. Несмотря на такой короткий срок пребывания в чайной, настроение Александра Ивановича еще улучшилось, да и мне стало казаться, что я ехал из Москвы не столько в родительский дом, сколько для того, чтобы встретиться с Александром Ивановичем. По

дороге к Олепину Александр Иванович окончательно впал в сентиментальное настроение. Причиной тому, скорее всего, были наши разговоры. Мы разговорились о том, что маленькие лесочки около Олепина, как-то: Осинничек и Попов лесок, почти начисто сведены неразборчивой, безответственной и бесхозяйственной рубкой на дрова и что народ добрался уж до кладбища, чего никогда не бывало да и быть не могло.

А так как за целое дерево можно было попасть под штраф, то сначала у кладбищенских сосен стали обрубать все сучья. Деревья превратились в ужасные полуживые столбы. Это делалось еще и для того, чтобы дерево посохло, а за сухостой никакого штрафа не полагается. Правда, есть хитрые и тонкие способы засушить дерево, как-то: обтесать около корня кору, обхватив дерево мертым кольцом, или даже (артистическая тонкость) обстучать кору обушком, она отсохнет, отойдет от древесины, омертвеет на обстуканном месте, и дерево незаметно начнет чахнуть. Олепинцы, как видно, не знали таких тонкостей или им было некогда, и они действовали несколько грубоватее: смахнут все сучья с дерева — и дереву конец.

Александра Ивановича расстроило не сведение Осинничка или Попова леска и даже не обезображение сельского кладбища, а расстроили его ветлы по реке, вернее, их исчезновение в течение одной зимы.

Это были первые послевоенные годы. Дела в колхозе шли плохо. Колхоз не мог обеспечить людей хлебом, потому что весь его нужно было сдавать государству. Не мог он обеспечить их и дровами, потому, по всей вероятности, что было тут не до дров. Пришла зима, и люди с салазками и топорами потащились тайно и явно в окрестные лесочки и даже нашли дорожку к реке. Ольховые кусты, которыми заросла речка, мало интересовали озябших мужиков (чаще, впрочем, ездили за дровами женщины), но старые, пышные, золотистые весной и зеленые летом ветлы вполне годились на дрова.

Когда мы выехали на Курьяновскую гору и оказалась под нами и влево и вправо извилистая ленточка реки, я спросил у Александра Ивановича, куда подевались ветлы, десятилетиями украшавшие долину, и что это за большие темные пятна на снегу. Александр Иванович начал рассказывать злоключения этой зимы, и чем дальше рассказывал он, тем больше трогал его свой собственный рассказ.

— Вова, нету моего выражения! — воскликнул он наконец.— Ведь ветел-то осталось наперечет, давай-ка посчитаем.— Он остановил лошадь, и мы, не торопясь, обстоятельно начали считать ветлы.— Вон уцелела ветла, где кончается кладбище, да на повороте ветла, да одна ветла под Курьянихой, да одна под Лоханкой. Вова, вот что я тебе скажу: нет моего выражения!

И пьяные, а может, и не такие уж пьяные, слезы он размазывал время от времени суконной варежкой по лицу, обожженному морозами за зиму, на смену которой шла теперь весна: на исходе был март, а за ним, наступая ему на пятки, торопился апрель с его ручьями, с его весенним половодьем, призванным унести подальше мелкие сучья, оставшиеся от рубки ветел, и тем самым как бы омыть раны земли.

Однако спустя некоторое время после весны, как правило, снова наступает зима, снова нужно топить усиленно печки и лежанки. Какие же меры могут спасти те небольшие лесочки, которые растут обыкновенно около сел и деревень? Ни штрафы, ни даже, если бы вдруг додумались, проволочные заграждения не могли бы прийти на выручку. Средство единственное и очень простое.

Сейчас, когда колхоз оснащен самой совершенной техникой, как-то: автомобилями и гусеничными тракторами, не говоря уже про тех же лошадей,— дровяное благополучие колхозников зависит только от колхоза. На отведенных государством делянках в больших лесах зимой колхозники заготавливают дрова, то есть валят деревья и разрезают их на бревна одинаковой длины. Колхоз перевозит бревна в село, и, таким образом, все оказываются с дровами, и нет нужды рубить сосны на сельском кладбище или уничтожать ветлы по реке.

Рассказывают, что Дмитрий Бакланихин, будучи председателем, делал себе поленницу не больше и не меньше, чем у остальных, и по ней судил, сколько дров осталось еще у колхозников: кончается поленница у Дмитрия, значит, кончается и у остальных, значит, надо думать снова о дровах.

Итак, судьба окрестных небольших лесов зависит, оказывается, не от топора колхозника, а единственно от заботливости и своевременных действий председателя.

Мать Александра Ивановича тетя Поля, седовласая энергичная худощавая старуха, всю жизнь была немного

артистка. Мне сдается даже, что артистические способности у нее были незаурядные, только что разве не получили должного развития. Я не знаю в подробности тех спектаклей, которые случались в стенах их дома, но зато я видел тетю Полю на сельских складчинах, в самых разнообразных естественных сценках.

Приедешь ли в деревню и пройдешь ли мимо тети Поли, сидящей на лавочке возле дома, тотчас она запричитает, сопровождая причитания живой и яркой мимикой:

— Володенька, миленький, уж как мы всегда рады, как мы рады, когда ты приедешь, уж как мы тебя заждались, уж как мы по тебе соскучились, как мы тебя любим, да как хорошо, что ты нас не забываешь! Уж ты всегда приезжай к нам, миленький, а уж мы тебе так рады!..

Бьюсь об заклад, что целый год тетя Поля и не вспомнила о моем существовании, я знаю про это, и она сама знает, но игра настолько вдохновенна и, главное, настолько совершенно бескорыстна, что как-то вроде бы даже и поверишь.

Однажды тетя Поля попросила, чтобы я сфотографировал ее на могиле мужа. В назначенный час вдова оделась во все черное, и мы пошли под Останиху. Она оживленно разговаривала со мной о всякой всячине и даже продолжала разговаривать, когда уж присела на сирый, бескрестный холмик, чуть-чуть впереди сосны с обрубленными доверху сучьями, но стоило мне навести аппарат, как женщина преобразилась. Она склонила голову набок, подперла ее рукой, лицу придала необыкновенно скорбное и печальное выражение, так что никакому режиссеру не добиться бы той степени естественности и той пластичности в фигуре скорбящей женщины в черном, сидящей на могиле мужа.

Впоследствии мне случалось показать эту фотографию поэту Леониду Мартынову. Волосы, казалось, зашевелились у него на голове от возбуждения и восторга. Я говорю об этом так прямо потому, что тут нет и капли моей заслуги как человека, щелкнувшего затвором камеры, но главная, единственная заслуга принадлежит тете Поле. Я и сам считаю, что если бы живописец захотел написать скорбь, то за основу он смело мог бы взять элементы этой фотографии: могильный холмик, женщину в черном, обрубленную сосну и серые осенние облака на заднем плане...

* * *

...В этом очередном доме до недавнего времени жила семья из трех человек: Александра Григорьевича, родного брата тому Ивану Григорьевичу, на могиле которого мы только сейчас побывали, тети Дуни и красивой, веселой, с большими серыми глазами девушки Раи.

Александр Григорьевич помер, что называется, во цвете лет от кровоизлияния в мозг. Он был председателем ревизионной комиссии, и голова его однажды не выдержала ревизии колхозных дел: тетя Дуня и Рая некоторое время пожили одни в Олепине, потом Рая уехала в Москву и устроилась там работать не то машинисткой, не то секретаршей, не то и тем и другим сразу; со временем и тетя Дуня переехала к дочери. Рая вышла замуж за китайца, советского подданного, и теперь у них растет смуглая черноглазая китаяночка.

Не так давно в центральном радиовещании создавалась большая композиция «Музыка родной земли», то есть речь шла о музыке нашей Владимирщины. В композиции участвовали и рожечники, и балалаечники, и гармонисты. Кроме того, там нужно было петь частушки на мотив «Елецкого». Я, не обладая музыкальным слухом, никак не мог передать работникам радио правильный мотив и верную манеру исполнения частушек, и все мы пришли в отчаяние, как вдруг мне вспомнилась Рая — лучшая певунья и плясунья во всей Олепинской округе. Сейчас же я разыскал ее телефон и передал кому нужно. Потом мне рассказывали, что Раю удалось уговорить, она приходила на радио и показала-таки московским артистам, как надо петь «Елецкого». Вероятно, что она показала и гордую свою выходку и прошла дробью, да еще не было ее подруги и соседки Зои, постоянной партнерши по танцам и такой же голосистой, как Рая, а то получился бы на радио настоящий концерт.

Будто бы артисты советовали Рае бросить канцелярию и переходить в их ряды. Но скромная девушка получила гонорар «за консультацию» и поспешно ушла заниматься своим делом.

Недавно Рая вселилась в новую комнату или даже квартиру, в которой живет и тетя Дуня. Она работает лифтершей. Деревянный домик свой они продали Ивану Сергеевичу Патрикееву из Курьянихи, обновившему старый дом, обившему его тесом и покрасившему крышу

красным, стены голубым, завалинку зеленым, наличники желтым.

Иван Сергеевич — плотник и работает в колхозе исключительно в плотницкой бригаде; жена его Нюра — колхозный кассир; сын Виталий — шофер, живет в Москве.

* * *

...Андрей Михайлович, высокий (около двух метров), худой, горбоносый старик, с рыжими, свисающими усами, знает столярное ремесло. С первых же дней не захотел работать в колхозе и уехал в Москву, где состоял таким мастеровым — и стекла вставлять, и стул починить, и водопроводную трубу — при домоуправлении на улице Кирова. Я бывал у него несколько раз по разным делам и удивлялся, зачем он просторную деревенскую избу со своей старухой — тетей Аграфеной — с садом, огородом, травяным залогом и сосновым лесочком на задах променял на одинокую жизнь в подвальной комнатенке — шесть или восемь квадратных метров внутри каменного колодца городского двора. Однако Андрей Михайлович прожил в упомянутой комнате с грязными обоями, с газетой, постланной на столе и обыкновенно в черных пятнах от чайника или кастрюли, до самой последней старости и лишь недавно вернулся в село, потому что стал замечать тяжесть в желудке, безразличие к еде и частые приступы тошноты.

Старший сын Андрея Михайловича, Василий, был убит в деревенской драке; сын Иван потерял на войне ногу, живет под Москвой; дочери Наталья и Надежда вышли замуж, живут в Москве; младший сын, Юрка, остался фактически хозяином дома. Он женился на «медичке», то есть на заведующей Олепинским медпунктом Люсе, и теперь у них растут две девочки. Когда Юрке говорят: «Что же ты, Юрка, ослаб, все девочки да девочки?» — он отвечает: «Были бы девки — парни сами под окна придут».

Вообще у него от природы бьется в мозгу какая-то острая жилка. Однажды во время долгого перекура возле сенного сарая мы все начали дремать на солнышке, как вдруг в селе сильно ударил колокол, приглашающий на обед. Юрка мгновенно вскочил, как бы испугавшись чего-то, и выпалил:

— Эх, черт возьми, чуть не по голове!

Сказать про резкий звук колокола, что он чуть-чуть не попал по голове, дано, конечно, не всякому.

В другой раз он говорил про Ивана Дмитриевича шутя в присутствии самого же Ивана Дмитриевича:

— Ты его не слушай, он все врет, все врет, только и правду скажет, когда ошибется.

Юрка, мой сверстник, дальше четвертого класса учиться не захотел. С замиранием сердца возился с лошадьми и постепенно втянулся в серьезную работу в колхозе. В нем около двух метров росту и, несмотря на худобу, более ста килограммов веса. Поэтому естественно, что в армии он работал молотобойцем.

Теперь он тракторист, в праздники много пьет, не закусывая, отчего быстро хмелеет. Впрочем, как бы пьян и как бы силен он ни был, Люся живо находит на него управу, и он делается как шелковый.

Люся приехала в Олепино по распределению из медицинского техникума. Здесь и нашел ее Юрий, или она нашла его — в этом всегда бывает трудно и даже невозможно разобраться.

Я упоминал, что старший брат Юрия, Вася, убит в деревенской драке. Вот что можно рассказать по этому поводу.

Оромантизированных и опоэтизированных драк «стенка на стенку», когда дерутся чистым кулаком, а лежачего не бьют, у нас никогда не было, а было нечто другое. Я рад и счастлив, что теперь в общем-то почти на сто процентов можно говорить об этом в прошедшем времени, употребляя слова «было», «была», «были», и т. д., потому что нет ничего хуже, дичее и гаже, когда человек бьет другого человека, а тем более когда несколько человек бьют одного. Однако вот как происходило дело.

Живут по окрестным деревням парни как парни, работают, при встречах здороваются друг с другом, угощают друг друга куревом — ничего не скажешь плохого. Но вот пришел престольный праздник и по этому поводу массовое гулянье.

С утра пока еще все трезвые, все тихо и благополучно в селе. Ходят большими партиями девушки и поют песни. Парни ходят отдельными партиями и тоже поют песни. Или соберутся все вместе в круг и танцуют. Все идет хорошо.

Часам к четырем дня атмосфера начинала сгущаться, в воздухе пахло бедой. Вот уж вся «Ворща», то есть парни

из деревень, расположенных по реке, собрались в кучу и ходят как бы отрешенные, как бы уж решившись на что-то и оря благим матом воинственные частушки, как-то:

Наша шайка, шайка-лейка,
Пачка ржавленых гвоздей.
Кто навстречу попадется,
Пробьем шею до костей.

Шире, улица, раздайся,
Шайка ворщинских идет.
Атаман в гармонь играет,
Шайка песенки поет.

Тут могли следовать частушки, направленные на сплочение упомянутой шайки:

За товарища сыграю,
За товарища спою,
За товарища оставлю
Буйну голову свою.

Расколись, моя перчатка,
От удара пополам.
Режьте тело мое бело,
Бить товарища не дам.

Чтобы еще больше взвинтить, разгорячить и даже разжалобить себя к самим же себе, как бы уже избитым и порезанным, пелось следущее:

Открывай, отец, ворота,
Сын порезанный идет.
Грудь пропорота кинжалом,
По рубахе кровь течет.

Ну, пускай, пускай порежут
И положат в уголок.
Наревешься, дорогая,
У моих холодных ног.

Нате, режьте, нате, режьте,
Нате, режьте на куски.
Не капуста мое тело,
Не повалятся листки.

Затем, чтобы потрясти возможного противника, не исключено было восхваление своего оружия:

Мой кинжальчик первый номер,
Позолоченный носок.
Кто олепинских затронет,
Припасай на гроб досок.

Когда по селу начинала ходить такая воинственная ватага, то примерно все знали, кого собираются бить: олепинских, спасских или калитеевских,— и воинственность одной стороны тотчас вызывала сплочение и готовность к бою другой. Если же оказывалось, что бить некого, допустим, потихоньку ушли спасские или калитеевские парни, то накопившаяся энергия все равно просила выхода, а тут попадался какой-нибудь случайный смирный парень, идущий с девушкой...

Драки эти были отвратительны своей трусливостью и, я бы сказал, непорядочностью. Старались сзади, врасплох, сшибить с ног человека.

Итак, начинала сгущаться атмосфера. Но посмотришь вдоль села — и пока все как будто в порядке. Впрочем, вот в том конце послышался шум, крики, со всех концов празднично, ярко одетые люди бегут в одно место, образуя толпу, в центре которой взметаются вверх кулаки. Это первая стадия драки. Вскоре послышится женский визг, и толпа хлынет в разные стороны: значит, показалась кровь и происходит там то, на что нельзя смотреть без содрогания: либо кого убили, либо добивают смертным боем.

Нужно сказать, очень хорошо, самоотверженно вели себя в таких случаях деревенские девушки. Увидев, что бьют «залетку», то есть того парня, с кем гуляет девушка, она бросалась в самую гущу драки и висла на шее у любимого, чем, однако, чаще всего приносила ему вред, так как связывала его движения. Но случалось, удавалось девушке вытащить парня из драки и увести его.

В памяти моей хранится множество виденных случаев зверств и дикости во время пьяных престольных драк.

Но не было случая жесточе и страшнее, чем случай с Васей, происшедший еще в 1933 году.

Васька и Тошка были два олепинских парня. Один из них, Васька, брал силой, а другой, Тошка, хитростью. Вкупе они были непобедимы.

Рассказывают, что Васька был великан и красавец: чернокудрый, лицо белое, зубы белые и ровные, в плечах — косая сажень.

Вскоре вся округа была терроризирована олепинскими хулиганами. Как только они входили в прогон села, гулянье разбегалось. Парни запрыгивали в окна, прятались в садах и огородах. Однажды Ваську вместе с другими

парнями посадили в каталажку, но драка продолжалась и там. Тошка в это время бегал вокруг с ножом и кричал: «Пустите меня в тюрьму, там Ваську бьют!»

Потом Тошка пырнул ножом смирного, доброго парня, и его услали в Сибирь. Васька остался один. Семь деревень сговорились покончить с Васькой.

В колхозе «Зеленый лужок» справляли свадьбу. Уже ходили слухи, что Ваське грозит опасность, но он не захотел показаться трусом и пошел на эту свадьбу. Ему поднесли литровую кружку водки. Он выпил ее залпом, а когда вышел в сени, кувалдой стукнули его по затылку. Он упал, поднялся и побрел домой. Вслед ему полетели колья, доски, камни. Одну доску он поднял, и нашлось еще силы бросить ее в толпу и сшибить ею двух или трех человек. Кто-то подбежал и ударил колом по поджилкам. Гигант рухнул. Тогда налетела толпа. Это было возмездие.

Потом все разбежались. С одиннадцати вечера до шести утра Васька лежал на траве и... жил. В шесть утра помер. На нем насчитали несколько десятков ран, некоторые были сквозные.

Тошка вернулся из Сибири четыре года спустя с красавицей сибирячкой, которую звали Агнесса. В полтора раза крупнее всех наших деревенских женщин, она ходила по селу, как царица, а Тошка, теперь уж Анатолий Кузьмич, играл ей на гармони...

* * *

...Александр Иванович — пожарный инспектор; тетя Клава — уборщица на медпункте. Когда я был маленький, у них росли две очаровательные девочки, которые обе в один день умерли от скарлатины. Я помню об этом как о первом чужом горе, которое дошло до моего детского сознания. В то время мне казалось, что раз случилось такое несчастье, то, значит, у них уж больше и не будет детей. Однако теперь у Александра Ивановича и тети Клавди растут три сына: Виктор, Виталий и Шура. Все учатся в школе (старший — в восьмом классе), а дочь Липа работает в Ставрове на заводе, кажется, лаборанткой.

Ежедневно подметая в медпункте, или моя полы, или вытирая пыль, может быть, тетя Клавдя вспоминает своих девочек, навсегда оставшихся маленькими, и думает о том,

что если бы тогда был медпункт в Олепине и работали в нем фельдшерица Люся и ее помощница Шура Светлова, то, может быть, не померли бы ее девочки.

Медпункт — невесть какое солидное медицинское учреждение: наиболее распространенные лекарства самой первой необходимости, шприцы для уколов, перевязочные средства,— но все же не нужно бежать по всякому случаю в Черкутино, в больницу.

Иной раз ночью, в устоявшейся тишине, вдруг раздастся на все село громкий стук в наличник окна — значит, подкравшись, распрямилась над чьим-нибудь изголовьем костлявая с косой в руках старуха, и вот стучат в окно к Люсе или Шуре. Деревенский человек не будет тревожить доктора по пустякам. Должна вскакивать с постели Люся и бежать к больному, и знать, и чувствовать, что здесь, в ночном селе, ни помощи, ни поддержки ждать неоткуда. И борьба ее за жизнь того или иного олепинского жителя есть единоборство.

Может быть, кто-нибудь посчитал бы роскошью медпункт для маленького села и окрестных деревенек, в то время как до больницы четыре километра, но я знаю, что люди в Олепине живут спокойнее оттого, что в каждую минуту дня и ночи можно постучаться и позвать или Люсю или Шуру.

* * *

...Тетя Марья Постнова не работает в колхозе по старости. Из многочисленных детей ее с ней живет теперь младший сын, Виктор. Он работает завскладом в колхозе; жена Виктора, Катя,— счетовод в правлении колхоза; девочка Лида учится в четвертом классе.

Дочери тети Марьи — Нюра, Настя и Надя — все вышли замуж и живут в окрестных деревнях. Сыновья — Андрей и Михаил — отделились. Андрей погиб на войне.

* * *

...Дом Андрея Ивановича Постнова. Сейчас вижу этого спокойного, степенного, медленно разговаривающего лысоватого мужика, идущего с вожжами на конный двор. Знаю вдову после него — тетю Любу, худую, темно-смуглую женщину, которой довелось отработать в своей жизни за пятерых мужчин, пока вырастила сына и дочерей. Помню,

когда женился Андрей Иванович. Потому осталось это в памяти, что, будучи совсем маленьким, вместе с народом пошел за околицу встречать свадебный поезд, а поезда все не было и не было. Я промерз насквозь, и именно ощущение холода осталось в памяти.

Въезд в село тогда перегородили веревкой, чтобы взять с жениха на водку по какому-то там старинному обычаю, но кучер попался лихой и уж выпивший, кони в красных и зеленых лентах разнеслись, прорвали заграждение, раскидав в снег людей, которые собирались их остановить. Мелькнули у меня в глазах какие-то сундуки на санях, обитые железом, и все исчезло. Еще разговор помню, что невеста-де очень молода, хороша и работяща, то есть это про тетю Любу шел разговор.

О первых двух качествах сейчас судить не берусь, а что работяща — оправдано всей ее жизнью. Теперь она работает в колхозе дояркой; дочь Зоя — тоже доярка; дочь Валентина — ткачиха на Собинской фабрике; дочь Капа окончила десятый класс, осталась работать в колхозе; сын Юрий работает на заводе во Владимире, сын Александр служит в Советской Армии.

* * *

...Здесь живет брат Андрея — Михаил Иванович Постнов, плотник; Вера Ефимовна — рядовая колхозница; сын Николай работает в Ставрове на заводе «Автонасос»; сын Шура был прицепщиком, на днях проводили в армию.

Вера Ефимовна — женщина ловкая и работящая, ничего не отобьется от ее рук. Одно время спустили сверху план: посеять столько-то гектаров кок-сагыза, и возделывать его впредь, и сдавать государству. Я уж и не знаю, сколько лет бились с этим кок-сагызом, ибо культурой он оказался очень трудоемкой. Нужно было мотыжить и перемотыживать его в самую жаркую и рабочую пору лета. Дарья Кузова — жена кузнеца — даже частушку сложила:

Надоела нам мотыга,
Надоел нам кок-сагыз,
А еще больше надоело... —

но тут шла такая пусть и не лишенная остроумия нецензурщина, что я воспроизвести ее не берусь.

И вот мотыжили этот кок-сагыз, мотыжили, думаю, лет не пятнадцать ли, а толку так и не добились.

Наконец Вера Ефимовна осерчала: «Ах, черт его дери, надо хоть узнать, что это за кок-сагыз и какой он бывает, а то помрешь и не поглядишь!»

Она возделала у себя в огороде грядку, засадила ее кок-сагызом, и вырос у нее кок-сагыз, какой он должен быть на самом деле, и все колхозники ходили к ней и любовались: так вот он, оказывается, какой бывает!

* * *

...Едва ли не самый хороший, высокий, со светелкой, сложенный из неохватных бревен, покрашенных в желтую краску, с кудрявой липой под окнами дом Петра Семеновича Патрикеева. Петр Семенович и его жена Марья Егоровна померли, единственная дочь Шура живет в Москве (пенсионерка).

Шура продала деревенский дом (за девять тысяч) вместе с огородом, садом, колодцем и отличной баней, стоящей в саду, Василию Михайловичу Жирякову из Зельников.

Василий Михайлович — бригадир колхоза по Олепинской бригаде — мужик с характером, крутой, так что все его слушаются и даже побаиваются; жена его Лида до последнего времени работала продавщицей в нашем Олепинском магазине; сыновья: Коля, Юра и Шура — все учатся в школе (старший — в шестом классе).

* * *

...Здесь жил единственный в селе настоящий шорник Василий Егорович с женой своей Евленьей. Оба теперь под Останихой [1]. Дом перешел к сыну шорника — Николаю Васильевичу, который ушел к вдове Глафире. Вера Никитична, оставленная им жена, живет в доме одна. В колхозе не работает: пенсионерка по инвалидности. Дочь ее Нюра вышла замуж в другую деревню.

* * *

...Василий Васильевич — высокий, чаще всего босой старик, с курчавой нерасчесанной бородой, в которой всег-

[1] Так называется место, где с давних пор расположено наше кладбище, хотя правильнее его было бы называть не под Останихой, а над Останихой, ибо Останиха стоит внизу горы, за речкой.

да торчали какие-то соломинки,— помер. От него остался в моей памяти один эпизод, который в свое время глубоко затронул детскую душу и заставил задуматься. Дело происходило, очевидно, в первые дни существования колхоза в нашем селе. Большинство крестьян отдали свои сараи, где хранили сено, в колхоз, отдал свой сарай и Василий Васильевич. Однако, отдавая, мужики как-то, видимо, не были убеждены, что сараи теперь и правда стали не их. Казалось все это им какой-то игрой, а сарай... так что же, как стоял, так и стоит на своей усадьбе. Что дело обстоит именно так, лучше всего доказывает поступок Василия Васильевича.

Через несколько дней после обобществления колхоз решил сарай Василия Васильевича зачем-то перетащить на новое место. Уж начали сдирать железо с крыши, когда огромный, медведеподобный, нечесаный мужик увидел, как рушится построенное собственными руками. Тогда он, до ослепления уязвленный происходящей, на его взгляд, вопиющей несправедливостью, схватил топор и, приставив лестницу, бросился на ломающих.

— Да как же! — увещевали Василия Васильевича некоторое время спустя, когда вспышка окончилась.— Ты заявление в колхоз писал? Писал! Ты сарай в колхоз на общее пользование отдавал? Отдавал! Чего ж ты теперь хочешь?

Мужик смотрел вокруг недоуменным взглядом и молчал, как бы чего-то не понимал. Сарай, конечно, разломали и увезли.

После Василия Васильевича остались два сына: Панька и Петяк. Это были здоровые, крупные парни, хотя считалось, что природа забыла или не успела положить на них по какому-то завершающему штришку. Долгое время братья не могли жениться затем, что боялись гулять с девками или, может быть, девки не хотели гулять с ними (мешала репутация). Родители решили однажды оженить сразу обоих. Нашлись свахи, нашлись и невесты. Чтобы избежать лишних расходов, свадьбу играли за один стол. Парни отнеслись к женитьбе со всей серьезностью. Будучи вездесущими мальчишками, мы видели, с какой обстоятельностью приколачивал Петяк большой железный крючок к чулану, в котором ему предстояло провести первую брачную ночь. Мы поняли это по-своему: наверно, он боится, чтобы невеста от него не убежала.

Павлу досталась хорошая, работящая, серьезная женщина. Она взяла его в руки, и жизнь их определенно наладилась бы, если бы не помешала война. С войны Павел не вернулся.

Петяк, напротив, сквозь войну прошел невредимым, и вскоре у него один за другим стали появляться детишки. А так как первостепенной заботой жены его Нюры (удивительно подошли они друг к другу!) было родить, а все остальное она считала малосущественным, то детишки росли исключительно на жаркой и душной печке, сначала завернутые в тряпье, а впоследствии ползая по печке голышами. Впрочем, на пол им спускаться было никак нельзя, потому что на полу зимой в этом доме замерзала в ведрах вода.

Никак не ладилось с хозяйством у Петра Васильевича. При всем том он не терял не только присутствия духа, но и даже добродушного расположения.

Если не очень сытен весь год, то каждому известно, что весной наступает самое трудное время. Вот почему нас, меня и моего товарища, приехавшего со мной в Олепино на каникулы, особенно растрогал Петр Васильевич весной 1947 года. Мы пилили дрова на задворках, где уж сильно пригревало солнце, хотя лежал снег, весь золотой снаружи и темный в глубине, ибо набряк водой. Сила играла в нас, начинающих отвыкать там, в студенческом общежитии, от здоровой мускульной работы. Пила сытно вгрызалась в древесину, желтые душистые опилки густыми струями брызгали на обе стороны, поленья одно за другим отваливались с козел, и нам было жарко, несмотря на то что мы сбросили телогрейки, оставшись в одних рубахах. За этой работой застал нас Петр Васильевич. Он появился неожиданно, весь освещенный солнцем и чрезвычайно живописный в своем наряде. Ватный пиджак его был туго-натуго подпоясан широким солдатским ремнем, и только этот ремень, казалось, и мешает пиджаку тотчас рассыпаться на тысячу мелких ватных и тряпичных лоскутков. Если бы сто кошек в течение дня драли пиджак острыми своими когтями, и то он, наверно, не стал бы свисать таким невероятным множеством лоскутков, бог знает какой силой держащихся друг возле друга. Штаны были цельнее, зато валенки вполне гармонировали с пиджаком.

При всем этом Петр Васильевич весело сунул нам по очереди свою заскорузлую коричневую ладонь и тотчас попросил закурить. Мы курили тогда самосад, одни листоч-

ки, так что даже такой прожженный курильщик закашлялся от первой затяжки и кашлял долго, не забывая сквозь кашель говорить:

— Эх, ядрена матка! Вот это табачок!.. Ничего... До кишок продирает!

Петр Васильевич мог прийти и за одним тем, чтобы закурить, но чувствовалось, что есть у него еще и иное дело. А так как человек он не из робких и не из стеснительных, то тут же мы узнали, в чем это дело состояло.

— Ты понимаешь, нет ли у тебя гвоздочков десятка полтора?

«Ну вот,— мелькнуло у меня в голове,— а говорили, Петр Васильевич не хозяйственный мужик. Вишь, гвозди понадобились, чего-нибудь поправит там у себя дома, приколотит какую-нибудь доску или починит наконец расшатавшуюся дверь, через которую проникает в избу уличный холод».

— Да зачем тебе гвозди, для какой цели? Я выберу те, какие больше подходят.

— Как зачем? Что мы, не люди, что ли? Чай, весна идет, надо бы сделать пару скворечен. Прибью на ветлу — заведутся скворцы: все чин по чину.

Вот это-то нас и растрогало. Мы насыпали ему в шапку гвоздей, какие у нас нашлись, и он грубовато бросил нам: «Мерси!» А так как в это время мы с товарищем каждый день по два часа занимались французским языком, то нам ничего не стоило ответить Петру Васильевичу по всем правилам, то есть «силь ву пле», на что он недоуменно хмыкнул и передразнил нас: «Ишь ты, сильте плей!»

Улучшение общей жизни в деревне не могло не коснуться и Петра Васильевича. Кроме того, он научился пасти и вот уж который год уходит в Юрино, где пасет деревенское стадо, выпасая большие деньги и много продовольствия. Так, например, одну зиму он привез сорок пудов овса и весь этот овес высыпал в избу; семья всю зиму жила как бы в сусеке.

Несмотря ни на что у него выросла дочь Валентина, сейчас ей семнадцать лет, и она работает в колхозе, а также сынишка Шурка, помогающий в летнее время (когда каникулы в школе) отцу пасти. Бегает и еще один мальчонка, поменьше. А грудного ребеночка Нюра носит каждый день в медпункт: видимо, хвор.

Теперь, в 1959 году, Петра Васильевича никак нельзя назвать не только бедным, но и просто нуждающимся, чему

доказательством могут служить две никелированные кровати, купленные им в магазине год назад (все покупают, а мы что, хуже людей!), а то, что кровати эти так и стоят несобранные и что по-прежнему дует в двери и окна, это говорит не о благосостоянии семьи, а исключительно о характере как самого Петра Васильевича, так и жены его Нюры.

В этом доме (в другой его половине) живет мать Петра Васильевича, тетя Дарья, с дочерью Марусей. Маруся работает в колхозе дояркой, а тетя Дарья не работает по старости.

Иные люди, когда опишет писатель деревенский пейзаж и когда вдруг не окажется на переднем плане трактора, тотчас заявляют: «Что же вы все мне описываете старую деревню?» Как будто в деревне, куда ни глянешь, всюду так и торчат тракторы. Как правило, они все стоят около кузницы, за околицей села, и, значит, чтобы поглядеть на них, нужно идти туда, за околицу, нарочно.

Но дело не только в тракторах. Говоря так, люди, должно быть, сами не знают, что такое была старая деревня и что должно вставать перед глазами при произнесении этих двух слов. Каждый сам по себе. Тридцать шесть домов, тридцать шесть крепостей, или, может быть, лучше сказать, крепостишек. Равных нет. Если теперь Серега Тореев заработал на сто трудодней меньше, чем Юрка, то это вовсе не значит, что он, Сергей Тореев, будет ломать перед Юркой шапку. Бедняк, занимающий у богатого мерку ржи на семена (не то что есть — и сеять нечего!),— было обычной картиной старой деревни.

Вот живут две женщины — тетя Дарья и дочь ее Маруся. Пахаря нет. Косца нет. Сеятеля нет. Конечно, в старой деревне пришлось бы ходить по селу, вымаливать, просить, брать в долги, если просто-напрасто не идти по миру с холщовой сумкой.

А я знаю, например, что, когда недавно председателю колхоза понадобилось занять три тысячи рублей денег, он ходил занимать их именно к доярке Марусе.

* * *

...Здесь, на некотором отшибе, жили Тихановы, которых я совершенно не помню. Теперь дом принадлежит молодому хозяину Виктору Воронину.

Отслужив в армии и попривыкнув за это время к чужой стороне, парни редко возвращаются в родное село, а стараются зацепиться где-нибудь на заводе, на фабрике в городе или поближе к городу. Именно так и поступили два младших брата Виктора. Но сам Виктор, отслужив, вернулся в село, купил дом, женился, обзавелся хозяйством. Работает он трактористом. Судя по его добросовестности, обстоятельности, неторопливости и, я бы сказал, добропорядочности, видимо, это хороший тракторист. Жена его, Валентина, не работает, занимается с детьми — двумя сыновьями.

Я помню, как выглядел Виктор, будучи маленьким мальчиком. Недавно я был удивлен, когда в ограде попались мне навстречу два маленьких Витюшки Воронина, как если бы я перенесся лет на двадцать пять назад: такие же беленькие, соломенноголовые, с несколько широковатыми ртами и несколько оттопыренными крупными ушами. Как две капли воды, они похожи друг на друга и на того маленького Витюшку, которого я знал в своем детстве.

Интересно, что будет с этими белоголовыми мальчиками через двадцать пять лет: останутся ли они, по примеру своего отца, в деревне? Интересно также, как будет выглядеть в то время наше село, и какие новые люди будут населять его, и какие белоголовые мальчики будут бегать по ограде (если останутся от ограды хотя бы следы), и какие новые, иные, быть может, заботы будут одолевать людей, как одолевали они их, передаваясь из поколения в поколение?

* * *

...Андрей Павлович Грибов. Про него я писал в главе о молотьбе. В колхозе не работает, занимается своей личной пасекой; Мария Васильевна, его жена, в колхозе не работает, помогает мужу ухаживать за пчелами; дочь Лида живет в городе Ржеве, куда уехала по распределению из механического техникума; сын Владимир работает шофером в городе.

* * *

...Отчий дом Виктора Воронина, о котором только сейчас шла речь. Семья Ворониных находится в таком состоянии: тетя Поля, пожилая женщина, сторожит село (должность механически перешла от умершего недавно

мужа); дочь Валентина работает в Черкутине; дочь Надя живет на Собинке, работает ткачихой; дочь Лида устроилась, кажется, на кирпичный завод в Ундоле; сын Николай — шофер во Владимире; сын Юрий работает на заводе во Владимире; сын Геннадий служит в Советской Армии.

Глава столь многочисленной семьи Петр Павлович Воронин был высокий, очень худой чернявый мужчина. Не только волосы, брови и щетина на щеках и подбородке были черны, но сама кожа казалась как бы черноватой. Сколько я себя помню, Петр Павлович постоянно жаловался на желудок и все время носил в кармане бутылку с разведенной содой, откуда и отпивал по нескольку глотков время от времени. Сильно мучился он в войну, когда соды достать было почти невозможно. Не знаю, какое утешение давала ему сода — действительное или больше моральное, ибо, видимо, нужно было ему при своей болезни блюсти строгую диету. Какой толк в соде, если сейчас он выпил щелочи, а через полчаса наелся черного хлеба с квасом и луком? Семья была большая, дети росли почти все в одно время, а работал он один, значит, ни о какой диете не могло быть и речи, если бы и внушили ему, если бы и решил он ее соблюдать. Толстовская фраза: «Неудобно хворать мужику»,— была сказана как раз про Петра Павловича. А тут еще тяжелая работа: то председатель колхоза в самые трудные для колхоза времена, то бригадир, то конюх, и лишь в самое последнее время, ослабев, стал Петр Павлович работать ночным сельским сторожем.

А тут еще неприятности: дочь, продавщица магазина, совершила растрату, и ее осудили на восемь лет. С другой дочерью вышла иная история. В колхоз приезжали солдаты на уборку картошки. По вечерам, конечно, ходили в клуб, знакомились с девушками. С одним солдатом и затеялась у младшей дочери Петра Павловича длинная переписка. Никто об этом не знал. А между тем у всякой переписки есть своя логика, свое течение, свое развитие, и однажды пожаловал в дом незнакомый демобилизованный паренек с чемоданами. Когда первое впечатление улеглось, все решалось, было, по-хорошему. Молодые расписались и поехали на родину к пареньку, куда-то на юг Украины. Девчонка, не бывавшая доселе нигде далее Владимира, смело решилась ехать в неведомые края. Я был в доме Ворониных, когда хлопотали, увязывая узлы с приданым, случай привел меня и в тот автобус, которым уезжали молодожены. Они были веселы, и я мысленно желал

счастья этой наивной, неискушенной, ничего не изведавшей, но решительной девушке. Судьба рассудила по-иному.

Не прошло и года, как девушка возвратилась в Олепино. Не знаю, что там у них произошло, будто бы у мужа оказалась еще одна жена (но когда он успел?), да еще и с ребенком. Так или иначе, пришлось вернуться домой.

Так-то оно так, но все это надо пережить и перестрадать, и весной этого года Петр Павлович ослабел настолько, что слег в постель.

Когда помирал Петр Павлович Воронин, знало все село. Каждый день люди спрашивали друг у друга: как он? Не преставился? Отходит? Нет, вишь, сегодня супцу поел, может, и отпустит, мужик-то он еще молодой, разве это года, мог бы еще пожить.

Тут случился какой-то праздник, собрались гости. Петр Павлович встал, подсел к столу, выпил стаканчик водки и попросил сыновей Виктора и Юрия, чтобы они спели песню «В низенькой светелке огонек горит...». Я знаю, что ни Виктор, ни Юрий никогда не пели песен, и поэтому отчетливо вижу, как они исполняли эту последнюю просьбу отца, которую нельзя было не исполнить. Плохо ли, хорошо ли — песня была спета.

— А теперь я пойду помирать,— сказал Петр Павлович и вскоре помер.

Вдруг приехал из района духовой оркестр. Литавры и медные трубы провожали под Останиху Петра Павловича, прожившего нелегкую жизнь и так и не залечившего живота своего при помощи разведенной соды, постоянно таскаемой в кармане тужурки.

* * *

...Егор Михайлович Рыжов в колхозе не работает по старости. Жена его, Прасковья Терентьевна, не работает в колхозе по той же причине; сын Костя — колхозный пчеловод; дочери: Лида, Нюра, Шура, Капа, Маруся и Надежда — все вышли замуж, и никто из них в родительском доме не живет.

Было время, когда появление на дороге, ведущей из Черкутина, высокого старика с тяжелой кожаной сумкой на боку заставляло меня замирать и во всякое время было самым сокровенным, желанным и волнующим. Даже если

и нет письма, все равно Егор Михайлович зайдет для того, чтобы закурить моего желтого турецкого самосада. Когда у меня оказывались папиросы, он радовался папироске и говорил:

— Ну, ладно, давай попробуем пшенисненькой, только не закашляться бы! (Самосад шел, значит, на уровне черного ржаного хлеба.)

Пока он сворачивал папироску да курил, я успевал просмотреть и «Правду», и «Призыв». Иногда, насидевшись и накурившись, Егор Михайлович вдруг лез в недра своей кожаной сумки, доставал оттуда красивые глянцевые корочки от старинной книги, уже обтрепавшиеся по углам, не торопясь, раскрывал эти корочки, перебирал лежащие там письма и говорил:

— А ведь тебе, гляди, чего-то есть!

А я уж жадно, на лету схватывал глазами мелкие почерки на конвертах, стараясь узнать знакомый.

Потом он брал табачку «на дорожку» и уходил в село разносить по домам радость ли, печаль ли, но больше, конечно, радость, ибо кто не обрадуется весточке с дальней, чужой стороны!

Как-то я подсчитал, что Егор Михайлович, обходя каждый день девять деревенек, прошел не меньше ста тысяч километров, то есть, значит, два с половиной раза обошел он земной шар по многострадальному экватору, незримо опутанному и проволокой, и тканями, и рельсами, и автомобильными дорогами, и чем только не опутанному в неугомонном человеческом воображении!

Свое дело Егор Михайлович любил и, когда немножечко выпьет, начинал убеждать сидящего рядом человека, кто бы этот человек ни был:

— Нет, ты мне не говори, я знаю: почта-связь — ве-е-ли-ко дело! — И, зажмурившись, как бы мысленным взором окидывая всю систему почты-связи, добавлял: — Крепко, крепко!

Надо ли удивляться, что Егора Михайловича за глаза звали не по имени-отчеству, а именно «почта-связь», в чем не было ни пренебрежения, ни чего-либо обидного, но была одна симпатия, может быть, несколько ироническая.

— Вот погоди, «почта-связь» придет, купим у него конвертов.

— Что-то не видно сегодня «почты-связи», не зашел ли к кому в гости?

А Егор Михайлович, дождавшись очередного праздника, снова многозначительно поднимал кверху указательный палец и негромко и покачивая головой от благоговения и от чего-то, как бы ему одному известного, говорил:

— Почта-связь — ве-е-лико дело... Крепко... Крепко!..

Когда кто-нибудь называл его «почта-связь» в глаза, он медленно оборачивался, глядя на собеседника обиженными глазами, и вдруг произносил:

— Почта-связь, почта-связь... А не хошь — политик!

Трудно было добиться от Егора Михайловича, почему именно причислял он себя к политикам, то ли придавая почте огромное политическое значение, то ли вспоминая, как однажды в 1905 году привез с базара какие-то листовки и несколько лет прятал их на чердаке около трубы, пока не прокоптели и не пожелтели от времени.

Говорят,— я этого, конечно, не помню,— что в молодости Егор Михайлович возглавлял пожарную дружину села и что в те времена это была самая слаженная, самая, ну, что ли, боеспособная дружина во всей округе.

Постепенно ослабели ноги у старика, тяжело стало обходить каждый день девять деревенек, и Егор Михайлович, что называется, ушел в отставку. Тут выяснилось несколько обидное для него обстоятельство, а именно, что работал он, оказывается, получая зарплату не от сельсовета или непосредственно от государства, через почту, а от колхоза, путем начисления ему трудодней. Значит, остался он без пенсии, по каковому поводу, выпив, говорит, как бы стараясь усовестить кого-то и пристыдить: «Нехорошо, нехорошо...»

Кроме того, в виде мусоринок из избы попадают иногда к людям слухи, что почему-то забижает Егора Михайловича его старуха, заставляя жить в закутке и всячески принижая. Обиднее всего, что это та самая старуха, о которой он (второе классическое изречение после «почты-связи») всегда говорил: «Паша! Ангел ты мой непорочный!»

В последний раз я видел его совсем недавно. Он брел навстречу сырому осеннему ветру с палкой и кошелкой в сторону леса. Красные глаза его слезились на ветру и часто моргали.

— Есть ли грибы-то? — спросил он у меня, хотя мог бы и не спрашивать, видя кузовок, полный грибами.— Хочу вот тоже походить.

— На Миколавку иди, Егор Михайлович,— там белых много.

— Мне хоть масляток, ладно уж белые-то...

— На Миколавку иди, там и маслята есть.

— То-то на Миколавку...

И, как бы вспомнив наши неторопливые курения и беседы, доверительно пожаловался:

— Плохо мое дело. Никуда не годится. Вот уж и нагнуться боюсь, как бы не упасть.

* * *

...Единственный сын Егора Михайловича (после шести дочерей), Костя,— одногодок мне и Юре Семионову. Но если Юрка был мальчишка сорвиголова, если я постоянно водился то с Черновыми, то с Грубовыми, то с Васей Кузовым, Костя рос отдельно от всех нас, в детских играх и забавах не участвовал, но когда надо было ему кататься на лыжах и салазках, то, понаблюдав из окна, как забавляемся мы, он потом один пытался воспроизводить все наши игры и забавы. Началось все это с неусыпных и чрезмерных забот родителей о единственном наконец-то родившемся сыне: как бы не продуло, как бы не застудился, как бы не зашибся, а потом постепенно превратилось в привычку и, наконец, в характер.

В годы войны (Костю по какой-то болезни не взяли в армию) он буквально остался в селе один из своих ровесников. В это время проявился его особый талант — он сделался охотником.

Дичи не очень много в наших перелесчатых, а более полевых местах. К тому же люди все заняты в колхозе, а крестьяне (так чтобы не один, а во множестве) только тогда начинают промышлять дичь или рыбу, когда промысел этот выгоднее самой работы. Например, по берегам больших рек или озер, где уж если рыба, то пудами, или в настоящих борах, где если рябчики, то сотнями, или в болотах, где жирных дупелей можно заготавливать на зиму, вот и не надо резать поросенка или скотину на мясо.

У нас ничего этого нет. Правда, весной при умении можно добыть пяток тетеревов, так ведь это за всю весну, или столько же рябчиков, или подстрелить пару горлиц; осенью там, где рябины, можно настрелять жирных, «ягодных» дроздов-рябинников, но решительно никто в округе не занимается подобной охотой, и даже больше того, никто

не знает, есть ли тетерева в лесу и можно ли вообще употреблять в пищу такую птицу, как дрозд.

Итак, ни весенней, ни осенней охоты в наших местах не производится.

Страннее то, что зимой, когда и люди свободнее, и дичь интересней, также почти никто не занимается охотой, а если завелся в деревне охотник, то знают о нем чуть ли не на двадцать верст во все стороны.

Костя Рыжов сделался именно таким охотником.

Собаки Костя никогда не имел, что непонятно и объяснимо лишь странностью его характера, ибо с собакой он мог бы гораздо больше добывать и белок, и зайцев, и барсуков, и лис.

Белки очень скоро надоели Косте, и он одно время перешел исключительно на зайцев. Утром по свежему снежку (да простят меня охотники, а пуще того, охотники-писатели, потому что надо было бы мне сказать по «пороше»!), итак, утром по свежему снежку на самодельных лыжах, с плохенькой берданкой (а первое время так и вовсе с шомпольным ружьем) отправлялся Костя от своего огорода по оврагу к реке, на ходу распутывая заячьи письмена. Твердо знал Костя, что, набегавшись за ночь, русак залег в снег и теперь спит где-нибудь, затаившись. Но если и спит, то все равно одним только ухом, а другим слышит, как подбирается к нему Костя Рыжов, и плохо заячье дело, если услышит недремлющее ухо чуть-чуть позднее, чем надо. Выскочит заяц на свет божий, а три секунды спустя грянет выстрел, и золотые струйки инея потекут с ольховых деревьев, содрогнувшихся от неожиданного среди тихого утра нелепого, варварского звука.

Постепенно осваивал Костя нашу дичь, пока не сделался завзятым лисятником.

Обыкновенно на лису в наших местах охотятся с собакой. Пустит охотник по следу свою Найду, а сам, укрывшись белой материей или надев белый халат, ляжет на ровном аккуратном лисьем следочке. Неизвестно, где в течение нескольких часов гоняет собака красного зверя, только рано или поздно, напетляв по оврагам и перелескам, вернется лиса на свой старый след и пойдет лапка в лапку, следочек в следочек прямо на затаившегося охотника.

Но собаки у Кости Рыжова не было, и он охотился на лису иначе. Заметив по следам, из какого именно буерака, в каком именно месте выходит лиса на мышкование, то есть в чистое поле, чтобы ловить мышей, Костя становится еще

потемну за елку, так, чтобы выстрел вполне доставал до лисьего следа. Остальное предоставлялось терпению. Лиса должна будет пойти мимо Кости, когда пойдет с мышкования обратно в лес. Тут можно прицелиться не торопясь, чтобы наверняка и чтобы не испортить шубку.

Один раз стоял Костя в своем дозоре и видит, что две лисы скатились с поля в овраг, но лисы какие-то чудные, непохожие. Звери ближе, охотнику все тревожнее, а особенно стало тревожно, когда вместо лис оказались волки — два волчища, матерые, седые, с заиндевелыми мордами, с желтыми мокрыми клыками. Другой бы стал думать, что дробь мелка и что будет, если не убьешь, а только подранишь, да что будет, если другой волк бросится в отместку за первого, но в Косте Рыжове вполне проявился настоящий охотничий дух. Не долго думая, он выбрал в паху место, где шерсть вроде бы пожиже, и ударил туда из своей берданки. Волк ткнулся в снег, завопил, забрылял ногами, а другой волк или, может быть, волчица обхватила раненого передними ногами и начала оттаскивать к лесу. Костя успел перезарядить ружье, но, то ли услышав щелчок, то ли так, по инстинкту, волчица отпрыгнула от убитого друга и пошла наутек.

Давно говорили Косте, что коль скоро научился он охотиться, то купил бы себе настоящее хорошее ружье, двуствольное, современное, а не путался бы со старой берданкой. Случай с волками убедил Костю. Он продал овцу и на эти деньги купил хорошую двустволку.

В первый выход с новым ружьем получилась у Кости неприятность. Пальнул он из-за елки в лису из одного ствола — осечка. Пальнул из другого — опять осечка, а лиса не ждет. Тогда в сердцах схватил охотник двустволку за оба вороненых ствола, размахнулся и ударил об морозную, звонкую елку, брызнули на снег коричневые лакированные щепки. Так и по сей день с берданкой охотится Костя Рыжов.

Он по-прежнему мало бывает на людях или, лучше сказать, не бывает совсем. Работа его — на пасеке — располагает к одиночеству. Но надо сказать, что с годами от одиночества начинает тосковать Костя. Я знаю, что, выпивши, он слезно жаловался кузнецу, что и семьи-то у него нет, и никого-то у него нет, и что самый он несчастный человек на свете.

Я один раз заикнулся было мужикам, что если сам он никак не соберется, то женили бы его через сваху, все же

надо вывести человека на люди, на что Александр Федорович спокойно и уверенно ответил:

— Не, ничего не выйдет. Костя-то? Он завьял...

* * *

...Александр Федорович Постнов работает молотобойцем в кузнице. Человек он неженатый и был бы совершенно одинок, если бы не старенькая тетка его Прасковья Андреевна, по-олепински, Пашонка да Пашонка. Дело-то было так: когда отец и мать Шурки померли, а сестра Клавдия ушла работать на «Электросилу», а сестра Нина, сделавшись геологом, затерялась на чужой стороне, а дом развалился, Шурка перешел жить к тетке Прасковье Андреевне. Да так и живет до сих пор. Этим летом он обновил дом — перебрал и подрубил его. Прасковья Андреевна всю жизнь работала уборщицей в школе и теперь получает пенсию.

* * *

...Иван Васильевич Кунин. О нем как о лучшем косце я рассказывал в главе о сенокосе. Жена его, тетя Саша, померла, а так как детей у них не было, то остался он совершенно один. Кое-как справляется с варением похлебки и картошки и, несмотря на преклонные годы, кое-что делает по своему старинному ремеслу, например, оконные рамы, или грабли, или, не торопясь, может соорудить и целую телегу.

Вдовство старухи, потерявшей своего старика, чем-то легче, и естественнее, и проще, чем вдовство такого вот Ивана Васильевича, оставшегося одиноким и вынужденного и постирать за собой, и постряпать, и все такое.

— Иван Васильевич,— сказал я ему однажды,— мне столько лет, сколько прожил ты, ни за что не прожить.

— Полно,— спокойно ответил старик.— Забудешься и проживешь.

* * *

...Александр Павлович Кунин — агроном нашего колхоза; Валентина Ефимовна — колхозный бухгалтер; у них двое детей: Коля и Нина, ходят в школу.

Александр Павлович не кончил ни Сельскохозяйственной академии имени Тимирязева, ни другого сельскохозяй-

ственного вуза. Возвратившись с войны, он не ушел в город, а стал работать в колхозе. Мы много пишем в газетах о людях, работающих на производстве и одновременно повышающих свою культуру. Гораздо меньше мы говорим о самообразовании колхозников. Александр Павлович сделался агрономом, что называется, без отрыва от производства. Думаю, что какую-то роль сыграла тут его жена Валентина, агроном по образованию.

Как часто бывает, Александр Павлович, младший из Куниных сыновей, остался единственным хозяином в доме. Отец, Павел Васильевич, и мать, тетя Саша, померли: два брата, Иван и Николай, погибли на войне; две сестры, Мария и Капа, живут во Владимире.

Иван Кунин с детства любил возиться с лошадьми и поплатился за эту любовь своим левым ухом. Дело было в том, что жеребец Голубчик, принадлежавший до колхоза нам, то есть моему отцу, на общем конном дворе приучился кусаться. Дошло до того, что в стойло к Голубчику стало опасно заходить. Бывший хозяин его, мой отец, однажды смело зашел, ибо вырастил жеребца из маленького, слабенького жеребеночка. Но и своего старого хозяина не признал жеребец. В то время как рука отца хотела поласкать лошадь, потрепать ее по шее, потрясти за губу, лошадь сгребла широкими желтыми зубами тыльную сторону ладони и отодрала кожу и мясо. Я помню, что отец плакал, но плакал он, скорее всего, не от боли, а от обиды за то, что его родной Голубчик его же и укусил. Я не помню, при каких обстоятельствах Голубчик начисто срезал левое ухо Ванюшке Кунину.

Иван был гораздо старше меня, но я хорошо помню, как из подростка сделался здоровый, красивый парень. Он рос работящим, и это сочеталось в нем с тихостью и скромностью. Все взрослые, или, лучше сказать, пожилые люди, не могли нахвалиться Ванюшкой. Его сделали бригадиром в колхозе, соединив обе бригады села в одну (было время, даже село делилось на две бригады, а не то чтобы из десяти деревень составлялся один колхоз), и снова пошли разговоры, что лучшего бригадира и не надо и что если бы все мальчишки выправлялись в таких работников, то старики спокойно уходили бы на покой под Останиху.

Только один раз проштрафился молодой бригадир. Уйдя с вечера гулять в Василево, мы, застигнутые там дождем, забрались на сеновал и легли спать. Нас было человек восемь или десять. Утром мужики, выехав метать

клеверные стога, были в недоумении: где же главная молодая рабочая сила и где же сам бригадир? Давно протопились печи, когда мы, тихие, зная свою вину, вошли в село.

Об Иване я помню главным образом в связи с василевским периодом нашей молодости. Когда настала пора перехода нашего из подростков в парней, в деревне, что в трех километрах от Олепина, а именно в Василеве, поспел такой выводок девушек, что парни со всей округи только и стремились в Василево. В Олепине в это время подобралась ватага парней, если считать, начиная с нас, шестнадцатилетних, и кончая, допустим, Иваном, которому в то время было, наверно, больше двадцати. Мы без труда завоевали в Василеве гегемонию и сделались хозяевами положения. Правда, парни из Калитеева, более близкого и естественного соседа для Василева, пытались отнять у нас завоеванное, но как скоро мы встретили их раза два или три на прогоне с кольями (а они уж из своей деревни тащили свои колья с собой), то дело решилось в обоюдной потасовке. Надо сказать, что василевские девушки стоили того, чтобы вступить из-за них в драку.

Каждый вечер, как на дежурство, мы, умывшись после работы, надев чистые рубахи и собравшись все вместе, шли в Василево, разрывая на части тонкую вечернюю тишину пришедшейся к случаю частушкой:

Мы чужие крыши кроем,
А свои некрытые.
Мы чужих девчонок любим,
А свои забытые.

Какая это была пора! Дорога ведет сначала через тихое, отяжелевшее под росой клеверное поле, в котором свищут перепела, а потом после глубокого оврага вступает в лес. Молодые елочки, то облитые ясным лунным светом, то наловившие в хвою красноватых августовских звезд, то сливающиеся с плотной темнотой сырого, дождливого вечера, стоят по обеим сторонам дороги.

В хорошую погоду сразу, как зайдешь в деревню, слышно, где гуляют, где хороводятся девки. Если же дождливая пора, остановишься на прогоне, послушаешь: тишина. Неужели не вышли гулять, легли спать с вечера? Слышно, как с деревьев падают крупные капли после только что прошедшего дождичка, слышно, как на деревьях сонно ворочаются грачи, а так все тихо. Борис Чернов сейчас предложит зазвонить в колокол, что повешен на

столбе посреди деревни. Но это уж было бы озорство. Идем вдоль Василева, тихие и разочарованные, и вдруг близко возле нас ослепительно вспыхнет, обожжет девичий смех, за которым обязательно нужно девушкам скрыть некоторую неловкость, что в дождик вышли гулять. Ясно, не воздухом подышать вышли василевские девушки, сидят на крыльце, затаились, ждут...

Грязно, сыро идти в дождь через поле да лес, но есть и своя сладость в том, чтобы посидеть с девушкой на уединенном, укромном крыльце именно под шуршание теплого дождика в непроглядную от черной сырости ночь. К утру кто-нибудь блямкнет в колокол на столбе — сигнал к сбору. К Олепину подходим — совсем рассвело, петухи орут, дымы из труб потянулись. Спать некогда, сразу и на работу.

В плохую погоду обычно не все девушки выходят гулять, а только те, с которыми уж определенно «ходят», «гуляют», парни. В такие вечера вдруг оказывался в одиночестве и как бы лишним Иван Кунин. Мы удивлялись втайне, почему он не провожает ни одну девчонку, все же самый горячий охотник, самый агитатор, чтобы идти в Василево, самый организатор этих походов. Тут могло быть двояко: либо кто-нибудь успел «захватить» нравящуюся ему девушку и теперь неловко отбивать у своих, либо крепко нравится одна из еще «свободных», но так крепко, что не смеет даже и подойти.

В эти свои годы я только на каникулы приезжал в село, поэтому, может быть, так и не узнал бы, в чем там было дело, но мне рассказали. Ивану, точно, нравилась одна, едва ли не лучшая из василевских девушек, Тоня. Точно, он не смел к ней подойти и потому, что был очень скромен, и потому, что любовь завладела им раньше, нежели он подошел.

Все догадались и однажды как бы ненароком оставили их одних на крыльце, а сами разошлись. Значит, и Тоне нравился этот рослый, красивый парень, если она осталась, а не ушла вместе со всеми. Влюбленные посидели, пока не взошло солнышко, и это был единственный вечер, или, лучше сказать, единственная ночь Ивана Кунина. Через несколько дней началась война, с которой Иван не вернулся. Девушка тоже пошла на фронт не то медсестрой, не то связисткой.

Наиболее серьезная любовь в Василеве получилась у Бориса Московкина. Была там, если можно так выразиться, девушка номер один, по имени Шура. С ней-то и гулял

Борис, хотя, по совести говоря, не был первым олепинским парнем. Дело, конечно, пришло бы к женитьбе, если бы не война, или, вернее, если бы не смерть Бориса на этой войне. Шура приходила в Олепино провожать Бориса в армию, и именно она запела «Последний нонешний денечек», а это право, как известно, дается невесте.

Далеко-далеко ушла наша василевская молодость. И эта тревожность, пока идешь ночными полями туда, и эта крылатая легкость, когда на рассвете идешь обратно. Нету больше ни Ивана, ни Тони, ни Бориса, ни Шуры. Одних нет, потому что их нет, потому что их (как привыкли мы к этому слову!) убили, а другие стали женщинами в годах, окруженными кучей ребятишек. Снятся ли им тихие, все в тонком пару, довоенные наши рассветы?

* * *

...Михаил Николаевич Грибов — колхозный конюх; Прасковья Дмитриевна в колхозе не работает по здоровью; сын Николай отделился и поставил себе новую избу; сын Виктор живет в Гусь-Хрустальном; сын Шура — по прозванию Железный — служит в армии. Необидное прозвище это возникло как-то само собой и укоренилось в селе. Шурка был вездесущий мальчишка, с постоянными цыпками на ногах, не боящийся ни дождя, ни холода, ни ушибов, ни ссадин; этакий выносливый деревенский мальчишка из нуждающейся семьи, который, не разучившись еще и не отвыкнув лазить по птичьим гнездам, умел запрягать лошадь и пахать землю. Дочь Нюра работает ткачихой на Собинке; дочь Рита — уборщица в клубе, а в свободное время работает в колхозе разные рядовые работы. Эта рослая, сильная и ловкая девушка — теперь вторые руки в семье после самого Михаила Николаевича.

* * *

...Мария Андреевна Московкина в колхозе не работает по годам и по здоровью. Она живет одна, занимая маленькую комнатку в большом многокомнатном, кроме нее, нежилом, на разные стороны покосившемся и разваливающемся, подобно старому, перезрелому грибу, бывшем поповском доме; муж ее, Василий Дмитриевич, погиб на войне; сын Виктор работает мастером на ткацкой фабрике; там же и второй сын, Алексей, должности его в точности не знаю.

Мне запомнилась одна черточка из характера Василия Дмитриевича. В летний праздник, рано утром, подошел он к нашему дому и попросил моего брата, чтобы тот остриг его машинкой наголо. У брата, точно, была машинка, но она была неисправна, тупа, не отрегулирована, не смазана и чуть ли не заржавела. Стричь ею практически было невозможно. Брат сказал об этом Василию Дмитриевичу.

— Ну а как же,— с угасающей надеждой спросил Василий Дмитриевич,— праздник, чай, нынче? Да она что, совсем не режет или как?

— Режет она, может быть, и режет, но стричь нельзя: не хватит никакого терпения.

— Ну, а я думал чего,— обрадовался Василий Дмитриевич,— валяй стриги, насчет чего другого, а насчет терпения, про это и разговаривать не стоит.

Я знал, что за машинка, каково попасть под нее, и поэтому с любопытством следил за лицом Василия Дмитриевича, не поморщится ли хоть разик, не моргнет ли глазом. Нет, не моргнул.

* * *

...Василий Петрович Грибов в колхозе не работает, занимаясь по домашнему хозяйству. Небольшого росточка, бойкий, грамотный, развитой, он сначала работал председателем колхоза то у нас в селе, то в других деревнях, и председательствование стало как бы его специальностью и профессией. Но то ли большие, объединенные колхозы оказались не по плечу Василию Петровичу, то ли годы сделали дело, постепенно он отстрял от председательствования и ушел в домашнее хозяйство; жена его, Клавдия Яковлевна, учительница, но учит не в нашем селе, а в Корневе, в трех километрах от Олепина, за Самойловским лесом. В детстве я некоторое время учился у Клавдии Яковлевны, думаю, не во втором ли классе. Мы помним (дети очень чутки на такие вещи), как она, молодая девушка, начала тогда гулять с Василием Петровичем, как сон слепил ее глаза на уроках после прогулянных ночей и как, наконец, они вскоре поженились. Это было не далее, чем вчера. Однако взрослый сын Клавдии Яковлевны, Валерий, живет и работает во Владимире, а другой взрослый сын, Вадим,— в Москве.

* * *

Пожалуй, ни к кому я так не любил ходить в дом, как к Черновым. Дом их — три окна по улице — стоит на берегу пруда, а окна у него, у единственного во всем селе и во всей округе на сто верст, без переплетов, тех самых переплетов в виде буквы «Т», которые характерны для русских изб.

Поэтому не замкнуто, не хмуро, не уныло глядел дом на пруд, а через него на ограду и церковь, а открыто, весело, словно бы улыбался. Это отвечало и характеру обитателей дома.

Сергей Иванович, глава семьи, высокий, сутулый, бреющийся наголо мужчина, был хороший столяр. На дворе у него стояли верстаки: большой — себе, а поменьше верстак — для ребятишек. Над верстаками на полках лежало множество инструментов.

Настоящей душой дома была тетя Оля — мать всех наимногочисленнейших Черновых детей.

Бесспорно, что ядром всей детворы и, так сказать, гордостью семьи были три сына: Борис, Николай и Сергей, в олепинском обиходе Серьга. Сколько девчонок окружало это мужское «ядро», я теперь, право, не знаю. Знаю только, что тетя Оля первая в Олепине стала получать от государства пособие за многодетность, что-то около двух тысяч рублей в год, что вызывало зависть у остальных многодетных матерей, не дотянувшихся все же до тети Оли.

Огромное семейство не могло жить в большом достатке, тем более что самый старший, Борис, определился как работник перед самой войной, то есть перед своей смертью.

Как сейчас, вижу огромное блюдо картошки, которое крутится на столе — так энергично загребают из него ложками. Но ни разу я не замечал какого-либо беспорядка, анархии за столом: в строгости и выдержке воспитывалась семья.

Бедность стола тетя Оля всегда стремилась заслонить веселыми шутками:

— Володя, у вас, чай, картошки-то на стол не подают?

— Как так не подают, тетя Оля, а чего же есть?

— Неужели правда, а я ведь думала, что во всем селе только одни мы картошку-то и едим. Радовалась: вот, мол, как мы живем, картошку едим, а другим только завидовать остается да какие-нибудь паршивые яичишки да мясишко

есть. Много ли в них толку! Ан, поди ж ты, и у других картошка, вот не знала!

Впрочем, с таким аппетитом елась эта картошка, что мне хотелось тотчас бежать домой и просить у матери картошку.

Но самое главное начиналось, когда тетя Оля к концу ужина заводила свои, не знаю уж как и назвать, сказки не сказки, побасенки не побасенки — одним словом, свои «страсти».

— Ведь вот ты, Володя, опоздал немного. Прийти бы тебе на полчаса пораньше, какой случай-то у нас приключился.

— Какой же случай?

— Да как же, жали мы сегодня пшеницу около Самойловского леса, знаешь, чай, поле за капустным оврагом, там еще елки черные, густые стоят...

В ее интонациях просыпалось что-то такое, отчего, еще не зная, о чем будет рассказано, становилось жутковато.

— Жнем, значит, мы, жнем, и захотелось мне пить. Так-то захотелось пить, что нет никакого терпения. Пошла я в овражек, к родничку, знаешь, чай, из-под ивы, из-под навесистой, родничок там бьет...

То, что в рассказе присутствовали конкретные вещи: Самойловский лес, да навесистая ива,— рассказу придавало и реалистичность, и достоверность.

— Только я наклонилась к воде, а из елок с той стороны оврага голос: «Поляна, Поляна, скажи Домовяне, что нынче утром Лесяна померла». Голос жалостливый такой, не страшный, но вроде бы мужской, а у меня руки-ноги трясутся, слова сказать не могу, да и кому его сказать: одни елки вокруг да водичка из-под ивы переливается.

Ладно, дожали мы, что задумали, пришли домой. Я села за стол да Сереже (показывает на мужа) и рассказываю. Ребятишки на улице гуляли, а жалко, что не слышали. Да... значит, Сереже-то я и рассказала, послышался, мол, голос из елок: «Поляна, Поляна, скажи Домовяне, что нынче утром Лесяна померла». Только я проговорила, а под печкой как охнет, как завозится да из-под печки-то шасть — и в дверь. Да так скоро выскочило, что разглядеть не успели, на что похоже, нись на кошку, нись на иного зверька. Дверь-то широко распахнулась, значит, что-то порядочное...

Сидишь, боишься оглянуться на темный угол: такая находит оторопь,— но все же спросишь:

— Что же было, по-вашему, тетя Оля?

— Как что, значит, услышала Домовяна и побежала Лесяну хоронить. Родня, значит, наша Домовяна той Лесяне, золовка, может, или свояченица.

— А когда обратно придет?

— Кто знает. Может, сейчас вот и вкатится, а может, пришла, да и сидит опять под печкой, слушает, как мы про нее беседуем. Не знаю я, какой у них порядок насчет похорон-то, у нас, по-человечески, на четвертый день полагается, а у них не знаю, они ведь, наверно, некрещеные.

— Что-нибудь не то...— начинали мы, поскольку уж ходили в школу и много наслышались там, что чудес не бывает, а так, одно суеверие.

— Эх, мальчишки! — с прочувствованной, искренней певучестью говорила тетя Оля.— А как же тогда с Калининским оврагом быть?

— С каким еще Калининским оврагом?

— Да вы все равно как в другом государстве живете. Неужели не слышали про Калининский овраг?

Мы знаем этот овраг: глубокий такой, большой, от Черкутина до Калинина тянется,— да в нем-то что?

— Ведь вот вы опять не застали, а мы, бывало, как приходит девятое июня, заранее выходим все на гору слушать. Вот хоть Лександра Федорыча спроси, Владимира Сергеича, Ивана Михайловича Пенькова. А курьяновские, наверно, все помнят. Бывало, вся Курьяниха дрожит в этот день. А все равно: страшно, а выходим слушать.

— Что же там: ухало или кричало чего-нибудь? Так, верно, сова или филин?

— Эх, мальчишки, неужели тетя Оля за свою жизнь совы или филина не слышала?! Вечера в июне теплые, тихие, над рекой соловьи поют, а мы уж все вышли на гору, ждем. И дрожим, а ждем. И вот ровно в половине двенадцатого ночи в овраге запевает девушка. Издалека сначала голосок-то слышно. И так сладко, так сладко поет, что даже холодок по спине. Все ближе, все ближе по оврагу идет девушка, и голос все громче, все явственнее. Песня такая, что мы ли, бабы здешние, песен знаем, а такой не слыхивали. И главное, что поет без слов, один голос льется и льется, льется и льется. Эх, мальчишки, помирать буду, а не забуду того голоса! Чистый, серебряный, печальный.

Но самое диво в том, что хороша, дивна песня, а как кончится она, никто не может мотива вспомнить. А такие ли певцы были, того же Владимира Сергеича возьми. Пела

девушка ровно полчаса, как раз хватало ей, сердечной, весь овраг тихим шагом пройти. Тут и замолкала песня. Она замолкнет, а мы стоим, шелохнуться боимся. Стих какой-то на нас найдет. Ну, потом разойдемся, конечно, по домам. На будущий год, опять девятого июня...

— А если бы пойти поглядеть?

— Ты лучше поди спроси у Лексея Павловича Грубова, как они, пятнадцать парней,— одна партия от Калинина, другая партия от Черкутина — решили ее поймать.

— Ну и что?

— А то, что шли, шли, все впереди них она пела, вдруг слышат: уже сзади поет. В это время одурение на них нашло. Как встретились две-то партии да как пошли друг друга кольями полыскать...

Легко-легко со страшного на смешное умела перевести тетя Оля.

Историй таких тетя Оля рассказывала бездну: и про «стонотну кость», которая в земле по ночам стонет, и про то, как в урочный день и час в Курьяновском лесочке барыня с тросточкой появляется, а навстречу ей белая лошадь бежит. Как только барыня возьмется за узду, так все и проваливается сквозь землю. Наслушавшись тетю Олю, страшно потом идти через плотину домой. Идешь, а сзади того гляди кто до спины дотронется. К тому же голуби на колокольне крыльями захлопают.

Однако вспоминать-то я хотел не столько о тете Оле, сколько о ее сыновьях.

Не часто бывает так, чтобы мальчишка вместо самой первой игрушки получал в руки или даже самовольно схватывал настоящий инструмент: молоток, долото, стамеску, коловорот. Черновы ребятишки росли в мире рубанков, фуганков, кудрявых стружек, кусков дерева, на глазах у них превращавшихся в оконную раму, в салазки, в оглоблю, в топорище, в спицу для тележного колеса, в табуретку, в скворечню, да и мало ли еще во что.

Не удивительно поэтому, что во все наши игры они привносили дух изобретательства и, я бы сказал, обстоятельности.

Все считали в селе, что со временем Черновы мальчишки станут какими-нибудь механиками, хотя бы по той простой причине, что один за другим, выбегая из своего дома, они начинали не то махать руками наподобие крыльев, не то вертеть ими как бы пропеллером, при этом кричали на все село: «Махина, махина, махина!» Какая уж

именно машина рисовалась в это время в их воображении, никто не знает.

У старшего, Бориса, был очень выразительный жест. Слушает он, слушает про что-нибудь, не понимая, так что даже поперек лба вздуется синяя жилка, и вдруг подпрыгнет на одном месте, хлестнет звучно ладонью о ладонь и одновременно воскликнет: «Ага!» — значит, Борис все понял.

Однажды мы с Васей Кузовым вычитали в «Пионерской правде», разобрались в нарисованных там чертежах и стали мастерить «Сережин пулемет». Ствол мы решили прожечь жигалом в кузнице, благо отец Васи был кузнец. Однако воображать проще, чем делать. Жигало лезло в куске дерева наискось, дым разъедал глаза, дважды каждый из нас обжег руки, и слезы отчаяния готовы уж были выдать наше душевное состояние. В это время случился в кузнице Борис Чернов. Он, пока мы возились с прожиганием ствола, все изучал расположенную на верстаке газету с чертежами «Сережиного пулемета». Спохватились мы, когда было поздно, то есть когда он уж подпрыгнул на одном месте, хлестнул ладонью о ладонь и, воскликнув: «Ага!» — выбежал из кузницы.

После этого три дня никто не бегал по селу, вертя руками и крича: «Махина, махина, махина!» Зато на четвертый день Панька Васильев в то время, как проходил мимо Чернова дома, был обстрелян из слухового окошка сухим горохом. Слышался равномерный треск. «Сережин пулемет» работал без перебоя.

Я уже сказал, что Черновы сыновья во все привносили дух обстоятельности. Когда дягиль выйдет в мясистые, сочные трубки, мы делали из этих трубок чвикалки. Сейчас срежешь трубку поближе к земле, а один конец оставишь глухим, обрежешь по суставу. В глухом конце проткнешь тоненькую дырочку, на аккуратную палочку намотаешь пакли, чтобы туго ходила внутри трубки, и чвикалка готова — стреляет водой на пятнадцать шагов. Понаделав чвикалок, устраивали около пруда войну — партия на партию. Один раз человек семь напали на троих Черновых братьев, измочили их — не надо купаться. В самый разгар сражения Борис вдруг бросил свою чвикалку, подпрыгнул на одном месте, хлопнул ладонью о ладонь и воскликнул: «Ага!»

Два дня, подойдя к воротам Чернова дома, за которыми сразу стояли верстаки, можно было слышать пыхтение,

сопение и время от времени злорадное хихиканье. На третий день Борис выбежал к пруду, держа в руках некую медную трубу, запаянную с одного конца. Борис навел трубу, куда нужно, а Николай и Серьга действовали поршнем. Струя толщиной в палец хлестала из трубы через весь пруд, и наши чвикалки были теперь как бы жалкие пистолетишки по сравнению с полковой гаубицей.

Шутки шутками, но никто не умел сделать лучше Черновых мельницу, чтобы крутилась, поставленная над весенним ручьем, и лыжи у них были самодельные. Вскоре по-настоящему проявились способности братьев Черновых. Было это, когда все село, то есть всех нас, сельских мальчишек, охватила идея педального автомобиля. Идея эта, вычитанная в «Пионерской правде», была настолько проста, что осуществить ее нам казалось пустяковым делом. Почему-то каждый решил строить автомобиль самостоятельно, тайно, и если бы каждому удалось, то однажды на улицах Олепина появилась бы колонна деревянных педальных автомобилей.

Как сейчас помню, затащил я на чердак еловое бревно, топор, одноручную пилу, а также молоток с гвоздями. Иного инструмента у меня не было. Автомобиль снился мне по ночам, я видел его в грезах и воображении ладным, красивым, роскошным, обитым изнутри красным плюшем. Но пока что у меня было одно лишь еловое бревно, лежащее на жарком душном чердаке, и я не представлял в полной мере, что между бревном и красным плюшем, пущенным на сиденье, расстояние не меньше, чем от сказки до яви. Мне так хотелось видеть автомобиль готовым, чтобы можно было приступить к обиванию его красным плюшем, что не хватало терпения обтесать бревно и сделать из него хотя бы квадратный брус, годный на основание автомобильной рамы. Так и осталось неотесанным мое еловое бревно. У других мальчишек дело пошло разве что немного подальше, если не считать Черновых.

Однажды раскрылись тесовые ворота их двора, и, поскрипывая сколоченными из досок колесами, вполне готовый автомобиль выехал на зеленую лужайку. Борис сидел за рулем и крутил педали, Николай бежал рядом и изображал гудок, а младший, Серьга, кружил руками наподобие пропеллера и кричал: «Махина, махина, махина!»

Автомобиль оказался гораздо проще и скромнее моего, роскошного, рисовавшегося в воображении. Не было и

красного плюша. Но у этого автомобиля все же было одно «незначительное» преимущество перед моим: он существовал и на нем можно было кататься вдоль сторонки села.

К началу войны Борис вырос в высокого, ладного парня, с жгуче-черными волосами; Николай успел окончить в Кольчугине электрокабельный техникум; Серьге исполнилось шестнадцать лет.

Бориса убили в первый же день войны, кажется, в Бресте, а Серьгу два годя спустя. Николай по болезни попал в тыловую часть и, таким образом, остался жить, один из трех братьев. Он несколько лет работал в колхозе, но здоровье его все ухудшалось. Тут он вспомнил про старую специальность свою, полученную в техникуме, и уехал в город. Состарившаяся тетя Оля переехала к нему, а сестры разъехались кто куда, главным образом в Москву: была зацепка в виде родственницы.

Дом их с цельными зеркальными стеклами стоит теперь заколоченный. Летом приезжает в Олепино тетя Оля, расшивает одно окно, и этого ей вполне достаточно. Находились покупатели, но старая женщина твердо сказала, что, пока жива, чужая нога в дом не ступит.

Последний раз я разговаривал с ней, когда она была в сильно расстроенном состоянии. У нее, так как никого не осталось в колхозе, хотели по углы отрезать усадьбу, то есть хороший сад, выращенный руками покойного мужа. Но она в волнении начала говорить непонятное: «Или вы не видите, как сыновья мои, красавцы мои, раньше звонка идут на работу? Вы думаете, они спят под курганами, сложив свои головы? Да не каждый ли день, да не раньше ли всех они идут на работу? Может, тяжела для вас, живых, иная работа, а им она самая легкая, самая радостная...»

Так и не отрезали усадьбу у тети Оли Черновой.

* * *

По соседству с Черновыми жила семья Грубовых. Детей у Грубовых было тоже три брата, но зато девчонки не было ни одной.

Как только вспомнишь Черновых, так и видишь себя мастерящим вместе с ними что-либо. То водопровод от пруда к дому, то автомобиль, то, начитавшись «Занимательной физики», разнообразные игрушечные фонтаны, телескопы, а то и вечный двигатель.

С братьями Грубовыми, напротив, связана у меня самая озорная, самая бесшабашная сторона детства.

Старший, Николай, был посерьезнее и потише, чем Валька или Бошка (то есть Борис). Эти двое были настоящие сорванцы.

Черновым важно сделать мельницу и установить ее над ручьем, вытекающим из пруда, а Грубовым важно подкрасться в это время сзади и столкнуть кого-нибудь в воду.

Тем интересно полить гору водой, чтобы на другой день было хорошо кататься на салазках, а этим непременно надо ночью, тайно, либо сделать поперек горы канавку, либо посыпать гору золой из печки, так что салазки станут останавливаться на середине горы.

Кому-нибудь интересно сплести вершу и поставить ее в реке под кустом, а нам, если я в это время с Грубовыми, гораздо интереснее подследить и вытащить чужую вершу из воды да еще и подкинуть в нее дохлую ворону. Недаром эти живущие по соседству мальчишки — Черновы и Грубовы — всегда враждовали друг с другом.

Сквозь мое детство Черновы прошли как бы этакое положительное, созидательное или даже добродетельное начало, а Грубовы — как начало демоническое, прямо-таки мефистофельское. Валька, например, был чистый Мефистофель. Это ведь именно он подсунул подкову в сноп пшеницы, из-за чего едва не остался без руки машинист Андрей Павлович.

До сих пор я удивляюсь, каким чудом никто из нас, по меньшей мере двадцати олепинских мальчишек, не искалечился или не убился насмерть в пору повального увлечения самоделками.

Бралась медная или стальная трубка, бог знает как и зачем попавшая в Олепино и найденная где-нибудь в мусоре. Один конец ее наглухо запаивался, получался готовый ствол. Ствол этот проволокой прикручивался к деревянной рукоятке, скопированной с нагана; в одном месте ствола, сбоку, трехгранным напильником пропиливалась маленькая дырочка.

Чтобы произвести выстрел, надо было набить ствол серой, соскобленной со спичечных головок (три — пять коробков на один заряд), а также вместо дроби — рублеными гвоздями. Снаружи под проволоку просовывалась спичка так, чтобы головка ее приходилась как раз около пропи-

ленной дырочки. Теперь оставалось взять самоделку в правую руку, выставить ее подальше вперед и вверх, отвернув от себя, чтобы ствол в случае чего летел не прямо в лоб, а мимо, нагнуть голову или втянуть ее поглубже в плечи и чиркнуть спичечным коробком по указанной спичке. Тотчас раздавалось продолжительное шипение, а затем оглушительный выстрел, если не взрыв. Бывало, что рубленые гвозди летели в одну сторону, а запайка ствола, а то и весь ствол,— в другую; бывало, что ствол разворачивался вдоль, и он превращался в плоскую железку; бывало, что сера взрывалась в то время, как ее уминали в стволе большим восьмидюймовым гвоздем, и гвоздь, преобразившись в своеобразную, оригинальную пулю, наполовину впивался в потолок. Все это бывало, и я теперь диву даюсь, как случилось, что никто из нас не остался без руки или без глаза.

Нужно заметить, никакого практического применения эти самоделки не имели, ибо невозможно было даже выстрелить в цель. Значит, оставался выстрел сам по себе, звук, огонь, грохот, шипение, запах горелой серы, ну, и как-никак в кармане оружие, которое по-заправдашнему стреляет.

Единственный несчастный случай за все время произошел с Грубовым-старшим, то есть с Николаем, и то потому лишь, что Валька, как говорится, со свойственным ему остроумием потихоньку затискал в ствол самоделки мокрую тряпку. Николаю разворотило мякоть ладони. Показавшись на другой день доктору, он хотел скрыть истинное происшествие и сказал, что на колокольне задел за рваное железо. Но доктора обмануть было трудно. Впрочем, все прошло без последствий.

Николай не зря сослался на рваное церковное железо. Постоянным местопребыванием нашим в пору моей дружбы с Грубовыми мальчишками была колокольня. Место, где собрать тайный совет перед набегом на чужой огород, место, где тайно затянуться табачищем (прокашляешься — никто не услышит, и голова закружится — отлежишься), место, где набить серой самоделку, место, где скрыться от погони, отсидеться и спокойно съесть уворованные в чужом огороде яблоки, надежное, укромное, романтическое, благословенное место — колокольня.

В ту пору колокола были уж сброшены с нее, лестницы и переводы никто не чинил, не поправлял, и все постепенно приходило в ветхость. Взрослые побаивались влезать на

колокольню: как бы не обвалился перевод или не рухнула лестница — разобьешься насмерть.

Была темница «большая» и темница «маленькая». В темнице «большой» в углу свален был старый иконный хлам — проступали из красноватой темноты зеленые божьи лики, золотились венчики. Помнится, там же валялась вырезанная из дерева Богородица, которая скульптурностью своей производила на нас сильное впечатление, пока не была однажды пущена Валькой плавать в пруду; сказано: Мефистофель.

О темнице «маленькой», нам казалось, знаем только мы одни. Было ощущение полной безопасности и безнаказанности, стоило лишь добежать до колокольни и успеть юркнуть в квадратное отверстие, ведущее внутрь ее. На деле оказалось иначе. Самонадеянность наша едва не стоила жизни одному из нас, а именно Бошке.

Около церковной стены лежали два бревна, на которых каждый вечер собирались парни и девушки села и окрестных деревень. Тут они сидели, танцевали, играли разные игры — одним словом, гуляли. Не помню уж, чем мы обидели одного взрослого парня, но он нас не только отгонял от гулянья, но и не подпускал к нему на двадцать шагов, кидаясь палками, обломками кирпичей, а если подойдешь поближе, то и треская по затылку или по уху. Мы обиделись, в свою очередь.

С нами не было Бориса Чернова, который мог бы обдумать месть во всех тонкостях, но с нами был Валька Грубов, которому устойчивое презрение к роду человеческому вполне заменяло изобретательность.

Целый день мы заготовляли бумажные кульки, какие сворачивают продавщицы магазина, торгуя конфетами, но в кульки мы сыпали не конфеты, а мелкую, как пудра, пышную, горячую от полдневного солнца дорожную пыль. Толстым слоем лежала она на дороге, укатанной тележными колесами.

Кульки носили на колокольню и складывали там рядами, как снаряды или гранаты перед смертельным боем. Мы уж читали в это время и «Чапаева», и «Красный десант», посмотрели и «Красных дьяволят», и «Мы из Кронштадта», так что война нам была не в новинку.

Вечером, как обычно, собралось около колокольни гулянье, даже более чем обычно, ибо было воскресенье, и олепинские парни разослали в соседние деревни записочки, что приглашаем-де сегодня вечером в наше село на

«массовое гулянье». Собрались окрестные «массы», то есть человек тридцать—сорок девушек и парней, и началась, по образному Валькиному выражению, «пилка дров», то есть за «Нареченькой» — тустеп, за тустепом — падеспань, за падеспанью — «Светит месяц»...

Мы засветло заняли места на огневых позициях. С откровенным злорадством глядели мы, в каких чистых, нарядных платьях, рубахах и костюмах собираются «вражеские силы». Холодок волнения тревожил нас, как должно быть перед настоящим боем. Наконец пришел и главный обидчик. Мы услышали это по голосу, ибо смеркалось. Рано или поздно нужно было решаться, и Николай, как самый старший, подал команду. Тяжеленькие, плотные кульки полетели вниз. Было слышно, как звучно, со щелчком они лопаются, упадая на землю, а если без щелчка — значит, уго́дило кому-нибудь на голову или на плечи. Густое облако распространилось внизу, гармонь смолкла, послышались девичий визг, крепкие ругательства, а в следующее мгновение мы услышали шастанье у входа на колокольню, и свет электрического фонарика заметался по переводам, лестницам и внутренним стенам колокольни. Не растерявшись, мы сбросили на свет фонарика с десяток кульков и разбежались по укромным щелям.

Но, значит, и у взрослых парней был когда-то наш возраст, как и мы, они жили в свое время на колокольне, прошли через эту ступень и знали все наши сокровенные места. Это мы поняли из того, что парни не стали искать там и сям, а полезли сразу в «маленькую» темницу. Все было бы хорошо: ну, поймали нас, дали по хорошей затрещине, пускай даже по две или по три затрещины — до свадьбы заживет. Однако, почувствовав опасность, Бошка реагировал мгновенно, он проскочил между ног парня, загородившего вход, и был таков. За ним погнались, он побежал по переводу и, поскользнувшись в темноте, сорвался, полетел в черную пустоту колокольни...

Позже, когда мы вслух читали «Как закалялась сталь» и в том месте, где ранили Павку, нам попались слова: «И сразу наступила ночь»,— Бошка остановил чтение и спросил:

— Как это «наступила ночь»? Наверно, для него одного?

— Конечно, для него, осколок ведь в голову попал.

— А... Я знаю. Тогда на колокольне для меня тоже наступила ночь... И когда с яблони упал, наступила ночь. Я это знаю.

Ни в одной семье я не встречал столь уважительного отношения к своим детям со стороны отца, как в семье Грубовых. Алексей Павлович относился к мальчишкам поистине как мужчина к мужчинам. Это проявлялось главным образом в том, что он лупил их не ремнем, не вожжами, не крапивой, не таскал за уши или за волосы — все это, конечно, было бы очень унизительно,— но по-мужски, с уважением поддавал кулаком, как парень парня в деревенской драке.

Со стремительностью кошек, застигнутых в чужом чулане над горшком сметаны, разбегались в разные стороны мальчишки, всегда узнавая в глазах отца огоньки расплаты, с какой бы невинной улыбкой ни появлялся он на пороге. Значит, что-нибудь тайное стало явным. Либо отцу понадобилась коса, и, сняв ее, он увидел, что лезвие наполовину обломано для того, что годилось на ножик; либо, решив свить веревку, он не нашел кудели, ибо кудель давно уж обратил Валька на плетение кнута, а последнее, как нам известно, оплачено превосходной ватрушкой; либо действительно не хватило в чулане горшка топленой сметаны.

Всегда я вижу этих своих дружков, торопливо, жадно, на ходу уминающих холодную картошку (потому что опоздали к завтраку или к обеду) и спешащих с нетерпением к осуществлению очередного интересного предприятия.

Но возраст брал свое. Постепенно мы пристрастились к чтению. То есть я-то читал почти с младенчества, и, значит, поговорка «с кем поведешься, от того и наберешься», как и все на свете, имеет две стороны.

Началось с того, что я, прочитав «Трех мушкетеров» и живя в мире благородных дуэлей, шпаг и золотых подвязок, решил было приобщить к дуэлям и шпагам Грубовых мальчишек. Постукаться крест-накрест палками они были не прочь, но общего языка у нас не получилось.

— Ты кто? — кричал я разгоряченно, налетая со шпагой на Бошку.— Говори, ты кто?

Бошка молчал в растерянности.

— Дурак, надо при дуэлях называть свое имя! Я герцог Орлеанский, а ты кто?

И, видя его затруднение, уж не тоном игры, а шепотом умолял:

— Ну, придумай себе какое-нибудь имя, скажи!

— А я Синицын! — вдруг выпаливал Бошка, сообразив, в чем дело, и бросался со шпагой на меня.

Согласитесь, не пристало герцогу Орлеанскому драться на дуэли с каким-то там Синицыным, и игра расклеивалась.

Тогда я уговорил Вальку прочитать «Трех мушкетеров», а он, прочитав, уговорил братьев. Но должен сказать, что они как-то не вжились в совершенно чуждый воображению, недосягаемый мир. А может быть, повлияло и то, что вслед за Дюма нам попал в руки Фурманов. Чапаева мы знали по кино, и после того, что каждый кадр, каждый жест Петьки ли, самого ли Василия Ивановича был нами изучен и отрепетирован, прочитать книгу было нам не под силу: она казалась беднее и скучнее фильма. Но что мы прочитали с упоением и вскоре выучили наизусть, так это «Красный десант».

Там было все, что нам нужно. И длительное тихое подкрадывание, и распределение сил, и стремительный и неожиданный бросок, и горячий бой, очерченный писателем подробно, просто и ярко, так что в глазах у нас так и стояла схема боя, и, наконец, победа. Роли были распределены твердо. Мне, помнится, досталась полная спокойствия и достоинства роль Леонтия Щеткина.

В это время в нашем селе появился Сергей Иванович Фомичев. Но тут я должен сделать отступление и рассказать, что предшествовало и что в какой-то степени послужило причиной его появления.

Мне не вспомнить всех председателей сельсовета, сменяющихся время от времени. Но кто же не запомнил из олепинских жителей Самсона Ивановича Раздольнова! Его привезли из района в лютый мороз, закутанного в тулуп, шарфы и платки и все же посиневшего от холода. Он произвел на меня впечатление бабы, когда сидел на лавке, еще не раскутанный и не пришедший в себя.

Отогревшись, присланный оказался ладным молодым мужчиной, широким в кости, широкоскулым, с квадратным синеглазым лицом. Впоследствии выяснилось, что отец Самсона двадцать пудов затаскивал на колокольню на своих плечах и что, может быть, Самсон и сам затащил бы такой груз, если бы не больная нога. Так или иначе, Самсон стал работать секретарем нашего сельсовета. А известно, что не место красит человека, а человек — место. Вскоре Самсон Раздольнов подчинил себе председателя и стал как бы властью. Все это было бы, может быть, и неплохо, но с течением времени пришла ему в голову одна идея. Она состояла в том, что он учредил суды. Однажды в неделю, должно быть в субботу (теперь уж никто не помнит), перед

сельсоветом устанавливались стол, стулья, скамейки. За столом восседал сам Раздольнов, а вокруг сидели и на скамейках, и просто на траве подопечные его — жители села и окрестных деревень.

Жители очень скоро вошли во вкус этих судов, и жалобы потекли рекой. Обозвала, к примеру, одна женщина другую нехорошим словом. Сейчас обидчица несет заявление к Раздольнову. Присудит он немного: от пяти до пятнадцати рублей штрафу в пользу обиженной, но сколько славы, позора, стыда... Реальность наказания (в ближайшую субботу без волокиты и бюрократизма — разбор дела!) была сильной острасткой в то время. Достаточно было в самой горячей ссоре одной стороне воскликнуть: «А вот я на тебя Раздольнову!» — как становилось тихо.

Особенный шум и толки вызвал один бракоразводный процесс, который Раздольнов провел с большим блеском. Пожалуй, если бы не было такой доступной возможности посудиться и посчитаться, то никакого развода у этих супругов не было бы. С другой стороны, несмотря на блестящий процесс, окончившийся удовлетворением истцов, то есть разводом, истцы эти и сейчас живут вместе (сошлись через неделю после суда), а так как люди они пожилые, то, бесспорно, доживут вместе до самого конца.

Может быть, в самой идее раздольновских судов и было рациональное зерно, но дело вскорости начало принимать своеобразный оборот. Обиженная или обиженный (что было редкостью) несут жалобу Раздольнову, а обидчица или обидчик несут ему уж не жалобу, а что-нибудь повещественней, как-то: пяток яиц, курицу, утку, рамку меда, крынку сметаны, гуся, маслица — в зависимости от тягости греха и от предлагаемых размеров наказания. Да что наказание — все отдашь, лишь бы не ославиться на всю округу!

Из окон, где обитал Раздольнов, женившись к этому времени на красивой, сильной девушке, постоянно летели на улицу пух и перья (шло ощипывание и разделка даров) и, подхваченные ветерком, распространялись вдоль улиц села. Яйца стояли ящиками, так что я сам видел (от маленьких не таятся), как судья под обыкновенную водку выпивал по пятнадцати сырых яиц за один раз.

Но все же это были тридцатые годы двадцатого века, пожалуй, даже самая середина тридцатых годов, и долго продолжаться такой образ жизни у секретаря не мог. Раздольнова сняли с работы. А вскоре в Олепине появился и новый председатель сельсовета.

Это был высокий, стройный, еще очень молодой на вид мужчина. Но говорили, что он успел повоевать в гражданскую войну и будто бы та ладная, почти до земли шинель, тем более красиво сидевшая на хозяине, что был он действительно высок, а шинель носил без ремня, что будто она осталась у него как раз от гражданской войны.

Впрочем, я больше всего помню Сергея Ивановича Фомичева в белоснежной рубахе, с закатанными рукавами и всегда отутюженных, с острым рубчиком брюках. Шаг его был — сажень. С любовью, которая появилась как-то очень скоро, колхозники шутили:

— Пошел Сергей Иванович поля саженью мерить!

Каждое утро — зарядка (легко делал на перекладине «солнышко»), купание в Поповом омуте (плавал брассом), а потом — по полям, по деревням, к каждому мужику подойдет, посидит рядом с ним, поспрашивает, посоветуется.

Колхозы тогда были маленькие: в одном сельсовете не как сейчас — не один колхоз, так что неизвестно, кто важнее: председатель колхоза или председатель сельсовета, а десять — двенадцать колхозников, и сельсовет, перед которым они все отчитывались, играл большую роль. Правда и то, что не место красит человека, человек — место.

С Сергеем Ивановичем Фомичевым связывается у меня процветание нашего села. Народу в селе туча, молодежи в каждом доме по два, по три брата; пошли в моду велосипеды и патефоны; по деревне частушки, по радио Утесов с Руслановой поют...

Среди прочих дел у Сергея Ивановича нашлись и время и охота обратить взгляд на мальчишек того села, в котором ему пришлось работать. Взгляд его упал, как это ни покажется странным, на самое беспокойное мальчишечье ядро, а именно на братьев Грубовых и их окружение. Пожалуй, больше всего именно на Вальку обратил внимание Сергей Иванович.

Однажды Валька пришел за мной какой-то не такой, весь собранный, серьезный.

— Пойдем скорее, Фомичев велел к нему на дом прийти.

Тотчас мы побежали.

Сергея Ивановича мы нашли в маленькой чистой светелке, в которой он жил, так как было лето. На столе, на полу, на тесовой полочке — всюду лежали и стояли книги.

Расспросив нас, как мы учимся, да что делаем по дороге от села до школы (четыре километра каждый день туда, четыре — обратно), да чем занимаемся в каникулы, да какие книги читаем, он дал нам книгу с названием, показавшимся нам совершенно неинтересным.

Мы вышли от председателя окрыленные, возбужденные, готовые сейчас сделать ради него все на свете (мальчишки ценят, если поговорить с ними серьезно, как со взрослыми), а с другой стороны, предстояло читать какую-то скучную книгу про то, как закаляется какая-то там сталь. Однако мы дали слово, и читать было нужно.

Сейчас за давностью лет трудно передать впечатление, произведенное на нас книгой: «Красный десант», мушкетеры и графы — все было забыто. Можно восхищаться подвигами взрослых и завидовать им, но что делать, если герой — такой же мальчишка, как и мы сами? Чувство, что мы безнадежно опоздали к чему-то главному, о чем остается нам читать в книгах, не покидало нас.

Сергей Иванович был последовательным человеком. Книги были, по-видимому, первым шагом к приручению мальчишек-сорванцов, вступающих в сложный подростковый возраст.

— Хочу с вами посоветоваться,— сказал однажды Сергей Иванович,— надо бы устроить посреди села гигантские шаги, но вот где взять столб?

Не зная, что такое гигантские шаги и зачем они понадобились посреди села, мы, однако, обрадовались возможности помочь председателю и заявили, что если нужно, то завтра столб будет на месте.

В лесу свалили мы (как бы случайно оказался с нами кузнец Никита Васильевич) нужной величины сосну, обрубили у нее сучья, обделали все лучшим образом, ибо и Черновы были вовлечены в работу, и постепенно, занося то один конец, то другой, с шумом, с гамом перетащили кое-как столб из леса в село.

Когда была вырыта яма и столб с вертушкой наверху установлен прямо и прочно, а к крючкам вертушки прицеплены толстые новые канаты, наступил праздник. Никто не знал сначала, как нужно кататься на этих гигантских шагах, и длинноногому председателю самому пришлось демонстрировать столь невиданный ни в кои веки в селе Олепине способ развлечения. Но очень скоро мы не только научились кататься, но и приспособились «подносить» друг друга длинными кольями кверху так, что Сергею

Ивановичу пришлось умерить наш пыл из боязни, как бы шаги не превратились в орудие убийства.

Возле гигантских шагов вскоре появилась площадка с городками, а потом в сельсовете нашелся волейбольный мяч, и нам, незаметно для нас самих, стало совсем некогда ни палить из самоделок, ни лазить по колокольне.

На другой год Сергей Иванович обещался привезти малокалиберную винтовку и всех нас научить стрелять. Но на другой год я уехал в город, и олепинское детство для меня навсегда кончилось.

Последняя встреча с Валькой Грубовым у меня была такая. В техникуме, где я учился, вахтер передал мне записку: «Володя, мы с Васей Кузовым в школе № 5. Надо бы попрощаться».

Школа номер пять была поблизости от техникума, и я немедленно помчался туда. Во дворе школы, в коридорах, в классах — всюду на своих чемоданах и мешках, и на земле, и на полу, и на партах, и на подоконниках сидели новобранцы. Был сентябрь — третий месяц войны.

Ребята увидели меня первыми, поскольку я шел в рост меж сидящих, и окликнули. Невеселая это была встреча. Совсем недавно мы играли в красный десант и думали, что история обошла нас, все совершив и позвав ко всему готовому. Семнадцатилетние мальчишки, дружки мои, которых Фомичев так и не успел научить стрелять, уходили фактически прямо на фронт. Я был всего лишь годом моложе их, но то, что они, остриженные под нулевку, с вещмешками сидели в здании школы и ждали отправки из города, а я еще оставался, сделало их гораздо старше меня. На чемодане разложили они олепинскую домашнюю снедь: вареное мясо, яйца, лепешки, лук. Мы поели. Валька, зная, наверное, как живут студенты, отрезал кусок вареной свинины и дал мне с собой, сказав:

— Мы едем на казенный харч, там голодом не заморят.

Они, Валька с Васей Кузовым, так и служили и воевали вместе. На глазах у Васи и погиб Валька Грубов.

— Под Воронежем,— рассказывал Вася,— как прижал нас немец, мы отбиваться. Валька за бугром из миномета палил. Вдруг меня зовут. Гляжу, лицо у него все разворочено, а сам он лежит и глядит на меня. Он ведь глупо погиб: одна мина из миномета не вылетела, а он другую в ствол опустил. В горячке боя все бывает. Сам знаешь, что после этого могло произойти. Отшибло ему напрочь нижнюю челюсть. Он глядит на меня жалостливо, глазами на флягу

показывает — пить просит, а сам не знает, что пить-то ему уж нечем... Ну, потом унесли его...

Бошка перед уходом в армию выправился в кряжистого, крепкого паренька, с удивительными темно-синими глазами, каких я не встречал потом не только у мужчин, но и у женщин. Ему тоже было семнадцать лет, когда уходил в солдаты. Матери он писал: «Все идем и идем, а погода очень сырая. Портянки сушу у себя на груди под рубахой».

Про письмо мне рассказала его мать — тетя Нюша, которую сильнее всего поразила именно эта бытовая деталь: сушение портянок под рубахой, и она часто говорила об этом вслух, всплескивая руками и плача: «Застудит грудь-то, хоть бы он выжимал их сначала...»

Кажется, не было похоронной, вот почему тетя Нюша долго после войны ждала своего младшего сына. Ей все снилось, как он возвращается в село. «Все будто ноги на крыльце вытирает. Долго вытирает, а я кричу, чего вытирать, заходи уж так. Я один раз веником его огрела за то, что грязь на ногах принес, вот, значит, он ноги-то все и вытирает».

Странно, но мне раз шесть с разными подробностями снилось, как Борис Грубов возвращается в Олепино. Я рассказал об этом тете Нюше. Она обрадовалась совпадению так, как будто уж пришло от сына письмо или другая какая весточка. Но это было в первые два года. Вот и еще двенадцать лет прошло, и ни мне, ни самой тете Нюше больше не верится в чудесное возвращение Бошки.

Старший из трех братьев, Николай, остался жив. Он женился и живет на стороне. Алексей Павлович и тетя Нюша уехали из Олепина, продав иструхлявевший домишко свой на дрова за две с половиной тысячи.

Я думал, что на месте дома останется зиять неприятная пустота. Но Николай Жильцов, женившись и отделившись от отца, построил на этом месте новую избу.

* * *

...Двухэтажный пятистенный дом с каменным низом. Одну половину его занимала большая семья Ворониных. Илья Григорьевич, теперь слепой старик, недавно уехал во Владимир к дочери; тетя Прасковья померла; другие дочери Ильи Григорьевича, как-то: Вера, Липа и Анна, а также сын Владимир — все живут по разным городам, теперь уж своими семьями. Дольше всех жила в отчем доме младшая

дочь Ильи Григорьевича Нина с мужем Виктором Михайловичем Некрасовым, через руки которого, добрые учительские руки, прошли поколения олепинских жителей и жителей из окрестных деревень. Недавно Нина и Виктор Михайлович уехали во Владимир. К ним-то и переехал жить слепой Илья Григорьевич.

Сейчас всю половину Ворониных — и верх и низ — купил новый наш председатель колхоза Александр Михайлович Глебов. Тут я должен сказать несколько слов о нашем колхозе вообще.

Он образовался в 1930 году, и, так как мне было тогда шесть лет, я, конечно, не могу помнить в подробностях, как именно он образовывался, кто из мужиков голосовал за колхоз первый, а кто упирался и упрямился долее других.

Помню, что, впервые услышав слово «колхоз», я обратился за разъяснениями к матери и очень отчетливо до сих пор помню, что она мне ответила. Возможно, она нарочно упрощала дело, чтобы мне было понятнее, но, скорее всего, именно таким было понятие о колхозе и у нее самой, а может быть, и у других крестьян села.

— Колхоз — это вот что,— объяснила мать.— Соберемся все дружно, всем селом, и выкопаем картошку сначала у Ефимовых, потом все дружно перейдем и выкопаем картошку у Пеньковых, потом все придут и дружно выкопают картошку у нас. И так по всему селу. Это ничего,— продолжала мать уже в некоторой задумчивости и, значит, более для себя, чем для меня,— это ничего, так жить будет можно, плохого тут нету.

На первом же собрании село разделилось на два лагеря. Тринадцать домов записалось в колхоз, остальные раздумывали и колебались. Тогда-то и ходил по домам Володя Постнов и пел, переиначивая слова:

Владеть землей имеем право,
А единоличники никогда...

В селе постоянно жили уполномоченные, каждый день собирали они собрания, одно шумнее другого. Надо было, чтобы все вступили в колхоз «в кратчайшие сроки».

Два, очевидно, главных, уполномоченных определились на постой в нашу избу и жили у нас так долго, что я успел к ним привыкнуть и даже подружился с ними. Они были полная противоположность друг другу. Один из них, по

фамилии Иринин,— высокий, с бледно-красноватым лицом, с холодными синими глазами и седым коротким ежиком на голове — был однорук, именно этому обстоятельству я приписывал суровый, неразговорчивый, замкнутый характер Иринина.

Другой — Лосев,— невысокий, чернявый, подвижный, не то чтобы полный, но вовсе не худощавый, лысоватый человек, был шутник и весельчак. Кроме того, он любил играть на скрипке и даже в такую командировку привез с собой скрипку. А так как он особенно любил играть в две скрипки, то постоянно к нам в избу был приглашаем пономарь, невысокий седенький старичок по фамилии Надеждин, с которым они и играли под укоризненные аскетические взгляды Иринина.

Теперь я понимаю, что оба они были хорошие коммунисты, но в то время Иринин чувствовал и считал себя, видимо, более коммунистом, чем его напарник.

Была жестокая снежная зима с окаянными ночными метелями. Поздно ночью возвращались друзья в наш дом, иззябшие, занесенные снегом, с красными от табачного дыма (на собраниях), от тусклой керосиновой лампы и просто от усталости глазами. Стряхивали с себя снег, пили чай, а потом ложились спать, перекладывая из карманов под подушки черные глазастые наганы.

Я совершенно не понимал тогда, о чем так горячо и так подолгу спорили между собой Иринин и Лосев после каждого собрания. Но уж доходило до сознания мальчишки, что Лосев убеждал Иринина быть подобрее и помягче. Выражение вроде того, что «силой не возьмешь», «надо доказать, убедить», «потеряем доверие народа», «перестанут верить большевикам», может быть и не доподлинные по своим формулировкам, но верные по смыслу, сохранились в моей памяти.

— А отчитываться кто будет? С нас же спросят.

И вот какую фразу Лосева я запомнил полностью, потому что уж тогда дошел до меня каким-то образом весь ее характер:

— А шут с ним, с отчетом, в конце концов, нам важно создать хороший колхоз, а не хороший отчет.

Ясно, в условиях того времени Лосев и Иринин вскоре были отозваны, а на их место приехал один человек, а именно Хомяков, который, значит, стоил двоих. Я не знаю, как он вел собрание, но прибегала к нам тетя Поля Московкина в слезах и плакалась:

— Батюшки мои, родименькие, да как же я теперь усну? Как почал он орать, а глотка-то, видать, луженая, да как начал кулачищем по столу, а рукав-то засученный по локоть, а рука-то волосатая!

В один вечер все мужики до единого были записаны в колхоз, но, как только уехал довольный Хомяков, половина тотчас выписалась из колхоза.

Тогда в селе опять появились знакомые наши Иринин и Лосев. Иринин сделался гораздо мягче и ласковее, чем в первый приезд (я судил, конечно, по отношению ко мне, мальчишке), в частности, он стал дарить мне иногда мятные пряники.

Однажды Лосев, придя с собрания, схватил меня на руки, положил на ладонь и так поднял к потолку.

— Э, брат, да в тебе больше пуда! Колхоз-то все же мы организовали,— весело сказал он вдруг мне, барахтающемуся у него на ладони,— и назвали «Культурник». Понимаешь, нету?

Иринин захохотал на последние слова, ибо «понимаешь, нету» была любимая приговорочка, любимый сорнячок Хомякова, и теперь Лосев, значит, передразнивал его. Смех Иринина для меня был более неожидан, чем озорная выходка Лосева.

С тех пор, если не брать последние пять-шесть лет, во всякое время в селе сидел какой-нибудь уполномоченный. Надо послать людей на лесозаготовки — уполномоченный, посевная — уполномоченный, уборка — уполномоченный, картошка — уполномоченный, овес — уполномоченный, заем — уполномоченный, перевыборное собрание — уполномоченный. Но странно, что все они для меня теперь безликая вереница людей, кроме самых первых уполномоченных — Иринина и Лосева. Потому, наверно, что на долю этих людей выпала не роль мелочной опеки колхозников и не мелкая роль так называемых «толкачей», но надо было им совершить почти непосильное: убедить мужиков, закоренелых, пусть и микроскопических собственников (деньги на лошаденку копил семь лет, выбирал лошаденку на семи базарах, кормил лошаденку семь голодных зим, а теперь веди со двора ни хотя бы за ломаный грош), надо было убедить их, что отдать лошадь, отдать сарай, отдать, наконец, землю выгодно будет для самих же мужиков. Надо было убедить их (моя хата с краю, я ничего не знаю), что «мы» — это лучше, чем «я», и что радостно приобщиться к великой силе коллектива.

Задача хотя бы в какой-то степени облегчилась тем, что знакомо было по «миру» словечко «сообча», так что, может быть, на первых порах и не надо было углубляться в теоретические глубины, а твердить мужикам одно, что сообща работать легче и если будут они и жить и работать сообща, то им же самим будет лучше.

Так или иначе, два коммуниста — Иринин и Лосев — совершили в селе Олепине и прилегающих к нему деревнях тот революционный перелом, который мы называем коллективизацией.

В Олепине колхоз назвали «Культурник», в Курьянихе — «Показатель», в Прокошихе — «Путь к социализму», в Шунове — «Красный авангард», а калининские мужики (так я и не узнал по прошествии многих лет, когда появилось у меня желание узнать, кто же первый выкрикнул из мужиков) дали колхозу ласковое название «Зеленый лужок».

Волна коллективизации докатилась до Олепина немного позже, чем, например, до центральных черноземных земель, и первоначального азарта, когда тащили в одно место и коров, и овец, и кур, и гусей, и уток, и чуть ли не ложки и плошки, олепинские мужики избежали. В несколько дворов — еще не было своего колхозного — свели лошадей, свезли в одно место телеги, засыпали семенной фонд и стали крестьянствовать «сообча».

Трогательно это первое наивное стремление все до капельки разделить поровну, и если появлялось в колхозе два ведра постного масла, то хоть по стакану, а нужно было раздать его на трудодни. Поэтому списки того, что раздавалось на трудодни, были длинны и обстоятельны: гороху — по сорок граммов, вики — по шестьдесят, меду — по четыре грамма, высевок из-под триера — по двадцать пять.

После каждой, ну, что ли, кампании, или, по-старому говоря, страды, после покоса, навозной, жнитва, устраивали в селе складчины, то есть пускалась шапка по кругу, а посреди села, на зеленой траве под ветлами, устанавливались в длинный ряд столы.

Несколько женщин (чаще всего тетя Агаша, да тетя Поля, да еще кто-нибудь к ним в придачу) брали на себя все хлопоты по столу, как-то: в огромных бельевых чугунах, называемых корчагами, тушили картошку с бараниной, пекли пироги, готовили зеленый лук и разделывали селедки.

Деревенские люди предпочитают крепкое вино, а пьют его преимущественно из стаканов, так что тот первый период, который длится обычно от момента, когда гости сядут за стол, до момента, когда запоют песни, во время складчины был недолог. Дмитрий Бакланихин растянет мехи у гармони, и звонкий бабий голос, не мешкая ни секунды, вплетается в игру и стремглав взлетит ввысь, как если бы гармонь выпустила его из своих добрых, просторных рук. Где песни, там и пляска. Пошли мелькать над головами разноцветные платки в бабьих руках, пошли перебивать друг друга бойкие частоговорочки.

Обычно в конце концов не хватало вина, и бабы, зная, что у того или иного человека водятся деньги, налетали и начинали качать и тютюшкать избранного и качали и тютюшкали до тех пор, пока он не раскошеливался и не выкладывал еще на пол-литра или на литр, в зависимости от своей наличности.

Почти в каждой избе появились тогда патефоны, велосипеды и детекторные приемники. Чисто, по-городскому стала одеваться молодежь, катаясь вдоль села на велосипедах. К вечеру пять-шесть патефонов как начнут играть наперебой, который — «Раскинулось море широко», который — «Саратовские страдания» («Дайте лодочку, моторочку, мотор, мотор, мотор...»), который — «Тирольский вальс», который — «У самовара я и моя Маша», который — «Если завтра война»...

Начали доходить слухи, что в городах появились какие-то западные танцы, и олепинские девушки с недоумением глядели, как приехавшие из Москвы дачник и дачница семенили в беспорядочных направлениях мелким шажком, как если бы на цыпочках, по пыльному гулянью, как бесцеремонно дачник то вертел дачницу из стороны в сторону, то наскакивал на нее, набегая и даже наклоняя ее и сам наклоняясь над нею, то приподымал от земли.

Внимательно читая газеты, можно было предполагать, что война все ближе и ближе подбирается к нашим границам. Но как и для больших городов, как и для других сел и деревень, война над Олепином ударила, словно гром среди ясного полдневного неба.

Помню, председателем сельсовета тогда был Николай Федорович Ломагин, тот самый, которому я ставил некогда радиоприемник, который напоил меня пьяным и который к каждому слову говорил «та-шкать», вместо «так сказать».

Николай Федорович в день объявления войны собрал митинг и произнес речь. Конечно, я теперь и задним числом мог бы в общих чертах написать речь председателя, ибо можно предположить, о чем он говорил в тот день. Но чего не помню, того не помню. Врезалась мне в память одна лишь горькая в конечном счете фраза:

«Ну что же, товарищи, я, та-шкать, думаю, что мы в Петров день [1] будем, так-шкать, в Берлине чай пить».

Говоря это, он искренне верил в свои слова, и не его вина, что все оказалось гораздо, гораздо сложнее.

Приехавший вскоре племянник Владимира Сергеевича Постнова Славка Луковников, московский мальчишка с Большой Полянки, взахлеб рассказывал, как сбрасывают с крыш зажигалки, и как закрасили все московские дома, и как задержали диверсанта около Крымского моста, и какие бывают аэростаты заграждения, и как будто бы на его глазах прожекторы поймали черный крестик немецкого самолета, и как после этого самолет задымился и полетел вниз.

В августовские ночи на западе, там, где, если лететь птицей, должна находиться Москва, в черном небе начинали вспыхивать остренькие мгновенные золотые звездочки. Уже все знали, что это рвутся зенитные снаряды. А иногда красноватым клином озарялось ночное небо от лопнувшей тяжелой фугаски. Но тиха и безмолвна лежала ночь. Коростеля, кричащего у реки, было слышно четко и явственно. И звездочки, и красноватые вспышки появлялись в полной тишине, как если бы в немом кино или как если бы люди оглохли.

Между тем в село одна за другой начали приходить похоронные.

Сам я в то время тоже стал солдатом и в течение четырех лет не знал, что делается в родной деревне. Весной сорок шестого года, приехав на побывку, я увидел довольно плачевную картину: колхозники выкапывали из земли прошлогоднюю, перемерзшую и полусгнившую картошку, которую не успели выкопать осенью. Так как в обычном виде такая картошка в пищу не годилась, то крестьяне придумали превращать ее в некое грязноватого цвета месиво, называемое «трахмал» (крахмал), из какового трахмала и пекли грязноватого же цвета безвкусные лепешки.

[1] 12 июля.

Дело доходило и до извечного, как бы даже символического для обозначения голодного года растения — лебеды. Надо ли говорить, что жестокая засуха сорок шестого года усугубила положение.

Но, конечно, из всех причин, приведших сельское хозяйство к неблагополучию, засуха была не самой главной. Иначе не потребовались бы семь-восемь лет спустя срочные, чрезвычайные меры по крутому подъему сельского хозяйства, выраженные в мудрых и благодатных решениях партии. Тогда было бы все очень просто.

Прежде чем прийти к решениям, партии пришлось вскрыть основные причины и проанализировать следствия этих причин. Вопрос достаточно сложен, чтоб не в специальной научной книге, а в лирических записках обойтись без некоторого, может быть, упрощения и приведения к прозрачной короткой схеме, объясняющей существо дела. Кроме того, я не ручаюсь, что в сложном клубке причин, вскрытых и проанализированных партией на сентябрьском Пленуме по вопросам сельского хозяйства, в сплетении разных ниточек ухвачусь сразу за главную и вытяну именно ее, но вот некоторые из них.

Жесткое планирование сверху, спускаемое колхозникам в порядке непреложных директив, не посоветовавшись, не обсудив, не выявив самого выгодного варианта: картошки посеять столько-то гектаров, гречи — столько-то, пшеницы — столько-то, а льна не сеять совсем, а вики не сеять совсем, а ржи — столько-то, а кок-сагыза — столько-то, — из года в год постепенно подтачивало и убивало в колхознике интерес к своему кровному, к своему единственному в жизни делу. Он видит: год складывается такой, что хорошо уродится лен, разольется голубыми озерами меж березняков, темно-золотистый, позванивающий, поднимется он и встанет стеной, и сколько тут будет и волокна и масла! Расчетливый колхозник пустил бы в этот год на колхозных полях немного побольше льна и немного поменьше картошки и гречи. Но цифры, спущенные сверху, непреложны, а надо делать так, как велят. Тогда колхозник махнет рукой и скажет: «Ну, ладно, я сделаю, а там уж забота не моя». И сделает, конечно, без охоты и рвения.

А тут другое дело. Весна задалась такая поздняя и холодная, что сев надо бы оттянуть ну хоть на одну неделю, тогда и урожай был бы лучше. Но непременно надо закончить сев к такому-то мая, ибо району нужны сводки, чтобы выйти на первое место в области (по сводкам) и отра-

портовать, а если не выйти на первое место в области, то хотя бы не остаться на последнем; области, в свою очередь, надо опередить Рязань и Ярославль, чтобы отрапортовать, и вот ездят уполномоченные, нажимают, ругаются, требуют. Тогда колхозник говорит: «Ну, ладно, я сделаю, а там уж забота не моя». И делает, конечно, без охоты и рвения.

Но ведь если он хотя бы десять раз в году скажет «забота не моя» да если это помножить на десяток лет, то вот уже и психология!

Интерес к делу подтачивался и тем (вторая ниточка), что уродившееся на колхозной земле нужно было сдавать государству практически бесплатно. Впрочем, даже лучше, если бы совсем бесплатно, тогда было бы колхознику ясно, что это надо отдать государству — и точка. Но когда за центнер (сто килограммов) ржи тебе дают девять рублей, то это уж как бы оценка самого труда колхозника, оценка несправедливая и обидная, тем более что тот же колхозник покупает в лавке ту же самую муку по три рубля за килограмм, то есть уж не по девять, а по триста рублей за центнер.

Соответственно за тонну картошки колхоз от государства получал тридцать рублей (3,6 копейки за килограмм), литр молока ценился в 15 копеек.

К чему же пришло дело? К тому, что хлеб стал родиться плохой, картошка по осени наполовину оставалась в земле (подумаешь, добро — тридцать рублей за тонну!), захудалые коровенки давали по четыреста литров в год, и были годы, когда в нашем колхозе на курицу-несушку (за целый год!) приходилось по три яйца.

Потянув как следует за эту ниточку, мы вытянем другую, состоящую в том, что раз колхоз мало производил продуктов и раз он ничего не получал за то, что производил, значит, он был беден, значит, он не мог обеспечить благосостояние колхозников, то есть, короче говоря, он не мог заплатить им за работу. Трудодень превращался в формальность.

Ниточка вытягивает ниточку. Раз мне ничего не дают на трудодень, думал колхозник, за мою работу, зачем же я буду трудиться в поте лица? К чести колхозников надо сказать, что они все равно работали, хотя интерес их к колхозной земле, к колхозному труду был резко ослаблен.

Вот, значит, показалась и еще одна ниточка: колхозники обратились к своим приусадебным участкам, чтобы

лучше их обработать и вырастить на них как можно больше картошки, свеклы и капусты: надо будет прожить долгую зиму. Невольно своя корова, свой поросенок, свой сад, свои овцы, своя картошка сделались дороже, чем овцы, поросята и коровы колхозные. Вот как обернулась в селе политика заготовительных цен, или политика жесткого планирования сверху.

Итак, колхозники обратились к своим личным приусадебным хозяйствам. Но и эти хозяйства все равно не могли процветать, а постепенно приходили в упадок. Брали налог за каждую яблоню или за каждое вишневое дерево — и деревья вырубались с корнем, чтобы за них не платить. С лица земли исчезали целые сады. Брали налог за корову — и коровы поредели, деревенское стадо состояло почти из одних коз.

Я вспоминаю, как известный очеркист Василий Титов вопрошал со страниц журнала, куда подевалась традиционная, так называемая романовская овца и почему ее не видно на луговых привольных пастбищах. Если бы он спросил об этом не один раз, а сто, все равно овец от этого не прибавилось бы, как их на самом деле не прибавилось в то время.

Но теперь я вижу на улицах Олепина, когда гонят стадо, множество романовских овец, возникших как бы по движению волшебной палочки за два-три года. Исчезли налоги — появились овцы — простейшая механика.

Итак, я заговорил о том, что и приусадебное хозяйство колхозника не могло процветать: процветание сдерживалось и ограничивалось разнообразными налогами. Клубок, размотавшись, обнажил последнюю нитку, люди потекли из деревни в город.

Это, конечно, схема, а картинки тут могли быть самые разнообразные. Вот бригадир неуверенно заходит в избу в момент, когда семья пьет чай.

— Значит, это, Анна Ивановна, как его, в общем, наряд копать картошку.

— Ах ты, бесстыжие твои глаза, как же, держи карман шире! Сейчас вот только разуюсь, чтобы легче идти было. Картошку ему копать! Да у меня вон свой загон некопаный. Уходи, уходи, и чтобы и духу твоего не было! Сказано, не буду ходить на работу, значит, не буду!

Бригадир после этого, однако, не уходит, а садится на лавку, просит у хозяина табачку, заводит разговор о том, о сем.

— Ну так, значит, Анна Ивановна, я пойду. Значит, за конным двором картошка-то, копать ее надо.

— И не проси, и не проси, не пойду, хоть режь!

— Ладно, оштрафуем на пять трудодней,— равнодушно, сам не веря в эту меру наказания, говорит бригадир.

— Да черта ли мне в твоих трудоднях? Штрафуй хоть на пятьдесят! — вновь вдохновляется колхозница.

— Ну да. Значит, весной, как понадобится пахать тебе свою усадьбу, придешь ко мне лошадь просить, а я и не дам. Или за дровами зимой — тоже лошадь нужна.

— Дашь,— смеется колхозница,— пол-литра поставлю — и дашь, али я тебя не знаю?

Однако сердце ее размягчается, и видно по всему, что, может быть, она и сходит сегодня на колхозную работу.

— Ну, так, значит, я, Анна Ивановна, пойду. Загон-то за конным двором, там уж ее, чай, начали копать, картошку-то.

...Вот под осенним дождичком среди поля ржавеет какая-то машина, не то культиватор, не то сеялка — издали не разберешь, а подойти поближе невозможно: ноги увязают в размокшей холодной земле. Эта машина так и будет стоять среди поля, пока не замерзнет земля. Тогда, может быть, ее вырубят из мерзлой земли и увезут, но, скорее всего, никто вырубать ее не станет, и так она и останется среди поля в зиму.

...Вот груды льна под открытым небом, который посеять посеяли, и даже выдергали, и даже сложили в кучку, но так и оставили гнить, не выколотив хотя бы льняного семени, а стоит он не меньше ста тысяч рублей. Весной при пахоте он будет мешаться, и его без дрожи в руках подожгут, и весь он сгорит, на всю округу накурив душистым синим дымком.

...Владимир Константинович Клепиков, популярнейший в наших местах человек, недавно рассказал мне, как он провел первый день в колхозе, когда принял председательские дела в селе Черкутине, то есть в четырех километрах от нас.

Если бы я писал не документ, а чистую беллетристику с вымыслом, то, конечно, я ради художественной выразительности тотчас перенес бы этот случай в Олепино, являющееся, ну, что ли, главным героем книжки. Надо ли жалеть, что дела в Олепине все же были не так вопиюще безотрадны, как, скажем, в соседнем Черкутине, и нашему

председателю не пришлось начинать с того, с чего начал Клепиков. Однако вот как было дело.

Приняв дела, Клепиков пришел с утра на молочную ферму, или, правильнее будет сказать, на скотный двор, где содержались колхозные коровы. «Смотрю,— рассказывает Владимир Константинович,— коровы стоят чуть повыше, чем по колено, в жидкой навозной грязи, так что подойти к ним невозможно. Как же, думаю, пойдут сейчас доярки? Пришли доярки. Тотчас они сняли с себя юбки и в одних штанах, то есть в одних женских панталонах, устремились к бедным коровам. Ясно, что обмывать вымя у коров было бесполезно, поэтому молоко в подойниках, когда доярки выходили со двора, было с шоколадным, а точнее с навозным, оттенком. В дальнем конце сарая,— продолжал рассказ Клепиков,— доярки показали мне, лежала в жиже дохлая корова. Она лежала там вторую неделю, собаки отъели у нее щеку и немного поцапали бок, то есть те места, которые выступали из навозной жижи. В первые секунды я просто возмутился, но тут же подумал, что теперь ведь это хозяйство мое и рано или поздно дохлую корову надо вытаскивать. Не лучше ли с этого и начать?

Я подозревал, что если сказать прямо, то никто из колхозников варакаться в навозе не будет. Захожу в одну избу, сидит здоровый мужчина, читает газету.

— Приходи на ферму, там будет небольшое совещание,— сказал я ему.

Мужчина начал одеваться. Таким образом я пригласил шесть человек. Все они пришли в резиновых сапогах, в рабочих куртках, а я, конечно, еще по-городскому: в туфлях, хороших брюках и габардиновом летнем пальто. Сколько бы я ни упрашивал пришедших мужиков лезть за коровой, сколько бы я туда ни посылал, они все равно не полезли бы. Оставалось одно:

— Коммунисты есть?

Вышли два человека. Сам я тоже коммунист.

— Ну что ж, товарищи коммунисты, пошли!

И нарочно, не сняв даже пальто, которое, в общем-то, можно было снять, первый полез к корове. Чтобы ухватить корову за хвост, пришлось по локоть окунать руку в грязь. Все шесть человек оказались тут же. Оттащили корову подальше на лужок, изваракались все, стоим, смотрим друг на друга и смеемся. И — черт возьми! — радостно ведь смеемся, как будто и правда вернулись живы-здоровы из смертельно опасной атаки, как все равно разрядка какая

произошла, и мы поняли друг друга не на одну минуту, а навсегда.

— Скоро здесь будут деревянные полы, а доярки будут ходить в одинаковых синих халатах и красных косынках.

Конечно, хохот поднялся среди доярок в ответ на мои слова». Клепиков замолчал и задумался.

Мне не надо было расспрашивать его, появились ли деревянный пол и красные косынки, потому что я знал, что этот человек за три года так сплотил людей колхоза, так повел дела, что колхоз сделался чуть ли не передовым, и слава о нем пошла по окрестным деревням, и вырос новый, огромный, светлый скотный двор с подвесной дорогой, деревянным полом и электричеством, и дояркам не надо было снимать юбки, чтобы идти доить коров, но стали они ходить в одинаковых синих халатах и красных косынках, а коровы стали давать в три раза больше [1].

Итак, олепинский колхоз был получше и почище черкутинского, и нашему новому председателю Александру Михайловичу Глебову не пришлось в первый день лезть самому за дохлой коровой, но грязь из коровников все равно выгребать было нужно, и все равно люди отказывались идти на работу, да и людей-то самих — раз-два и обчелся.

Несомненно, Александр Михайлович Глебов — человек со стороны, непьющий, с ровным, выдержанным характером, сам деревенский, но работавший начальником автобазы во Владимире, то есть научившийся и административным приемам,— такой человек не мог не повлиять на течение колхозных дел.

Однако только Клепиков или только Глебов ничего не смогли бы сделать, если бы не были созданы Центральным Комитетом партии общие условия, благоприятные для

---

[1] Кстати сказать, история Владимира Константиновича Клепикова могла бы послужить основой для повести или пьесы с конфликтом. Поднятый им из помянутой грязи и выведенный на светлую дорогу колхоз преобразовался в совхоз, и в этом не было бы ничего плохого. Плохо то, что Клепикова, прикипевшего душой и к людям и к делу, не оставили директором совхоза, а назначили другого, оказавшегося горьким пьяницей. Его, правда, вскоре сняли и назначили нового, говорят, неплохого директора, да все не Клепикова! Клепиков плакал, как мальчишка, когда уезжал из Черкутина. Иногда за двести километров, из Гусь-Хрустального, приезжает он на «Победе» в село просто так: поглядеть, поговорить с мужиками. Все его знают, бегут к нему навстречу, как к самому родному человеку. В Гусь-Хрустальном Клепиков работает заместителем директора завода.

укрепления любого колхоза. Те ниточки, которые мы только что печально вытягивали и разматывали одну за другой, можно перебрать снова, и вот что они расскажут.

Жестокое, непреложное планирование сверху упразднено. Конечно, анархию в сельском хозяйстве допускать нельзя. Государство не может остаться к осени с одной гречей, но без масла или с одной картошкой, но без молока. Но колхозникам дана самостоятельность решать и варьировать; всякий раз председателя вызывают в район и там вместе обсуждают с ним, «обкатывают» планы и прежде и после того, как он обсудит их на правлении или на собрании колхоза. Это не могло не увеличить интереса к делу.

Вместо того чтобы полученные с колхозной земли продукты сдавать практически бесплатно, колхоз продает их теперь государству по хорошим ценам. Так, молоко стоит уже не пятнадцать копеек литр, а один рубль двадцать копеек, а в зимний сезон — так и рубль сорок. Разведение коров стало не только плановой необходимостью, но и выгодным делом. Вместо семисот литров в год коровы стали давать по три тысячи литров, и колхоз продал государству не девяносто тонн молока, а двести сорок тонн и получил за это молоко уж не десять тысяч рублей, а полмиллиона. Да еще картошка по тысяче рублей за тонну, (помните, стоила тридцать), да еще хлеб по девяносто пять рублей за центнер, да еще мясо по восемь рублей за килограмм...

Мне приходится выписывать слишком много цифр, но как быть, если иные цифры лучше объясняют дело, чем целые страницы самой красивой беллетристики! Вот, например, маленькая таблица, которую я срисовал в нашем олепинском клубе. Речь идет в таблице о центнерах того или иного продукта на каждые сто гектаров пашни. Сейчас эта мерка является самой распространенной:

	1953 г.	1958 г.	Процент роста
Молоко	60,7	203	334
Мясо	10,9	21,1	193
В том числе свинины	1,7	4,8	276
Общий доход колхоза в рублях . . .	211 000	1 283 000	612

Ниточка тянет ниточку. У колхоза появились деньги, он стал выдавать их колхозникам на трудодни. Поскольку уж мы взялись за таблички, вот таблица стоимости трудодня в нашем колхозе начиная с 1952 года:

Годы	Деньги	Зерно в граммах	Картошка в граммах	Сено в граммах	Солома в граммах
1952	—	500	1700	—	600
1953	—	800	300	—	—
1954	—	1020	380	170	470
1955	46 коп.	1500	—	700	1000
1956	2 руб.	900	—	—	—
1957	2 »	850	850	1000	—
1958	3 »	1800	800	1000	—

Ниточка цепляется за ниточку. Почувствовав вес трудодня, колхозники стали охотнее выходить на работу.

Теперь суровый бригадир Василий Михайлович Жиряков, если колхозница не выполнит его наряда, не грозит оштрафовать ее на пять трудодней: это была бы слишком жестокая мера,— а просто-напросто в течение нескольких дней не посылает на работу, проходит мимо ее избы, как бы не замечая, пока наконец провинившаяся сама не придет к нему и не станет умолять, чтобы он опять начал посылать на работу.

Что касается собственных приусадебных хозяйств, то благодаря отмене всех налогов (с овцы — шерсть, мясо, полкожи и деньги; с поросенка — мясо, полкожи и деньги; с коровы — молоко, мясо и деньги; с кур, с фруктовых деревьев, с гусей, с уток, пчел) не только улучшилось благосостояние каждой семьи тем, что не надо платить ежегодно большие деньги [1], но и появилось откуда ни возьмись множество овец, коров, поросят и прочей живности. Сразу пропали из деревенского стада все козы.

Интересна одна деталь. Колхозники должны были раньше сдавать государству четыреста литров молока и едва-едва выполняли эту норму. Теперь они продают государству молоко. Делается это так. Николай Васильевич с бака-

[1] Сейчас существует единый сельскохозяйственный налог — десять рублей с каждой сотки приусадебного участка, что составляет в год, в зависимости от величины участка, 350—400 рублей.

ми объезжает село, и женщины выходят и льют ему в баки молоко, кто сколько захочет. Баков обыкновенно не хватает, и женщины, не успевшие вылить молоко, считают себя неудачницами. При такой добровольной продаже уж не по четыреста литров молока продают колхозницы, а в среднем по шестьсот, многие даже и по восемьсот, то есть ровно в два раза больше. К тому же, и это самое главное, в то время как молоко выливается из ведра в большой бак, у колхозницы нет ощущения, что у нее взяли и просто-напросто отобрали это молоко. Нет, она сама захотела его продать и следит, как бы не прозевать Николая Васильевича.

Чтобы закончить дело, должен сказать, что я заходил нарочно в несколько домов и спрашивал о среднем годовом доходе. Семьи я брал разные: три человека в семье и все работают — например, Глафира, Шурка и Николай Васильевич; один работает, а четверо едят — например, Сергей Тореев; женщина живет без мужа с дочерью, и обе работают — например, Анна Абрамова; и муж и жена — оба на руководящих колхозных должностях — например, Александр Павлович Кунин и жена его Валентина. Строго говоря, от количества ребятишек в семье и вообще едоков зависит не доход, а общее благосостояние семьи, доход же в чистом виде зависит от выработанных трудодней. Нетрудно было подсчитать, что тысяча трудодней в нашем колхозе в прошлом году стоила около восьми тысяч рублей; значит, достаточно узнать, сколько колхозник выработал трудодней, как можно будет сказать, сколько он заработал. Есть семьи, выработавшие по полторы тысячи трудодней, есть — по семьсот, так что тысяча и будет, пожалуй, средней цифрой. К этому доходу надо прибавить молоко, проданное государству (допустим, пятьсот литров на шестьсот рублей), выращенные и проданные овцы (по двести пятьдесят рублей за штуку), да шерсть с овец, да картошка со своей усадьбы, да сено со своей усадьбы. Никто не запрещает также развести пчел или хороший сад.

Нюра Московкина так говорила мне о жизни колхозников (почти стенограмма):

— Что ты! Разве теперь народ-то плохо живет? Поди ты! В магазине не знают уж, чего покупать, сельпо шифоньеров не напасется. Когда это было? Кроватей с шишками, диванов накупили мягких, что ты! Этого и не было никогда! Поди-ка зайди в любую избу — как обставились! Радио у всех. Славка Ломагин телевизор приволок, за три

тысячи с прибором! Да когда это было? Электричество провели: и в передней лампочка, и на кухне лампочка, и в сенях лампочка, и на дворе-то лампочка, тьфу ты пропасть! Везде лампочек понавешали. Три фонаря посреди села, кино каждый день. Да когда это было?

Разумеется, многочисленность или малочисленность семьи, хозяйственность или бесхозяйственность, неряшливость или опрятность создают разницу и в обстановке избы, и в харчах, и в отложенных на черный день запасах, но основа благосостояния, несомненно, есть, и надо думать, что она будет упрочаться, ибо не всегда же будет в нашем колхозе трудодень стоить восемь рублей.

Обычно председатели (их были десятки) старались дотянуть до отчетного года, с тем чтобы или самим сбежать, или чтобы их в конце концов прогнали.

Александр Михайлович Глебов, приехав в село из Владимира, купил дом и начал теперь всячески благоустраиваться, сознательно врастать корнями в олепинскую почву. Одно это говорит о том, что колхоз наш — здоровый и крепнущий организм.

Мы отвлеклись на том месте, где я должен был перечислить семью Александра Михайловича, рассказать, кто чем занимается, и перейти в следующий дом. Жена нашего председателя Екатерина Алексеевна — учительница в Олепинской школе; сын Гена учится в седьмом классе; сыну Вове пять лет. Близнецам Виктору и Виктории по три годика. Эти уж коренные олепинцы.

* * *

...Дом тридцать четвертый. Сергей Васильевич и тетя Дуня — оба старики в преклонном возрасте, в колхозе не работают. Сыновья их живут: Александр — во Владимире, Борис — в Ногинске; дочери Валентина и Капа вышли замуж и также живут на стороне.

* * *

...Тетя Олена Грыбова — старуха лет девяноста, впрочем, я и не помню, чтобы она была когда-нибудь моложе. Когда я начал себя помнить, она была так же стара, как и сейчас, разве что прибавилось глухоты да убавилось зрения; муж тети Олены — Иван — пас олепинское стадо и один из всех пастухов, когда-либо пасших в селе, умел

хорошо играть на рожке. Особенно у него получался «Ванька-ключник». Теперь он помер. Сыновья тети Олены — Василий, Иван и Александр — все погибли на войне; дочь Капа померла подростком; дочь Дуня — единственное уцелевшее дитя Олены — живет с ней в одном доме. Немало вынесла Дуня за свою нелегкую жизнь. Муж тети Дуни был Николай Иванович Кулаков. Он в молодости работал на каком-то строительстве и надорвался, таская кирпичи. Инвалидность его с годами становилась все очевиднее, под конец он вовсе не мог работать. Но между тем нарождались маленькие дети, семья бедствовала. Однажды Николай Иванович с семьей переехал жить во Львово (оно же Негодяиха), купив там избенку. Но в большой летний праздник, когда все гуляли в Олепине, в том числе и Кулаковы, изба их вспыхнула и сгорела прежде, чем Николай Иванович, волоча больную ногу и задыхаясь, успел пробежать два с половиной километра, отделяющие Негодяиху от нашего села. Будто бы сгорели и пятьсот рублей, спрятанные за иконой. Так Кулаковы стали опять жителями Олепина. Тетя Дуня работает в колхозе дояркой; сын Владимир — мастер на Собинской ткацкой фабрике; дочь Надя — колхозница, дочь Лена — ткачиха на Собинской фабрике; сын Виктор — шофер в нашем колхозе. Можно твердо сказать, что материально никогда Кулаковы не жили так хорошо, как сейчас. Жаль только, Николай Иванович помер, не дожив до этого времени!

Некоторые женщины нашего села слегка осуждают тетю Дуню за то, что деньги она тратит не столько на хозяйство, сколько на наряды дочерям. Но надо понять это стремление матери одеть своих дочерей, если самой не привелось износить ни одного нарядного платья.

Нужно сказать, коли зашла речь, что сейчас в Олепине одеться лучше других не так-то просто. Конечно, в будние дни никому не придет в голову блистать нарядами, ибо деревенская работа требует удобной, грубой одежды. Зато в праздники!..

Недавно в летний праздник в Олепине собралась молодежь со всей округи. Если бы со мной не было жены, то, может быть, мне и в голову не пришло вникать в наряды олепинских женщин, но тут пришлось вникнуть. Шифон, натуральный жоржет и цветастый панбархат — вот самые обыкновенные материалы, в которые одевается сегодня праздничная деревня.

Когда же наступил вечер, то все девушки переоделись в вечерние наряды из лиловой и фиолетовой шерсти.

Иная городская модница, может быть, скривила бы губки: дескать, в прошлом году были модны эти цвета. Но, право, олепинским девушкам не резон, да и некогда на лету схватывать столичные моды.

Хорошо, что газеты стали приходить в Олепино этим же числом [1], а не на четвертый день, как это было недавно. Моды если и запоздают — не беда.

Среди гулявших на празднике людей было несколько московских женщин, и они ничем, ровно ничем, не выделялись среди остальных. Одно только было у них преимущество, вернее, одно только слабое место было у деревенских соперниц: как правило, деревенские женщины покупают пусть дорогие, но все же готовые платья, а не шьют у разных там модных портних. Разумеется, готовые платья сидят несколько мешковато и кажутся как бы с чужого плеча.

* * *

...Евдокия Изотова — сноха тети Олены после убитого сына Александра. Работает в колхозе телятницей; сын ее Шура — прицепщик. Избенка их совсем развалилась и стала бы непригодной для жилья, когда бы председатель Александр Михайлович Глебов не поставил об этом на колхозном правлении вопрос. Амбар, в котором помещалась сельская лавка, разобрали, перевезли и соорудили из него пусть небольшую, но теплую избу, в которой и живет теперь тетя Дуся с сыном. Их дом самый крайний, самый последний в селе Олепине, дальше начинается луговина, потом поле, сбегающее под уклон к реке и около самой реки переходящее в луг.

* * *

Путешествие наше из дома в дом по селу Олепину закончилось. Оно было долгим, может быть утомительным, но думаю, что небесполезным. Во всяком случае, я не считал бы свою роль исполненной, если бы не представил вам

---

[1] Кстати, может быть, интересно будет узнать, что в село на тридцать шесть домов приходит пятьдесят газет и пять журналов.

каждого олепинского жителя. Что касается цифровых итогов, которые я обещался подвести, то они будут такие:

Семейств, выехавших из Олепина в послевоенные годы	10
Всего живет в Олепине семейств	36
Погибло на войне человек	17
Всего живет в Олепине человек, считая ребятишек	110
Рядовых колхозников, выполняющих разные работы	6
Колхозников, выполняющих специальные работы (доярки, счетоводы, уборщицы, телятницы, кассиры, пасечник, трактористы и т. п.)	38
Людей, уехавших в города, а также работающих не в колхозе, а на стороне	48

* * *

Высокий округлый холм, подножие которого обвивает речка Ворща, а на макушке которого стоит село Олепино, когда-нибудь был, вероятно, пуст. Склоны его, ныне покрытые мелкой плотной травой, такой яркой после летнего светлого дождика, бесспорно, шумели лесами, ибо и теперь между маленькими уцелевшими островками леса по склонам холма редко-редко, но все же растут кустики можжевельника, а там небольшие елочки, а там и взрослая сосна, которая стоит одна посреди зеленой травы, вольготно обдуваемая ветрами, и далеко видно ей на все стороны света.

Может быть, холм и поверху был покрыт сосняком... Но тогда почему же именно здесь решили пращуры рубить первые избы? Наверно, на вершине холма и раньше была плешинка, и когда каким-либо образом на скрипучих телегах своих очутилась славянская семья (или пять семейств) на упомянутой плешинке и люди оглянулись вокруг на молчащие в низинке по склонам холма и у его подножия темно-зеленые леса с белой причудливой полосой речного тумана, накуренного Ворщей, то, может быть, тут-то и дрогнуло сердце старейшего, и сказал он распрягать лошадей и разжигать костры.

Есть еще одно предположение, которое дальше, после прочтения нами одного исторического документа, покажется не лишенным вероятности, а именно: что притулился на холме монашеский скит, который постепенно со всех сторон облепили (или олепили) избы обыкновенных крестьян, и таким образом получилось Олепино.

Если еще двадцать лет назад полно было рыбы в Ворще, то сколько же ее было тогда? Если и теперь в урожайный

год как пойдут боровые рыжики по Миколавке да по Прокошкинским сосенкам, сколько же их, рыжиков, росло в древние годы! А место здоровое, высокое, сухое, бескомарное, ни змей, ни другого какого гада. Почему бы и не поселиться?

Никто из стариков не помнит первого поселения на высоком холме над рекой Ворщей, но когда спросишь, всегда отвечают, что село стояло еще и при татарах. Опровергнуть невозможно, так же как и доказать.

Однако очень мне захотелось поискать, нет ли какого-нибудь упоминания в каких-нибудь книгах или летописях.

Задача эта могла быть продиктована только огромным желанием да еще разве наивностью, ибо найти что-нибудь о селе, не помечаемом даже на подробных областных картах, конечно, очень трудно. Тем не менее я смело устремился в дебри каталога в самой большой библиотеке нашей страны. Если верить замечательному Фабру, усердие и терпение в конце концов не могут не вознаградиться, я помнил об этом, и это поддерживало меня. Наконец в пожелтевшей книжонке, изданной в 1893 году, на сто двадцать шестой странице я вдруг прочитал с замиранием сердца:

«ОЛЕПИНО»

«Село Олепино — от Владимира сорок верст при пруде и колодцах. В первой половине XVI века село Олепино принадлежало Московскому Ново-Девичьему монастырю; но царь Иоанн Грозный взял эту вотчину в царскую казну в обмен на село Никулинское. Об этом в Царской жалованной несудимой грамоте Московскому Ново-Девичьему монастырю 1662 года апреля 2 говорится: «В Володимирском уезде в Полском стану село Мигулинское с деревнями, а пожаловал их (игуменью и наместницу монастыря с селами) тем селом и деревнями благостные памяти царь и великий князь Иван Васильевич всея Руси против их села Олепина с деревнями».

Дворцовым имением Олепино остается в XVII столетии, но в начале XVIII столетия оно записано уже вотчиной «стольников Петра и Ивана Самойловых детей Салтыковых»; фамилии князей Салтыковых Олепино принадлежало в XVIII и нынешнем столетиях» [1].

«Церковь села Олепина в честь Покрова Пресвятые Богородицы весьма древнего происхождения. Когда в

[1] Напоминаю, что цитируемая книга издана в 1893 году.

1850 году ветхая деревянная церковь в Олепине была разрушена, то при сожжении престола было найдено в столбце его три антиминса, из коих самый древний дан был в Покровскую церковь села Олепина в княжение Василия Дмитриевича, сына Дмитрия Донского, другой при царе Иоанне Грозном и третий при царе Борисе Годунове».

«В книгах патриаршего казенного приказа под 1656 годом записано: «Церковь Покрова Пречистые Богородицы в приселке Алипине того же приселка Алипина на крестьянах за оброк данью семнадцать алтын заезда гривна и августа 31 день платил те деньги староста церковный Фома». «187 г. (1679) церковь Покрова Пресвятые Богородицы в государевом дворцовом приселке Алепине дани 22 алтына 4 деньги заезда гривна».

«Ныне существующая каменная церковь в честь Покрова Пречистые Богородицы построена в 1850 году усердием прихожан, при ней каменная колокольня и ограда».

...До 1849 года приход состоял из села и трех деревень; но в этом году [1], по прошению помещика князя Салтыкова, преосвященный Парфентий к Олепину причислил из Черкутинского прихода семь деревень; в этом составе приход существует и в наше время. Деревни: Брод, Останиха, Курьяниха, Калинино, Оленинцо, Кривцо, Николютино, Зельники, Щуково и Борисово. Расстояние от села 1—3 версты, препятствий к сообщению между ними нет. Всех дворов в приходе 175, душ мужского пола 501 и женского 551».

«В 1881 году в селе открыта церковноприходская школа».

Итак, «при пруде и колодцах». Значит, в те времена, когда составлялся этот документ, в Олепине был один пруд. Это подтверждают и старики. Пруд находился на месте сегодняшнего нижнего пруда, но был больше и глубже. В овраге ниже пруда, приглядевшись, легко и теперь разглядеть останки земляной плотины. Верхний пруд, по-видимому, был устроен гораздо позднее.

Что касается колодцев, то я не знаю, сколько их было, когда при великом князе Василии Дмитриевиче, сын Дмитрия Донского, вручался Олепинской церкви упомянутый антиминс, но сейчас в селе восемь колодцев.

---

[1] Не знаю, к чему отнести «этот год»: к 1849-му или к году издания книги, то есть к 1893-му.

Первый расположен между избой Володи Постнова и нашим домом, на уровне передних углов. Он неглубок (впрочем, все колодцы неглубоки), вода в нем грубовата на вкус и мало пригодна для мытья головы.

Второй колодец по-старому называется Никаноров, хотя никаких Никаноровых около него теперь не живет. Он рядом с избой Александра Федоровича и расположен не на улице, а в глубине, возле огородного тына. Вокруг него растут крапива и лопухи. Вода еще грубее, чем в первом колодце, волосы после нее никак не расчешешь. Кроме того, в этот колодец что-то частенько попадают мыши, значит, время от времени при обнаружении мыши воду черпать из него перестают, и вода начинает стухаться. Однажды во время вытаскивания воды из Никанорова колодца мне пришла в голову мысль написать стихотворение о колодце, что я и сделал. Так что, несмотря на грубую воду, у меня к этому колодцу особо нежные чувства.

Третий колодец — напротив Бакланихина дома, около их амбара, перед школой, то есть посреди села, в трех метрах от проезжей дороги. Я вижу, как Бакланихины, Иван Дмитриевич и Московкины берут из него воду, но никто больше, кроме этих трех домов, колодцем не пользуется. Странно подумать, что сейчас я вспоминал, вспоминал и не мог вспомнить, чтобы я когда-нибудь пробовал воду из этого колодца, хотя он стоит на самом, что называется, юру.

Четвертый колодец сделан недавно, около конного двора и молочной фермы. В нем отличная, вкусная вода, но так как он за околицей, на отшибе, то, конечно, никто туда за водой не ходит.

Пятый колодец — на задворках у Василия Михайловича Жирякова, между его двором и огородом. Вода в нем посредственная.

Шестой колодец — с самой вкусной, светлой, чистой, холодной водой — расположен рядом с домом Петра Васильевича. Он так и называется Васильев колодец. Таких колодцев с необыкновенно вкусной водой в селе два — Васильев и Кунин, так что, имея даже колодец под окнами или на задворках, все село ходит на эти два колодца. Одно время, я знаю, избегали ходить к Васильевым за водой, считая, что Нюра, жена Петяка, живя в непосредственной близости к колодцу, может по небрежности опустить в него ведро, стоявшее до этого, например, на наво-

зе. Но теперь к цепи намертво прикрепили постоянное ведро, и все ходят и берут воду, когда захотят водички вкуснее.

Седьмой колодец — Кунин. Расположен на задворках у Ивана Васильевича Кунина. В огородном тыну сделана как бы ниша, такое квадратное углубление, в котором и стоит колодец. А так как в огороде буйно растут возле самого тына малинник и черная смородина и так как ни малина, ни смородина не подвязываются, то ветви и того и другого растения перевалились через тын, просунулись в частокол, городьбы самой уж и не видно, а колодец утонул в кустах малины и смородины. Все говорят, что на Васильевом колодце вода, пожалуй, будет чуточку повкуснее, послаже, чем на Кунином. Но, вероятно, нужно быть очень тонким дегустатором, чтобы найти разницу. Я ее не нахожу.

Верно то, что там и тут вода отличная, а так как Кунин колодец расположен уютнее, живописнее и, я бы сказал, даже интимнее, то я лично люблю его больше.

Восьмой колодец был Грубов, но Грубовы из села уехали, дом их снесли, и на месте их дома построил новый дом Николай Грибов. Как теперь будет называться тот колодец, я не знаю.

Вода в нем была бы приличной, если бы не пахла срубом. Запах этот все же неприятен. Из этого колодца мы с Грубовым мальчишками доставали гнилушки, которые светились потом в темноте бледным голубоватым светом.

...Документ дает возможность установить, что в первой половине шестнадцатого столетия, то есть четыреста лет назад, село уже существовало, но, конечно, мы никогда не узнаем, сколько времени оно существовало до этого, так же как вряд ли догадаемся, почему Иван Грозный забрал его у игуменьи и наместницы, отдав им село Никулинское. Лучше или хуже было Никулинское в то время, богаче или беднее, выгадал или прогадал великий царь, досадить или сделать приятное хотел он матери игуменье — все скрыто во мраке времени.

Что касается князей Салтыковых, позднейших владетелей села, то их все помнят, по крайней мере рассказывают о них. Основная усадьба Салтыковых была в селе Снегиреве, в пяти километрах от Олепина. В первые годы революции от большого, великолепного дворца не осталось камня на камне.

Еще и сейчас на окраине парка, смешавшегося и слившегося теперь с диким лесом, в кустах одичавшей сирени, посреди высокой цветущей травы, видны груды мелкого красного щебня — вот что осталось от Салтыковых.

От упоминаемых в бумаге стольников Петра и Ивана Самойловых, чьей вотчиной было Олепино, осталось название леса — Самойловского. В некоторых оврагах, примыкающих к лесу, видны остатки плотин там, где были барские пруды.

Один пруд с могучими березами на берегу, должно быть, был весьма живописен.

Вдоль опушки леса от Красной горы к «конторе» (значит, была тут некая контора) протянулась по лесу еловая аллея, намеки на нее можно найти и сейчас. В грибной год обязательно здесь белые грибы. Одним концом аллея выходит к пруду, который жив и поныне, но весь зарос травой и зимой промерзает до дна. Поля вокруг пруда называются «хоромными», значит, здесь и были хоромы стольников Петра и Ивана.

«...Церковь села Олепина... весьма древнего происхождения». Но думаю, что это ей все равно не поможет, ибо о церкви здесь говорится как об учреждении вообще. Что касается самого церковного здания, то «ныне существующая каменная церковь... построена в 1850 году». Никак нельзя причислить архитектурную постройку, которой всего-навсего сто десять лет, к памятникам старины, и, значит, рано или поздно (не очень поздно) она развалится.

А между тем я пытаюсь и никак не могу представить себе вид на Олепино откуда-либо со стороны, с отдаления, если не будет показываться из зеленой копны столетних лип белая прямоугольная колоколенка, а рядом с ней округлая крыша и самой церкви.

Я твердо знаю одно: когда исчезнут все колокольни и церкви, русский пейзаж потеряет так много, что следующие поколения не смогут уж представить себе, в чем же состояла его особенная прелесть. Сейчас не до того, чтобы взять и реставрировать колокольни из чисто эстетических соображений. Но хотя бы пока не ломать.

Кроме всего, мне приходит в голову следующее простейшее соображение. Да, церкви, построенные в двенадца-

том, четырнадцатом или шестнадцатом веках, мы считаем памятниками архитектуры двенадцатого, четырнадцатого или шестнадцатого века. Но разве через триста — четыреста лет нашим потомкам не интересна будет архитектура позднейшего, например, девятнадцатого столетия, разве они не будут писать в своих газетах: «Товарищи, там-то и там-то находится чудом уцелевшая церковь и колокольня, построенные еще во времена Льва Толстого! Прекрасный архитектурный ансамбль, дошедший до нас из столь давнего достославного времени, в настоящее время подвергается воздействию разрушительных сил природы. Необходимо укрыть эту церковь как древнейшую реликвию под стеклянный колпак (впрочем, в то время, вероятно, будут исключительно пластмассовые колпаки) и покончить с преступным и безответственным отношением к ценнейшему архитектурному памятнику такой древности, как конец девятнадцатого и начало двадцатого столетия!»?

...Большинство деревенек, перечисленных в документе, расположено или вовсе у подножия холма, но только на другом берегу речки, или чуть-чуть отступая, на противоположном, более отлогом, чем наш, олепинский, склоне речной долины. С высоты олепинского холма приходится смотреть вниз на речку, обозначенную извилистой лентой ольховых кустов и кое-где проблескивающую сквозь кусты водой да маленькими деревьями, наставленными по Ворще, как горшки, близко друг от друга. Все как-то очень аккуратно в пейзаже, чистенько, прибрано, уютно, ничего нет лишнего.

Налево, обогнув холм, река уходит от нас вдаль, и долина реки просматривается вдоль, а там вдали тоже виднеются стоящие по реке деревни и на правом и на левом ее берегу, пока наконец все не скроется в темно-синем лесу, а лес сам не задернется дымкой дальности.

Наверно, по вине писаря, то есть я имею в виду дьяка, вкралась описка в написание некоторых деревень.

Брод, Останиха, Курьяниха, Калинино, Зельники написаны в документе правильно. Они точно так называются и теперь. Но вот «Оленинцо». Ясно, что никакого Оленинца здесь у нас быть не могло, а имеется в виду деревня «Малый Олепинец» или просто «Олепинец». «Кривцо» мы называли «Кривец», но сейчас этой деревни, состоящей

из семи дворов, нет, она исчезла с лица земли. Люди расселились по другим деревням, главным образом в Олепинец.

Никакого «Щукина» или «Щукова» тоже возле Олепина нет, а перепутал это название писарь с «Шуновым». Тем более невероятно, чтобы «Шуново» называлось «Щуковым», что деревня эта в отличие от других приолепинских деревень стоит далеко от реки, при двух глубоких сухих оврагах. Какие же, спрашивается, там щуки?

Близ Шунова стоит деревенька Зельники, в которой осталось теперь три дома, а населения в тех домах тринадцать человек — пять женского и восемь мужского пола.

Когда недавно во все деревни проводили электричество, то столкнулись со следующей хозяйственной проблемой: чтобы осветить три дома в Зельниках, надо потратить леса на столбы столько, что хватило бы на три новых сруба.

К тому же каждому понятно: скоро и эти три семьи переселятся либо в Шуново, либо в Олепино, и, так же как Кривец, деревенька Зельники останется только в воспоминаниях.

Вот почему Зельники остались без электричества.

«Расстояние от села 1—3 версты, препятствий к сообщению между ними нет».

Все это так, все правильно, если иметь в виду сообщение тех времен, то есть пешеходное или на лошадях. Точно, что и сейчас, за исключением самой водополки, можно в любую грязь пройти пешком от деревни до деревни, и самое большое, что может случиться, так это оставить подметки от сапог где-нибудь на шуновском поле в глубокой, вязкой грязи. Если же брать современные средства сообщения, то есть колхозные грузовые автомобили, то после хорошего дождя проехать из деревни в деревню совершенно невозможно.

По тропинкам от Олепина к Броду, от Олепина к Останихе и от Олепина к Курьянихе, там, где эти тропинки, спускаясь с крутой горы, подбегают к воде, положены лавы — толстые еловые бревна с поручнями. Эти лавы каждую весну уносит большой водой, но, как только вода спадет, их устанавливают снова.

«Всех дворов в приходе 175». Теперь, по моим подсчетам, в перечисленных деревнях 117 дворов.

«Душ мужского пола 501 и женского 551».

Решив узнать, сколько же теперь душ мужского и женского пола, я послал письмо председателю сельсовета Александру Михайловичу Солоухину и в ответ через некоторое время получил обстоятельную, с тщательностью подготовленную бумагу. Из этой бумаги, где перечислены все деревни и указаны жители каждой из них, я беру две итоговые цифры: мужчин — 158, женщин — 195.

«...В 1881 году в селе открыта церковноприходская школа». Очевидно, это та самая школа (я имею в виду здание), которая сейчас стоит посреди села и в которой все мы проучились по четыре года.

Новый председатель колхоза Александр Михайлович Глебов на колхозные средства строит новую, просторную школу, но уж не в самом селе, а по дороге от села к реке, на краю холма, там, где кончается ровное место и начинается склон. К этому учебному году ее не успели отделать, но в будущем году она непременно вступит в строй. А в здание старой школы переедет правление колхоза, а в правлении колхоза устроят квартиры для ветеринара и зоотехника — вот какие большие перемены готовятся в селе Олепине.

Теперь я не могу не порассуждать насчет правильного названия села. Дело в том, что официально во всех современных документах село называется Алепино. Старики же его называют не иначе, как Олепино, а теперь вот я нашел, как видите, книгу, где написано про село и где оно тоже Олепино.

В царской жалованной да еще несудимой грамоте от 1662 года стоит «село Олепино». Правда, дьяк патриаршего казенного приказа примерно в те же годы пишет «Алепино» и даже «Алипино», но такое разночтение говорит лишь о том, что все дело перепутал упомянутый дьяк. Так же как появились «Щукино» вместо «Шуново» или «Оленинцо» вместо «Олепинца», так, видимо, и «Алипино» и «Алепино» появилось вместо «Олепина».

Кроме того, стремление «облагозвучить» то или иное название заметно иногда в русском человеке. Так, например, по дороге из Москвы во Владимир на шоссе стоит село «Омутищи». Казалось бы, ясно, от чего происходит название села: от омутов, омутищ, и мудрить тут нечего. Однако несколько лет назад я, проезжая по дороге, с досадой читал

табличку, где было написано: «С. Амутищи». С Олепиным произошла точно такая же ошибка.

Вот почему я везде в книге называл свое село Олепиным, хотя это и противоречит современной официальной документации.

Если же вам нужно отправить в наше село письмо или если вы будете расспрашивать у жителей, как вам проехать, то можете писать и «Алепино» и «Олепино», как вам больше нравится.

Никакой беды не случится, и письмо дойдет, и сами вы в конце концов доедете.

Написав эти последние слова, я подхожу к окну и смотрю вдоль села на ровный порядок изб, на ветлы перед избами, то старые и разваливающиеся, то молодые и кудрявые. Теперь конец сентября, но ветлы еще не пожелтели. Зато из-за домов, с задворков, проглядывают верхушки желтых и багряно-красных деревьев.

Травка, которой заросло все село, тоже, как и ветлы, была бы совершенно зеленая, если бы старые липы, растущие в ограде, не начали ронять пожелтевшей листвы. А так как вчера был сильный ветер, листьев хватило на то, чтобы запорошить все село, и теперь уж сквозь опавшие листья проглядывает зелень травы.

Среди желто-зеленого, яркая, мокрая, черная, поблескивает неширокая проезжая дорога.

Председатель колхоза запретил ездить автомобилям по лужайкам около домов, чтобы не портить вида села, и теперь дорога одна, ровная и аккуратная, чернеет среди опавших листьев.

В небе какое-то странное сочетание наивной голубизны и темных, аспидных туч. Временами проглядывает ясное солнце, и тогда еще чернее делаются тучи, еще голубее чистые участки неба, еще желтее листва, еще зеленее трава, еще чернее дорога, еще более проглядывается сквозь полуопавшие липы старенькая колокольня...

Если с этой колокольни, забравшись по полуистлевшим балкам и лестницам, поглядеть теперь во все стороны белого света, то сразу расширится кругозор, мы охватим взглядом весь холм, на котором стоит Олепино, увидим, может быть, речку, обвивающую подножие холма, деревни,

стоящие по речке, крутое полукружие леса, подковой охватившее весь пейзаж: и село, и реку, и деревню, и то черные, то желтые, то нежно, не по-осеннему зеленые колхозные наши поля.

Нет конца миру. Воображение может поднять нас повыше колокольни, тогда вновь раздадутся горизонты и село, которое только что было вокруг нас, покажется как бы из игрушечных домиков, сбившихся в небольшую стайку посреди земли, имеющей заметную планетарную кривизну. Мы увидим, что земля оплетена множеством тропинок и дорог. Те, что поярче, пожирнее, уводят к городам, которые с нашей высоты можно теперь увидеть.

Вон, заслонившись лесами, дымится промышленный город Кольчугино; вон посреди чистого поля, продуваемый полевыми ветрами, одноэтажный городок Юрьев-Польский; вон выглядывает из высокой ржи бесчисленными куполами да башенками город-заповедник, город-музей, сказочный город Суздаль.

Правее Суздаля, на холмах, громоздится и сам Владимир. Словно куски рафинада, сверкают издали окружившие старый город новые рабочие кварталы.

Мимо Владимира широко шагают по земле причудливые мачты высоковольтной передачи. Они шагают из Куйбышева в Москву. Значит, поднявшись еще повыше, мы можем увидеть слева от нас туманное зеркало Волжского моря, перегороженное плотиной, а справа — зыбкие, как бы миражные очертания города Москвы.

Нет конца миру. Вот уже тысячи сел, деревень и городов под нами. В разные стороны света растекаются реки, и в темной зелени хвойных лесов поблескивают капельки озер. Можно угадать и синее марево юга, и «стеклянную хмарь Бухары», и глубокое зеленое мерцание вечных полярных льдов.

Но с такой высоты мы можем или совсем потерять из виду, или спутать с каким-нибудь другим крохотное село Олепино, стоящее на вершинке крохотного холма, возле крохотной речки Ворщи.

Вот уж и снова я гляжу из окна вдоль порядка изб. Зеленая трава густо усыпана опавшими осенними листьями, ярко чернеет дорога среди желтой листвы, вереница гусей важно шествует, шурша, к дому Глафиры. Около правления колхоза появился вездеходик — кто-нибудь из

района, может быть, сам секретарь Александр Петрович Галянкин.

Низкие, с севера на юг, плывут над селом облака.

Я люблю глядеть на свое село и обычным взглядом и внутренним, как люблю глядеть на бесконечно маленькую округлую каплю хрустальной влаги, собравшуюся в зеленой ладошке листа посреди бесконечно огромного цветущего луга, на маленькое солнце, отразившееся в этой капле, на маленькие окрестные предметы, на маленького самого себя, отразившегося в ней же...

Март — сентябрь 1959 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Городская весна

Разрыв-трава

Как выпить солнце

Аргумент

Седина

Судьбы

Кактусы

ЛИРИЧЕСКИЕ ПОВЕСТИ

Солоухин В. А.

С60 Собрание сочинений: в 4-х т.— М.: Худож. лит., 1983.

Т. 1. Стихотворения; Лирические повести. 1983.— 638 с.

В первый том Собрания сочинений В. Солоухина — известного поэта и писателя — вошли его лирические стихотворения, написанные в разные годы, а также полюбившиеся читателям повести «Владимирские проселки» и «Капля росы».

С $\frac{4702010200-145}{028(01)-83}$ подписное **Р2**

Владимир Алексеевич
СОЛОУХИН

Собрание сочинений в четырех томах

Том первый

Редактор *Н. Иванова*
Художественный редактор
Е. Ененко

Технический редактор
Т. Таржанова

Корректоры
Н. Замятина и *В. Широкова*

ИБ № 2442

Сдано в набор 05.07.82. Подписано к печати 15.06.83 А13102. Формат 84 × 108[1]/32. Бумага типогр. № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 33,6 + 1 вкл. = 33,65. Усл. кр.-отт. 33,65. Уч.-изд. л. 35,6 + 1 вкл. = = 35,65. Тираж 100 000 экз. Изд. № III-1020.
Цена 2 р. 90 к. Заказ 519

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882. ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15